# Вера Панова

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**
**В ПЯТИ ТОМАХ**

Редакционная коллегия:
С. Баруздин
А. Нинов
Л. Рахманов

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1987

# Вера Панова

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**
**ТОМ 2**

## Времена года

°

## Сентиментальный роман

°

## Который час?

**РОМАН-СКАЗКА**

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1987

ББК 84. Р7
П 16

Составление и подготовка текста
А. НИНОВА и Н. ОЗЕРНОВОЙ-ПАНОВОЙ

Примечания А. НИНОВА

Оформление художника Н. НЕФЕДОВА

П $\frac{4702010200-073}{028(01)-87}$ подписное



# Времена года

## ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ ГОРОДА ЭНСКА



## *Часть первая*

### С Новым годом!

Пройдет сорок минут, и на Спасской башне заснеженного Кремля, в Москве, часы отобьют полночь. В миллионах радиоприемников и репродукторов повторится бой кремлевских часов, его услышат во всем мире.

Упадет двенадцатый удар, люди сдвинут свои чарки и скажут: «С новым счастьем!»

Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения: блестящие шарики, целлофановые хлопушки, картонажи, куколки, золотой «дождь», золотые орехи, разноцветные свечи, «елочный блеск», похожий видом на нафталин и продающийся в запечатанных пакетиках, как глауберова соль. Одних только дедов-морозов разных размеров в декабре продано четырнадцать тысяч штук. В том числе совершенно выдающийся дед, дед-экстра, дед-люкс в рост человека, художественно сработанный в двух экземплярах промартелью «Игркомбинат». Купили этого деда, как и следовало ожидать, детские ясли станкостроительного завода: разве директор завода товарищ Акиндинов упустит случай приобрести диковину, какой ни у кого в городе нет?.. Второй экземпляр деда-экстра остался собственностью центрального универмага и стоит в сияющей витрине, в раме из еловых ветвей: могучий, красноносый, в роскошной шубе из ваты, в настоящих валенках, с раззолоченной палицей в руке; и у ног его по зеркальцам-прудам катаются на крошечных салазках мальчики и девочки с красными флажками... Днем у витрины теснятся ребятишки, любуясь этим художеством. Сейчас ребятишки разошлись, у витрины пусто, взрослые пробегают через яркую полосу света, не обращая на деда внимания: осталось сорок минут!



Алмазной лентой разворачивается над крышами электрический призыв: «Храните деньги в сберегательной кассе!» Нынче призыв не доходит до сознания граждан. С утра сберкассы знай выдавали вкладчикам деньги на мотовство. Двери магазинов открыты настежь: два встречных людских потока не дают им закрыться. «Товарищ! Нельзя ли отпускать побыстрей? Вы же знаете — люди торопятся». Многие в последний час вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки, и кинулись исправлять свой промах.

Повальный азарт приобретения: несут мандарины и яблоки в сетчатых сумках, свертки и бутылки, коробки с тортами и куклами, мячи, кульки конфет. И у кого-то в спешке прорвался кулек, и конфеты рассыпались по тротуару, и неудачник подбирает их, прижимая к груди остальные пакеты.

И кто-то, вспотевший и задыхающийся, бегает из магазина в магазин, ища фаршированный перец, как будто от этого перца зависит его жизнь.

И какой-то чудак в франтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку. Эк, когда спохватился: не успеете, гражданин, украсить ваше дерево к двенадцати! Прохожие взглядывают на чудака с иронией, он слышит их шуточки, но деловито шагает дальше со своей колючей ношей, и на его молодом лице, по-девичьи порозовевшем от мороза, выражение гордой независимости.

Да, он поздновато сообразил, что хорошо бы украсить комнату елкой; сообразив, почувствовал, что это необходимо сделать, что без елки его жизнь неполноценна. И, рискуя опоздать к встрече Нового года, пустился на поиски. Он видел множество елок, но только в витринах и окнах домов. Рынки давно закрылись, а на площади, где шла оживленная елочная торговля, не осталось никого и ничего, кроме густой хвои на утоптанном снегу. Гражданин уже отчаивался, как вдруг видит — на углу против «Гастронома» стоит мальчишка-подросток и держит перед собой елку. Елка уродливая, громадный голый ствол и самая малость зелени, поломанные веточки жалобно обвисают, словом — заваль, но гражданин хватается за нее и держит крепко.

— Сколько?— спрашивает он.

— Двадцать рублей,— отвечает мальчишка.

— Ого!— говорит гражданин.— За что же столько? За красоту?

— А что?— хладнокровно говорит мальчишка.— Хорошая елка. Большая — во.

— Все-таки двадцать — это чересчур.

— Ищите дешевле. Ваше счастье, что такую нашли.

— Счастье, положим, обоюдное,— говорит гражданин, подавая две серенькие бумажки.— Ладно, пользуйся.

Мальчишка берет бумажки с оскорбительным пренебрежением. Он презирает чудака, выбросившего такие деньги черт знает за что... И вот чудак поднимается по лестнице с елкой на плече. Елка пахнет дорогими воспоминаниями детства, а лестница — сырой штукатуркой. Оба запаха одинаково отрадны: дом построен недавно, ордер на комнату чудак получил только на днях. А до этого он жил у приятеля на кушетке и мечтал о собственной комнате...

Чуркин и Ряженцев садятся в машину. Кончилось совещание в горкоме, и заседавшие исчезли все разом, будто по петушиному крику. Чуркин и Ряженцев уезжают последними.

— В Дом техники,— говорит Ряженцев водителю.

В Доме техники будет встреча с передовиками производства. На встречу прилетели гости из Москвы, Ленинграда, Свердловска — представители министерства, знатные рабочие,— энский станкостроительный завод занял первое место во всесоюзном соревновании. По городу расставлены щиты с портретами победителей, в кино показывают хроникальный фильм о заводе.

— Еще годик,— говорит Чуркин.

— Еще ступень,— говорит Ряженцев.

В окнах свет, на занавесках тени елочных лап с подвешенными к ним шарами и звездами, шары качаются на нитках — тени поворачиваются...

— Тьфу ты, морока!— с негодованием говорит водитель.

Машина останавливается. Перед нею медленно опускается шлагбаум. Слышен слабый, несмелый вскрик паровоза.

— Черт!— говорит Чуркин.— И в праздник они тут!

— У них прорыв,— говорит Ряженцев.

Старый маленький паровоз «овечка» проходит за шлагбаумом. Он тащит один вагон — всего и дела. «Овечка» с вагоном скрывается за черным массивом городского парка. Женская фигура в тулупе и платке выходит из будки и истово крутит ворот. Шлагбаум поднимается.



— Анекдот!— ворчит Чуркин.— В центре города!

— Вы — власть,— говорит Ряженцев.— На кого жалуетесь? Ставьте вопрос в Совете Министров, поддержим.

От стародавних времен остался в Энске маленький вагоноремонтный заводик. Энск разрастается и украшается, вокруг Энска вон какие воздвигнуты предприятия, а заводик со своей пустяковой программой и устаревшим оборудованием все стоит на месте. Железнодорожники не соглашаются ни ликвидировать его, ни перенести на другую территорию. По этому поводу длится бесконечная переписка с управлением дороги и с министерством. А на сессиях критикуют Чуркина за то, что недостаточно радеет о благоустройстве. Это он-то радеет недостаточно...

По новенькому шелковому асфальту машина огибает парк и выезжает на площадь, в свет и суету. Красные электрические, голубые неоновые вывески бросаются в глаза. Трамвай, звеня, осторожно пересекает площадь. Трубный голос диктора из невидимого репродуктора сообщает последние известия. Пешеходы уже не идут шагом — бегут, обгоняя друг друга.

— Хорошо, когда у людей праздник!— говорит Чуркин.

— Хорошо!— с удовольствием соглашается Ряженцев.

Свет в домах, тени еловых лап на занавесках. Мелькнул на белом кружеве силуэт детской головки — бантик набок. «Как у нашей Нинки»,— думает Чуркин.

Но не все празднуют. Город — живой организм, он функционирует непрерывно.

По-обычному заступила смена на ГЭС.

Как всегда, одиноко стоит на углу девушка-милиционер, управляющая светофором, и только знакомый шофер такси, притормозив на секунду, крикнет ей в окошечко: «С Новым годом!»

В Ленинском районе, где строится Дворец культуры, где над зубчатыми стенами, лесами, штабелями кирпича редкими звездами горят тысячеваттные лампы и чернеет, почти сливаясь с небом, неподвижный башенный кран,— бодрствует сторож в тулупе с поднятым воротником.

«Скорая помощь» доставляет женщину в родильное отделение больницы.

Кто-то приходит в мир на пороге Нового года, и кто-то уходит с последними минутами старого. И кто-то плачет над уходящим.

А в кинематографе кассирша с подбритыми бровками и модной прической, лирически грустя, продает билеты иа ночной сеанс.

В типографии плавно стучит машина, печатая новую брошюру, и седой наборщик не спеша набирает на линотипе телеграммы для новогоднего номера газеты.

И там же в типографии, в верстальном, на двух столах, женщины из фабзавкома стелют скатерти и расставляют тарелки с бутербродами и стаканы для пива, чтобы в полночь наборщики, метранпажи и печатники, оторвавшись от работы, тоже чокнулись и поздравили друг друга.

Близится праздничная минута. Пустеют магазины, трамваи и автобусы. Уже идет по городу совсем пустой трамвай: кроме вагоновожатого и кондукторши, в вагоне всего один человек. Он спит в уголку, уютно прислонясь к стенке. Никакая сила не разбудит его, пока он не выспится. Ясное дело — переоценил товарищ свои возможности: не дождался положенного времени, выпил досрочно, и расплата за этот непродуманный поступок настигла его по дороге на пир. Из кармана у спящего торчит бутылка; лицо счастливое — может быть, ему снится, что он встречает Новый год в приятной компании. И с другого конца вагона печально и осуждающе смотрит на него пожилая кондукторша...

Километрах в ста от Энска, направляясь к городу, идет по шоссе машина: сильный, блестящий, новенький «ЗИС». В нем молодой человек — один-одинешенек.

Шоссе пустынно, инспекторов не видать; можно включить на полный и мчаться ветром... Но молодой человек не торопится. Выпятив губы, он равнодушно насвистывает песенку. Белое шоссе перед ним, на белом шоссе две широкие отчетливые колеи — там, где колеса машин протерли снег до самого асфальта. По этим гладким колеям легко идет машина. В свете фар открывается один участок пути за другим, один участок, как другой, белое пространство с двумя отчетливыми колеями. А кругом темнота, не видать ни зги.

Перед молодым человеком автомобильные часы; он на них не смотрит. Не смотрит даже тогда, когда на розово-золотистом циферблате большая стрелка соприкасается с маленькой.

Это тот самый миг, когда из бутылок летят пробки и кремлевские куранты начинают вызванивать четверти.

...Бьют часы на Спасской башне.

С Новым годом, товарищи!



*Глава первая*

## БЛУДНЫЙ СЫН

В этот вечер, часов в одиннадцать, к Дорофее заходил Саша Любимов.

Заходил он, собственно, не к ней лично, их встреча была случайной. Кто-нибудь другой мог отворить ему. Ее вообще могло не быть дома, до самого вечера она колебалась — остаться с девочками или ехать в Дом техники... Хорошо, что не Лариса отворила Саше. Ни к чему Ларисе эти напоминания.

В Доме техники будут все товарищи. Но и девочек не хотелось бросать в эту праздничную ночь. А тут еще пришла Юлька, прикрыла за собой дверь и сказала очень серьезно:

— Я хочу сказать тебе одну вещь, только ты обещай, что отнесешься правильно.

— Ну?— спросила Дорофея.

— Она мне ничего не говорила, это мои личные выводы, но мне кажется, у нее кто-то есть.

— Это так и должно быть,— сказала Дорофея.

— Я рада, мамочка, что ты понимаешь,— сказала Юлька.— И надо ей показать, что ты понимаешь. Она с тобой очень считается. Знаешь, она сделала маникюр и все время потихоньку поет... Только, пожалуйста, не надо никаких советов и никаких намеков, а просто показать, что ты относишься хорошо.

За дверью раздался голос Ларисы. Юлька замолчала и ушла. Дорофея вздохнула... Не поеду никуда, побуду с ними.

И, решив так, она по-хозяйски пошла по дому. К девочкам должны были прийти гости, молодежь; поужинают, а потом поедут на бал в Дом культуры. Ужин устраивали в складчину. Дорофея осмотрела припасы, ей показалось — мало; она дала денег и велела девочкам купить еще закусок и фруктов. Ей показалось, что в доме недостаточно чисто, и она сама перемыла листья фикусов и натерла стулья и шкафы маслом с уксусом.

К десяти начали сходиться девушки, подруги Ларисы и Юльки. Они накрыли большой стол нарядно, как на картинке, потом принялись украшать самих себя. Каждая принесла с собой парадные туфли, завернутые в газету; одной понадобился утюг — что-то пригладить, другой игла — что-то пришить. Дом наполнился девичьими голосами и беготней, от которой дрожали половицы.

В этом шуме чисто и звонко прозвенел звонок. «Кто разутый — прячься, кавалеры пришли!»— крикнула Дорофея и пошла открывать. В их домике устроено так: из передней попадаешь на застекленную веранду, идущую вдоль бокового фасада. На концах веранды по двери: одна во двор, другая, со звонком, на улицу, и эту вторую дверь отворила Дорофея.

Высокий молодой человек, а вернее сказать — мальчик лет семнадцати стоял на крыльце. Он не сделал движения войти, не поздоровался, даже не пошевелился, когда ему открыли. «Не гость»,— подумала Дорофея. Его фигура, одежда, лицо, которое она различала в свете, падавшем с веранды,— все было ей незнакомо. Она спросила:

— Вам кого?

— Куприяновы здесь живут?

— Здесь. А вы к кому?

— Геннадий не приехал?

Ее кольнуло, она нахмурилась и ответила не сразу:

— Мне это неизвестно.

Они стояли, глядя друг на друга. Она поняла, кто это такой. Поняла и то, что пришел он сюда не по своей охоте — мать прислала. Все ей стало ясно, когда он спросил про Геннадия.

У него было безусое, правильное продолговатое лицо с крупными губами; глаза небольшие, серьезные; в их спокойном взгляде и в очертаниях губ была доброта. «Положительный мальчик,— подумалось Дорофее,— и с характером». Уши его меховой шапки по-ребячьи торчали в стороны. И куртка была ребячья, он вырос из нее.

А вдруг он не тот, за кого она его принимает? Не Саша Любимов? Вдруг это ее воображение? Говорят же домашние, что у нее вечно фантазии. Мало ли что: кто-нибудь из старых дружков вспомнил Геннадия и послал братишку его разыскать. Она сказала, проверяя:

— Геннадий тут не живет.

Паренек кивнул:

— Я знаю. Я думал, он, может быть, приехал.

Он медленно сошел с крыльца:

- Извините.

И зашагал прочь, засунув руки в карманы куртки. «Совсем молоденький, а дело мужское делает...» Как, должно быть, не хотел идти сюда, спрашивать...

Одет бедненько. Заработок, наверно, матери отдает.

Широкая окраинная улица была пуста и бела. Деревянные заборы, домики в два, в три окошка. Лампочки на воротах озаряют белые дощечки с номерами. Черная водокачка на углу. Тихо. Окликнуть: «Саша!»— он бы услышал... Привести его в дом, усадить, расспросить попросту, по-бабьи: как тебе, Саша, живется, не обижает ли тебя Геня... Чувство стыда перед ним помешало Дорофее это сделать. Она закрыла дверь, вернулась в комнаты и только тогда почувствовала, как пробрало ее морозом, пока она стояла там...

И вдруг немила стала ей суматоха в доме, этот стол с бутылками, шумные девицы. «Кто, кто пришел?»— закричали девицы. «Никто!»— ответила она и прошла в спальню. Сидела на сундуке (стулья все унесли в столовую), подперев подбородок маленьким крепким кулаком. Стояло в глазах серьезное детское лицо с добрыми губами... Вот, Геня, какое доверие к тебе: подозревают, что ты от них скрываешься. Успел, значит, и там себя зарекомендовать. Геня, всем от тебя му́ка, что же это такое...

Дорофее сорок восемь лет. Она среднего роста, худенькая. Смугла. Легко смеется, легко туманится. Походка девичья. Волосы темно-русые, подстриженные, на концах завиваются в кольца. Пробор сбоку, и одна прядь, с колечком на конце, заложена за маленькое ухо.

Ни сединки у Дорофеи и мало морщин, и зубы чисты и блестящи, как в молодости. Увядание чуть-чуть только тронуло кожу у глаз, шею, руки. Муж и дочь не замечают этих печальных знаков. Они говорят: «Мама у нас вечнозеленая».

В газете раза два печатали ее портрет. На портретах она нехороша: скуластая, с напряженным лицом. Когда ее не станет, ни одна фотография не воскресит для близких ее облика, прелесть которого — в блеске глаз, в смене переживаний, в непрерывном движении жизни.

Она взяла себя в руки и села за стол с приветливым, довольным лицом. За каждым тостом отпивала немного вина, шутила с молодежью, и никто ничего не заметил. Одна Юлька, инструмент особо чувствительный, спросила потихоньку:

— Ты что, мама?

— А что такое?

— Расстроена.

— Вот уж ничего подобного. Выдумала. Налей мне того красного.

Ларисин избранник оказался так себе, ни рыба ни мясо — сразу не отгадать, что за человек. Другие наперебой разговаривали, хохотали, со смыслом и без смысла, как хохочет здоровая молодость, хлебнув вина; этот молчал, старательно протягивал рюмку, когда чокались, ел тоже старательно, но как бы не различая вкуса. Он был старше всех мужчин за столом, ему, во всяком случае, перевалило за тридцать. «Староват для Ларисы,— думала Дорофея,— может, и женат, или платит алименты...» Росту он был маленького — Дорофея, сама небольшая, любила высоких; лицом некрасив, нос шишкой, лихорадка на припухшей губе. Только лоб, очень большой и бугристый, был хорош.

Лариса очень заботилась об этом гражданине и накладывала ему на тарелку громадные порции. Но Дорофея не заметила, чтобы они переглянулись как-нибудь по-особенному или тайком взялись за руки, как брались другие. «Ничего у них не будет,— подумала Дорофея.— Лариса нежная, ей нужна поэзия; без поэзии для нее нет чувства». Заметила она в нем такую повадку: когда кто-нибудь шутил, он поднимал брови, причем лоб покрывался длинными морщинами от виска до виска, и оглядывался на шутника без улыбки, с недоумением, будто не понимая, что тот сказал. «Он и смеяться не умеет, что ли?»

И вдруг он засмеялся, громко и резко, должно быть что-то найдя смешным,— Дорофея не слыхала, что именно. И сейчас же восторженно и счастливо рассмеялась Лариса и при этом порозовела вся. Значит, чувство есть все-таки?.. Он скоро перестал смеяться, а у Ларисы еще долго светилось лицо.

До чего разные характеры — Лариса и Юлька. Посмотрите, как Юлька, которой только восемнадцать исполнилось, держится с молодыми людьми. Один ей закуску подает, другой выбирает для нее яблоко получше, третий по ее приказу бежит в кухню выбросить окурки из пепельницы. Андрея она совсем загоняла. «Ешь, Андрюша!»— твердила Дорофея, но ему не до еды — Юлька приставила его к елке смотреть, чтобы от свечек не загорелось что-нибудь. Каждую минуту она его теребит: «Андрюша, ты не смотришь, поправь вон ту слева!» Она позволяет ему пошучивать над его подчиненным положением, но при этом делает такое лицо, словно говорит: «Глупые шутки, но так и быть, простим ему, ведь он еще очень молод!»

Лариса ничего этого не умеет и не сумеет никогда. Лариса не завоевательница: что само плывет ей в руки, то она и берет. Приплыл вот теперь этот Павел Петрович...

Тетка Евфалия сидела против Павла Петровича и рассматривала его без церемонии. Должно быть, он ей понравился: своей узловатой, темной рабочей рукой она протянула к нему рюмку и сказала:

— За ваше здоровье.

— Благодарю вас,— ответил он, взглянув на нее из-под собранного в складки лба; вежливо привстав, он чокнулся с теткой. Тут в первый раз мелькнуло в нем Дорофее что-то привлекательное: нет, он ничего.

А тем временем в комнате нарастал страшный шум. Начинали со степенного, хотя и веселого разговора, с чинных тостов и взаимных угощений. Дорофея не уловила, каким же образом получилось так, что нужно кричать во всю мочь, если хочешь, чтобы тебя услышали. И Дорофея кричала, спрашивая, кто еще хочет гуся, и тетка Евфалия кричала, и все кричали, кроме Павла Петровича. Как-то сразу стол покрылся поверх всего мандариновыми корками и конфетными бумажками, а в тарелке у Дорофеи оказалось вино и окурок, хотя она не курила. Плотным роем, как мошкара, что-то поднялось в ярком кругу абажура и осело на плечи, головы и мандариновые корки: конфетти. Вдруг — дымный, пляшущий свет сбоку, шипенье, сильный запах еловой смолы и тоненький, отчаянный Юлькин крик: «Андрюша!»— загорелась елка. Андрей бросился как лев и залил пожар нарзаном. Все смеялись, но притихли. Юлька влезла на стул и задула свечи.

— Достаточно!— сказала она.— Вообще, нам пора уже идти. Посидим немножко тихо и попоем. Бандьера росса. Андрюша!

Андрей послушно запел. Они любили эту песню и выучили ее по-итальянски, и пели красиво и дружно, даже Павел Петрович подпевал: «Бандьера росса»,— больше, видно, не знал слов. Потом спели «Болотных солдат», а потом перешли на свои родные: «Товарищ, товарищ, в труде и в бою» и «Мы никому не позволим». Тут и Дорофея запела, эти песни были частью ее биографии, частью воздуха, которым она дышала, она не могла слышать их и не присоединиться.

У нее был небольшой голос, но хороший слух и точное чувство хорового ритма,— сколько за жизнь перепето песен в таких же случайно сложившихся хорах!— и пела она с блестящими глазами, ощущая смысл каждого слова и разгорячаясь от этого смысла. Юлька подошла к ней, обеими руками обняла за шею и поцеловала.

— Я тебя люблю!— сказала она.

Дорофее еще хотелось петь, но кто-то сказал: «А там танцуют!»— и все стали подниматься, громко двигая стульями.

Юлька сказала: «Ребята, это свинство — все бросать на маму и тетю. Надо убрать со стола». И они быстро и весело, толкаясь в маленькой столовой и мешая друг другу, унесли посуду в кухню, подмели пол и расставили стулья по местам. В суматохе одевания Дорофея случайно подсмотрела коротенькую сцену: Лариса и Павел Петрович, оба уже в пальто, стояли друг против друга, и Лариса спрашивала упавшим голосом:

— Может быть, пойдете все-таки?

— Что я буду там делать?— спрашивал он.

— Танцевать,— сказала она нерешительно.

— Не умею.

— Я вас научу.

— Зачем?

Его глаза из-под наморщенного лба смотрели на Ларису с недоумением, почти с испугом.

Она отвернулась, натягивая перчатку, лицо у нее было жалкое. Их заслонили, Дорофея не знала, чем кончился разговор. В это время принесли телеграмму от Леонида Никитича: «Пью твое здоровье». Дана со станции Шабуничи — маленькая станция, скорые не останавливаются. Дорофее представилось, как Леня с паровоза подает человеку с фонарем бумажку и просит: «Отправь, друг, пожалуйста...»

Юлька и Андрей задержались, чтобы вымыть посуду. (Очередная Юлькина «тимуровская» выдумка.) Они мыли очень тихо; Дорофея, прибирая в комнатах, дважды заглянула в кухню — чтоб не затеяли что-нибудь предосудительное, как-никак выпили ребятишки. Но ничего предосудительного не было: Юлька, строгая, в старом синем школьном халатике поверх шелкового платьица, мыла мочалкой блюдо; Андрей, без пиджака, повязанный передником тетки Евфалии, принял блюдо из Юлькиных рук, стал вытирать полотенцем. «Не разбей, пожалуйста!»— сухо бросила Юлька. В другой раз Андрей стоял уже



в пиджаке, с приглаженной прической, и Юлька счищала пятно с его рукава... Потом и они ушли. Тетка Евфалия, расстегивая кофту, вышла из своей комнатушки и сквозь зевоту сказала:

— Воротник хороший.

— Какой воротник, у кого?— спросила Дорофея рассеянно.

— У Ларисиного,— невнятно ответила тетка.— Мерлушковый.— И, раззевавшись до немоты, ушла к себе. И Дорофея осталась одна.

Спать не хотелось. Напевая, прошлась она по светлым, вдруг опустевшим комнаткам. Еще дрожало в ней что-то, поднятое песнями, вином, молодыми голосами. Сейчас бы веселиться: ведь только начали... Чудак этот Павел Петрович, ну что за человек такой, спрашивает: зачем танцевать...

Леня ведет товарный маршрут. Выпили с Квитченко по маленькой, закусили и едут... Грохоча, мелькают во мраке платформы, платформы, цистерны. В леса и перелески уходит бесконечная дорога, могучая машина ревет, эхо откликается в лесах...

Лариса и Юлька танцуют. Юлька — курносенькая, строгая и победоносная, от кавалеров нет отбоя. Лариса вся опущенная, смотрит, танцуя, в одну точку. Павел Петрович ушел домой... Если бы не Юлька, отозвать бы тогда в передней Ларису и шепнуть: очень тебе надо на танцы, пойди с ним погулять, или здесь посидите вдвоем... Юлька запретила давать советы. Не получится у них ничего. Бог с ним, только Ларису жалко... В зале тысяча человек, оркестр, серпантин, маски...

Все на глазах, кроме одного.

И песня замолчала в ней, когда она вернулась к своему горю.

А почему, собственно, сейчас не поехать в Дом техники? Еще не поздно, концерт продлится часов до четырех...

Поеду!

Откуда-то пятнышко на блузке, надо переодеться.

Надену не костюм, в костюме я каждый день, надену синее платье.

Она уже шла переодеваться, но зазвонил телефон на столике в столовой. Голос Чуркина:

— Дорофея Николаевна? С Новым годом! Дорофея Николаевна, я тебе желаю всякого счастья!.. Что говоришь? Не слышу: шумно... У меня Акиндинов рвет трубку.

Голос Акиндинова:

— Ты что это засела дома? Стареешь, Дуся!
— А я сейчас приеду.
— Ну, молодец. Давай. Машину пошлем. Тут у нас дым коромыслом.
— Слышу, что дым коромыслом.
— То-то. Ну, мы ждем. Машина сейчас будет. Выходи.
Вот как хорошо, все приглашают, никто не забыл. «Синее платье, значит, и кружевной воротничок...»
На улице перед домом зафырчал автомобиль. В черных окошках вспыхнул и погас свет фар. Уже за нею? Так скоро? Не может быть.
Опять блеснул свет и опять погас. Фырчанье смолкло. Хлопнула автомобильная дверца.
Как будто не все дверцы хлопают одинаково. Ну, остановилась перед домом чья-то машина — не из Дома техники, для той рано,— что тут необыкновенного? По каким же приметам Дорофее вообразилось вдруг, что эту дверцу захлопнула любимая рука?
Она бросилась и припала к черному окошку.
Не разглядеть бы ничего из светлой комнаты, если бы не снег. На белом снегу видно: стоит машина. Под окном мелькнула фигура, проскрипели шаги, и с той стороны, за стеклом, приникло лицо... Как птица, пролетела она через переднюю и веранду и распахнула дверь прежде, чем он успел подняться на крылечко.
— Пойдем, пойдем!— говорила она бессвязно и горячо, обнимая его.— В столовой,— сказала она так же бессвязно, когда он хотел снять пальто в передней,— в столовую, там теплей...
Вошли в столовую. Он медленно разматывал шарф, а она стояла близко, закинув голову, и смотрела на него.
— Ты похудел. Почему ты похудел?
— Кто дома?
— Никого. Тетя Фаля, она спит... Разбудить?
— Ну, вот еще. А отец?
— Никого нет, только я.
— Удача,— усмехнулся он.— Пировала?— он увидел розовый кружочек конфетти у нее в волосах.
— Да, были гости, ушли...
— Что ж мало пировали?
— В клуб пошли, на танцы. Молодежь была.
— А!
Он не спросил, чьи же это были гости; не спросил ничего про Ларису и Юльку. Он считал их виновницами



своих семейных неприятностей — бывшую жену и девочку-сестру, которая подняла бунт против него.
Он пошел по комнатам, Дорофея за ним. Он открывал двери и заглядывал в каждую комнату, заглянул даже к спящей тетке Евфалии. Чего он искал? Оживлял ли в себе воспоминания, грустил ли о том времени, когда он тут жил, заласканный и забалованный?
— Генечка, ты, наверное, хочешь есть.
— Есть? Нет... Тебе все кажется, что если я не дома, то вечно голодный хожу, да?
Он спросил это тоном ласкового снисхождения. Каждую получку она посылала ему часть своей зарплаты, и если получка задерживалась на день-два, она волновалась — как там Генечка, не сидит ли без денег. Ей постоянно казалось, что он недоедает, что у него, должно быть, прохудилась обувь и не на что купить новую...
Она ревниво оглядела его. Костюм еще совсем хороший, и новая рубашка, сиреневая, с дымчатой полоской.
— Тебе идет эта рубашка,— сказала она и пощупала шелк — искусственный или настоящий.
— Честное слово,— сказал он,— я только для того и заехал, чтобы посмотреть на тебя, на одну тебя, можешь быть уверена.
Да, к несчастью, он ни к кому не привязан, кроме нее.
— А выпить?.. Там, кажется, осталась вишневая наливка.
— Я пил шампанское и еще что-то.
— Где?
— У знакомого тут одного. Заехал, у него встреча...
— Весело было?
— Ну, что за весело. Так — посидели, покрутили патефон.
Ему никогда не было весело.
— Ты надолго?
— До понедельника. Хотел у этого типа — где я сейчас был — выяснить насчет одной работы.
— Опять?
— Что значит «опять»?
— Опять на новую работу?
— Ты посиди-ка в той дыре, где я сижу,— сказал он, повысив голос,— да отбарабань там четыре месяца!..
— Четыре месяца! Геня! Какие же это сроки...
— Да, конечно. Всю жизнь там просидеть.
Она сказала:

— Для того и сидят люди в таком месте, чтобы оно перестало быть дырой.

— Чего ж ты не сидела в дыре? Сбежала из дыры?

— Когда это было — тридцать лет назад.

— Какая разница!

— Громадная разница. Ты великолепно понимаешь. Если бы я жила там сейчас...

— Пожалуйста, живи, если хочешь. А я не хочу.

Она опустила голову. Все слова были сказаны в свое время, и всё как об стену горох.

Он сказал с прежней снисходительностью:

— Что мне с тобой делать? Только встретимся, ты сразу со своей агитацией.

Она испугалась, что он уйдет.

— Ну-ну. Расскажи, как живешь. Из твоих писем ничего не видно.

— А какая там жизнь. Лес да снег.

— Общежитие у вас, говорят, приличное.

— Муравейник... Я не в общежитии, на частной квартире. У главбуха,— сказал он с усмешечкой,— он бы не сдал, да есть дочка, как не сдать... У них и столуюсь. Ничего кормит дочка...

— Ну, прекрасно,— сказала она с тоской,— значит, в смысле быта все нормально. Товарищи есть?

— Товарищи... Каждый думает — как бы выдвинуться. С одним вроде подружился, излияния его слушал... Изливался, изливался, потом как разнес меня на собрании!

Ни одного слова понятного. Сидят мать и сын, и оба говорят по-русски, а она его не понимает, как будто он свалился с Марса и разговаривает на марсианском языке.

— Может, он разносил за дело?.. И знаешь — я, откровенно говоря, ничего не имею против того, чтобы ты тоже выдвинулся. Что значит в наше время выдвинуться? Заработать уважение общества...

— Опять двадцать пять. Приехал, называется, повидаться с матерью...

Громко позвала автомобильная сирена.

— Это за мной! Я и забыла... Выйди, скажи, что я не поеду... Нет, постой, я сама, ты простудишься без пальто!

Она вышла к водителю, поздравила его с Новым годом и сказала: «Извините, не могу поехать»...

На улице потеплело. Шел снег. Крыша Гениной машины уже побелела. При виде этой машины, стоявшей



чуточку накренясь на мостовой, у Дорофеи возникла новая тревога.

— Геня, знаешь что — надо поставить машину во двор.

— Зачем? Ключ у меня.

— Вдруг уведут, тогда что?

— Не уведут. Ворота открывать — целое дело.

— Я открою.

— Да не стóит, мать. Ничего не случится. Я скоро поеду.

— Чья это машина?

— Директорская.

— Он разрешил взять?

— Без разрешения из гаража не выпустят.

— И он знает, что ты уехал за двести километров?

— А какое его дело?

— Если ему завтра понадобится машина?..

— Черт с ним, обойдется «эмкой». Такое хамло, ты бы видела...

Он лежал на ее постели, на покрывале и кружевных накидках, свесив ноги и закинув руки за голову.

— Вот когда шампанское начинает действовать...

— Постлать тебе постель? Разденься и спи. Ты устал.

— Нет, я так...— пробормотал он.— Я немножко...

Что-то еще надо сказать, о чем же она забыла ему сказать...

— Да! Геня!

— А?

— Тебя сегодня спрашивал Саша Любимов.

— Сашка? Что ему?

— Не знаю, просто спрашивал... Генечка, у тебя и там все кончено?

Он зевнул.

— Да нет, зачем же. Она — ничего... Беспокоится?

— Должно быть.

— Я сейчас к ней. По крайней мере без... нравоучений...

Он спал.

Она сидела возле него, сцепив пальцы на колене.

В спаленку падал свет из столовой. Полусумрак скрывал то, что было некрасиво в лице Геннадия,— невыразительность, равнодушие, распустившиеся во сне губы, капли пота над верхней губой... Дорофея видела только то, что красиво: прямой профиль и прямую линию бровей под высоким лбом, темно-русые волнистые пряди на по-

душке и большие веки, за которыми, казалось, скрываются умные и гордые глаза. И, горюя о нем, о его неустроенной жизни, она не могла не любоваться им.

В окраинной ночной тиши еле уловимо — скорее угадываешь ее, чем слышишь,— звучала музыка. У соседей включено радио. Люди празднуют. Праздник по всей родимой земле, музыка в домах и в эфире.

*Глава вторая*

## ТЕМНАЯ ДЕВКА

В анкетах, в графе «социальное происхождение», Дорофея писала: «Крестьянка, середнячка».

«Место рождения: село Сараны».

Это в двенадцати километрах от железной дороги. Теперь там шоссе и ходит автобус, и есть телефон, и лекторий, и трансляция из Москвы и из области, а когда Дорофея была маленькая, даже школы не было. Иной раз вечером — уже темно в избе и велено спать — заиграет на улице гармонь, Дорофея спрыгивала с полатей, босиком перебегала впотьмах через избу, льнула к окошку. Из-за перегородки раздавался окрик матери:

— А ну, на место!

Дорофея нехотя взбиралась на полати. Лежала и слушала, как удаляется гармонь: тише, тише... И нет ничего. Тишина огромная, неподвижная. Все умертвила, приказала: не надейся, ничего не будет... Господи, господи, хоть бы случилось что-нибудь. Хоть бы волки повыли, что ли. Иногда они подходят к околице, воют; тогда мычит и мечется корова и овцы поднимают возню за стеной, во дворе... Да есть ли что на свете, кроме села Сараны? Или мы одни между землей и небом? Голос человечий, запой, закричи или хоть выругайся! Чтоб не так пустынно, не так скучно было Дорофее!

Но вот далеко, далеко, далеко — слышится или мерещится: тук-тук-тук... тук-тук-тук... Может, это сердчишко твое стучит? Нет! Вон опять: тук-тук-тук...— уже отчетливей и ближе. Это поезд проходит за лесом, он еще бог знает где, но идет к нашей станции, я услышу, как он загудит, подходя. В поезде едут люди, всякие люди едут во всякие места, мы не одни на свете! Окна у поезда светлые; свет бежит по снежным лапам елей, протянутым к дороге; бежит, бежит — не поймаешь, не остановишь... Вон — загудело: ту-тууу!— легко и неспокойно... Хорошо! Вырасту большая и поеду на поезде...



Кое-что интересное иногда случалось все же. Вот, например, какую однажды историю нечаянно услышала Дорофея, и не про кого-нибудь, а про отца и мать. Бабы, разговаривавшие между собой, не знали, что Дорофея тут, поблизости; а она слушала, притаясь и обмирая. Вы подумайте: мать крысиный яд пила. Из-за отца. Полюбила его, а он жениться ни за что; она и выпей яд. А он был гуляка и изменщик, однако испугался и женился. Дорофея родилась после свадьбы через четыре месяца. «Здорова́ будет,— заключили бабы,— хорошая порода, ничто их не берет». Дорофея несколько ночей заснуть не могла — воображала, шептала, переживала эту старую историю.

Один раз отец пошел на охоту с Фролом, соседом. Много ли они выпили и из-за чего поссорились, неизвестно, только отец вернулся избитый, в синяках и крови. Мать поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку к носу и одно сказала:

— Шли на охоту — попали на гульбу, эх, охотники!

Он не отвечал, стонал и сплевывал. От него густо пахло сивухой. Дорофея смотрела во все глаза. Она не ужасалась и не осуждала: отец гулял, стало быть — веселился; а кровь, стало быть, плата за веселье. Что-нибудь должно случаться, без этого как жить?

Подружка прибежала впопыхах и сказала Дорофее:

— Твой папка дяде Фролу глаз вышиб, айда смотреть?

— Айда!— сказала Дорофея.

И они побежали смотреть на Фрола.

Ночью отец крепко спал, а мать сидела на лавке, положив рядом топор: она думала, что Фрол придет убивать ее мужа. Дорофея, свесив голову с полатей, прислушивалась: не слыхать ли шагов. То-то было бы интересно, если бы Фрол пришел, а мать зарубила его топором... Но не пришел никто. Отец, проспавшись, стал починять сбрую. Фрол долго ходил с повязкой на глазу, потом стал ходить без повязки.

Беглые с каторги проходили через эти места. Был обычай: под большие праздники в клети на окошко клали ломоть хлеба или пирог. Как-то на рождество, чуть рассвело, Дорофея вышла — а хлеба на окошке нет. Дорофея бросилась к матери:

— Мама, вы клали хлеб для божьих людей?

Мать накинула тулуп и пошла в огород, за ней — Дорофея. Вышли и увидели: к окошку клети вели через суг-

роб глубокие следы. Мать перекрестилась, глаза ее подобрели. Они стояли вдвоем и смотрели на следы, уходившие по огороду,— божий человек, явно, перелез через изгородь и ушел задами. В молочной рассветной дымке терялся его путь; смутно белели сквозь дымку, все в инее, низенькие рябины за огородом... Куда ушел, что его дожидает, кто он такой? «Может, злодей, зарезал кого»,— подумала девчонка Дорофея, и опять в ее сердце не было ужаса, а только любопытство. Выросту большая и тоже уйду куда-нибудь...

Мать была старой веры. Ее меньшая сестра Евфалия жила в скиту верст за сто от села. Совсем еще молодая, с пухлыми щеками и румяным ртом, всегда открытым, как будто Евфалия всему удивлялась. «Грех искупает»,— сказала однажды мать при Дорофее. Дорофея быстро спросила:

— Какой грех?

Мать так же быстро ударила ее ложкой по лбу:

— Я тебе позволила спрашивать?

Дорофея спросила старших девочек, и те нашептали ей, что у Евфалии был полюбовник на станции и за это Дорофеина мать определила Евфалию в скит.

Изредка Евфалия приезжала в гости. Толстенькая, платок ниже бровей,— смиренно копошилась у печи, помогая старшей сестре. Говорила мало, и все неинтересное. А Дорофея рассматривала ее и мечтала: у тетки Евфалии тоже была любовь! Как это — любовь?.. И у меня будет. Что делают, когда любят, какие слова говорят?.. От любви в скит идут; ядом травятся... Я не хочу. У меня будет не так. А как?..

А бабы говорили, что Ольга прогнала Евфалию в скит, приревновав к ней мужа.

Отцу тоже было скучно дома; он тоже, как Дорофея, норовил уйти и поискать веселья на стороне. Украдкой они с Дорофеей переглядывались и отводили глаза. Так ни разу и не поговорили по душам. Девочке полагалось расти под присмотром матери... Любил ли он Дорофею? Любила ли она его? А кто знает. Жалела — вот это верно будет: жалела, как маленького. Ей хотелось, чтобы на охоте ему была удача и он пришел веселый, чтобы мать сшила ему красивую рубаху и отпустила погулять.

Его забрали на войну и убили.



Мать надела черный платок и не снимала его до самой смерти. Все ей стало ни к чему, когда убили отца. Прежде, бывало, корова отелится — войдет мать в избу довольная и скажет: «С праздником вас, дому прибыль». Теперь — всё пропади, она бы не моргнула. Даже била Дорофею молча, без наставлений, равнодушно исполняя материнский долг. Большие события начинались в России, далеко от села Сараны,— мать и внимания не обращала. Целый день она работала и Дорофею заставляла работать — хозяйство было все же порядочное, без мужика трудно,— но мало проку от работы, в которую не вложена душа. Дом не держался бездушными стараньями, хирел. Пала лошадь, осели ворота...

Дорофея полола, жала, кормила скотину, убирала навоз, мыла избу и не понимала, зачем это нужно, кому от этого польза и радость. Чтоб околели те овцы, убиваться около них... Жизни хочу!

Жизни не было. Одна отрада — пошлет иногда мать на станцию продать молоко.

Дорофея на станции. Стоит поезд, проходят солдаты. Один говорит громко:

— Ну, Ленин их приберет к рукам!

Так в первый раз Дорофея услышала это имя.

Тогда она не знала, чем станет для нее Ленин. Ничего она тогда не знала. Она была темная девка, алчущая жизни, вот и все.

В Саранах еще не разобрались толком что к чему, а по железной дороге уже катила Революция. В Саранах молотили новый хлеб, а на станции стреляли: ясно и нестрашно доносилась сквозь лес трескотня пулемета. У Дорофеи глаза разгорались: «Ух, девки, что делается, что еще будет...»

Из города приезжали люди, говорили речи. Советская власть — сулили — даст новую жизнь; а старая жизнь рушится. Так ее, круши в щепу, Дорофея согласна! «К гражданам России»,— громко читали листок на сходе. «Извиняюсь, гражданочка»,— сказал ей кто-то, протискиваясь в толпе. Она оглянулась и вдруг сообразила, что в листке написано и для нее, что она тоже не просто так себе Дорофейка, а гражданка России. Ей стало чудно́, она даже засмеялась...

Село Сараны, нынче колхоз имени Калинина, находится в области, которая побывала под Колчаком. Не-

сколько раз жители испытали переход от одной власти к другой.

По станционной платформе шли, отстукивая каблуками, два офицера: форма не наша, хорошие ботинки с шнуровкой до колен, в руке у каждого короткий хлыст. Они шли как начальники, переговариваясь на чужом рассвистящем языке. И недоуменно стояла Дорофея, рассматривая их: здесь живут граждане России; по какому такому праву эти свистуны в женских ботинках ходят тут как начальники?..

Но, по правде сказать, очень мало она тогда думала; только глазела и чего-то ждала.

Красные наступали и отступали, мать не велела ходить на станцию — под пулю подвернешься; но Дорофею так и тянуло к этому обстрелянному, загаженному, опасному месту. Кого там не увидишь: то матроса с ленточкой на бескозырке и с гранатами у пояса; то девицу-отроковицу в шинельке и папахе, коса из-под папахи, кобура с пистолетом — фартит же кому-то,— то оборванных страшных мальчишек, поющих: «Цыпленок тоже хочет жить...»; то зареванную дамочку, которая визжит и выкликает, как кликуша: «Обобрали, помогите!..» Солдат было больше всего, но и штатских с винтовками сколько хочешь; в их числе какие-то дремучие люди, бородачи вроде Фрола Одноглазого, и так же, как Фрол, злые на большевиков. И тут же перли, не страшась смерти, спекулянты, кричали, вылезая из вагонов: «Налетай!», выменивали женскую одежу на сало и крупу и с одежей разносили по селам сыпнотифозную вошь.

Мать слегла. В беспамятстве она пела песни, те, что отец, бывало, пел загулявши. Потом смолкла, стала глядеть разумно и сказала:

— Недолго он побыл без меня...— Стихла и вытянулась. Дорофея видела, как отхлынул живой цвет от ее лица и словно белый воск разлился под кожей. Старуха соседка, бывшая в избе, пальцами осторожно надавила матери на веки — закрыла ей глаза. И Дорофея закрыла глаза и положила голову на подушку рядом с головой матери: пришел ее черед болеть, дольше она не могла держаться на ногах...

Очнулась на той же кровати, под материнским одеялом. Что-то тяжелое и мокрое лежало на голове, давило. Дорофея хотела потрогать — что это там лежит; рука не поднялась... Посреди избы стояла тетка Евфалия, румяная с холоду, и разматывала платок.



— Не спишь?— спросила она.

— Не...— ответила Дорофея слабеньким голоском. Евфалия, не торопясь, складывала снятый платок; глаза ее со вниманием обошли избу.

— Ольгу-то без меня похоронили!— сказала она жалостно, а сама все шарила глазами по избе. Не нашарив ничего, сказала: — Что ж, они тебя ничем не кормят, никак?

— Что у меня на голове?— спросила Дорофея.

— А мешок со льдом, жар вытягивать... Оставить аль скинуть?

— Ски-и-инь!— приказала Дорофея. И поняла, что с теткой ей будет вольготно.

Вспомнила, что она теперь круглая сирота, заплакала, но слезы текли недолго. Солнышко играло на полу. Явственно притекала сила. Дорофея приподняла руку, пошевелила исхудавшими пальцами, обрадовалась, что они шевелятся... Захотелось есть.

Евфалия сняла мешок с ее головы и полезла по полкам, потом в печь. Нашла на полке что-то съестное и сжевала, чмокая. Из печи достала теплого молока, дала попить Дорофее и напилась сама.

Дорофея поправилась, и стали они с теткой жить вдвоем.

Хозяйствовали помаленьку, только чтобы не голодать. Щи варили редко: нельзя, что ль, без щей обойтись? Обменяли последнюю овечку на мед и кушали хлебушко с медом.

Эта зима была тихая, все ворота на запоре, в жарких избах под сугробами мерли от сыпняка люди. Красных было не слыхать, беляки заглядывали в Сараны редко — боялись заразы.

Первое время Евфалия говорила:

— Вот выйдешь замуж — я домой ворочусь.

Домом она называла скит.

А потом сказала соседке:

— Видно, так мне с Дорофейкой и жить. Скит-то красные все одно закроют.

— Когда они еще воцарятся, красные-то,— сказала соседка,— да и воцарятся ли, нет ли, еще чья возьмет.

— Ихняя возьмет,— сказала Евфалия,— недолго уж, везде белякам приходит край.

Соседка покосилась:

— Это кто же тебе сказал?

— А Фрол Одноглазый. Индейка, говорит, моя судьба, только, говорит, и останется — в банду податься, и ты, говорит, Фалька, со мной иди, потому что скит большевики обязательно закроют.

Евфалия всегда говорила ровным голосом, степенно и рассудительно, а глупость из нее так и сочилась, как жир из баранины.

Дорофея спросила ее про полюбовника.

— Был!— с готовностью отвечала Евфалия.— Был, как же.

— И ты его любила?

— А конечно, любила.

— Сильно, сильно любила?— спросила Дорофея и от чувств схватилась за щеки обеими руками.

— Ужасть как.

— И он тебя любил?

— А как же: и он любил.

— И бросил тебя!

— Вот уж неправда: не бросил. Меня Ольга в скит отдала. А он, видишь ты, женатый был, детный.

— А тебе не хотелось в скит?

— Неужли ж хотелось?

— Зачем же пошла?

— Как же не пойти, когда она велела?

Дорофея помолчала, рассматривая тетку.

— А за что ты его любила?— уже без восторга спросила она.

— Дык — мужчина,— сказала Евфалия.— Как не любить?

Дорофея перестала спрашивать. Теткина любовь была неинтересная...

Весной, когда стаял снег и подсохло, она пошла с заступом на погост и привела в порядок материнскую могилу. Могильный холм покривился, осел, выглядел сиротливо и жалко; она набросала на него земли, сровняла, заступом срезала прошлогоднюю бурую траву кругом. Утро было серое, без ветра, сторожкое; на мокрых ветках ивы серебрились проглянувшие барашки; от мокрых веток, от сырой земли шел острый тревожный запах. В каждой жилке своей, в ладных своих движениях, в дыхании Дорофея чувствовала крепость и радость; и томила ее кладбищенская тишина. Ей вдруг захотелось сию минуту куда-то бежать, объявить всем людям, что она живая-здоровая, что ей чего-то нужно — чего, она не знает; может, люди скажут... Она загрустила и задумалась, опершись на заступ. Могила лежала у ее ног. Деревянные кресты, прошлогодняя бурая трава. Ничего-то они не видели, те, что лежат под крестами. Прощайте, мама, бедная вы моя...



За тихими серыми днями пришла настоящая весна, щедрая на солнце и дожди. Девки ходили остриженные после тифа, прятали стыдливо головы под платками, пели про любовь. Дорофея переболела раньше других, у нее волосы уже подросли, кудрявились, нежно щекотали ей уши, от щекотки по телу пробегала теплая волна...

Трава на лугах поднялась выше пояса. Евфалия сказала:

— Шляешься, Дорофейка, на станцию дуриком, безо всякой пользы. Взяла бы косу да накосила где при дороге.

— Нешто дают там косить?— спросила Дорофея.

— Подальше от станции, при дороге, всем дают нынче, все одно красные завладеют, Фрол Одноглазый сказал.

Дорофея взяла косу и пошла на станцию.

Там было пусто, не видать никого. Выглянул телеграфист из окошечка и спрятался... Дорофея пошла вдоль полотна и вышла на широкий луг.

«Накошу, а убрать не дадут, врет, поди, Одноглазый»,— подумала она, но все же стала косить.

Трава была сочная, ложилась легко. Медовый запах стоял над лугом; сквозь облако благовонное шла Дорофея. Покачивались кругом красные головки клевера, голубые метелки колокольчиков. Желтая бабочка пролетела перед лицом Дорофеи, часто взмахивая крылышками. Шмель висел над раскрытым цветком, густо гудел, будто возвещал — вот, дескать, как мне хорошо. А наверху было небо, большое, чистое, торжественное, синь и золото лились из него празднично и изобильно. Косить было весело. Не дадут убрать — запла́чу, что ли. Холера их возьми, чтоб я из-за них плакала. Выросла трава, косить время, я и кошу. Вот хочу — и кошу.

Косила, разгорелась, не замечала ничего. Подняла глаза — глядь, поезд приближается: совсем уж близко подошел, а она не слышала... Тихо шел поезд: какой-то молодой человек смотрел на Дорофею с паровозной лесенки. Лицо красивое; от бровей вниз загорелое, а лоб белый. Непокрытые русые волосы волной, молодецкие плечи...

(А он увидел — и потом любил это рассказывать: на пустынном лугу — ни души кругом — стояла, вся в цветах до пояса, небольшая девушка,— такая, что рисуй картину, и только. «А что, Дуся? Преувеличиваю разве? Очень

была хороша. Не красавица, понимаешь? А как объяснить...» Объяснить он не умел; но с умилением вспоминал те жарко раскрытые глаза, радостное ожидание в каждой черте. «И волосики эти из-под платочка — колечками, и колечко играет на ветерке... Не веришь, а я сразу тогда подумал: такую иметь при себе — не соскучишься... Я даже во сне потом тебя видел...»)

Он смотрел на Дорофею, и она на него. Он поднял руку, махнул — и все: проехал. Поворачивая голову, она глядела вслед прикованным взглядом, пока его не скрыл поворот дороги. Тогда уж заметила, что мимо нее плывут тихим ходом товарные вагоны, а в раскрытых их дверях — люди с винтовками. И на многих — буденовки со звездой...

Она села в траву.

Показался и проехал. Куда поехал-то, белым в пасть. Может, и жив не будет.

А и будет жив — больше не встретимся.

А вдруг да встретимся?

Я таких красивых не видела.

Волосы, наверно, мягкие, как шелк.

Лоб белый, а брови в одну полоску.

Потянуло прилечь, она прилегла. Лень вдруг, истома — ни косить, ни идти домой.

Так душисто тут, славно, лежала бы и лежала... Почему так плохо устроено на свете, что я тут, а он показался — и нет его?

Ведь тихо поезд шел. Эх ты, не сообразил, было б тебе соскочить!

Протянула руку, сорвала травинку, прикусила: горько...

Ты моя симпатия.

Попробуй, какая горькая травинка, а цветок сладкий.

Так она шептала и воображала, лежа в траве, от солнца перед глазами плыли черные круги. И воображением разожгла в себе ужасную любовь.

Вернулась домой не скоро, уж солнце спускалось. Тронула ворота — заперты. Окошки тоже — наглухо. Заперто, однако, изнутри: значит, Евфалия дома. Дорофея постучалась: ни ответа ни привета. Застучала сильнее, потом, разгневавшись, хватила так, что ворота задрожали. Вышла соседка из ближней избы, сказала, посмеиваясь:

— Напрасно, Дорофея, ворота ломаешь. Не отворит она.



— Как это не отворит? — сказала Дорофея.

— А так. Ты обожди на огороде, а то у меня посиди.

Дорофея молча подняла косу с косовищем, забарабанила в окошко. Сквозь мутное стекло видно было, как по избе метнулся кто-то. Спустя минуты две — Дорофея все барабанила — послышался стук засова, Евфалия отворила ворота и сказала рассудительно:

— Что это, как ты тарахтишь, так и окошко недолго выбить.

Дорофея, сильно дыша от гнева, вошла в избу и увидела на гвозде фуражку.

— Это чья же фуражка?— спросила она.

— Ах ты господи,— сказала Евфалия,— Фрол Одноглазый забыл.

Дорофея громко засмеялась и следом заплакала. Она не знала с чего, но слезы полились ручьями. Мечта в ней была оскорблена... Евфалия стояла, открывши рот.

— В око... в окошко выпустила?— сквозь смех и плач спрашивала Дорофея. И вдруг закричала как бешеная:— Ты мне бандитов сюда водить не смей, не позволяю, моя изба!

На другой день пришел в Сараны красный отряд, и окончательно утвердилась советская власть.

Зимой Дорофея стояла на станции в ряду других девок и баб. Воздух был жгуч, как самогон, из ноздрей рвался пар, снег сверкал, скрежетал, взвизгивал. Дорофея была одета тепло: в кожушке, хороших валенках, поверх пухового платка — толстая шаль. К тому же на груди под кожухом у нее была спрятана буханка хлеба — может, случится на что-нибудь обменять,— теплая, недавно из печи, согревала... Корзину с молоком, разлитым в бутылки, Дорофея держала на руке: поставить нельзя — моргнуть не успеешь, схватят; управы на вора искать негде. Бутылки были укутаны тряпьем, чтобы молоко не замерзло.

Из-за сосен, за поворотом, показалось густо-розовое в морозном солнце облако: подходил поезд. Показалась голова паровоза — черная, огнедышащая; бабы и девки глядели навстречу. Ничего неизвестно — может, пройдет мимо, а может, остановится — на пять минут, либо на два часа, либо на двое суток: едет Россия в теплушках без расписания... Поезд остановился, теплушки открылись, из них дохнуло теплом и вонью. Выскочили люди, начался торг.

Всего один пассажирский вагон был в поезде, ближний к паровозу. Из пассажирского вагона вышла молодая городская женщина с голубым чайником; из-под старенького пальто у нее выглядывал белый халат. Дорофея налила ей молока в чайник. За нею подошел какой-то чумазый — лицо в копоти, руки черные. Обтертая кожанка, половина пуговиц оборвана; буденовка надвинута на черный нос. Дорофея подняла бровки, взглядом спросила — чем будешь расплачиваться? Чумазый сунул руку в карман кожанки, показал грязный бумажный ком: дензнаки. Дорофея дала ему бутылку молока. Белыми зубами чумазый вытащил пробку из горлышка и стал пить, закидывая голову. Рука у него была маленькая, шея статная, девичья. И рот, обмытый молоком, был свежий, как у девицы.

«А хлеба нет у него»,— подумала она. Но жалко было отдавать теплую, пахучую буханку за дензнаки, а кроме дензнаков с него что возьмешь...

В другом конце ряда послышались знакомые выкрики: «Кому, кому, налетай, налетай!» Вдоль ряда шел оборванец с щетинистой мордой; держал перед собой, встряхивая, красную юбку. Не юбка — диво, шелк на солнце переливался и пылал — глазам больно; по подолу оборки с зубчиками — не иначе, вытряхнули эту красоту из сундука у старорежимной барыни. Сразу женские руки протянулись, ухватили юбку. «Если никто не купит,— подумала Дорофея,— я возьму за буханку». Чумазый вдруг оторвался от бутылки и сказал обрадованно:

— Да не может быть! Та самая!

Она повернулась к нему и узнала. Сердце рванулось, заколотило в буханку... «Да нет, быть не может. Обозналась... Да неужто!»

— Ей-богу, она!— протяжно повторил он. Черной рукой сдвинул платок с лица Дорофеи, освобождая подбородок,— рука коснулась ее щеки, по спине Дорофеи, под теплынью кожуха, рассыпался мороз...— Закуталась, что и не узнать, я думал — тетка какая-то... Мы же знакомые, помнишь?

Он, точно он. Ошибки нету: это он, которого она полюбила. Почему он черный такой, ровно из трубы вылез... И все равно ей почудилось, что в морозном воздухе пронесся тот медовый запах луга...

— Это, знаешь, неспроста,— сказал он, не сводя с нее глаз.— Это обязательно что-нибудь означает...



— Не пойму, что говоришь,— ответила она в смятении.

(Что-то отвечать надо же.)

— ...что мы опять встретились. Судьба, значит! Ты как думаешь?

— Мало ли с кем встречаешься,— сказала она,— ничего тут такого нет.

(Так полагалось себя держать, когда вяжется чужой парень. На всякий разговор — свои законы.)

— Да ты меня не узнаешь, верно!— сказал он.— Помнишь — летом — поезд шел, а ты косила. Ну-ка, вспомни!— И сорвал с головы буденовку. Русая волна заискрилась на солнце золотыми искорками — близко, хоть руку протяни и тронь. Красуясь, парень тряхнул головой. «Привычный заманивать»,— подумала Дорофея, и лютая ревность затемнила ей весь белый свет.

Подошел красноармеец, велел налить ему молока в фляжку. Чумазый не отходил, стоял рядом и все говорил про судьбу. Дорофея сказала законные слова:

— Нам это ухажерство известно. Ты мне торговать мешаешь, понял? Допивай и отдавай бутылку.

Он послушно допил, вытер рот рукой, размазав копоть по щеке, и сказал задумчиво:

— Так поедем, красивая, со мной?

— Конечно, вот сейчас!— отозвалась она. Взглянула на паровоз, попыхивающий розовым дымом, и подумала: «А если поехать?»

— Ну, что тебе тут!— сказал он.— Коров доить, молоком торговать... Муж есть?

Он спросил серьезно, как о деле.

И, вдруг забыв все законы, она ответила беспомощно:

— Нету...

— Тогда в чем дело? А?

Да, вот мне так страшно, что вся окоченела сразу, будто я голая на морозе, а он ведь шутки шутит: пустопорожний разговор — пошутим и разойдемся. Он уедет, а мне вспоминать...

— Ты, должно быть, пьяный напился,— сказала она.

— Эх,— сказал он,— живем один раз, сегодня я есть, завтра меня нет... Устрою по-буржуйски, в служебном вагоне.

Впереди, в голове поезда, крикнули: «Ленька!» Из тендера высунулся другой чумазый, заорал: «Куприянов!» «Его зовут»,— почувствовала Дорофея.

«Уж больше не встречу»,— подумала она.

Ей представилось, как она в чужих санях едет домой по длинной белой дороге, где каждая сосенка знакома наизусть, рядом едут соседки и говорят о красной юбке, а позади пустая станция, поезд ушел...

— Ну, так как же? Последний раз спрашиваю.

— Интересно: зачем это я поеду с тобой?

— Как зачем? Счастья искать.

— Ты мне, что ли, пособишь найти счастье?

— А что, пособлю. Не надеешься на меня? Напрасно.

— Куприянов!!— кричат опять.

— Видишь,— сказал парень,— без меня и поезд не пойдет, а ты не надеешься.— Он твердо взял ее за руку.— Поехали!

Паровоз сильно зашипел.

— Ну!— сказал парень и повел Дорофею.

И она пошла, прижимая к себе корзину, смеясь и не веря, что поедет с ним. Опомнилась в вагоне. Поезд шел, стучали колеса, за морозным окном мелькали и мелькали, одна как другая, сосны, ни одного человека рядом не было.

Ничего она не сделала особенного: доедет до ближней станции, сойдет и вернется домой.

И конец рисковой шутке.

Что она — вправду сбежала бог знает с кем?

Вот еще.

Сойдет и пересядет во встречный поезд, а то и пешком дойдет. Харчи есть: молоко, хлеб. Денег есть сколько-то...

Не скисло бы молоко: жарко в вагоне.

Куприянов закинул корзинку на верхнюю полку; Дорофея переставила вниз, под лавку: внизу прохладнее.

Она сняла рукавицы и спустила с плеч душную шаль. Кожух снимать не стоило: как будет остановка, она сойдет.

Она сидела на лавке, крепко сложив под грудью руки, глаза из-под низко повязанного пухового платка горели тревожно и озорно. Веселый холод бился в груди.

Потому что она знала, что это выдумки — насчет ближней станции; притворство, больше ничего. На черта ей ближняя станция. Поехала Дорофейка с Ленькой Куприяновым счастья искать. Ту-туух!— легко и неспокойно кричит впереди паровоз. Надежда в его крике и устремление...



Соображай, Дорофея: это тебе не то что мечтать, на травке лежа. Там, на лугу,— видение было, как во сне: привиделось видение, махнуло рукой... А Ленька Куприянов — совсем другое, живой и страшный парень; пахнет железом и сманивает девок. Настороженная, вся, как еж, собравшись в комок, сидела Дорофея на лавке, ехала неизвестно куда... Ну, Ленька! Как же у нас будет дальше? Велел надеяться... Вот — понадеялась. Да не на тебя: на себя понадеялась. Чего там: глупей других, что ль, Дорофея? В случае чего —«будь здоров», и пошла за счастьем своей дорогой... Только держись, Дорофейка, чтоб не погибнуть нам с тобой по-глупому, как дуры гибнут.

Однако что ж так сидеть.

Дорофея вышла из тесной загородки, куда посадил ее Ленька, и огляделась.

С правой стороны узкого прохода была дверь, через которую она вошла в вагон, а с левой стороны — только сейчас она увидела — торчали наверху два страшенных заскорузлых сапога, перегораживая проход.

На крюках висела одежа — все рвань. Висел фонарь и в нем желтая свечка.

И грязища, мои матушки.

Дорофея пошла направо и вышла в тамбур. Открыла дверь на площадку — грохот колес бросился ей навстречу вместе с ледяным ветром. На ледяном ветру стоял, докуривая закрутку, дядька в шинели, с пулеметной лентой через плечо. Не повертывая головы, невнимательно взглянул на Дорофею прижмуренным от махры и ветра, плачущим глазом... Она с усилием закрыла тяжелую дверь, которую ветер толкал на нее, и вернулась в вагон.

Ей навстречу двигался по проходу другой дядька, в старой железнодорожной тужурке и фуражке, с длинным желтым лицом, поросшим серой щетиной. Высоко на лбу, под козырьком фуражки, были у него надеты очки, из-под очков плачевно свисали к вискам желтые брови.

— А, вот она сестренка!— сказал он.— А я думаю — где ж она девалась... Покажись. Ничего Ленька сестренку подшиб, разбирается хлопец...— Дорофея застыла перед ним, пламенно краснея.— Ты вот что, сестренка, взяла бы да пол помыла, я тебе ведерко дам, только тряпку пошукай, тряпки нет у меня... Садись-ка!— Дорофея села.— Сиди, нигде не девайся, я схожу за ведерком.

Он ушел, и долго его не было, потом вернулся, бормоча:

— Что ты скажешь, было и нет, не иначе — хлопцы утащили на паровоз... У фершалицы спроси,— он мотнул головой в сторону сапог, торчавших с полки; за сапогами была запертая дверь.— Фершалица там едет, у нее ведро, брат, белой эмали! Скажешь — на подержанье, вымоем и отдадим, мол.

— Лучше вы сами,— сказала Дорофея.

— Я у нее и так с утра до вечера все прошу,— сказал дядька.— Другого у нас с ней и разговора не бывает. Свечку вон дала, а то бы и посветить нечем. Скажешь вежливо — извиняюсь, мол, пожалуйста. Она, брат, с перцем, фершалица.

Дорофея прошла под сапогами и вошла в соседнее отделение. Там было чисто, пахло лекарством; на окне висела белая занавесочка. У занавешенного окна лежал человек с толсто забинтованной головой. Под ним был тюфяк и простыня, а сверху пушистое одеяло. Напротив сидела и свертывала бинт та самая молодая женщина в белом халате, которая давеча покупала у Дорофеи молоко. И тот самый голубой чайник стоял на столике.

— Вы ко мне?— спросила женщина.

Она была первым человеком, который сказал Дорофее «вы».

Дорофея постыдилась так сразу взять и сказать: «Дайте ведро». Она кивнула на мужчину и спросила:

— Раненый?

— Говорите тише,— приказала женщина.— Тяжело раненный.

— Поправится, бог даст,— сказала Дорофея, глядя на серый нос и серые каменные веки раненого.

— Ему операция нужна,— сказала женщина.— Дорога для него мучительна, а мы тащимся...

Она говорила еле слышно и строго, но было видно, что она рада новому человеку и разговору.

— Еще хорошо, что едем без происшествий, ведь тут бандиты кругом.

— Чужой или сродник вам?— спросила Дорофея.

— Командир нашего полка,— ответила женщина.

Раненый приподнял веки при этих словах и шевельнул губами.

— Товарищ фельдшер!— позвал он хрипло.— Вы тут?

Женщина стремительно склонилась к нему.

— Пить!



Она налила из чайника в кружку, приподняла раненого, ловко подсунув ему руку под плечи, и поднесла кружку к свинцовым, отчетливо вырезанным губам. Он толкнул кружку, молоко потекло по одеялу.

— Арестовать велю за эти штуки! — сказал он.— Ты зверь!

— Можешь хоть расстрелять,— сказала она молящим, задыхающимся голосом.— Я не буду твоим убийцей.

— Она не понимает!— пожаловался он Дорофее.— Я на этой бабьей диете ослаб хуже маленького... Тебе был приказ купить на станции!

— Жизнь моя!— сказала женщина, падая на колени.— Не говори об этом, тебе же нельзя волноваться!

— Ну, прошу тебя!— сказал раненый.— Ну, умоляю! Маруся! Ну, немножко! Глоточек! У меня, вот увидишь, совсем другой будет аппетит!

— Да ненаглядный же ты мой!— по-голубиному стонала женщина, гладя и сжимая его руки.— Да как же я смею, когда доктор запретил! Да лучше я в лоб себе пулю пущу, мой единственный, мой герой, мое счастье! Да не терзай же себя, да посмотри же на меня...— И зашептала, положив голову ему на руки. Голова была белокурая, чисто-чисто вымытая, с тонким пробором от лба до худенького затылка; косы уложены в два венца... Молоденький румяный боец с винтовкой приоткрыл дверь, яркими голубыми глазами серьезно посмотрел на раненого, на фельдшерицу, на Дорофею — закрыл дверь без стука. Дорофея, пятясь, выскользнула в другую дверь.

— Не дала?— встретил ее дядька с желтыми бровями.— Буржуазная сущность, вот что я тебе скажу! Бинты на спиртовке варит, чистый денатурат жгет... Жизнь!

— Дайте скребок, если есть,— сказала Дорофея.— Я скребком приберу, а то ступить гадко.

«Ох, вот это любовь!— думала она, скребя грязный пол.— Какие слова!... Ох, хотя бы он поправился, а то как же она без него?..»

Солнце ушло за лес. Стало быстро темнеть в вагоне. Дорофея, прибрав по возможности, постояла у окна, поглядела сквозь тонкое морозное кружево, как бегут мимо сосны да столбы. Поезд пошел медленнее и остановился, заскрежетав железом. По обе стороны было все то же — сугробы, сосны... Близко скрипел под ногами снег, разговаривали люди. Дядька с желтыми бровями прошел по проходу, горбя узкую спину.

— Дядя, это станция?— спросила Дорофея.

— Сиди, сиди...— пробормотал он на ходу.— Сиди, не вылазь, никакая не станция, вот я его на паровозе пошукаю...

Он ушел, и сейчас же явился, сатаны чернее, Ленька Куприянов. Громко потянул носом и стал топать ногами, сбивая снег с валенок.

— Красный сигнал,— пояснил он.— Постоять придется... Перерыв, значит, на вечерю. Даешь молока, хозяйка!— И обнял ее.

Не то застеснялся, не то оробел, оставшись с нею вдвоем, с глазу на глаз, в сумерках, и, чтобы скрыть стеснение, говорил развязно и обнял развязно. Но она решила твердо, что все будет так, как захочет она, и не будет никакого безобразия.

— Зажги свечку, умойся,— сказала она.— Как будешь есть впотьмах и такими руками? Учили тебя чему-нибудь?

Он как будто удивился, но сходил вымыл лицо и руки и зажег фонарь, как она велела. Выложил из карманов кусок сала в тряпке, ломоть ржаного хлеба, слипшийся комом, как сырая глина, складной нож и, севши к столику, смотрел, как она хозяйничает. «Скажи пожалуйста!»— сказал он, когда она достала свою буханку. В боковом, тусклом свете фонаря очень красивым было его умытое лицо и красиво блестели глаза.

— Хорошо твой хлеб пахнет,— сказал он и вздохнул.

— Ешь,— сказала она с невольной робкой лаской.

— И ты. Вместе.

Она присела напротив и, потупясь, деликатно откусила кусочек. Первая их вечеря! Сейчас, когда он опять стал белолицым и прекрасным, и в этой близости — почти семья!— она почувствовала прежнее смятение, ее прохватывал озноб, губы сохли и раскрывались, чтобы глотнуть воздуха... Ленькины колени прикасались к ее коленям, она слабо отодвинулась, и снова эти твердые мужские колени настигли ее... С ужасом взглянула она в его блестящие глаза: смотрит, не ест! Опять сейчас обнимет... Неизвестные мужчины прошли мимо их закутка, словно не заметив их, это было страшно. А страшнее всего была ее собственная слабость и эти блестящие глаза под прямыми бровями.

— Подожди!— жарко шептала она, когда он пересел к ней и обнял с силой.— Подожди, да подожди...

Она не сразу поняла, что случилось. Сперва хлопнула дверь и раздался громкий голос дядьки с желтыми бровями: «Я ж так и знал — на паровозе!» И еще хлопнуло, мелко посыпалось где-то рядом стекло, дунуло холодом, рванулся бледный язычок в фонаре...



А дальше все было сразу: сапоги, что торчали весь день поперек прохода, ударили о пол, великан в серой фуфайке, ругаясь, пронесся мимо Дорофеи и Леньки; Ленька вскочил, схватил что-то с верхней полки из-под одежи — и не стало его; злобно застучал пулемет; длинный свисток, раскатистые выстрелы, крики... Дорофея сжала в руке Ленькин нож, лежавший на столике, и вышла в проход, на свет. Она не знала, куда идет и для чего нож,— взяла и вышла... Поодаль, ближе к выходу, сидел на полу дядька с желтыми бровями, голова у него была откинута, в руке он держал мятое жестяное ведро. Окно в этом отделении было выбито, стужа текла в него, бородатое лицо заглянуло в пролом, вдруг заорало, разинув рот, и скрылось,— как во сне Дорофея признала это одноглазое лицо... Фельдшерица в белом халате очутилась тут же, села рядом с дядькой и вынула ведро из его руки... И все кончилось враз, как началось.

Стихли выстрелы. Бойцы возвращались в вагон, кто молча и угрюмо, кто громко переговариваясь. Леньки не было. Дядьку с желтыми бровями положили на лавку, сложили ему на груди руки, прикрыли полотенцем лицо. Кто-то завесил разбитое окно шинелью. Кто-то набрал воды в жестяное ведро, и Дорофея замыла кровь на полу. Леньки все не было.

Но вот, швыряя двери и тяжело топая, вошли несколько человек, они вели Леньку, верней сказать — несли, он повисал и падал у них в руках. Они внесли его туда, где руками Дорофеи была приготовлена на столике ее первая любовная вечеря, и положили; там, где они прошли, на только что вымытом полу остались большие алые лепешки. Дорофея прижалась к стенке, не веря беде, не смея подойти... Но люди оглянулись на нее требовательно и сурово, как бы говоря: «Что же ты? Когда нужна для дела, тут-то тебя и нет?» И поняв, чего от нее ждут, она подошла и стала рядом, ближе всех.

Она помогла Марье Федоровне, фельдшерице, разрезать и снять с него промасленную, прокопченную гимнастерку и нижнюю рубаху и держала коробку с инструментами, пока Марья Федоровна перевязывала раненое плечо. Потом устроила для Лени постель: вниз постелила свою шаль, а укрыла кожухом, потому что Марья Федоровна сказала, что его будет лихорадить.

Великан в серой фуфайке весь перепачкался Лениной кровью; Дорофея сказала: «Я вам выстираю фуфайку»,— она поняла, что обязана это сделать.

Марья Федоровна дала Лене лекарство, чтобы не так было больно и чтобы он заснул. И все разошлись, она одна осталась с ним.

Свечка догорела. Поезд шел. Мерно во мраке стучали колеса. Немного страшно было, что за перегородкой лежит мертвец. Леня, Ленечка спал. Стало холодно. Дорофея закуталась в свой пуховый платок, больше не во что было, потрогала Лене лоб и порадовалась, что он теплый. С удивлением оглянулась назад и подумала — неужто дня нет, как она отъехала от своих мест?.. Попробовала заглянуть вперед — перепутались мысли...

Стучали колеса во мраке. Кутаясь в платок, Дорофея бережно прилегла около Лени, к его ногам, к его теплу. Подумала: «Буду за ним ходить и выхожу». И, засыпая, осенила его крестным знамением, материнским, двуперстным, единственным символом благословения и сохранности, который она знала.

*Глава третья*

## НАЧАЛО ЖИЗНИ

Леню положили в госпиталь в городе Энске. И там они остались жить, когда он выписался.

Рука у Лени еще болела, на паровоз его не допускали, а взяли пока что в депо, на мелкий ремонт. Жили они поблизости от вокзала, в старом пассажирском вагоне, снятом с колес.

Вагон оседал в землю боком, как ветхий дом. Половина его принадлежала Куприяновым, а половина — телеграфисту Цыцаркину и его жене Марго, запросто Маргошке.

Дорофея вымыла свою половину внутри и весь вагон снаружи: на Маргошку рассчитывать не приходилось, Маргошка была буржуйка, белоручка и ни на что не гожий человек. А мимо ходили поезда, и Дорофея не хотела, чтобы пассажиры думали, будто они тут в вагончике грязно живут.

На своих окошках она выставила цветы — две герани и фикус. Цветы ей подарила знакомая, жена ма-



шиниста. Леня смастерил железную печку с коленчатой трубой и приносил со станции уголь.

Ничего у них не было, если бы не кой-какие товарищи из депо — хоть пропадай, кашу не в чем сварить. Но они смеялись и подшучивали над своей нуждой, им было очень хорошо. Что такое голодуха по сравнению с любовью!

Те дни, когда он лежал в госпитале, а она, бездомная, скиталась по людям, из дома в дом, зарабатывая хлеб стиркой,— те дни связали их крепко и нежно. И он и она чувствовали настоящее счастье, когда в приемные дни она, свежая и сияющая, в пятнистом казенном халате и с узелком бедных гостинцев в руке, входила к нему в палату. Каким он становился гордым, как посматривал на соседей! Как ненасытно, часами, глядели они друг другу в глаза!

И теперь она ходила на поденку — надо же было хоть как-нибудь одеться, Леня зарабатывал плохо,— но у нее было жилье, она была жена железнодорожника. Весной рабочим дали землю под огороды; Дорофея сама вскопала и засадила свой участок, Леню не допустила помогать, чтобы не натрудил больную руку.

Маргошка пухла от скуки и шлялась к Дорофее разговаривать. В рваных опорках, нечесаные патлы, Маргошка смахивала на беспризорную. Она курила и, шепелявя, рассказывала о своей прошлой жизни:

— Я училась в студии пластического танца по школе Айседоры Дункан.

Дорофея не задавала вопросов. Что́ бы Маргошка ни рассказывала, а ума от нее не наберешься, по патлам видать. Кому она, паразитка, нужна? Обидно было, что она читает книжки и что-то там корчит из себя.

— Босоножки. Мы танцевали в хитонах. У меня хитон был терракотового цвета, оригинально... Я так увлекалась, что бросила гимназию.

Глаза у Маргошки были водянистые, выпуклые, без выражения. Не понять было, горюет она о прошлом или ей лучше с Цыцаркиным, который подобрал ее, когда она потеряла свои богатства. Если бы причесать ее да вымыть ей шею, она была бы миловидной и стала бы похожа на тетку Евфалию, только та не читала романов и не слыхала ничего про Айседору Дункан.

— У нас было семь человек прислуги, представляешь себе?

То-то и выросла прынцессой. Как только терпел ее Цыцаркин! Чуть не каждый день за перегородкой разыг-

рывался скандал с визгом и бранью, но они скоро мирились, и опять слышался дребезжащий Маргошкин смех и шепелявый говор.

Летними вечерами Дорофея и Леня ходили в городской сад. Это далеко от вокзала, приходилось долго идти длинными темнеющими улицами, вдоль темных домов. На крылечках, луща семечки, сидели люди; из окон свешивались головы; дети играли в бабки на щербатых плитах тротуаров. Пахло теплой пылью, мусорными ящиками и ночной фиалкой, распускающейся в садиках.

Тогда многие носили сандалии на деревянных подошвах; отовсюду слышалось сухое щелканье деревяшек по камню... Дорофея думала: сколько в городе людей! Сто лет тут проживи — со всеми не познакомишься.

Они шли мимо заводов, мертво смотревших на улицу черными окнами без единого огонька.

И мимо биржи труда, грязного хмурого дома, где днем толпились безработные и куда Дорофея ходила отмечаться — ей хотелось поступить куда-нибудь,— и все напрасно.

И мимо Чека шли, где стоял часовой.

И мимо страшного здания, которое называлось «Помгол»— помощь голодающим. Там выхаживали людей, которые бежали с Волги, из неурожайных мест,— одни от голода распухшие, другие иссохшие, как скелеты. Каждый день они прибывали и прибывали, конца-краю им не было. Дожидаясь очереди на приемку, они сидели и лежали вокруг «Помгола»; и люди, шедшие мимо по своим делам, умолкали и далеко обходили эти неподвижные серые тела, в сумерках распростертые на тротуаре.

— Уладится помаленьку,— говорил Леня.— Советская власть Антанту одолела, одолеет и это все.

«Кто-то улаживает,— думала Дорофея,— а меня биржа никак никуда не пристроит, как будто я нигде не нужна...» На широкое каменное крыльцо «Помгола» вышла старая женщина с курчавой седой головой; за нею санитары с носилками. «Вон того возьмите»,— сказала женщина. Санитары подняли одно серое тело и унесли в дом. «И я смогла бы так распоряжаться. Присмотрелась бы и смогла... И уж во всяком случае — носить на носилках...»

В городском саду играла музыка; гулял все простой народ; подсолнечная лузга трещала под ногами. (В то время это был единственный общественный сад на весь город.) Босые мальчишки юлили среди гуляющих, кричали лихими голосами: «Папиросы, спички!»—«Вот ирис, ирис!»—«Эх, ванильный шоколад!» Жаркая толпа вносила Дорофею и ее мужа под навес, где показывали кино. Леня покупал маленькую ириску, твердую как камень. Дорофея сосала сладкий камушек и смотрела картины: дураки дерутся, богатая красавица сходит с ума от любви... Жужжал аппарат. Когда на экране появлялась надпись, сто голосов громко читали ее вслух, и Леня читал, крича Дорофее в ухо. Под экраном стоял молодой человек со скрипкой и водил смычком по струнам, но духовой оркестр, игравший в саду, заглушал его музыку; и только когда, охнув, смолкал оркестр, был слышен тоненький, как нитка, голос скрипки...

Иногда Леня приносил из депо билеты, и они смотрели цирк и разные представления, и ученых зверей, и оперу «Аида»— из царской жизни. Одни люди читали им стихи, а другие — лекции, приезжал товарищ Луначарский и объяснял насчет культуры. В «Аиде» Дорофея мало что поняла (неразборчиво пели), а у Луначарского не поняла ничего, только рассматривала, как одет и какая бородка...

А когда им лень было идти в сад, они сидели на своем крылечке, в открытой двери вагона, и тихо разговаривали или просто молчали, обнявшись. В стороне, у пакгауза, горел фонарь; в его свете поблескивали рельсы. Воздух был тяжел от угольной пыли и железа, но Дорофее он казался легким и сладким. Становилось холодно, Леня приносил свой пиджак и укутывал ей плечи. Потом они шли к себе, и всю ночь над их головами, близкие и далекие, зовущие и печальные, перекликались гудки. А они и не слышали — спали крепко.

Осенью стало хуже: нельзя было сидеть на крылечке, в кинематограф ходить — далеко, Леня скучал и уходил к Цыцаркину. Маргошка раздобыла лото, и они играли до одури, выкрикивая: «Четырнадцать! Сорок четыре! Гуси-лебеди! Дедушка!»— и тарахтя игрушечными бочонками в грязной наволочке. И Дорофея присаживалась поиграть, но она путалась в цифрах, не поспевала за игрой, ей было неприятно, что над нею все берут верх, а вшивая Маргошка всех расторопней.

Цыцаркин говорил: «Лото — ерунда. Найти бы компанию, где играют в шмен-де-фер». Он говорил про себя и Маргошку: «Мы — интеллигенция»,— и жаловался, что им приходится жить в таких условиях. «Марго,— говорил он,— дай мне плед, дует с пола». Маргошка приносила старое одеяло. «Мерси, Марго». Он был маленький, бело-

брысый, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед.

«Съезжу-ка я в Сараны,— решила Дорофея.— Привезу одежу и кой-чего из хозяйства». Ей и раньше об этом думалось, но опасалась оставить Леню: вдруг познакомится тут с кем без нее и загуляет... «Не успеет загулять, я обернусь быстро... Вот уж нет худа без добра — будет сидеть по вечерам около этого дурацкого лото, как пришитый».

Когда лег снег, она поехала в Сараны. Шла пешком со станции по белой дороге, где каждая сосенка была ей знакома, и вошла в свою избу. Дивно ей было, когда она отворила дверь: будто эта изба ей приснилась когда-то... и снится опять. Бесплотно, как во сне, она поцеловала Евфалию; спросила:

— Ну, как ты тут?

— Проходу мне нет,— пожаловалась Евфалия.— Все Фролом попрекают, а на сколечко между нами было-то? Вот на столечко.

— Его застрелили,— сказала Дорофея.

— Был слух,— сказала Евфалия и перекрестилась.— Такой мужчина здоровый!.. Ты как хочешь, Дорофейка, я к тебе поеду жить.

— Не сейчас...— Дорофея обвела взором низкую горницу: старая изба, а крепкая...— Продадим избу, в городе построимся, тогда переезжай ко мне.

Не век им вековать в вагончике. Сколько железнодорожников строятся. Изба — это деньги. Корова — тоже. Леня беззаботный, ни о чем не думает. Ладно, она сама все сообразит.

— Бог даст, детки у меня будут,— сказала она,— ты за ними будешь смотреть.

— Похудала ты — ужасть,— сказала Евфалия.— Неужто так голодно у вас?

— Голода у нас сейчас нет,— сказала Дорофея,— но, конечно, рабочий класс еще неважно живет. Обещают, однако,— будем жить очень хорошо. Советская власть Антанту одолела, одолеет и это.

— Ты где работаешь?

— На заводе,— соврала Дорофея. Ей невмочь было признаться Евфалии, что она ходит к спецам мыть полы и спецовы жены говорят ей: «Под кроватью хорошенько, Дуся». Захотелось представиться работницей, пролетаркой на сто процентов.

— Ишь!— задумчиво сказал Евфалия.



Ночью Дорофея проснулась и услышала знакомое: тук-тук-тук — далеко, далеко... Поезд проходил за лесом. Она улыбнулась, подумала: «Ленечка уж соскучился там без меня», свернулась клубком и заснула.

Два дня она прогостила в Саранах, повидалась с соседями, похвалилась городской жизнью, потом увязала добро в узлы и поехала домой. Дома ждала ее новость: при вокзале — рукой подать — открылся клуб для железнодорожников. Над входом горела электрическая вывеска. В буфете кооперация продавала горячие кушанья. Жизнь шла вперед. К весне по ту сторону путей, за элеватором, стала работать большая мельница, стоявшая три года. Ровный рокот доносился оттуда, слышать его было приятно; и на черную железнодорожную землю, на кучи штыба, на крыши вагонов и на листья Дорофеиного фикуса ровным слоем ложился тонкий белый мучной налет — обещание довольства, уверенность, свершение наших надежд.

Первый урок в жизни Дорофеи.

Большая комната с голыми стенами, в ней скамейки без спинок. На скамейках рассаживаются женщины. Ленин, задумчиво щурясь, смотрит на них с маленького портрета.

Из соседней школы принесли черную доску. Учительница мелом пишет на ней букву. «А»,— говорит она. Женщины приодеты и немножко стесняются; перешептываются.

Впереди сидит старая старушка, очень способная: моментально запоминает буквы и складывает их так бедово, что все удивляются. Учительница смотрит на старушку ласково и спрашивает, как ее имя-отчество. Но одна женщина потихоньку говорит другим, что старушка и раньше умела читать по складам, а скрыла это из самолюбия, чтобы представиться самой способной. И все шепотом осуждают старушку: что за самолюбие такое, не для игры сюда пришли!

А Дорофея вдруг теряется. Она выросла среди людей, которые считали грамоту делом великим и трудным, благодатным даром, мало кому данным. Буквы запомнить легко, но они все врозь; их много, но каждая в одиночку, название у нее есть, а прок в ней какой? Ох, для чего же их столько насыпано в книжке, больших и маленьких, в чем тут секрет? Грамотный человек открывает книжку,

смотрит на нее и сразу, складно, с выражением, одно за другим говорит слова — откуда он их берет?

Хоть бы учительница не вызвала... Она свою неспособность переборет. Помучается и поймет. Уж если Маргошку обучили... После занятия она пойдет проводить учительницу и порасспросит ее хорошенько.

Она поймет раньше, чем кончится занятие. Вовсе она не неспособная. Чересчур уважала, чересчур оробела, искала трудность там, где ее нет. В какой-то миг — вот именно миг, мгновение, зарница в темной туче — по легонькой подсказке учительницы буквы вдруг выстроятся, соединятся, зазвучат слитно, и из розных значков перед ошеломленной этим светом Дорофеей предстанет *слово*...

Первое ее рабочее место: на заводе чугунного литья.

Неприветлив показался ей этот завод, когда она пришла туда в первый раз. Стоял завод на краю города, на пустынной улице, непроходимо залитой грязью. Серый деревянный забор, за забором низкие крыши; во дворе кучи ржавого лома, с северной стороны на них еще лежал черный лед. Кирпичный домик — контора. Подальше, в глубине двора,— длинное строение, черное от копоти. Худая кошка спрыгнула с крыльца конторы и вскарабкалась на забор, страдая по воробьям. Две женщины катили по рельсам вагонетку и звали кошку: «кис-кис...» Лица женщин были запорошены землей, глазные белки белели. Вдруг дымно-красно озарились изнутри окна длинного строения...

То был литейный цех. Туда и послали Дорофею из конторы. Она вошла — под низким потолком полыхал непонятный свет, в свету черные двигались люди. «Поберегись!»— закричали рядом, дохнуло жаром: двое рабочих несли ковш, взявшись с двух сторон; в ковше тихо, тяжело и грозно плескался жидкий огонь; зарево вздымалось из ковша. Рабочие вылили огонь на пол, где были выложены из земли какие-то фигуры. Огонь сразу стал краснеть, темнеть, подернулся кофейной пленкой, по пленке бегали и гасли быстрые искры... В дальнем углу, жарко светя, текла откуда-то из стенки струя огня, люди теснились кругом, подставляя ковши: наберут и несут выливать... Все молчаливо, сурово, трудно. «Лучше б я на колбасный завод попала,— подумала Дорофея,— или на табачную фабрику...»



А через два месяца она говорила: «Ну конечно, мы же литейщики, а не табачницы или там Швейпром». Ходила по заводу запорошенная землей, блестя голубоватыми белками глаз, и гордилась тем, что ее с транспорта (та самая вагонетка) перевели на формовку. По краям век у нее появились тонкие темные полоски — будто подвела ресницы. Лене рассказывала о формах, скрапе, ломе, шихте и вагранках. Родным местом стал ей старый плохонький завод чугунного литья. Отсюда она пошла на первомайскую демонстрацию как равная среди равных, а не как мужняя жена. Здесь ее выбрали в делегатское собрание, и она стала ходить в женотдел и выполнять поручения женотдела...

Первый идеал Дорофеи: заведующая райженотделом товарищ Залетная.

— Во всей нашей работе,— говорила Залетная, покойно и величаво сидя за красным столом, закапанным чернилами,— мы руководствуемся указаниями большевистской партии. Каждая работница должна знать решения двенадцатого партсъезда.

И она рассказывала о съезде и читала, поднимая журнал к близоруким глазам.

Дорофея слушала, не сводя с нее взгляда. Женщина, которая учит других женщин, как надо жить! Молодая, красивая, у нее высокая грудь, кровь переливается под белой кожей, мило-беспомощно щурятся светлые ресницы — в ней женское, в ней материнское, у нее муж и дети, а она сидит не с ними, а в женотделе, и учит несознательных баб уму-разуму, и сама учится на курсах. На все у нее хватает времени и любви, вот какая женщина. Укажите мне, что сделать, я все сделаю, чтобы стать такой, как она.

Товарищ Залетная — Нюра, как звали ее между собой делегатки,— держалась солидно, говорила негромко, грубых слов не употребляла. Дорофея тоже старалась говорить потише и держаться солидно. Солидность не получалась, но получалась достойная, приличная повадка в обхождении — эта повадка, Дорофея приметила, нравилась Нюре Залетной.

Нюра знала много политических слов. Ее разговор был серьезный. И Дорофея стала вворачивать умные, важные слова: «новая экономическая политика», «государственная промышленность», «рабочая прослойка», «чуждый

элемент». Она произносила эти слова благоговейно: они будто прибавляли ей росту.

Нюра стригла свои соломенно-светлые волосы и закалывала их круглым гребешком; и Дорофея стала носить круглый гребешок. Нюра повязывала красный головной платок концами назад, концы не свисали мятыми жгутиками, а держались чуть косым, красивым бантом, и всегда платок был как новенький. И Дорофея стала крахмалить и гладить свой платок и завязывать его точь-в-точь как Нюра. Ходила Нюра в жакете, под жакетом была очень чистая блузка, а на торжественные собрания Нюра надевала галстук. Дорофея мечтала одеться так же, скопила денег и справила костюм.

Нюра все знала. После собраний делегатки провожали ее, кто немножко, кто до дома; и по дороге разговаривали. Библиотекарша дала Дорофее книжку «Русские женщины», Дорофея прочла и переживала, но не поняла, почему эти княгини, Волконская и Трубецкая, так бедовали; почему у них мужья были на каторге. И Леня не знал, а у Маргошки Дорофея не стала спрашивать, с какой стати... А Нюра все ей разъяснила про декабристов и поправила, что надо говорить не Трубе́цкая, а Трубецка́я. О чем ни спроси, все она прочитала, все изучила...

«Леня не растет»,— тревожно подумала Дорофея.

Он сознательный: другие делали зажигалки и привозили со станций сало, и продавали на базаре, а он такого ничего не делал, никогда! Не хныкал из-за условий, не хвастался тем, что пострадал в битве с бандитами, и ее ругал, когда она выставляла его героем. Сознательный, но не идет вперед, а человек обязан идти вперед.

После работы он ел, отдыхал, разговаривал с Дорофеей, потом говорил: «Сходим в клуб», либо шел к Цыцаркину играть в очко — новая завелась игра... В газете читал только фельетоны и происшествия, а если брался за Дорофеину книгу, то держал ее больше месяца, и библиотекарша делала Дорофее замечание.

Скандалами и поучениями тут ничего не добьешься. Леня добрый, покладистый, она может на него влиять, но ведь Цыцаркин с Маргошкой тоже влияют; если он затоскует от ее поучений, то меньше будет ее любить, тогда Цыцаркины возьмут верх, и конец ее счастью. Как было у отца с матерью? Мать не умела приворожить отца, он тосковал с нею и уходил от нее.



Надо, чтобы Леня любил ее все крепче. Чтобы с нею ему было милей, чем со всеми Цыцаркиными на свете. Тогда он все сделает, что она захочет.

— Ох и устала я, Ленечка. Ноги замлели, так устала.

Она садится и скидывает туфли. Это выдумки: представляется без сил, чтобы он пожалел.

Он смотрит на ее маленькие ноги. Какое у него доброе лицо, у красавца моего писаного.

— Принести тебе воды? Сразу полегчает.

— Принеси, Ленечка, милый.

Со вздохом удовольствия она опускает ноги в теплую воду.

— Вот умник, что печку затопил.

— Хочешь, суп разогрею? Ты сиди.

Разогрей, разогрей. Жалей меня. Побольше вложи в меня сердца — больше будешь дорожить.

— Ленечка, ты слово такое знаешь, что ли? Приду — уж такая усталая... А ты около меня походишь, поухаживаешь, и опять я живая, хоть танцуй.

А то еще было представление:

— Опять у меня, Леня, не получается.

— С чем это?

— Да вот — топор. Не насажу, и все.

— Зачем брала? Сказано — не трогай. Опять ссадила, эх, силенка женская... Давай сюда.

Он берет у нее топор и исправляет насадку. Она смирно стоит рядом. Не хуже его она бы это сделала. С детства научена. Подумаешь, премудрость. Но ему приятно, что она бывает слабой и неловкой,— и хорошо. Люби меня!

— Прямо как маленькая. Самую что ни на есть простую механику осилить не может. На, поставь на место и не трогай. Не по твоему разуму инструмент.

Не всегда она могла играть и лукавить. Случались объяснения и ссоры.

На заводе были перевыборы завкома. Называли кандидатов, и женский голос сказал: «Куприянову». Дорофея оглянулась, от неожиданности покраснев... Встала женщина и сказала, что обязательно надо выбрать Куприянову, женотдел ее рекомендует как активистку, а женщин на заводе затирают, так чтобы она отстаивала в завкоме женские интересы.

Кто-то сказал, что Куприянова на производстве без году неделя. Но секретарь ячейки возразил: «Зато она боевая». Она не могла поднять глаза, когда за нее голо-

совали. Ее выбрали единогласно при одном воздержавшемся.

Радостная, спешила она домой. Была оттепель, лужи — набрала ледяной воды полные калоши. Вот наконец вагончик; в их половине темно — Леня у Цыцаркиных.

— Пришла-таки!— встретил он ее.— Садись скорей, я тут вылетел в трубу!

— Меня выбрали в завком!— сказала она.

— А?— спросил он.— Цыцаркин, ты это брось, слышишь, что я говорю? Эти штуки брось. Ободрал меня, сволочь, а теперь по гривеннику ставить,— не пойдет!

Он был злой и взлохмаченный. Они, видно, давно тут прохлаждались: табачный туман висел в комнате — невзрачной, со следами снятых перегородок и остатками вагонного убранства. Маргошка, разомлевшая, сидела на откидном столике, свесив ноги в дырявых валенках и дымя папиросой. На обеденном столе валялись карты и деньги. Леня махнул рукой, монетка покатилась со звоном. Цыцаркин, сопя, нагнулся поднять.

— Юпитер, сердишься, значит, не прав!— сказал он из-под стола.

— У нас были перевыборы завкома! — опять сказала Дорофея.— Меня...

— Садись!— Леня схватил ее за руку.— Перебей ему счастье! Пан либо пропал! Есть у тебя деньги? Я проиграл всю получку! На четверых сдавай, Цыцаркин! Теперь посмотрим!

Проиграл получку! Дорофея ахнула. Беда — они и так уже должны в кассу взаимопомощи... Она скинула пальто и села около мужа; но было горько, что новость оставлена без внимания, некому даже сказать, не слушают,— горько до слез. Подавляя слезы, она подняла карты...

— Очко!— закричал Леня и, выхватив карты у нее из рук, шлепнул ими по столу.— Твой банк! Ставишь три рубля! Говори, Марго! Посмотрим! Она у меня счастливая!

Не в силах совладать со слезами, Дорофея перетасовала карты, дала снять, сдала.

— А у нас девятнадцать!— опять закричал Леня.— Ах, молодчина! Ну-ну, говори ты, Цыцаркин...

Дорофея заплакала откровенно. Никто не заметил. Леня хватал карты у нее из рук, придвигал к ней деньги... Плача, она держала банк и отыгрывала его получку. Леня встал, потянулся с силой, сказал: «Точка! Знай наших! Пошли, Дуся!» — и она пошла за ним на свою половину.



Там она легла на постель, лицом в подушку, стараясь успокоиться. Он подсел, еще взбудораженный, с дикими глазами, и погладил ее по плечу.

— Ну что?— сказал он.— Ну, хватит. Ведь отыгрались.

— Я ра...ра...разве из-за этого!— сказала она.— Меня выбрали в завком! Я думала, ты обра...обрадуешься!

Он окончательно пришел в себя.

— Ох и дубина!— сказал он.

— Тебе твое удовольствие — самое главное,— сказала она.— Главней меня.

— Нет, не говори!— сказал он горячо.— Нет, Дуся! Ты даже вообразить не можешь, как я тебя полюбил!

— Любишь, когда другого развлеченья нет...

— Неправда! Всегда! Мне после тебя ни на какую даже смотреть не хочется! Все хуже тебя!

— Как будто только в этом дело,— сказала она.— Ты, например, совершенно не интересуешься общественной работой, а я же не могу сидеть тут с Маргошкой!.. И тебе безразлично, что меня выбрали единогласно при одном воздержавшемся, ты даже не спросил...— Она еще поплакала. Он виновато гладил ее.

— Если так будет дальше, Леня, я уж и не знаю. Я тебя определенно перерасту...

Под годовщину Девятого января они пошли в город прогуляться и встретили — кого б вы думали?— Марью Федоровну, фельдшерицу, которая когда-то с ними ехала и перевязывала Лене руку. Она их узнала и окликнула. С нею шел тот самый командир полка, которого она везла раненого и поила молоком. Теперь Марья Федоровна была за ним замужем; фамилия их была Акиндиновы.

За эти годы с ними чего-чего не было: Акиндинов лечился, учился в Москве, работал в деревне, потом его перевели в энский губком, и они больше года прожили тут; и опять его переводили, на днях они уезжали в Свердловск. Марья Федоровна ездила с ним всюду, не могла нигде надолго задержаться на работе и огорчалась этим... Они поразговаривали, стоя на улице, и Марья Федоровна повела Куприяновых к себе в гости.

Акиндиновы жили в общежитии для ответственных работников, комната у них была хорошая. Марья Федоровна подала угощенье. Выпивки не было — доктора запретили Акиндинову пить, и Марья Федоровна соблюдала, чтобы он слушался. Пришли другие ответственные работники. Дорофея первый раз была в гостях в такой ком-

пании и старалась ей соответствовать. Разговор, хотя много шутили, шел о важных вещах. Леню стали спрашивать, какие настроения у рабочих в депо и как растет их политическое сознание. Леня отвечал неавторитетно, все могли видеть, что он не очень-то вникает в эти дела. Дорофея осторожненько перевела разговор на свой завод и ответила на все вопросы. Между прочим рассказала, какой перед Октябрьской годовщиной вышел спор у рабочих с администрацией. Заводу выдали красной материи на украшение цехов. А у завода есть подшефный детский дом, и как завком ни старается, детдомовские ребята одеты плохо, хуже всех в районе, потому что у других домов более богатые шефы: кожевники или табачницы... Вот одна работница и предложила, чтобы материю не резать на лозунги, а выкрасить в практичный какой-нибудь цвет и пошить для детдома костюмчики. Администрация — ни в какую: все, говорят, предприятия будут убраны, а мы по-будничному; вы, говорят, не берете во внимание, какой это праздник. А рабочие говорят — мы берем во внимание, и самое лучшее к этому празднику одеть тридцать душ детей, чтоб сироты чувствовали, как рабочий класс о них заботится... Страшно активное было собрание, администрация билась до последнего, но ячейка поддержала рабочее предложение, и, в общем, детдом вышел на демонстрацию в новых костюмах.

Ответственные работники выслушали и сказали, что им этот случай известен, о нем был спор в горкоме. И сейчас же спор опять загорелся. Громче всех спорил Акиндинов. Он был на стороне администрации и назвал секретаря ячейки копеечником. Он даже хлопнул кулаком по столу. Другие ему возражали, и Марья Федоровна возражала, и тоже хлопнула по столу своей слабой рукой с тоненькими пальцами. Дорофее было приятно, что ее рассказ приняли так близко к сердцу. Марья Федоровна, прощаясь, поцеловала ее. Дорофея вышла вместе с Леней, но когда он на улице хотел взять ее под руку, она резко вырвалась:

— Не трогай! Мне за тебя стыдно! Люди с ним как с человеком, а он два слова не свяжет, господи!.. Не трогай, не хочу, я не калека, дойду сама!

Он ничего не ответил, отстал и пошел сзади. И так они шли до самого дома, как чужие.

Конечно, долго бы им не выдержать: войдя в дом, заговорили бы, поругались еще, объяснились и помирились. В Дорофее к концу пути все клокотало, так и рвались слова, еле сдерживалась... Вышло по-другому, негаданно;



так вышло, что забыли о ссоре, будто ее и не было. Как сейчас, она помнит: Леня стал открывать висячий замок на двери вагончика, а она стояла поодаль и ждала, когда он откроет; и в это время подошел знакомый из управления дороги и сказал:

— Ильич скончался.

Двадцать седьмого января тысяча девятьсот двадцать четвертого года смертный был холод. Жестокий ветер смел снег с улиц и оголил лед, и по железному этому льду мчал, завивая, черный песок, разящий как осколки... Ни разу не глянуло солнце, под темно-мрачным небом лютовал беспощадный ветер, продувая улицы насквозь, будто стремясь выдуть из них все живое. И все равно Дорофея и Леня вышли на улицу, как вышел весь рабочий народ: и не подумалось сидеть в этот день дома... Шли люди, вели закутанных детей. На перекрестках разжигали костры, чтобы погреться, но приблизиться к ним было опасно — во все стороны метал ветер бесцветное, прозрачное пламя, а то вырывал головню из костра и уносил, катя по льду и разбивая на куски. Гремела сорванная кровля, и хлопали, взвиваясь и крутясь, траурные флаги на домах.

Враз — Дорофея вздрогнула — истошно, отчаянно, невыносимо взревели гудки, все, сколько их было в городе. Грозно гудели трубы заводов и фабрик, кричали паровозы на станции и пароходы на ремонтной верфи. В этом стоне потонули и грохот снесенной кровли и пушечное хлопанье флагов... Дорофея стояла на перекрестке, вся охваченная ветром, и плакала от холода и горя. И Леня стоял рядом, насупясь, с шапкой в руках...

В ленинский призыв Дорофея вступила в партию. А с осени пошла учиться на рабфак и Леню уговорила.

Ему было трудно: он опять ездил на паровозе, сперва помощником, потом и машинистом; приезжал и уезжал. Дорофея пробовала помогать ему в учении, да что она могла? Сама проходила те же азы. Спасибо, преподаватели занимались с ним дополнительно, а то бы не справился... Он похудел, у него немножко потемнели волосы, в уголках рта появились морщинки.

Она обожала эти морщинки! Она умолкала, если он вдруг обрывал разговор и задумывался, и ходила на цыпочках, когда он занимался. Лампа освещала его осу-

нувшееся лицо; волнистая прядь падала на лоб. Рукав косоворотки сполз к локтю на руке, которою он подпирал голову, и до чего же дорога была Дорофее эта неширокая худощавая рука и в особенности — тонкая синяя веточка на белом запястье...

Вместе с ним она строила дом на Разъезжей улице, тот дом, где они живут и сейчас. Только сперва он был совсем маленький, две комнаты, да кухня, да сени; остальные комнаты и веранда пристроены через пять лет... Избу в Саранах продали, Евфалия переехала жить к ним. Денег за избу и корову дали мало, но им предоставили в банке кредит как рабочим-застройщикам. Когда-то Дорофее ненавистно было хозяйство, а теперь оно стало полно для нее смысла и радости; и она без устали ладила и украшала свое гнездо — для себя и для Лени.

И вместе они поднялись до света в одно воскресное утро, студеное весеннее утро, когда оттаявшая и непросохшая земля покрыта стеклянной корочкой заморозка. Они надели рабочую одежу и пошли на площадь Коммуны.

Светлело небо, отчетливее выступали на нем крыши зданий. После короткого митинга народ в порядке двинулся за город.

Дорофея шла уже не с Леней, она на площади разыскала своих заводских и пошла с ними. Процессия далеко растянулась по длинной Октябрьской улице. Люди громко пели песни, не боясь разбудить тех, кто спал за закрытыми ставнями. Утро все светлело. Ненужно горели вдоль улицы, бледными цепочками сбегаясь вдали, фонари и враз погасли, и скоро взошло солнце.

В наши дни от площади Коммуны до станкостроительного — полчаса езды трамваем, двадцать минут автобусом. А тогда показалось — далеченько!.. Кончилась улица, дорога пошла пустырем. Деревянные домишки вразброд, огороды в прошлогодней черной ботве, мусорные свалки, на юру покосившаяся будка с вытяжной трубой,— хуже деревни... Дальше — безлесный простор без дорог, без жилья. Оттуда веяло прелью, взбухшими семенами, молодой травой, которая выглянет вот-вот, сию минуту.

Солнце взлетало все выше. Стеклянная корка на земле исчезала раньше, чем ее касались солнечные лучи: тысячи ног, пройдя по этой корке, дробили ее. Густая грязь липла к подошвам. Впереди — их за людьми не было видно Дорофее — медленно скрипели колесами подводы, на которых везли лопаты и кирки.



Стоп: остановка! Люди раздвигаются. Земля да небо, да солнышко в небе, да в чистом поле небольшое строение вроде конторы и около него грузовик, а на грузовике стоит кто-то. Надсаживаясь, чтобы все услышали, кричит: «Товарищи!.. Мы здесь сегодня!.. Первый котлован!.. Наша социалистическая индустрия!..» Никак опять митинг. Как будто не знаем, действительно, для чего пришли.

Давайте-ка лопаты поскорей. Поплевать на ладони, как водится. Раз-два — начали!.. Эх, первый котлован — бог даст, не последний! Верно, товарищи женщины? В добрый час!

## *Глава четвертая*
## МАТЕРИНСТВО

...Кто-то громко позвал ее, она проснулась и села на постели. Была глубокая ночь, темнота, покой. Леня спал, ровно дыша. Через открытую дверь из кухни доносилось однообразное звяканье ходиков. Стена, возле которой стояла кровать, выходила в кухню, к печке, и была теплая, почти горячая. Дорофее уютно было сидеть между теплой стеной и покойно спящим мужем.

Ей хотелось спать, но она сидела и ждала, когда повторится зов, разбудивший ее. Он не приснился ей. Он непременно должен был повториться. Она ждала, позевывая и улыбаясь.

И зов повторился: она ощутила мягкий и сильный толчок в животе, и, всевластный над нею, живущий в ней, у нее под сердцем повернулся ребенок.

Она сладко засмеялась и охватила руками этот твердый, еще небольшой живот, уже не принадлежавший ей.

До тех пор была только тошнота, тяга к соленому, коричневое пятнышко, ни с то ни с сего выступившее на скуле, и внезапный обморок, когда она упала в цехе и разбила подбородок о чугунную плиту — по счастью, остывшую.

Она думала, что только аристократки, о которых она читала в романах, падают в обморок, а с простыми женщинами этого не бывает; и удивилась, очнувшись на полу, головой и плечами на коленях у товарки, мокрая от воды, которою ее опрыскивали, бессильная, с болью в подбо-

родке и звоном в ушах — длинный, бесконечный звон, будто кто-то не переставая давил на кнопку звонка.

Подбородок скоро зажил, остался маленький розовый шрам; это была *его* отметина, как и коричневое пятно. *Он* еще не шевелился, *его* вроде и не было, она еще не загадывала, мальчик или девочка,— но *он* уже метил ей лицо своими метами, и требовал соленых огурцов, и заставлял ее спать так много, как она никогда не спала.

А теперь *он* позвал ее, *он* повернулся с силой, чтобы она хорошенько почувствовала, и громко сказал: «Имей в виду, я тут».

И она сонно смеялась, охватив руками живот и низко склонив голову.

— Я знаю, что мне надо,— продолжал он.— И делаю то, что мне надо. И я самый главный, чтоб ты знала.

Все отодвинулось от них. Ни звяканья маятника не стало слышно, ни Лениного дыхания. В теплыни и темноте был *он,* н она при нем.

— Ты какой?— спросила она сквозь дрему.— Как тебя зовут, моя деточка?

Но он не ответил, он, видно, уже устроился, как ему было удобно, и сказал все, что ему требовалось сказать; и теперь молчал. И она, не дождавшись ответа, уснула над ним.

Серьезная и строгая, готовая на муки, ехала она в больницу. Глаза ее запали и горели, как свечи, от ожидания и тайного страха.

Они ехали с Леней на извозчике. Город выставлял для обозрения свои вывески и перекрестки. Солнце светило. Базар кишел народом. Все это в тот день не имело для Дорофеи никакого значения. Имело значение только то неизведанное, неизбежное и неотложное, что происходило в ней самой.

Решетчатые ворота открылись перед ними, и в больничный сад они въехали вдвоем.

И по коридору шли вдвоем, и Леня так переживал, что она сказала ему:

— Как не стыдно так бояться.

А за одну дверь Леню уже не пустили, Дорофея поцеловала его в губы и пошла дальше сама в сопровождении сестрицы.

И вот палата, где неизбежное должно совершиться: очень светлая, пожалуй чересчур светлая, белые койки, белые тумбочки, круглые часы на белой высокой стене.



Дорофея в грубой казенной рубашке — свое белье здесь нельзя надевать. Рубашка пахнет дезинфекцией. Часы бьют раз, бьют второй: два часа дня.

Звон негромкнй, плавный, важный, он будто говорит: «Так надо, так надо». Дорофея ложится в белую койку. Белая сестрица говорит:

— Когда будут схватки, упирайтесь ногами.

— Хорошо,— дисциплинированно отвечает Дорофея.

Очень кричит женщина на соседней койке.

«Я не буду кричать,— думает Дорофея, снова чувствуя боль и упираясь ногами,— стыд какой так кричать, ни за что не буду...

Она закусывает губу и борется с жестокой болью, вдруг боль исчезает сразу, и тело обливается потом.

«Даже не застонала, вот. Нежности какие, вполне можно вытерпеть...»

Часы бьют три и четыре, яркий солнечный квадрат уходит с коричневого пола на белую стену и переламывается на белом потолке. Темнеет, зажигают электричество.

Женщины, которую Дорофея осудила за крик, уже нет в палате — она родила, и ее унесли в другое помещение, а Дорофея не заметила.

И не слышит Дорофея, как бьют часы, хоть и приковалась — не оторваться — к ним глазами.

Ей кажется, что все спасение в этих часах. Чтобы стрелки передвигались быстрей. Но они ползут медленно, медленно.

И ничего ей больше не стыдно, она кричит чужим, ей самой диким голосом, кусает себе руки и ногтями царапает лицо.

О-о-о, так вот это за какую плату дается!

О-о-о, освободи меня скорей! Я помогу тебе, только скорей! скорей!

Ох, не хочешь. Ну, спасибо хоть за передышку. Я посплю пока. Смотрите-ка, уже светает.

Как, опять? Я спала четыре минуты...

Дивное дело:

Кажется — как вынести такое? Кажется — тут из тебя и душа вон. На этот раз выдержала, и больше не смогу, нет, больше не смогу, умру.

Но после минутной блаженной передышки все начиналось еще беспощаднее, и слабости как не бывало, и тело откликалось вспышкой яростной силы: так, так, я помогу!

Невесть откуда бралась эта сила, устремленная к одной-единственной цели.

Может, цель порождала силу.

Уже докторша не отходила от Дорофеи. Дорофея понимала: теперь недолго. Но он вот еще что проделал, этот выдумщик: взял да и повернулся, и пошел ножками. Тут все забегали: и докторша, и сестра; появился еще один доктор: сквозь туман звериной боли Дорофея услышала слово: «Щипцы». Она привстала и крикнула:

— Я не хочу щипцы!

— Это не для вас, не для вас; успокойтесь,— сказала докторша.

Дорофея не поверила, она, делая свое, вслушивалась и слышала лязг металла. Косилась в ту сторону воспаленным взглядом и думала: «Не дам. Меня пусть лучше калечат, а его не дам».

— ...Кто? — быстро спросила она и села, чтобы видеть.

Ее схватили за плечи, уложили.

— Мальчик или девочка?— спросила она.

Ей не ответили. Ребенок был у них в руках, они загородили его. Они что-то делали с ним, окунули в один таз, потом в другой. Ребенок молчал, Дорофея забеспокоилась. Он чихнул — до чего смешно, как котенок... Она засмеялась.

— Мальчик, мальчик!— сказала докторша.— Прекрасный мальчик, молодец мамаша.

Держа ребенка на ладони, она поднесла его к Дорофее. Синее тельце тряслось. Дорофее словно игла вошла в сердце — никогда никого так не было жалко... Сестра накинула на дрожащее тельце простынку. Ребенка завернули и унесли.

Сиделка, убирая Дорофею, рассказала ей, что ребенок родился удушенным. Когда он повернулся и пошел ногами, пуповина затянула ему шейку. Доктора его отходили, а иначе — пошли бы вы, мамаша, из больницы с порожними руками... Дорофея выслушала без ужаса: слишком ей было хорошо и слишком она устала. Все страшное кончилось вместе с болью. Ребенок жив, а ее сейчас перенесут в тихую палату, она уснет и будет спать. Не такая уж и трудная штука роды, кто выдумал, будто это так трудно...

Она считала свое имя некрасивым, грубым и заранее решила — детей назову красиво.



В больничной скуке перебирала разные имена, советовалась с другими мамашами и выбрала сыну имя Геннадий. Сокращенно Геня, а вырастет взрослым, будет Геннадий Леонидович Куприянов.

И очень хорошо: Геня и Леня, вы мои два мальчика...

Леня приходил каждый день — специально отпуск взял — и посылал ей с сиделками записки и гостинцы. Она писала ему: «Он здесь лучше всех детей», «Будет красавец», «Он меня уже узнает».

А Леня писал: «Купил кроватку, такую, как тебе хотелось», «Купил голубое одеяльце, как ты велела».

— Конечно голубое, мальчику полагается голубое.

Женщины говорили: «У вас хороший муж». Ей было приятно. Но вот одной женщине принесли цветы. Много, целый сноп. Их поставили на тумбочке в большом кувшине, и палата стала нарядной, праздничной, и женщина, которая владела цветами, показалась самой счастливой из всех.

И другой принесли цветы, и ей тоже все позавидовали.

«Вот какое установление,— подумала Дорофея,— мы и не знали с Леней». И скучен ей показался его гостинец — ветчина и пирожные. «Научу его, в следующий раз чтоб обязательно прислал цветы. Сколько нам еще узнавать!.. Книжку бы напечатали, что ли, о разных таких вещах».

Ребенок сосал ее грудь, она смотрела на его личико, нахмуренное и важное, и думала: «Ты все будешь знать. Где мама меня рожала? Небось на печи. А кругом нас с тобой вон сколько народу хлопочет. Меня ядом травили, а ты цветок в саду. Сто садовников будет у тебя, моя ненаглядная радость».

Из больницы ехали опять на извозчике, втроем,— она держала на руках голубой сверток и была гордая, милостиво-величавая, как царица.

С этим голубым свертком она была вдесятеро главнее Лени, и тот понимал, держался угодливо и послушно.

Было раннее летнее утро. Извозчик свернул на немощеную Разъезжую, Леня сказал: «Осторожно», поехали шагом. Евфалия, в чистой кофте и чистом платочке, вышла навстречу, умиленно всхлипывая. И соседки вышли на нагретую солнцем улицу, и Дорофея, отвернув уголок голубого одеяльца, показала им ребенка. А потом взошла с ним на крыльцо, в доме был вымыт пол, постелена чистая постель, она положила свою ношу на постель и сказала:

— Ну, вот мы и дома, сынок.

Прошло двадцать пять лет, и на этой самой кровати лежит сын, ставший взрослым мужчиной, Геннадием Леонидовичем Куприяновым. Насколько он был понятней, когда лежал тут в пеленках, раскинув крохотные кулачки...

Дети — Геня и Юлька — внесли умиротворение в душу Евфалии.

Приехав в город, Евфалия нашла, что жизнь тут куда не такая развеселая, как мечталось издалека: театр и цирк не каждый день, и ухажеры не ходят под окнами, и хоть нет ни коровы, ни овец, а хлопот по дому — дай боже!.. На одни очереди в магазинах сколько надо времени. Впрочем, очереди Евфалии полюбились — там всегда тебе готовая компания и разговор.

Дорофея определила тетку в ликбез. Читать Евфалия научилась, а дальше забастовала. Иногда приключалась у нее тоска. Сидя у окошка и горестно подперши щеку рукой, Евфалия пела псалмы глухим диковатым голосом. Делала она это назло Дорофейке и ее мужу; и назло ходила в церковь. Когда Дорофея и Леонид Никитич приходили домой, Евфалия кричала: «Нет вам обеда, я уезжаю в Сараны!» К детям же она привязалась сердечно, особенно к Юльке, которая была ей забава, собеседница и помощница с малых лет. Привязавшись, Евфалия перестала бунтовать и степенно занялась делом, на которое назначена была своим положением: варила, стирала, штопала на всю семью. Юльку, любимицу, она забрала спать к себе в комнату.

Комнатка у Евфалии крошечная: всего и помещалось в ней, что большая кровать да Юлькина кроватка, сундучок да комод. Вечером лягут — обе в одно время; чтобы доставить Юльке удовольствие, начнет Евфалия сказывать сказку. Но сказывала она так бестолково и с такими зевками, что Юлька, избалованная сказками в детском саду, тоже начинала зевать и засыпала, не дослушав.

Юлька была некрасивым ребенком: скуластая, курносая, узкий разрез глаз. Дорофею это очень огорчало... Зато каким красавчиком рос Геня! Маргошка Цыцаркина, когда ему было четырнадцать лет, сказала, что из такого мальчика выйдет что-нибудь необыкновенное, знаменитый артист или что-то в этом роде.



Маргошку и ее мужа Дорофея потеряла из виду давно, когда переселилась в свой дом на Разъезжей. Но раза три они встречались. Первый раз это было еще в годы нэпа. Маргошка вдруг предстала перед Дорофеей в неимоверном блеске, разодетая во все дорогое и новое, с голубым песцом через плечо. Волосы у нее были выкрашены в ярко-желтый цвет. Ее бы и не узнать, но она сама остановила Дорофею и похвалилась, что вышла за частного предпринимателя и живет очень хорошо, муж на руках носит.

— Цыцаркина, значит, бросила,— равнодушно сказала Дорофея.

— Он исчез из моей жизни еще раньше,— ответила Маргошка, шепелявя.

И рассказала, что Цыцаркин нашел-таки компанию, где играли в шмен-де-фер, и проиграл много казенных денег (он в то время заведовал почтовым отделением); его судили и выслали. А Маргошка пошла искать, к какому ей берегу прибиться, и прибилась к частному предпринимателю.

— Судьба наконец улыбнулась мне,— сказала Маргошка.

Судьба улыбалась недолго — году в тридцать втором Дорофея повстречала Маргошку уже совсем в другом виде: обтрепанная, в туфлях со сбитыми каблуками, Маргошка вышла из магазина, неся грязную кошелку; из кошелки букетом торчали серые макароны. Была Маргошка постаревшая и некрасивая, и только волосы, как прошлый раз, были желтого цвета. Дорофея ее не окликнула. «Нэпман-то, должно быть, поехал туда же, где Цыцаркин»,— мельком подумала она и пошла своей дорогой.

В третий раз они столкнулись года за два до войны. Дорофея шла с Геней в магазины, купить ему спортивные туфли и все, что нужно к летнему сезону, и увидела Маргошку с ребенком на руках. От неожиданности Дорофея остановилась: уж очень, в ее представлении, не годилась Маргошка для роли матери. Ребенок был худенький, с цыплячьими ручками, личико больное: с больного личика печально и недобро смотрели черные глаза. В матросском костюмчике с короткими штанишками — мальчик.

— Боже, какая красота!— воскликнула Маргошка, глядя на Геню.— Узнаю — вылитый Леня, только гораздо, гораздо интереснее!

— Вас тоже нужно поздравить,— сказала Дорофея.

— Ну что вы,— сказала Маргошка,— это не мой. Вы думали, мой?

Она раздобрела, стала краснощекой и грубой. Одета прилично, но все будто с чужого плеча.

— Я живу у Борташевичей, слышали, наверно, фамилию... Это их сын.

— Знаю Борташевича,— сказала Дорофея.— Так это сын Степана Андреича?— Борташевич был здоровяк, шутник. Она сочувственно посмотрела на прозрачное личико ребенка.— Что с ним?..

— Костный туберкулез,— ответила Маргошка и продолжала восхищаться Геней. Ей-богу, она даже кокетничала с ним. Маленький Борташевич слушал, слушал, потом разжал бледные губки и произнес отчетливо:

— Марго, хватит разговаривать, пошли дальше.

— Сколько ему?— спросила Дорофея.

— Четыре года... Пошли, пошли, Сережа,— торопливо сказала Маргошка, поправляя ему шапочку. Мальчик посмотрел черными глазами на Дорофею и сказал:

— Мне уже пятый.

— Да, пятый, а какой прок, если тебя на руках надо носить!— уже сердито сказала Маргошка и пошла с ним прочь, по-бабьи выпячивая живот. И, как когда-то, показалась Дорофее очень похожей на Евфалию.

Больше они не встречались, но на одном собрании, где Дорофея была в президиуме, ей вдруг мелькнуло среди сотен лиц, наполнявших зал, знакомое мужское лицо с белесыми бровями и с такими губами и носом, словно кто-то забрал их в горсть и вытянул вперед. Это было лицо Цыцаркина, оно мелькнуло и скрылось, она не искала его...

Геня часто болел. При виде его страданий у Дорофеи разрывалось сердце. О, муки, о, бессонные ночи, когда у ребенка жар! Легче самой переболеть чем угодно...

Жизнь была заполнена до края. Дорофея работала и училась. Ее выдвигали, ее шлифовали неустанно и терпеливо, как драгоценный камень. А рядом со всем этим был дом на Разъезжей, семья, счастье и терзания материнства.

Она думала: трудно, пока сын маленький; подрастет, окрепнет, наберется разума — меньше будет забот. Оказалось не так. Растет сын, и растут заботы. Чем взрослее сын, тем взрослее заботы.

Незадолго до войны Геню чуть не исключили из комсомола.



Школьная организация исключила с мотивировкой: «За противопоставление себя коллективу». Плохо учится, не выполняет комсомольские поручения, отказался идти на субботник сажать деревья, заявив: «Мне эти деревья не нужны; кому нужны, те пусть и сажают».

— Матушки, целый список преступлений,— сказала Дорофея.— Про деревья — это же в запальчивости сказано, раздражился и брякнул не подумав, мальчик нервный... Задача комсомола воспитывать молодежь, а они отталкивают...

Она пошла в горком комсомола, учила Геню, как писать заявление, и добилась того, что он остался комсомольцем. Ей это было нужней, чем ему; она пережила стыд и горе.

— Генечка,— сказала она, когда все закончилось благополучно,— я тебя прошу, ну ради меня, чтобы это не повторялось.

— Да ладно,— сказал он.

У него было много знакомых девочек. Они прибегали по двое и стайками и кричали под окнами: «Геня!» Он выходил и разговаривал с ними на улице. Дорофея гордилась, что он с этих лет имеет успех. Но теперь сказала:

— Девчонки тебя разбаловали, вот что!

...А Юлька росла незаметно: без неприятностей, без серьезных болезней и восторженных похвал... В войну Дорофея с чувством материнской гордости и некоторого удивления услыхала, что Юльку знает вся школа, она играет там роль: ее тимуровская команда самая передовая. Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков. Кому-то Юлька со своими товарищами складывала дрова, присматривала за чьими-то детьми, бегала в аптеку... Однажды Дорофея видела, как они шли, мальчики и девочки, очень озабоченные, несли в авоськах проросшую картошку с длинными ростками — верно, кому-то на посадку — и на всю улицу обсуждали свои очередные задачи. В центре шла Юлька с черными бантиками в светлых косичках и явно коноводила... После войны тимуровские команды свяли, распались; но у Юльки сохранилась привычка — примечать, где нужна ее помощь, и помогать.

В Энске побывало много эвакуированных. И в доме Куприяновых жили две гордые капризные старухи, с которыми Евфалия вечно враждовала, и больная женщина с сыном Андреем. Андрей сдружился с Юлькой, хоть был четырьмя годами старше, и с теткой Евфалией — она его кормила и опекала. Мать его все болела и умерла в боль-

нице. Он оставался у Куприяновых, пока не окончил семь классов; тогда поступил на станкостроительный и перешел в заводское общежитие, но часто ходил к Куприяновым, и они к нему привыкли.

Он был высоконький, худощавый, хорошо сложенный мальчик с рыже-русыми прямыми волосами, гладко зачесанными назад,— от быстрых его движений они рассыпались и падали на уши и щеки, и он отмахивал их обратно. Его продолговатое лицо было бы красивым, если бы не густые веснушки и конопатинки от ветряной оспы. Все он делал быстро и словно между прочим. Между прочим схватит ведра с лавки и принесет воды. Между прочим проглотит тарелку супу, пока другие только приступают к еде. Юлька была недовольна, что он ведет себя слишком шумно, и учила его приличным манерам.

На третьем месяце Отечественной войны депутат Куприянова была избрана заместителем председателя энского горисполкома. Ей поручили работу по приему и устройству эвакуированных.

Она пришла принять дела от прежнего заместителя, уходящего на фронт, и в коридоре и приемной уже дожидались люди из Риги, Львова, Минска и других далеких мест.

Одному устрой жилье, другому работу, третьего помести в больницу, у четвертого украли пальто, пятому, пока суд да дело, нужно дать талоны в столовую, чтобы немедля пошел и поел.

В Энск ехали заводы с машинами и лабораториями, учреждения с архивами, вузы, театры — рабочие, студенты, профессора, актеры. Дети всех возрастов. Женщины — тысячи безмужних, бездомных женщин.

Заводы, приехавшие на платформах издалека, размещались на территории оседлых заводов и начинали работать. Для многих срочно строились новые корпуса. Для рабочих строились бараки... Пошел поток эвакуированных из Ленинграда; Дорофее показалось — все, что было, еще полбеды... Ленинградцы являлись сперва бодрые, требовательные, недовольные тем, что их вывезли из родного города; потом поехали больные, с голодным поносом, дистрофики...

У Дорофеи были на учете больницы, автотранспорт, столовые, продуктовые базы, бани и каждый квадратный метр жилой площади. Красным карандашом метила на



схеме: здесь еще возможно поселить человека... Три телефонных аппарата было на столе, она клала трубку и брала другую. Ей казалось, что когда сидишь, то дело спорится медленнее; и она стояла. А на стол с трех сторон нажимали люди. Их стало очень много, они не хотели ждать очереди и шли прямо в кабинет.

Какие-то вещи запомнились на всю жизнь: как ходил, ходил к ней мастер из Харькова, она помогала ему разыскивать жену и детей. Как-то вошел, она подумала: «Опять он тут, а у меня ничего для него нет», а он сказал: «Вы больше не старайтесь, товарищ Куприянова, я узнал, они убиты при бомбежке». Он сказал по-украински: «их вбито», так что она не тотчас поняла... Или как старик в бобровой шапке бранился и лез вперед, и его не пускали; но он растолкал всех, пробрался к столу и требовал, чтобы она занялась с ним. Она сказала сухо: «Вы видите, я говорю с гражданкой», а он взялся за ворот шубы, вытянул шею и стал падать на тех, кто стоял сзади. Его подхватили, отнесли на диван, теперь уже все перед ним расступились. Дорофея вызвала «скорую помощь». Чей-то голос сказал: «Симуляция». Кровоизлияние в мозг — старик умер к вечеру; доктор наук, она забыла каких...

И тут же рядом ерунда. Примчался какой-то хорошо одетый, лицо знакомое, симпатичное и умное, кажется из театра; протиснулся, запыхавшись: «Дорофея Николавна, тут напротив мороженое продают, прикажите, чтобы эвакуированным без очереди»...

Уходила Дорофея с работы поздно ночью. Летом ли, в мороз ли, у нее кружилась голова, когда она выходила на воздух. Иногда в коридоре или на улице поджидал ее Леонид Никитич. Он брал ее под руку и вел домой молча — понимал, что нужнее всего ей сейчас тишина. Задавал только один короткий вопрос: «Обедала?»— и они шли дальше по ночным улицам. Приноровился Леня водить ее под руку: уж так-то обоим ловко — и шаг легкий, дружный; за десятки лет выработался этот шаг. Дома был накрыт стол и нагрета вода для мытья, Дорофея садилась и смотрела, как Леня хлопочет, чтобы ее накормить.

— Сыта?— спрашивал он озабоченно.

— Сыта,— отвечала она, благодарно подняв на него глаза.

Их юность прошла. Им бывало жалко той ранней, сумасшедшей любви... Но вот они вместе, два человека, соединенные близостью, с которой ничто не сравнится. Они знают друг о друге все, что возможно знать. Они прошли

через страсть и охлаждение... и остались вместе. Он не обижается, что она — лицо должностное, руководящее, а он — исполнитель, машинист. Он гордится ею и жалеет, что ее «заездили». И она больше не возмущается, что не мечтает Леня о широких сферах деятельности, что для него самое милое дело — свой паровоз, свое депо, свой клуб, где он член правления,— и выше он не рвется, таков уж нрав. Иногда, как прежде, Дорофею огорчает, что у него кругозор недостаточный; что культуры не так много: он, например, охотно читает только исторические романы да приключения, а остальное со скукой... Но она отмахивается от этих огорчений: слишком довольно на работе горького и трудного, дома отдохнуть необходимо человеку, набрать сил для завтрашнего дня... Леня понимает. Как когда-то в юности, он разогревает для нее еду и стелет постель, они вдвоем,— сам усталый и позевывающий, он бодрствует с нею, когда все давно спят... Ленечка, родной. Я теперь до конца поняла, что ты для меня такое. Спасибо тебе, Ленечка, за то, что ты есть у меня...

Учиться Геннадий не любил. Работа его тоже не манила. Жить бы так, чтобы каждую минуту делать то, что в данную минуту хочется. «Самая нормальная жизнь,— думал он,— ни к чему себя не принуждать».

Но он понимал, что это невозможно, не бывает,— и, кой-как окончив девять классов, поступил на шоферские курсы. Когда его мобилизовали, он, на радость Дорофее, попал шофером к генералу, директору ближнего артзавода.

Привозя генерала в город, Геннадий заходил домой. Дома ему не нравилось, там были чужие люди. Он удивлялся матери — зачем пустила эвакуированных, могла, по своему положению, не пускать. Вот у генерала никто не живет.

— Но людям надо же где-то жить!— говорила Дорофея, в свою очередь удивляясь, откуда в нем эта черствость и непонимание.— И как я стану к другим вселять, а к себе не пущу? У нас пять комнат.

— Какие это комнаты. Вот у генерала действительно комнаты... Сидишь в халупе, давно могла получить хорошую квартиру...

Генерал, по его словам, относился к нему неплохо, о генеральше он говорил с легкой, на что-то намекающей улыбкой, но служба собачья, машина требуется днем



и ночью, спишь когда придется... Выдали сапоги — ну, это спасибо, ношу свои ботинки, сапоги — не обувь для человека, раз надел и сразу растер ногу.

— Удивительно. Как же ты растер, сидя в машине? Люди какие переходы делают в сапогах...

— А черт его знает. Два шага ступил и сразу растер.

«Ему будет плохо в жизни»,— подумала она грустно.

Он был демобилизован с первой очередью и вернулся домой. «Ах, хорошо!»— сказал он, переодевшись в штатское. Дорофея спросила:

— Что теперь думаешь делать?

— Отдохну немного,— сказал он,— а там дело найдется.

В шоферах надоело. Учиться — да нет, не тянет...

— За чем остановка?— спросил Леонид Никитич.— На любом производстве тебя возьмут с дорогой душой.

— Посмотрю,— сказал Геннадий,— может, и на производство...

Юлька стояла и переводила строгие глаза с отца на мать и с матери на брата...

Оставшись с сыном наедине, Дорофея сказала:

— Генечка, пора тебе подумать серьезно.

И стала говорить, что все трудятся и что цена человеку у нас определяется по тому, что он дает людям. Геннадий перебил:

— Я отказываюсь работать, что ли? Я три года баранку вертел! Думаешь, мне очень хотелось ее вертеть? Вертел же.

— В порядке воинской службы. Потому что призвали.

— В каком бы ни было порядке, а вертел.

— Надо выбрать какую-то точку...

— Вот я и ищу точку. Помоги найти, ну? Ты же всех тут знаешь. Чем агитировать, лучше помоги.

Она помогла. В последующие годы Геннадий служил в экспедиции Союзпечати, по автотранспорту — в Заготзерне, снабженцем в гостинице, опять по автотранспорту — в Главрыбсбыте, администратором в Доме культуры железнодорожников и опять по автотранспорту — в кооперации.

Везде он пробовал работу, как человек, лишенный аппетита, пробует пищу,— брезгливо и недоверчиво; и никакая пища не приходилась ему по вкусу. Он отказывался от должности, его не удерживали.

Ему хотелось иметь собственный автомобиль. Надоело в одном месте — заправился и поехал в другое,— хорошо!.. Вот бы матери дали персональную машину.

Дороги у нас плоховаты — ну, построят и дороги...

Твердят: техникум, институт. А где тот техникум, где тот институт, куда ему захотелось бы? И это на несколько лет засесть за учебники и конспекты...

Не то чтобы он намеревался весь век прожить в иждивенцах: он хотел бы хорошо зарабатывать, занимать видное место в обществе... Но чтобы не принуждать себя, чтобы все пришло само собой, без трудов,— а он, Геннадий, каждую минуту делал бы то, что ему в данную минуту хочется.

И так как этого не было и быть не могло, он чувствовал обиду на жизнь. Ему казалось, что она его обманула.

Леонид Никитич уехал в санаторий отдыхать, и в его отсутствие Геннадий женился.

В один прекрасный день он привел Ларису в дом и познакомил с Дорофеей: «Моя невеста». Дорофея не приняла эти слова всерьез: куда ему жениться, еле-еле делает в жизни первые шаги... Лариса ей понравилась — тоненькая, с ребячьей фигуркой и большими карими глазами, пугливыми и задумчивыми; детские туфли без каблуков и детская прическа — косы заплетены на висках и уложены назад. За столом Лариса и Юлька сидели рядом, и Дорофее весело было смотреть, как наклонялись над тарелками две одинаково причесанные головки, светлая и темно-русая. Тонкая шейка Ларисы трогательно-беспомощно выступала из ворота блузки... Дорофея ласково угощала застенчивую гостью и думала: может, и поженятся когда-нибудь, девочка скромная и милая и будет красивой, это видно...

Через неделю Геннадий сказал: «Завтра мы с Ларисой идем в загс». Дорофея нахмурилась:

— Нет, ты в самом деле?..

— А что?— спросил он, нахохлившись.

— Глупости,— сказала она,— разве ты можешь брать на себя такую ответственность. Придумай сначала, что делать с самим собой.

— Ей двадцать лет,— сказал он.— Она сама за себя отвечает. Сколько было тебе, когда ты выходила замуж?

— Дело не в возрасте.

— А в чем?



У нее засверкали глаза, ей захотелось крикнуть, что он недоросль, мальчишка, состоящий при маме и папе...

Он сказал:

— По-вашему, я ни на что не имею права. Я взрослый человек, в конце концов.

Она взглянула: да, взрослый, и когда он успел? Ей стало жаль его и страшно за его будущее. Она сказала:

— Подождем отца, что он скажет.

Но Геня не стал ждать — очень нужно, лишние скандалы... Лариса поселилась у Куприяновых. Сперва казалось странно и неловко, что из Гениной комнаты выходит по утрам женщина в халатике и с распущенными косами, но скоро к этому привыкли. Леониду Никитичу Дорофея написала длинное письмо с похвалами Ларисе и с оправданиями Геннадию и себе. На письмо долго не было ответа, потом пришла короткая телеграмма с поздравлением... Вернувшись, Леонид Никитич отказался вступать в разговоры о Гениной женитьбе.

— Все!— сказал он.— Обошли меня, женили потихоньку — ну и все. Вот я, вот он. В чем дело? Взрослый, на все имеет право, ну и пусть живет как хочет, мне что. Обязанностей, значит, никаких, а права давай. Интересно. Инте-ресно!— повторил он тоном выше. Дорофея ждала скандала, но тут пришла Лариса. Она взглянула на свекра большими испуганными глазами, протянула детскую худенькую руку — Леонид Никитич стих, вздохнул, и скандала не было.

Лариса училась в медицинском институте. Родные у нее были далеко, на Алтае. Жила Лариса в студенческом общежитии. Когда Геннадий зашел за нею и она уложила свой чемоданчик, чтобы переселиться в дом мужа, девочки завидовали ей: такой красавец, из хорошей семьи, и будет своя комната... Счастливая Лариса.

Она была тихая: если кто-нибудь спит, она ходит на цыпочках; никогда не стукнет дверью, не крикнет. Голос у нее был нежный, смех коротенький, нервный, звонкий. По желанию мужа она стала носить высокие каблуки и причесываться по моде, и смотрела на него обожающим, преданным взглядом, и он был ласков с нею... Дорофея не поверила, когда Юлька сказала:

— Мама, Генька обижает Ларису.

Дорофея спросила у Ларисы. Та смутилась, стала отнекиваться. Юлька преувеличивает. Поссорились как-то, это несерьезно. А плакала она потому, что неважно сдала зачет.

Геннадий был откровеннее.

— Да, знаешь, произошла ошибка,— сказал он.— Как говорится, ошибка молодости.

— Ты с ума сошел!— сказала Дорофея.— Не смей, выбрось из головы!

— И люби по гроб жизни?

— Кроме любви есть долг,— сказала она.

— Удивительно: я весь в долгах,— сказал он нетерпеливо.— Туда должен, сюда должен... За всю жизнь не выплатить. Она, если хочешь знать, от долга отказывается, ей нужно, чтобы я по любви возле нее сидел. Вообще, лучше давай мы сами разберемся. Тут третий лишний... Подняли базар.

Он становился с Ларисой все холоднее, грубил ей при людях, иногда не возвращался на ночь, ночевал неизвестно где, и она выходила по утрам с заплаканным, опухшим лицом...

Были сумерки. Дорофея вышла за чем-то на кухню, хотела зажечь свет и увидела Ларису. Та сидела перед печкой на низенькой скамейке, облокотившись на колени и обеими руками подпирая голову. Дорофея подошла, погладила ее по спине.

— Должно быть, мы разойдемся,— сказала Лариса.— Мне... трудно так жить.— У нее и губы двигались с трудом.— Я никогда не думала, что будет так... трудно.

Она зарыдала. Дорофея наклонилась к ней, обняла... Подняв голову, Лариса сказала:

— Дорофея Николавна, у меня будет ребенок.

— Ларочка,— сказала Дорофея,— милая ты моя, так это же счастье, все тогда переменится, вот увидишь!

— Ах, ничего не переменится!— сказала Лариса.

Дорофея прижала губы к ее виску: Геня будет любить ребенка. Ты молоденькая, не знаешь, что такое первый ребенок... А для тебя это, Ларочка,— новый мир, вот ты увидишь. Еще как люди ссорятся, и живут вместе по тридцать лет. Думаешь, мы не ссорились с Леонидом Никитичем?.. Кое-как успокоила.

...Пришла с работы поздно; и предстояло еще писать тезисы к докладу... В доме было тихо. Леонид Никитич и Юлька сидели в столовой, и по их лицам, расстроенным и торжественным одновременно, Дорофея тотчас поняла, что что-то произошло.

— Гени нет?— спросила она, встревожась.

— Нет,— ответила Юлька.— И Лариса ушла с утра, и нет до сих пор... Садись, я буду тебя кормить.



— Я не хочу,— сказала Дорофея.— Что случилось?

— Они расходятся,— сказала Юлька.— Лариса переезжает обратно в общежитие. Мама, мы тут с папой обсудили, и мы считаем... Скажи ты, папа, если хочешь, только спокойно, пожалуйста.

Леонид Никитич сказал:

— Такое предложение, Дуся... Чтобы Генька жил отдельно. Это будет лучше во всех отношениях.

— Чем же это лучше? — спросила Дорофея.— Выгнать сына из дома?

— Ни к чему так ставить вопрос,— сказал он.— Выгнать из дома — страшные слова, чересчур сильно сказано, а я подхожу просто: наймет покамест комнату, а потом, может быть, жилотдел даст ему что-нибудь — мы отдохнем, он поучится жить без подпорок... Польза всем.

Он старался говорить спокойно — жалел ее.

— Семьи не стало, Дуся. Другой раз противно домой возвращаться... Один человек, понимаешь, может испортить жизнь стольким людям!

— Эгоизм!— сказала она.— Характер сложный, становление проходит трудно, а ты, отец...

И тут взвилась Юлька.

— Он паразит!— закричала она.— Мама, ну как ты не хочешь понять! Даже Лариса видит... Он паразит, и всегда будет паразит, если его дальше носить на ручках...

Странно звучало в Юлькиных устах это бранное слово —«паразит», такое ходкое в революцию и сейчас вышедшее из употребления. Несомненно, Юлька прочла его в книгах и что-то соображала, прежде чем применить к брату...

— И вот именно выгнать, да, выгнать, не бойся, папа, что страшное слово! Пусть живет сам! Пусть из-за хлеба работает, если ничего не понимает! Вы не научили понимать — пусть другие научат, без нежностей!.. Ты же умная, ты справедливая — как же ты можешь, чтобы Лариса вернулась в общежитие как оплеванная? За что она оплевана? Геньку нельзя выгнать, а ее, значит, можно? Можно, да?

Она спрашивала как прокурор. Она только сначала крикнула, а по мере того как говорила, все успокаивалась, голос становился яснее и суровее:

— Как ты допустила, чтобы он женился, как он смел жениться, когда он такой!..

— Кто же ее гонит,— сказала Дорофея.— Разойдутся по разным комнатам — и все.

Уже совсем спокойно Юлька качнула головой:

— Нет, это получится то же самое. Мы с папой решили правильно.

— Вы с папой решили,— сказала Дорофея,— но и мой голос что-то значит, правда? Вы с папой все-таки со мной посчитаетесь?

— Знаешь!..— гневно начал Леонид Никитич.

— Прости, папа,— сказала Юлька.— Я должна сказать одну вещь. Если Генька не уйдет, я уйду. Принципиально.

— Куда?— спросила Дорофея.

— На всех заводах есть общежития.

— А школу кончать?

— Вечернюю, как Андрюша.

— Это что, бунт?— спросила Дорофея. Думала пошутить, а вышло тоскливо.

— Слушайте,— сказала она,— сегодня повестка была — шестнадцать вопросов. Я не могу сейчас больше ничего обсуждать. И мне еще готовить тезисы.

— Отложим до завтра,— снизошла Юлька.— Хотя обсуждать тут нечего, а надо решать... Спокойной ночи.

Она ушла. Ушел сразу и Леонид Никитич, показывая, что не хочет без Юльки продолжать разговор. Дорофея сидела у стола. Не шли в голову тезисы. Текло ночное время... Негромко хлопнула входная дверь — это Лариса пришла, она одна умеет захлопнуть дверь так осторожно, чтобы никого не разбудить... Она тихо разделась в передней и вошла в столовую, очень бледная, с мученическими глазами.

— Ну вот,— сказала она, голос у нее прозвенел и сорвался.— Вы хотели ребенка, так его не будет.

И, еле двигая ногами, пошла в свою комнату. Дорофее стало тошно, душно; она поднялась и пошла за Ларисой. Та стояла и разбирала постель на ночь. Она делала это аккуратно и неторопливо, тонкие руки ее плавно двигались над кроватью. Дорофея спросила резко:

— Какой негодяй тебе это сделал?

Лариса повернула белое лицо и посмотрела на нее. Дорофея поникла головой, как виноватая.

Потом она подсела к Ларисе и гладила ее молча, а та лежала на спине неподвижно, с закрытыми глазами, и была похожа на покойницу...



— Геня,— сказала Дорофея,— нам лучше жить врозь.

Сказала сухо, отчужденно, хотя сердце рвалось от боли: вот куда зашло — она отсылает от себя Геню! Но ничего нельзя было придумать другого, она отсылала его не потому, что этого хотели муж и Юлька,— сама отсылала, по своей воле. При всей любви к нему, она сейчас не могла оставить его возле себя и удалить Ларису, этого она никогда бы себе не простила, терзалась бы до последнего часа...

— Придется врозь,— повторила она, собрав всю твердость.

Она ждала, что он будет поражен, начнет упрекать, просить... Но он сидел и, вытянув губы, что-то насвистывал.

— Пожалуй, действительно,— сказал он.

Он подумал, что отец и мать становятся все придирчивей, мать подпала под влияние отца и Юльки, скоро дома совсем не будет житья. Лариса умную сделала вещь: на что ребенок?— а они разыгрывают трагедию.

Дорофея поехала к Марье Федоровне и целый вечер выплакивала ей свое горе.

Акиндиновы, Марья Федоровна и Георгий Алексеич, снова появились в Энске за несколько лет до войны. Акиндинов стал большой хозяйственник, его назначили директором станкостроительного. У них, как и у Дорофеи, мало было времени, чтобы ходить в гости; но в несчастье они вспоминали друг о друге, и Дорофее не стыдно было по-бабьи, по-деревенски плакать перед Марьей Федоровной, которая давно ее знала и понимала все. У Акиндиновых обе дочки были замужем, жили с мужьями и детьми в других городах, Марья Федоровна по ним тосковала. Глядя на Дорофею, она тоже всплакнула.

— Друг вы мой!— сказала она со своей горячностью.— Вы правильно поступили, что доверили его другим людям! Пусть они его возьмут и переработают,— Марья Федоровна энергично показала руками, как надо переработать Геннадия.— Ведь вы уже ничего не в состоянии ему дать, кроме любви...

Геннадий поселился на Октябрьской, в большом доме времен второй пятилетки, в квартире гражданки Любимовой. Дорофея навела справки — что за Любимова: медицинская сестра, работает в городской больнице; есть сын, школьник; муж убит в войну.

Дорофея поехала взглянуть, как Геня устроился; но никто не вышел на звонки, никого не оказалось дома.

И второй раз повторилось то же самое. Ей наконец стало обидно стоять на площадке и звонить: что она, в самом деле, ломится к нему. Пускай-ка сам позовет.

— Я была у тебя, никого не застала,— сказала она при встрече.

— Да?— отозвался он. И не позвал, не пригласил в гости.

А потом по улице — Разъезжая улица информированная и вдумчивая — пошел слух и через Евфалию дошел до Дорофеи: будто у Геннадия с его квартирной хозяйкой любовь, а она его старше лет на десять, если не больше.

— Может, и к лучшему, что старше,— сказала Дорофея.— Она на него будет благотворно влиять.

Что он вернется к Ларисе, Дорофея не верила. И как Ларисе простить, если б и вернулся. «На мой характер — я бы не простила».

А мальчик Саша, сын медсестры Любимовой,— продолжала, собрав новую информацию, Евфалия,— совсем маленький мальчик, в знак протеста пошел в каменщики и кладет кирпичи на постройке.

— Вечно присочинят бабы, чтоб было трогательно,— сказала Дорофея,— кто пустит маленького мальчика класть кирпичи, глупости какие...

Она спросила Геннадия:

— Правда, что ты вроде женился?

— А тебе уже доложили!— сказал он.— Ты уж готова и тут вмешаться! Перестань, мать: прекрасная женщина, любит меня как не знаю что...

— Сколько лет ее сыну?

— Пятнадцать, шестнадцать; а что?

— Он работает?

— Да, у них туго было, пошел работать...

Заходил Геннадий редко, и не домой, а в горисполком. Секретарша докладывала: «Вас просит сын...»

Он поступил на завод строительных материалов, вдали от города. Дорофея не видела его четыре месяца. А сейчас он опять с нею в новогоднюю ночь.

Разговор многих голосов за окном — это вернулись с бала Юлька и Лариса, их провожают.

Разговор, должно быть, о машине, откуда она взялась. Лариса и Юлька догадаются.

На машине, поди, сугроб нарос. Беззаботность Генина, будет ему за эту машину...



Завизжали, забегали, что это делается?

Играют в снежки.

Снежок в окно — шлеп! Рассыпался...

Убрать из столовой Генины вещи или не убирать?

Лариса увидит — расстроится.

Не расстроится, у нее теперь Павел Петрович...

Идут.

Дорофея встала и плотно прикрыла дверь спальни.

Идут девочки. Приостановились — увидели Генино пальто на стуле. Ничего не говорят. Щелкнул выключатель — Юлька, блюстительница порядка, потушила свет. Разошлись по комнатам...

— Мама? Это ты тут?

— Проснулся?

— Поздно уже? Зажги свет.

— Четыре без пяти.

— А-а-а-а! Самое время спать.

— Геня, там машина вся в снегу.

— А-а-а!.. Фу, черт. Теперь возись...

Он поднимается кислый, недовольный.

— Что же ты не разбудила раньше?

— Жалко было.

— Жалко... Согрей воды. Побольше. Дай веник.

Набросив шубку, она выходит с ним на крыльцо.

— Принеси лопату.

Она бежит в дом, берет ключ от сарая, бежит во двор, отпирает холодный неподатливый замок, приносит лопату, отгребает снег. На счастье, снег неглубокий, издали показалось страшней.

От горячей воды к мотору возвращается жизнь.

— Ну, пока,— говорит Геннадий, целуя ее.

Свет фар брызжет на белую улицу. Машина трогается...

А она стоит и смотрит, как убегают в зимнюю мглу два маленьких красных огонька.

*Глава пятая*

## ДЕНЬ ЗАБОТ. ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Два человека сидят в просторном кабинете председателя горисполкома.

Один — худощавый, жилистый, с длинной шеей и грубыми складками на щеках, светлый открытый взгляд,

светлые волосы, скорее взлохмаченные, чем вьющиеся,— сам председатель, товарищ Чуркин.

Другой — толстый, громоздкий, в отлично сшитом темно-сером костюме, с гладко остриженной круглой головой, с широкими отсвечивающими скулами — товарищ Акиндинов, директор станкостроительного завода.

— Скажем, бани,— говорит Чуркин, ораторски поводя рукой, в которой дымится папироса.— Что получилось? Каждое предприятие построило для себя, одна баня другой великолепней, а в городских — старая провинция, понимаете.

— Да-да-да!— сочувственно соглашается Акиндинов.

Он вольно сидит в кресле и, закинув темную плюшевую голову, мечтательно смотрит в потолок. Ему приятно вспомнить о своей бане, она в городе лучшая. Два бассейна — в мужском и женском отделениях: не жалкие лужи, а бассейны-гиганты с проточной водой; все зимние занятия по плаванью, сдачи норм, городские соревнования происходят в этих бассейнах... А в предбанниках стоят пальмы. На судоремонтном — от скаредности, от непонимания масштабов эпохи — поставили искусственные пальмы, безвкусица; он поставил настоящие. Мировая банька, он сам любит мыться там, почти перестал пользоваться домашней ванной...

— Или взять трамвай,— продолжает Чуркин.— Та же картина. Потребности города не учтены.

— Да-да-да!— вздыхает Акиндинов.

О трамвае тоже приятно думать: как тогда наш завод изловчился — нам давали вагоны старого выпуска, а мы раздобыли новые вагончики, голубые, обтекаемые, с кожаными диванами — такие, как ходят в Москве. Другие заводы — те удовлетворились старым выпуском...

— Ведь строили как?— благодушно-доверительно поворачивается Акиндинов к Чуркину.— Экономия, Кирилл Матвеич! Берегли государственную копейку! Тянули по прямой, от завода к центру! Учитывали каждый метр! Вы же знаете, какой ответ с хозяйственника: сто раз прикинешь, прежде чем рубль истратить! И чем больше рублей тебе отпущено, тем больше спрос: куда девал? На что разбазарил? Ведь госконтроль придет — дрожим, Кирилл Матвеич, как мальчишки! Ведь вот наша жизнь какая!

На его монгольских скулах сияют светлые блики. Чуркин смотрит грустно и озабоченно. Он прекрасно понимает, для чего Акиндинов это все говорит. Не трамвай тут имеется в виду — трамвай дело прошлое. Это увертюра



к разговору, который сейчас состоится и ради которого Чуркин пригласил Акиндинова заехать в горисполком.

— Сейчас, например,— продолжает Акиндинов, с тем же простодушным выражением бросаясь в самое пекло главного разговора,— уж мозговали, мозговали — где строиться? Не могу и вспомнить, сколько на эту тему заседали. И здесь и в главке. Подошли со всех точек зрения. И опять же, Кирилл Матвеич, некуда деваться — будем просить разрешения расширять старый поселок. Другого выхода нет.

Он широко разводит толстыми руками.

— Со всех точек зрения подошли,— говорит Чуркин, нервно давя папиросу в пепельнице,— кроме одной. Эту точку вы всегда игнорируете. Я буду возражать.

— Кирилл Матвеич, вы — власть. Где постановите, там и будем строиться. Но ведь вы без хозяйственного учета тоже постановления не вынесете, а учет, он что говорит? Что строительство при заводе даст колоссальную экономию. Мы к вам не с пустыми руками, Кирилл Матвеич, придем, мы же не самодуры какие-нибудь, не помпадуры, прости господи, мы придем с точными расчетами...

— И опять рабочий дыши вашим дымом.

— Вот уж нет,— живо возражает Акиндинов.— Нет, нет и нет, спросите саннадзор. Это на «Красной заре» дышат дымом. У нас воздух чище, чем в городе. И мы что еще делаем? Мы зеленый заслон увеличиваем между заводом и поселком. И фонтаны пустим. Сплошной будет кислород и озон.

— Вечный сюжет,— говорит Чуркин, забыв руку с искалеченной папиросой в пепельнице и глядя перед собой безнадежным взором.— Опять город, выходит, ни при чем.

— Смотря что разуметь под городом. Мы — район города, и рабочие наши — жители города, и дома мы строим для них.

— Я вот что разумею под городом,— говорит Чуркин.

Он встает и подходит к карте, висящей на стене.

Это для нас с вами карта, а для Чуркина за квадратиками, изображающими дома, и за полосками, обозначающими улицы, в полную величину развертывается, в теплой плоти существует, дышит, пахнет, движется, звучит настоящий, живой Энск. Вот центр: большие дома, чистые улицы. Одни улицы асфальтированные — льются прямыми серыми полотнищами; другие — с длинными спокой-

ными бульварами, на которых вдоль аллей, посыпанных желтоватым гравием, насажены вязы, под вязами стоят скамейки. (Днем на скамейках сидят бабушки, выведшие внучат на прогулку, и старики пенсионеры с палочками, и под вязами звучат степенные разговоры взрослых и голоса детей; по вечерам их сменяют влюбленные пары, смех и шепот в темноте, да вспыхивают папиросные огоньки...) Две площади, на одной — памятник Ленину и ряды трибун: здесь происходят митинги в дни народных торжеств; другая площадь — перед оперным театром, на ней разбит сквер — клумбы, газоны, молоденькие яблони (весной они цветут бело-розовым цветом)... Новые дома отличаются от старых легкостью линий и высотой; самые высокие из них — гостиница и универмаг: легко, изящно, роскошно даже... Светлыми кубами стоят здания машиностроительного и транспортного институтов; крутым куполом высится над кровлями жилых домов краеведческий музей. Городской сад с прекрасной чугунной решеткой, которую показывают приезжим как образец старого искусства, возрожденного при советской власти (а чья была инициатива — возродить? Моя, Чуркина, была инициатива!).

Таков центр города Энска. Если не считать вагоноремонтного заводика «Красная заря», который по капле пьет кровь из Чуркина, все в нашем центре выглядит культурно и симпатично.

Вокруг центра (который относительно не так уж велик) широким кольцом расположился нецентральный, непарадный, непромышленный и неторговый Энск. Просторные его улицы обставлены маленькими домиками, главным образом деревянными, бревенчатыми. При домиках — дворы с черемухой, рябиной и огородами. Летом за заборами бескровным цветом цветет картошка. В годы войны картошку сажали даже на улицах, вдоль тротуаров. И почему не сажать? Улицы в большинстве немощеные. Иная поэтическая натура склонна умиляться, когда на городской улице, под ногами прохожих, цветет одуванчик или кашка: символично-де и трогательно. Эта натура живет в благоустроенном доме и ходит по асфальтовым тротуарам; поживи она тут — не умилялась бы на кашку, а писала жалобы в горисполком и в редакцию газеты.

Деревянный Энск перерезан в нескольких местах магистралями, по которым ходят трамваи и автобусы. На магистралях — город; с обеих сторон к ним прилегает деревня. Чуть отойди от трамвайной остановки — среди улицы копаются куры, лопух разросся у забора, какой-то сарай стоит без крыши, зияет черной дырой: видно, начали хозяева его разбирать, да некогда — отложили уборку, и дыра зияет.

Деревянный, немощеный, неприбранный Энск до сих пор называется среди жителей окраинами. Неверное, устаревшее название! За годы советской власти выросли вокруг Энска новые окраины, которые никто окраинами не зовет. Они дымят высоченными трубами, полыхают отсветами плавильных печей, поутру они будят город могучими голосами, зовущими к бодрствованию и труду. На этих окраинах, которые никто не зовет окраинами, ничем не хуже, чем в центре; и даже лучше, откровенно говоря,— шире улицы, больше зелени, и в последнее время и дома стали строить красивее. Это строят предприятия, со вкусом строят, с размахом, по проектам лучших архитекторов; возможности у них есть — министерства отпускают на строительство большие средства.

— Вот что я разумею под городом,— говорит Чуркин. И широким жестом обводит карту.

— Вот эта промежуточная чепуха — куда ее девать? Стабильное безобразие; должны мы с ними покончить или нет?

Акиндинов тоже встает и становится рядом с Чуркиным.

— Вы что будете делать?— отрывисто спрашивает Чуркин.— Ровнять, мостить, так? Асфальтировать, строить, насаждать! Так будьте любезны, делайте это вот тут!— Он стучит пальцем по деревянному Энску.— И будет город, а не лоскутное одеяло! Город для коммунизма! Кончайте, что начали, и с богом — давайте общими силами браться за эти пустоши.

Акиндинов задумчиво следит за его рукой.

— Это не решение проблемы,— говорит он после молчания.

— Частичное решение. В пределах возможного. Одну улицу построите — уже хорошо.

— Проблема все равно останется.

— А на какой процент она была бы уже решена, Георгий Алексеич, если бы с самого начала директора заводов прислушивались к требованиям местных Советов? Вы этого не подсчитали с главком?

— Недостаточно настойчиво требовали, одно могу сказать,— бросает Акиндинов и отходит от карты.

— Потому что мы требуем, а вы летите в Москву и доказываете там, что это удорожит метр площади на два рубля, вот что вы делаете!

— Если не на два рубля, а на две копейки это удорожит метр, я и то обязан поставить в известность министерство.

— Да, конечно!— говорит Чуркин.— Еще бы! Вы же паинька, как же! Помню, как вы Дом техники строили, с каким энтузиазмом... пока не кооперировались.

Акиндинов стоит у окна, зимнее солнце светит ему в лицо, и во всех подробностях, со всеми ответвлениями и узелками виден в этом ярком свете старый шрам на лбу Акиндинова, след от сабельного удара, едва не стоившего ему когда-то жизни. Что там Чуркин говорит о Доме техники? А какой ему, Акиндинову, интерес был — кооперироваться? Он этот дом задумал, и уж он бы отгрохал домище! Какие предполагались лаборатории, залы, звуконепроницаемые кабинеты — инженерам и рабочим для умственных занятий. Выдающимся рационализаторам — персональные кабинеты. Техническая библиотека на русском и иностранных языках, справочное бюро, уютный кинозал для просмотра технических фильмов, диваны, зеленые шелковые абажуры, электрофотосчетчик для учета посещаемости дома... Так нате, пожалуйста, возревновали другие заводы, вмешались горком и обком — единый Дом техники для всего Энска. И началось: инструментальный жмется, химический боится внести больше других, тракторный говорит — а зачем персональные кабинеты, что за роскошь; и нерентабельно-де строить маленький кинозал, надо большой, для выгодной эксплуатации. И прахом пошла незаурядная идея, а к заурядным идеям у Акиндинова не лежит душа. Сперва отстаивал, доказывал, бесновался, звонил, а потом плюнул и тоже стал смотреть, как бы не дать больше других. И получился дом как дом — есть лаборатория, есть экспонаты, но все обыкновенное, и как ни старается городское руководство поднять значение дома, а жизнь в нем тоже обыкновенная: те же лекции, что во всех домах культуры, те же крутят фильмы, а на экспонаты смотрят главным образом ребятишки, которых педагоги приводят на экскурсии.

Он компенсирует своим людям эту потерю. Все замыслы будут осуществлены в новом Дворце культуры. К тридцать третьей годовщине Октября откроем дворец. Хоть частично покамест; остальное закончим в будущем



году. Под технику отведем целое крыло. Тогда посмотрите, товарищи хозяйственники, у кого лучше...

Дворец строится в нашем Ленинском районе, неподалеку от реки, какой будет вид! Новые дома должны группироваться вокруг дворца. Чуркин хочет, чтобы я эти дома ставил среди халуп. Нельзя, душа. Люди-то у нас какие, подумай; в соревновании по главку взяли первое место, подумай. А наша продукция? Да я ни на какую другую не променяю те станочки, что мы сейчас обхаживаем в экспериментальном цехе. Говоришь — коммунизм, а станочки наши для чего? Для коммунизма станочки...

— Вы, магнаты,— говорит Чуркин,— не желаете участвовать в общем деле, а горсовет что может?.. Вам наш бюджет известен.

Акиндинов усмехается.

— Иевлеву бюджетных средств хватало,— говорит он.

На несчастном лице Чуркина тоже мелькает невольная усмешка: Иевлев! Люди, знающие его историю, вот уж сколько лет не могут слышать эту фамилию без улыбки.

Есть на нашей реке живописный обрыв — в том месте, где кончается набережная: крутой, густо поросший кустарником, почти как у Гончарова в романе. Непосвященные, зашедшие туда во время прогулки, не понимают, зачем, для какой цели очутилась там великолепная каменная лестница в три пологих марша — зигзагом, с обширными площадками, широкими ступенями и каменными урнами, в которых цветут настурции. Красиво и величественно, но вроде бы незачем... Незачем, а красиво, ничего не скажешь.

Лестницу построил Иевлев. Он был некогда председателем энского горсовета, в этом самом кабинете сидел, где сейчас Чуркин. То была эпоха первых неслыханных свершений, теперь уже ставших привычным делом. Новые мощные заводы выдавали чугун, сталь, машины. Состоялся первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников. На Амуре, в тайге, комсомольцы строили новый город. Заканчивалось строительство первых станций московского метрополитена. Ледокол «Сибиряков» в одну навигацию прошел Великий северный морской путь, Никита Изотов поставил рекорд добычи угля, советские автомобилисты пересекли пустыню Каракумы, советские водолазы подняли с морского дна ледокол «Садко», советские стратонавты взлетели в стратосферу выше всех, первые Герои Советского Союза спасли челюскинцев... Трудовая страна жила под впечатлением своих могучих и светлых дел,

и некоторые головы, что полегче, закружились от этих успехов.

Закружилась голова и у Иевлева, председателя энского горсовета. Показалось Иевлеву, что все отныне проще простого — вгрызаться в зыбучие пески, пробивать полярные льды, подниматься на двадцать километров над планетой, строить заводы, дворцы, города. Было бы желание да работала фантазия, а сделать что хочешь можно. Почему бы, подумал Иевлев, и нам не построить что-нибудь соответственно духу времени, потомству на память? В Москве проектируют Дворец Советов — вот бы и нам. Они большой, а мы поменьше. И овладела Иевлевым эта мечта, и выбрал он для будущего дворца место — у реки, высоко над обрывом, чтобы издали с пароходов было видать; и приказал архитекторам составить проект, и чтобы обязательно лестница шла от дворца вниз до самой воды. Покуда архитекторы трудились, Иевлев ходил к обрыву, прогуливался и размышлял, какое народное ликование будет при открытии дворца и как впоследствии сюда переместится центр города... Составили проект и смету, отправили в Москву на утверждение, а в ожидании, пока спустят фонды, на бюджетную наличность построили лестницу. Истратили средства, отпущенные на благоустройство, то есть на ремонт зданий, мостовые, водопровод и прочую прозу. Горожане не оценили порывов своего председателя и вместо благодарностей писали жалобы в Комиссию советского контроля, Москва не утвердила проект, Иевлева сняли и послали работать в совхоз, но лестница осталась, и в летние предвечерние часы жители ходят туда любоваться закатом.

— Что-то в нем было, в этом Иевлеве,— улыбаясь, говорит Акиндинов и крутит пальцами около лба.— Что-то было...

Так, с шуткой и улыбкой, он выходит из кабинета.

В большой приемной ждут посетители. Он проходит мимо них, монументальный, улыбающийся; демократичный, но слишком занятой, чтобы кого-нибудь заметить; интеллигентный, но слишком знающий себе цену, чтобы спрашивать у дверей: «Можно войти?» Человек, которому не надо спрашиваться, он отворяет дверь в кабинет заместителя. Делает он это с той целью, чтобы приветствовать Дусю Куприянову. Он любит таких людей, его волнуют их судьбы, сходные с его судьбой. Когда-то сидела у Маруси в гостях и комкала платочек от смущения...



А стол у нее большой, а сама маленькая,— ты моя голубушка...

Она отвечает на его кивок легким наклонением головы. Улыбка ее строга. Фу-ты, как научилась держаться... Перед нею сидит посетительница. Действуй, Дуся, действуй. Не переступив порога, Акиндинов подмигивает Дорофее и уходит довольный.

После приема Дорофея занимается почтой.

Стопка писем и заявлений. Разные почерки.

Инвалид Отечественной войны, капитан, живет в четвертом этаже, ему высоко, просит перевести в первый или второй... Направить письмо в горжилотдел и проследить, чтобы сделали.

Отец — алкоголик, мать просит устроить ребенка в Дом малютки. Ребенка изолировать, а сама останется с пьяницей — вот вам драма, товарищи писатели... Послать туда депутата, женщину.

Рабочий инструментального завода жалуется на плохой транспорт, требует, чтобы добавили машин на автобусной линии номер семь.

Учительница просит комнату.

Депутат Шестериков напоминает о том, что больного Савченко необходимо поместить в отделение для хроников. С хрониками беда, в больницы их берут неохотно, коек для них — в обрез, а куда-то надо устроить людей, за которыми некому ухаживать дома...

«Я, многодетная мать, приношу благодарность советской власти за заботу о моих детях...»

«Советская власть заботится о детях, а дворники занимаются вредительством. Они колют лед на улицах и посыпают песком, так что мы не можем кататься. Просим запретить им. А если насовсем нельзя, то хоть на время каникул». Подписи.

Служащий горводопровода просит комнату.

А вот анонимное послание на двух страницах, лихорадочным почерком:

«Сигнализирую, что в женском общежитии химического завода наряду с женщинами живут мужчины, мотивируя тем, что они мужья, что является вопиющим нарушением...»

«...Я, как порядочная женщина, требую немедленно...»

«...И по общественной линии разоблачить и сурово осудить...»

«...Тем более у них как у мужей стаж совершенно незначительный...»

Дорофея улыбнулась и вздохнула. Писал человек без чувства юмора, раздраженный и несчастный — у счастливого другие были бы слова...

Вечером она идет по указанному адресу.

Приземистый двухэтажный дом старой постройки. Внизу — аптека и часовая мастерская.

Еле светит пыльная лампочка, освещая лестницу. Стертые каменные ступени. Расшатанные перила.

Площадка. Дверь. Сюда почти не доходит свет снизу. Не видно, есть звонок или нет.

Дорофея снимает варежку и ощупывает дверь. Нет звонка, торчат две проволочки. Пахнет дезинфекцией. За дверью во все горло заливается радио: «Смейся, пая-ац...» Стучи не стучи — не услышат. Может, не заперто? Так и есть.

Радио умолкает, едва Дорофея отворяет дверь, будто это она его выключила. Шибает в нос дезинфекцией, в глаза — ярким светом лампы, голо и пустынно горящей посреди пустынной голой передней с добела вымытым дощатым полом.

Кроме лампы, единственный предмет в передней — большой плакат, на котором выделяются слова: «Лекция» и «Маяковский». На двери с дощечкой «Комендант» — замок. Из другой двери выглядывает девичья голова и скрывается.

— Девочки, лектор пришел! — слышит Дорофея.

— Это не лектор, — говорит другой голос. — Лектор мужчина. Это Люсина тетя.

— Люся, тетя пришла! — кричат голоса.

Дорофея снимает ботики. Шубку повесить не на что. Хоть бы гвоздь вбили... Она стучится в комнату, откуда выглядывали.

— Да-а! — недовольно звучит в ответ.

В комнате четыре кровати, четыре тумбочки, четыре стула, стол. По стенам и спинкам кроватей навешана одежда. Три девушки лежат. (Поверх одеял — три пары ног в бежевых чулках.) Четвертая девушка, растрепанная, в чересчур большом старом свитере, стоит в странной позе: одна ее рука на столе, другая вытянута вперед. Она оборачивается и меряет Дорофею презрительным взглядом.

— Ой, это не Люсина тетя! — говорит одна из лежавших девушек и приподнимается, а две другие оправляют юбки на коленях. Странная девушка в свитере остается в той же позе, неподвижно держа вытянутую руку.

— Товарищи, — говорит Дорофея, — где мне найти коменданта?

— Комендант рядом.

— Там замок.

— Пошла, наверно, куда-нибудь.

— В магазин, изволь радоваться, — говорят на другой кровати, и все чему-то смеются, кроме девушки у стола.

Прибегает еще одна девушка, беленькая, с быстрыми темными глазами, и суетливо спрашивает:

— А где тетя? Ах, не тетя? А к кому, товарищ? Ах, из горисполкома? Комендант сейчас будет, она за хлебом пошла, пройдемте в красный уголок. Девочки, я забираю стулья.

— Закрывай дверь, Люся, — говорят вслед. — Давай, Верочка, дальше...

Дорофея переходит с Люсей в красный уголок, обвешанный плакатами и театральными афишами.

— Культработа на высоком уровне, — говорит Люся, расставляя стулья. — В воскресенье идем культпоходом на «Евгения Онегина».

— Девушка, а почему такой запах? Сплошная хлорка.

— Запах? — спрашивает Люся. — Нет, правда? Я не слышу. Хлоркой санкомиссия поливает для дезинфекции. От гриппа. Ох, забыла!

Она убегает и возвращается с графином.

— Кажется, все. Да, товарищ, я вас слушаю, что вам интересно? Я — председатель культкомиссии.

Чем-то беленькая девушка напоминала Юльку: светлой ли мастью, или этой заботой о графине и стульях, или просто юностью и хрупкостью. Об анонимном письме с нею не хотелось говорить. Дорофея спросила:

— И много народу у вас в общежитии?

Вошла, на ходу развязывая платок, пожилая женщина.

— Наш комендант, — сказала Люся. — Олимпиада Григорьевна, от горисполкома интересуются.

— Никак товарищ Куприянова, — без восторга сказала комендантша. — Здравствуйте.

— Зашла посмотреть, как тут люди живут, — сказала Дорофея.

— Живут, — осторожно подтвердила комендантша.

— Нараспашку, — сказала Дорофея. — Кто хочешь входи, что хочешь бери.

— А!— сказала комендантша.— Так это вечером. Шестьдесят душ с работы приходят, это каждому открывать, изволь радоваться. А днем я на болт запираюсь.

Люся вбежала, неся пальто с серым мерлушковым воротником. Положила пальто на стул и сказала: «Олимпиада Григорьевна, лектор»— и за нею вошел, растирая с мороза руки, Павел Петрович, Ларисина симпатия. Он узнал Дорофею и поздоровался без удивления, одинаково серьезно и молча — с нею и с комендантшей. Поздоровавшись, отошел и стал, задрав голову, рассматривать плакат на стене: «В сберкассу деньги положила, путевку на курорт купила». Лоб его покрылся длинными морщинами от виска до виска, а лицо приняло недоумевающее выражение, как будто он не мог понять, что означает этот плакат...

— Мужчины в общежитии есть?— спросила Дорофея.

Комендантша зажмурилась и помолчала.

— Есть,— сказала она, печально и многозначительно качая головой.— Две пары есть семейных.

— Что за семьи?

— Один столяр, Ефимов фамилия. А Витя, постой ты, как же его, фамилию забыла... Он еще молодой. На такси ездит.

— А жены кто?

— Наши, с химического. Вы, товарищ Куприянова, не думайте,— сказала комендантша горячо,— что я этих мужчин без прописки держу. Ефимов в мужском прописан общежитии, строительном, а Витю я тут недалеко прописала, у хороших знакомых.

— А живет здесь.

— А где же ему?— еще горячее спросила комендантша.— Там только прописаться можно, а жить не пустят, тем более с женой, изволь радоваться. Женщины — тяжелая артиллерия, я вам скажу; их пускать не любят, почему? Нынче она голову моет, завтра ей постирать — беспокойство для окружающих.

За дверью раздавался Люсин голосок, повелительно кричавший: «Товарищи, на лекцию! Начинаем лекцию!»— то близко, то в недрах общежития. В красный уголок входили женщины. Пришла и растрепанная девушка в безобразном свитере. Она вошла плавно, как-то не полюдски переставляя ноги, держа голову высоко и немного набок. «Верочка, Верочка!»— заговорили женщины и раздвинулись, чтобы усадить ее. Откинувшись на спинку стула, она оглядела Павла Петровича так же высокомерно, как давеча Дорофею.

— Конечно,— говорила комендантша,— Таня, с другой стороны, могла подождать, ей двадцать лет. Но коли уж беда случилась — надо выходить из положения. А Евгении Ивановне ждать нисколько не возможно было, в тридцать три года человек мужа нашел, до сорока, что ль, ждать, изволь радоваться. И в мужское общежитие ее не пошлешь, женщина культурная.

— Кто эта девушка?— спросила Дорофея.— В сером свитере.

— Так это ж Вера Зайцева!— сказала комендантша.— Знаменитая наша Вера.

— Чем знаменитая?

— Ну, как же,— с сожалением к Дорофее, не знающей, кто такая Вера Зайцева, сказала комендантша.— Неужели никогда не видели, в самодеятельности выступает. На главных ролях. Сейчас учит Марию Стюарт.

— Да?..— переспросила Дорофея.— Какая гордая.

— Я ж вам говорю,— шептала комендантша,— учит роль и представляет, якобы она Стюарт. Переживает, что престол отняли. Четыре учреждения переманивают. Я говорю — иди туда, где комнату дадут.

Женщины всё входили. Почти сплошь это были молодые девушки, только три-четыре мелькнуло увядших лица. «Автор анонимки — среди этих трех-четырех»,— подумала Дорофея.

— А общежитие не протестует,— спросила она,— против того, что здесь живут мужчины?

Комендантша опять зажмурилась.

— Бывает,— созналась она, как прошлый раз.— Но ведь это, товарищ Куприянова, главным образом на почве ревности. Большинство сочувствует. Доведись до какой хочешь — тоже может очутиться в таком положении.

«Умная ты баба»,— подумала Дорофея, взглянув на комендантшино отечное лицо с выражением смиренной печали и с зажмуренными глазами.

— Птице надо вить гнездо,— сказала комендантша.— А если вы со мной не согласны, снимайте меня, я ничего против не имею.

— Пожалуйста, товарищ лектор, можно начинать!— скороговоркой сказала Люся, примащиваясь на краешке того стула, где лежало пальто Павла Петровича.

Павел Петрович, все растирая руки, взглянул на собравшихся, потом вверх и сказал:

— Сначала послушайте стихи.

И другим голосом, певучим и резким, начал читать:

Я знал рабочего.
Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал — все.

— Покажите мне общежитие,— шепнула Дорофея комендантше.

У выхода из красного уголка они посторонились, чтобы дать дорогу беременной женщине, толстушке с веселым румяным лицом.

— Это Таня,— сказала комендантша.— Видали? Ну, я ее с Витькой разлучу; а как он отвыкнет да завьется прочь? Вот, товарищ Куприянова, говорят — для семейной жизни требуется любовь, а я тебе скажу: жилплощадь ничуть даже не меньше! Без площади любовь не держится, это уж вы мне верьте, поскольку я на эти явления насмотрелась вот так.

В одной из комнат общежития угол был огорожен ширмой. За ширмой ужинали мужчина и женщина.

Больше ни души сейчас не было в комнате, и стол, стоявший посредине, был свободен, но женщина кормила мужчину в своем уголке, у тумбочки. Вторая тарелка на тумбочке не умещалась, женщина держала ее на коленях. Она сидела на кровати, муж на стуле. Им было тесно и неудобно, но это все же был свой угол, своя тумбочка; здесь был коврик над кроватью, и прошивки на наволочках, и цветочки на ширме, это был *очаг;* в час семейного отдыха они льнули к очагу.

Дорофея поняла все это сразу, только увидев ширму и услышав звон посуды и тихие голоса. Ей стало неловко беспокоить людей, которые в кои веки могут после работы побыть дома вдвоем. Но делать нечего.

— Евгения Ивановна, к вам,— сказала комендантша.

Мужчина и женщина обернулись тревожно. «Всегда в тревоге,— подумала Дорофея.— Живут и думают, как бы их не разделили...» Мужчина положил вилку. Женщина спросила раздраженно:

— Да, что такое?



И, поднявшись, заслонила собою мужа.

— Из горисполкома, Куприянова,— сказала Дорофея.— Ходим и смотрим с комендантом, как бы вам устроиться получше.

— А что смотреть?— боязливо и вместе колко спросила женщина.— Смотреть тут нечего, давайте место в семейном общежитии. Морочат голову новым домом, а когда он будет?

У нее было болезненное, нервное лицо, завитая прическа, и по сторонам желтого лица качались длинные серьги.

— Про дом я не знаю,— сказала Дорофея.— С семейными общежитиями туго, не могу обещать. А жизнь наладить надо.

Встал мужчина и, жуя, вышел из-за ширмы. Он был маленький, нахмуренный, говорил и двигался не спеша.

— В чем дело?— спросил он, проглотнв.— Дом будет месяцев через восемь.

— Уже через восемь, слышите!— закричала женщина.— А говорили — к Первому маю! Через восемь лет будет ваш дом!

— Иди давай, занимайся своим делом,— строго сказал мужчина, и она отступила, качая серьгами.

— Ефимов,— сказал мужчина и подал Дорофее руку.

— Товарищ Ефимов,— сказала Дорофея,— пойдемте со мной, тут кое-что, кажется, можно сделать.

Она несколько раз обошла с комендантшей комнаты и рассмотрела все. Люди относятся к общежитию как к пересадочной станции, это уж известно. Девушка украшает свой угол, до других углов ей дела нет; мужчина, за редчайшими исключениями, не украшает ничего. Никто не предполагает просуществовать здесь всю жизнь, все ждут пересадки. Один хлопочет о семейном общежитии, как о более удобном вокзале. Другой состоит на учете в жилотделе, и его очередь не так уж далеко. Третий ждет обещанной квартиры в строящемся доме. Пассажирам, ожидающим пересадки, не приходит в голову побелить на станции потолки или прибить вешалку. Они предоставляют эту заботу учреждению, в ведении которого находится станция. По учрежденскому плану потолки будут белиться в 1951 году, а вешалки не предусмотрены...

— Через восемь месяцев! — говорит Дорофея, ведя Ефимова по общежитию; за ними идут Евгения Ивановна, комендантша и откуда-то взявшийся пышноволосый молодчик в куртке с молниями.— Но ведь надо восемь ме-

сяцев прожить по-человечески. Та, другая, родить собирается, как же это будет?

Парень с молниями поправляет пышные волосы и выдвигается вперед.

— Мы на учете в жилотделе,— говорит он.

Ему неловко, что их с Таней угол огорожен простынями, когда у Ефимовых такая красивая ширма.

— Мы купим ширму,— говорит он.— Хотя наша очередь в жилотделе уже близко.

— Ах, боже мой,— говорит Дорофея, рассердившись.— Она не будет ждать, когда подойдет очередь. У нее свои сроки. Надо иногда и личной инициативы немножко, товарищи мужчины.

Она уже все придумала, и у нее блестят глаза. Здесь есть за кухней комнатка, маленькая, в одно окно,— должно быть, в старое время предназначалась для прислуги. Вот ее и отдать семейным.

— Девчата крик подымут,— говорит комендантша.— Девчата, что тут живут. Они давно живут, пригрелись.

— Поговорим с девчатами,— отвечает Дорофея.— Всегда можно для хорошего дела убедить людей.

— Союз разрешит ли. Женское общежитие. Опять-таки их не пропишут, изволь радоваться.

— Разрешит союз... Только условие, товарищ Ефимов,— говорит Дорофея,— разгородить как следует, материал вам достанем, а работа ваша.

— Понятно,— говорит Ефимов, нахмуренный по-прежнему, но с проблеском интереса на лице.— По пол-окна, значит. Сухой штукатуркой если городить.

— А сверху обои,— задумчиво говорит Евгения Ивановна.

— Сколько надо сухой штукатурки?

— Сейчас,— говорит Ефимов и уходит. Остальные стоят и ждут его молча. Через открытые двери доносится резкий голос, читающий нараспев:

Потомки,
    словарей проверьте поплавки:
из Леты
        выплывут
            остатки слов таких,
как «проституция»,
            «туберкулез»,
                «блокада».
Для вас,
        которые
            здоровы и ловки...



Ефимов возвращается со складным метром.

— Значит, по пол-окна,— говорит он.— Соглашаешься, Виктор? Говори сразу.

— Ну что ж,— отвечает Виктор с таким видом, будто жилотдел уже предложил ему на выбор несколько квартир, одна другой лучше,— можно... Тесновато, конечно...

— За простыней тебе больно просторно,— замечает Ефимов.

— Ладно, товарищи молодожены,— говорит Дорофея.— Сами знаете, как обстоит дело. Будем все жить удобно, хорошо, а пока приходится потесниться. И немножко больше хозяйственности: лампочку на площадке надо вкрутить, звонок починить, устроиться по-людски...

...Когда она уходила, лекция уже кончилась, Павел Петрович одевался в передней. Девушки подавали ему пальто, и одна с волнением спрашивала:

— А скажите, это правда, что он любил Лилю Брик?

Ефимов хотел проводить Дорофею.

— Не беспокойтесь,— сказала Дорофея,— меня товарищ лектор проводит,— и улыбнулась Павлу Петровичу. Они вышли вместе. Ей хотелось поговорить с ним о Ларисе, спросить, какие же у него планы. Но она воздержалась,— он не казался человеком, с которым можно быть запанибрата. Она сказала:

— Вот вы, значит, чем занимаетесь.

— Да,— ответил он.

Мороз усилился к ночи и крепко щипал лицо. Было скользко, и Павел Петрович взял ее под руку.

— Большое дело,— сказала она,— прививать людям культуру.

— Не так просто,— сказал он.— Культура культуре рознь. Многим «Сильва» милее Бетховена, а Маяковский — Бетховен в поэзии.

— Насильно ни к чему не приохотишь,— сказала она,— задача — дать человеку самые большие образцы, чтоб ему было с чем ту же «Сильву» сравнивать, а он уж сам сравнит и постарается исправить свой вкус. Для этого, наверно, вы им и читали стихи.

— Да,— сказал Павел Петрович.— Для этого.

— Слушайте,— сказала она,— а вы знаете, зачем я там была...

И она рассказала про столяра Ефимова и Евгению Ивановну, и про знаменитую Веру, которую она чуть не приняла за душевнобольную, и про комендантшу, которая им всем там мать. Он слушал и сперва смотрел под ноги,

а потом повернул голову и стал смотреть ей в лицо — они были одного роста.

— Нет,— сказала она, радуясь, что ему интересно,— это видеть надо, этот ужин в уголку, тарелка на коленях, а в ушах вот такие серьги,— всё, ну всё в этих серьгах, прямо как в зеркале... И знаете, что я вам скажу,— продолжала она,— когда у каждого будет хорошее, настоящее жилье, тогда и культура расцветет по-настоящему, вот вы увидите. А как же! Как же! Сейчас иному человеку некуда поставить шкаф с книгами, вы подумайте! А тогда и книги, и рояль, и что хотите...

И замолчала, увидев, что уже дошли до автобусной остановки.

— Вы тоже едете?— спросила она.

— Нет,— ответил он.— Мне близко.

— Вы же к нам приходите.

— Благодарю вас.

«А Ларисе привет не передал,— отметила она огорченно.— Впрочем, они, должно быть, видятся...»

В автобусе было мало народу и так же холодно, как на улице, даже, кажется, холодней. Дорофея пробежала вперед, села на промерзший кожаный диванчик, зябко сжалась, засунув руки в рукава шубки. «Эту сухую штукатурку я из Рябушкина вытяну,— размышляла она (Рябушкин был директор химического завода, которому принадлежало общежитие),— пусть попробует не дать, Ряженцеву позвоню... Совсем немного иногда нужно, чтобы людям жилось лучше... А насчет нового дома, о котором они мечтают, еще придется давать сражение, и не одно... Ох эта мягкотелость чуркинская, обещает квартиры людям, которые вполне могут подождать, а такие, как Ефимовы, опять ни с чем останутся, если не повернуть это все по-справедливому, по-советски...» Автобус останавливался и опять шел, не видно было сквозь толстый лед окон, по каким он улицам идет, лед вспыхивал искрами от встречных фонарей и угасал, у каждого пассажира вокруг головы было белое облако... «Что значит образование,— думала Дорофея о Павле Петровиче,— почти ничего не сказал человек, а сразу видишь, что интеллигентный... Какая разница с Геней, совсем другие и манеры и мысли, ничего нет удивительного, что Лариса влюбилась, хоть и неказист...» Она не заметила, как придремнула. За две-три минуты, что она спала, ей успел присниться сон: она была молоденькая и жила в вагончике; Леня вот-вот должен был прийти и принести сухую штукатурку; она беспокоилась, что его долго нет, они не успеют разгородить вагончик, и им придется расстаться навсегда... А когда кондукторша разбудила ее возгласом: «Разъезжая!»— ей приснилось, что это разбудил ее Леня, поцеловав в губы.



*Глава шестая*

## ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА

В детстве Саши Любимова главным человеком был отец.

От него все зависело. Он говорил: «В воскресенье мы поедем за город» или: «Нет, в воскресенье я занят». Он отвечал на Сашины вопросы; отвечал серьезно, как взрослый взрослому; учил Сашу, как забивать гвозди и строгать доску рубанком и как стоять на стремянке, чтобы не свалиться. Если Саша не слушался, мать говорила: «Вот я папе скажу».

Отдельную квартиру в новом доме — две комнаты и кухню — им тоже дали из уважения к отцу. Саша помнит, что, когда они со всей мебелью приехали сюда на грузовике, во дворе стояло много людей, все одетые чисто, а один в измазанном фартуке. Человек этот что-то сказал отцу и подал ему большой ключ, и отец что-то сказал и пожал руку измазанному человеку, а другие захлопали. Мать сказала: «Спасибо вам». Измазанный человек ответил: «Пожалуйста, пользуйтесь в свое удовольствие». Поднимаясь по лестнице, Саша спросил: «Папа, кто это?»— и отец сказал, что это самый лучший каменщик в Энске, он сложил для них этот большой дом.

Между домом и улицей был просторный двор. Предполагали засадить его цветами, но дело откладывалось с весны на весну, и все дети были очень рады: без цветов воля, бегай где хочешь и бросай мяч, не боясь, что тебе нагорит.

Однажды они так разыгрались, что стали бросать друг в друга чем попало. Один мальчик с криком «ура!» кинул кусок угля и попал Саше в голову. Кровь хлынула и залила Саше глаза. Он закричал. Мальчишки стихли, взяли его за руки и повели домой: он был слеп от крови. Они еще не дошли до парадного, как навстречу выбежал отец. (Он был дома, выглянул в окно на Сашин крик и все увидел.) «Сашка, Сашка!— сказал его голос.— Ну, держись, брат!»— и Саша почувствовал, как отцовские руки под-

няли его и понесли. Кругом кричали, что надо вызвать «скорую помощь», но отец не отвечал и шел быстро, почти бегом.

— Папа, куда мы?— спросил Саша.

— К доктору,— сказал отец.— В поликлинику. Ничего, Сашка, ничего, бывает хуже.

Поликлиника находилась за углом, так что действительно незачем было вызывать «скорую помощь».

Сашу положили на стол, ему было больно и страшно, а отец стоял рядом и говорил:

— Потерпим, брат, будем мужчинами.

А когда они из перевязочной вышли в приемную — Саша в белой чалме и залитой кровью курточке,— их встретила перепуганная мама: она, оказывается, прибежала за ними, но ее не пустили в перевязочную.

— Жаль!— сказал отец.— Ты бы видела, каким героем вел себя Сашка.

Саша не чувствовал себя героем, там, на столе, он хватался за руку отца и два раза принимался плакать, так что потом было стыдно перед докторшей. Подняв голову в чалме, Саша вопросительно взглянул на отца: зачем он сказал маме неправду? Отец улыбнулся ему сверху, и Саша подумал: «Это он меня учит на следующий раз, чтобы, когда еще случится такое, я держался как следует».

В середине лета отец брал отпуск, и они все трое ехали к бабушке в Курскую область. Бабушка была колхозница; у нее был дом, огород, корова и большие серые гуси. За огородом сад — вишневые деревья, усыпанные красными точками, и яблони, только яблоки никогда не созревали при Саше, так он их и не попробовал... У крылечка цвели оранжевые ноготки на толстых прямых стеблях. Бабушка говорила: «Люблю этот цветок, без прихотей он, а пахнет солнышком». Она растирала в ладонях листья ноготка и нюхала; и Саша растирал и нюхал, ему этот запах тоже нравился. Ему казалось, что и подушка, на которой он спал у бабушки, и бабушкино платье, и вся ее усадьба пахнут этим крепким солнечным запахом.

Мать ловко орудовала у деревенской печи ухватом и длинной кочергой, а отстряпавшись, брала тяпку или грабли и шла в колхоз — приработать трудодней для бабушки. Она ходила по деревне босая, в сарафане, с голыми руками. Руки и белые ноги ее покрывались золотистым загаром, а на груди образовывался отчетливый малиновый треугольник — по вырезу сарафана. Однажды, вбежав в сад, Саша увидел, как отец целовал мать в этот малиновый треугольник. Саше стало стыдно, что они занимаются глупостями; он ушел, сделав вид, что ничего не заметил.

За деревней текла речка. Не было большей радости, как купаться и плавать в этой светлой, прохладной речке.

Плавать научил Сашу отец. Он зашел на такую глубину, где ему было по грудь; Сашу он нес на плече. И вдруг сказал: «Ну, плыви!»— и бросил Сашу в воду. Саша испугался, забарахтался — и поплыл. Отец плыл рядом. «Молодчина!— сказал он, когда они вышли на берег.— Пойдем расскажем маме». И Саша побежал впереди него — рассказать маме, что он уже плавал; по дороге встретил знакомых мальчиков и им рассказал тоже... Как сейчас он видит улицу, по которой шел тогда с отцом. Она была неширокая, затененная с боков деревьями, свешивавшимися из-за плетней. С правой стороны плетень был длинный, во всю длину улицы, старый, расшатанный, похожий на огромную корзину; в одном месте он был проломан, и через пролом видна старая-престарая горбатая груша. Вдоль плетней протопки, а посередине улицы негусто росла трава, и на траве отпечатался след от колес... Почему-то эта деревенская улица врезалась в Сашину память; в разных местах он встречает ее и узнаёт, и узнавание причиняет ему короткую сладкую боль. Совсем недавно, уже взрослым, он ехал в выходной день с ребятами за город, погулять; поезд шел мимо леса, и вдруг из леса к полотну выбежала неширокая дорога, на ней росла трава, на траве отпечатался след от колес — и мгновенное впечатление охватило Сашу: «Я был здесь с папой!» Он не был здесь никогда, но впечатление было так сильно, что на секунду ему показалось — вот сейчас там, в глубине, у зарослей осинника, появится отец... И все это из-за колесного следа на траве, потому что больше ничем эта лесная дорога не напоминала ту улицу...

В сорок первом году отец не успел побывать в отпуске.

Он ушел воевать. Саша остался с матерью. Мать поступила в госпиталь, ее подучили, она стала медицинской сестрой.

Она не приходила из госпиталя по целым суткам. Саша вставал утром сам, шел в булочную, кипятил себе чай, потом отправлялся в школу.

Ключ от входной двери, который отец всегда носил во внутреннем кармане пиджака, лежал теперь в кармане у Саши. Продуктовые карточки мать отдавала Саше. Он

прибирал как умел в комнатах, ходил в магазин отоваривать карточки, в контору домоуправления — за справками и в инкассаторский пункт — платить за электричество. У него не было охоты к этим занятиям, но он жалел мать и полагал, что отец на его месте тоже взял бы эти заботы на себя. Отец относился к матери покровительственно, и Саша привык относиться к ней покровительственно.

Она, придя с дежурства и проспав несколько часов каменным сном, вскакивала и принималась стирать, гладить, мыть пол, починять и перешивать одежду,— она привыкла жить в чистоте, грязь и неблагообразие были для нее невыносимы.

И Саша любил благообразие. Когда мать шла из дому, он, как отец когда-то, взыскательно оглядывал ее — все ли на ней прилично и красиво.

Она была веселая, добродушная, покладистая, никогда не злилась и не бранилась с людьми. Обидят ее — она притихнет, иной раз поплачет, потом скажет: «А, да бог с ними!»— и опять разговаривает и смеется, как ни в чем не бывало.

Впрочем, ее редко обижали, все любили ее за хороший характер — и соседи, и начальство, и раненые.

Денег на жизнь им не хватало. Мать продала скатерть и вышитое покрывало для кровати, а потом достала из шкафа отцовский костюм и пошла к Саше советоваться.

— Сашок,— сказала она,— как ты думаешь, если мы продадим папин костюм? За него хорошо дадут. Он почти совсем неношеный.

Саша готовил уроки. Держа перо в испачканных чернилами пальцах, он задумчиво слушал мать. Она стояла перед ним с костюмом в поднятой руке. На плечах пиджака блестели хлопья нафталина. Саше вспомнилось, как отец надел этот костюм, коричневый в полоску, потрогал себя под мышками и сказал: «Вот не люблю новых вещей. Смотрят на тебя и думают — вырядился, как жених».

— Он его не очень и любил,— сказала мать.— Я думаю, он ничего не будет иметь против. Он бы и сам велел продать. Смотри, какой материал.

Саша не понимал в материале. Он увидел, что верхняя пуговица на пиджаке расколота, вместо целой пуговицы болтались две половинки... Саша насупился и сказал:

— Продай, конечно!

Он все больше жалел мать. Кроме Саши, у нее не осталось никого из близких. Она все ждала, что приедет бабушка; ждала даже тогда, когда Курская область была



оккупирована фашистами; но получила письмо от знакомых, что бабушка не успела выехать, осталась у фашистов.

— Продай,— повторил Саша. И добавил, глядя в тетрадку:— Там пуговица сломана, пришей другую.

Мать ушла. Он обмакнул перо в чернильницу и продолжал заниматься. Но глубокая печаль легла ему на душу. В первый раз ему представилось, что отец, может быть, и не вернется.

Отец не вернулся.

Саша пережил это по-мужски. Ему было тягостно, когда мать, рыдая, обнимала его и прижималась к нему горячим мокрым лицом. Его горе было целомудренно. Он плакал ночью, в постели, тихо.

В конце того же года пришло известие, что бабушка умерла во время оккупации, а деревню фашисты при отступлении сожгли.

Опять мать рыдала и схватывала Сашу в объятия, но он уже не плакал, а только с ласковой грустью вспоминал бабушку.

Было странно, что нет больше на земле маленького бабушкиного дома, и пахучих ноготков, и калитки, из которой по утрам выходили, вытягивая шеи, серые гуси.

Больше незачем и не к кому туда стремиться, выходить ночью на маленькой станции, где перед отходом поезда ударяли в колокол, ехать на подводе темными полями, пахнущими мятой.

Но после гибели отца эти потери не могли причинить Саше сильного горя.

Он плакал об отце и гордился им.

Горе смягчилось, но память об ушедшем не тускнела, он берег ее. Были проданы отцовские часы и велосипед и вся одежда, кроме одного старенького костюма, который мать перешила для Саши. Остался только ремешок от часов, поношенный галстук, пенковый мундштук, письма и фотографии. Все это Саша собрал и положил в большую коробку, где отец держал облигации государственных займов. Коробка была глубокая, прочная, на крышке нарисована жар-птица.

Горе смягчилось. Саша ходил в школу, читал книги, сдавал нормы на значок «БГТО», летом ездил в пионерский лагерь, был вожатым звена, играл хорошо в волейбол и плохо в шахматы, не пропускал ни одного кино-

фильма, и день его был заполнен множеством разнообразных дел.

Он рано понял, что его мать не особенно умна и мало развита, но продолжал любить ее — снисходительной и заботливой любовью взрослого. Ему интереснее было с другими людьми, чем с нею, но он ей этого не показывал и терпеливо слушал ее рассказы о больничных делах (она теперь работала в городской больнице). Его делами она не очень интересовалась, и он не навязывался — жил самостоятельно.

Он был рослый, длинноногий мальчик с большими руками и большим добрым ртом, серьезный и спокойный. С шестого класса он стал подумывать о работе. «Был бы жив папа — выучил бы меня на лекальщика». Но мать, всегда с ним согласная, слышать не хотела, чтобы он бросил школу: «Папа говорил, что ты должен получить образование. Уж как-нибудь, Сашок, хоть и трудно...» Чтобы заработать побольше, она нанималась дежурить возле больных и шила платья соседкам.

А потом задумала сдать одну из комнат жильцам. Во время войны в этой комнате жили эвакуированные, они давно уехали, и там спал Саша.

— Мы ведь можем вместе, как ты смотришь?— сказала мать.

И в скором времени в их квартире появился Геннадий Куприянов.

Его лицо Саше не понравилось: Геннадий был очень красив, но это была неприветливая, недобрая и неумная красота. Казалось, природа отпустила Геннадию из своих запасов первосортные брови, нос и рот, но не дала чего-то самого главного, без чего этот нос и эти брови не имели ни малейшей цены. Кроме того, Сашу поразило в Геннадии какое-то бездумное пренебрежение к людям: явившись жильцом в чужую квартиру, он стал распаковывать свои пожитки не в нанятой им комнате, а в смежной, хозяйской, и при этом насорил и набросал бумажек и не подумал извиниться или хотя бы поблагодарить, когда мать прибирала за ним. Приходя поздно ночью (ему сделали отдельный ключ), он стучал ногами, свистел и даже пел, не заботясь о том, что за тонкой стеной спят люди, которым нужно рано вставать. Умываясь у раковины, разбрызгивал воду по полу и предоставлял другим убирать после себя. «Индивидуалист!»— с возмущением думал Саша.

Мать вступалась за жильца: он ведь так и договаривался — с услугами, его в семье так приучили. И что считаться мелочами, сказала мать, когда человек выложил плату за три месяца вперед. Он такой интеллигентный, посмотри на его профиль. В дальнейшем мать стала избегать разговоров о Геннадии, только вздыхала. «Чем он ей нравится,— удивлялся Саша,— он просто некультурный и грубый человек».

Такие же ходили к нему приятели: два здоровенных парня в модных пиджаках. Один из них, насколько Саша мог понять из их разговоров, вечно переходил с работы на работу, другой — из института в институт; в промежутках они шатались без дела. Являясь в дом, с порога начинали острить и хохотать, затем забирали Геннадия и уходили «прошвырнуться»— так у них называлось гулянье. «Прошвыривался» Геннадий по несколько часов сряду и возвращался пахнущий вином или пивом. Не понять было Саше: чем интересуется Геннадий? что любит? «Не учится: профессии нет. И ведь немолодой уже.— Шестнадцатилетний Саша всех людей старше двадцати лет считал немолодыми.— Что он думает? Чего он хочет?»

Геннадий хотел купить мотоцикл. На новый у него не хватало денег, он ходил на толкучку и потом рассказывал матери, какие он там видел мотоциклы. А мать слушала с глубоким вниманием — никогда ничьи дела ее так не интересовали. Возвращаясь с работы, она первым долгом спрашивала: «Геннадий Леонидович дома?»— а на Сашу совсем мало стала обращать внимания. Как-то Геннадий принес пирожные и бутылку вина, угощал и говорил гордо:

— Хорошее вино, я плохого не пью. Я считаю, лучше никакого не пить, чем пить плохое.

— Ну что вы тратитесь,— сияя, говорила мать,— что это вы придумали.

И мечтательно смотрела на Геннадия, поднимая рюмку к губам.

Саше все это было неприятно. Он старался поменьше бывать с ними, приходил обедать и ночевать. Занятый своими ребячьими делами, он забывал о человеке, поселившемся в его доме. И уроки по возможности готовил не дома, а в школе или в «тихой комнате» Дома пионера и школьника.

Мать стала странная — то поет и смеется без причины, то глаза на мокром месте. Стала очень заботиться о своей наружности и экономила на еде, чтобы купить туфли или сшить платье. Саша заметил, что лучшее из еды отдается Геннадию; бывало даже так, что для Геннадия готовился

особый обед, а они с матерью ели картошку. С мужской гордостью Саша отвел мелочные мысли. Мать — работница и хозяйка в доме, ее дело.

Было начало лета, разгар экзаменов, когда Саша догадался об отношениях Геннадия и матери.

Саша виду не показал, что оскорблен, что осуждает. Но был оскорблен и осуждал, не мог не осудить. И хоть был уже юноша, а в душе ныла детская боль.

Зачем они так поступили? Зачем мать так поступила? Она старше Геннадия, будут смеяться... И главное — почему Геннадий, которого я не могу, ну никак не могу уважать? Пусть бы другой человек, хороший,— пожалуйста, я бы не возражал...

Так думал он, а у самого дрожали губы.

Я буду работать. Не хочу есть картошку и смотреть, как она ест картошку, когда он ест мясо. Не хочу сидеть у нее в иждивенцах. Пусть он сидит в иждивенцах.

Геннадий больше не платил за квартиру. Жить стало еще труднее. Мать из кожи лезла вон, чтобы приработать. Не заплатили вовремя за электричество, пришла контролерша, пригрозила перерезать свет. Геннадий сказал, что ему мерзка эта жизнь, и ушел, хлопнув дверью. Мать заплакала. Саша сказал:

— Я подал заявление в ФЗО строителей.

Он немного солгал — он еще не подал, а только намеревался подать.

Она плакала, закрыв лицо, и не сказала «нет», как прежде. Саша сказал:

— Перестань.

Она зарыдала в голос, потому что чувствовала себя виноватой перед ним, и каждое его слово ранило ее, как нож. Но характер у нее был легкий, она не умела печалиться подолгу, и к тому же она любила...

Саша сдал экзамены за девятый класс и поступил в ФЗО. Станкостроительный завод, где директором товарищ Акиндинов, готовил кадры для своих строек. Саше по душе пришлась работа каменщика. Впрочем, каменщиками они почти не успели поработать — пошла мода на блоки и панели, Акиндинов организовал собственное производство блоков, и Саша стал монтажником: складывал дома из крупных, заранее изготовленных частей. Это красивое дело — прямо в руках у тебя растет дом.

Бригада вся была молодая. Ребята разные: Клава, например, жила с семьей, а Женька пришел из детского дома. Оба были комсомольцы. Но был в бригаде и такой



трудный элемент, как Валентин: четырнадцатилетним он убежал от сестры, которая его воспитывала, ездил по разным городам, путался с блатными, и теперь товарищи присматривали, чтобы он опять не спутался с кем не надо. Его любили, он был компанейский парень и читал наизусть Есенина.

Среди этих разных ребят Саша пользовался авторитетом как человек основательный, с уравновешенным характером, не говорящий лишних слов и хорошо работающий.

Бросить учебу комсомол не разрешил. Саша посещал вечернюю школу.

Получку Саша приносил матери. И, зная, что он не иждивенец, что дом держится и на его заработок, с легким сердцем садился за стол и ел — картошку ли, мясо ли, теперь это было не так важно. С Геннадием они были далеки. Геннадий хохлился при его появлении и говорил с ним мало и свысока, но и это уже не задевало Сашу, он соблюдал вежливость и держался подальше, только и всего.

Все-таки он почувствовал облегчение, когда Геннадий уехал работать в другое место и четыре месяца его не было. Мать погрустнела, постарела; Саша жалел ее, но не слишком. Под Новый год она так расхандрилась, что он согласился, как она хотела, идти разыскивать Геннадия у его родственников. Зря ходил, в ту же ночь Геннадий сам свалился как снег на голову — приехал повидаться. Это привело к нехорошим результатам, через два дня он явился уже совсем: его уволили за то, что без спроса угнал директорскую машину. С тех пор, вот уже полтора месяца, он был без работы.

Среди вещей, которые Саша хранил в коробке с жар-птицей, была пачка облигаций государственных займов. Она лежала в самом низу, под мундштуком и галстуком. Уходя на войну, отец сказал матери:

— Это мое наследство. Тебе и Сашке пополам.

Они приняли его слова буквально. Трижды на их облигации падал выигрыш, и они делили его поровну. На свою долю мать покупала обновку себе, а на Сашину долю — Саше.

Выигрыши доставляли им большое удовольствие, хоть были невелики — сто, двести рублей.

Однажды, когда Саша пришел с работы и сел ужинать, мать сказала ему:

— Там на комоде газета с таблицей, я принесла, а проверить не успела,— проверишь, Сашок.

Она спешила. Она все время бегала по больным, кому-то вливала пенициллин, возле кого-то дежурила ночью.

Саша доел ужин, убрал со стола и достал коробку с жар-птицей, чтобы проверить, не выиграли ли отцовские облигации.

Это был двухпроцентный заем, голубые, чистые, хрусткие бумажки, тесные столбики цифр в таблице... Завтра во всех сберегательных кассах будет толпиться народ, получая выигрыши... Наших номеров не видно. Одну за другой Саша откладывал облигации в сторону, осталась последняя, серия 024 183. Смотри-ка — есть в таблице 024 183! Выиграли! Один какой-то счастливец, у которого 48-я облигация этой серии, выиграл десять тысяч, а остальные по четыреста, и мы, значит, четыреста... А у нас какой номер облигации?

«Сорок восемь»,— прочел Саша.

Не может быть! Как это — такая вдруг удача... Не на ту строчку, наверно, глянул... Расстелил газету на столе, испуганный неизбежным, казалось ему, разочарованием, заранее расстроенный ошибкой... Сличил тщательно,— нет, все верно, одинаковые цифры на облигации и в таблице...

Густо покраснев, держал он в руках голубую бумажку, которая, оказывается, так дорого стоит...

Он никогда не видел таких денег. Есть трешка в кармане — уже чувствуешь себя независимым. А если идешь в кино с пятью рублями, то совсем хорошо — можно выпить в буфете воды с сиропом и съесть эскимо.

Десять тысяч — сумма громадная, астрономическая...

...Воображение представило ему магазинные полки, уставленные радиоприемниками.

Хороший приемник —«Нева». Солидный, прочный, ловит что угодно. Только «Неву», конечно.

...Мать жаловалась — туфель приличных нет,— да хоть десять пар покупай, пожалуйста...

«Она не поверит, подумает — я ее разыгрываю...»

«...И, между прочим, этому теперь конец, чтобы нам картошку, а ему мясо. Довольно».

...А забавно, когда случаются такие вещи.



Крутилось колесо, выскакивали цифры — вслепую, никто не знал, какая цифра выскочит. И одна за другой стали в ряд — 024 183 и 48.

Когда выигрыш маленький, не думаешь о том, что это, в сущности, чудо.

...Спохватился: ребята ждут — договорились вместе идти на «Подвиг разведчика». Положил облигации — выигравшую отдельно от остальных — в коробку и поехал в «Колизей».

Матери оставил записку: «Наша облигация выиграла большую сумму. Посмотри в таблице». Ребятам не сказал. Очень хотелось сказать, но совестно было хвастаться. Фильм был великолепный. Саша хлопал с подъемом, изо всех сил.

Вернувшись, застал мать с запиской, облигацией и газетой — все сразу она держала в руках, растерявшаяся и румяная от восторга. Она была в пальто и косынке — видно, только что пришла. Геннадий был тут же.

— Сашок!— сказала мать.— Нет, что делается! Ты подумай — какие деньги!.. Мы теперь оденемся... Ух, вы увидите, как я оденусь! Сашок, папа хотел тебе купить велосипед, когда вырастешь,— купишь теперь и велосипед, и что хочешь...— Слезы брызнули у нее, она торопливо вытерла их рукой, в которой держала газету.— И пальто настоящее, нужно и тебе наконец пальто... Боже мой, и тут не везет, хоть бы вина купить, правда, Генечка, и отпраздновать, а мне на дежурство... Вместе пойдем в сберкассу, Сашок, ладно? А то очень большие деньги, вдруг ты потеряешь или вытащат... Досада какая, двумя бы днями раньше таблица, чудный шевиот был, представляешь, Геня, костюмный, как раз твой цвет, теперь уж расхватали, наверно, темно-синий, но не чересчур темно-синий, ты понимаешь... Сашок, дай я тебя поцелую. Ты у меня счастливый. Дай бог, чтоб ты всю жизнь был такой счастливый.— Она поцеловала Сашу.— Господи, где мои варежки? Сашок, сделай мне бутерброд, я за этой радостью даже чаю не выпила...

Она ушла. Немного погодя хлопнула дверь — ушел и Геннадий. Саша взял учебник и прилег на диван. Завтра литература, и Павел Петрович грозился спросить, надо выучить, хоть и не до того — устал и хочется помечтать.

Саша начал было читать про Ионыча и крепко заснул. Ему приснился большой приемник «Нева», сияющий зеленым глазом.

Он проснулся и увидел Геннадия, который стоял и смотрел на него.

— Не спишь?— спросил Геннадий.

В комнате находился еще какой-то человек, в бобриковой куртке и серой меховой шапке. Он был небольшого роста, пожилой, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед.

— Проснись на минутку,— негромко сказал Геннадий.— Где облигация твоя?

Человек в серой шапке сел на стул. Саша поднялся.

— Облигация где?— повторил Геннадий.— Дай-ка сюда.

— Зачем?— сонно спросил Саша.

— Зачем, зачем!— сказал Геннадий.— Объясняться еще... Значит, надо. Тут, что ли?— Он выдвинул один ящик комода, выдвинул другой и достал коробку, а из коробки облигацию.

— Вот, она самая,— сказал он.— Проверяйте.— И развернул перед человеком в серой шапке газету с таблицей.

Человек в серой шапке надел очки и заглянул сперва в облигацию, которую Геннадий держал в руках.

— Двадцать четыре сто восемьдесят три...— забормотал он и деловито повел по таблице коротким красным пальцем.— Двадцать четыре, двадцать четыре... сто... восемьдесят... три...— Он опять заглянул в облигацию.— Сорок восемь. А... посмотреть ее можно?

— Вот же, видите?

— Подержать-то можно?— просительно повторил человек осторожным голосом.

— Еще что!— сказал Геннадий.— Боитесь, что фальшивая?

— Для убедительности.

Геннадий подал ему облигацию. Человек в серой шапке оглядел ее, пощупал, посмотрел на свет и положил на стол. И сейчас же Геннадий проворно взял ее, как будто она могла улететь.

— Она?

— Бывают счастливцы,— сказал человек.— Твоя облигация?— спросил он у Саши.

— Да.

— Десять тысяч выиграл,— сказал человек.— Повезло... А у меня — веришь, Геня,— вот такая стопка, всю жизнь одалживал государству из всех видов заработка, и веришь — хоть бы один раз, хоть бы пустяк, для сме-



ху,— нет! Фортуна сволочь, кого не полюбит, того уж не полюбит... Да. Это, значит, Геня, твои пенаты.

— Это их комната. Моя рядом.

— Ну, покажи твою комнату.

Человек в серой шапке встал и вышел с Геннадием. Он шел неторопливо и солидно, приостановился, чтобы взглянуть на картинку, висящую на стене, но Саша испугался: зачем они уносят облигацию? Правда, она была в руках у Геннадия; но это не очень-то успокаивало. Саша чуть не сказал: « Эй, слушайте!..» — но удержался, ему показалось неудобным высказать подозрение: все-таки Геннадий ему вроде отчима, а этот дядька Геннадию — знакомый, может быть даже родственник; наверно, Геннадий по рассеянности захватил облигацию, и они подымут Сашу на смех, что он собственник и трус. «Чепуха, как это так, чтобы прямо на глазах взяли и не отдали. И не вор же он, в конце концов...» Так уговаривал себя Саша, а сам волновался. «Серия 024 183, номер 48; в случае чего, заявлю моментально. Не посмеет Геннадий, он понимает, что я заявлю, не на овцу напали...» За стенкой смутно звучали голоса. «Чего они так долго?.. Фу, я дурак. Из такой семьи, и будет он красть... Если бы украли, так убежали бы сразу, а не сидели и не разговаривали...» Выходят в переднюю. «Если они вместе выйдут из квартиры, я за ними сейчас же, у меня кулаки здоровые».

Было слышно, как гость надевал калоши и хвалил квартиру. Потом сказал: «Ну, пока». «Пока»,— ответил Геннадий. Дверь хлопнула.

Геннадий вошел в комнату — против обыкновения резвой походкой и с довольным лицом.

— Получай... пасынок!— сказал он возбужденно и одну за другой бросил на стол три пачки денег, крест-накрест оклеенные бумагой.

— Что это?— спросил Саша.

— Это тебе вместо твоей облигации.

— То есть?

— Бери, бери, это твое и материно. Считай.

Саша машинально взял самую большую пачку. На ней было написано крупно: «10 000» и подписи.

— Я не считал,— сказал Геннадий.— Работа чистая, банковская упаковка.

Две пачки были поменьше, по 2 500.

— Я не понимаю,— сказал Саша.

Геннадий усмехался.

— Тебе нечего понимать. Твое дело — тратить.

— Он что, купил облигацию?— недоверчиво спросил Саша.

— Какая разница? У тебя была облигация. Теперь у тебя деньги. В полтора раза больше, чем ты рассчитывал. Плохо?

— А какой ему смысл?

— А какое наше дело? Мать обрадуется, представляешь? По две с половиной тысячи — это вам от меня.

Он прошелся по комнате, говоря самодовольно:

— Вот что, брат, значит — не быть лежачим камнем.

— Если бы какая-нибудь вещь...— рассуждал Саша.— Один ее ценит дешевле, другой дороже... А эта облигация стоит ровно десять тысяч; больше ему за нее не дадут. Ненормальный он, что ли?

Геннадий пристально посмотрел на него и помрачнел.

— Нудный ты человек, Сашка,— сказал он.— Страшно нудный.

— Да нет, я не понимаю, зачем он...

Саша осекся: он вдруг понял. Не все, но главное.

— Другой бы спасибо сказал, а этот еще недоволен. Смысла ищет... Какого черта, ты знать ничего не знаешь, бери и пользуйся!

— Я не хочу. Пусть он возьмет обратно... и отдаст облигацию.

— Нет, уж теперь ищи-свищи. Не отдаст.

— Велите ему отдать.

— Да с какой стати! Дураком надо быть... Давай прячь, кончено дело!

— Нет, я не возьму,— сказал Саша.

— Ну, знаешь... Впрочем, дело хозяйское. Не хочешь, как хочешь. Матери отдашь.

— Матери тоже этих денег не надо,— сказал Саша.

— Мать оставь в покое. Она сама знает, надо ей или не надо. Какой нашелся учитель жизни... Только не трепаться, слышишь?

Саша молчал.

— Ни приятелям, ни неприятелям тем более,— сказал Геннадий жестко.— Вообще не трепаться.

Саша молчал.

— Ты, Сашка, звереныш. Я вам какое дело сделал... Лишних пять тысяч свалилось на голову... От тебя дождешься благодарности! Я вижу, как ты относишься... С самого начала... И сегодня, когда я облигацию взял... Думаешь, я не видел?.. А, плевал я на тебя!



Саша молчал. Геннадий ушел к себе, рассерженный и огорченный: в кои веки осчастливил человек своих близких — и не оценили... Саша сидел на диване, расставив колени и опершись о них локтями. На столе лежала груда денег. «Ах и слюнтяй, разиня!»— думал Саша, ничего не понимая толком, кроме того, что это темные, нехорошие деньги и что он весь вымаран какой-то грязью... И ужасно жалко было отцовскую голубенькую облигацию, чистую и хрусткую, которую унесли те неизвестные руки.

Так он сидел, пока не принял решение. И только приняв решение, убрал деньги, постлал постель и лег спать.

Утром встал, умылся и позавтракал основательно, как всегда.

Мать вернулась до его пробуждения и теперь сладко спала, лицо у нее было счастливое. С высоты своего роста он посмотрел на нее заботливо и сурово. Она будет плакать... Но он — мужчина — отвечает за себя и за нее.

С этим чувством мужской ответственности он достал из комода деньги — пятнадцать тысяч — и завернул в газету, ту самую, с таблицей. Чтобы пакет не раскрылся, обвязал веревочкой. Бригадир его отпустит, если он скажет, что у него важное дело. Он еще ни разу не отпрашивался с работы. Ему поверят.

Когда, отпросившись у бригадира, он шел в милицию, солнце еще невысоко стояло над крышами. На одной стороне улицы была зима, а на другой падали, задорно перестукиваясь, капели, и под карнизом орали воробьи.

— Сретенье господне. Зима с весной встречаются,— сказала прохожая бабушка.

Саша прошел под капелью и вошел в милицию.

К начальнику была очередь. Дежурный хотел, чтобы Саша ему изложил свое дело, и настаивал, но Саша не согласился.

— Да что у вас?— спросил дежурный.— Государственное дело, что ли?

— Я не знаю, какое,— сказал Саша.— Нет, должно быть, личное. А может, государственное... Не знаю.

В комнате дежурного находился еще один парень, моложе Саши, лет пятнадцати, не больше. Они с Сашей переглянулись и отвели глаза. Парень был узкоплечий, слабенький, с бледным нервным лицом и черными глазами, очень блестящими и с выражением какой-то муки — ни у одного мальчишки не видел Саша таких умных и скорб-

ных глаз. Одет он был чистенько и смирно сидел на стуле, а на коленях держал стопку книг, перехваченных ремешком.

— Ведь вот, учат вас в школе,— сказал дежурный, отворачиваясь от Саши и обращаясь к черноглазому парнишке,— родители вас воспитывают... А вы что делаете? А? Ведь это хулиганство. А? А за хулиганство что полагается?

Парнишка надменно повел тонкой изломанной бровью. Черные глаза сверкали в лицо дежурному.

— И что тогда скажут ваши родители? И товарищи педагоги? И комсомол? Комсомолец небось?.. Ты что, воды в рот набрал?

— Пожалуйста, не тыкайте,— тихо сказал парнишка.— Вам запрещено тыкать.

Дежурный покраснел.

— Скажи, какой грамотный... Да ты кто такой?

— Я вам сказал, что я Борташевич,— так же тихо и ровно ответил парнишка, и только движение брови выдало, какой борьбой ему дается эта ровная тишина.— А больше отвечать отказываюсь, потому что что это такое — вызывать матерей? Если я достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки по кодексу, при чем тут мать?

— Не ваше дело!— срезал дежурный.— Не ваше дело, что предпринимают органы!

Вошла женщина в богатой шубе, сильно надушенная.

— Сереженька!— сказала она с нежной строгостью.— Сережа! Ну что это...

Саше неловко стало слушать, он вышел в коридор.

Он не сочувствовал амбиции черноглазого парнишки. Он, Саша, нисколько не обиделся бы, если бы милиционер сказал ему «ты». Разве это бранное слово, что надо обижаться? Прораб говорит ему «ты», и бригадир говорит ему «ты», и это в порядке вещей, и если бы они вдруг обратились на «вы», Саша подумал бы, что они на него сердятся... И что вызвали мать, тоже ничего обидного. Вызвали и вызвали, на то она и мать. Когда Валентин повадился прогуливать, комсомольская организация вызвала его сестру, потому что матери у него нет, и Валентин ничего — не обиделся... Какой ершистый этот черноглазый. Что он выкинул, интересно, какое хулиганство...

Дежурный выглянул в коридор и сказал:

— Пройдите.

И Саша вошел в кабинет начальника.



Он боялся, что к его показанию отнесутся недостаточно серьезно, сочтут пустяковым... Но этого не случилось. Его расспросили, записали и приняли под квитанцию деньги, которые жгли ему руки. Окончательно успокоенный, ушел он из милиции около полудня.

Выходя из кабинета, он слышал, как начальник взял телефонную трубку и сказал кому-то:

— Товарищ Войнаровский? Иванов говорит. Еще одна облигация. Да.

Был прекрасный день, совсем весенний. Солнце заливало обе стороны улицы. Впереди себя Саша увидел знакомую пару: женщину в богатой шубе и того парнишку. Парнишка, оказывается, был инвалид — хромал, бедняга, сильно припадая на правую ногу. В ярком свете, рядом с пышной своей матерью, он выглядел особенно тщедушным и хрупким... Солнце пригревало по-весеннему, весенне-острый, тревожный был воздух, и капели уже не перекликались — гремели, дружно падая с крыш.

## *Часть вторая*

Опять весна.

Она подходила к городу шаг за шагом, давая знать о своем приближении особыми знаками.

Первый знак — телеграмма о том, что на юге закончился сев ранних колосовых. И хоть юг далеко, но северные люди на минутку пригрелись мимолетно пахнувшим теплом и подумали о близком конце отопительного сезона, об отпуске, экзаменах, путевках, ремонте квартиры, о том, куда на лето вывезти детишек.

Вторым знаком было волнение среди владельцев коз. У нас на окраинах многие держат коз, где-то животным надо пастись. Снег еще лежал на полях, а перед Дорофеей уже вырос ворох заявлений — запросы депутатов, требования избирателей: укажите пастбища, ведь там, где в прошлом году был выгон, собираются насадить парк...

Дворники расчищают путь весне. Они громко стучат ломами, скалывая с тротуаров последний лед. Ты протягиваешь руку и отрываешь еще один календарный листок — еще днем меньше осталось до тепла...

С каждым оторванным листком что-то связано.

1 марта — помните — было снижение цен.

12 марта — большой день родины — состоялись выборы в Верховный Совет СССР.

В знаменах и громе оркестров проходит 1 Мая, праздник рабочей весны.

А после него возвращаются холода. Дует резкий ветер, по утрам злые заморозки. Полгорода снова ходит в зимних пальто, чихает и кашляет. В Энске так бывает каждый май. Старожилы говорят: это потому, что цветет черемуха. Она отцветет, и тепло воротится. Почему черемуха так влияет на климат, старожилы не знают.

Весенне-летний сезон — страда для строителей. Сколько забот! Один архитектор заболел, другой женился; оба задержали проекты. Мучительные колебания: с вышкой или без вышки строить новый дом напротив универмага. Сотни индивидуальных застройщиков торопят с оформлением своих построек. Стройтресты собрались красить фасады. Это серьезная проблема: один стройтрест желает красить желтой краской, другой — розовой, третий — вишневой, четвертый — голубой; если горисполком не наложит свое вето и не укажет точно, какому фасаду в какой цвет быть окрашенным, то пестрота получится сверхъестественная...

А сколько мелких неприятностей. Есть, скажем, на скрещении Печорской и Октябрьской трамвайная стрелка До последнего времени она переводилась ручным способом: между путями — будка, из будки на звонки вагоновожатого выходила стрелочница с железной палкой и переводила рельсы. Конечно, все это выглядело довольно неказисто в наш век технического прогресса, но ведь такие несозвучности встречаются не только в Энске... Век победил — поставили автоматическую стрелку. Отпала надобность и в стрелочнице, и в безобразной будке, где она обогревалась. А на днях Чуркин ехал по Печорской и видит: будка стоит! Прогресс не смёл ее, так же торчит из форточки труба, валит дым, только появилась вывеска. На вывеске примус, и в окошке горит примус, и в его адском свете колдует смуглая личность. Это распорядился коммунхоз: мгновенно забрал освободившееся помещение под быторемонтную артель, и выселять некуда...

Продтоварная сеть настроила свое холодильное хозяйство, в промтоварной сети нарастает спрос на дождевые плащи, чемоданы, купальные костюмы, трусики-плавки и рубашки-«бобочки». Старухи продают маленькие пучки фиалок, связанные штопальными нитками. Весна прибыла и распаковывает свой багаж.

С высоты дома, строящегося на самом краю города, Саше Любимову видно, как все гуще зеленеют дали, как разливается по зелени золотая россыпь сурепки и поднимаются всходы на яровых полях, еще недавно пустых и черных. Солнце пригревает день ото дня жарче, бригада рассталась не только с ватниками, но и с брезентовыми куртками. Валентин перещеголял всех — скинул и рубашку, работает в майке-безрукавке. Делается это ради двух красавиц — крановщицы Клавы и молоденькой архитекторши Лидии Антоновны. Спереди и сзади из выреза майки выглядывает татуировка: ее-то и демонстрирует Валентин девушкам, чтобы удивлялись и понимали, кто перед ними...

Не ради Валентина, в силу каких-то других, им одним известных причин Лидия Антоновна и Клава с наступлением тепла стали отчаянно состязаться по части франтовства. Зимой ходили на работу — архитекторша в потертой меховой шубке и шапке, крановщица в ватнике и платке; теперь же чуть не каждый день являются в новых украшениях. Клава носит браслет из пластмассы ядовито-розового цвета, а Лидия Антоновна — металлическую брошку в виде виноградной кисти. Лидия Антоновна вышла на первомайскую демонстрацию в шикарных черных туфлях с белой отделкой, а Клава — в шикарных белых туфлях с черной отделкой. Из майской получки Лидия Антоновна купила модельную шляпку, представляющую собой кусок хорошего фетра, изрезанный ножницами во всех направлениях, а Клава купила газовый платок. Где уж тут некультурному Валентину с его синим крабом, вылезающим из майки... В обеденный перерыв девушки не идут в столовую — экономят деньги на наряды; усаживаются в крановой будке и, угощая друг друга пирожками и бутербродами, принесенными из дому, обсуждают вопросы моды и любви.

Саша стоит на стене, под ним пять этажей. Огромный голубой лучистый купол охватывает его со всех сторон, только ступней сквозь толстую подошву чувствует Саша приятно-грубую прочность плиты, на которой стоит. Эта прочность и устойчивость передаются всему его телу, так что голова не кружится даже тогда, когда он поднимает ее и долго смотрит в бездонный зенит купола... Подувает ветерок. Рука крана плавно разворачивается в голубом пространстве. Она несет на тросе громадную серую пли-

ту — это часть стены вместе с окном. Плита застывает над Сашей. Саша руками подает Клаве сигналы: влево... еще влево... еще чуть-чуть вниз... ставь! Молодчина Клава. Плита тихо опускается на свое место, на постель из цементного раствора. Живые руки подхватывают плиту; железная рука уплывает прочь, описывая полукруг... Начали шестой этаж.

— Спички, ребята,— солидно говорит Саша. Женька подает коробок, и Саша зажигает папироску, потухшую в зубах. Он стал уже совсем взрослым, у него растут усы и борода, приходится бриться каждое воскресенье.

От дома он окончательно отстал, это никакой ему не дом, не семья, и просто укрытое крышей место, где стоит его кровать. Так уж сложились отношения. Когда он рассказал матери, что случилось с их выигрышем, она легла на диван и твердила: «Что ты сделал! Зачем ты заявил!..» А тут пришел Геннадий, и мать стала кричать: «Что вы оба со мной делаете!»— и Саша сказал Геннадию, что был в милиции. «Идиот!»— сказал Геннадий и обратился к матери: «Вот что, Зина, ты видишь, кто тебе друг и кто враг. В кои веки имели деньги, и то не сумели воспользоваться. Давай так: или он, или я». Ушел в свою комнату и заперся. Саша подумал: это конец, ну и хорошо; откажем ему, пусть уходит, и мы будем жить как жили. Но мать, полежав молча, бросилась к запертой двери и стала биться в нее с криком: «Геня!» Саша взял шапку и ушел.

Теперь он отрезанный ломоть: ни во что не вмешивается и не мозолит глаза. Деньги из милиции вскоре вернули. Пришел как-то вечером лейтенант простоватого вида, старавшийся казаться большим начальником, и спросил у Саши:

— Любимов Александр, тридцать второго года рождения?

— Я,— ответил Саша.

— Паспорт ваш.

Саша подал паспорт. Лейтенант долго изучал его и положил на стол перед собой.

— Деньги в отделение сдавали?

— Сдавал.

— Какую сумму?

— Пятнадцать тысяч.

— Квитанцию вашу.

— У тебя, мама,— сказал Саша. Мать кинулась к комоду:



— Здесь, сейчас, минуточку, товарищ лейтенант,— вот она!

Лейтенант взял бумажку и изучал ее так же долго, как паспорт, сопя от внимательности.

— Распишитесь!— сказал он наконец.

— Я так и знала!— радостно вскрикнула мать.

Она принесла невыливайку и ручку, и Саша расписался в получении денег.

— Разборчиво пишите,— командовал лейтенант.— Это вам не пятнадцать копеек. Номер паспорта, кем выдан, когда.

Он выложил деньги на стол:

— Считайте.

— Я верю и так,— улыбнулся Саша.

— Гражданин,— сказал лейтенант до того строго, что строже невозможно,— вам сдается сумма, и прошу соблюдать порядок. Прошу сосчитать.

— Я сосчитаю!— охотно и весело сказала мать.

От радости она раскраснелась и стала молодая и хорошенькая, как при отце. Считая, счастливо засмеялась и сказала:

— Вот уж дай бог счастья товарищу лейтенанту, будем вас хорошо вспоминать.

Лейтенант не моргнул в ответ на ласковые слова. Он следил за ее руками и повторял шепотом: «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...» Его нижняя губа смешно шевелилась, и вся фигура выражала усердие.

Счет был закончен. «Как в аптеке!»— сказала мать, победоносно и кокетливо прихлопнув стопку рукой. Лейтенант встал, выпятил грудь, козырнул, сказал: «Желаю здравствовать»,— и осанисто пошел к выходу. Саша — за ним, чтобы отворить ему.

— А вы не знаете,— спросил Саша,— с тем аферистом выяснили что-нибудь?

— С каким аферистом?

— Что купил облигацию.

— Мне эти факты неизвестны,— сказал лейтенант.— Имел поручение доставить сумму. Желаю здравствовать.

Саша вернулся в комнату. Мать все стояла над деньгами, она их делила на две кучки.

— Ты мне столько не клади, не возьму,— сказал Саша.— Мне таких подарков не нужно.

— Ох, Сашок,— сказала мать.— Если бы ты немножко, ну немножечко помирился с Геней...

Но Саша не может помириться, это выше его сил. По обрывкам разговоров он догадывается, что Геннадий поступил заведующим в какой-то автопарк, что с матерью у него то лад, то опять расстройство — мать ходит заплаканная... Саша существует самостоятельно, выделяя матери немного из каждой получки; и она ему стирает и починяет белье... Его повысили в разряде и поставили бригадиром. Он кончает вечернюю школу. Дела много.

Небесный купол бледнеет, блеск его смягчается (эту неделю бригада работает во второй смене). Солнце уходит, на прощанье ненадолго разлив вдоль горизонта огненные, сказочные реки. Над угасшими реками виснет звезда, и поодаль проступает тонкий, почти прозрачный месяц, он не светит, он совсем как осколок стекла в бледном небе. Делается холодно, надо надевать куртки. Постепенно все кругом становится одного серебристо-пепельного цвета — небо и земля; тогда сразу, заставив рабочих зажмуриться на миг, вспыхивают над постройкой тысячеваттные лампы. Работа заканчивается при электрическом свете. И начинает казаться, что вокруг постройки ночь, и месяц делает эту ночь еще черней...

К концу смены за строителями приходят автобусы, но некоторые ребята не хотят ехать и идут в город пешком. По мере того как они удаляются от освещенной постройки по темной трассе, ночь светлеет, месяц выступает ярче, становятся видны рельсы, проложенные вдоль трассы, и колебание травинок под ветерком. Большой, в точках огней, плотной массой лежит в отдалении город, и над ним светлая дымка. Саша идет, разговаривает с товарищами, смеется, как и они, неумело отражает лукавые Клавины шутки, но ему неспокойно от месяца, от тихого движения трав, от чего-то, что он не может назвать и объяснить. Должно быть, было бы хорошо, если бы кто-то ждал его сейчас, обрадовался его приходу, вышел навстречу... Чтобы из этой вздыхающей, прозрачной темноты протянулись руки... Но, может быть, это что-то другое, потому что когда Клава берет его под руку, то ему только стыдно перед ребятами, и больше ничего...

— Если дело пойдет такими темпами,— говорит серьезный Женька,— то года через два на этом месте будет новый и очень даже приличный городок.

Ночная птица пролетела между землей и месяцем, редко взмахивая крыльями; по траве проскользила ее тень.



— А миллионы лет назад,— продолжает Женька.— здесь ходили мамонты.

— Кто?— спрашивает Саша, очнувшись от своих мыслей.

— Мамонты,— с почтением повторяет Клава.

— А месяц был тот же самый,— продолжает Женька,— и звезды в основном те же самые.

— Ну, это что за звезды, не на что глядеть!— говорит Валентин.— Вот в Ашхабаде — я понимаю. Ух, ребята, какие звезды в Ашхабаде!.. Поехали, Клава, в Ашхабад?

— Я с бригадиром поеду, если пригласит,— говорит Клава, заглядывая Саше в лицо.— С бригадиром я хоть на край света, он солидный человек...

А вокруг вздыхает, томится и улыбается ребятам весенняя ночь. И из ночи плывет навстречу громада-город в точках огней.

*Глава седьмая*

## ЮЛЬКИН МАЙ

Письмоносец принес Юльке письмо. Называя ее по имени-отчеству — Юлия Леонидовна, дирекция, профком и комитет комсомола стоматологического института приглашали Юльку на студенческий вечер. К письму был приложен печатный листок с правилами приема в институт. Юлька прочитала и улыбнулась. Вчера такое же письмо получила Тамара Савченко. Очевидно, у стоматологического неважные перспективы с набором, вот они и взяли в гороно списки хороших учеников, кончающих школу в этом году, и пишут всем подряд на машинке под копирку (только «Юлия Леонидовна» вписано чернилами) — вербуют абитуриентов. Можно сходить с Тамарой на вечер, наверно будет весело. Но стоматологами они не хотят быть, зубы их не привлекают. Будущее продумано, товарищи дирекция и профком. Юлька поступит в учительский институт. А Тамара уезжает в Москву поступать в университет.

Тамара получит золотую, если не сорвется. На экзаменах бывают неожиданности. В прошлом году Ася Беляева, гордость школы, перезанималась перед экзаменом по литературе, не спала три ночи, питалась черным кофе и расстроила себе нервную систему; а когда узнала, что на экзамене будет присутствовать заместитель министра

просвещения, то развинтилась окончательно. На билетные вопросы ответила прекрасно, а потом заместитель министра попросил ее прочесть какое-нибудь стихотворение Пушкина, и она от паники вдруг забыла все стихи. В голову лезли почему-то строчки «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал», но она соображала, что это написал не Пушкин (а кто — не помнила) и читать это не надо. Наконец, изо всех сил напрягши память, вспомнила пушкинское стихотворение «Я вас любил, любовь еще, быть может»; стала читать и, к ужасу своему, услышала, что не читает, а поет на мотив романса, и голос у нее дрожит, а девочки помертвели. Ну, тут экзаменаторы ее остановили, Конкордия Власьевна отвела ее в медпункт, дали ей валерьянки и с провожатыми отправили домой, и медаль она, конечно, получила, потому что все поняли, что она не нарочно.

Недавно у десятиклассниц был вечер встречи со старыми выпускниками. Ася Беляева приходила, выступала и призывала готовиться к экзаменам рационально, не переутомляясь и уделяя время отдыху и спорту. Она сказала, что базируется на собственном опыте.

Юлька готовится вместе с Тамарой.

В доме понимают важность происходящего. Тетка Евфалия освободила Юльку от хозяйственных забот. Юльке шьют к выпускному акту белое крепевое платье. Куплены белые туфельки. Отец с торжественным лицом принес какие-то пакеты, спрятал в спальне. Юлька в его отсутствие обследовала шифоньерку: шелковое белье, чулки капрон, отрез на костюм, духи «Кристалл». Все это очень приятно.

Юлька занимается с Тамарой. Окно открыто, занавеска поднята, легкую кисейку колышет ветерок. За окном по веревочкам вьется повитель с листьями, похожими на сердца.

Одни листья темные, другие ярко пронизаны солнцем.

За веревочками и сердцами — маленький двор, зеленый лук на грядке, черемуха, которая уже отцвела, и сирень, которой еще предстоит цвести. И березка, посаженная отцом в день, когда Юлька родилась.

Юлька выросла, и березка выросла.

На березке скворечник. В скворечнике живут скворцы. Из году в год одни и те же, уверяет тетя Фаля.

Комнатка имеет боевой и суровый вид. Со стола убрано все ненужное: карточки, вазочки, коробочки, зверьки из уральского камня — подарки Андрея и подруг — спрятаны в шкаф. Всюду книги. Кровать не застелена покрывалом, потому что Тамара любит заниматься лежа.



В дверные щели просачивается запах ванили. Что-то вкусное печет тетя Фаля.

— Тамара, ты хочешь есть?

Тамара с книгой лежит на кровати; Юлька дисциплинированно сидит у стола. Обе босы — им кажется, что когда разут, то голова работает лучше.

— Ох, я даже не знаю,— говорит Тамара.

— А я хочу,— говорит Юлька.— Понимаешь, как никогда хочу есть, все эти дни. Только возьмусь за книгу — и сразу хочу, просто непонятно.

— Сопротивление организма,— со вздохом говорит Тамара.— Организм сопротивляется занятиям и пускается на хитрости, чтобы отвлечь тебя от книг. Вообще,— продолжает она, повернув страницу,— человеческая жизнь заключается в преодолении лени.

Она большая, толстая, у нее большие розовые ноги, а брови светлые и пушистые, как два колоска.

— Сколько я себя помню,— продолжает она,— я всегда только и делала, что преодолевала свою лень.

— Глупости!— говорит Юлька.— Сколько я тебя помню, ты всегда занималась как зверь. Никто не мог так, как ты.

— Но как я при этом боролась с собой!— говорит Тамара, богатырски потягиваясь.

— Не знаю,— говорит Юлька.— А мне всегда надо что-нибудь делать, иначе скучно. Не знаю... Активных людей, по-моему, гораздо больше, чем пассивных.

— Ну да,— говорит Тамара.— Это означает, что они успешно преодолевают свою лень.

— Не знаю...— говорит Юлька.— Если бы все только и делали, что преодолевали лень, то мы бы не построили социализм.

Благополучно прошел очередной экзамен — литература, которой так боялись после случая с Асей Беляевой.

После экзамена всем классом отправились есть мороженое, а потом собрались в кино, но Юлька не пошла: у нее на пять часов было назначено важное дело.

Она проводила девочек до кино, потом по телефону-автомату позвонила домой. Подошла Лариса. Юлька сказала ей, что все хорошо, пятерка, чтобы она передала домашним; и пусть не беспокоятся — она вернется поздно.

В половине пятого она села в автобус и поехала.

Станкостроительный завод — конечная остановка автобуса номер два. Юлька сошла на площади перед заводом. Площадь очень большая, залита асфальтом; посредине — клумбы, скамейки и фонтан.

Было жарко, и людей не много.

Юлька села на скамейку поближе к фонтану.

Вода била высоко прозрачным, вихрящимся столбом и не журчала, а шуршала, падая в бассейн. От нее распространялась прохлада.

«Вот этого ни за что не могло быть до революции,— подумала Юлька,— чтобы перед заводом устроили фонтан».

На клумбах работали женщины. Бережно ступая по нежной, взрыхленной граблями земле, они высаживали в нее цветочную рассаду. Пирамидкой стояли ящики от рассады.

«Львиный зев,— определяла Юлька.— Анютины глазки».

Вся середина площади будет в цветах.

Справа, в устье улицы, выстраивались в очередь пустые автобусы. Юлька сосчитала: семь штук. По другую сторону площади дожидались голубые трамвайные вагоны.

Первым из ворот проходной вышел парень в широчайших штанах, скрепленных у щиколоток зажимами, в тапочках и в берете. Волосы были гладко зачесаны и забраны под берет, как будто парень очень берег прическу.

Парень вел велосипед. Солнце блистало в спицах. Сделав шаг от ворот, парень занес ногу, поймал педаль и с места дал ходу, по-спортсменски пригнувшись и могуче работая ногами.

И сейчас же из всех проходных стали выходить люди, сперва с промежутками, а потом один за другим, один за другим, так часто, что сосчитать их было невозможно, только мелькали фигуры, отделяясь от ворот. Мгновенно площадь, только что пустынная, была запружена быстро движущейся, растекающейся толпой.

Кто спешил туда, где вереницей стояли длинные кремовые автобусы. Автобус в минуту наполнялся и уходил, громко сигналя, и другой становился на его место.

«Хорошо организовано»,— подумала Юлька.



А кто устремлялся к трамвайной остановке, и так же проворно, с нежным звоном, уходили переполненные голубые вагоны.

Иные расходились пешком, много было пар и компаний, которые шли разговаривая, смеясь и споря.

Потоки людей вливались в магазины, расположенные вокруг площади.

«Сколько же продуктов должно быть в магазинах,— подумала Юлька,— чтобы каждый купил, что ему требуется. Вот, например, этот —«Яйцо — птица»: сколько яиц надо и сколько птиц?»

Больше всего было в толпе молодых парней. Можно сказать, это главная была фигура на площади.

Многие парни проходили мимо Юльки, и те, что шли в одиночку, бросали на нее замедленные взгляды, а шедшие группами взглядывали быстро и быстро проходили, нарочно громко разговаривая и толкая друг дружку.

Юлька сидела, облокотясь о спинку скамьи, поджав ноги в коричневых полуботинках, принимая все взгляды и не отвечая ни на один.

Но вот она улыбнулась, встала и пошла навстречу Андрею.

Он тоже был в берете и с велосипедом.

— Ну, как?— спросил он, подходя.

— Пять.

— Поздравляю.

Они поздоровались за руку.

— Подержи,— сказал он, отдавая ей велосипед.

Он достал из кармана зажимы и укрепил штаны у щиколоток.

— Влезай.

Она села боком на раму, он вскочил на седло позади нее, и поехали.

— Все-таки я куплю тебе велосипед,— сказал он.

— Ни за что! — сказала она.

— На день рождения.

— Андрюша, я категорически говорю — тогда всему конец.

— Ну почему?

— Конечно, если ты начнешь делать наперекор.

— Знаешь, сколько у меня на книжке?

— Ну и очень хорошо.

— Можно купить совсем недорого.

— Андрюша, я уже сказала.

Он замолчал.

Он ехал неторопливо, весь осторожность и внимание, и ей было приятно, что он так ее бережет.

Стоило немножко повернуть голову, и она близко видела его лицо и глаза, устремленные вперед на дорогу.

Его руки лежали на руле, Юлька была словно зажата между ними; и она чувствовала себя защищенной со всех сторон этими сильными молодыми руками, открытыми до локтя, в золотистых волосиках и желтых крапинках веснушек по розовой коже.

Плыли мимо дома, деревья вдоль тротуаров, прохожие, киоски, маленькая девочка в красном платьице, прыгающая через веревку («хорошо прыгает!»), милиционер, дирижирующий палочкой («жарко ему в перчатках!»). Шумно проехала, обгоняя велосипед, пятитонка, долго мелькал рядом ее длинный борт, нагретым железом и бензином дышало в лицо.

Это был новый район, со дня закладки первых домов не истекло и четверти века. Кончились дома — асфальтовая дорога протянулась в зеленый простор.

— Здесь будет наша улица,— сказал Андрей.

В отдалении вырисовывались на небе высокие краны. Юлька посмотрела на один кран — он повел рукой в лазури; посмотрела на другой — и тот торжественно отвел руку, будто приглашая приблизиться.

— Который отсюда наш кран?— спросила Юлька.

— У нас уже нет крана,— ответил Андрей с гордостью.— У нас уже идут внутренние работы.

Асфальтовая дорога скрестилась с грунтовой. Послышался гул. Резко закричал сигнальный рожок. Колонна машин двигалась наперерез. Андрей соскочил и остановил велосипед.

Пламенно запахло смолой. Машины прошли с рокотом и грохотом, и там, где они прошли, осталась блестящая черная гладь, пышущая жаром. Как будто конец черной ленты приложили к серой ленте, подумала Юлька. И такая же лента стала разворачиваться там, куда пошли машины. Две асфальтовые трассы скрестились среди трав.

— Силища!— сказал Андрей.

Поехали дальше. Чем ближе к стройке, тем больше разных вещей на дороге и по сторонам ее.

Чернел котлован, около него навалены металлические конструкции, доски, балки, серые плиты.

За котлованом сарайчик, у сарайчика машина с железным грузом.

Барак с вывеской: «Столовая».



Трансформаторная будка с черепом.

И еще штабеля серых плит разных форм и размеров; красной краской на плитах крупно написаны цифры.

Уже хорошо видно, что делают люди на доме, который строится подальше котлована, и что делает кран.

Кран низко опускал трос; человек, стоявший на земле, прикреплял к тросу плиту с красной цифрой; трос укорачивался, плита уходила вверх, висела, примеряясь, и осторожно опускалась на стену строящегося дома, и там люди руками помогали ей стать как нужно.

В плитах прорезаны окна, с рамами, только без стекол.

Было три этажа, три ряда окон, и уже — окно за окном — четвертый нарастает этаж. И высоко стоят строители.

— Как будто из кубиков складывают,— сказала Юлька.

Один из строителей в ожидании крана похаживал по стене и покуривал. Он был совсем молодой, моложе Андрея. И крановщица в будке молоденькая, и тот парень в майке, что прикреплял плиту к тросу. Сзади из выреза майки выползал синий краб.

Неподалеку прогуливалась, спотыкаясь о кочки, девушка под клетчатым зонтиком.

«Тоже пришла посмотреть, как мы»,— подумала Юлька.

Прогуливаясь, девушка с зонтиком подошла к татуированному парню и что-то ему стала говорить. И крановщица что-то сказала, высунувшись из будки, и дала девушке с зонтиком бутерброд, с колбасой, кажется.

— Она тоже здешняя,— сказала Юлька, оглядываясь на них.— Как она называется? Прораб?

— Вряд ли,— сказал Андрей.— На прораба не похожа. Вот наш дом.

Они приехали.

Юлька сошла наземь и одернула юбочку.

Их дом был построен, восемь ярусов окон смотрели на них мутными, еще немытыми стеклами.

Где-то за домом, невидимая, ужасным голосом завизжала электрическая пила. А когда она замолчала, из дома стало слышно звонкое постукивание молотка по металлу.

— Я думаю, нам тут будет хорошо,— сказал Андрей.

— Конечно, хорошо. А ты уверен, что именно этот дом?

— Определенно. Специально молодежный дом.

— Интересно, которое наше будет окно.

— Интересно.
Их пальцы соединились на секунду и разжались снова.
— Я тебя люблю,— сказал он.
— Тшшш...— шепнула она.— Андрюша, а войти туда можно? Здесь нигде не написано, что вход воспрещается.
— Войдем,— сказал он, ставя велосипед к стене.
Они несмело вошли. Светлая лестница была густо заляпана сырым мелом. Наверху ударил по металлу молоток, звук сгустился, разросся и заполнил дом.
— Паровое отопление налаживают,— сказал Андрей.
Он не был в этом убежден, но как можно упустить такой случай показать свою мужскую осведомленность.
— Не поскользнись,— предупредил он, придерживая Юльку под руку.
Вверху ходили ноги и гулко раздавались голоса. Лестница усиливала звуки, как рупор. Львиный бас звал: «Фесенко! Фесенко!» И опять, после паузы: «Фесенко!» Звонкий тенор закричал изо всей силы: «Да где ж Фесенко?!»— словно у него наконец лопнуло терпение. По перилам сидя скатился подросток в кепке, надетой козырьком назад. Юлька подумала, что он и есть Фесенко. Но это оказалось не так, потому что подросток, выскочив на улицу, засвистал в два пальца и тоже стал кричать: «Фесенко! Фесенко!»
— Ось Фесенко!— радостно зарокотал бас наверху.
— Вот Фесенко!— отозвались другие голоса — будто эхо покатилось.
— А пошлите его ко мне,— раздельно и ядовито сказал звонкий тенор.— Дайте-ка сюда Фесенко!
— Пошли назад!— быстро сказал Андрей.
— Почему?— удивилась Юлька.
— Сейчас они будут ругать Фесенко,— сказал он и, держа ее под руку, помчал вниз. Домчавшись, Юлька рассердилась:
— Что с тобой? Кого ты испугался?
— Видишь ли,— сказал он,— тебе совершенно ни к чему слушать то, что они приготовили для Фесенко. Он слишком долго не шел, и слишком тут мощная акустика.
Стоявший на улице подросток в кепке козырьком назад снова свистнул и заорал, призывая Фесенко.
— Фесенко нашелся,— сказала ему Юлька, верная своим тимуровским принципам.— Да, да. Он уже там.
— Ничего,— сказал Андрей.— Мы придем сюда, когда внутренние работы будут кончены. Юлька, ну скажи мне...
— Что?



— Ты знаешь.
— Андрюша, сколько можно?
— Ты давно не говорила.
И опять пальцы встретились и разлучились.
— Больше всех,— сказала Юлька, глядя узкими глазами вверх, на медленно поворачивающуюся в небесах руку крана.— Больше всех и на всю жизнь.
— Да, уж пожалуйста, на всю жизнь!— сказал Андрей.— Иначе это лишено всякого смысла.

Вернувшись в город, они заехали в общежитие, где жил Андрей; Юлька подождала в вестибюле, пока Андрей переодевался, и потом поехали на трамвае в парк культуры и отдыха.
— Прежде всего в ресторан,— сказал Андрей.— Ты, наверно, умираешь от голода, я тоже.
— Я бы поела,— сказала Юлька,— только, конечно, не в ресторане.
— А где?
— В обыкновенной столовой.
— Тут нет столовой.
— Ну, в буфете.
— Как в буфете?
Человек надел выходной костюм и новый галстук, гуляет с невестой, на сберкнижке у него тысячи, а ему предлагают идти в буфет!
— Там же только сосиски,— сказал он сдержанно,— а остальное все холодное. Я хочу поесть по-человечески.
Юлька ни разу не была в ресторане, она видела его только издали, когда бывала в Доме культуры.
— Но танцевать и пить вино ты не будешь!— сказала она.— Иначе я встану и уйду.
— Да сейчас и музыки нет,— сказал он,— что ж я, больной, что ли,— танцевать без музыки... Там одни дети, вот смотри!
Действительно, на террасе ресторана сидели дети с матерями и пили кефир.
— Ну, хорошо,— сказала Юлька, всходя на террасу.
Они заняли столик у балюстрады, откуда был вид на зеленую лужайку, окруженную деревьями, и на пруд с лодочкой.
— Выбирай,— сказал Андрей, открывая перед Юлькой меню.

Юлька прочла меню — все ей показалось безумно дорого.

— Возьмем биточки в сметане,— сказала она.

— Мы возьмем вот что,— сказал Андрей.— Мы возьмем борщ флотский, возьмем котлеты киевские, возьмем салат из свежих огурцов и потом пломбир.

— А что за котлеты киевские?

— А кто их знает. Наверно, что-нибудь выдающееся, если дороже ничего нет.

— Ты сошел с ума!— сказала Юлька.— Нет, давай есть биточки.

— Значит,— сказал он,— мы так и уйдем, не узнав, что такое киевские котлеты?

Она заколебалась. А пока она колебалась, подошла официантка в шелковом фартучке, и препираться стало невозможно.

В ресторане было в этот час пусто. Дети и матери выпили свой кефир и ушли, на террасе остались только Юлька с Андреем, да человека три сидели в зале за разными столиками. Но, видимо, там предполагался большой банкет, потому что у одной стены был красиво накрыт длинный стол, на нем стояло много блестящей посуды, цветы и серебряные ведерки с бутылками.

— Расскажи, как там на экзамене,— сказал Андрей.

Юлька рассказала, какой она вытянула легкий билет, и ее спросили еще из Некрасова, как раз то, что она повторяла, «Выдь на Волгу», так удачно; и как поразительно отвечала Тамара, и как ходили все вместе есть мороженое на радостях.

— Слава богу, два экзамена позади,— сказал Андрей отеческим тоном.

— А впереди девять,— вздохнула Юлька и задумалась.— Все-таки странно,— сказала она потом.

— Что странно?

— Что конец.

— Не понимаю.

— Как же не понимаешь?— спросила она укоризненно и кротко.— Всю жизнь я ходила в школу. Ты подумай: всю жизнь. И вдруг не надо больше. Ведь странно.

— Не будет школы — будет другое.

— Ты думаешь, я жалею? Нам всем надоело до ужаса. Но ты понимаешь — вот стоит дом. Пройдет пятьдесят лет, я зажмурю глаза (Юлька зажмурила глаза) — и я его увижу, каждый кирпичик, и голубую доску... Десять лет ходила, во всякую погоду. У меня там была своя парта... учителя... И вдруг ничего моего нет, со мной — всё. А дом стоит, где стоял.



— Если в жизни не происходит перемен,— сказал Андрей,— это не жизнь.

— Как обижались на Конкордию Власьевну,— сказала Юлька,— даже хотели ставить вопрос, что у нее эта возмутительная привычка говорить «дети». Даже в десятом классе не могла перестать, говорила: «дети». А теперь никто никогда не назовет...

— Юлька,— сказал он, бережно накрывая рукой ее маленькую руку,— у меня, кажется, тоже надвигаются перемены.

Выражение ее лица изменилось мгновенно, рассеянной задумчивости как не бывало, она подалась к нему:

— Какие?

— Предполагаю, что важные.

— Что же ты молчал?

— Да, видишь ли, ничего не было определенного. Только сегодня прояснилось, но приказа еще нет... Началось с того, что третьего дня меня вызвали в отдел кадров. Всего-то разговора было на пять минут, просто уточнили кое-что, насчет ученья в частности...

— Ну?

— А сегодня работаю, вдруг подходит мастер и велит срочно идти в экспериментальный, к начальнику сборки...

Он спохватился, что Юлька неясно представляет себе, что такое экспериментальный цех и сборка, и стал рассказывать подробно, продолжая нежно придерживать на столе ее руку своей теплой большой ладонью. Этот цех, Юлька, чтоб ты знала,— гордость завода, он живет на пятилетку впереди всех цехов. Там конструируют новые станки — автоматы и полуавтоматы. По заводу об этих станках ходят разговоры, и другие цеха проводят экскурсии в экспериментальный, чтоб быть в курсе перспектив... По сути дела, это целый завод, там есть и механический участок, и электромонтажный, и лаборатории, где сидят инженеры и при помощи чертовски тонких приборов определяют качество обработки, зернистость металла и прочую штуку. Во всем цехе стены выкрашены белой краской, и везде цветы — на окнах и на подставках между станками. Белые верстаки, белые табуретки, инженеры в белых халатах, как доктора, так что в промасленной робе туда не сунешься, а наденешь то же самое белый халат либо культурную спецовочку с белой строчкой и хорошую рубашку с галстуком, так там рабочие и ходят...

А самый главный и самый большой участок — сборка. Какие станки оттуда выходят, Юлька! Эх, ты бы видела: это изящество, и точность, и ум...

— А зачем тебя звали туда?— спросила Юлька, внимательно выслушав.

Он не слышал вопроса, увлеченный своим рассказом:

— Вот тебе еще один штрих. Сейчас я получаю чертеж — куда я с ним иду? Хорошо, если мастера нет в конторке — приткнешься у него за столом. А чаще всего — на окошке или на верстаке... А в экспериментальном специально поставлены письменные столы, прямо среди станков. Настольные лампы с абажурами, книги, пособия, наточенные карандаши в стаканчиках. И не только для мастеров и бригадиров — все рабочие изучают чертежи за столом.

— Тебя зовут туда работать, да?— спросила Юлька.

— Да,— ответил он.— Но я еще не дал согласия. Хочу знать твое мнение.

— Но ведь тебе хочется, правда?

— Еще бы!

— Значит, надо идти.

— Нет, ты послушай. Есть одно обстоятельство. Там, знаешь, всем нравится, да не все согласны там работать.

— Почему?

— Заработок ниже. Начальник сборки прямо мне сказал: имейте в виду, ваших грандиозных получек здесь нет. У них ведь не серийное производство. Ну конечно, есть премиальные.

— Я не понимаю, зачем ты об этом говоришь,— сказала она.— Ты не будешь сидеть голодный? Будешь есть биточки вместо киевских котлет, только и всего?

Он обиделся.

— Пожалуйста, не делай из меня шкурника! А вот получим комнату — что-то надо в нее поставить, или будем тянуть с мамы и с папы, как Геннадий?

— Не будем тянуть ни с кого, и купим все на те деньги, что у тебя на книжке. И помни, что я сказала про велосипед.

— Знаешь,— сказал он,— если я проработаю там два-три года, я буду инженером-практиком, ни больше ни меньше. А если приложить специальное образование пусть заочное...

— Ну конечно! Об этом нужно думать, и не о том, где больше дадут рублей. Ты завтра же с утра пойдешь и скажешь, что согласен.



— Я хотел исполнять малейшие твои желания,— пробормотал он, озабоченно хмурясь.— Малейшие твои капризы.

Она засмеялась:

— Когда ты видел, чтобы я капризничала? У меня не бывает капризов.

— А вдруг появятся.

— Не появятся,— сказала Юлька.

К их разговору с сочувственным интересом прислушивался гражданин, усевшийся за соседним столиком. Он был молодой, голубоглазый, ничего себе наружностью и очень общительный. Садясь, он дружелюбно улыбнулся Юльке — она вскользь отметила эту улыбку, занятая разговором. Когда она сказала, что у нее не бывает капризов, он опять усмехнулся и многозначительно двинул бровями — вверх и вниз. Она взглянула ему в глаза недоуменно-строго — что вам надо, гражданин, и на каком основании вы мне подаете какие-то знаки? Он сделал успокоительный жест рукой: мол, порядок, гражданочка, можете рассчитывать на полное мое уважение. После этого она должна была собрать всю свою волю, чтобы не смотреть на него.

Официантка принесла Юльке и Андрею борщ, открыла бутылку с фруктовой водой и перешла к соседнему столику. Гражданин и ей улыбнулся так же дружественно, как улыбался Юльке.

— Что, борщ у вас хороший, а?— спросил он.

— Хороший,— с патриотической гордостью сказала официантка.— Вот товарищи кушают...

— Извиняюсь, товарищ, как борщ, ничего?— спросил гражданин, уже прямо обращаясь к Юльке. Та ответила сухо:

— Да. Ничего.

— Мировой,— подтвердил Андрей, не оборачиваясь.

Официантка ушла, приняв заказ. Юлька чинно ела жгучий борщ, запивая его сладкой водичкой, и напрягала волю, чтобы не обращать внимания на общительного гражданина.

А он достал из кармана красивый синий платок, развернул его, держа за уголки, и показал Юльке; потом размахнулся и бросил платок на пол к своим ногам; и пальцем указал на него Юльке: дескать, смотри. Юлька решила, что он сумасшедший или пьяный. Но с платком на полу стало делаться необыкновенное: он подпрыгнул раз, подпрыгнул два, один его угол поднялся и завязался

в узелок. Завязался сам, совершенно так, как тетя Фаля завязывала углы своих платков, чтобы не забыть купить спички или примусную иголку.

Андрей взглянул на Юльку и удивился счастью, сиявшему на ее лице.

— Андрюша, посмотри!— сказала она с восторгом.

И уже прямо, с верой и ожиданием устремила взор на гражданина, совершившего это чудо. «А можешь ты сделать так, чтобы он развязался?— спрашивал ее взгляд.— Если можешь — о, пусть он еще и развяжется!»

Гражданин услышал крик ее души. Узелок развязался.

— Здо́рово!— сказал Андрей.— Чисто сделано. Вы должно быть, артистом работаете?

— Да, я артист,— ответил гражданин.— Ага, вот и мне несут первое, а вам второе.

Платок взмахнул крыльями и взлетел к нему в руки, и Юлька разочаровалась, увидев нитки, с помощью которых все это происходило.

— Ешь,— сказала она Андрею, потускнев.— Остынет.

А артист, показав свое искусство, перестал набиваться на знакомство. Может быть, он загордился, а может быть, ему очень хотелось есть, но только он всецело занялся обедом. «Вот я ем,— говорил его вид,— и здесь исключительно для этого, видите, как тщательно я отрезал этот кусочек и как продуманно смазал его горчицей, так и нужно поступать, и дело это нешуточное. А если вы хотите, чтобы я вас еще чем-нибудь поразил, вам придется попросить хорошенько, вы будете прямо-таки валяться у меня в ногах, прежде чем я соглашусь!» И так как они были воспитанные ребята, то не попросили его ни о чем.

На террасу, разговаривая и смеясь, поднялась компания мужчин и женщин. Впереди шел очень смешной человек с лицом как у щуки — будто кто-то взял в горсть его нос и губы и вытянул вперед. Компания прошла прямо в зал и расселась вокруг длинного стола с бутылками и цветами. Очевидно, этот стол был приготовлен для нее.

В зале зажглись люстры, забегали официантки, послышались звуки настраиваемых инструментов.

— Ешь скорей,— сказала Юлька.

Они покончили с обедом как раз к тому моменту, когда в зале грянула бойкая музыка и мужской голос запел: «Однажды вечером, вечером, вечером...» Они расплатились и ушли, издали вежливо сказав артисту: «До свиданья». А он ответил серьезно и задумчиво:

— Прощайте, друзья.



Они спустились в прохладный темнеющий парк и забыли этого артиста, запомнили только платок на полу и узелок, который сам завязывался и развязывался.

Пройдясь, взяли лодку и поехали кататься по пруду. Вода была от заката розовая, Юлькино коричневое платье отражалось в ней и белый воротничок, и с весел стекали серебряные капли. Вода погасла, деревья вокруг пруда почернели, Юлька озябла, и Андрей закутал ее в свой пиджак. Играла музыка, и вдруг взлетела в небо светлая комета с узким хвостом, остановилась, будто на что-то наткнувшись, и рассыпалась искрами. И одна за другой стали летать кометы — фейерверк!— и лодка плыла по пруду, закиданному звездами.

*Глава восьмая*

## ДЕНЬ ЗАБОТ. ДЕЛА МОРАЛЬНЫЕ

Исключается из партии некто Редьковский, не оправдавший доверия и запятнавший звание коммуниста.

Бюро горкома заседает в небольшом зале, где светлым деревом обшиты стены и в три ряда, в шахматном порядке, стоят маленькие, светлого дерева, столы. Золотой летний день, вливаясь в окна сквозь тонкие шторы бронзового шелка, окрашивает горячим янтарным цветом стены и столы, натертые плиты паркета и каждый предмет в зале. И на лицах людей лежит этот живой оттенок темного янтаря. Но лица нахмурены и невеселы, и совсем потерянное лицо у Редьковского, который сидит сбоку, один, отщепенцем — как-то сама образовалась вокруг него ужасная пустота.

Со своего председательского места, прищуренным взглядом обводя собрание, Ряженцев взглядывает мельком и на Редьковского... Взвесил ли наконец человек свои поступки, понял ли, на какую чечевичную похлебку променял свою партийную совесть, свое пребывание в великой партии, творящей историю? Или ничего у него нет в душе, кроме сожаления о должности и страха перед судом?

Но на правильном, благообразном, в нормальном состоянии многозначительно-серьезном лице Редьковского,— на этом солидном лице с солидными очками выражается в данный момент такая мешанина переживаний, что даже Ряженцеву, уж на что физиономист, не разобраться...

Растеряв всю солидность и значительность, Редьковский сидит ничтожный, безмолвный, с отвисшей губой, достертый в порошок презрением бывших товарищей, раздавленный пустотой, возникшей возле него...

Это, так сказать, главный персонаж. А вот второстепенные персонажи — бывший секретарь Куйбышевского райкома Голованов и редактор газеты Бучко.

Что с вами случилось, товарищ Голованов? Были вы характера веселого и скромного, хорошо работали, хорошо выполняли партийные поручения. Выбрали вас в районный комитет, стали вы первым секретарем... И словно подменили вас. Такую изобразили важность в лице и обхождение, что к вам и не подступись. Пешком перестали ходить, иначе как в машине люди вас не видели. Неделями не могли попасть к вам на прием: под маркой изучения опыта, коллегиальности и тому подобное — заседали вы там в райкоме с утра до ночи, срывали людей с работы для этих заседаний, выдавали это за живое руководство, а если откровенно — просто вам понравилось восседать на главном месте, делать глубокомысленное лицо, изрекать афоризмы и упиваться людским уважением. Вы не поняли, что уважают партию, а лично вам в качестве руководителя еще надо заработать уважение. Ничего не поняли, и ничего не заработали, и в кратчайший срок растеряли то, что имели: авторитет и доверие. На каждом шагу сыпали словами: «организовать», «мобилизовать», «ориентировать», а когда из горкома вам позвонили насчет живого человека, коммуниста Жихарева, и его живой судьбы — вы что ответили первоначально? «Мы с этим разберемся, вот только поосвободимся немножко». От чего освободимся? От забот, что ли, которых становится все больше? Этакое бездумье...

Сейчас у Голованова унылый и виноватый вид. Он уже знает все факты, которые перечисляет докладчик, и горестно-утвердительно кивает головой, как бы поддакивая: да-да-да, истинная правда, так оно и было... Только позавчера его сняли, и сановность как смыло с него: не бог Саваоф сидит, а обыкновенный человек средних лет и средней наружности, добродушный и пристыженный. Полные щеки отекли от бессонницы, брови сошлись опрокинутой ижицей. Он будет отчаянно признавать свою ошибку, каяться — и, надо думать, он действительно кается...

Редактор Бучко — совсем другого рисунка. Поглядеть на него — сокол ясный, лихач-кудрявич, рубаха-парень, но душа у него юркая и холодная. Ледяными, настороженными глазами он неотрывно смотрит в лицо докладчику, ловит каждую деталь, которую можно с выгодой использовать в выступлении... Было так: Жихарев, уволенный Редьковским, прорвался на прием к Голованову; Голованов выслушал Жихарева, обещал расследовать — и «расследовал» до тех пор, пока не раздался звонок из горкома. Бучко получил письмо рабочего о незаконном увольнении Жихарева, позвонил Голованову, узнал, что тот «в курсе» и «расследует», и положил письмо под сукно. Когда Голованова сняли, Бучко струхнул; но не подал и виду, а стал сочинять развернутую принципиальную речь для выступления на бюро горкома; сочинил и теперь мысленно редактирует свою речь, придает ей окончательную шлифовку. Вот сейчас Бучко, получив слово, бодро выйдет вперед, непринужденно пригладит кудри рукой и начнет говорить как обвинитель. О письме, положенном под сукно, скажет между прочим, и покается между прочим, и так же между прочим свалит вину на заведующего отделом писем и сообщит попутно, что виновный уже уволен... С благородным возмущением упомянет о порочном стиле работы Куйбышевского райкома при Голованове и выразит удовлетворение снятием Голованова. «Товарищ Голованов,— скажет он рокочущим голосом,— приходится признать, что вы не созрели для руководства; вам будет полезно поработать на заводе, поучиться и... подумать». И Голованов под прицелом этих синих ледяных глаз даже не пикнет... Затем Бучко скажет: «Перехожу, товарищи, к существу вопроса»,— и отделает Редьковского разными словами. Слова будут громкие, красивые и литературные: Бучко — мужчина начитанный. Со всей силой щедринских громов рухнет он на Редьковского, переберет все эпитеты, какие можно приложить к Редьковскому, выразит гнев, презрение — все что надо выразит. И уйдет на место геройской походкой, встряхивая кудрями...

Брезгливо морщась в ожидании речи Бучко, Ряженцев переводит взгляд на Акиндинова... Директор станкостроительного сидит прямо, заложив толстые руки за спинку стула. Его громадная грудь под светлым чесучовым пиджаком ходит, как мехи. Монгольское лицо лоснится потом (летом Акиндинову всегда жарко). Отвернувшись, он смотрит в сторону бешеными и страдальческими глазами. Страдает он и бесится от мерзости разбираемого дела. Есть у Акиндинова крупные недостатки,

обвиняют его и в барстве, и в зазнайстве, и в капризах, но ни за что он не станет фабриковать за счет государства личное благоденствие, как делал Редьковский. С размахом человек, но его размах в ином: Акиндинов построит лучшую баню и лучший Дворец культуры, все сердце вложит в то, чтобы построить как можно великолепней, и будет заглядывать людям в глаза: ну как, нравится?— потому что он до смерти любит похвалы, восторги, признание его талантов, и если его уж очень хвалят, то у него голова ходит ходуном... Он чуть не заболел от досады, когда конструирование оптико-копировальных станков министерство хотело поручить другому заводу. Если бы он мог, он забрал бы к себе на завод всех изобретателей и новаторов и все самые сложные и передовые эксперименты... Он может щедрой рукой швырнуть средства на устройство выдающегося детского утренника,— но на себя не истратит копейки сверх того, что ему положено за работу.

Что, кроме гадливости, может чувствовать этот упоенный делом своей жизни человек к ничтожному стяжателю Редьковскому? Он и губ не разомкнет по этому поводу: молча поднимет толстую руку — вон из партии!

Чуркин тоже ничего не скажет. Подперев взлохмаченную голову, он грустно водит карандашом по блокноту, бессознательно что-то чертя... Не многим известно, что практичный и прижимистый Чуркин на самом деле романтик и мечтатель,— но Ряженцев это знает. Слово «коммунизм» Чуркин произносит как очень дорогое, почти интимное; и когда при нем пускаются в разговоры об устройстве жизни при коммунизме, он слушает молча, с глубокой заинтересованностью, и то усмехается и крутит головой в знак несогласия, то глаза у него светлеют от волнения... Плохие люди огорчают его и изумляют: он искренне не может понять, какого черта они поступают дурно, когда так просто и удобно поступать хорошо. Он признавался Ряженцеву, что самое трудное для него — это когда является полковник, начальник милиции, с докладом о преступлении...

...Редьковский управлял стройтрестом номер четыре. Трест построил два дома, и за это же время появилась у Редьковского за городом собственная дача на имя тещи. Трест разрабатывал каменные карьеры, и вокруг дачи Редьковского вырос каменный забор в полтора человеческих роста. Строили дачу и забор лучшие рабочие треста; оплачивал им эту работу трест — из расчета среднего



заработка; строительные материалы тоже оплачивал трест. Табельщица и счетовод высказали свои сомнения — их уволили, придравшись к мелким погрешностям. Каменщик Руденко отказался строить гараж управляющему, сказав: «Я по среднему работать не буду, и я не на барщину сюда пришел»,— Руденко уволили, обвинив в шкурничестве. Коммунист Жихарев, штукатур, восстал против незаконного использования рабочей силы — Редьковский уволил и Жихарева как склочника и дезорганизатора работы. Жихарев кинулся в райком, к Голованову, и не нашел поддержки. Рабочий написал в газету — не помогло... Сейчас дело идет к естественному концу.

Комиссия, выделенная горкомом для обследования парторганизации стройтреста номер четыре, заканчивает доклад. Досказываются обстоятельства пребывания Редьковского на посту управляющего: о присвоении им трестовской машины в нераздельное личное пользование (жену возили на базар), о пирушках на даче за непроницаемым забором, о том, как поблажками и незаконными премиями Редьковский покупал молчание членов партбюро и постройкома, которые обязаны были призвать его к порядку.

В зале много коммунистов из треста номер четыре. Они сидят не вместе. Произошло естественное разделение — те, кто кутил на даче у Редьковского, расселись вразброд, остальные сгруппировались вокруг Жихарева... Вот кто переживает большие дни своей жизни — этот чернявый двадцативосьмилетний парень в вышитой украинской рубашке под пиджаком, скуластый и курносый, с угольно-черными умными глазами.

Он, молодой коммунист, восстал за дисциплину, за законность, за партийную этику — его выгнали, наплевали ему в душу, райком его не поддержал. Теперь Жихарев восстановлен на работе, его, видимо, изберут секретарем партийной организации треста — во всяком случае, горком будет рекомендовать... Жихарев сидит чинно, но его угольные глаза горят, и на молодом лице удовлетворенное, даже горделивое выражение. Вот он поднял голову, взглядом знатока-специалиста оглядел потолок, задержался на лепке карниза... Вот взгляд спустился, помрачнел, погас (Жихарев посмотрел на Редьковского) — и снова просветлел и зажегся, поднявшись к портрету Ленина... И каждое жихаревское движение, и все шквалы, которые бушевали в этом неискушенном сердце, и эта за-

ря чистого торжества — все понятно Ряженцеву, солдату партии, поседевшему на бессрочной службе. (Седины не замечают, потому что Ряженцев белокур. Его светлые, невьющиеся волосы, гладко зачесанные назад, отливают спокойным блеском. Лицо почти без морщин, широкое и белое, тоже спокойно, он выработал это спокойствие за многие годы.)

Тихо открывается дверь в конце зала. Тихо ступая по плюшевой дорожке, входит Степан Борташевич. Он опоздал, и выражение у него, как всегда у опоздавших, озабоченное — дескать, дел выше головы, потому и опоздал. Усевшись и перестав быть предметом внимания, он скидывает с лица это условное выражение [redacted] оглядывает собрание со свойственным ему веселым благодушием. О деле Редьковского он, разумеется, знает, [redacted] оно его не волнует, он такие вещи видел. Не далее как минувшей зимой он, заведующий горторгом, снял с работы [redacted] отдал под суд группу работников торговой сети. С жизненным опытом товарищ, седые виски и скептическая усмешинка в глазах, не удивишь его мелким мазуриком Редьковским...

Докладчик дочитывает предложение комиссии:

«Провести перевыборы бюро партийной организации стройтреста номер четыре...»

Движение среди людей, окружающих Жихарева...

«Дело о хищениях передать следственным органам...»

Редьковский снимает очки и для чего-то начинает старательно протирать их платком...

— Слово товарищу Жихареву,— говорит Ряженцев.

Но Жихарев отказывается от слова. Встав, он объясняет: все изложено в материалах комиссии, ему добавить нечего.

— Как нечего?— мягко спрашивает Борташевич.— А ваше отношение, личная ваша оценка?

— Я свое личное отношение уже выразил, за что меня и выгнали с работы,— медленно отвечает Жихарев и улыбается доверчивой улыбкой.

— Хорошо отвечено!— говорит Бучко — негромко, но, однако, так, чтобы все услышали.

Другие коммунисты из стройтреста желают высказаться. Один повторяет уже известные факты, другие признают свои ошибки... Акиндинов вынимает из кармана часы — именные, наградные, он всегда их носит — [redacted] раздраженно щелкает крышкой: все ясно, о чем еще говорить!..



Но выходит с покаянной речью Голованов. «Мы не учли,— говорит он,— мы упустили, мы самоуспокоились...» Ряженцев не выдерживает:

— Говорите о себе. Почему —«мы»? Вы не Николай Второй. Вам не грех сказать «я».

А за Головановым встает Бучко и точь-в-точь так, как предвидел Ряженцев, приглаживает рукой лихие кудри [redacted] произносит совершенно то самое, чего Ряженцев от него ожидал.

— Короче!— говорит Ряженцев.

Бучко на секунду срывается.

— Виноват,— говорит он,— такой вопрос...— и продолжает речь в ускоренном темпе. Ряженцев поднимается, слушает стоя, не скрывая нетерпения. И, не дождавшись конца, обрывает этот поток хорошо отредактированных фраз:

— Ясно, я думаю, товарищи. Есть еще желающие?

Бучко возвращается на место без всякого геройства. Блистательное выступление не имело успеха. «Не обойдется без выговора»,— думает он, [redacted] что-то отвратительно дрожит у него под ложечкой.

— Нет желающих.

— Несколько слов,— мягким домашним голосом говорит Борташевич,— несколько слов, которые никто не сказал, [redacted] надо бы, разрешите.

— Прошу,— говорит Ряженцев.

Легким широким шагом Борташевич выходит вперед. Он стоит у столика, заменяющего трибуну, лицом к собранию,— это доброе, сейчас немного грустное лицо пожилого человека, расположенного к людям. У Борташевича осанистая фигура и благородная голова с седыми висками.

— У кого же, товарищи, язык повернется — защищать разложенца, нарушителя наших моральных устоев...

Он говорит задумчиво, все тем же негромким уверенным голосом, и как бы взвешивает в спокойной руке тяжесть проступков Редьковского.

— Я только хочу обратить внимание бюро на обстоятельство, о котором здесь, правда, говорилось, но говорилось попутно, [redacted] я считаю, что это обстоятельство должно быть выделено особо, так как в нем заключается главное преступление, большее, на мой взгляд, чем даже воровство из государственной кассы...

Зал слушает и смотрит на белую руку, беспристрастную, как чаша весов.

— Из выступлений товарищей рисуется такая картина, что Редьковский подбирал аппарат по принципу приятельских отношений, старого кумовства и так далее. А те, с кем не было приятельских отношений и старого кумовства, вербовались, так сказать, как новобранцы, бесстыдно задаривались за государственный счет,— во всяком случае, их изо всех сил старались купить и растлить... И в этом я, товарищи, вижу главное преступление!

Борташевич медленно опускает руку на стол. (Чаша весов опустилась под тяжестью гирь.)

— Верно, Степан!— громко говорит с места Чуркин, и Ряженцев слегка ударяет по стакану карандашом...

— Я слушал, и мысль моя была не о материальных хищениях — это все у него обратно заберем, товарищи!— мысль моя была о людях, которым он прививал свою чуму. Были люди как люди, чистые перед партией и перед народом, и вот — глядите: сидят как в воду опущенные, потерявшие доверие, с выговорами, со строгими выговорами,— а кто отвечает? Редьковский отвечает! Это он их сбивал, что называется, с катушек, он тащил их на путь, по которому сам катился — и докатился! И вот за это моральное обворовывание партии и общества мы должны спросить с него еще суровее, чем за материальное!

Если бы на деловых заседаниях были приняты аплодисменты, Борташевичу хлопали бы. Даже окаменевший в сумрачном высокомерии Акиндинов провожает его благосклонным взглядом. Бучко терзают запоздалые сожаления: как это он, Бучко, не сообразил сказать о моральном обворовывании общества...

Ряженцеву остается добавить немного.

...Редьковский покидает зал. Он идет торопливой и неверной походкой, пригнувшись, как беглец, и у выхода спотыкается, зацепившись за ковровую дорожку. Никто не смотрит ему вслед, только Борташевич оглянулся на мгновение...

Повестка исчерпана, Ряженцев закрывает заседание, предложив остаться Жихареву и еще нескольким товарищам из стройтреста. Остальные расходятся.

— Хорошо сказал, Степан!— говорит Чуркин, выходя с Борташевичем. Они приятели — в гражданскую вместе воевали, и уже второй раз им доводится работать вместе, в одном городе.

— Да-а!— говорит Бучко, присоединяясь к ним.— Бледный был вид у молодчика.



Чуркин поворачивает голову и меряет его скучным, печальным взглядом. Бучко стушевывается. Они спускаются по лестнице.

— Жихареву придется поработать,— говорит Чуркин Борташевичу.— Там все заново надо перепахивать.

— Ничего,— отвечает Борташевич с усталой улыбкой.— Ряженцев ему объяснит, как это делается.

Они выходят на улицу. У подъезда ждут машины. Дневная жара спала, солнце двинулось к западу. Перед зданием, где помещаются обком и горком, лежит большая спокойная площадь Коммуны, на одной ее стороне асфальт светлый, на другой черный и блестящий — только что его полили. Мимо здания, оглядываясь на выходящих оттуда людей, прошла продавщица цветов с корзиной свежих пионов. И невольно глаза этих людей, занятых совсем другими делами и мыслями, задержались на цветах...

Громадный в своем чесучовом костюме, выходит из подъезда Акиндинов. Он идет пешком — доктор велел ходить для моциона — и изредка вздыхает тяжкими, слоновьими вздохами. История Редьковского рассердила его чрезвычайно. До чего же глупо и низко: забор... базар... Ах, боже ты мой! На такую дрянь разменять свою жизнь! Одну-единственную...

И он думает о собственной жизни, тоже одной-единственной, такой дорогой ему,— да, это он, молодой и красивый, летел на коне перед полком, играя над головой шашкой, а сзади неслось, настигая и оглушая, «ура», а впереди за тучей пыли утекали беляки... Он тогда пил люто, был такой грех. И его ранили, чуть было не срезали на корню его великолепную жизнь, на волоске висело все, что с ним было потом... Судьба пожалела — подослала Марусю. Маруся, добрый гений! Выходила, вынянчила, отучила от водки, друг мой ненаглядный, товарищ, жена и любовь! Чего только не пережили вместе — и голодали, и скитались, у Маруси рубашки не было, мои носила... Первая девочка умерла, даже назвать не успели, а потом я привел Марусе мальчишку из асфальтового котла, Маруся его отмыла, вывела вшей и привязалась, а он тоже умер, от сыпняка... А эти наши, Галька и Томка, разве они ценят мать? Разъехались — свои мужья, свои дети, свои занятия, письмо матери и то написать некогда. Пошлешь денег — внукам на гостинцы, ну, дочкам совестно станет, напишут. Маруся гордая, говорит — это в порядке вещей, но я же понимаю, каково ей! Я же понимаю, ах-ха!.. Да,

вот ты так все понимаешь и чувствуешь, до слез, а какая-нибудь мразь ни черта и понимать не хочет, кроме своей вонючей выгоды. Ты обнимаешь мыслью высоты и глубины, а она тянет, что плохо лежит... Маруся без рубашек ходила, Костька помер от сыпняка, они и тогда тащили — ого!.. И ведь под самым носом орудуют. Вот я иду, а дьявол его знает — может, именно сейчас какому-нибудь моему начцеха рабочие... это самое... какие-нибудь работы на дому... с оплатой по среднему за государственный счет... Ну, это я загнул. Не те у нас люди. Я свои кадры, слава богу, знаю...

Он идет, настроенный на грустно-торжественный лад, отбирая из воспоминаний все невзгоды и гордясь ими, и за ним вдоль тротуара тихо движется его серый автомобиль, а по тротуару плетется Бучко.

— А вы слышали,— внезапно спрашивает Бучко, выбегая вперед,— как он споткнулся, уходя?.. Я слышал.

Акиндинов отвечает не сразу.

— Вот что, товарищ Бучко,— говорит он,— когда вас снимут с газеты, проситесь ко мне, я вас возьму в многотиражку.

Бучко не находит, что ответить на это неожиданное предложение, высказанное столь категорически.

— Секретарем,— рассеянно продолжает Акиндинов,— у вас слог ничего... Нашему заводу требуется хороший литературный слог.

— Да, конечно,— испуганно отвечает Бучко.

«Вы думаете, меня непременно снимут?»— хочется ему спросить, но сразу неудобно, и он осторожно продолжает разговор:

— Я, собственно, не журналист, я окончил филологический...

Но Акиндинов останавливается. Он стоит посреди тротуара, глаза его сузились, лицо как грозовая туча... В недоумении останавливается и Бучко. Останавливается и машина.

Перед ними Дом техники. Он сияет свежей кремовой окраской. Кремовые брызги и потоки на тротуаре — видно, только что убрали заградительную веревку... Дверь Дома распахнута — обе створки настежь,— и там тоже брызги, стремянки, веселый, своеобразно и сыро пахнущий хаос ремонта... Из распахнутой двери, отработав смену, выходят маляры. На маляров-то и смотрит Акиндинов, наливаясь гневом.



Это *его* маляры! Позавчера он видел их во Дворце культуры, они работали там... Он, может быть, не обратил бы сейчас внимания, прошел мимо, но вон та подсобница, толстуха с темно-красным цветом волос, уникальные волосы и уникальная толщина... По ней он признал остальных. И где-то здесь, по-видимому, должен находиться Федор Ильич, бригадир...

— Федор Ильич!— громко кричит Акиндинов, едва появляется в дверях старичок в кепчонке, заляпанный красками с головы до ног, как все остальные.

Федор Ильич дотрагивается до кепчонки и пожимает директорскую руку.

— Федор Ильич, это что, а?.. Что вы тут делаете?

— Мы-то?— переспрашивает Федор Ильич тонким беззаботным голоском.— Косметику наводим.

— А Дворец?

— А во Дворце приостановили на недельку, поскольку, Георгий Алексеевич, нельзя и тут и там...

— Давно это?

— Со вчерашнего дня.

— Кто распорядился?— спрашивает Акиндинов так тяжко и грозно, что у маляров, стоящих кругом, сразу делаются серьезные лица.

— Товарищ Косых приказал... Звонили ему, говорят, из горисполкома.

— Так...— говорит Акиндинов.— А платить вам кто будет?

— Сказал товарищ Косых — вы, мол, рассчитаетесь, по среднему.

— По среднему?— повторяет Акиндинов, задохнувшись.— Заводскими, значит, деньгами?.. Понятно! Во Дворце приостановили... несрочное дело... дисциплину к дьяволу... Прораб!!

— Нет его тут...

— Федор Ильич, я тебе приказываю,— бригада, слушай! Завтра с утра идете работать во Дворец.

— Георгий Алексеевич,— испуганно говорит Федор Ильич,— слушай меня, никак нельзя, еще денька два хоть...

— Два часа не разрешаю!

— Слушай меня, мы грунт поло́жили, плафон закончить!..

— Один плафон только лишь!— музыкальным меццо-сопрано говорит красноволосая толстуха, в надежде силой

женских чар утишить разгневанного директора. Он ее не замечает:

— Бригада, всем ясно? С утра — во Дворец. Федор Ильич, все. Про плафон забудь. Проверю лично... Едем, довезу. По среднему, а? С-сукины дети!..

И, пропустив вперед старика бригадира, начисто забыв о Бучко, задыхаясь от ярости, директор станкостроительного садится в машину, хлопает дверцей и исчезает в солнечной дали улицы.

*Глава девятая*

## ИЗ ДНЕВНИКА СЕРЕЖИ БОРТАШЕВИЧА

*2/I.*

Прочел «Гамлета». Очень слабая пьеса. Я уже не говорю об идеологии, это XVII в. Но просто написано плохо. Сумасшествие Офелии не мотивировано, ее взаимоотношения с Гамлетом неясны. Есть элемент ложной занимательности (см. историю с призраком). Шекспир вообще страдает этим недостатком (ср. с ведьмами в «Макбете»). Очень примитивна история с актерами. Пятый акт, где все друг друга убивают, невозможно читать, до того нежизненно.

С коньками пока не получается. Падал, разбил колено. Там многие учатся и падают, так что ничего. Катя заметила по моей походке, что у меня болит нога, и всполошилась. Я просил ее молчать, чтобы избежать дурацких разговоров в доме.

*3/I.*

Без разговоров не обошлось. Марго тоже заметила и сказала маме. Мама сказала, что нельзя кататься на коньках, не спросив у профессора. Я сказал, что больше не пойду ни к каким профессорам. Она сказала: «Ты отдашь мне коньки». Я сказал: «Нет». Она сказала: «Да». Тут ей позвонили по телефону, и она забыла. Я запер коньки в шкаф и ключ ношу в кармане. На всякий случай запер и гантели.

*4/I.*

Екатерина меня возмущает. Меньше всего она думает о науке. Спорт — прекрасная вещь, но нельзя же предаваться односторонне. Ей пора думать о теме дипломной работы, а она пропадает на тренировках.

*5/I.*

С коньками налаживается. Падал всего два раза.

*6/I.*

Не падал ни разу.

*8/I.*

Полная победа. Катаюсь как бог, только корпусу неловко от наклона все время вправо.

На катке была очень красивая девочка. Она катается лучше всех.

*10/I.*

9 января 1905 г. по старому стилю в России, в городе Санкт-Петербурге, царская жандармерия расстреляла рабочих, шедших к царю с петицией.

9 января 1950 г. по новому стилю в Италии, в городе Модене, фашистская полиция расстреляла мирную рабочую демонстрацию.

Интересно, обратил ли кто-нибудь внимание на это совпадение в числах? И не будет ли 9 января 1950 г. для итальянцев такой же исторической датой, какой для нас является 9 января 1905 г.?

*12/I.*

Незнакомка опять была на катке. Мальчишки перед нею крутятся. Она ни на кого не обращает внимания.

*13/I.*

Я катался и остановился отдохнуть. Незнакомка бежала мимо и посмотрела на меня. Наши глаза встретились. Я нарочно остался стоять и дал ей пробежать еще раз, и она опять посмотрела.

Я думаю, что женщина может, в принципе, полюбить человека с физическим недостатком. Но вот проблема: может ли она его любить без унижающего мужчину чув-

ства жалости? Если нет, то между нами все кончено. У нее белая шапочка с длинными ушами.

*16/I.*

Было очень бурное собрание. Райком комсомола и Ив. Евгр. обязательно добивались выговора Шугаринову. Мы не хотели голосовать за выговор, т. к. хотя Шугаринов бузотер и срывщик дисциплины, но из нас тоже почти каждый знает за собой что-нибудь, так что я, напр., просто не мог голосовать против Шугаринова. Два раза переголосовывали. В промежутках Ив. Евгр. объяснял, почему Шугаринову надо вынести выговор. Он весь в поту был (Ив. Евгр.). Наконец он сказал, что если не дать выговор, то Шугаринов окончательно собьется с пути. После этого мы проголосовали за выговор, но без занесения в личное дело.

Шугаринов хорошо держался, со спокойным достоинством.

*17/I.*

Незнакомка не появляется четвертый день. Что случилось? Болезнь? Или она почему-нибудь переменила каток?

*18/I.*

Незнакомки все нет. Был на катке «Динамо». Белых шапочек было три, но все не те. М. б., она уехала из города насовсем?

*19/I.*

Был на катке водников. Плохой каток. Водники, а не могут устроить как следует.

*20/I.*

Хватил грипп и лежу. Приходили ребята. Играл в шахматы.

*21/I.*

Он полюбил ее, а она взяла и исчезла.
Она даже не знала, что он не может без нее жить.



*22/I.*

Мне ставили банки. Какая-то средневековая процедура. Я весь в черных кругах. Больно лечь на спину. Как это я когда-то лежал по полгода, привязанный к доске? Здорово мне достается от медицины.

*25/I.*

Воспаления легких не произошло. Мне уже лучше, но ребят еще не пускают. Сегодня все ушли, и Марго сидела со мной. Я читал, а она возле лампы штопала. Я посмотрел на нее и поразился, какая она уже старая. Я спросил, сколько лет она у нас живет. Потому что сколько я помню себя, столько и ее. Она сказала, что скоро уже семнадцать лет. Я сказал, что, значит, ей у нас хорошо? Она сказала, что не очень, т. к. у мамы тяжелый характер, но что она привыкла. Она говорит, что если бы у нее с мужем были нормальные отношения, то она жила бы не хуже нас. Но у них ненормальные отношения. Она рассказала мне целый роман, что когда-то ему было очень плохо, и он должен был уехать на очень долго, а она его безумно любила и ждала, как Сольвейг ждала Пер Гюнта, но он ничего не оценил, и другие женщины ходят в чернобурках, а ей он дает только двести рублей в месяц.— Ну, это уже не похоже на Сольвейг.— Она говорит, что одна ее знакомая работает в Госстрахе, страхует от смерти и от пожара и зарабатывает тысячу рублей в месяц, а она, т. е. Марго, по сути дела домработница: когда приходят гости, то все сидят и разговаривают, а она подает и принимает. И хоть она привыкла, но ей тяжело, т. к. она училась в гимназии. Я сказал, что это от нее зависит. В наше время женщине открыты все дороги. Я ей привел в пример разные имена, Лидию Корабельникову и др. Она сказала, что ничего этого не может. В это время пришел папа, и я попросил его, чтобы он поговорил с мамой, чтобы Марго тоже сидела с гостями. Но Марго стала плакать и сказала, что больше никогда в жизни не будет со мной откровенна. Она успокоилась только тогда, когда мы дали честное слово, что ничего не скажем маме. В общем, я отступаюсь от этой истории. Если рабу нравится влачить свои цепи...

Папа посидел со мной, и мы поговорили на международные темы.

Ужасно люблю папу.

Маму тоже, конечно, люблю, но она совершенно не признает прав личности. Она [redacted] душе какой-то неограниченный монарх. Марго глупа и полна пережитков, но нельзя же так угнетать, как мама ее угнетает. А самое главное, у мамы узкие горизонты. В общем, при ней [redacted] не могу дышать полной грудью.

Катя говорит, что у нее по отношению к маме дух противоречия. Если мама что-нибудь делает, Кате хочется делать наоборот. Я это понимаю. Я бы предпочел иметь такую мать, какая была у Павла Власова.

Мне пришло в голову, что если бы мы жили [redacted] XVII в. и мама сделала с папой то самое, что королева, мать Гамлета, сделала с его отцом, то я, м. б., тоже сошел бы с ума, как Гамлет. Возможно, Шекспир проводил именно эту идею.

*27/I.*

Ребята принесли новости: райком комсомола не утвердил наше решение и вынес Шугаринову выговор с занесением [redacted] личное дело. Наших комитетчиков вызывают в райком, [redacted] Ив. Евгр. ходит как туча и всем катает тройки.

Да, дела.

*31/I.*

Познакомился с интересным человеком. Сегодня Ив. Евгр. выгнал меня из класса за то, что [redacted] подсказал Заку. Я вышел в коридор. Какая странная тишина, когда идут занятия. Она наводит на разные мысли. Я походил [redacted] сел на окно. Вдруг входит какой-то человек с ключами. Спрашивает: «Ты что сидишь?» Я говорю: «Так». Он говорит: «Тебе надо быть [redacted] классе». Я говорю: «Меня выгнали». Он говорит: «А!» Потом спрашивает: «А стыдно?» Я говорю: «Да нет». Он спрашивает: «Почему?» Я ему объяснил, что это условность, отживший воспитательный прием, и что только досадно, что Ив. Евгр. испортил себе настроение. Он говорит: «Ты Ив. Евгр. не обижай, он святой человек». Я согласился, с оговоркой, что это очень плохо для Ив. Евгр., т. к. благодаря его святости мы все сели ему на шею. Он повторил: «Нет, ты его не трожь, он мне жизнь спас». И рассказал, что они вместе были на войне и Ив. Евгр. вытащил его раненого из-под огня. А теперь он сюда приехал жить, и Ив. Евгр. временно устроил его завхозом



в школу. Я спросил: «Почему временно?» Он сказал: «Ну, а что мне школа? Я могу поважнее что-либо делать. Как подвернется работа с площадью, так и уйду».

Он рассказал мне вкратце свою жизнь. Больше всего он любит путешествовать. Поживет два месяца на одном месте, и уже у него тоска. Он исколесил весь Советский Союз и переменил массу профессий. В том числе был рабочим в шести геологических экспедициях. Это, по его словам, самое интересное дело. В китобойной флотилии ему тоже нравилось. А самое противное, он говорит, это быть надзирателем в сухумском обезьяньем питомнике. Мартышек надо водить гулять, чтоб они были здоровы. Он их водил, как полагалось, по десять штук сразу, на цепочках: пять цепочек в одной руке и пять [redacted] другой. А мартышки ссорились и дрались и не хотели гулять на цепочках, и кусали его за ноги. Он посмотрел-посмотрел на них, нанялся на пароход и уехал из Сухуми.

Теперь он женился. Жена не хочет так жить, а хочет оседло. Ив. Евгр. обещал им помочь, [redacted] они приехали устраиваться. Закончив рассказ, т. Федорчук — так зовут моего нового знакомого — вздохнул и сказал: «Любовь зла».

Во время рассказа подошел Санников. Я думал, его тоже выперли, но он, оказывается, сам отпросился и пошел меня искать. Потом на немецком мы с ним разговаривали на такую тему: какая большая наша страна и как бы хорошо объездить ее всю, как Федорчук. Санников говорит, что для этого нужны три вещи: 1) здоровье, 2) безразличие к жизненным удобствам и 3) отсутствие честолюбия. Видимо, все эти качества есть у Федорчука. Федорчук, конечно, бродяга по натуре, Санников прав. Но, с другой стороны, если бы таких бродяг не было, то кто бы водил гулять сухумских обезьян? Никто ведь не согласится делать это всю жизнь.

Санников после средней школы пойдет [redacted] лётную. Ему хочется на реактивный самолет. Конечно, при современных скоростях он повидает все на свете. Меня не примут [redacted] лётную из-за проклятой ноги. Об нее разбиваются все мои планы.

*1/II.*

Стыд и позор предаваться такими мыслям, когда написаны книги о Корчагине и Мересьеве!

*2/II.*

+3°. Идет дождь. Катки закрыты. Прямо неизвестно, что делать. Катя уехала в дом отдыха. Дома скука зеленая: каждый вечер гости. Сижу в своей комнате или удираю с ребятами.

*3/II.*

Нина Серг. на меня обиделась. Я сказал, что при гуманитарном направлении ума совершенно ни к чему все эти косинусы. Она сказала: «Значит, ты зачеркиваешь мою деятельность?» Я сказал, что не зачеркиваю деятельность, но что, окончив школу, в первую очередь постараюсь забыть тригонометрию, чтобы расчистить в мозгу место для более нужных вещей. Она пожаловалась Ив. Евгр. Он со мной беседовал. Как будто я не понимаю, что тригонометрия необходима тем, кто пойдет по технике. Но филологу, напр., она не нужна. Ив. Евгр. утверждает, будто она необходима для общего развития. Я с этим никак не согласен. Он спросил, а как же я отношусь к алгебре. Я сказал, что алгебра действительно необходима для общего развития, т. к. она учит абстрактному мышлению. Он сказал, что Нина Серг. прекрасный, знающий педагог и что я должен перед ней извиниться. Я ему обещал. На перемене я нашел ее и сказал: «Я прошу извинения, хотя, на мой взгляд, это для вас гораздо более оскорбительно, чем то, что я говорил на уроке». Она покраснела и сказала: «Ты хочешь быть умнее всех. Иди!»

Я вовсе не хочу быть умнее всех. Я просто сказал то, что подумал. В самом деле: что такое мое извинение в данном случае? Не что иное, как мужское снисхождение к ее женской мелочности. Она не смогла это понять. Тем хуже для нее.

*4/II.*

Замечательно рассказывал Федорчук о китобойном промысле. Мы заслушались. Санников говорит, что он, м. б., еще передумает насчет лётной школы и пойдет в китобои.

*5/II.*

О, женщины! Сегодня в кино, уже собирались тушить свет, как вдруг вошла *она* в своей белой шапке и под руку



с мальчишкой. Билетерша показала им места, и они так и бежали по проходу за руку. Когда кончился сеанс, я их больше не видел и очень рад.

Прочь, прочь, слеза позорная!
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!

Прекрасный урок для идиотов, которые шляются по каткам и чуть не наживают воспаление легких.

Вырвать из сердца раз и навсегда!

*9/II.*

Федорчук познакомил нас со своей женой, меня и Санникова. У них довольно славная комнатка около раздевалки. Жена хочет устроиться у нас в школе уборщицей, но нет вакантного места. Федорчук говорит, чтобы она не устраивалась, т. к. они все равно уйдут. Ему обещают место в порту, там, он говорит, ему больше по характеру, чем в учебном заведении. Мы с Санниковым немножко у них посидели после занятий. Они нас угощали водкой и винегретом. Я выпил мало: я не люблю водку. Федорчук сначала обиделся, т. к., оказывается, она именинница, и он хотел, чтобы я пил за ее здоровье. Но она сказала: «Не обращай внимания, он подшофе». Я не знал такого выражения. Это, должно быть, фольклор. Потом Федорчук стал нас хвалить и говорить: «Эти умнейшие ребята, золотые друзья. Я еще, пожалуй, останусь здесь до каникул, потому что я полюбил ваш разговор. Одно плохо, что в бога не веруете. А впрочем, если вдуматься, то и это хорошо». Завязался разговор на эту тему. Федорчук говорит, что раньше он тоже не веровал, а стал верить после того, как повстречался в тайге с медведем, который чуть его не задрал. Я не думал, что так бывает. Я думал, бывает только так, что человек сперва верит в бога, а потом перестает. Непонятно также, как может медведь воздействовать с религиозной стороны. Санников говорит, что это вообще ерунда все. Но мне кажется, что если речь идет о мировоззрении, то нельзя так отмахиваться.

Санников хочет записаться в общество охотников, и ему купят на рождение охотничье ружье. Мне ни черта такого не купят. Меня держат под стеклянным колпаком.

*11/II.*

Нина Серг. продолжает дуться на меня, и наши взаимоотношения становятся все напряженнее. Сегодня вызвала, и, пока я решал, она смотрела на доску через плечо, чтобы показать, что от меня нельзя ждать толкового. И влепила мне двойку, а ребята считают, что я безусловно отвечал на тройку.

Ребята считают, что у меня к ней нет подхода. Они говорят, чтоб я нажал немножко на тригонометрию и отношения наладятся, потому что она вообще добрая. Но я не хочу, чтобы она думала, что я заискиваю. Нет так нет.

Федорчук говорит про учителей: «Это разве люди. Это великомученики, их надо на небо побрать живыми». Федорчук — мистик.

*Ночь с 14 на 15/II.*

Только что сообщило радио. Событие исторического значения: заключен договор между СССР и Китайской Народной Республикой.

Между прочим, мы будем снабжать их оборудованием для заводов, рельсами и т. п., чтобы они могли поднять свою разоренную страну.

Отметим кстати, что когда образовалось в свое время наше Советское государство, то нам не только никто не давал оборудование, но еще со всех сторон лезли интервенты. Наш народ всего добился сам. Нам было гораздо труднее, но именно мы проложили для человечества этот путь, в этом особенная красота и гордость. Хотя я лично еще ничего не сделал, но, напр., мой отец сделал много.

*17/II.*

Произошел тяжелый и дикий случай, похожий на сон. Он настолько неприятен, что у меня был припадок, по счастью тогда, когда все кончилось и я вернулся домой, так что обошлось без посторонних наблюдателей и сочувствующих. Я уже думал, что припадков больше не будет, но вот — увы!— третий день меня держат в постели и поят всякой дрянью.

Но вернемся к событию. Я хочу записать его подробно, т. к. я не мог сказать в милиции, за что я избил Федорчука, и у них впечатление, что я ни за что ни про что оскорбил хорошего человека. Федорчук тоже не сказал. Наверно, он побоялся, что его отдадут под суд за клевету. Ведь он знал отлично с самого начала, что это клевета. Я его презираю! На вопросы он отвечал: «Пусть он сам скажет»,— учитывая, что у меня язык не повернется сказать такое. В общем, им не удалось добиться истины. Для них я остался хулиганом, которого отпустили только из уважения к его отцу и к состоянию здоровья (о здоровье говорила мама, она особенно упирала на нервные припадки, м. б. поэтому и был припадок). Пусть же истина будет запечатлена в этой тетради, которая никем не может быть прочитана ранее моей смерти. Пусть нас с Федорчуком рассудят потомки. Постараюсь восстановить все детали инцидента.

Итак: 15 февраля я пришел ко второму уроку (на первом была физкультура, от которой я освобожден). Только вошел в раздевалку, как мне навстречу Федорчук в пальто. Я спрашиваю: «Куда вы?»— т. к. было еще рано, и я захотел немножко его проводить и поговорить о Китае, чем ждать в пустом классе. И пошел с ним. Он сказал, что идет договариваться насчет какого-то ремонта, но что это ему некстати, т. к. он лучше хотел бы быть в суде на утреннем заседании, а вчера он был на вечернем. Я спросил, а что там такое. Он ответил: «А то, что я первый раз вижу, как судят крупных жуликов». И объяснил, что идет процесс расхитителей и спекулянтов из торговой сети. Он сказал: «Кого обкрадывали, на ком наживались: на народе. Это же растление душ полное, ты как мыслишь?» Я согласился и сказал, что их, наверно, приговорят строго. Он сказал: «Я бы этих гнид уничтожил». Я возразил, что ведь можно перевоспитать и сделать полезными членами общества, и привел в пример «Педагогическую поэму» и «Флаги на башнях». На что Федорчук сказал: «При чем это? Там дети, а тут закоренелые негодяи». Я стал доказывать, что и закоренелых можно перевоспитать трудом, а он перебил и говорит: «Слушай, Сергей, а ведь это твоего батьки кадры». Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Хочу тебя предупредить дружески: в народе есть суждение, что у него у самого руки нечисты. Чересчур, говорят, хорошо живете». Я не могу выразить пером, что со мной случилось, когда я понял смысл этих слов. Помню, меня поразило, что он произнес их без злости, а только строго и как будто задумчиво. Я, если не ошибаюсь, не сразу остановился, я еще прошел рядом с ним несколько шагов, и потом, кажется, заплакал, и тогда уже кинулся на него. Он большой, но я ударил его так, что он качнулся. Не

знаю, сколько раз я успел ударить, пока он не схватил меня за руки. Схватил и стиснул, как железом, и говорит: «Ты что? Ты что?» И тут подходит милиционер и спрашивает: «В чем дело?» Федорчук говорит: «Его спросите». Милиционер обращается уже ко мне персонально. Я говорю: «Ни в чем. Составляйте протокол, если вам нужно». Федорчук говорит: «Об чем протокол. Это взаимная критика». Я не выдержал и крикнул: «Это критика?» И стал от него вырываться. Милиционер говорит: «Кончайте ваш базар. Зайдем в отделение». И говорит Федорчуку: «Пустите его», а сам берет меня за руку, как маленького. Я говорю: «Не беспокойтесь, я бежать не намерен», а кругом нас уже толпа. Милиционер велел им разойтись, и мы вошли в милицию. Мы, оказывается, были от нее в двух шагах.

М. б., я не все вспомнил и записал, но общие контуры таковы.

Дальнейшее не так важно. Ни я, ни Федорчук, как уже отмечено выше, не сказали, что было причиной драки. Федорчука вскоре отпустили, т. к. он предъявил служебное удостоверение, а меня задержали, пока не пришла мама. Дежурный читал мне нотации. А маме он сказал, как же она меня так воспитала. Они все добивались, и мама, и папа, и даже Марго, кто такой Федорчук и что произошло между нами. Только когда сделался припадок, они оставили меня в покое и больше не спрашивают, даже не намекают, как будто ничего не было.

Я еще раз оценил Катино благородство: она знает, кто такой Федорчук, я ей рассказывал, но, видя, что я не хочу им говорить, она тоже не сказала ни слова.

Но как я разочаровался в Федорчуке! При всех его заблуждениях он казался мне человеком благородным и волевым. А он просто обыватель, злопыхатель и клеветник. Мне тошно и кости болят при мысли, как я пойду в школу и увижу его. Наверно, из милиции звонили Ив. Евгр.

*18/II, утро.*

Пока не ликвидированы до конца пережитки капитализма в сознании, всегда могут найтись мерзавцы. И всегда из-за мерзавцев падает тень на честных людей. Когда в третьем классе у Санникова пропал задачник, то некоторые думали на Горбунова, а украл второгодник Лисухин. Маркс или, кажется, Энгельс говорит: «Иди



своей дорогой, не обращая внимания на то, что скажут люди». Пушкин говорит: «Ты сам свой высший суд». Если у человека чиста совесть перед родиной, то плевал он на федорчуков.

*18/II, вечер.*

Можем ли мы, однако, принять это безоговорочно? Пушкин и Маркс жили до Октябрьской революции. Для нас же, мне кажется, исключительно важно, что о нас скажут в народе, потому что мы служим народу и представляем с ним целое. Надо жить так, чтобы никто ничего не мог сказать плохого и чтобы каждому хотелось взять пример.

Но народ одно, а Федорчук другое. Федорчук — не народ.

*19/II.*

Папа сидел около кровати и рассказывал разное смешное, а я смотрел, сколько у него седых волос, и едва удержался, чтобы не заплакать при нем. Лучше бы он ушел из горторга. Но как я дам ему такой совет? Он потребует объяснений. Я не могу его оскорбить.

*20/II.*

Мы были с Катей вдвоем, и она сказала: «Ты не все говоришь. М. б., мне ты скажешь все?» Я ответил: «Екатерина! Есть вещи, в которые не надо вмешиваться женщинам. Я наказал негодяя. И больше ни слова». Она сказала: «Ну хорошо»— и сидела грустная, потом засмеялась и говорит: «Знаешь, как это называется, что ты был в милиции? Привод. У тебя уже есть один привод». И опять стала грустная. А мне все равно. Привод так привод.

*22/II.*

Приходили ребята из школы и рассказали, что Федорчук уволился из школы.

Санников очень жалеет.

*24/II.*

Первый раз был в школе после припадка. Поднимаюсь по лестнице — там стоит Ив. Евгр. Остановил меня и спрашивает: «Ну как, выздоровел?» Я говорю: «Да, спасибо». Он говорит: «Ну, иди. На Шипке все спокойно». Я вздрогнул от неожиданности и не придумал, что сказать. Но он отвернулся к другим ребятам. Что он знает? Только то, что могли сообщить из милиции и из дому, или Федорчук осмелился сказать ему *все?*

До чего по-дурацки устроена человеческая натура. Я шел в школу, и мне было легко, что ниоткуда на меня не выйдет Федорчук. А когда вошел в раздевалку и увидел ту дверь, где он жил и где нас угощали, мне стало грустно. Я подумал, не был ли он в то утро просто подшофе.

(После этого в дневнике долго нет записей. Они возобновляются через два с лишним месяца.)

*3/V.*

Имел серьезный разговор с Катей. В наше время позор не получать стипендию. Передовой человек обязан сочетать и спорт, и науку, и общественную деятельность. Я раскритиковал ее без малейшего снисхождения.

В частности, мы говорили об ее будущей дипломной работе. Ее интересует росянка, смущает только, что росянка не имеет практического значения, это, она говорит, чистая наука. Но с другой стороны, у нас такое хозяйство и такой размах, что все нужно, может понадобиться и росянка. Это во 1-х. Во 2-х, человек лучше всего делает то, к чему его влечет. В 3-х, Екатерина разгильдяйка, и если ее заставить делать не то, что ей хочется, то она будет отлынивать и сделает как попало. Учитывая все это, я рекомендовал ей посвятить дипломную работу росянке.

*6/V.*

На большой перемене играли во дворе в волейбол, а мы с Заком сидели на скамейке. Вдруг подходит Нина Серг. и садится с нами. Я сразу понял, что она хочет мириться, но мне не захотелось мириться. Она говорит: «Хорошая погода». Зак молчит. Я подождал и отвечаю, что да, хорошая. Он достала кошелек и говорит: «Вот было бы хорошо, ребята, если бы вы сходили в буфет и принесли мне пару пирожков». А меня вдруг бес толкнул в ребро, и я таким любезным тоном отвечаю: «Да, хорошо было бы», а сам смотрю на волейбол и ни с места. И Зак ни с места. Она посидела, встала и ушла. Зак мне говорит: «Как ты можешь так невежливо». Я отвечаю: «А ты где был? Она к нам обоим обращалась». Он говорит: «Я нарочно предоставил всю инициативу тебе. Она с тобой мирилась, а не со мной. Это хамство с твоей стороны». И тоже ушел. Действительно, вышло не очень-то красиво. Мелочная месть, недостойная мужчины. И что меня дернуло?



*8/V.*

Интересно: каким будет Цимлянское море? Безусловно, оно сейчас же войдет в контакт с луной, будут отливы и приливы. Но будет оно спокойным или бурным? Какого цвета будет вода, такая ли синяя, как в Черном море? Будут ли на нем свирепствовать штормы?

Вырастут ли морские водоросли, и если вырастут, то как скоро? Катя считает, что скоро.

*9/V.*

Кате повезло: ее руководитель сказал, что росянка имеет отношение к важнейшим проблемам биологии, и одобрил этот выбор. Катя кружилась по комнате и пела: «Я умная, умная, умная!» Я рад, что она стала серьезнее. Одно время я подозревал, что она влюбилась: подруги дразнили ее каким-то капитаном.

*12/V.*

Удивительно, сколько слов человечество тратит зря. Если подсчитать в человеко-часах во всемирном масштабе, получится потрясающая цифра: не часы, а человеко-годы, человеко-жизни и человеко-эпохи. С середины апреля каждый день за обедом говорят о даче. Она отремонтирована и приготовлена, но дело не в этом. Дело в том, что, кроме папы, который приезжает только на ночь и на воскресенье, никто не хочет там жить. Мама едет в Сочи, в августе к ней туда поедет папа, и вообще она говорит, что на даче скука. Катин курс после сессии уезжает на практику в лесхоз, а потом в колхоз на уборочную, так что Катя вернется только в конце августа. Марго признавалась мне, что она на даче устает еще больше, чем в городе, т. к. все время надо чистить грибы, и варить варенье, и доставать творог и сметану, она сбивается с ног.

Что касается меня, то я ненавижу дачу. Там все время говорят об еде, точно умирающие от голода. Мама и Марго гоняют шофера в город за покупками, и потом говорят между собой, что, наверно, шофер их обсчитал. А если мы с Катей возмущаемся, мама говорит: «Не вы зарабатываете эти деньги».

Или целую неделю крутят пластинку про сарафаны: у кого лучше сарафан, у соседки или у мамы. Марго божится, что мамин лучше. Мама ей не верит и говорит: «Надо было сделать глубокий клеш». Они говорят про этот клеш за завтраком, за обедом и за ужином.

Я заметил, что все сто́ящие парни увиливают от дачи и норовят устроиться в туристскую группу, или в пионерлагерь вожатыми, или на строительство колхозной ГЭС, а на даче, как правило, живут парни второго сорта или же такие, как я, которых почему-либо не принимают ни в вожатые, ни в туристы.

*15/V.*

Я попросил Нину Серг. вызвать меня еще раз, чтобы исправить двойку. Она сказала: «Ты этого не стоишь, Борташевич». Я, конечно, отошел: что же мне, умолять ее? По-человечески я ее понимаю. Это возмездие за хамство. Если ты осознал свою вину, надо принять и возмездие.

На экзамене я это исправлю, но противно, если будет двойка в четверти. В конце концов, вступая в комсомол, ты берешь на себя обязательства и должен их выполнять, иначе какая же тебе цена?

*18/V.*

Нина Серг. победила: у меня в четверти по тригонометрии двойка! Борьба была неравной, Сергей Борташевич!!!

> И умер бедный раб у ног
> Непобедимого владыки

*19/V.*

Итак, экзамены.

Завтра пишем сочинение. Санников бегает по школам и узнает через знакомых, какие темы спущены из министерства. В ноль часов класс соберется под репродуктором на площади Коммуны, и Санников проинформирует.



*28/V.*

Черта с два я поеду на дачу. Я мечтаю пожить дома в одиночестве. Придется выдержать бессмысленные разговоры, но уж без этого нельзя.

*2/VI.*

Катя ездила куда-то на болото и привезла росянку. Откровенно — я разочаровался. Я думал, она хоть чем-нибудь напоминает те тропические насекомоядные растения, о которых я читал. А это дрянной сорняк, такой крошечный, что без лупы трудно рассмотреть. Ему даже комара съесть не под силу, только самую маленькую мошку. Катя набрала в коробку 8 растений, выкопанных с землей. Все вместе это похоже на кучку трухи. Но Катя в восторге, она говорит, что найти их страшно трудно. Она излазила все болото.

*13/VI.*

Позавчера после футбола автобуса ждали тысячи, мы пошли пешком с ребятами. Сначала шли в сплошной толпе, а потом свернули в переулок и вышли на Печорский бульвар. И вдруг вижу, на скамейке сидит та девочка и читает книгу. Я ее сразу узнал, хотя она была в летнем платье. Но вот что странно — я не ощутил никакого волнения. Сердце не забилось, и дух не перехватило, и не потемнело в глазах, короче говоря, не произошло ни-че-го! Я посмотрел и прошел мимо.

Она тоже, должно быть, узнала. Меня запоминают по хромоте. Ну и прекрасно, сделайте одолжение. Я констатирую, что без шапочки, с волосами, она тоже ничего себе. Но это все, что я могу сказать.

И вот об этом написано столько романов, поэм и пьес?

Я хотел бы получить ответы на след. вопросы:

1) Это всегда проходит так скоро?
2) Если да, то зачем же оно приходит?
3) Почему оно приходит?
4) И что же оно такое?

*16/VI.*

Катя кормит росянку белком от крутого яйца. В институте у нее большой стол и микроскоп. Росянка живет

в ящиках на столе. Катя все время ищет по болотам, и у нее уже много росянок. Я предложил присмотреть в ее отсутствие. Она приняла предложение, но придется перенести ящики домой, т. к. в лабораторию посторонних не пускают.

*29/VI.*

Народная армия наступает. Ура!
Да здравствует свободная Корея!

*4/VII.*

Как хорошо без женщин. Тетя Поля не в счет: она не вмешивается в мою жизнь.

Папа ночует на даче. Большинство ребят разъехалось, но кое-кто еще в городе. Они приходят каждый день, и мы сидим где хотим, и не только в моей комнате. Вчера они привели Воробьева из 17-й школы, он дал нам сеанс одновременной игры на шести досках. Днем ходим купаться, а 7-го поедем с ночи на рыбную ловлю.

*5/VII.*

С росянками никакой мороки. Одного крутого яйца хватает на завтрак нам всем, мне и росянкам. Я раздаю им по крошечке, буквально с булавочную головку. Интересно: положишь крошку на листок, а немного погодя посмотришь — листок уже начал съеживаться. А через два дня там ничего нет, все всосалось, только если на белке пленка, то пленка остается.

Я подхожу к ним с лупой, как часовщик.

*6/VII.*

Идет сбор подписей под Стокгольмским воззванием. Все спрашивают друг у друга: «Вы уже подписались?» Происходит обычная история: не достигших 16 лет не допускают подписываться. Когда стоит вопрос о дисциплине, то нам напоминают, что мы уже взрослые, а когда о Стокгольмском воззвании, то мы пацаны. Санников возмущен, я же лично привык к такому положению вещей и отношусь философски.



*10/VII.*

Ребят становится все меньше, разъезжаются кто куда. Послезавтра уезжает Санников, досадно.

Кажется, я скоро останусь один.

*18/VII.*

Интересная штука — улицы. Сколько встречаешь разных людей! Наверно, сотни тысяч. Логически рассуждая, запомнить немыслимо. И тем не менее я различаю много знакомых лиц. Одного старика с портфелем, напр., я встречаю очень часто. Это не тот, который даже в морозы ходит с непокрытой головой и купается в проруби, того все знают. Этот, с портфелем, носит шляпу, у него большие седые брови и седая бородка. Еще одна женщина постоянно попадается мне в самых разных местах, я про нее знаю, как она одета зимой и как летом, а в дождь она надевает голубой плащ с капюшоном. И она меня знает. И так многие. Я уже столько раз их видел, что однажды нечаянно сказал старику с портфелем: «Здравствуйте». Иногда я начинаю про них придумывать, кто они, где работают, как живут и т. д. На одного человека можно насочинить сколько угодно биографий. И по какой бы улице я ни пошел, я почти обязательно встречаю моих знакомых незнакомцев, так что иногда даже смешно.

А иногда не смешно, а, наоборот, начинает казаться, что в конце концов я познакомлюсь с этими людьми и узнаю о них все и они, м. б., сыграют в моей жизни важную роль.

И в то же время многих, которые живут в Энске и ходят по этим самым улицам, никогда не встречаешь нигде, даже на стадионе. Ни разу, напр., я не встретил Ф. или его жену. Также ни разу не встретил того парня, который приходил в милицию с секретным делом и не знал, государственное оно или же нет. Я его с тех пор не видел. А в сущности, и он, как любой из сотен тысяч, может выйти из-за любого угла...

## *Глава десятая*
## ЗНАКОМСТВА

Они встретились в кино, у билетной кассы.

Саша нагнулся к окошечку и не обратил внимания, кто там подошел и стал сзади; а когда отвернулся от окошеч-

ка, то увидел Сережу. Они переглянулись быстро и заинтересованно, как тогда в милиции.

Саша прошел в фойе. Он обошел витрины с фотографиями, и следом за ним, на расстоянии, хромал от витрины к витрине Сережа. Сережа купил мороженое. Саша тоже купил. Сесть было некуда, все диваны и стулья заняты. Посетители в ожидании сеанса гуляли по фойе, держась правой стороны и образовав плотное движущееся кольцо. Саша и Сережа двигались в кольце, встречались и расходились.

Но в зале они очутились рядом, и тут уж одно из двух — либо знакомиться, либо показать, что мы не имеем отношения друг к другу, у тебя билет за три пятьдесят и у меня за три пятьдесят, вот и вся база для знакомства, мало ли с кем приходится сидеть в кино... Сережа покрутился на стуле и сказал:

— Мы, кажется, встречались.

— Было дело,— снисходительно подтвердил Саша. Они замолчали. Еще горел свет; кругом, рассаживаясь, шумела публика.

— Фу, жара,— сказал Сережа.

— Что?— спросил Саша, не расслышав.

— Я говорю: жарко очень.

— Лето, что сделаешь.

Свет погас, на экране замигали скучные улицы итальянского города, города похитителей велосипедов.

Свет зажегся и осветил суровые и расстроенные лица мальчиков.

Они поднялись, пряча друг от друга глаза, и вышли молча, плечом к плечу в толпе, выносившей их из зала.

После освещенных электричеством душных переходов предвечерняя улица показалась прохладной. Приветливо гудели, пролетая, автомобили. Небо было родное и нежное.

Охваченные единым чувством, они медленно пошли рядом, не разговаривая, остро ощущая, что чувство их едино, и дорожа этим скорбным и светлым, одновременно, чувством.

— А ведь правда,— сказал Сережа дрогнувшим голосом,— когда видишь ту жизнь, то правда же, только тогда как следует понимаешь, что такое наша жизнь, вы согласны?

— Угу,— ответил Саша.

— Когда у них будет как у нас,— сказал Сережа через квартал,— он, может быть, уже будет взрослым.— Сережа имел в виду мальчика, героя фильма.— Может быть, политическим деятелем будет, вот он вспомнит...

— Страшная вещь — быть без работы,— сказал Саша. Он понимал это, хотя ему не довелось ни лично испытать, ни видеть безработицу.

Они проходили мимо пивного ларька.

— Пиво пьешь?— спросил Саша.

Сережа за свою жизнь раза два пробовал пиво, оно ему не нравилось, и уж во всяком случае ему не приходилось пить на улице; но он ответил небрежно:

— Да, с удовольствием.

«Я ему вы, а он мне ты,— подумал он.— Вот он увидит, я тоже пью пиво, и мне нипочем».

Продавщица налила им две маленькие кружки — Сережа обрадовался, что не большие; они выпили и побрели дальше.

— Ты еще в школе или окончил?— спросил Сережа.

Саша ответил, и Сережа проникся уважением к нему.

— Здорово!— сказал он.— И сколько человек у вас, у тебя в бригаде?

Ему захотелось посмотреть, как складывают дома из блоков, захотелось повести Сашу к себе и сразиться с ним в шахматы. Это было настоящее знакомство — самостоятельный человек, бригадир.

От шахмат Саша отказался.

— С категорниками не сажусь,— сказал он.— Категорники меня бьют. Я ведь шахматами занимаюсь не специально.

Но выяснилось, что у Сережи есть приемник «Нева», и Саша согласился зайти.

— Тогда нам обратно,— взволновался Сережа.— Мы идем совсем в другую сторону.

Они повернули и пошли обратно.

— Я хочу задать один вопрос,— сказал Сережа.— Если нельзя, можешь не отвечать. Что же оказалось тогда в милиции — личное дело или не личное?

— Давай так,— сказал Саша, подумав.— Я отвечу в двух словах. Не личное. Без подробностей, ясно?

— Понимаю,— значительно ответил Сережа. И хотя он не понимал ровно ничего, но его фантазия мгновенно сработала десяток романтических историй, и ему страшно захотелось узнать хоть немного подробностей.

— Я,— сказал Саша,— не задаю тебе вопросов.

— Я тоже мог бы ответить только в двух словах,— сказал Сережа.— Не больше.

— Ну и все,— сказал Саша.

Они подошли к серому дому старой постройки и поднялись на третий этаж. Сережа отворил дверь своим ключом, и они вошли в большую переднюю с большим красивым окном, фрамуга которого была сложена из разноцветных стекол. В передней было уже не очень светло — день кончался — и все было сдвинуто с места: и зеркало со столиком, и стоячая вешалка, и стулья с резными высокими спинками,— а посредине в сумерках танцевал полотер. Долговязый и худой, он танцевал неустанно и однообразно, его длинные ноги ритмично сгибались в коленях. При входе мальчиков он не прекратил танца, только сказал неодобрительно: «Ходи стороной»— и, танцуя, ушел за зеркало.

— Сюда!— сказал Сережа и повел Сашу по коридору. Навстречу показалась женщина в переднике.

— Я пришел!— на ходу сказал ей Сережа.— Дайте нам чаю, пожалуйста!

Коридор был устлан ковровой дорожкой. В комнатах мебель стояла в чехлах; скатанные ковры лежали у стен, как серые трубы, и вместо них по натертому паркету тоже расстелена дорожка. Видно, здесь любили чистоту и берегли ее.

— А где приемник?— спросил Саша.

— В моей комнате,— быстро ответил Сережа, который боялся, что Саше станет скучно и он уйдет.— Пошли.

Саша не собирался уходить. Ему нравился этот живой парнишка с резким блеском в черных глазах. Он развитой, и с ним интересно. У него вторая категория по шахматам,— для Саши это значило почти то же, что звание гроссмейстера. И было еще в парнишке что-то притягательное — нежное и беззащитное, при всей его видимой независимости.

В его комнате был страшный беспорядок. Везде разбросаны книги, в шкафу они стоят вразвалку или свалены кипами. На полу валяются гантели. Посреди комнаты некрасивый кухонный стол, и на нем ящики с мелкой травкой — не разберешь, с какой. Приемник, роскошный приемник «Нева», о котором мечтал Саша, был еле виден за грудами книг.

— Я не позволяю убирать в моей комнате,— сказал Сережа, подводя Сашу к письменному столу.— Они всё путают и нарушают мой порядок. После них ничего не найдешь.



С этими словами он движением руки спихнул на пол высокую стопку книг и открыл доступ к приемнику.

— Мировая штука,— сказал Саша.

Он так и не купил себе приемника: мать уговаривала одеться как следует, и он поддался на уговоры, потому что надоело ходить плохо одетым; одной обуви купили три пары, и плащ, и пальто, и костюм, и шелковые рубашки, а на «Неву» денег не осталось.

Он сел и с наслаждением стал ловить волну за волной, ни на одной не останавливаясь, радуясь самому процессу охоты за звуками, которыми полон эфир. Обрывки симфоний, песен и разноязычных речей, вперемежку с грозовыми разрядами, забушевали в комнате. Сережа отступил, смеясь и зажимая ладонями уши. Саша и не заметил этого, оглушенный и увлеченный. Собственный радиоприемник нужно иметь именно для того, чтобы хозяйской рукой шарить в эфире и поднимать такой шум. «Придется купить хоть маленький,— думал Саша, любовно клоня ухо к источнику шума.— От репродуктора никакого удовольствия».

Сережа тронул его за плечо, он выключил приемник. В дверях, улыбаясь, стояла женщина в переднике.

— Тетя Поля зовет чай пить,— сказал Сережа.— Пошли в столовую.

— Да я сыт,— сказал Саша. Он стеснялся есть в гостях.

— А чаю и сытому выпить можно, чай не еда,— радушно сказала тетя Поля.

— Пошли, пошли!— теребил Сережа.

Долго отказываться тоже было неловко; подумают, что ломаешься. Саша встал нехотя... И вдруг новое впечатление, неожиданное и могучее, ударило его: прямо на него, смеясь, смотрели черные блестящие глаза, похожие на Сережины, но полные радости и счастья. На уровне Сашиного лица, над столом, небрежно приколотый кнопками к стене, висел портрет. Саша только что его увидел. Это было прекрасное лицо, юное, гордое и открытое,— должно быть, смуглое, должно быть, румяное,— смуглость и румяность угадывались даже на фотографии, лишенной красок. Пятнышки света лежали на щеках и на смеющихся губах,— лицо сияло. Все черты выражали силу: и горделиво выгнутая округлая, стройная шея, и длинные узенькие ноздри, и распахнутые брови, густые у переносья и тонкие у висков... Саша спросил:

— Это кто?

Он спросил нечаянно, он не думал спрашивать.

— Моя сестра Катя,— ответил Сережа.— Вон еще ее карточка. Она чемпион города по метанию диска.

Другая карточка была маленькая и висела пониже первой. На ней был снят во весь рост дискобол в момент броска. Лицо нельзя было рассмотреть; на сером поле выделялась тонкая фигура с длинными ногами и откинутой рукой. Фигура была темная, только на диске белело солнце. На дискоболе были трусики, майка и ленточка в волосах; и больше ничего; и так как это был не какой-то дискобол, а Сережина сестра Катя, смотревшая с верхней фотографии горячими глазами, то Саше стало стыдно разглядывать. Он отвернулся и стал слушать, что говорит Сережа.

— ...Причем любопытно,— говорил тот,— что вместо живых организмов они довольствуются крутым белком из куриного яйца, я их кормлю. Великолепно развиваются! Вот посмотри в лупу.— Саша посмотрел в лупу на паршивенькую травку, растущую в ящике, и увидел что-то красное и мохнатое.— Настоящие кровожадные хищники, с ними не шути. Но что самое любопытное, это некоторые свойства, которые связаны с проблемой клетки, ты можешь себе представить — Дарвин этого не знал.

— Чай стынет, профессор,— сказала тетя Поля.

— Да, пошли. И вот, как видишь,— сказал Сережа,— я и вожусь с ними, пока ее нет.

— Кого?— спросил Саша.

— Да Кати, это же ее росянки.

Так Катя не здесь! Неизвестно почему, Саша почувствовал неимоверное облегчение. Как будто большая опасность пронеслась мимо. Нет, ему совсем не надо было, чтобы из какой-нибудь комнаты этой незнакомой квартиры вышла Катя.

Но тут же он пожалел, что невнимательно слушал о травке, которая, оказывается, принадлежит Кате. Он не понял, что за травка и для чего нужна Кате.

А Сережа, решив, что росянки гостю неинтересны, завел разговор о Волго-Донском канале, потом перешел на батисферу и говорящих рыб. Он все читал, и до всего ему было дело. Саша разговаривал и пил чай с клубничным вареньем и в то же время вспоминал: «Ну да, в газете было, ну да, точно, первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». (Метанием диска Саша до сих пор не интересовался и сообщение это прочел когда-то мельком, между прочим, но сейчас вспомнил.) «Екатерина



Борташевич, вот она, значит, кто,— Катя, Сережина сестра...» И все показалось ему удивительным: и то, что он помнит эти мельком прочитанные газетные строчки, и то, что чемпионка Екатерина Борташевич — сестра мальчика, с которым он случайно познакомился, и то, что она живет в этих комнатах и сидит за этим столом...

Громкий властный звонок прервал его мысли.

— Папа!— воскликнул Сережа, срываясь со стула. Он было сделал шаг, но смутился своего порыва («что за детство!») и уселся снова, говоря:

— Тетя Поля пошла отворять.

Было слышно, как отворили дверь и мужской голос спросил: «Сергей дома?», а голос тети Поли ответил: «Дома, дома». И другой мужской голос что-то сказал, и мужчины засмеялись.

— Кирилл Матвеич, если не ошибаюсь,— сказал Сережа, вслушиваясь, но не двигаясь с места.

Плотный человек хорошего роста, с веселым лицом и седыми висками, широким шагом вошел в столовую. Он поцеловал Сережу, сказал Саше: «Сидите, сидите», бросил на буфет легкий плоский портфель, снял свой светло-серый пиджак и повесил его на спинку стула. Движения у него были уверенные, хозяйские. Лицо выражало доброту и важность.

— Поля,— сказал он,— быстренько — приготовьте Кириллу Матвеичу душ. А может, ванну тебе, Кирилл?— крикнул он.

— Полюшка,— стонущим голосом сказал Чуркин, входя и тоже стягивая пиджак,— что хотите, душ, ванну, грязному все едино. Все мои Нины разъехались, в квартире ремонт, пожалейте хоть вы.

— А пока она приготовит, давай чайку выпьем,— сказал Борташевич.

— Я лучше потом пивца холодного,— сказал Чуркин.— Будет пиво, Поля?.. А сейчас я бы побрился. Хочу быть красивым.

— Знакомьтесь,— сказал Сережа.— Это мой новый знакомый, бригадир Любимов.

— Ну-ну,— сказал Чуркин.— Здравствуйте. Я вас где-то видел. Видел, а? На постройке. А на какой?

Тетя Поля налила в чашку горячей воды и увела его бриться. Видимо, председатель горисполкома был в этой семье близким человеком.

— Вы на постройке работаете?— спросил Борташевич. На Сашу посмотрели рассеянные глаза с усталой

смешинкой. Саша с грустью подумал, что, не будь войны, его отец вот так же приходил бы после работы домой и садился на главном месте, и мать наливала бы ему чай. И было бы с кем поговорить дома, и не было бы в помине никакого Геннадия.

— Почему ты не на даче?— спросил Сережа.

— Задержался, совещание,— ответил отец.— Не захотелось ехать на ночь глядя... Ну, а помимо того, мне же все-таки интересно, как ты тут существуешь. Звоню днем — тебя нет.

— Мы, помнится, условились,— сказал Сережа,— что я не отчитываюсь в своих поступках, хотя бы в период июль — август.

— Да боже сохрани!— сказал Борташевич, смеясь глазами.— Разве я отчета требую. Просто интересуюсь по-отцовски, по праву, так сказать, родительского чувства.

— У меня все хорошо, я здоров,— сказал Сережа.— Как тебе нравятся корейские сообщения?

Они заговорили о войне в Корее. Собственно, говорил Сережа, а отец — Саша заметил — только поддерживал разговор и любовался сыном. За круглым столом было светло и уютно. «Хорошая, должно быть, семья,— думал Саша.— Прекрасная семья!» И ему было грустно и приятно смотреть на них.

— Непременно пойди на «Похитителей велосипедов»!— с жаром говорил отцу Сережа.— Мы сегодня были. Пойди непременно!

Саша допил чай и подумал: пора уходить. Сережа проводил его до угла и взял с него слово, что он придет завтра.

Вечер был жаркий. Из городского сада доносилась музыка. Саша шел, а перед ним то и дело всплывало женское лицо с блестящими черными глазами и светлым пятнышком на смеющихся губах. И хромой мальчик, которому до всего на свете есть дело, и его добрый седой отец, и чужая большая квартира со сдвинутой мебелью, с травкой в ящиках, и этот душный вечер, и фонари — все приобретало особенный, высший смысл, потому что на все светило это лицо. «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». Почему эти слова наполняли Сашу гордостью, что ему?.. Они сливались с музыкой, доносившейся из сада. Музыка играла все одно и то же: «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич»... Круглые матовые фонари горели жемчужным



светом. Звонил за углом трамвай. В темной впадине ворот смеялся кто-то — будто ворковал — тихо и сладко.

Геннадий шел от Цыцаркина. Фонари расплывались в большие мутные пятна. Мостовая качалась, как палуба: Геннадий выпил.

Он шел медленно, желая привести себя в порядок и собраться с мыслями. Скверная произошла история... Черт ее возьми, лучше бы не было этой истории...

Он сунул руку за борт пиджака, ощупал внутренний карман: вот они, деньги, всучил-таки ему деньги Цыцаркин...

С Цыцаркиным знакомство было устоявшееся, прочное. Цыцаркин обласкал Геннадия с первой встречи. «Что за юноша, ах, что за юноша!— сказал он.— Всю жизнь мечтал иметь такого сына!» Геннадий, только что рассорившийся с семьей и отлученный от дома, выслушал это не без удовольствия.

— Дорофея Николавна Куприянова — ваша маман?— спросил Цыцаркин.— Встречались когда-то... на заре туманной юности... Но — разошлись, как в море корабли... Захаживайте, милости прошу. Заграничными пластинками интересуетесь?..

У него было вольно, никто не навязывал Геннадию никаких правил и взглядов. Не хочешь работать — не работай, твое личное дело. Хочешь пить — пей. Выпивка всегда самая лучшая. Хочешь ухаживать за женщинами — ухаживай. Женщины у Цыцаркина бывали разряженные, смешливые, необидчивые. Там играли в преферанс по крупной, небрежно записывая сотенные ремизы. Играть Геннадий не решался, но смотреть — нравилось...

Как-то зимой Геннадий зашел и рассказал, что у них в квартире выиграли по займу десять тысяч. Цыцаркин отвел Геннадия в сторону и сказал, что купил бы выигравшую облигацию. Геннадий разинул было рот, вроде Саши, но Цыцаркин сказал внушительно: «Получишь комиссию; только антр-ну, и меня там не называть, я зайду инкогнито». Геннадий сообразил, что дело выгодное, и решил осчастливить Зину и ее вислоухого мальчишку. Мальчишка смотрит на него как на трутня. Так вот на же тебе!..

Было ясно, что Цыцаркин занимается какими-то делами, за которые не гладят по головке. За глаза Геннадий презрительно называл его: «тип», но... вина у «типа» были

хорошие, пластинки самые что ни на есть заграничные, а главное —«тип» относился к Геннадию с уважительным интересом, даже с любованием, даже хамить разрешал, пожалуйста. «Черт с ними, я не следователь. Кому надо его ловить, те пусть и ловят». Саша заявил в милицию о продаже облигации; Геннадий очень испугался, что в милиции записана его фамилия, и побежал к Цыцаркину. Тот отнесся к сообщению хладнокровно.

— Дурачок,— сказал он про Сашу.— И ты-то хорош. Я был в уверенности, что эти лишние пять тысяч тебе пойдут, что ж ты это так сплоховал?.. Ты, я вижу, тоже... идеалист.

— Я махинациями не занимаюсь,— свысока сказал Геннадий.— Что теперь делать будем?

— А ничего не будем делать. Подумаешь, мальчик заявил. Где факты? Где свидетели? Это же недоказуемо, как миф. Я той облигации в глаза не видал и у тебя не был сроду. Понадобится — полдюжины свидетелей приведу, что я в тот вечер был в кино. Гуляй, Геня, спокойно.

— А если найдут у вас облигацию?..— спросил Геннадий.

— Ей-богу,— сказал Цыцаркин,— ты меня принимаешь за ребенка.

Все-таки с месяц Геннадий нервничал, что вот-вот придет повестка — явиться в милицию. Потом стал нервничать, что повестку не несут: спросили бы, он бы заявил, что знать ничего не знает, и конец делу... Дальше страхи прошли, происшествие забылось.

А Цыцаркин стал с ним еще ласковей и, так сказать, родственней. Устроил его, как обещал, в автопарк на промтоварную базу и по временам осведомлялся с заботой:

— Денег не надо ли, Геня? Антр-ну, ведь дело молодое, того хочется, этого хочется... Говори прямо.

— Да нет, спасибо,— отвечал Геннадий.

Ему хотелось этого и того, но брать у Цыцаркина он боялся. Возьмешь, а там, чего доброго, угодишь в неприятности...

В описываемый вечер он провел у Цыцаркина часа два. Накануне, на работе, Цыцаркин заглянул к нему и сказал: «Заходи вечерком, приобрел пластинки Лещенко [1], нечто из ряда вон...» Кроме Геннадия, были всего два гостя. Одного Геннадий и раньше видел — тот служит

[1] Имеется в виду Лещенко П. К. (1898—1956).— *Ред.*



под начальством Цыцаркина на базе, на какой-то пустяковой должности. Его кличут Малюткой, потому что он маленький и узкоплечий, как восьмилетний мальчик; маленькое, без растительности, мертвенное лицо; вечно в грязной вышитой косоворотке, на голове старая, затасканная тюбетейка; кажется, под тюбетейкой тоже никакой растительности... Рука, которую он подал Геннадию, была неправдоподобно крошечная и холодная как лед. Голос слабый, писклявый...

— Изумрудов!— шумно выдохнул, знакомясь, второй мужчина, и от его движения по комнате прошла волна парикмахерских ароматов. Этот был щеголеватый, отлично выбритый, отлично откормленный, даже на взгляд весь мягкий, как тесто: мягко вываливался живот поверх кожаного пояса; мягко круглились под трикотажной рубашкой пухлые женские плечи; мягко шлепали одна о другую мокрые толстые губы; и глаза, очень большие и очень выпуклые, в частых, прямых, как у теленка, ресницах, казались двумя мягкими пузырями... Ему было жарко, он таял, как конфета, сидел раскисший, томный, а чуть двинется — по комнате разливалось густое одеколонное благоухание, и Малютка тонко чихал: ти! ти!

Геннадий выпил коньяку, послушал песни Лещенко — загрустил... Цыцаркин стал говорить, что как это, право, так распорядились, что единственный сын брошен на произвол судьбы, а чужая женщина — кому она нужна — оставлена в семье. И мягкий Изумрудов говорил что-то сочувственное, шлепая губами и редко, медленно помаргивая телячьими ресницами. Геннадий выпил еще рюмку и стал куражиться, заявляя, что плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся. Цыцаркин говорил: «Правильно!»— и гладил его по спине, как кошку. А Малютка ничего не говорил, но неотступно смотрел на Геннадия, все время Геннадий ловил этот тусклый, ничего не выражающий взгляд...

Пили, говорили... «Что, хорош у меня сынок?»— восхищенно спрашивал Цыцаркин.

— Хорош,— слабым голосом пискнул Малютка.

— Хорош!— томно улыбаясь, прошлепал губами Изумрудов.

— То-то!

...Как вышло, что он взял у Цыцаркина деньги? На что он их взял? Как будто на поездку на теплоходе? Или еще на что-нибудь?.. Боялся, боялся, а тут выпил и взял, да

еще при этих рожах... О, дурак, ведь он и расписку выдал Цыцаркину!..

При воспоминании о расписке хмель соскочил с Геннадия; голова перестала кружиться, фонари приняли нормальный вид и стали на свои места. «Вернуть, вернуть! И пусть отдает расписку, старый навозный жук!..» Он оглянулся, свернул на бульвар, прошел мимо парочек, шептавшихся под вязами, опустился на свободную скамью и, достав деньги, пересчитал их...

«Вернуть, конечно... Но, собственно, обязательно ли сейчас возвращать?— мелькнула мыслишка.— Будет случай — верну, безусловно, какой может быть разговор... Почему непременно сейчас? Цыцаркин вон каким орлом держится, разве он так держался бы, если бы с ним было... неблагополучно...»

Он встал и в раздумье зашагал дальше.

«...Безусловно, он держался бы иначе... Я трушу неизвестно чего...»

«...На теплоходе проехаться — это, в общем, мысль...»

«...А может, в Крым? Не в санаторий, а так... зажиточным туристом...»

«...Не дадут отпуск, недавно поступил... Ну, пусть дают без сохранения содержания...»

«...И я вот что сделаю — я матери куплю хороший подарок...»

Он увидел улыбку матери и услышал ее голос. И обнаружил, что стоит на Разъезжей, неподалеку от родного дома. Вон куда забрел — машинально, по старой привычке...

С Нового года он не был тут, предпочитал заходить к матери в горисполком. Повидаешься, поговоришь и уйдешь. Меньше укоров, меньше неприятных слов, не испытываешь неловких встреч с Ларисой.

Как ни убежден человек в праве своего сердца любить и не любить, а есть неловкость в этих встречах.

«Да нет, Лариса ничего,— подумалось сейчас, в минуту сомнения и робости.— Славная, преданная... Самые близкие люди ссорятся... потом мирятся...»

Он войдет, они все за ужином. Он спросит: «Ну, как вы тут?» Они станут его ласкать, угощать. Мать от радости будет бегать, как девочка.

Засидятся, он соберется уходить, они погрустнеют, и мать скажет: «Да ночуй, Геня. Куда так поздно? Трамвая уже нет». Пожалуй, он останется, поживет с ними... под материнским крылом...



Он увидел дом издали. Окошки освещены, все дома, никто не спит — у нас всегда ложились поздно.

Как в прошлый свой приезд, он подошел и заглянул в окно. Никого. Значит, ужинают на веранде. Он толкнул калитку и вошел в темный двор. На веранде света нет. Невозможно знакомо щелкнула щеколда калитки. Темнота пахла цветами табака.

Ни голосов, ни шагов. Между белеющими впотьмах табачными звездами он прошел дорожкой к задней двери. Она была не заперта. Но только он ступил на веранду, как голос тетки Евфалии закричал из комнат:

— Кто там?

— Я, я,— сказал, входя, Геннадий.

Тетка Евфалия подметала в столовой.

— О-о, где ж ты раньше был!— горестно сказала она, не дав ему поздороваться.— Только что уехала.

— Мать уехала?— переспросил он.

— Я же тебе говорю: только-только уехала.

— Надолго?

Евфалия бросила веник, распрямилась и подбоченилась.

— На курсы Цека Ве-Ка-Пе-бе, в Москву,— ответила она степенно.— А сколь там придется задержаться, дело покажет. Здравствуй, Геня.

Она поцеловалась с ним.

— Ох, какой стал мужчина!.. Давно я тебя не видала. Не бываешь, отвык... Покушать дать? А девочки провожают... Я тебе яишенку сделаю, со шпигом или без?

— Когда уходит поезд?— спросил Геннадий.

— Говорили что-то — в ноль часов сколько-то минут. Да не успеешь! Они машиной поехали...

Но он уже сбегал с крыльца.

Он не мог бы ответить — почему, но он должен был увидеть мать перед ее отъездом!

Он шел под крыло, а крыло ускользало...

Он мчался со всех ног. На Октябрьской посчастливилось поймать такси. Поезд уходил в ноль сорок. Геннадий выбежал на перрон за шесть минут до отхода.

И почти сразу увидел мать. Она стояла у вагона с букетом цветов и счастливо улыбалась ему: она его тоже увидела сразу.

— Вот он!— с торжеством воскликнула она, свободной рукой обвила его шею, притянула и поцеловала.— Я говорила — он придет! Я тебя все время жду.

Он поцеловал ее горячо, по-настоящему тронутый. Она была приподнятая, праздничная, благодарная ему за то, что своим приходом, своим поцелуем он избавил ее от огорчения, от грустных мыслей... «Знаете что?— говорило ее воинствующе-энергичное лицо,— давайте-ка нынче без неприятностей, я вот в Москву еду и рада, мне, видите, какие цветы принесли,— не хочу на сегодняшний день неприятностей, и все!»

— Мальчик, родной, ненаглядный мой,— быстро прошептала она ему в ухо, целуя.

— Молодец, Геня, что приехал проводить,— стальным голоском сказала Юлька.— Как твои дела? Все в порядке? Ну, хорошо...

Юлька, Лариса, Андрей, еще какие-то люди — должно быть, сослуживцы матери — стояли рядом. Геннадий поздоровался. «Мой сын!»— радостно говорила мать, представляя его незнакомым... Рука Ларисы была отчужденная, боязливая. Он слегка сжал ее пальцы; они неприязненно отдернулись...

Посадка кончилась, отъезжающие входили в вагоны, какой-то гражданин с чемоданом выскочил как ошпаренный из здания вокзала и мчался вдоль поезда. Мать взяла Геннадия за руку и крепко сжала.

— Нагнись,— сказала она.— Геничка, я устала, что ты на отшибе. В одном городе и врозь, зачем, с какой стати? Лариса, возможно, выйдет замуж. Нагнись. Он хороший человек...

— Внимание!— сказало радио и отдало предотъездные распоряжения.

— А ты будешь с нами. И все войдет в норму,— властно сказала мать, быстро простилась с провожающими и вошла в вагон.

В освещенные, с полуопущенными рамами окна было видно, как она прошла по вагонному коридору, заглянула в купе и положила букет на столик. Потом подошла к окну, поднялась на цыпочки, и поверх рамы взглянули ее счастливые глаза.

— Вот как я вас вижу хорошо,— сказала она.

— Ты пиши,— сказала Юлька.— А то у тебя привычка: уедешь, и ничего даже не известно, как ты и что.

Свистнул паровоз, поезд тронулся.

— Папе передавайте привет,— сказала мать.

Провожающие пошли рядом с вагоном. Мать махала рукой, поезд пошел быстрей, рука исчезла.



— Все! Проводили!— сказал Андрей и взял Юльку под руку.

А Лариса взяла под руку незнакомого человека, некрасивого, с морщинами на лбу и с озабоченным выражением лица. «Уж не за этого ли собирается?— подумал Геннадий.— Убила бобра...»

— Геня!— окликнула Юлька.

Ей стало его жалко, что он один, когда они все вместе. Он нехотя приблизился к ней.

— Пойдем с нами,— сказала она.— Расскажи, как ты поживаешь.

— Да ничего,— пробормотал он,— а ты как?

— У меня экзамены с первого,— сказала Юлька.— Я подала в учительский. Не знаю, как будет. В этом году колоссальный конкурс.

Геннадия не волновали ее заботы. Возбуждение его улеглось, на смену пришла усталость, захотелось спать. Он смотрел на Ларису, как независимо она идет впереди об руку с незнакомым ему человеком, и думал: «А как страдала, когда я разлюбил. Говорила — жить не хочется».

— Я на трамвай,— сказал он.— Пока.

Они стояли на привокзальной площади.

— Ты приходи, Геня,— сказала Юлька.

— А то ты без меня скучаешь,— поддел он.

Она прямо посмотрела ему в глаза.

— Нет, не скучаю,— сказала она.— Но мама и папа скучают. И ты с этим обязан считаться.

Трамвай только что отошел, на остановке у фонаря никого не было. Перейдя площадь, Юлька оглянулась. В ней теснились неясные, расслабляющие чувства; она старалась победить их доводами разума. И уж вовсе неразумной была боль, уколовшая ее, когда, оглянувшись, Юлька увидела на ночной площади, под фонарем, высокую фигуру брата.

## *Глава одиннадцатая*

## ПОЖАР

Хоронили полковника милиции.

Павел Петрович не любил похорон и остановился у края тротуара только потому, что погребальная процессия преградила ему дорогу. Потом он догадался, что хо-

ронят того человека, о смерти которого ему рассказывал его сосед Войнаровский. Павел Петрович поискал Войнаровского среди людей, шедших за гробом; но его там не было.

Гроб стоял на грузовике, убранном красными полотнищами с черной каймой, и весь был закрыт венками. Грузовик двигался очень медленно. Впереди шли милиционеры с медными трубами. Они играли траурный марш Шопена. Сзади шли милиционеры без труб, правильными рядами, в ногу, хоть и медленно. Ноги в сапогах поднимались враз и глухо опускались в такт маршу.

За милиционерами, отступя, шла небольшая горсточка штатских, а в хвосте тащились легковые машины.

Трамваи остановились, из них смотрели люди.

Павел Петрович постоял на краю тротуара, пока длинная процессия с музыкой и высоко поднятым гробом в цветах не проплыла мимо; тогда он перешел улицу и пошел домой.

Он жил неподалеку, в новом доме, в одной квартире с Войнаровским.

У них было по комнате в этой двухкомнатной квартире, а передняя и кухня общие. Павел Петрович получил ордер почти одновременно с Войнаровским. Они познакомились и сдружились, насколько возможна дружба между людьми, которые мало бывают дома.

Войнаровский был идеальным соседом. Он был холостяк, как и Павел Петрович, но заботливо относился к быту, и все маленькие удобства, которые скрашивают холостяцкое существование, были введены по его инициативе. Он приобрел штопор, консервный нож, электрический чайник и электрический утюг и предложил Павлу Петровичу пользоваться этими важными предметами. Он научил Павла Петровича гладить и внушил ему, что при любых обстоятельствах уважающий себя мужчина обязан выходить из дому со складкой на брюках; и они по очереди гладили брюки на кухонном столе, подстелив одеяло, которое купил для этой цели Павел Петрович. Время от времени в их квартире появлялась дворничиха; она мыла пол и вытирала пыль. Она же стирала им белье. Оба были чистоплотны и брезгливы, как старые девы.

Павел Петрович чувствовал к Войнаровскому приязнь и интерес не только потому, что тот помог ему благоустроить быт. Войнаровский был человек занятный. Хотя Павел Петрович не наблюдал Войнаровского в его служебной деятельности, но понимал, что эта деятельность



требует смелости, решительности и подвижности ума. У Войнаровского были порывы: так, например, под Новый год, когда они только что перебрались в эту квартиру и у них даже мебели еще не было, Войнаровский вдруг объявил, что без елки нельзя, как же без елки, бросился на ночь глядя искать по городу и принес большое некрасивое дерево. Оно стояло в его комнате, он повесил какие-то шарики и говорил: «А все ж таки приятно». А потом дворничиха уволокла дерево, засыпав лестницу хвоей.

Кроме того, у Войнаровского была биография, которую нельзя не уважать. Во время войны он по поручению партии работал в тылу врага, руководил партизанским отрядом. Павел Петрович, человек книжный и умозрительный (он самокритично считал себя таким), слушал вдохновенно, когда Войнаровский с беззаботной легкостью рассказывал ему эпизоды своей военной жизни.

Павел Петрович вошел в свою комнату и положил на стол тетради, которые принес с собой. Не у всех его учеников в вечерней школе с русским языком обстояло блестяще, и он занимался с ними на каникулах.

Затем Павел Петрович взял мохнатое полотенце, отправился в кухню и смыл с себя пыль и пот летнего городского дня. Для этой процедуры Войнаровский приспособил резиновый душевой аппарат, похожий по конструкции на клистирный.

Надев чистую рубашку и расчесав мокрые волосы детским гребешочком, Павел Петрович, помолодевший и похорошевший, уселся за свой стол и открыл том Ушинского. Он готовил кандидатскую диссертацию о вечерних школах.

Его жизнь была строгой и целеустремленной. Когда-то, студентом, он был жестоко влюблен; девушка предпочла другого, футболиста с могучими ногами. Она вышла замуж за футболиста, хотя он только и умел, что гонять мяч по полю.

Когда-то Павел Петрович писал стихи и даже напечатал несколько. По молодости ему казалось, что у него талант: удивительно легко приходили рифмы... Став старше, понял, что нового слова в поэзии сказать не может. Тогда он запретил себе рифмовать: он слишком любил поэзию, чтобы оскорблять ее версификаторством.

(Впрочем, он поощрял стихотворные занятия своих учеников, считая, что это способствует их эстетическому развитию, и сам руководил молодежным литературным кружком.)

Серьезно относясь к жизни и к себе, он соглашался только на полноценные вещи, что бы то ни было — работа или чувства. После той юношеской любовной неудачи его ни разу не посетила любовь всепоглощающая; а всякая другая казалась ему, воспитанному на высоких литературных образцах, не стоящей того, чтобы ей отдаваться.

У Куприяновых он бывал потому, что ни в одном из знакомых семейств его не встречали так душевно и не были к нему так внимательны; а человек бессемейный ценит эти вещи. Там его окружали симпатичные лица. Там Павел Петрович, освоясь, говорил на любимые темы — об искусстве, о воспитании, и его внимательно слушали. С Ларисой Павел Петрович ощущал себя как со своими учениками: очень взрослым. Ее суждения о поэзии были ребяческие, школьные. Ее влюбленности он не замечал. Он проводил в этой семье час-полтора, пил чай и уходил к своей диссертации. И в этот вечер он занимался ею.

Он читал, думал и делал выписки, а тем временем день догорал, по стене кирпичного дома, что напротив, все выше поднималась вечерняя тень, огненный кирпич становился серым, ярус за ярусом потухали окна, воспламененные закатным солнцем, и наконец оно ушло за ту крышу, под которой сидел Павел Петрович. Читать стало темно. Не отрывая глаз от книги, он протянул руку и зажег настольную лампу под зеленым абажуром.

Хлопнула входная дверь — это Войнаровский, сосед. «Больше не придется работать»,— подумал Павел Петрович. Когда Войнаровский бывал вечером дома, они чаевничали вместе.

И действительно, Войнаровский вскоре постучался и вошел, говоря:

— Кушать подано.

В одной руке у него был огурец, и он с хрустом грыз его белыми зубами. Лицо у него молодое, голубоглазое, ясное, с девичьим румянцем.

— Идем, идем... пастырь. Есть хочется зверски...

— Почему пастырь?— спросил Павел Петрович, прибирая свои бумаги.

— А чем не пастырь? Ну, сеятель, если вам больше нравится. Сеете разумное, доброе... Чистенький: боретесь с пережитками высокими словами высокой литературы; а мы засуча рукава это дерьмо вычерпываем, пережитки... в их вещественных проявлениях. Как у Маяковского? «Я, ассенизатор...»

— «И водовоз».



— Вот-вот. Именно. Это про меня.

Они перешли в кухню.

— Это по какому же поводу?— спросил Павел Петрович, увидев великолепие стола.

На хирургически чистой клеенке было наставлено множество яств: копченый сиг, холодное мясо, холодные цыплята, кильки, огурцы, клубника. Все было аккуратно разложено по тарелкам, хлеб нарезан ломтиками. В центре стояла бутылка водки.

— По одной для начала,— сказал Войнаровский, наполняя рюмки.— Сига особенно рекомендую, упоительная рыбка.

— Да что такое?— допытывался Павел Петрович.— Вы именинник?

— Поводов много, не знаю, с какого начать. Повышение по службе получил — раз. В звании повышение выходит — два.

— Значит, будете майором?

— Значит, майором.

— Большое звание для вашего возраста,— заметил Павел Петрович, который только к концу войны, после безупречной политотдельской службы, дослужился до лейтенанта.

— Да должность такая, что капитану занимать неудобно, вот и представили. Назначен на место, которое покойный полковник занимал, видите, какой поворот.

— Не вздумайте уверять меня,— сказал Павел Петрович,— что вам это не нравится. Вам все это очень нравится — и звание, и место. За дальнейшие ваши успехи.

Они чокнулись.

— Приглашаю вас на новоселье,— сказал Войнаровский.

Павел Петрович глотнул и даже забыл закусить.

— Как на новоселье?

— Переезжать придется,— сказал Войнаровский.— По должности положена и квартира. Здесь мне теперь жить нельзя.

— И скоро переезжаете?

— Завтра утром приедут за вещами. Секретарь сказала, в восемь утра,— у меня теперь свой секретарь.

Он оглядел маленькую кухню, остановил взгляд на душевом агрегате и на расписном украинском кувшинчике — глечике, стоящем на полке.

— Душ я вам оставлю. А хотите глечик? На память. Учтите — он с Сорочинской ярмарки. Я к вам привык, вы знаете?

— Неожиданная новость,— сказал Павел Петрович.

Он имел в виду не то, что Войнаровский к нему привык, и не то, что глечик с Сорочинской ярмарки, а то, что им приходится разлучаться, когда они так прекрасно устроились вдвоем и живут душа в душу.

И он подумал, что у него вряд ли будет другой такой сосед, как Войнаровский, и как много значит для холостяка иметь по соседству, в квартире, подходящего человека.

— Я и решил,— сказал Войнаровский,— что нам с вами надо на прощанье выпить. Вы не обижайтесь, я дам вам дружеский совет: вам следует жениться, Павел Петрович.

— А вам?— спросил Павел Петрович.

— Мне тоже,— серьезно ответил Войнаровский.— Но у меня неудачно складываются обстоятельства...— Он потер рукой лоб.— А у вас, я слышал, обстоятельства складываются удачно.

— Какие, с чего вы взяли?

— Вас видели в театре с женщиной. Женщина хорошая. Муж — дрянь, а она хорошая женщина.

Павел Петрович начал краснеть.

— Это совершенно не то... Совершенно не те отношения.

— Да? А вообще вы думали о женитьбе?

— Думал.

— И к какому пришли заключению?

— Я пришел к заключению, что жениться надо в том случае, если в человеке ощущаешь необходимость.

— Золотые слова,— сказал Войнаровский задумчиво.

— Если без какого-то человека не мыслишь себе существования. Тогда — да. Если же вы можете существовать без человека, и все-таки женитесь, то это обман, самообман, не стоит говорить.

— Ну, не стоит, так и не будем,— сказал Войнаровский.— Но жаль: я бы хотел вас выдать замуж. Вы засиделись в девушках.

— А вы?

— Я моложе вас. И у меня — особь статья, я уже сказал... Что же мы не пьем? Помянем моего полковника. Очень хороший был человек, хотя и бездарный в нашем деле.



— Почему бездарный?— спросил Павел Петрович, закусывая сигом.

— А почему люди бывают бездарные? Не на своем месте находился.

— Как же он держался?

— На помощниках, как все такие начальники держатся... Он по натуре сеятель был, как вы. Тоже, между прочим, лекции читал, у нас на курсах, сержантам, очень любил... И детей любил до чрезвычайности.

— А вы любите детей?

— Кто ж их не любит. Только я иначе, чем он. Без — как бы сказать — без слюнотечения. Я их уважаю.

— Конечно. И я уважаю.

— Опять-таки не так. Я за ними признаю ответственность. Понимаете, нормальный разумный мальчишка не должен чувствовать себя растением, которое поливают, укрывают рогожами и так далее. Вы и большинство педагогов стоите над ними как садовники. А он человек и должен чувствовать себя человеком. Он должен разговаривать с вами как мужчина с мужчиной.

— И девочки тоже. Девочку особенно полезно научить, чтобы она разговаривала с мужчиной как мужчина. Вообще говоря, это легко. Ребята терпеть не могут, когда с ними обращаются как с детьми.

— Ну, это как когда. Они народ хитрый. Сплошь и рядом играют на своем возрасте, это я вам говорю из личной практики.

— У вас очень однобокая практика.

— Какая есть, Павел Петрович... Да, так вот к покойному полковнику они в таких случаях и обращались. Прорвется к нему, бывало, шкет — они ведь к кому угодно прорвутся,— скажет, детским голосишком: «Дяденька!»— у полковника сразу сердце тает: «Что тебе, детка?» А за деткой уже черт знает сколько приводов числится... Вы не обратили внимания — за гробом штатские шли. Такие приличные молодые граждане. Это вот они самые, которых он вернул на путь гражданства. Пришли воздать последний долг.

— А вы говорите — он был бездарен.

— Я вам сказал, что он был хороший человек и сеятель, а в нашем деле этого мало. Что детишки!.. Эх, Павел Петрович, вы не представляете, с каким навозом иной раз приходится дело иметь. Уж как я себя от чувствительности отучаю... и то шарахнулся, раскрывши одно... обстоятельство. Кстати, полковник, вполне вероятно, из-за этого

обстоятельства и погиб. Разволновался, сосудики и не выдержали. Ассенизаторам волноваться нельзя... А давайте выпьем за ассенизаторов!

На глазах у него показались слезы. Павел Петрович слегка удивился: он не замечал за Войнаровским сентиментальности.

— Когда-нибудь,— сказал Войнаровский, держа рюмку в руке,— нам скажут: ваши услуги больше не требуются; потрудитесь переквалифицироваться. Я стану врачом-психиатром... А может, и психиатры будут не нужны? Тогда я стану учителем литературы... или даже музыки. Садовником! Там посмотрим... Выпьем за то, чтобы это было поскорей!

И они выпили за то, чтобы это было поскорей.

— А пока что,— сказал Войнаровский,— будем делать наше дело. Когда меня назначили по этому ведомству, я, надо сказать, смалодушничал: отказывался, умолял, даже поплакал ночью — вот, мол, вся цена, какую я себе заработал...

— А теперь вам нравится.

Войнаровский ответил не тотчас. Он внимательно потрошил кильку, обдумывая ответ.

— Сосудики у меня, во всяком случае, не лопнут,— сказал он.— А насчет «нравится», так что ж,— человеку должна нравиться его работа, иначе это не жизнь... да и не работа. Полковник нашу работу не любил — и работал худо, и жизнь была без сладости.

Он выпотрошил кильку, отрезал у нее голову и хвост и отодвинул их на край тарелки.

— Пришлось мне недавно беседовать еще с одним пастырем,— сказал он,— с пастырем совсем по другой части, с батюшкой... священником православной церкви. Передовой такой батюшка, на конференцию сторонников мира ездил, Энгельса читал, очень осуждает позицию Ватикана... Так он красиво выразился: «Я, говорит, сопровождаю уходящую из мира идею, в этом моя общественная функция...» Да. А я сопровождаю уходящий порок. Только он сопровождает с крестом, а я с метлой и шлангом. Ну и нравится! Ну и что? Ведь интересно! Вот, к примеру: один рабочий — ваш ученик, кстати, я у вас на столе тетрадку видел с его фамилией — выиграл он, значит, по займу. Некий Икс купил у него эту облигацию по черной таксе, за полуторную цену,— прием не то чтобы распространенный, но достаточно нам известный. Не оригинальный. Вы, конечно, ничего не понимаете.



— Ничего не понимаю.

— Вам и положено не понимать. Зачем вам понимать такую гадость. А дело примитивное. Наворовал у государства, а тратить боится. Подозрения боится. Люди-то спросят: откуда вдруг такие средства? С чего?.. Он ведь не академик, не герой, а всего-навсего заведующий базой... Вот он и предъявит облигацию: дескать, выиграл десять тысяч. Звон поднимет на весь город! И под видом десяти реализует все пятьдесят, а то и больше, из того, что наворовал. Считать-то его расходы кто будет? Можно и сто тысяч под видом десяти реализовать умеючи... Ваш ученик заявил в органы.

Павел Петрович слушал, мучительно наморщив лоб.

— Наши сотрудники видели этого мальчугана, заходили к нему домой,— он в этой истории не запятнан, честь и хвала садовникам... Нашли мы его по описанию этого Икса. Тянули нитку и нашли... Полковник, горячая душа, хотел его взять сразу, но я не дал. Отговорил. Смысла не было: облигацию Икс припрятал, сидит тихо, как клоп в щели, да и облигация не улика, доказать тяжело... Шуму наделаешь, а доказательств настоящих нет — и ты с носом, а казнокрад гуляет на воле... И чуяло мое сердце, вот чуяло и чуяло, что нитке не конец! Нет, думаю, кроме Икса должен тут быть и Игрек. Непременно должен быть, не могло обойтись без Игрека! Стал тянуть дальше, на свой страх и риск — полковник против был... Тянул, тянул...

— И что же?— спросил Павел Петрович.

— ...и шарахнулся.

— Нашли Игрека?

— Потому и шарахнулся, что нашел.

С загоревшимися глазами Войнаровский поднял рюмку.

— Постойте!— сказал Павел Петрович.— Чем же кончилось?

— Еще не кончилось. Но будет конец. Личное счастье Гната Войнаровского горит как солома, но законность восторжествует. Да будет так.

— Горит личное счастье?— переспросил Павел Петрович.— Почему?

— Да будет так!— повторил Войнаровский, и они выпили.

— А откуда вы знаете,— спохватился Павел Петрович,— что я встретил похороны? Я вас там не видел.

— Я был.

— А я вас не видел.

— Я в форме был, вы не узнали.

В самом деле, когда Войнаровский надевал форму, Павел Петрович с трудом узнавал его. Все его движения менялись, менялась походка и даже выражение лица.

— Вы тоже для нашего дела никуда не годитесь,— сказал Войнаровский.— Я бы вас и в секретари не взял... За ваше здоровье!

Павел Петрович выпил за свое здоровье, и ему показалось, что Войнаровский гордится перед ним и кокетничает, и захотелось сбить с него спесь и поставить на свое место.

— Вы преувеличиваете ваше значение,— сказал он, помрачнев,— а оно ничтожно, уверяю вас. Послушать вас — в вашем ведомстве решаются все вопросы гражданской морали. Глупости. Не вы устанавливаете законы. Не вы устанавливаете нравственные критерии. Подумаешь, десяток парней, идущих за гробом полковника! А десятки миллионов воспитываются помимо вас, без вашего участия.

— Да разве ж я...— начал Войнаровский.

— Их воспитывают садовники!— повысил голос Павел Петрович и даже встал со стула.— Сеятели, да! Великие и малые сеятели и садовники!.. Вы топчетесь на маленьком поле, маленьком, паршивом сорняковом поле. И все. Все, Войнаровский! Так что... Посмотрите, какое странное небо.

Увлекшись своим монологом, он не сразу заметил, как темное кухонное окошко побледнело, порозовело и стало наливаться малиновым светом. Он, собственно, и заметил, и смотрел на окошко, но не придал значения этим переменам, и вдруг они дошли до его сознания:

— Пожар!

Войнаровский обернулся, и в это время в его комнате зазвонил телефон. Войнаровский вскочил и побежал на звонок. Павел Петрович подошел к окошку. Малиновый свет густел, дыма не было видно — горело далеко,— и было тихо, только снизу, из темного двора, доносились встревоженные голоса людей. Войнаровский вбежал, на бегу натягивая плащ.

— Павел Петрович, выпивайте, закусывайте, я поехал,— сказал он, задыхаясь от возбуждения.— У меня вон какие дела, база горит, ловчат, сволочи. Спокойной ночи!

С этими словами он выскочил из квартиры. Павел Петрович не стал выпивать и закусывать. Он надел пиджак и пошел посмотреть на пожар. После войны он не видел пожаров.



Он не знал, что за база и где она находится. Дворничиха, дежурившая у ворот, объяснила, что это на берегу, против городской больницы.

На улицах кучками стояли люди и смотрели на небо. Многие шли в ту же сторону, куда и Павел Петрович.

Пронеслась длинная пожарная машина. На красном небе заклубились, наваливаясь одна на другую, черные дымовые тучи. Потом они стали опадать, и красный свет стал опадать — пожар кончался. И так как Павел Петрович не сел на трамвай, а идти было далеко, то он прибыл на место происшествия, так сказать, к шапочному разбору.

По переулку, ведшему к реке, трудно было пройти, столько было людей. Здесь горько пахло дымом и щипало глаза. Люди говорили, что выгорела только середина здания и товары, а самое здание цело — старинное, толстостенное каменное здание. Много говорилось о том, какая тревога была в больнице, когда напротив вспыхнул пожар, но больше всего, как всегда в таких случаях, толковали о причинах пожара и высказывали разные предположения на этот счет.

У середины переулка люди стояли тесной толпой: дальше милиция никого не пускала. Павел Петрович постоял в толпе, но ничего не увидел, кроме больших темных деревьев больничного сада с правой стороны. По ту сторону милицейской цепи был Войнаровский, он что-то делал там непонятное Павлу Петровичу и большинству людей... С той стороны послышалась хриплая сирена, толпа, сжавшись, раздалась надвое, и по узкому проходу выбралась, беспокойно сигналя, машина «скорой помощи». Опять послышалась сирена, уже с другой стороны, «победа» с брезентовым верхом проплыла к месту пожара, милиция ее пропустила, и чей-то голос сказал, что приехал Борташевич.

Павлу Петровичу стало скучно стоять в толпе и ничего не видеть. Он подумал, что лучше бы он поработал у себя за столом, чем ходить по пожарам. Он еще даже не заглянул в тетради, которые днем принес домой... Он представил себе светлые классы, где протекала его деятельность, лица своих учеников и учениц, их глаза, с доверием и ожиданием устремленные на него,— и от души пожалел Войнаровского. После того как он прошелся, ему больше не казалось, что Войнаровский перед ним гордится... Он

выбрался из толпы и пошел прочь от переулка, пахнущего гарью и смрадом. Ни за что на свете он бы не хотел быть ассенизатором.

Леонид Никитич Куприянов шел со станции вместе с Квитченко.

Квитченко — его помощник и дорогой человек: он научил Леонида Никитича петь. Пели русские и украинские песни; пытались, по выражению Квитченко, поднимать и оперные дуэты. Весной записались в хоровой кружок при железнодорожном Доме культуры. Леонид Никитич, идя записываться, беспокоился: Квитченко хорошо, тенора ценятся; а у Леонида Никитича баритон, самый распространенный среди железнодорожников голос; что, как не примут, скажут: «Нам баритонов девать некуда». Сошло — приняли. Леонид Никитич с увлечением посещал спевки... Летом кружок не работал, Квитченко приходил петь на Разъезжую. Дома было тихо. Юлька готовилась к экзаменам в институт. Лариса работала на практике в пригородном поселке. Дорофея после курсов прямо из Москвы поехала в Сочи, в отпуск,— дали путевку...

Так вот, в тот вечер, когда приключился пожар, Леонид Никитич, воротясь из рейса и приняв душ, шел домой. Вдруг небо осветилось, стало розово разгораться, люди заговорили у калиток и в окнах.

— Горит,— сказал Леонид Никитич.

— Где ж бы это горело?— спросил долговязый спокойный Квитченко.

— Не на товарной ли базе,— сказал Леонид Никитич, всматриваясь в том направлении, где розовый цвет густел и переходил в багряный.

— Точно, база горит!— сказали у калитки.

Промчалась пожарная машина.

— Потушат,— сказал Квитченко.

— А ясно, потушат,— сказал Леонид Никитич.

— Ну, пока,— сказал Квитченко. Он дошел до своего переулка. Леонид Никитич зашагал дальше один и вспомнил, что рассказывала Дуся,— при товарной базе находится автотранспортная, где работает Геннадий. И увидел Леонид Никитич, что подходит к дому, где живет Геннадий. Дуся как-то показала ему этот дом, Леонид Никитич часто ходил мимо, но зайти не тянуло — сын совсем откололся, с отцом при встречах разговаривает



обидно-насмешливо, женщина там неподходящего возраста, ну их к богу... Но сейчас Леонида Никитича что-то потянуло зайти: «Дуси нет, случись что с парнем — мы узнаем последние»,— объяснил он свое желание увидеть сына и посмотреть на его житье-бытье. И, человек скорых решений, он подошел к воротам и спросил у стоявших там людей, где квартира Любимовой.

Отворила миловидная женщина в светлых локонах, привлекательно одетая, глянула ему в лицо и испугалась. «Узнала: Генька-то на меня похож как вылитый».

— Геннадий дома?

Она молча отступила, он вошел за нею в переднюю. Испуганно глядя, женщина сказала:

— Его нет...— И, спохватившись:— Да вы зайдите... Зайдите, пожалуйста.

Она взяла кепку из его рук и ввела его в комнату. Тюлевые занавески. Вышитые подушечки. Бумажные розы на комоде. Домовито.

— Садитесь, пожалуйста. Вы Генин папа будете?— спросила женщина с нерешительной приветливостью, и голос ее дрожал от волнения.

«Любит,— определил Леонид Никитич.— Любит нашего оболтуса».

— Точно, папа,— подтвердил он.— Так нет его? Там у них, говорят, загорелось на базе, что ли,— добавил он нескладно, чувствуя неловкость оттого, что не шел, не шел к сыну и вдруг явился незваный и без всякого дела. Женщина взглянула на розовое окно и вскрикнула:

— Горит? На базе? Что вы говорите!.. Да Геня не там. В выходном костюме вышел — значит, в гости или в кино... А может, это и не на базе пожар. Может, знаете, какая-нибудь бочка с бензином, только и всего,— рассуждала она, не то занимая Леонида Никитича, не то говоря что попало, чтобы унять свое волнение.

— Может, и бочка,— успокоительно сказал Леонид Никитич, видя, как высоко, толчками, поднимается ее грудь. «Боится, чтоб не увел от нее Геньку. За счастье свое дрожит...»— Извиняюсь, имя-отчество...

— Зинаида Ивановна.

— Будем знакомы, Зинаида Ивановна. Ну, как тут Геня живет?

— У него все благополучно,— заторопилась она.— Все слава богу. Думал вот на курорт съездить, да отпуска не дают, срок не вышел, недавно служит... Он, может, скоро придет, вы подождите... Чайку не желаете?

— Нет, благодарю,— сказал Леонид Никитич, который терпеть не мог пить чай в гостях, потому что там всегда давали жидкий.

— Может, желаете посмотреть Генину комнату?

— Ну, покажите,— согласился он, не зная, о чем с нею говорить.

Она отворила дверь в соседнюю комнату — там тоже были подушечки, занавесочки и бумажные розы — и сказала благоговейно:

— Вот тут Геня живет.

«Раба его, совершенная раба»,— подумал Леонид Никитич. Вслух похвалил ласково:

— Хорошая комнатка, очень хорошая комнатка.

— Наша теневая,— говорила Зинаида Ивановна,— а эта, обратите внимание, на юго-запад, такая солнечная, сколько солнца в городе есть, оно все тут. Летом, конечно, не особенно приятно, я предлагала Гене поменяться временно, но ему в нашей неудобно, потому что возле кухни...

Ее, видимо, ободрил его ласковый тон, дыхание у нее стало ровнее, и она без умолку говорила о Геннадии. Леонид Никитич сидел против нее на диване и слушал, поддакивая: «А! Да? Ну-ну».

— Геня добивается, чтоб дали отпуск хотя бы без сохранения содержания.

(«Ясно, зачем содержание, Дуся семь шкур с себя снимет, только он ей намекни...»)

— Расстроен, что не дают. Очень хочется отдохнуть...

— Это от чего же отдохнуть?— сорвалось у Леонида Никитича.

Зинаида Ивановна умолкла, приоткрыв свой свежий рот, в котором поблескивал золотой зуб.

— С чего он так устал?— ворчливо допытывался Леонид Никитич.

То он было встревожился за сына, услыхав о пожаре на базе; а то стало досадно, что сын разгуливает где-то в выходном костюме, когда его предприятие, может быть, горит. И первое, и второе чувства были нелогичны, но когда же чувства бывают логичными.

— Переработался, что ли?

— Так ведь это, знаете, так говорится — отдохнуть,— сказала она растерянно.— Едет человек на курорт, говорят: поехал отдыхать.

Он коротко засмеялся:

— Так говорится... Ну-ну.



(«Славная баба, а дура. Окрутил ее Генька — лучше не надо».)

Стало ее жалко, решил поучить уму-разуму.

— Не меняется Геннадий,— сказал он, встав и похаживая по комнате.— Вижу, нисколько не меняется — каков был, таков и есть. Удивительно! Будь мы бывшие помещики или капиталисты, тогда бы понятно. А ведь я, чтоб вы знали, с четырнадцати лет в депо, мать его чернорабочая была, а он типичный эксплуататор, Зинаида Ивановна, по всем вашим высказываниям.

Она слушала со вниманием, ее небольшие серо-голубые глаза следили за ним неотступно, и на простоватом румяном лице выражалась усердная работа мысли.

— Ну что вы,— сказала она, улыбнувшись.— Какой же он эксплуататор. Что ж тут плохого, если ему на курорт хочется? Это ведь всем хочется. Ничего в нем такого нет,— закончила она с горячностью.

— Добрая вы душа, Зинаида Ивановна. А вот я с ним ужиться не мог. Не смог перенести его эксплуататорской сущности! Попирает, понимаешь, мать, попирает жену и меня попирать норовит!.. Мы с ним разошлись... не совсем по-хорошему. Что поделаешь? В семье не без урода...

Зинаида Ивановна в изумлении всплеснула руками:

— Господи!.. Какой же он урод! Такой красавец!..

— Отношение его к людям уродливое.

— Какое особенное отношение?.. Жену каждый может разлюбить, вон сколько в газете объявлений о разводах,— сказала она и покраснела.— Немножечко эгоист он, это правда, так это от красоты: женщины избаловали.— Покраснела еще гуще и потупилась.

— Вот вы его этим еще хуже портите,— строго сказал Леонид Никитич, останавливаясь перед нею.

— Чем?— спросила она, подняв взгляд, полный тревоги.

— Этим самым. Защитой. Геннадий нуждается не в защите, а чтоб его держали в ежовых рукавицах, вот он в чем нуждается. Поскольку вы старше... («Ф-фу! Это не нужно было говорить!») — Попытался внести поправку:— Поскольку он моложе вас...— Серо-голубые глаза налились слезами, но Леониду Никитичу уже не было остановки: — Вы должны повлиять, чтобы он переменил свое поведение. В отношении семьи и так далее.

Леонид Никитич хотел сказать, что от нее зависит сделать Геннадия более внимательным к людям и что от этого ей же, Зинаиде Ивановне, в первую очередь будет

польза. Но Зинаиде Ивановне подумалось, что от нее хотят, чтобы она уговорила Геннадия вернуться к жене. Эта молоденькая жена, существующая так близко под защитой его родных, была для Зинаиды Ивановны страшнее атомной бомбы. Зинаида Ивановна закрыла лицо руками; ее круглые плечи затряслись. Леонид Никитич расстроился и сказал:

— Напрасно вы расстраиваетесь, расстройством тут не поможешь.

Он увидел ее бурые от марганцовки и йода пальцы с короткими ногтями, пальцы рабочего человека... «И чего я лезу, какой прок?..»

Она разняла пальцы, открыла мокрое, несчастное, враз поблекшее лицо, сказала с жаром:

— Чего вы хотите?! — и зарыдала в голос.

— Да Зинаида Ивановна, да голубушка, да хватит, честное слово! — взмолился Леонид Никитич.— Ну, я извиняюсь, ну, не будем больше на эту тему!

Она словно ждала, чтобы с нею заговорили ласково, перестала рыдать и высморкалась. Еще всхлипывая, достала из шкафа пузырек, накапала в рюмку валерьянки, выпила и улыбнулась Леониду Никитичу виновато и доверчиво, будто они отлично объяснились и между ними теперь полное понимание. Веселым голосом опять предложила чаю, потом спросила: «А может, желаете, я за водкой схожу?» Но ему было совестно, грустно, и он устал. Да и поздно было. Он ушел.

Пожар, как они с Квитченко предсказывали, уже потухал. Ничто не мешало Леониду Никитичу до самого дома думать о сыне, о Зинаиде Ивановне, жалеть ее, жалеть Ларису... Сумбурно и горестно было на сердце. Но вот он дома, он ложится на широкую постель с мягкими подушками. Хорошо! Законное дело — после дежурства отдохнуть всласть!

Он спит ночь и утро — до полудня. Домашние стерегут его сон. Ставни в доме закрыты, в узких полосках света, врезающихся между створками ставен, ярко вырисованы — где лист фикуса, где тоненькие рюмочки, стайкой сгрудившиеся за буфетным стеклом. От рюмочек брызжут на стены радужные зайчики. Евфалия, разутая, ходит по прохладному полу, чуть поскрипывая половицами; осторожно двигает посудой в кухне. Стучит щеколда калитки, Евфалия спешит на веранду навстречу соседке, пришла соседка вернуть должок — стаканчик уксуса...



— Хозяин спит,— предупреждает Евфалия вполголоса, и они шепчутся на веранде. Из спальни слышится кашель. Юлька достает из буфета отцовскую большую чашку с коричневой трещиной и накладывает варенье в вазочку. Леонид Никитич выходит из спальни, благодушно спрашивая:

— Ну, что нового, семья?

Во дворе у крыльца уже шумит самовар с высокой трубой: дома Леонид Никитич не признает чая из чайника, чайник — это для рейса...

С годами, постепенно сложились привычки. Леонид Никитич требует, чтобы эти привычки уважались. Глава, работник, кормилец любит чай из самовара, так потрудитесь, будьте любезны, обеспечить ему самоварчик!

Он пьет крепкий чай, закусывает вареньем, выходит во двор посмотреть, где что расцвело... Под вечер приходит Квитченко. Они садятся на заднем крылечке, в тени, над душистыми грядками с табаком и резедой, и поют: про гарбуз и дыню — гарбузову господыню, и про тройку удалую, и про дождик,— много хороших песен поют.

*Глава двенадцатая*

## Я ЛЮБЛЮ, ТЫ ЛЮБИШЬ, ОН ЛЮБИТ

Катя Борташевич шла босиком по пыльной дороге, лицо ее горело от жары и негодования. Этот отвратительный агроном опять приехал к ним на участок, где в нем совершенно не нуждались, специально приехал, чтобы на прощание еще раз опоганить Катю своими взглядами и своим присутствием. Он давно повадился являться туда, где работала студенческая бригада, и хотя почти не разговаривал и стоял в стороне, но Катя, работая, всей кожей чувствовала, как по ней ползет его взгляд. И из себя выходила при мысли, что и другие это видят и связывают его с нею,— что за мерзость! Разумеется, она ни с кем на эту тему не говорила, и, когда ребята однажды стали подшучивать, что агроном в нее врезался, она закричала: «Я сию же минуту уезжаю, если не прекратится этот разговор!» Девчата вступились за нее, и разговор прекратился.

Сегодня вышло особенно гадко, потому что из-за жары они все разделись и работали налегке, в трусах и майках. Очень хорошо было от сознания, что недаром провели

здесь две недели и недаром ели колхозный хлеб,— сено убрано по-хозяйски, со знанием дела. На радостях запели «Широка страна моя родная», напрягая голоса изо всех сил, чтобы песня дальше неслась по простору; поднялся смех, веселье. Катя чуть не зарыдала от злости, когда из-за горки вдруг выехал на лошади агроном.

До сих пор она не находила в наготе ничего стыдного. Ей нужно, чтобы к ее коже прикасался ветер, солнце, вода; она без этого не может существовать. Ни зноя, ни холода не боится и привыкла ходить полуобнаженной по городу во время спортивных парадов. Бедняги, не участвующие в парадах, стоят шеренгами по краям тротуаров. Стоят со своими немощами, одышками, мозолями, флюсами и еще чем-то, о чем Катя не имеет представления; и смотрят на счастливцев, гордо несущих напоказ свои стальные, легкие, без единого изъяна тела. Катя знает, что ее тело прекрасно. Но никто не имеет права рассматривать ее такими глазами, как этот агроном. Он вообще омерзительный — старый, пухлый и дряблый, руки у него как подушки.

— Могу подвезти кого-нибудь,— сказал он неуверенно, когда студенты сложили последний стог и собрались уходить.— Вы не устали, Катя?

Не наглость ли? Катя сделала вид, что не слышала, и повернулась к нему спиной. Юра Смолян, который из всего умеет сделать цирк, сказал:

— Я устал. Подвезите меня.

И расселся впереди агронома, а проезжая мимо Кати, подмигнул ей и оскалил зубы. Она засмеялась — она не умеет не смеяться, когда смешно,— но гнев клокотал в ней...

Пыль на дороге была глубокая, теплая, такая тонкая, что вздымалась при малейшем прикосновении, как серая кисея. Знойный воздух стоял недвижно. Солнце жгло. Студенты шли, скинув обувь и неся на плечах грабли. Агроном ехал рядом и придумывал, что бы сказать еще.

— Вовремя убрали, гроза будет,— сказал он, робко обращаясь к Кате.— У нас грозы грозные — как пойдет кататься Илья-пророк...

Какой еще Илья-пророк? Все это говорилось для того, чтобы оскорбить Катю.

Но тут все, кто шел пешком, то есть все, кроме агронома и Юры Смоляна, пустились бежать, и Катя с ними: завиднелись верхушки колхозного сада. Сад лежит в балке, с поля его не сразу увидишь; а внизу в балке бьет



ключ — от него и название деревни: Ключ. Редко кто, идя этой дорогой, не спустится в балку напиться, уж очень хороша вода: чистая как хрусталь, холодная как лед,— говорят, целебная.

Только вошли в сад и стали спускаться по склону — исчезла духота, жар стал легок: хоть не много тени давали яблони, густо облепленные плодами, а все же тень; а главное — прекрасный холодок, которым тянуло снизу, от ключа.

Яблони сходят вниз правильными рядами, стволы их ярко выбелены, широкие междурядья расчищены; но кругом ключа траву не косят, она растет там путанно и буйно, защищая источник от солнца; такая в ней сила, что и не вытопчешь ее,— примятая, распрямляется и растет себе дальше.

Сделали несколько шагов по этой мокрой, холодной, могучей траве — сразу ноги, покрытые пылью, отмылись добела. С шумом раздвинулись громадные, изорванные по краям листья лопуха, — вот он ключ: бежит из-под пышного бузинного куста по беленькому песку и, торопливо журча, устремляется в каменный желобок.

— Прелесть какая!— сказала Катя, вставая с колен с мокрым лицом.— До чего вкусно, просто после такой воды газированную с сиропом противно вспомнить...

Они пошли дальше через сад, и уже ничто не портило Кате настроения — в агрономе, по-видимому, взыграла здоровая амбиция, он поехал полем.

Деревня была пуста, все на работе. Жена агронома развешивала на плетне агрономовы рубашки, вышитые крестиком. Она была некрасивая, старая. «Несчастная женщина!— подумала Катя.— Стирать рубашки уроду и развратнику!..» Она поклонилась жене агронома с подчеркнутым уважением, показывая свою женскую солидарность и сочувствие.

— Что рано с работы нынче?— спросила жена агронома.

— Закончили!— хором ответили студенты.— Уезжаем!

— Вот как,— сказала жена агронома и посмотрела на Катю.— Мало погостили у нас.

— Мы еще приедем!— пообещали студенты.— Мы девчат к вам пришлем лен трепать.

— Присылайте,— сказала жена агронома, улыбаясь неживой, насильственной улыбкой, и опять посмотрела на Катю.

«Она еще ревнует,— брезгливо думала Катя, идя по улице с граблями на плече.— Хорошо, что мы уезжаем».

Если бы не эта мелкая история, все было бы прекрасно. Сколько светлых картин увезет отсюда Катя, картин на всю жизнь! Эти теплые вечера с колхозными девчатами на клубном дворе, волейбол, гармошка, песни (здесь «Туманы мои, растуманы» поют еще лучше, чем хор Пятницкого); эти свежие ночи на сене... И сознание, что ты не лишняя во всенародной страде, любую можешь осилить работу и любому с гордостью показать свои руки...

Но даже последний вечер был отравлен бестактной, назойливой влюбленностью агронома. Когда в школе, где жили студенты, собралась молодежь из разных деревень и пришли председатель колхоза, и бригадир, и инструктор райкома партии,— агроном оказался тут как тут, без него не обошлось: явился и пристроился рядом с Катей. Тоже что-то говорил о колхозном производстве, но Кате казалось, что все понимают, что он пришел смотреть на нее и торчать возле нее, и стыдятся за них обоих. Ей стало досадно, что она разрядилась в шелковое платье и лакированные туфли: еще вообразит, что ради него... Чтобы уйти от агронома, она предложила сыграть прощальную партию в волейбол. А тем временем к школе подали грузовики со скамьями. Студенты покидали туда свои заплечные мешки и, простясь, стали рассаживаться. И тут очутился у колеса агроном, он смотрел на Катю своими бесстыжими, жалкими, отчаянными глазами и протягивал руку, чтобы помочь ей. Она взялась за борт кузова, подпрыгнула, коснулась колеса лакированной туфелькой и взлетела в кузов, не дотронувшись до протянутой ей руки. Грузовик двинулся, пыль взвилась за ним облаком, закрыла все.

«Две недели мы здесь были,— думала Катя, глядя на поля, медленно плывущие мимо в сумерках,— и какое все уже знакомое и близкое, и те три дороги, что расходятся как пальцы, и горка, и силосные башни на горизонте, и вон той дорогой мы ходили на клевер. И вот уезжаем, и эта жизнь будет продолжаться без нас. Через три часа будем дома». И она подумала о том, что вот уже две недели не видела газету «Советский спорт»— сберег ли для нее Сережа эти номера,— и как она, приехав, первым долгом примет душ,— и о капитане Войнаровском, которого она встречала у Наташи Штейнбух и который оказывал ей внимание. В последнюю очередь она подумала о своих росянках, Drosera rotundifolia, за которыми



смотрел Сережа. Не то чтобы она не интересовалась ими, разумеется, интересовалась, она ведь сама искала их на болотах под весенними дождями, и высаживала в ящики, и кормила, и делала те опыты, которые лягут в основу ее дипломной работы. Но дипломная работа не была для Кати главной целью, как для некоторых ее товарищей. Достаточно сказать, что каждую сессию она хватала тройки то по одной дисциплине, то по другой, потому что ее отвлекали тренировки и соревнования. Стипендию она не получала, но так как родители не огорчались этим и тоже больше интересовались ее спортивными успехами, чем научными, то и Катя не обращала внимания на эти мелочи жизни. Ее занимало множество вещей, среди которых был и спорт, и предстоящая почти через два года («о, далеко еще!») защита диплома, и поездки на практику, которые Катя принимала как очередное развлечение, потому что чувствовала себя в своем коллективе как рыба в воде и из всего извлекала живую радость. Составными частями этой увлекательной жизни были и другие вещи — наряды, театр, обожание Лемешева, почетное положение отца, приятельские отношения с Сережей, и даже мамины странности, вызывавшие в Кате дух противоречия, и даже глупость Марго, потому что из всего этого слагалась привычная и комфортабельная обстановка, в которой активно, весело и независимо, в вечном предвкушении новых радостей и удач, существовала Катя.

Вскакивая в грузовик, она оцарапала о железку руку повыше локтя; из царапины текла кровь. Девчата, заметив, хотели перевязать, но Катя отмахнулась: глупости, на ней все заживает в пять минут! Чтобы унять кровь, она взяла ранку в рот; вкус был соленый, острый.

«Наташа Штейнбух еще в Мисхоре,— думала она,— значит, с Войнаровским скоро встретиться не удастся. Если бы дать ему знать, что я приехала, он бы придумал способ встретиться, но как дать знать?.. Какие у нас есть общие знакомые? Кажется, Маринка — телефона у Маринки нет — я вот как сделаю: возьму билеты на вахтанговские гастроли — что бы посмотреть?— да что угодно — и пошлю Маринке открытку по почте, предложу идти вместе... И вот увидите, он узнает и придет в театр»,— подумала Катя и улыбнулась. Она была капризница, никому не позволяла ухаживать за собой; но этот голубоглазый капитан, с лицом то ребячески-простодушным, то резко нахмуренным, нравился ей. Почему? А кто знает...

Две недели назад, после практики в лесхозе, она четыре дня прожила дома, в Энске, но его не встретила. «Возможно, он в отъезде, сейчас ведь самое отпускное время...»

Темно-лиловая, как чернила, туча лежала за силосными башнями, низко у горизонта. В туче взблескивали молнии, сжатые поля озарялись на миг бледным светом и опять становились серыми, слабо погромыхивал запоздалый гром... «Гроза идет, Илья-пророк. Далеко еще, нас не застигнет. Ночью разразится, а то и стороной пройдет».

И, посасывая свою соленую кровь, она представила себе, как над этими полями в ночном мраке прыгают длинные молнии и страшно грохочет гром, и свирепый ливень сечет землю, а потом гром уходит, вода стоит в канавах, всходит умытое солнце, а в балках громко поют птицы.

И представила себе эти поля под другим дождем, осенним, беззвучным, беспросветным: как тут голо тогда и скучно, и одна сидит в избе некрасивая старая женщина, пока ее муж в тяжелых от грязи сапогах ходит по этим дорогам...

И, уезжая от них, она простила этой женщине ее обидную ревность и простила ее мужу его обидную страсть.

Поля и небо проплывали, как на экране, и Катя приехала на станцию, где над входом горел старинный граненый фонарь и женщина поливала платформу из большой садовой лейки. Студенты набились в дачный вагон, пахнущий вымытым полом, и с песнями поехали в Энск.

Гроза разразилась, когда они были в дороге, и окончилась как по заказу, когда приехали.

Где-то она еще погромыхивала, удаляясь победоносно, но дождь перестал, только по мостовым бежали широкие потоки.

Близился рассвет, но Сережа еще не ложился: у него ночевали застигнутые грозой Саша и Валентин, и все трое они были увлечены беседой.

Саша лежал, укрытый простыней, на диване. Для Валентина Сережа притащил кушетку из Катиной комнаты. Сам он сидел между приятелями, на краешке Сашиной постели, и с жаром раздувал волновавший его разговор, не давая ему погаснуть.



— Да постой, при чем здесь ребенок?!— кричал он.— При чем ребенок, если ты ее любишь?!

— Ну, как при чем!— расстроенно отвечал Валентин, которому нравилось, что к его сердечным делам проявляют такой интерес, и хотелось, чтобы обсуждение длилось подольше.

После долгих колебаний между архитекторшей Лидией Антоновной и крановщицей Клавой он наконец понял, что любит Клаву. (В значительной степени его выбор объяснялся тем, что Лидию Антоновну перевели на другой объект, ухаживать за нею стало трудно из-за дальности расстояния...) В прошлый выходной он гулял с Клавой по набережной, они зашли далеко, на иевлевскую лестницу, и там, сидя на каменной ступеньке под вазой с настурциями, Валентин сделал Клаве предложение. Он считал, что поскольку он больше не водится с блатными, работает, получает зарплату [redacted] даже занимается в кружке, то почему бы ему не жениться на хорошей девушке, тогда он окончательно станет положительной личностью. К тому же ему до смерти надоело жить у сестры, очень уж она заботилась об его поведении... Но Клава отнеслась к делу серьезно, даже всплакнула. Она сказала, что в принципе ничего не имеет против замужества, но что она разочарована в любви. Три года назад ей вот так же сделали предложение, она была девочка и чересчур доверилась, и как было не довериться — он пришел с войны и имел медаль. В результате смылся без регистрации, а у нее Шурик. Спасибо, мама отнеслась как советский человек, и в ясли сходит за Шуриком, и выкупает, а то бы очень трудно... Но главное, конечно,— моральная сторона, моральное самочувствие было ужасное; но это может понять только девушка. Теперь, сказала Клава, всплакнув в свой газовый платок, ты должен решить, будешь ли ты настоящим отцом Шурику. А если нет, то ничего, Валечка, не надо... Валентин мрачно сидел под настурциями. Он, разумеется, знал про Шурика, но не придавал значения... во всяком случае, не предвидел, что на него сразу будут смотреть как на отца. Он не ожидал, что хохотушка Клава будет плакать; он думал, она будет смеяться и кокетничать, потом они станут страстно целоваться, а потом поженятся. Но она ни разу не поцеловала его, а сам он постеснялся сунуться после ее слез. Она достала из сумочки пудреницу с зеркальцем, заботливо попудрила нос и сказала: «Ты подумай и реши». «Хорошо, подумаю»,— пробормотал Валентин. Она поднялась и пошла с заплаканными гла-

зами, ему стало жаль ее и жаль себя, такого молодого и такого влюбленного, он взял ее под руку и сказал: «Ну, ничего, это все пустяки». А она сказала: «Что значит пустяки, когда личная жизнь испорчена».

Теперь он терзался. То ему казалось, что Клава его жестоко оскорбила, поставив Шурика выше него; то казалось, что она прекрасна и без нее невозможно жить. Он не считал нужным держать при себе свои переживания, о них узнала бригада и узнал Сережа, который, познакомясь с Валентином через Сашу, за две встречи сошелся с ним на короткую ногу и даже сфотографировал его со всей татуировкой, спереди и сзади, как давно мечталось Валентину.

В ночной час, предназначенный для задушевных бесед, они разбирались в Валентиновой любовной истории. Сережа горой стоял за чувство и против предрассудков.

— Любовь выше мелочей,— убеждал он пылко.— Ребенок — ну и что, пусть два ребенка, пусть хоть дюжина, какое это имеет отношение...

— Сергей,— отвечал Валентин,— ты настоящий друг, ты прямо в душу смотришь, но если ребенок у нее на первом плане?

— Ребенок обязан быть на первом плане!— сурово сказал Саша.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, и выглядел под простыней ужасно длинным и солидным. Приятели умолкли и ждали с уважением, что он скажет еще.

— Если ребенок не на первом плане,— продолжал Саша,— то нет ни семьи, ничего... Это она правильно ставит вопрос. Можешь побыть на втором, пока он вырастет, ничего тебе не сделается. И не в этом дело.

Он не сочувствовал затеваемому браку. Пара казалась ему неподходящей, он уважал Клаву за отличную работу и желал ей лучшего мужа, чем Валентин. Его беспокоило, что Валентин опять пил водку и читал антиобщественные стихи: «Я одну мечту, скрывая, нежу, что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Саша считал своим комсомольским и бригадирским долгом ликвидировать эти настроения.

— Дело в том,— сказал он,— что ты не имеешь права жениться, пока не переделаешь свой характер. Разве ты можешь с таким характером воспитывать ребенка? Ты не можешь воспитывать ребенка. На этой почве у вас будут сплошные недоразумения.



— Саша,— ответил Валентин,— ты друг из друзей, я понимаю, что ты прав, как бог, но тогда посоветуй! Нет, слушай, тогда давай совет: а куда же девать любовь?!

Неизвестно, на чем бы они порешили, но тут дверь отворилась и вошла Катя, босая, с рюкзаком за плечами и с туфлями в руке.

— Ой,— сказала она,— извините, не знала, что вас так много и вы в постелях. Сережа, ну как ты тут?— Она бегло и нежно оглядела его прищуренными глазами.— Зеленый и желтый, бог знает что, я тебя вытащу на дачу... Как росянки?

Она ушла с Сережей к столу, и между ними начался научный разговор. Саша в ужасе закрыл глаза и запоздало притворился спящим. Страдали и его стыдливость, и мужское достоинство. Никак он не предполагал, что придется знакомиться с Катей в такой позе, лежа перед нею под простыней. Сколько перебрал в уме разных вариантов знакомства, а этого варианта не предвидел. Недаром он боялся встретиться с нею. Когда она приезжала прошлый раз с практики, он был предупрежден об ее приезде и не зашел ни разу, пока Сережа сам не явился на стройку и не сказал, что Катя уже уехала... «Какое у нее теперь может быть обо мне представление!»— безнадежно думал он, лежа с закрытыми глазами и слушая ее голос.

— Ребята, спокойной ночи,— сказал Сережа.— Мне надо поговорить с Катей.— И они ушли, причем Саша так и не разомкнул глаз и даже не заметил, что Сережа выключил свет.

— Что вообще нового?— спрашивала Катя, готовясь идти в ванную и доставая из шкафа белье.— Когда уехал папа?

— Да, ты знаешь, как я прогадал?— отвечал Сережа.— Они с мамой из Сочи поехали на теплоходе! Если бы я заранее знал про теплоход, я бы поехал с папой.

— Ничего, успеешь проехаться на теплоходе,— сказала Катя.— Пусть старики без нас отдохнут хорошенько.

— Пожалуй: они от нас тоже, наверно, устали,— сказал Сережа.— Да, знаешь, на той неделе громадный был пожар.

— Что ты говоришь, где?

— На берегу, какой-то склад, и понимаешь, я спал и даже не знал, а потом уже, конечно, неинтересно смотреть...

— Выглядишь ты отвратительно!— сказала Катя.— Со мной ты поживешь на даче, я надеюсь? («Непременно

приглашу на дачу Войнаровского!») Марго поставим условие, чтоб она нас не донимала.— И Катя пошла купаться.

А Саша лежал не шевелясь и видел ее — как она вошла и стоит в комнате, загорелая и румяная, в платье огненных цветов, вся пестрая, как жар-птица...

— Интересная девчонка!— многозначительно сказал Валентин в темноте.

Саше захотелось дать ему хорошенько... Но он смолчал, не в его характере было драться,— и где повод для драки? Просто ему не понравилось, что Валентин назвал Катю девчонкой.

При всем том он довольно скоро уснул, и рядом, на кушетке, так же сладко спал влюбленный Валентин.

Утром они поднялись тихо, чтобы никого не разбудить, и поехали на работу.

И все-таки Саша пришел опять, хоть и боялся Кати.

Боялся и тянулся в глубь открытой им страны, где все было неизведанно и удивительно, хоть и стыдно.

То он видел Катю разряженную, ослепительную,— надменно щурясь, она смотрелась в высокое зеркало, и он с особенной отчетливостью понимал свое место в ее жизни, место ничем не замечательного парня, которому только что исполнилось восемнадцать лет.

То она предстала совсем в другом виде — в капотике, с мокрыми после душа волосами, она поила их с Сережей чаем и, пока они пили, читала книгу, став коленками на стул и рассеянно отвечая на Сережины вопросы. Лицо у нее, когда она читала, было ясное, ласковое. Домашняя туфля со смешным меховым помпоном упала с ноги. Саша все это видел, и не то что мечта — отдаленное, неосознанное предвкушение мечты смутно бродило в нем...

То, одетая в футболку, с крошечным чемоданчиком в руке, она торопилась на тренировку и была деловая, резкая, шумная: мальчишка-приятель, понятный и свой.

А то Саша застал ее в передней, она сама отворила ему на звонок, он вздрогнул — она была в трусиках и майке, волосы подвязаны ленточкой — такая, как на маленькой фотографии. «Сережа у себя, иди»,— сказала она небрежно и продолжала свое дело — она занималась гимнастикой. И он прошел, не поднимая глаз.

А потом она уехала с Сережей на дачу до конца каникул. Саша знал дорогу на дачу, он был там один раз



с Сережей и его отцом, и Сережа звал его приезжать по воскресеньям, но Саша не поехал: Сережа сказал, что она пригласила кучу гостей; Саша не хотел торчать среди тех, которые что-то значат для нее.

Перед отъездом на дачу Катя, по намеченному плану, побывала с Маринкой в театре.

Она была бесшабашно уверена, что Войнаровский тоже очутится в театре в этот вечер и подойдет к ней, и она пригласит его,— была уверена, потому что жизнь всегда разыгрывала, как по нотам, все, что хотелось Кате. Но на этот раз жизнь отказалась играть по нотам, Войнаровского в театре не было, пьеса была скучная, в зале жарко, у Маринки болел зуб, и она весь вечер ныла,— Катя пришла домой сердитая и закричала на Сережу: «Мне надоело смотреть на твою зеленую физиономию, завтра же на дачу!»— так что Сережа удивился и спросил: «Что у тебя случилось, Екатерина?»

«Очень нужно, подумаешь!»— мысленно сказала Катя Войнаровскому.

И уехала в отвратительном настроении, причина которого возмущала ее. «Какой-то капитан, служит в милиции. Встретимся, я прищурю глаза и скажу: «Простите,— ах, если не ошибаюсь, капитан... капитан... забыла фамилию...»

Был самый жаркий день в году, тридцать два градуса в тени. Энск обомлел от зноя. Среди раскаленного камня центральных улиц нечем было дышать. Войнаровский сидел в своем кабинете, расстегнув ворот рубашки, пил воду со льдом и допрашивал знакомого домушника, взятого на мелком деле. С обоих пот лил градом.

— Ну, уговаривали,— вяло говорил Войнаровский.— А своя-то голова на плечах есть?

Домушник не был в этом уверен и промолчал.

— Ведь вот они гуляют,— продолжал Войнаровский,— а в тюрьму сядешь ты.

— Ага,— невыразительно подтвердил домушник, глядя на графин с водой. Это был молодой парень, невзрачный, с мелким лицом в неровных пятнах загара. Войнаровский вздохнул, отдуваясь, и нажал кнопку.

— Стакан,— сказал он вошедшей секретарше. Налил воды в принесенный стакан и дал домушнику напиться.— Из-за трусости сядешь!— продолжал он, повышая голос.— Трусость до добра не доводит. Испугался! Здоро-

вый такой парень, красивый (домушник приосанился), испугался кучки шпаны... Почему не работал, когда полковник тебя устроил? Почему ушел с завода?

— Они сказали.

— Что сказали?

— Одним словом, или обратно иди до нас, или, одним словом...

— Ну, и трус!— сказал Войнаровский, обтирая лицо платком.

Зазвонил телефон, и голос Маши Рыбниковой сказал, что товарищ Войнаровский может идти, все уехали за город, дома одна работница.

— Хорошо,— ответил Войнаровский.— Ты обдумай, что тебе выгоднее,— сказал он домушнику, нажимая кнопку.— Если ты мне назовешь всю братию, то отсидеть тебе придется — ну, годик. А если будешь со мной ваньку валять, то я тебе гарантирую шесть лет как минимум.

— За такое дело шесть лет?— спросил домушник, вставая, так как вошел милиционер.

— Да, шесть,— повторил Войнаровский, кивком показывая, что разговор окончен.

Он заперся на ключ, открыл стенной шкаф и переоделся. Натянул бумажные брюки того неопределенного серо-черного цвета, который продавцы называют «маренго», надел синюю трикотажную бобочку, кепку не первой свежести и взял деревянный чемоданчик. В таком виде он покинул свой кабинет, прошел мимо безмолвной секретарши и вышел на раскаленную улицу.

День объял его своим пламенем. Тротуар был горяч, как печной под, когда печь только что истопили. Каблуки погружались в асфальт. Люди шли по своим делам сквозь пекло.

У магазина хозяйственных товаров Войнаровскому мелькнула знакомая светлая головка с курносеньким профилем и косичками, сколотыми на затылке. Он улыбнулся, он вспомнил эту девочку — однажды он обедал в ресторане парка культуры, а за соседним столиком обедала она со своим женихом, они были трогательны... Она вошла в магазин, не заметив Войнаровского. Он дошел до серого дома старой постройки и поднялся на третий этаж.

— Кто там?— спросила из-за двери тетя Поля.

— Монтер горэнерго,— ответил Войнаровский.

Тетя Поля отворила, не снимая цепочки, и оглядела его.



— Ваше удостоверение личности,— сказала она степенно.

«Вымуштровали»,— подумал он.

Тетя Поля впустила его. Со странным чувством он вступил в переднюю, где от разноцветных стекол фрамуги лежали красные, желтые, синие светы.

— Как у вас с проводкой?— спросил он, озирая потолок.— Утечки нет? Жучков нет?

— У нас проводка в аккурате,— сказала тетя Поля.

— В аккурате, в аккурате!— сказал Войнаровский.— На промбазе тоже было в аккурате, а загорелось от проводов.

Испугавшись, тетя Поля повела его в комнаты. Он прошелся по квартире и осмотрел все, что требовалось осмотреть.

Безлюдная большая квартира, с закрытыми от жары окнами, с мебелью в чехлах, со скатанными в трубы коврами и дорожками на натертом полу, дышала благообразием, комфортом, обеспеченностью, раз навсегда принятым жизненным порядком. Должно быть, очень здесь уютно, когда с кресел и абажуров снимают чехлы, на окна вешают занавеси, а по полу раскидывают эти большие ковры... И все-таки квартира показалась Войнаровскому мертвой, и он шел по ней, как по кладбищу.

В одной из комнат висел над столом Катин портрет и ниже маленькая карточка — дискобол. Он остро взглянул на фотографии, они воскресили лицо, которое он полюбил, и тот весенний праздник на стадионе, когда он увидел ее и потом стал искать, где познакомиться... Было холодно и ветрено, на трибунах сидели в теплых пальто, а она выбежала почти нагая, точеная и легкая, с ленточкой в волосах...

Последняя комната была Катина. Он угадал это потому, что ни одна из виденных им ранее комнат не могла быть Катиной, там не было ее примет. Здесь же были неоспоримые приметы: трапеция, подвешенная к потолку, книги по биологии в шкафчике, ваза с цветами, уже начинавшими увядать,— забыла или пожалела их выбросить, уезжая на дачу... Остальное было закрыто чехлами и газетами, и он не смог заглянуть дальше в ее домашний мирок, куда зашел в первый и последний раз... «Да, Екатерина Степановна, этого вы мне не простите,— подумал он с безнадежной улыбкой,— с этим вы меня не примете. Бессмысленно добиваться, бессмысленно видеться...»

И вдруг, когда он на мгновение оглянулся, уходя, ему с абсолютной, железной реальностью представился он сам, рассказывающий Кате об этом дне,— как он решил не встречаться с нею и как пришел по обязанностям службы в квартиру ее отца, и видел ее карточки, и стоял в ее комнате, и что при этом чувствовал и думал.

Этот день пройдет, а где-то впереди тот другой, и он об этом минувшем рассказывает Кате.

— Порядок!— сказал Войнаровский тете Поле.— Все как полагается.

И вышел в пламень дня из обреченного дома, где он собирался весь этот уют и комфорт пустить под откос к чертовой матери, как пускал, бывало, вражьи поезда.

Юлька шла по раскаленной улице. В обеих руках она несла по вязаной сумке, набитой покупками. Сумки раздулись, как футбольные мячи, и резали руки.

У витрины мебельного магазина Юлька замедлила шаг. В витрине выставлены стулья, обитые черной клеенкой, куцая цветастая тахта с толстыми валиками, белесый буфет и — дыбом — пружинный матрац, такой же цветастый, как тахта.

«Сколько всего еще покупать»,— подумала Юлька.

Она зашла в магазин, осмотрела ярлыки с ценами, задумчиво постояла перед некрасивым буфетом, заглянула за буфет — там было царство матрацев, один стоял горизонтально, а другие вертикально, но все, как один, в коричневых цветах на розовом поле. Вздохнув, Юлька присела на горизонтальный матрац и попробовала: ка́к пружины. Пружины были твердые. Стоил матрац 200 рублей 95 копеек. За другим буфетом было отделение зеркал. Зеркала многократно отразили серьезное девичье лицо с вздернутым носиком и узкими глазами.

«Без зеркала можно обойтись,— подумала Юлька.— Слишком дорого. Я возьму мое маленькое».

Она вышла из дорогого магазина, села в автобус и через полчаса входила в свой новый дом.

К решетке лифта был привешен на веревочке кусок картона — как в магазине,— и на нем химическим карандашом написано: «Обеденный перерыв».

«Лифтеру тоже нужно обедать,— подумала Юлька.— И не так уж высоко, собственно говоря».

Лестница была светлая, стены очень чистые, голубовато-белые. Шаги звучали звонко, свет лился через высокое окно плотным золотым столбом, и в нем блестели пылинки.



«Безобразие,— подумала Юлька,— кто-то уже оцарапал стену. Должно быть, когда вносили мебель. Как им не стыдно!»

Она знала, что квартира номер четырнадцать на седьмом этаже, но невольно взглядывала на все двери, мимо которых проходила, и читала все номера. На двери четвертой квартиры была прибита пожелтевшая эмалевая дощечка с черной надписью: «Николай Николаевичъ Залѣсскій» — по старому правописанию, с твердым знаком, ятем и десятеричным «и».

«Как странно!— подумала Юлька.— В молодежном доме дали квартиру какому-то дореволюционному зубру. Этому Николаю Николаевичу, наверно, сто лет».

Когда она ступила на площадку между шестым и седьмым этажами, наверху щелкнул замок, и Андрей, срываясь через три ступеньки, сбежал ей навстречу.

— Я услышал твои шаги,— сказал он, отбирая у нее сумки.— Молодчина, что пришла раньше. Я тоже пришел раньше.

— Я истратила массу денег,— сказала она.

— Ну, смотри,— торжественно сказал он, вводя ее в квартиру.— Это передняя.

Стены передней тоже были девственно чисты, а на полу следы мела. В двух углах стояло по велосипеду.

— Чей второй велосипед?— спросила Юлька.

— Не бойся, это соседский. Ну как?

— Знаешь — надо другую лампочку.

— Темновато?

— Ну конечно. Сколько тут свечей? Надо сорок.

— Придется купить. Это соседи вкрутили. И вот наша комната.

— Андрюша, знаешь — прелестная комната!

— Да? Ничего?

— Андрюша, я тебе скажу,— просто чудная комната!— Юлька подошла к окну.— Андрюша, какой вид!

С высоты седьмого этажа далеко был виден загородный простор, огромное голубое небо и полоска леса на горизонте. Слева сверкала река, мост висел ажурной черной аркой, по мосту шел поезд, и там, где он проходил, повисали небольшие белые облачка.

— Когда я была маленькая,— сказала Юлька мечтательно,— у меня была игра, головоломка, дощечка нарезана разными фигурками и из фигурок складывалась

картинка, так совершенно, совершенно такая была картинка.

Андрей стоял рядом, гордо выпрямившись, и уголки его длинных губ заворачивались вверх от довольной улыбки.

— Но я истратила феноменальные деньги,— тем же мечтательным тоном продолжала Юлька.— Мне страшно сказать, сколько у меня осталось.

— Ну, покажи, что купила,— сказал Андрей.

Вдвоем они стали вынимать пакеты из сумки.

— Скатерть. Занавеси.

— Ух, ты!..

— Тебе нравится?

— Очень.

— Тут чайник. Первая вещь, тетя Фаля говорит... Чудная кастрюля, правда?

— Чудная.

— Если чистить, она всегда будет такая новая. И понимаешь, каждая вещь недорого, а в результате истратила массу.

— Ерунда,— сказал Андрей.— Ведь для этого и копили. Зайдем в сберкассу, заберем все, что есть, и сразу в мебельный магазин, чтобы покончить с этим делом.

— Учти,— сказала Юлька,— что у меня будет только стипендия, и то с осени, а до тех пор мы будем жить исключительно на твою зарплату. Теперь ты понимаешь, почему я не давала тебе тратить на глупости?— Она взглянула на него с материнской заботливостью.— Письменный столик я свой возьму, и кровать, а тахту купим. Да, но где что станет, надо посмотреть. Я принесла сантиметр.

— А какой прок в сантиметре,— спросил Андрей,— если мы все равно не знаем габаритов всех этих штук? Ты знаешь, какие у них габариты?

— Приблизительно,— сказала Юлька.

Они обмерили стены и определили, где станут шкафы, кровать и тахта. Стол и стулья — посредине, а письменный к окну.

— На тахте буду я,— сказал Андрей.

— Ничего подобного,— сказала Юлька.— Она как раз вполовину короче, чем ты. Тебе надо хорошенько высыпаться после работы. А я все равно сплю клубочком.

— Ты поместишься и без клубочка,— сказал Андрей.— Ты маленькая.



Ему очень захотелось ее обнять, но он подумал, не сочтет ли она это бестактным, и не обнял.

— А ты что — сказала тете?— спросил он.

— Да.

— И как она реагирует?

— Она реагирует хорошо.

— Маме и папе надо сказать сразу, как только мама приедет,— сказал Андрей.— Вообще говоря, следовало предупредить их заранее, а не накануне.

— Вообще говоря, следовало,— сказала Юлька, сидя на корточках с сантиметром.— Но они будут против.

— Ну почему обязательно против?

— Я же слышу, что они говорят, когда кто-нибудь молодой женится. Они говорят, что это непроверенное чувство.

— Действительно!— сказал Андрей.— Это у нас-то непроверенное чувство.

— Ты не знаешь их психологии. Они смотрят на нас как на детей. Они думают, что мы совершенно не знаем жизни.

— Старики обожают давать советы, это верно,— сказал Андрей.— Ну что ж, это их право и даже, если хочешь, обязанность. У них ведь и на самом деле как-никак больше опыта. И, по-моему, ничего нет обидного, если старик или старушка дает совет. Можно же, в конце концов, не послушаться.

— Да, они прекрасно знают, как мы должны жить!— сказала Юлька.— А каких ошибок они наделали в собственной жизни? Как, например, мама буквально своими руками погубила Геньку!

— Да это не мама,— сказал Андрей.— Просто он уж такой... неудачный.

— Просто неудачные не бывают. Все зависит от воспитания. Почитай Макаренко.— Юлька нахмурилась, у нее всегда портилось настроение, когда разговор заходил о Геннадии.— И разве только эта ошибка! Между нами говоря, у мамы с папой есть одна такая вещь, что я даже тебе никогда не скажу.

Она имела в виду безумное начало их любви. Мать как-то рассказывала об этом ей и Ларисе. Она рассказывала с удовольствием, блестя глазами. И отец слушал с удовольствием и подсказывал подробности, забытые ею, и словно молодел в это время. Юлька любовалась ими обоими и любила их, и живо представляла себе цветущий луг, на котором стояла мама, молоденькая и прелестная,

с играющим на ветерке колечком волос, и представляла отца на паровозе, тоже молодого и красивого («почти такой красивый был, как Геня»,— сказала мама и на минуточку затуманилась). Но Юльке трудно было представить себе отца пристающим к незнакомой девушке на станции, а маму, свою маму,— кокетничающей в ответ («до чего они оба были некультурные!»). И уж вовсе дико было — как это мама уехала с человеком, который представлялся ей привычным обольстителем («какая пошлость!») и о котором она ничего не знала («а вдруг бы оказалось, что он замаскированный диверсант?»). Тут был вопиющий пример того самого непроверенного чувства, против которого старики предостерегали молодых,— какую цену имели для Юльки их предостережения.

— В общем, бог знает как они жили, когда были молодые,— вздохнув, заключила она и встала.— А посуду, Андрюша, будем держать в кухне, в шкафчике. Буфет некуда, и он кошмарно дорого. Покажи кухню.

В кухне молодая женщина, в платочке и калошках на босу ногу, стояла на подоконнике и мыла окно.

— Здравствуйте,— сказала Юлька.

— Здравствуйте,— ответила женщина с подоконника.

— Она будет вашей соседкой,— сказал Андрей.

— Понятное дело,— сказала женщина веселым певучим голосом.— Как получил комнату, так и невесты налетели.

— Нет, она у меня давно,— сказал Андрей.— Она была в девятом классе, когда мы решили.

— Вы одна все убрали,— сказала справедливая Юлька.— Следующий раз буду убирать я.

— Да уж это как водится,— сказала женщина.— Главное, знаете, горячая вода во всякое время, и в кухне, и в ванной, вот удобство! И не захочешь, а лишний раз помоешь пол, поскольку воду греть не надо!

Заплакал ребенок. Женщина скинула калошки, спрыгнула с подоконника и убежала.

— И малыш есть, какая прелесть,— сказала Юлька и, открыв кран, подставила под него руку.— Не горячая, чуть-чуть теплая... Нет, постой, пошла горячей.— Она стояла с серьезным, задумчивым лицом, держа руку под струей, а он смотрел на нее с обожанием, и все сильнее ему хотелось поцеловать ее. Но он был воспитан ею в строгих правилах.



*Глава тринадцатая*

## ЖИЗНЬ КОРОТКА

Дорофея возвращается из Сочи шоколадно-загорелая, довольная, с большой корзиной фруктов. Ее отличное настроение не испорчено тем, что Геннадий ее не встретил: «Добрый признак — значит, работает».

— Девочки, ох! Если бы вы только знали, как там хорошо,— еще лучше, Ленечка, чем было!

Она ходит по дому, разбирает свой чемодан, на ходу обрывает с бегонии засохший листок и смотрится в зеркало.

— В бабки пора записываться, а я надумала наряды шить — видела на курорте костюмчик один, больно понравился, вот посмотрите.— Она берет карандаш и клочок бумаги и рисует костюмчик.

— До чего странно, Юлька — студентка, как время пролетело, ты подумай, Леня!.. А мы с тобой давай не поддаваться времени.

— А мы и не поддаемся,— замечает Леонид Никитич.

— Ни за что давай не поддаваться. Пусть им великолепно, а нам чтоб еще лучше. Я в бабки к вашим детям не пойду. Не надейтесь.

Она подошла к Ларисе и Юльке, стоявшим рядом у стола, обняла обеих сразу и повторила, притянув к себе обе головки, светлую и темно-русую:

— Не думайте, девочки, сами будете ребятишек растить, я не бабка, я еще работник!

Лариса и Юлька вынимали фрукты из корзины и выкладывали на блюда. Стол был покрыт виноградом и большими сливами, темно-синими и желтыми, как янтарь.

— Красота!— сказала Лариса.— Даже жалко есть.

И вздохнула о том, что Павла Петровича нет в городе и нельзя угостить его этими фруктами. Три недели назад он уехал в Москву — поработать в библиотеке Ленина, закончить диссертацию; с тех пор — хоть бы открытка...

— Ну что значит жалко!— сказала Дорофея.— На то и везла тыщу километров, чтоб вы поели вволю, только вот этих синих, Фаля, отбери с полсотни — замариновать.

— Я ужасно рада,— вдруг сказала Юлька,— что ты в таком настроении. Дело в том, что я хочу сказать. Мы с Андрюшей женимся.

Она произнесла это с обычной храбростью, твердым голосом и, договорив, облилась румянцем.

— Еще что!— сказала Дорофея.— Вы дети.

— Ну конечно,— грустно сказала Юлька, кладя виноградину в рот.— Непроверенное чувство, и так далее.

— Конечно, непроверенное!

— Мы знакомы восемь лет,— слегка задохнувшись, сказала Юлька.— Сколько же еще проверять?

Она подняла глаза на отца, обращаясь к нему за поддержкой.

— Не знаю,— сказала Дорофея,— сколько надо проверять и как это проверяется... Но знаю, что рано.

— А что я скажу,— вмешалась Евфалия.— Сказать?.. Ты на три месяца была моложе, когда вышла за Леню.

— Что ты равняешь!— сказала Дорофея.

— Почему же не равнять? — спросила Юлька.

— Просто смешно!— сказала Дорофея.— Мы с папой — и вы с Андрюшей. Мы с папой прожили, слава богу,— скоро тридцать лет.

— Ты сама говорила, что вы совершенно не знали друг друга.

— Тридцать лет — это, я думаю, доказательство, что мы не ошиблись.

— Подумай, мама, что ты говоришь!— строго сказала Юлька.— Ведь для того, чтобы мы могли проверить, можем ли мы прожить тридцать лет, надо нам пожениться или не надо?

Леонид Никитич засмеялся. Лариса вышла из столовой.

— Это просто возмутительно,— сказала Юлька,— что вы относитесь несерьезно.

— Да ну,— сказала Дорофея,— что тут может быть серьезного. Посмотри на себя: девчушка.

— Ты тоже была!..

— Другое время было,— сказала Дорофея и стала звонить по телефону Чуркину.

— Я категорически отказываюсь говорить несерьезно!— сказала пунцовая Юлька.— В конце концов, мне разрешает закон!

— Кирилл Матвеич, здравствуй, я приехала, что у нас там делается?— восклицала Дорофея, не обращая на Юльку внимания.

Леонид Никитич, озадаченный, смотрел на них и думал: «Зачем это Дуся так... Одно дело Генька, другое — Юлька. У Юльки все получается... по-человечески. Бедный мой цыпленок, даже не поздравили отец с матерью»,— думал он, болея за Юльку. Но ничего еще не успел вымолвить, как они исчезли из столовой обе, мать и дочь. Он пошел их искать и нашел на заднем крылечке веранды; они сидели обнявшись, и Юлька прижималась щекой к материнскому плечу. Леонид Никитич стал над ними и спросил:



— Договорились?

Они повернули к нему оживленные, ласковые лица, и он обрадовался.

— И хорошо, хороший парень; мы же его знаем,— сказал он, обходя их и присаживаясь ступенькой ниже. Вздохнул и заключил с невольной грустью:— Ну, поздравляю тебя...

Тем же московским самолетом, что и Дорофея, вернулись в Энск Борташевичи, Степан Андреич и Надежда Петровна.

Зайдя к Сереже, Саша обнаружил большие перемены: чехлы были сняты, ковры расстелены, квартира приобрела богатый и гордый вид.

Пришел Санников и сел играть с Сережей в шахматы, и Саша сидел возле них с удовольствием, потому что, во-первых, они оба были сильные игроки и у них было чему поучиться, а во-вторых, Катя заглянула на минутку и сказала:

— Здравствуйте, мальчики.

Она стала еще красивее, и голос еще музыкальнее, или, может быть, Саше так показалось. Он был уверен, что все кругом от нее без ума, и удивился, что Санников даже головы не поднял и только нескоро, когда она давно ушла, пробормотал, двинув пешку:

— Здравствуйте, кто это там...

В Сережиной комнате было убрано, кухонный стол исчез вместе с росянками.

— Да, конец моему порядку!— сказал Сережа.— Живи не так, как хочется...

— А так, как мама велит!— басом сказал Санников.

Он был крепыш, круглолицый, стриженный наголо, похожий на молодого солдата. Саша закурил, Санников тоже достал папиросы и попросил прикурить.

В общем, им было вольготно, и никто им не мешал, но потом их позвали пить чай.

— Познакомься, мама,— сказал Сережа, выйдя в столовую,— мой новый товарищ, Саша Любимов.

— Здравствуйте,— сказала Надежда Петровна и осмотрела Сашу с головы до ног. Он ничего не имел против осмотра, потому что был хорошо одет и аккуратно подстрижен, но вообще Надежда Петровна ему не понравилась, чем-то даже испугала его.

— Здравствуйте,— небрежно сказал Санников, качнув туловищем, что означало общий поклон, и хладнокровно сел рядом с Сережей. Саша подумал, что этот грубоватый парень сумел себя поставить здесь как нужно.

Сам же он чувствовал стеснение, и чем дальше, тем больше,— из-за Надежды Петровны. Если бы его спросили: почему?— он ответил бы не колеблясь, хотя у него не было никаких доказательств: «Она плохая».

У нее злые глаза, и с этими злыми глазами она говорит любезности гостьям, сидящим возле нее, и угощает их.

Все в ней крупно, резко, отчетливо и определенно. Волосы ярко-каштанового цвета уложены правильными лоснистыми волнами. Большие губы обрисованы ярко-красной помадой. И ногти яркие, и каждый большой блестящий красный ноготь выделяется на пухлой белой руке. Одета она пестро и воздушно, как Катя, но это имеет такой вид, как если бы девичье платьице надели на гипсовый монумент.

Она большого роста, у нее большое ненатурально белое лицо, без загара (словно не провела она все лето под южным солнцем), странно-неподвижное — Надежда Петровна никогда не улыбается и не смеется. И не хмурится, и говорит, еле шевеля губами. Делает она это для того, чтоб не было морщин. Но Саше эта причина неизвестна, и он со страхом взглядывает на неподвижную белую маску с подбритыми и начерненными бровями и кроваво-красным ртом. Она ужасна; неужели никто, кроме него, не замечает, что она ужасна?! Саша был бы потрясен, если бы узнал, что среди своих знакомых Надежда Петровна Борташевич слывет самой интересной женщиной.

Пришел Степан Андреич, весело поздоровался, стал шутить, за столом смеялись,— у Надежды Петровны не двигался на лице ни один мускул, и только когда уж очень было смешно, она с закрытым ртом произносила что-то вроде: «гум, гум, гум».

— Ты прекрасно выглядишь,— сказала ей Катя.

— Да?— спросила Надежда Петровна.— Ты находишь?— И поправила пышные рукава.



— А где ваша Марго?— спросила одна гостья.— Почему ее не видно?

— Она еще на даче,— ответила Надежда Петровна.

— Бедняга Марго,— сказал Степан Андреич.— Все варит варенье и жалуется, что не остается времени для личной жизни.

— Гум, гум, гум,— сказала Надежда Петровна.

Все это не нравилось Саше. Ему было скучно и отчужденно. «Семья, конечно, прекрасная,— думал он,— только мать странная, совсем она не подходит ни Сереже, ни Кате. Лучше бы из гостий которая-нибудь была их мать. И Степану Андреичу она не подходит, он простой и веселый».

Сережа как будто понимал, что чувствует Саша,— он молчал, двигал бровью и, как только выпили чай, поскорей увел товарищей к себе...

Но вот расходятся гости, молодые и пожилые. Хозяева ложатся спать. Гаснет свет в окнах квартиры Борташевичей.

Спит Сережа, написав на сон грядущий несколько строчек [redacted] дневник. Спит Катя — она видит во сне обидно исчезнувшего из ее жизни капитана Войнаровского и третирует его без жалости. Могуче храпит умаявшаяся за день тетя Поля. Не спят и разговаривают только в родительской спальне.

Борташевича терзает бессонница. Давно терзает, он не спасся от нее даже на курорте. Хваленый курс лечения ничего не дал. Борташевич ворочается, перекладывает подушки, стонет и, не выдержав своей одинокой тоски, говорит вслух:

— Господи ты боже мой!

— Ты не спишь?— сдержанно спрашивает из темноты Надежда Петровна.

— Умный вопрос,— говорит Борташевич.— Нет, [redacted] сплю.

Он скидывает одеяло и, шлепая босыми ногами, идет в другой угол комнаты. Ощупью находит графин, наливает воду в стакан, и выпив, говорит:

— Полный дом баб, и некому поставить мне стакан воды на ночь.

Надежда Петровна мудро молчит. За двадцать пять лет совместной жизни все слова произнесены по двести пятьдесят тысяч раз. Она избегает раздражения, от раздражения лицо стареет так же, как от смеха.

Она лежит с закрытыми глазами и слушает, как вздыхает и вертится муж. Профессор предписал ей засыпать не позже часа, но попробуйте заснуть в такой обстановке... Не выдержав, она говорит сухо:

— Ты бы принял свой нембутал.

— Нет нембутала,— сейчас же ожесточенно отзывается Борташевич,— кончился, и в аптеках нет.

— Ну, бромурал.

— Бромурал не помогает ни черта.

— Тогда люминал. Двойную дозу.

«Ангельский нужно иметь характер»,— думает она при этом.

— Где люминал?— мрачно спрашивает Борташевич после долгой паузы.

— В тумбочке.

Он поднимается, зажигает лампу и, сопя, лезет в тумбочку. У него плачущее, несчастное лицо — люди не поверили бы, что бывает такое лицо у бодрячка Борташевича. Очень не идет это лицо пожилому плотному человеку в подштанниках, сидящему на корточках в клоунской позе.

— Надя...— говорит он шепотом, присаживаясь в ногах жениной постели.

— Ну?— спрашивает она с отвращением, не открывая глаз.

— Ты действительно думаешь, что Ряженцев ничего не имел в виду?

— Нет, это невыносимо!.. Когда это было, чуть не три месяца назад... Нет, так жить нельзя!

— Постой, понимаешь, как было?.. Ты понимаешь, он когда говорил, то прямо посмотрел на меня... Но это могла быть случайность, как ты считаешь? На кого-то ведь ему надо было смотреть.

— Да что он говорил хоть, ты мне скажи! Он ведь вообще говорил? Он говорил *вообще,* в спрашиваю?

— Вообще, и о Редьковском в частности... А может быть, ему понравилась моя речь, он и посмотрел...

— Ложись спать!— говорит Надежда Петровна.

— Ты считаешь — ничего?..

— Больное воображение, лишь бы меня мучить.

— Так ты считаешь — пустяки?— бормочет Борташевич, блуждая глазами по ее лицу.— А почему он мне до сих пор не позвонил? Четыре дня, как мы вернулись, а он не звонит...



— Некогда ему, нет срочных дел к тебе, вот и не звонит.

— А может быть, он... Может быть, у него мысли... В связи с пожаром... Тебе не кажется?

— Боже мой! Какое отношение к тебе? Где связь?

— Как хочешь, он бы должен позвонить. Он тогда в отпуску был, понимаешь?

— Ну?

— Вдумайся: он был в отпуску. Он еще не вернулся — я уехал. Обязательно он бы должен мне теперь позвонить... спросить...

— Но ведь установлено, что пожар возник из-за плохой проводки! Ведь доложили ему! Ложись, а то люминал потеряет силу.

— Да... установлено...— Пауза.— А если... заподозрят?.. Ты понимаешь...

— Не могу, не могу!— задыхающимся шепотом перебивает она, мотая головой по подушке.— Псих, больше ничего! Истерзал!.. Ты же мужчина!— говорит она громче, с презрением, садясь на постели.— Так распуститься!.. Сейчас же уходи и... («дрыхни», хочется ей сказать, но она удерживается)... и спи,— говорит она интеллигентно.— Спи, дурачок.

Он покорно заползает под свое одеяло и тушит свет. Когда Надежда Петровна начинает говорить таким драматическим голосом, это сигнал к прекращению разговора: она, значит, потеряла свою мудрую выдержку, еще немного — и начнется истерика, визг на весь дом.

Он лежит и, тяжело вздыхая, смотрит в потемки. Потом — нескоро — говорит:

— Тебе легко. Ты не видела, как уходил Редьковский.

Потемки не откликаются.

Все тише ночь. Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Издалека донесся грохот одинокого трамвая. Люминал не действует, зря глотал. И чего ждать от таблеток, чем тут помогут таблетки...

Четверть века назад в ***-ской краевой конторе парфюмерного треста сидела за машинкой девушка Надя.

Она не была красавицей, но каждый посетитель, хотел или не хотел, обращал на нее внимание. Представьте себе: голые столы, фиолетовые чернильницы, кипы грязно-серых скоросшивателей, и среди этого канцелярского убожества — благоуханный букет из свежих роз; обратите вы на

него внимание? То-то. А сходство с букетом Надя в высшей степени умела придать себе. Никто, кроме ее домашних, не знал, сколько на это затрачивалось сил физических и душевных, как много и прилежно возилась бедняжка Надя с утюгом, иглой и продукцией парфюмерного треста. Посторонние не знали об этих усилиях, об этих, так сказать, невидимых миру слезах, а видели результат: платьица неимоверной чистоты, вкуса и свежести, белоснежную шейку с шоколадной родинкой, румянец — нежнейший, маникюр — новехонький, завивку — самую модную, на высоко открытых стройных ногах — тончайшие чулки без единой морщинки. (Когда на таком чулке спускается петля, поднимать ее крючком или иглой — сущая каторга; а аппарат для этой цели в ту эпоху еще не был изобретен).

Надя пришла в трест из «Полиглота». Так назывались курсы иностранных языков, стенографии и машинописи, организованные в начале нэпа группой дельцов. Обучение на курсах стоило дорого, но Надин папа, портной, ничего не жалел, чтобы обеспечить дочери будущее. От языков Надя отказалась: она не очень-то любила учиться, а для достижения той жизненной цели, которую она избрала, достаточно было незаконченного школьного образования. Для достижения жизненной цели важно было одно: скорее оставить убогий кружок папиных знакомых и заказчиков (бог знает что за шантрапа, приносившая в перелицовку дрянные костюмы) и соприкоснуться с многообещающим миром, где ходят, помахивая упругими скрипучими портфелями, крупные хозяйственники, нэпманы в брючках-«бутылочках», суженных книзу, и зеленые выдвиженцы, не соображающие, какие возможности свалились им в руки вместе с выдвижением на руководящую работу.

За шесть месяцев Надю обучили в «Полиглоте» стенографии и машинописи по новейшей системе. Большой зал, уставленный рядами грохочущих «ундервудов», внушал благочестивое отношение к конторскому труду. Преподавательницы, солидные особы, прекрасно одетые и причесанные у парикмахера, наставляли учениц в том смысле, что служащая девушка должна быть как картинка, это внутренне дисциплинирует и способствует служебному успеху. Надя чутко прислушивалась к этим наставлениям...

В те годы была безработица; даже девушкам, отлично владевшим машинописью и стенографией по новейшей системе, не так-то просто было получить работу. Но папин



заказчик, главный бухгалтер ***-ской конторы парфюмерного треста, устроил Надю у себя в учреждении (сколько папе это стоило, Надя не знала точно). И вот Надя — букет из роз — сидела, скрестив под столом ножки, у окна в уголку, ее лакированные пальцы порхали по клавиатуре машинки, изредка она вскидывала глаза и сейчас же опускала их с бесстрастным выражением: я занята, не отвлекайте меня болтовней, ваши анекдоты мне нисколько не интересны!

Во время заседаний (мы в ту пору заседали мучительно долго; недаром Маяковский ратовал в стихах за «искоренение всех заседаний») у стола управляющего появлялась Надя с горсточкой тонко отточенных карандашей — стенографировала... Непременно находился какой-нибудь любитель, который добровольно брался оттачивать ей карандаши. Она принимала это как должное — не поблагодарит, не улыбнется. Всякий понимал: знает себе цену гражданочка. И покуда тянулись прения, деловые мужчины следили усталыми глазами за лилейной ручкой, уверенно-небрежно скользящей по бумажному листу... Кончалось заседание, все выходили из табачного дыма желтые и раскисшие, а Надя хоть бы что: убирала свои карандаши и, обмахнув пуховкой щеки, чтобы смягчить румянец, отправлялась к машинке расшифровывать стенограмму.

— Драгоценная сотрудница!— говорило начальство.

Молодые счетоводы и пожилые товароведы пробовали за нею ухаживать. Со счетоводами она иногда ходила в кино, но не допускала глупостей в темноте, это ведь все была голь перекатная, вроде самых завалящих из папиных заказчиков. С товароведами никуда не ходила: у всех у них были бдительные старорежимные жены, она боялась сплетен и скандалов. И что такого особенного — товаровед? Она хотела мужа с большими перспективами; хотела видного положения; хотела денег. Конечно, хотелось и любви; но любовь — роскошь, которую можно позволить себе только после того, как будет достигнута главная жизненная цель. Надя любила после работы пройтись, одна или с кем-нибудь из женщин-сослуживиц, по главной улице, постоять перед витринами. После голодного, холодного, неуютного военного коммунизма так приятно было любоваться голубыми песцами, котиками, кружевными рубашками, вынырнувшими из небытия с помощью той изворотливой частной инициативы, которая «из мухи делает слона и после продает слоновую кость».

Летом на главной улице этого шумного южного города в две шеренги стояли цветочницы, продавали пышные, великолепные, тревожащие воображение цветы; под полосатыми тентами бесчисленных кафе нэпманы и нэпманчики ели мороженое и заключали коммерческие сделки; у них были свои женщины, шикарные и наглые, без предрассудков; Надя ненавидела их; здесь наживали и тратили не считая, как будто предчувствовали, как ничтожны их сроки; никому не было дела до миловидной конторской служащей и ее вожделений. Она проходила, выказывая безразличие, хотя алчная зависть сжимала ей горло. И так же безразлично из-под полосатых тентов смотрели на нее, ковыряя в зубах, чернявые южные дельцы.

Прошло два года. Много было исписано карандашей, много израсходовано снадобий, придающих девушке сходство с букетом роз, а шелковых чулок сколько изношено — разорение!— и Надя стала уж подумывать, что, видимо, ее тактика устарела, что секретом достижения жизненной цели владеют те женщины, которые кутят с мужчинами в кабаках, делают аборты и плюют на все на свете.

Но вот в широкое кресло управляющего конторой сел, смущенно ухмыляясь, Степан Борташевич. Не руководящая должность смущала Степана: перед тем он работал заместителем заведующего на заводе «Саломас» и проявил способности. Смущал непривычный шик: шелковые шторы с фестонами, ковер на полу, стеклянный шкаф, где на стеклянных полочках были выставлены флаконы и флакончики, коробки, баночки и тюбики с изделиями треста: духи, одеколон, пудра, зубная паста, губная помада, туалетное мыло, крем от веснушек, ночной крем, крем под пудру, крем для смягчения кожи рук, шампунь, фиксатуар... Пахло в кабинете, как в парфюмерном магазине. Борташевич потрогал свое кожаное кресло цвета кофе с молоком, стеганное на манер одеяла: чистое шевро; а окружность — два зада свободно уместятся; и сколько же такая меблировка сто́ит? До чего не похож был этот кабинет на комнатушку Степана на заводе, комнатушку, отгороженную от счетного отдела некрашеной фанерой. Борташевич был парень простой, без буржуйских замашек.

«Культура!— подумал он.— Богатеет республика! Посмотрели бы наши ребята, куда меня посадили».



До революции, мальчишкой, он работал на заводе «Саломас», сперва чернорабочим, потом на прессе. Поджаренное подсолнечное семя горячим потоком текло по рукаву в пресс из печного закрома. Степан включал рубильник: пресс, жужжа, приседал, в резервуар стекало темно-золотое душистое масло. Оно шло на производство саломаса — жира, употреблявшегося для производства мыла. Степан ел хлеб, макая его в теплое подсолнечное масло: хорошая еда! Как-то в армии, в непогоду, на неприютном ночном привале, под мокрой шинелью, он поделился с товарищами воспоминанием: «Вот, ребята, на заводе я работал — семечки жал; славное дело! Не тяжелое. И дух такой хороший — просто весь ты этим духом пропахнешь... Сытно пахнет и приятно. И тепло...»

В армию он пошел добровольцем. В восемнадцатом году, когда городом при помощи интервентов овладели белогвардейцы, много рабочих ушло с красными частями, и Степан Борташевич в их числе. Сначала был бойцом, а после ранения и контузии служил по интендантству. Демобилизовавшись, вернулся на «Саломас». Что можно устроить жизнь иначе, ему и не представлялось. «Э, проживу!»— думал он о своем будущем.

На заводе его встретили хорошо — с заслугами товарищ. Он попросился на пресс, но его приставили к хозяйственной части, а вскоре назначили заместителем заведующего. Подвернулась симпатичная дивчина, он встречался с нею по вечерам в клубе рабочей молодежи. Дивчина запевала, и Борташевич с удовольствием пел вместе с комсомольцами:

Я на «юнкерсе» летал,
Чум-чара, чу-ра-ра,
Нигде бога не видал —
Ку-ку!

Погуляли, попели, потом сходили в загс и расписались. Как-то само собой это вышло.

Работал Борташевич с увлечением. Он был хороший организатор, старался изо всех сил, его полюбили. Завод «Саломас» выпускал туалетное мыло. За годы разрухи рецептура была забыта, мастера разбрелись. На бирже труда квалифицированных мыловаров не было. В газетах ругали «Саломас» за качество продукции: мыло получалось вязкое и клейкое, шибало в нос грушевой эссенцией; то совсем не мылилось, а другой раз чуть смочишь водой,

весь кусок размокал в кисель... Потребители писали жалобы, сбыта не было, продукция залеживалась.

Борташевич навел справки; удалось установить адрес одного старичка, работавшего раньше мыловаром на «Саломасе». Борташевич съездил за ним в деревню и привез его на завод. Может быть, не так уж много знал и умел тот старичок; но до того ему хотелось оправдать доверие, до того он, как говорится, мобилизовал свой опыт и смекалку, так терпеливо и дружно помогали ему заводские организации, что через два месяца «Саломас» стал выдавать вполне приличную продукцию; а через полгода эта продукция конкурировала с мылом «Букет моей бабушки», популярным среди населения...

Так начинал Степан Борташевич. Радостно ему в те дни работалось, легко дышалось... Когда его назначили в контору богатого всесоюзного треста, он не испугался: что ж, и там буду так же работать, войдя в курс; с завода только жаль уходить... Но уж очень тут все внушительно. Ишь ты, как бывший управляющий поставил дело: верно, так и требуется, недаром его перевели с повышением в Москву... Один главный бухгалтер чего стоит: виски седые, говорит бархатным голосом, осанка — прямо тебе Наркоминдел, а не торговая контора. «Надо будет и мне держаться внушительно,— подумал Степан,— чтобы не нарушать общую картину. Назначила партия на такую должность — понимай, приноравливайся к обстоятельствам...» Вошел посетитель: модные куцые брючки, ботинки с длинными носами, рант прошит золотистым шелком, бритое лицо осыпано розовой пудрой... «Костюм новый придется купить. Не умею я этого ничего...» И он еще раз пожалел о своем стареньком уютном заводе, где все было просто, как дома, где женщины в конторе так же повязывались красными платочками, как и работницы в цехах, и звали его «Степа». И если он чихал, они кричали из-за фанерной перегородки: «Будь здоров!»

В кабинет вошла Надя: принесла бумаги на подпись. Она говорила с новым управляющим почтительно и в то же время сочувственно, как будто он попал в затруднительное положение и нуждался в деликатной поддержке. На ней было темное строгое платье, серебристые чулки обливали высоко открытые ноги. На губах лучшей, высококачественной помадой было нарисовано томное сердечко. Борташевич сидел перед нею в своей полинялой косоворотке и мятом пиджаке, сурово насупясь: он боялся уронить себя, пролетария, перед этой конторской барышней, которая, судя по ее рукам, настоящей работы не пробовала. Но барышня стояла скромно и видом своим как бы говорила: «В обиду не дамся, но место свое знаю, будьте покойны». Уходя, сказала дружелюбно:



— Если вам что-нибудь понадобится, Степан Андреич,— вот звонок, позвоните, это звонок ко мне.

«Нет, она ничего себе»,— подумал он, глядя, как она идет на своих высоких каблуках, мягко и пружинисто ступая по ковру и позвякивая маленькой связкой ключей, надетой на палец.

А скоро она стала ему очень нужной: помощница, которой вполне можно довериться. Она тактично помогала ему освоиться на новом месте, разобраться в незнакомой номенклатуре и понятиях. Держала его бумаги в образцовом порядке, напоминала по утрам, какие дела предстоят ему сегодня. Не раз выручала его из трудного положения: когда являлся неприятный ему посетитель (она умела с первого взгляда отличать таких посетителей), Надя отрывалась от машинки и спешила на помощь неотесанному управляющему; и если Борташевич начинал повышать голос, Надя ловко включалась в разговор и настраивала его на правильный тон. Увидев, что Борташевич ей доверился, она занялась его манерами: «Вы умеете так прекрасно держаться... Вас уважают за ум... Для чего же ругаться, да еще кулаком стучать? Он весь бледный сидел...»

— Так ведь сволочь!— возражал Борташевич, прижимая к груди тощие кулаки.— Вы же слышали — так и юлит, чтобы объегорить государство... Частник, гад!

— Во-первых, частников допустила советская власть — значит, есть от них какая-то польза?

— Вы, Надя, не понимаете: это тактический ход партии. Частник существует временно.

— Но все-таки с разрешения существует, правда?

— Все равно, нэпман мне не товарищ!

— Кто же спорит, конечно не товарищ, но он к вам по делу пришел в учреждение. А вы его обругали по-уличному... И, во-первых, хоть нэпман, но образованный человек. Напишет жалобу, очень приятно...

Нарисованный рот шевелился, как красный цветок; струи парфюмерных ароматов лились на Борташевича — он слушал и думал: «Черт его дери, а ведь верно, раз уж приходится иметь дело с нэпачами, надо личные антипатии спрятать в карман и держаться культурно...»

С двенадцати до часу в конторе был перерыв на завтрак. Надя входила без звонка, стелила на письменном столе белоснежную салфетку, принесенную из дому; за Надей уборщица несла на подносе чай и бутерброды. «Жидкий чай,— строго говорила Надя,— подайте другой». Борташевич пил и думал: «Хорошо иметь возле себя такого человека...» Он рос сиротой, в теткиной семье, в бедности; никто никогда его не нежил; и сейчас у него салфеток не водилось, они с женой обедали и ужинали в столовой, занимались в читальне, дома бывали мало. Надя опять появлялась, прибирала на столе и спрашивала: «Больше ничего не нужно? Я могу пойти в кафе?»— как будто она была раба, а он владыка, который мог запретить ей завтракать ■ положенный по закону час.

Борташевичу нравилось, что она так ставит вопрос. Когда интеллигентная и красивая девушка добровольно признает твою власть над нею, ты поднимаешься в собственных глазах. И это не подхалимство: со всеми другими она независима и официальна, даже с московским начальством, приезжающим для обследований и инструктажа. Очевидно, что-то в нем, Борташевиче, есть особенное...

«А ■ самом деле,— подумалось Степану,— ведь не зря меня партия выдвинула. Тоже, значит, заметили, что чем-то ■ выделяюсь...»

Благодаря Наде он помаленьку стал чувствовать себя зрелым мужем, талантливым руководителем, крупной персоной, заслуженно владеющей великолепным кабинетом и великолепной секретаршей.

Он стал позировать: рассуждая о делах, вставал и прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и глубокомысленно склонив лоб, как мыслитель; или, слушая собеседника, откинется на спинку кресла, вытянет пальцы и бесшумно наигрывает по столу, и сощуренными глазами рассеянно смотрит вдаль...

До сих пор он скупо высказывал свои мысли, считая их мало кому интересными; и вдруг они стали казаться ему значительными, достойными обнародования. Он полюбил выступать на собраниях и выступал пространно, любуясь своими речами и обижаясь, если ему говорили: «Короче». Полюбил представительство: сидеть ■ президиуме, возглавить комиссию, быть делегированным на какую-нибудь конференцию или хотя бы получить на нее гостевой билет стало для него делом самолюбия; не выбрали в президиум, не прислали билет — значит, не считаются с Борташевичем, недооценивают Борташевича. (Надя такие события тоже принимала близко к сердцу: «Как, вам не прислали билет?! Странно!») Он сшил себе новый костюм, купил скрипучий портфель и шелковые носки ■ шашечку.



Работа в конторе, налаженная его предшественником, шла гладко, про Борташевича говорили: «Справляется». Старые заводские товарищи, встречая его, восклицали (кто восторженно, а кто скептически): «Покажись; экий солидный стал! Ну, молодец. Смотри только, Степа, не забурей!»— а у жены его Тони спрашивали: как там Степан — не буреет? Тоня, смеясь и простодушно хвастая успехами мужа, отвечала, что буреет: до того забурел, что в молодежный клуб его не вытащишь, ходит только ■ «Деловой дом». Тоня продолжала работать на «Саломасе» и жить своей жизнью: комсомолка, рабфаковка, существо такое же угловатое и жизнерадостное, каким был Борташевич до знакомства с Надей. Пока муж сидел на вечерних заседаниях или в «Деловом доме», жена изучала науки либо пела с ребятами и девчатами песни. Борташевича она не называла мужем — это слово среди ребят и девчат считалось неприличным, мещанским,— она звала его по фамилии, а ■ разговорах с подругами —«мой парень». Детей у них не было, так как они постановили, что Тоньке нужно сначала окончить рабфак, «а уже потом пеленки и вся эта мура».

Иногда жена приходила к Борташевичу ■ контору... Лучше бы она этого не делала! Уж очень получалось для Борташевича наглядное сопоставление — Тоня и Надя. Ведь жил же он дружно со своей Тоней, и никогда ему раньше не приходило в голову, что можно ее бросить, можно сойтись с другою... Ну, а тут,— где же было Тоне тягаться ■ очарованиях с Надей. Раза два Тоня заставала Надю у мужа ■ кабинете. Надя сейчас же уходила, чтобы не мешать начальнику переговорить по личному делу с супругой, но Борташевич замечал ее сострадательный взгляд, украдкой брошенный на Тоню, и корчился от стыда. Вдруг он увидел — сам, без подсказки!— что у Тони чулки вечно в складках, и какого черта она носит эту мохнатую дрянь, он же купил ей шелковые! И туфли у Тони на низких каблуках, и ногти некрасивые, и голова острижена как у мальчишки, элегантности ни на копейку... А ведь лицом прехорошенькая! Так почему же она не видит, что одета безобразно?! И что за манера, входя, кричать на всю контору: «Здорово, Борташевич!»— как будто он не управляющий, а пионер из базы, где она вожатая...

И он раздраженно, а потом и враждебно думал, что Тоня всегда говорит громко, даже дома. «Привыкла кричать, чтобы перекричать других. Везде приходится орать: и в клубе, и с пионерами,— совсем разучилась разговаривать по-человечески...» Тоня беззаботно говорила о чем-то важном для нее, о каких-то учебниках, о контрамарках в театр, она ничего не подозревала, считала ревность мещанством, не могла связывать своего парня с этой накрашенной «девахой»—«явно беспартийной»... Тоня уходила, не заметив переживаний мужа, а Надя возвращалась в кабинет и продолжала деловую беседу тоном глубокого понимания и участия. Борташевичу было отрадно слышать ее мягкий голос, он готов был плакать о своей погубленной молодой жизни...

В его тяготении к Наде объединилось все: благодарность за признание и поддержку, и молодая страсть, и почтение к накрахмаленной салфетке, и восхищение Надиной выхоленностью и вкусом (наконец-то нашелся человек, который в должной мере оценил ее старания). Тут пахло не пошлым учрежденческим флиртом. Борташевич любил и страдал, и пылал в своем стеганом кресле. Надя держалась как в первый день знакомства; а он был доверчив и девственен, несмотря на то, что знал женщин. Он не догадывался о том, что она ведет бухгалтерский учет его взглядам и намекам и что подчиненные пересмеиваются за всеми дверьми.

Окончательно он погиб, сходив с Надей в «Деловой дом». Накануне она всю ночь не сомкнула глаз — готовилась к походу. (С нею бодрствовали взволнованные папа и мама.) Зато в наступление пошла во всеоружии. Борташевич подмечал мужские взгляды, бросаемые на Надю, и выпячивал впалую грудь. «Ни у кого нет такой спутницы!»— констатировал он гордо. После концерта он пошел ее провожать с ощущением, что что-то произойдет. Но не мог решиться; разговоры текли по другим руслам. Надя устала ждать и, прощаясь в подъезде, посмотрела на начальника долгим взглядом. Этот взгляд, таинственный и обещающий при свете дрянной засиженной лампочки, сыграл роль искры, попавшей в бочку горючего. Бочка взорвалась. Конъюнктура прояснилась. Надя была воспитана в очень нравственной семье. Она кротко признавала, что начинена буржуазными предрассудками; она сама себя осуждала, но ничего не могла поделать со своей натурой; и даже безумно полюбив молодого управляющего, не позволила ему ничего, кроме жгучих поцелуев,



пока он не развелся с Тоней и не оформил новый брак по всем правилам, с уплатой гербового сбора.

Ей пришлось оставить службу — неудобно мужу и жене работать в одном учреждении,— и с тех пор она жила домашней хозяйкой, не порываясь к независимости. Сперва они обитали под родственным кровом папы-портного, который оказался милейшим старичком, душевно расположенным к советской власти и ее порядкам (частников безусловно надо давить, но по-человечески жалко, когда такого старичка притесняет финотдел); потом Борташевичу дали комнату.

У папы-портного было пианино, на котором Надя наигрывала фокстроты; была старая люстра под бронзу и медвежья шкура, побитая молью. Борташевичу все это очень понравилось. Нечто подобное он видел на экране. «Шик-модерн!»— подумал он на тогдашнем своем жаргоне. Шик был нажит, несомненно, честным трудом — папа-портной целый день сидел на столе в задней комнате и шил. Борташевич с уважением ступал на плешивого медведя и гордился, когда Надя садилась к пианино, играла и пела: «Малютка Нелли, хау ду ю ду, мы верим, Нелли, в твою звезду».

Его смущало, что он, здоровый молодой мужчина, ответственный работник, хозяйственник, не принес в уютный улей этих трудовых пчел ни ложки, ни плошки. Перебираясь с Надей в собственную комнату, он сделал большой заем в кассе взаимопомощи, чтобы обставиться получше; денег не хватило — попросил еще, ему дали.

Он очутился в долгах, и хотя им жилось прилично, но далеко не роскошно, и Наде по-прежнему стоило больших трудов и лишений — выглядеть букетом роз. Борташевичу было очень неловко, что она сидит допоздна, штопая кружевце или терпеливо поднимая петлю на чулке. «Плюнь,— говорил он,— купим новые». А она отвечала со вздохом: «Что ты: купим, а потом опять не хватит до получки. Уж я как-нибудь в стареньких похожу». Нарядившись и смотрясь в зеркало, говорила печально: «Все из ничего сделано. Представляешь, как мне пошел бы соболь? Мурочка купила соболий воротник». И ему становилось стыдно, что у нее нет соболя, а есть соболь у замухрышки Мурочки.

Он ходил с Надей в гости — у них вдруг оказалась куча знакомых, все высшая интеллигенция, как говорила Надя, беспартийные спецы и члены коллегии защитников — и видел женщин в соболях и песцах, в котиковых

шубках, в брильянтовых серьгах и кольцах, а у Нади было скромное, хоть и модное шевиотовое зимнее пальтецо, и украшения у нее были пустяковенькие, дешевка... Когда они потом возвращались домой, она всю дорогу молчала и вздыхала, и он чувствовал себя виноватым.

— И откуда берут?..— срывалось у него. Она отвечала:

— Люди умеют устраиваться... А что можно сделать на партмаксимум? Только прожить.

Эти слова он слышал от нее часто, и в нем бродило недовольство, что такой выдающийся человек, как он, борец и деятель, поставлен в настолько мизерные условия — даже не может подобающим образом одеть свою жену.

Как-то он сказал:

— Надо бы их к нам пригласить, неудобно — всё ходим, а к себе не зовем.

Она ответила покорно:

— Разве мы можем их пригласить? У нас и посуды нет приличной. Ни хрусталя, ни серебра. Осрамимся перед всеми.

Ему перестала нравиться их посуда и захотелось иметь такие же сервизы, какие он видел у своих новых знакомых.

Захотелось, чтобы у него и дома стояли такие же кресла, как в служебном кабинете. А то придут люди — не на что посадить, кроме паршивых стандартных стульев.

Захотелось жить широко, беспечно, не считая рублей. За что боролись, в конце концов! Борташевич — и живет в одной комнате... С женой, и еще ребенок будет!

Надя, заплакав, сказала, что с ребенком в одной комнате немыслимо, она себе не представляет, Степа совсем не будет иметь отдыха,— и сделала аборт. Вы слышите?! Жена Борташевича вынуждена была сделать аборт из-за жилищных условий!

Надя сказала, что Мурочка с мужем уезжают в Харьков. И что они, наверно, согласились бы перед отъездом обменяться квартирами, но, конечно, они захотят за это большие деньги.

— Большие!— мрачно повторил Борташевич.— Где же взять?

Тогда Надя сказала, что у нее есть одна мысль. Эта мысль пришла ей в голову, когда она еще служила в тресте. Очень просто можно достать деньги. Она изложила свои соображения, как можно безнаказанно — никакая ревизия не подкопается — перепродать в частные руки немного дорогого дефицитного сырья. Она излагала план



преступления спокойно и деловито, словно речь шла о расшифровке стенограммы. Борташевич ужаснулся, отшатнулся.

— Что?..— спросил он.— Да это же — да ты знаешь...

И обложил ее густым солдатским матом. Она расплакалась, он кричал:

— Чтоб ты мне больше не смела, чтоб и больше не слышал, поняла?

Она просила прощения: она женщина, она не знала, что это так нехорошо и страшно. Ведь она не говорила — много продать; она сказала — продать немножко. Она думала, что такая громадная и богатая страна не обеднеет, если где-то какой-то Борташевич возьмет для себя немножко чего-то.

— Голова твоя садовая!— сказал он.— Я ж коммунист!

Дня два он сердился на нее, потом помирились и стали обсуждать, у кого бы занять на обмен квартиры. Надя сказала:

— Знаешь? Попробуй занять у главного бухгалтера, у него есть; я думаю, он тебе даст, это папин старый знакомый.

Неудобно просить взаймы у своего подчиненного, но Борташевич решился — очень уж ему хотелось получить Мурочкину квартиру. Седовласый бухгалтер, похожий на дипломата, откликнулся на его стыдливый намек с большой готовностью. «Степан Андреич,— сказал он своим бархатным голосом с благородными вибрациями,— о чем разговор, для зятя моего друга...» И принес Борташевичу три тысячи —«до лучших времен, Степан Андреич, пусть вас это не беспокоит...»

«Интересно, откуда такие суммы у совслужащего?»— подумалось Борташевичу... но он не стал спрашивать: деньги лежали перед ним, квартирка у Мурочки была отличная... «Какое мне дело, ведь я отдам!»— подумал он и протянул руку...

Они с Надей купили у Мурочки квартиру, купили меховую шубу Наде и много всякого другого барахла. Им было неловко рассказывать, что деньги дал им бухгалтер, и Надя пустила слух, что ее папа выиграл по займу; естественно — старики щедро поделились с единственной дочерью... С этих пор Борташевич жил припеваючи.

Он несколько раз пытался отдать бухгалтеру часть долга, и всегда бухгалтер любезно отклонял эти попытки, уверяя, что лучшие времена еще не настали, и заботливо

осведомлялся, не надо ли еще — и иногда Борташевич брал...

А потом долг так разросся, что было бессмысленно пытаться выплатить его.

И Борташевич перестал пытаться.

К этому времени он понял уже все. Понял — и закрыл глаза, заткнул уши, обманул сам себя, сам перед собой сделал вид, что ровным счетом ничего не понимает и понимать-то нечего, зарвался вот только с этим долгом,— но выплатит обязательно, обязательно... когда-нибудь. А пока долг рос, Борташевич подписывал бухгалтеру все бумаги, которые тот просил подписать, и увольнял сотрудников, которых бухгалтер советовал уволить, и принимал людей, которых рекомендовал бухгалтер: каких-то агентов, какого-то кассира...

Он не мог не догадаться, что под маркой возглавляемой им конторы государственного треста темные личности обстряпывают беззаконные дела; и что роскошные знакомые, которые так гостеприимно кормят и поят его из своих фарфоров и хрусталей, тоже получают какую-то пользу от этой конторы, потому и кормят, и поят, и улыбаются... Но опять и опять он затыкал уши, зажмуривал глаза, отпирался сам перед собой: почему темные личности? Обыкновенные советские служащие, члены профсоюза, ничего не происходит, ничего знать не знаю, я же только подписываю бумаги!..

Он продолжал отпираться и тогда, когда, выдвинув ящик стола, находил там деньги, неизвестно кем положенные.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он негодяй, обворовывающий рабочее государство, которому кругом обязан.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он позорит партию, что его надо выгнать оттуда помелом, как скверную гадину.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что ему место за решеткой, а не среди вольных людей.

У него были минуты трепета, когда он, неверующий, постыдно молился: «Господи! Сделай так, чтобы перевели на другую какую-нибудь работу!..»— потому что здесь отступления уже не было, он был опутан, его держали десятки цепких и беспощадных рук, и он предвидел, что на любой хозяйственной работе будет застигнут теми же соблазнами и, по слабости, не устоит... Были грозные толчки по ночам: вдруг он просыпался, обливаясь холодным по́том, в тоске и ужасе...

Проходила ревизия, ничего не обнаруживалось страшного, никого не схватывали за воротник и не призывали к ответу,— он распрямлялся, светлел, говорил себе: «А? В чем дело? Стало быть, все в порядке? Стало быть, я перед партией чистый? А?»— хотя не мог не понимать, что все далеко не в порядке, а просто опытные жулики обвели ревизоров вокруг пальца.

Так или иначе, он перестал обижаться на то, что его держат в тени и не дают ему представительствовать. Стал скромен: в тени так в тени. Что он собой представляет? Рядовой работник, без должной культуры, ему учиться и учиться...

Он учился. И работал как вол, он и прежде любил работу, а теперь она стала единственным средством забвения и самооправдания. Как огня он боялся, что эти подонки, затянувшие его в сеть, осмелятся открыто выказать фамильярность по отношению к нему. Он буквально втягивал голову в плечи, когда кто-нибудь из них приближался... Но они вели себя тактично, он был начальник, они — подчиненные, уважающие начальника.

Постепенно он привыкал к своему новому положению. Все легче ему было обманывать себя. Он был молодой, веселый по натуре, нервы были крепки. Он привыкал. И к положению, и к тем житейским благам, которые оно ему приносило.

Контора была на хорошем счету. В канун первой пятилетки Борташевича благополучно перевели в другой город, на другую хозяйственную работу. На новой должности он выписал к себе своего верного бухгалтера... Тут, правда, вскоре случилась осечка: бухгалтер посоветовал ему отдать под суд нескольких работников —«а то как бы нам за них отвечать не пришлось, Степан Андреич»,— добавил он. Борташевич послушался совета и отдал под суд работников, указанных бухгалтером. Почему-то они все пошли на скамью подсудимых без протеста, во всем признались и никого не запутали — очевидно, они действительно были виноваты, а больше никто. Впоследствии Борташевичу еще приходилось отдавать под суд разных сволочей, и они всегда признавали себя виновными.

Бухгалтер опочил в бозе, подготовив себе достойных преемников. Борташевич продолжал жить дальше.

---

Двадцать с лишком лет он прожил после этого. Никто не узнает нескладного желторотого Степана в солидном, самоуверенном человеке с седыми висками и добродушно-скептической усмешкой в глазах.

Он интеллигентный человек: заочно окончил финансово-экономический институт, учится в вечернем университете марксизма-ленинизма; много прочел книг; может поговорить о политике, литературе, театре; держится просто и достойно, так держатся люди, которым есть за что уважать себя. Его воспитывали, да и сам он изрядно поработал над собой, чтоб быть, как говорится, на уровне.

Он видный работник.

Он нежный отец.

Личина ли это? И да и нет. Личина — потому что все эти качества скрыли от общества Борташевича-преступника, Борташевича-негодяя. Но с другой стороны: работа доставляет Борташевичу искреннее удовольствие. Он любит рассказывать случаи из своей многолетней деятельности — как, например, он строил универмаг, или переоборудовал складские помещения, или как в тридцать третьем году, когда после слома кулацкого саботажа в Ростове вводили продажу хлеба без карточек, он, Борташевич, за двое суток, по звонку из ЦК, организовал сто хлебных лавок и пятьдесят пекарен. Рассказывая, он любуется своей энергией и организаторскими способностями, любуется скромно и симпатично, без акиндиновской заносчивости... Такое же удовольствие он чувствовал от того, что может судить о новой пьесе и о новом романе, и от людского уважения, и от Катиных спортивных успехов, и от вольнодумных Сережиных выходок. Все это занимало его всерьез, все бы это могло быть настоящей жизнью, как у других людей; а личиной стало потому, что у него была, кроме этой внешней жизни, еще другая, подспудная, черная, о которой хорошие люди не знали, а знала только мразь вроде Надежды Петровны.

Неулыбающийся накрашенный идол! Он ненавидел ее — и не мог обойтись без ее поддержки, в минуты растерянности он бросался к ней, и больше броситься ему было не к кому,— но она могла предать его, не моргнув, ей ничего не стоило, она ведь его никогда не любила... А сама вышла бы сухая из воды, обеспеченная до конца дней своих,— он был убежден, что у нее припрятано на этот случай предостаточно... Она жила, как хотела. Несколько месяцев в году проводила на курортах — черт ее знает, что она там делала, ему наплевать... Он же позволял себе



иногда интрижки с секретаршами, не больше. Она, должно быть, знала об интрижках, но не возражала: ей было, в сущности, тоже наплевать на него. Если наружно их отношения выглядели благообразными, то только потому, что были дети, которых боялись они оба и которые вносили в семью свои убеждения, вкусы, понятия и требования, полученные на стороне — в школе, в пионерском отряде, в комсомоле, в вузе.

Дети! Что будет, если они когда-нибудь узнают?..

Думать об этом нельзя. Борташевич не думал. Но он их любил. Он их любил!

Как они плакали, когда им сказали, что умер их дедушка-портной. Они были тогда маленькие и плакали не стесняясь. Старому пройдохе не снилось, что его смерть оплачут ангелы. И всего-то он два раза гостил у них недолгу, а детишки привязались... Как же они плакали бы, если бы умер он, Степан Борташевич!

А Надежда Петровна с помощью Марго пустила по городу слух, что получила после отца наследство — бриллианты, принадлежавшие еще ее матери; и стала открыто носить кулон и кольца, которые через Марго купила во время войны и боялась надевать.

Она вообще мастерица была придумывать, как тратить деньги, чтобы их широкий образ жизни не вызывал подозрений.

Все же, видимо, она в конце концов зарвалась. Какие-то пошли шепоты. Борташевич отдал под суд группу работников. Громоотвод — судебный процесс — помог. Молния не ударила. Но спать Борташевич перестал: шепоты не прекращались, они возникали то тут, то там. А Борташевич знал, что, когда шепчут внизу, в массах,— это страшнее шумного начальственного гнева: из шепотов рождаются грозы и обвалы.

В последнее время шепоты участились...

Лично ему никто ничего не говорил, ничто не изменилось в отношении к нему товарищей, но он спиной чувствовал, как приближается опасность.

Каждое мгновение мог раздаться громкий открытый голос, говорящий: «Ты — вор». Это мог быть голос Ряженцева. Голос Чуркина. Голос Сережи или Кати...

Перед людьми Борташевич по-прежнему являлся осанистым, благодушным, всегда готовым пошутить и ответить смехом на чужую шутку. Трапезничал в кругу семьи. Сдавал зачеты в университете марксизма-ленинизма.

Он вжился во все это, и часто ему казалось, что это реальное его существование, что он на самом деле хороший коммунист, полезный член общества, отличный семьянин... Мираж исчезал, Борташевич видел себя голым, одиноким среди людей.

Так было на бюро горкома, когда исключали Редьковского.

Борташевич действительно чувствовал то, о чем говорил в своей речи, и высказывался со свободной и красивой манерой человека, привыкшего выступать на заседаниях. Говоря, видел себя со стороны, нравился себе и всерьез признавал за собой право наставлять других в вопросах морали. Сел — все рухнуло: увидел, что, говоря о Редьковском, говорил о себе; ощутил знакомую противную горечь во рту, похолодел, подметив случайный взгляд Ряженцева... Редьковский, уходя, споткнулся — Борташевич не выдержал, оглянулся на него. Ему не было жалко этого рвача, туда ему и дорога. Он потому оглянулся, что ему предстоял такой же уход. Но сразу он подумал: «Где там. Меня на бюро не пустят. Редьковского пустили, а меня и на порог не пустят в горком...» Он увидел себя, Степана Борташевича, под конвоем, увидел ошеломленное, несчастное, враз постаревшее лицо своего приятеля Чуркина, жесткий взгляд Ряженцева, детей... Детей он не увидел. Он не хотел их видеть.

Надежда Петровна может сколько угодно уговаривать его и обливать презрением: он не только слышит и угадывает шепоты — он чувствует, как вокруг него затягивается петля. Что за петля — еще неизвестно, но затягивается. Ясно — базу поджег Цыцаркин, чтобы замести следы. А после пожара два заведующих магазинами подали заявление об уходе — в связи с переездом, по семейным обстоятельствам, в другие города.

Побежали крысы с корабля! Борташевич решительно пресек панику. Никаких уходов! Потрудитесь, товарищи, работать, в торговом деле возможны всякие казусы, прокуратура разберется... Вира — майна! Все по местам!

Но дело идет к развязке. Это видно. Это в воздухе. Ждать нечего.

Чего ждать? Завтрашнего дня?.. Которую ночь Борташевич лежит и смотрит в потолок. Его завтрашний день — это разоблачение и позор. На порог не пустят... Да он и не сможет прийти. Как же он придет, если они будут знать.



Лучше бы не наступал никакой день. Пусть всегда потемки. Лежать. Считать, чтобы уснуть, до тысячи, потом до пяти... Вспоминать что-нибудь хорошее...

А вспоминать тоже нечего. Пекарни, универмаг?.. Все это было вперемешку с мерзостью... Надину любовь?..

О детях вспоминать нельзя.

Ужасно, если нечего ждать. Еще ужаснее, если нечего вспомнить.

Оказывается — жизни не было.

Нет, была, конечно. Но крошечная, куцая и очень давно,— забылась... Он жил, жил. Он был молодой и хороший, с выпирающими ключицами. Задыхаясь, таскал тяжелые мешки. Ел хлеб, макая его в душистое масло, и верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. Воевал, был ранен — его лечили, учили, приняли в партию, доверили ему ответственную работу. От души он пел песни и от души смеялся. В полинялой косоворотке, простосердечный, беззаботный, с рвением к работе и чистыми мыслями, воссел он когда-то в красивом кабинете на важнецкой должности — советским хозяйственником... и все. Дальше нет ничего. Дальше он крал, врал, жрал, покупал Надежде Петровне разные цацки...

Жизнь кончилась в тот день, когда он протянул руку за деньгами. Он сам оборвал свою жизнь.

Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Бледнеет потолок: светает. Завтрашний день смотрит в окно.

## *Часть третья*

---

**И** город пробуждается.

Первыми на чисто подметенные улицы выходят рабочие, это их час. За ними покидают дома студенты, школьники, хлопотливые хозяйки с клеенчатыми сумками и плетеными авоськами и служащие учреждений. А когда весь этот деловой народ разойдется к своим местам, появляются младенцы в колясках, старички, живущие на покое, и разный прочий люд.

Рано утром, до начала работы в горисполкоме, Дорофея с Чуркиным и главным архитектором Василием Васильевичем едут осматривать новый дом, который вскоре

будет принимать комиссия. Построен дом на Точильной, окраинной улице (в старину там жили точильщики, от них улица и получила название); Василий Васильевич, загодя выговоривший себе квартиру в новом доме, возражал против того, чтобы этот дом строили в таком запущенном месте; но Чуркин, верный идее ликвидации окраин, настоял на своем. Окруженный маленькими домиками, деревянными заборами и лоскутными садиками, новый пятиэтажный, с восемью подъездами дом выглядит великаном и красавцем. Он уже покрыт, застеклен и окрашен снаружи, остались мелкие внутренние работы. В нижнем этаже — помещения для магазинов и общественной столовой. Выше — квартиры с балкончиками, со светлыми кухнями; ванные комнаты облицованы белым кафелем; паркетные полы, ниши с полками для книг и для посуды. Все квартиры хороши, но в одной, во втором этаже, Дорофея заметила еще дополнительные украшения и усовершенствования: двери с узорными матовыми стеклами, необыкновенные стенные шкафчики, камин, лепные карнизы... У Василия Васильевича, когда осматривали эту квартиру, лицо было расстроенное; белые склеротические руки дрожали... Делая вид, что не замечает его смятения, Дорофея сказала:

— Миленькая квартирка. Это чья же такая?

Василий Васильевич потащил из кармана пузырек с нитроглицерином... Дорофея беспощадно повторила вопрос. Чуркин пробормотал с неудовольствием:

— Тебе вот непременно подавай уравниловку. Ну, отделали одну квартиру индивидуально, подумаешь. Не для кого-нибудь — для стоящего человека...

— А ты подсчитал,— спросила она,— во что эта индивидуальная отделка обошлась горсовету?

Чуркин не ответил, она сама подсчитала в уме — и вздохнула.

— А список когда утвердим?— спросила она.

Она имела в виду список лиц, которые будут поселены в этом доме. Жилотдел подготовил список давно, а Чуркин медлил с утверждением.

— Обдумаем сперва, тогда и утвердим,— проворчал он в ответ на ее вопрос и пошел прочь от нее.— Время терпит.

— Где ж терпит?— настаивала она, идя за ним.— Заселять скоро.

— Ладно, ладно,— сказал Чуркин, нервно моргая.— С кондачка не годится. Чересчур много желающих. Только и слышишь — давай площадь. Кто и молчал, так теперь, когда увидели дом...

— Перестали молчать, естественно.

— Естественно. А дом не резиновый. Это, может, Исус Христос кормил, понимаешь, пятью хлебами десять тысяч человек или сколько там. А тут реализм. Тут каждую кандидатуру надо обмозговать,— сказал Чуркин и решительно заговорил с Василием Васильевичем о дымоходах.

«Наобещал квартир и не знает, как выйти из положения»,— подумала Дорофея. Принципиальный, упрямый Чуркин сплошь и рядом бывал мягким как воск, и некоторые люди пользовались этим.

Вышли на улицу, и стало ясно, что ее нужно немедленно мостить и асфальтировать,— уж очень безобразно выглядели деревянные мостки и рытвины по соседству с новым домом, с его нарядными балконами, с громадными, еще пустыми магазинными витринами.

— Этак задождит — моментально грязи нанесут в магазин,— сказала Дорофея, и Чуркин начал договариваться с Василием Васильевичем и прорабом, чтоб не позже завтрашнего дня расчистили площадку вокруг дома, послезавтра начнем приводить улицу в божеский вид.

День полон трудов. Кто строит дом, кто станок; кто отвешивает хлеб покупателям, кто нянчит ребенка, а кто пишет книжку. А когда поработано на совесть — почему не повеселиться? Нынче вечером в парке культуры — проводы лета, большое гулянье с фейерверком и аттракционами.

Оркестр без устали играет танцы; подхваченные репродукторами, на весь парк гремят краковяки и вальсы. Танцевальная площадка не может вместить желающих; танцуют в аллеях и на дорожках цветника. Пляшут молодые люди в пиджаках, ученики ремесленных училищ, курсанты военной школы и бесчисленное множество девушек. Попадаются костюмированные — то мелькнут расшитые рукава и головка в венке из цветов, с разноцветными лентами, развевающимися в танце, то пройдет, томно обмахиваясь платочком, запыхавшаяся «ночь» в черных с блестками одеждах. Цепи цветных фонариков разбегаются в темной листве. Смех и говор звучат не смолкая. Лихорадочно работают продавщицы мороженого: чуть покажется продавщица с коробом своего сладкого товара, как девушки, молодые люди в пиджаках, ремесленники и курсанты обступают ее тесной толпой; несколько минут суеты и давки — и толпа рассыпается,

и продавщица налегке поспешает за новой партией товара...

Блистая серебряными позументами, кружится смешная карусель с верблюдами и жирафами. На жирафе и малиновых яблоках катят задумчивые, углубленные в себя Юлька и Андрей.

— Значит, решено,— говорит он сдавленным от любви голосом.— Завтра я иду.

Она молчит, ей вдруг жутко ответить «хорошо». До сих пор, при всей ответственности ее намерений, это было похоже на игру; Андрей, хоть считался женихом, был просто нежный брат и преданный товарищ, и она ходила вольная, ничем не скованная,— но вот завтра он заявит в загс об их браке, а через неделю их зарегистрируют, она переедет к нему в ту комнатку на седьмом этаже, для которой сама покупала занавески, и что же это будет, куда денется ее теперешняя, милая и свободная девичья жизнь?.. Карусель кружится, музыка играет, лица людей, стоящих кругом, мчатся, мелькая, все плывет,— Юлька закрывает глаза...

— Так решено,— повторяет Андрей и берет ее за руку. И в первый раз она вздрагивает от горячего и твердого прикосновения его руки.

— Хорошо,— отвечает она с закрытыми глазами.

Третья смена музыкантов заняла места в оркестре, дважды прокрутили механики старый веселый фильм «Антон Иванович сердится»... Но кончается и эта ночь, гаснут цветные фонари, пустеют аллеи, забросанные окурками и бумажками, на окурки падает, кружась, желтый лист,— прощай, лето, до нового свидания!

Новое разгорается утро, в это утро на энском аэродроме встречают болгарских гостей.

Солнце еще не печет; за серо-зеленым полем, в лощине, курится туман, сквозь туман темнеет дальний лес. Небо золотистое, спокойное, в нем стоит мягкий моторный рокот.

Над громадно-распахнутым полем идет на посадку самолет. Он опускается, разрастаясь — летучая серебряная чудо-рыба с большой головой,— и садится на дорожку шагах в двухстах от встречающих. Отворяется дверца, люди выходят. На ветру, поднятом винтом, взвиваются красные клетчатые юбки болгарок... С чувством торжества и красоты происходящего Дорофея идет к ним, и навстречу протягиваются смуглые руки, блестят белые зубы на смуглых лицах...



Старуха Попова выделяется среди всех черным платьем и черным платком. У нее горбоносое худое лицо, усики над губой и узловатые крестьянские руки. Ей подносят букет; Попова держит его как сноп, цветы не идут к ее вдовьему наряду и резкому, словно из темного камня вырезанному лицу. Красавица Марчева хочет взять букет, чтобы помочь ей; Попова не отдает и строго говорит что-то.

— Что она говорит?— спрашивает Дорофея.

— Она увезет эти цветы в Болгарию,— по-русски отвечает Марчева, опережая переводчицу.— Она их положит на братскую могилу, где похоронены ее сыновья. У нее оба сына казнены при фашистах,— вполголоса добавляет Марчева, с доверием глядя на Дорофею черными, как черный бархат, длинными глазами в густых ресницах.

Они едут в гостиницу. Сентябрьский город ярок и пышен. С великолепным напряжением всех сил цветут цветы на бульварах и в скверах. От цветов, от расставленных всюду ларьков с грудами бледно-зеленой капусты, красных помидоров, оранжевой моркови и лиловых слив небывало пестры улицы. Урожай вливается в город и затопляет его своими дарами и красками. Старуха Попова прямо сидит в машине и, медленно поворачивая голову, осматривает все суровым зорким взглядом. «Что она чувствует,— думает Дорофея, глядя на ее орлиный профиль,— что чувствует в нашей стране старая женщина, которая все отдала, чтобы ее народ мог жить свободно, как наш?..»

В гостинице гостьи переодеваются. Попова достает из чемодана заботливо сложенное ситцевое платье и тоже переодевается, изредка вмешиваясь в общий разговор. Дорофея видит ее старые, жилистые руки и мытую-перемытую рубашку деревенского холста с большой серой заплатой из нового холста на спине, и забытое воспоминание входит в сердце: мать! Мать стоит и переодевается — те же руки с узлами рабочих мышц и с острыми локтями, те же терпеливые мужицкие лопатки под рубашкой, и рубашка такая же, с аккуратно наложенной грубой заплатой, только изба низка и темна, мглистый день развидняется еле-еле... Облик показался и скрылся; и осевшая могила на краю погоста мелькнула далеко, далеко... Дорофея смотрит на Попову, и так ей понятно все, что было и есть в душе и в жизни Поповой.

В чемодане у Поповой лежат сельскохозяйственные брошюры на русском языке.

— Товарища Попову интересует опыт передовых колхозников,— переводит переводчица.— Она руководит кооперативным хозяйством. Большая борьба; кулаки стреляли в нее; в лесу, когда она ехала на станцию; но не попали.

А у Марчевой с лица, покрытого персиковым пушком, не сходит сияние. Марчева сильная, яркая, она так хороша, что от нее не хочется отвести глаза, в ней все красиво — от богатых смоляных, бурно вьющихся волос до стройных ног в щегольских башмачках. О ней рассказывали, что девочкой она партизанила вместе с братьями и была отважна до безрассудства; но в изящной женщине с нежным голосом и сдержанными манерами не узнать отчаянной партизанки, которая в мужской одежде пробиралась козьими тропами по горам.

— Вы очень хорошо говорите по-русски,— замечает Дорофея.

— Я скажу вам секрет,— говорит Марчева.— Я не оставила надежду, что все-таки буду учиться в русском университете. В СССР. Не поздно учиться: мне двадцать три года,— говорит она с некоторой тревогой, полувопросительно подняв к Дорофее свои прекрасные глаза с голубыми белками.

— Почему же это до сих пор не удалось устроить?— спрашивает Дорофея.

— Я вышла замуж,— отвечает Марчева, опуская ресницы...

Надо же, чтобы в такой хороший день на глаза Дорофее попался Геннадий. После приема у Чуркина и осмотра города гостьи приехали в Дом техники. И тут на улице Дорофея столкнулась с сыном.

Он шел с двумя здоровенными парнями в длиннейших сверхмодных пиджаках. У всех троих были самодовольно-брезгливо ухмыляющиеся лица —«э, мы цену себе знаем, нас ничем не удивишь!»— откровенно нагло заявляли эти лица... Волосы чуть не до плеч — мода, что ли, у них не стричься?..— и походка как у паралитиков. Они в упор рассматривали Марчеву. «Н-ничего!»— громко сказал один. «Да нет, примитив!»— сказал другой. Дорофее кровь ожгла щеки... Геннадий увидел ее и кивнул. Она не ответила, прошла к подъезду ему наперерез, не оглянувшись. На минуту она перестала слышать и соображать, что делается кругом...



«Чужой! Чужой!» — мучительно ясно и до конца ощутила она — никогда еще не было такой ясности и окончательности...

«...Везде чужой, во всем!»— с отчаяньем думала она, слушая вокруг себя говор на двух языках и силясь улыбаться...

...Перед вечером болгарки улетели. Опять было небо без облаков, пронизанное спокойным светом, и запах сена, и мягкий, важный рокот моторов в высоте над аэродромом. Серебряная машина стояла на дорожке, распластав могучие крылья.

— До виждане, до виждане,— говорили болгарки.

— Уверена, еще увидимся в жизни,— сказала Марчева, глаза ее нежно мерцали в черной опушке ресниц.

— Благодаря за всичко,— сказала старуха Попова.

— В добрый час. Приезжайте еще,— отвечала Дорофея, пожимая руки.

Загрохотал мотор. Горячий ветер дунул и затрепал траву. Самолет двинулся по дорожке, разбежался, отделился от земли и, удаляясь, стал подниматься. И гул его влился в гул других моторов, парящих в высоте.

Дорофея стояла, сложив руки щитком над глазами, и смотрела ему вслед, пока он не скрылся, сверкнув искоркой.

Один из самолетов, круживших над полем, снизился и сел на дорожку. Из него стали выгружать ящики с виноградом. Ветерок, набежав, донес до слуха пыхтенье локомобиля и говорок трактора... Золотая пора забот и изобилия, время сбора плодов и нового сева! Как бы хорошо было в тот час Дорофее... если бы не это чувство беды и вины, что тенью ложится на поле и небо,—«моя вина, я ответчица,— и как же теперь развести мне эту беду?..»

*Глава четырнадцатая,*

## ПОСВЯЩЕННАЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ВОПРОСАМ БРАКА

— Вас просит сын,— сообщила секретарша.

Дорофея покраснела от гнева: она не хотела его видеть! С плакатной наглядностью представилась вчерашняя позорная встреча на улице... Секретарша ждала. Дорофея сказала:

— Пусть зайдет.

Геннадий вошел оживленнее обычного, вид приподнятый:

— Мать, здравствуй. Зашел проститься, поздравь: завтра еду.

— Куда это?— крепясь, осведомилась она сухо.

— В Одессу. Из Одессы в Батуми — морем. На теплоходе «Россия». Здорово?

— Очень. Это что же, уже отпуск?

— Понимаешь, вырвал-таки. Не хотели давать. Вырвал без сохранения содержания. Знакомый оказал протекцию...

— Откуда деньги на поездку?

— Понимаешь, так удачно, как раз выиграл по займу,— солгал Геннадий.— Но если ты в форме... я бы ничего не имел против, если бы ты добавила.— Цыцаркинские деньги уже несколько порастаяли, и было бы не худо получить для такого экстраординарного случая дотацию от матери.

— Я не в форме,— сказала она.— И вообще, Геня...

Тон был непривычно жестким. Геннадий насторожился.

— Мне не нравится твой образ жизни. Мне не нравится этот отпуск.— Она сидела, маленькая за большим столом, и с каждой фразой энергично пристукивала карандашом по столу, лицо ее выражало боль и решимость.— Мне не нравятся твои знакомые. И мне это все надоело.

— Откуда ты знаешь моих знакомых?

— Видела вчера. Что это такое? Откуда взялось? Что за шпана около тебя?

— Никакая не шпана. Обыкновенные ребята... В чем дело? Ты не хочешь, чтоб я ехал? Но почему? Каприз с твоей стороны...

— Ты посмотри на свой пиджак. Да ты в зеркало, в зеркало, это курам на смех, такая длина... А поповские патлы для чего? Я спрашиваю — патлы зачем?

— Ну, мода...

— Чья мода? Не знаю такой моды.

— Ну, стиль... Мало чего ты не знаешь! Тебе непременно нужно, чтобы я был похож на всех.

— А тебе и твоим дружкам — лишь бы не быть похожими?

— А что?

— Для чего вам быть непохожими? Чтобы отделиться? От кого отделиться? Ты соображаешь — от кого?



— Фу-ты, из мухи слона... Да я на юге подстригусь. Завела об ерунде... Нет денег — ну и нет, обойдусь, а при чем тут пиджак, патлы...

— При чем — и вот при том!— сказала она и, стукнув, сломала карандаш.— Нарочно не хочешь понять, что тебе говорят! Какое ты имеешь право — без сохранения содержания? За чей счет? За мой? Зинаидин? Сашин?.. Ты сколько месяцев за пятилетку отработал? На проценты с какого такого капитала живешь? Чужим трудом живешь! Кто ты есть? Цель у тебя какая? Назначение твое? Можешь ты подумать наконец?..

Она все повышала голос, приходя в ярость,— ну вы подумайте, не вдолбишь ему, дурак он, что ли!.. Он рассердился:

— Пришел проститься по-хорошему... в кои веки что-то удалось... и на тебе, опять сцена! Жизни нет!.. Непременно живи так, как вам хочется...

— Кому это — «вам»?!! — крикнула она, вскочив, и уже не карандашом — кулаком ударила по столу так, что услышали в приемной.— Отделяешься? Отказываешься? Мы, значит, особо, а ты — особо?.. Эй, Генька! Смотри!..— прокричала она бешено.— Под ноги погляди — куда идешь-то!..

Быстро вошла секретарша.

— Дорофея Николавна, вас к телефону, Дорофея Николавна, успокойтесь,— заговорила она...

Движением руки Дорофея велела ей молчать.

— Придешь ко мне, когда станешь человеком!— сказала она Геннадию.— А пока не человек — не показывайся. Хватит с меня. Иди!

— Ах, так!.. Ладно!— сказал он и вышел.

— Ох, да что же мне делать!— простонала она, стиснув руки.— Какими словами говорить!..

Почувствовала — ноги не держат; опустилась на стул и подперла голову. Секретарша, испуганная, совала стакан:

— Дорофея Николавна, выпейте водички, что это вы, почернела даже вся, выпейте, расстроили вас...

— Явится — не пускать,— сказала Дорофея, еще задыхаясь. Глотнула воды и заплакала горячими слезами.— Вот видите, Тася, как... Сердце отдала — и видите, что получилось...

---

— Черт знает что!— фыркал Геннадий, шагая по улицам. Он не придал чересчур большого значения тому, что только что произошло: понервничала мать, а сейчас уж, наверно, одумалась и кается; не может она прогнать его всерьез... Но — кому приятно все-таки выслушать такое, как он выслушал? Да еще в учреждении, при секретарше,— на весь город пойдет... И погода испортилась, день помрачнел, забрызгал частый дождь, а Геннадий, как на грех, был без плаща. Эх, ну ладно, как-нибудь доживем этот неудачный день. Завтра утренним поездом — тю-тю, поехали!.. Одесса, Батуми, каюта первого класса, знакомства, шелковые пижамы, всего-то раз я был на юге,— когда мы с матерью ездили?.. В тридцать девятом, мне четырнадцать лет было, что я в этом юге понимал...

Так, утешаясь мыслью о предстоящих развлечениях, он дошел до автобазы. Требовалось заглянуть туда еще на четверть часа, чтобы подписать акт о передаче имущества. Отворив дверь диспетчерской, где две девушки одновременно разговаривали по телефону, Геннадий остановился: у стены на деревянном диване сидела Лариса, держа на коленях сумочку и зонтик.

«Что, и эта сделает сцену? Или попытается возобновить отношения?» Геннадий был убежден, что стоит ему захотеть, и Лариса бросит невзрачного человечка, что был с нею на вокзале, и вернется к нему, Геннадию. Смешно представить себе, чтобы после такого мужа она полюбила того человечка.

— А!— сказал он, мотнув головой.— Здравствуй.

— Здравствуйте,— ответила она, вставая. Руку не протянула.— Мне надо с вами поговорить.

— Ну, что ж,— сказал он,— заходите.— И отворил перед нею дверцу в закуток, носящий название кабинета: узкое, в ширину окна помещение за деревянной перегородкой, обставленное убого — стол, два стула и на стене железный прут с наколотыми на него бумагами,— поработала бы мать в таких условиях, у нее вон какой кабинет.

— Садитесь.— На «вы» так на «вы», оно и лучше: разошлись и соблюдаем дистанцию. Видимо, она не по поводу возобновления отношений. И сцены, кажется, не будет, спокойно держится Лариса.

В ней не было заметно волнения, только некоторая раскованность. Солидней стала: развилась грудь, округлилась шея, движения плавные. Н-да, вкус у меня всегда был. Она понравилась ему, он принялся кокетничать: откинул волосы, засвистел, сделал интересно-задумчивое лицо. Она поглядела равнодушно на эти манипуляции и сказала:

— Я по делу. Нужно оформить развод.

Перестав свистеть, он кивнул с готовностью: можно оформить, почему не оформить...

— Можно и по одностороннему заявлению,— продолжала она,— но лучше, чтобы и вы подписали. Юрист составил заявление, я принесла.— Она достала бумагу из сумочки. Очень выигрывает женщина, когда у нее глаза не на мокром месте...

— Где подписать?

— Вот здесь подпишите.

— Здесь? Ага.

Он взглянул на нее долгим взглядом и с удовольствием увидел, что она краснеет.

— Так здесь, значит.

— Да, да.

«И с этим человеком я была близка»,— подумала она с отвращением, в точности расшифровав его жесты и взгляды.

Она долго откладывала бракоразводные формальности, чувствуя страх перед необходимостью рассказывать посторонним людям, судьям, о перипетиях своей несчастной семейной жизни и, рассказывая, снова и публично пережить всю эту горечь и грязь. Но теперь подумала: очень хорошо, что наконец решилась; лучше скорей через это пройти; только развязавшись окончательно, освобожусь от постыдных воспоминаний.

— А как вы сегодня вечером,— спросил Геннадий знакомым ей тоном ласкового снисхождения, подписав бумагу и возвращая ей,— не свободны?.. Может, сходили бы в ресторан? Чокнуться за развод...

— Вы глупы и грубы,— сказала она.— Больше ничего не могу вам сказать.— И вышла, не простившись и не поглядев.

Пришли дожди и осенняя скука улиц, по окраинам не пройти без калош. Правда, есть проблески: едва проглянет солнышко — начинает пахнуть мокрыми листьями, и живучая ромашка в расселине старой мостовой расправляет понурые лепестки и делает вид, будто ей предстоит тут красоваться еще бог знает сколько дней. И вообще жизнь идет, и в домике на Разъезжей готовятся к свадьбе, потому что никакие дожди не в силах воспре-

пятствовать людскому счастью, и осенью у нас в Энске празднуется столько же свадеб, сколько весной.

Юлька сидит на полу своей маленькой девичьей комнатки. Вокруг нее разложено все, что она накопила за девятнадцать без малого лет своей жизни. За девятнадцать лет человек, живущий на одном месте, накапливает, друзья мои, очень много. Любимые книги, фотографии, письма, школьные табели. Начатые и брошенные дневники. Театральные программки, брошки, коробки от конфет и флакончики из-под духов и одеколона. Незаконченное вышиванье, сломанные безделушки и мятые ленточки. И чего-чего нет в этом хозяйстве. Вот, например, этот маленький ключ: что он открывал? Не вспомнить. А вот записка. На ней фиолетовыми чернилами нарисовано сердце, проткнутое стрелой. Эту записку Юлька получила, когда была в четвертом классе. Ее написал один мальчик из пятого класса. Сердце толстое, немного кривое и очень лиловое. Но ведь жалко выбрасывать, правда?

Целый день сидит Юлька на полу и задумчиво перебирает все по листочку, чтобы самое важное и дорогое унести с собой.

Но вот Юлькина кровать, шкафчик с книгами, столик, зеркало, большой чемодан с одежками и маленький — с письмами, фотографиями и фиолетовым сердцем мальчика из пятого класса отправлены на грузовике в Ленинский район, в новый молодежный дом, и Юлька уже не Куприянова, и Юлька уже гостья на Разъезжей.

Свадьба прошла обыкновенно: сносили из соседних домов тарелки и стулья, кричали «горько», набежало видимо-невидимо девушек, продуманно причесанных и надушенных модными духами «Белая сирень», и Квитченко четырем девушкам сделал предложение, о чем наутро совершенно забыл... Из приглашенных не явился на свадьбу только Павел Петрович.

Он в тот вечер заканчивал диссертацию и одиноко торжествовал свою маленькую победу. Отнес рукопись машинистке, поставил на полку книги, которые пролежали на столе полтора года, выбросил черновики — и почувствовал себя странно свободным, неприкаянным, чего-то не хватало... Вдруг по почте пришло письмо от Ларисы.

«Мне нужно с Вами поговорить,— писала Лариса,— не можете ли Вы прийти 26-го в 11 ч. утра в городской сад, я буду ждать у фонтана».

У фонтана? Павел Петрович уловил классические ассоциации и наморщил лоб.



Подписано было: «Уважающая Вас Лариса». Бумага пахла сиренью... Он перечитал письмо. Попытался представить себе Ларису — не удалось: представилась белая блузка, кокошником уложенная темная коса, нежный голос; лицо ускользало...

Он пошел в районо на методическое совещание. Идя по улице, случайно взглянул на витрину магазина и среди пестрых тряпок и развешанных гирляндами кружев увидел две женские ноги — из мастики или пластмассы,— согнутые в колене, с вытянутыми, как у балерины, пальцами, они красовались в самом центре, демонстрируя чулки высшего качества. Павлу Петровичу не понравилась залихватская игривость этой рекламы, но тут же неведомо откуда пришла мысль: а ведь он за всю свою жизнь не купил ни одной пары женских чулок.

«И ни одной сумочки»,— подумал он, увидев рядом с ногами сумки.

Ночью шел дождь, шумел по крыше и стекал по оконному стеклу, кривые капли на стекле скучно блестели в зеленом свете лампы.

В одиннадцать часов утра в городском саду безлюдно и сыро. На опустевших клумбах умирают медленной смертью грязные лохматые астры. В бассейне на поверхности воды лежат коричневые листья. Лариса в белом шелковом шарфе, накинутом на голову, очень красива,— она очень красива, оказывается... Павел Петрович идет и не знает, что сейчас будет. Его слегка знобит.

— Вы приходите так редко...— говорит Лариса своим нервным, срывающимся голосом.

«Объяснение,— констатирует Павел Петрович.— Да... Но что же она замолчала? Почему она больше ничего не говорит?»

Лариса доходит до конца аллеи и поворачивает обратно.

— Я просто не могу так редко!— произносит она с места, на одном выдохе, словно не было никакой паузы.

И опять пауза. И что-то бурно расцветает в душе у Павла Петровича — какое-то бессмысленное ликование.

— Я должна вас видеть каждый день,— говорит Лариса, глядя не на него, а вперед, перед собой.

Павлу Петровичу становится жарко. В жару он ходит

от одного конца аллеи до другого. Губы его склеились от молчания.

— Когда вы уходите, у меня такая тоска...— слышит он.

«Необыкновенно, непонятно,— думает Павел Петрович.— Поразительно и великолепно, что у нее тоска».

По соседней аллее проходят двое, их скучные кепки мелькают над кустами меж стволов деревьев, громкие голоса спорят о каких-то лимитах... Павлу Петровичу нужно, чтобы они замолчали и прошли, и вернулась тишина, и в тишине он бы в полную силу пережил смысл того, что сказала Лариса.

Она говорит:

— Когда вас нет чуть не целую неделю... Я все время думаю, мне кажется, что вы не придете...

Молчать, наконец, противоестественно. Павел Петрович расклеивает губы, чтобы задать резонный вопрос:

— Почему не приду?

Его голос кажется ему чужим и диким.

— Не знаю,— говорит Лариса.

Целую вечность они ходят в безмолвии. Лариса останавливается.

— Ну, вот...— говорит она упавшим голосом.— Ну... Что же делать. Прощайте.

Она быстро идет прочь от него, а он смотрит и не понимает, зачем она уходит.

— Только тогда не приходите!— страстно говорит она, оглянувшись.— Тогда — ничего не надо, совсем...

И еще ускоряет шаг, и ему страшно — неужели сию минуту конец необычайному существованию, в которое он только что погрузился?

— Лариса!— восклицает он.

Галка, вспугнутая его криком, шумно вспархивает в ветвях. Сыплются желтые листья...

Лариса стоит и ждет. Он приближается с испугом в глазах.

— Ну для чего же!— говорит он бессвязно, поспешно беря ее за руку, чтобы удержать свое новое существование.

Она смотрит с сомнением, но сквозь сомнение в ее лице проступает, розовея, первое робкое торжество.

— Я же не знаю... Вы ничего не говорите...— так же бессвязно отвечает она, и из глаз ее льются слезы.

И он смотрит с восторгом на эти слезы, которые льются из-за него.



Его сердце наполняется благодарностью и готовностью ко всем дальнейшим неожиданностям, которые приготовила для него эта красивая женщина с белым шарфом на голове. Он не может отвести от нее взгляд. Это не та Лариса, которая звала его в гости и поила чаем. Эта — невиданная, чужая, но пусть она говорит и плачет и никуда не уходит.

Он ведет эту чужую, странную женщину к скамье, скамья влажная, он подстилает свой плащ. Они сидят рядом, он держит ее холодные руки. И с удивлением рассматривает тонкие, немного огрубевшие на концах пальцы с короткими перламутровыми ноготками, неизвестные, девичьи, отдающиеся ему. Что-то надо с ними делать, этого требует весь его организм; и он то сжимает их, то подносит к губам и греет своими губами.

Они сидят совсем недолго, но она встает и говорит, что ей пора в институт, уже три часа.

— Ну что вы!— говорит он, не веря. И она смеется блаженным, нежным смехом и, подняв рукав, показывает часики на запястье...

Он идет с нею по саду, по улицам, вплоть до дверей института — если бы предложила, пошел бы и в институт. Но она прощается.

— Я буду дома в девятом часу,— говорит она.— До свидания.

— До свидания,— повторяет он, не двигаясь с места.

Тяжелая дубовая дверь закрылась за нею. Мимо этой двери он проходил много раз, не замечая,— теперь она вошла в его существование, и вывеска тоже.

Он пошел по улицам один. Одиночество казалось незаконным, вызывало протест. Того, что было, было слишком мало. Сказано всего несколько слов из тысяч возможных.

Перебирал в памяти то, что сказано. Ничто не забылось, воспоминания были в сохранности. За каждым из них теснилось неразведанное.

Ярко, как при вспышке магния, он мог теперь представить себе ее лицо.

Но все же он не очень верил. Он хотел бы удостовериться, что новое существование не эфемерно; хотел бы это все закрепить за собой.

...Положить в карман, как положил вчера письмо...

Неужели это было только вчера?..

Он ходил до вечера. Иногда брызгал дождь. Потом

переставал. Один раз Павел Петрович обнаружил себя сидящим в кафе. На столике была чашка с бульоном и пирожок на тарелке. Бульон был горячий, Павел Петрович обжегся и увидел чашку, пирожок и прочее.

Около восьми он вошел в цветочный магазин. Опытные продавщицы расшифровали его желания, неясные ему самому, и соорудили букет из розовых хризантем. Букет, завернутый в бумагу, получился довольно громоздким, но Павлу Петровичу эта ноша была не в тягость.

Он вышел из магазина и сразу натолкнулся на одного из своих бывших учеников, Александра Любимова.

— Здравствуйте, Павел Петрович,— сказал Саша.

— Здравствуйте,— ответил Павел Петрович, остановясь невольно, потому что остановился Саша.

— Далеко идете, Павел Петрович?

— На Разъезжую.

— Давайте я вам пакет донесу. Это вы не гитару купили?

— Нет, это не гитара,— ответил Павел Петрович.— Это цветы. Спасибо, я сам. Всего хорошего, Любимов.

Саша проводил учителя глазами и зашагал своим путем — к Сереже Борташевичу. Он ходил туда каждый день, как на службу, в надежде повидать Катю. Служба была серьезная, бессрочная, без возможностей отлынивания и прогулов, без перспектив на повышения и награды.

А Павел Петрович дошел до маленького дома на Разъезжей и не успел позвонить, как отворилась дверь и Лариса встала на пороге.

— Идемте...— прошептала она, когда он молча отдал ей пакет, похожий на гитару.

Он стоял ступенькой ниже и не шел. Взял ее за локоть и слегка потянул к себе.

— Я не хочу туда,— сказал он беспомощно.— Пойдемте лучше куда-нибудь.

Ему показалось, что едва он войдет с нею в знакомую столовую и сядет пить чай — рухнет все, возле него очутится прежняя симпатичная и скучная Лариса, а эта исчезнет, и выяснится, что не было ни слов, ни слез, все мираж.

— Куда же?..— спросила она.

— Куда хотите,— ответил он, держась за ее руку и чувствуя ее дрожь. Вдруг осенило:— Ко мне, конечно!



Дрожь в ее руке усилилась, он тоже вздрогнул и выпустил ее.

— Как хотите,— сказал он резко и отчужденно.

— Хорошо,— сказала она и медленно пошла в глубину веранды. Он сказал ей вслед:

— Пожалуйста, наденьте белый шарф.

Густели хмурые сумерки. Рывками налетал сырой-ветер. Небо было закрыто тучей. В конце широкой улицы, за краем тучи, лежала желтая полоска зари. Павел Петрович ходил перед домом, опустив голову, засунув руки в карманы плаща...

*Глава пятнадцатая,*

## ПОСВЯЩЕННАЯ НЕПРИЯТНОСТЯМ РАЗНОГО РОДА

На прием к Дорофее пришел столяр Ефимов, которого она зимой устраивала на жительство в общежитии химиков. Маленький, хмурый и деловой, он сел против нее и вытащил из бумажника пачку бумаг.

— Как живете?— спросила Дорофея.

— По-прежнему на бивуачном положении,— сказал Ефимов.— И поскольку конца не предвидится, я к вам пришел.

Он протянул бумаги; они рисовали картину хождения Ефимова и его жены по жилотдельским мукам.

— У Тани ребенок, и у нас обещает быть,— сказал Ефимов.— Надо с нами решать. Обещано было в октябре. Теперь говорят — жди еще.

— А у заведующей горжилотделом вы были?— спросила Дорофея.

— И у заведующей был, и у самого товарища Чуркина,— ответил Ефимов.— Она меня к нему послала. Он, говорит, новым домом распоряжается лично, я без него не могу. А Чуркин говорит — потерпи еще. Я бы терпел; но ребенок требует кубатуры. В чем дело? Нам не обязательно в новом доме. Нам — комнату где угодно.

— Оставьте эти справки,— сказала она, нахмурясь.— Я вас извещу.

«Я так и знала,— думала она после его ухода, сердито ходя по кабинету.— Чуркин уже сам распределил квартиры в новом доме».

Среди чуркинских слабостей была та, что он совершенно пасовал перед так называемыми знатными людьми. Человек, имеющий известность, был для него на десять голов выше его самого. Когда кого-нибудь из энских граждан награждали или просто хвалили в газете, Чуркин гордился отеческой гордостью. «Вот у нас какие люди живут!»— говорил он.

Как-то на стадионе подошел отставной генерал Р. и на вопрос: «Каково самочувствие?»— пожаловался, что квартира стала тесновата, семья разрослась, у дочери — Чуркин, должно быть, слышал — двойняшки, а он, генерал, пишет мемуары, и его все отвлекает.

— Где выход?— спросил Чуркин, обеспокоившись за судьбу мемуаров.

Выход генерал видел в том, чтобы Чуркин дал ему квартиру в новом доме, а старую квартиру генерал оставит дочери, и тогда все будет в порядке.

— Добро!— сказал Чуркин.— Мы подумаем.

Потом пришел к нему на прием режиссер Л., заслуженный артист республики, и попросил разрешения быть откровенным. Чуркин разрешил, и Л., страдая, рассказал, что он разошелся с женой, а жить приходится в одной квартире, и это ад, потому что между женами, старой и новой, сложились ненормальные взаимоотношения.

— Я несколько раз был вынужден ночевать в театре,— сказал Л., тихо ломая длинные чистые пальцы и глядя в пол.— Творческая жизнь исключена.

— Гм!— сказал Чуркин.— Какая у вас площадь? Гм... И детей нет... А не обменять ли вам квартиру на две врозь, мы поможем.

Но Л. сказал, что старая жена ни за что не расстанется со старой квартирой, а он, Л., и новая жена — она тоже изнервничалась — мечтают о новой квартире, в новом доме, чтобы новую творческую жизнь строить на абсолютно новом месте... Чуркин грустно рассматривал его облысевший лоб, гусиные лапки у глаз и легкомысленный юношеский галстук и размышлял о том, как нехорошо пожилому мужчине, известной личности, ломать семью и ставить двух женщин в такое положение... Но решил, что сделанного не исправить, а нужно помочь. И укоризненным голосом пообещал Л. квартиру в новом доме.

«Я окружаю вниманием лучших людей,— уговаривал он себя, когда уже процентов восемьдесят новой площади



было таким образом обещано и его стала угнетать мысль, что он в этом вопросе наломал дров.— Мы обязаны окружать их вниманием. Да и нельзя считать восемьдесят процентов: какой-то метраж при переселении освободится. Тот, который останется после учета замужних дочерей, внуков, бывших жен... Гм». Освобождающийся метраж подсчитать было нелегко, многие выдвигали еще родителей, двоюродных братьев, престарелых теток...

«Все-таки останется порядочно, вот это и раздадим прочим гражданам из числа наиболее нуждающихся».

.Он не мог взять обратно обещания, которые надавал так щедро. Люди поверили ему и готовятся к переселению. Кое-кто, по слухам, распродал старую мебель и обзаводится новой. В случае отказа такой поднимется крик — только держись. Генерал напишет жалобы во все инстанции. Артист республики захандрит и запросится в другой город...

И Чуркин уже сердился на этих людей, не желающих подумать о нуждах других и хлопочущих только об удовлетворении собственных нужд; понимал, что они беззастенчиво используют его уважение к их заслугам, но в то же время ничего не мог с собой поделать. И когда Дорофея резко спросила: кто же, в конце концов, будет поселен в новом доме?— он вспылил:

— Да не волнуйся ты! Стоящие люди будут поселены, вот кто! Лучшие люди, да! Я читаю твои мысли, Дорофея Николаевна! У тебя всегда была тенденция к уравниловке!

И наговорил кучу резкостей, из которых она вывела одно: не много людей, нуждающихся в жилье, выиграют от сдачи нового дома в эксплуатацию; вдвое примерно меньше, чем выходило по подсчетам горжилотдела... К концу своего нервического монолога Чуркин раскаялся, захотел сгладить резкость, по-ребячески пробовал затронуть ее жалостливость:

— Устал, понимаешь, а тут еще этот дом... А отпуск только в ноябре — раньше Нина не приедет...

Дорофея игнорировала эту чувствительную тему.

— Видишь ли, Кирилл Матвеич,— сказала она,— мы с тобой не для того здесь находимся, чтобы создавать блага жизни избранным. Столяр Ефимов имеет такое же право на площадь, как всякий лауреат.

— Конечно! — сказал Чуркин ожесточенно.— Когда у нас на всех будут квартиры...

— Нет, и до этого тоже. И, короче говоря, я этот вопрос подниму на президиуме, имей в виду.

— А президиум скажет: неужели простое дело не можете решить в рабочем порядке, на черта вы тогда там сидите.

— Да, уж вы с Василием Васильевичем позаботитесь,— сказала Дорофея, сверкнув глазами,— чтобы на президиуме это было сказано! Ну, хорошо: партия так не скажет; я это дело доложу горкому партии. Пусть-ка Ряженцев нам поможет разобраться.

Чуркин был женат вторично. Первая жена его оставила. Жили дружно, и вдруг она сказала: «Кира, пойми, так сложилось, я люблю другого». Он подавил в себе ничтожные собственнические чувства обиды и ревности, терзающую боль расставания, страх за ее судьбу,— все подавил, скрыл слезы, которые жгли ему глаза, и благословил ее на честную жизнь с человеком, к которому потянулось ее сердце. К счастью, не было детей, он и представить себе не мог, как бы они делили детей...

Он никогда не сказал о бывшей жене ни одного осуждающего, ни одного неуважительного слова. Раза два они встречались в Москве — она жила теперь в Москве; он разговаривал с нею как старинный знакомый, расспрашивал, как ее дела, и рассказывал о своих делах.

После ее отъезда он долго чувствовал себя покинутым и испытывал болезненные рецидивы собственнических чувств, и чурался своего осиротелого жилья; потом боль притупилась; потом стала совсем тихой; потом перешла в легкую, без терзаний, грусть — но и эта грусть растворилась без остатка в великой страде и печали войны. А сразу после войны, на выпускном студенческом вечере в геологическом институте, куда Чуркин был послан, чтобы сидеть в президиуме и держать приветственную речь, он увидел девушку, в которую влюбился там же, за столом президиума.

Она так его поразила, что он не уехал после торжественной части, как предполагал, а остался на вечере до конца. Улыбаясь светлой, изумленной улыбкой и не думая о том, что скажут о его поведении, он наблюдал, как она танцует, и сам пытался с нею танцевать, не зная толком ни одного танца. Он тогда еще не переоделся в штатское, его длинные ноги в галифе и сапогах путались от восторга. Она вышла за него замуж, он был беспредельно счастлив.



Ее звали Нина, и она родила ему девочку Нину. И тещу, ее мать, звали Ниной. Теща поселилась с ними, так что Чуркин сторицей был вознагражден за свое долгое сиротство. Его нежданно вспыхнувшая любовь не меркла с годами и не спускалась с романтических высот в бытовую прозу, чему способствовала и профессия его жены: она была геолог и большую часть года проводила вдали от него, в экспедициях, оставляя с ним Нину-дочку и Нину-тещу.

И вся жизнь Чуркина была полна юношеским ожиданием встречи с любимой, предвкушением свидания, и вся перемечена, как красными числами, этими праздничными встречами, отпусками, проведенными вместе, поездками с женой и дочкой то на южные курорты, тихие в зимний сезон, то на Карельский перешеек, то в родимую Рязанщину. А когда Нина-жена уезжала в экспедицию, о ней напоминали глаза и имя дочери, вторая кровать, стоящая в спальне возле его кровати, вещи жены, портреты жены, книги, которые она выписывала и которые приходили в ее отсутствие, телеграммы из дальних мест, и музыка, и романсы, обильно исполняемые по радио. А потому Чуркин любил романсы, особенно Чайковского, и особенно «Средь шумного бала»,— ему казалось, что этот романс сочинен про него и про Нину, про их первую встречу, зарождение их любви, и со слезами на глазах он подпевал неумело: «В тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Она приезжала загорелая, всегда немножко новая, и не говорила — спасибо ей — «Ты изменился» или «Ты постарел», а смотрела на него изучающим, вникающим взглядом и говорила:

— Ты такой же, как был.

В ее отсутствие он коротал свои немногие свободные вечера в семье Степана Борташевича.

Это было очень старое знакомство — с юношеских лет. Впервые Чуркин и Борташевич сдружились в Красной Армии. Борташевич был ранен в 1919 году; Чуркин прослужил в армии до 1923-го; много лет они ничего друг о друге не знали — по правде сказать, Чуркин позабыл об этой кратковременной солдатской дружбе. Уже будучи в вузе, старшекурсником, повстречал он друга Степана. Друг Степан шел неузнаваемый, цветущий, в коверкотовом пальто, помахивая блестящим портфелем. А у Чуркина штаны были с бахромой, и вообще он не столько учился, сколько разгружал баржи на пристани, чтобы прокормиться. Борташевич растрогался, увидев такое по-

ложение, привел Чуркина к себе, и целый учебный год Чуркин у него прикармливался. Степан любил повспоминать об армейской жизни, о походе, в котором они участвовали оба; с улыбкой спрашивал: «А помнишь то? А помнишь это?..» И, придвигая к Чуркину масло, говорил заботливо: «Кушай».

Окончив вуз, Чуркин уехал в другой город, женился, развелся, работал, снова воевал. Писали друг другу — раз в пять лет: не любители были писать. Но приехав после Отечественной войны в Энск, Чуркин с удовольствием нашел там Борташевича, поседевшего, ставшего совсем уже солидным, обросшего семьей и по-прежнему сердечно расположенного к старому приятелю Чуркину. «Мой дом — твой дом, Кирилл, запомни раз и навсегда»,— сказал он. Невозможно не оценить такую дружбу... Нине Надежда Петровна не понравилась, Нина не любила там бывать. Но Нины не было десять месяцев в году, а Чуркин чувствовал себя в этой семье уютно.

Изредка Борташевич обращался к Чуркину с просьбами; но речь шла всегда о других людях, подчиненных Борташевича. Так, года два назад он попросил Чуркина помочь новому директору универмага, некоему Изумрудову, получить жилплощадь: живет ценный работник бог знает в каких условиях... Чуркин помог. Другая, аналогичная просьба касалась Веры Зайцевой, недавно поступившей в горторг секретарем. Тут целая история, которую Чуркин отчасти знал. Зайцева — это, так сказать, восходящее светило, молодой талант, расцветший на почве нашей художественной самодеятельности. Работала на заводе, где Рябушкин директором; записалась в драматический кружок, и обнаружилось дарование, пресса отметила — недюжинное. Рябушкин искусством мало интересуется, недооценил Зайцеву, в общежитии она у него жила; горторг ее переманил, и Борташевич передал Чуркину просьбу коллектива — устроить Зайцевой комнатку. Чуркин, конечно, устроил: как она сыграла Марию Стюарт — дай бог каждому так сыграть, недаром есть решение показать этот спектакль в Москве на всесоюзном смотре самодеятельности.

Для Чуркина было полной неожиданностью, когда однажды Надежда Петровна сказала ему:

— Вы наш друг, могу я иметь с вами интимный разговор? Прошу вас, поговорите со Степаном. Насчет его нового увлечения.

Чуркин сделал большие глаза.



— До каких же пор!— продолжала она.— Я понимаю, когда он был молод... но у нас взрослые дети!

— Вы мне открываете Америки,— сказал Чуркин.

— Что вы! Это же знает весь город!

Действительно, среди знакомых Надежды Петровны пошел слух о неблагополучии во взаимоотношениях Надежды Петровны со Степаном Андреичем, пустила слух сама Надежда Петровна при помощи Марго.

И сейчас она печальным голосом рассказала Чуркину, что привыкла к изменам Степана и никогда не делала бурь в стакане воды, тем более что Степан сам ей признавался и раскаивался, он ведь такой по натуре правдивый, Степан, только легкомысленный... Мужская любовь скоротечна. Они прожили почти двадцать пять лет... Конечно, было тяжело, она не сразу свыклась с мыслью, что у него есть другие женщины,— между нами говоря, он не отказывал себе в радостях жизни...

Чуркин огорчился и подумал — а как будет у них с Ниной после двадцати пяти лет? И решил, что, конечно, будет не так, как у Степана с Надеждой Петровной... Он был убежден, что все должны относиться к своим женам, как он относится к Нине, и что за недостаток любви с человека можно взыскать, как за ошибку в работе. Если ему говорили, что такой-то не ладит с женой, потому что у нее дурной характер, он отвечал: «Характер! Мало ли что; кто без недостатков?»— хотя в своей Нине не видел ни одного недостатка. «Пусть перевоспитает ее, иначе какой же он коммунист,— говорил он.— Надо было до женитьбы изучить характер и все взвесить»,— хотя сам влюбился скоропалительно и женился скоропалительно, и если бы ему пришлось перевоспитывать Нину, он бы понятия не имел, как к этому приступить.

— Я смирилась, я смотрю трезво,— сказала Надежда Петровна и приложила душистый платочек к глазам.— Дети мне заменили все, я сама их воспитала... Но сейчас они большие, и я обязана подумать, как они воспримут.

— Да, да, да!— озабоченно вздохнул Чуркин.

— Они мне дороги, Кирилл Матвеич!

— А еще бы!

— Теперь от них уже не скроешь. Нельзя оскорблять их нравственность. Пусть это старомодное слово, но я сама воспитана в нравственной среде,— с классовыми предрассудками была среда, но нравственная, Кирилл Матвеич... Если мои Сережа и Катя,— Надежда Петровна

картинно приложила к высокой груди белые руки с красными ногтями,— мои чистые Сережа и Катя узнают, что их отец... которого они боготворят... с какой-то девчонкой...

— Да подите вы!

— Это их убьет!

— Кто же она?

— Вера Зайцева.

— Не может быть, не верю!— сказал Чуркин.— Что общего? На что она ему, на что он ей?..

— Он, безусловно, не оставит нас,— сказала Надежда Петровна, осторожно сморкаясь.— Он ведь порядочный. И увлечения его проходят быстро... Но тут он увлечен серьезно — да, да, не говорите, кто же знает такие вещи, как не жена!— и боюсь, что настанет момент, когда я вынуждена буду — ради детей, исключительно ради детей!— взять на себя инициативу.

— Чего инициативу?

— Инициативу развода,— прошептала Надежда Петровна, окунув нос в платок.

— Глупости!— закричал Чуркин.— Еще что! Я поговорю с ним...

Через день, выкроив время, он заехал к Борташевичам, увел Степана в кабинет и начал прямо:

— Слушай, что там у тебя за шашни с Зайцевой?

Борташевич выразил веселое недоумение.

— Не ври, не ври, серьезно увлечен, все знаю!

— Фу-ты, боже мой, увлечен, да еще серьезно,— засмеялся Борташевич.— Это кто тебя информировал?

— Надежда Петровна, вот кто! — сказал Чуркин страшным шепотом.

— Надежда Петровна? — переспросил Борташевич, прищурясь на потолок.

— Ты не юли! Я ее еще не видал в таком состоянии. Довел, понимаешь!.. На что похоже?.. Спокойствие семьи надо беречь...

Борташевич опять засмеялся и лег на диван.

— Я понимаю, конечно, что ничего быть не может,— сказал Чуркин,— но какого черта ты даешь Надежде Петровне поводы волноваться? Ведь даешь поводы? Дал, значит, если она о разводе заговорила!

— О разводе? — переспросил Борташевич, приподнявшись на локте.

— Именно.



— Как же она сказала?— с интересом спросил Борташевич.

— Сказала, что дети оскорбятся и придется разойтись... Вот то-то. Плохо, брат, дело.

— Очень плохо,— подтвердил Борташевич, укладываясь снова.— Совсем плохо,— повторил он погодя, с усмешкой.

— Ты этим не шути!— сказал Чуркин.

— Я не шучу,— сказал Борташевич.

Дело было действительно дрянь, если Надежда Петровна заговорила о разводе.

Он слишком знал ее, чтобы не понять, что это значит. Плевать ей на Зайцеву, и до Зайцевой ли ему,— уж Надежде-то Петровне известно, что ему не до Зайцевой... Надежда Петровна придумала предлог, чтобы подготовить почву для разрыва. Он видел весь ее план: как крот, она будет копать, копать... пока не поверят, что она добродетельная женщина, уходящая от развратного мужа, который истерзал ее изменами. Вон она как подъехала к Чуркину. Дескать, заступитесь, сил моих больше нет. Постепенно она подготовит всех, детей в том числе.

Учуяла наконец запах гари и собирается бежать из горящего здания. Примет свою девичью фамилию, уедет в другой город, ее не коснется ни подозрение, ни презрение, ни даже унылая обязанность — носить мужу передачу.

Потом она будет говорить: «Он, оказывается, еще и воровал, чтобы тратить на любовниц».

Борташевич усмехнулся почти злорадно:

«Э-хе-хе, Надежда Петровна. Дорогая подруга жизни. Опоздали! Изменило вам ваше чутье. Смолоду оно было вострее... И тактика ваша излюбленная — шаг за шагом, тише едешь, дальше будешь,— никуда нынче не годится.

Копайте, копайте... Когда-то прокопаете! Пламенем горит — над головой и под ногами».

Сегодня утром был арестован заведующий галантерейным магазином, один из тех, кто после пожара просил об увольнении.

«Тут не до подкопов — спасайся, кто может... Пропустили сроки, Надежда Петровна, не успеете улизнуть от позора. Крыша рухнет на меня и на вас».

Он злорадствовал... И в то же время смертное отвращение и смертная тоска легли на сердце.

Рассчитывал он, что ли, на ее сострадание, ее поддержку в час расплаты? Даже на «прощай» не рассчитывал.

И все-таки это предательство, которого он ждал, было последней точкой. Окончательно приговоренным почувствовал он себя и окончательно одиноким, более одиноким, чем бездомная собака.

Уже даже некому поплакаться в часы ночных метаний...

Но он все еще работал, разговаривал, ел, пил, шутил. Живые, глядя на него, думали, что он живой. А это мертвец автоматически проделывал то, что свойственно живым.

Ну и зарядили дожди — без роздыха. Под водяными потоками стоит город Энск, подняв к осенним тучам уродливые мокрые дымоходы. (Вы заметили? Когда оголяются деревья и прячется солнце, лезет на глаза все некрасивое, что есть в городе: дымоходы, облупившаяся штукатурка домов, поленницы в грязных дворах, какая-то высоченная, глухая кирпичная стена, на которой с незапамятных времен осталась под крышей надпись прямо по кирпичу: «Сергѣй Перловъ и Сыновья»...) Смыты начисто остатки пышного бабьего лета; ни багрянца, ни золота; кажется, будто в природе один цвет остался — серый. А дождь все идет, идет ночью и днем.

В такой насквозь промокший октябрьский серый день длинный почтовый поезд остановился на седьмом пути станции Энск-пассажирская. Пассажиры с мешками, сундучками и чемоданами стали выходить из вагонов на дощатый настил, под потоки воды. Кругом была скучная железнодорожная картина: скрещения рельс, желтые будки, заборы, семафоры. В числе пассажиров из вагона вышел Геннадий Куприянов. Он был в светлом плаще и шляпе; плащ в дороге измялся. «Погодка!»— сердито подумал Геннадий, с брезгливостью ступая на залитый дождем настил ногой в тонком полуботинке. Дождевые капли, барабаня по настилу, разлетались мелкими брызгами; сразу намокли носки; тело прохватила сырость. «До вокзала не успеешь дойти — простудишься... На какие-то задворки приняли...» Он чувствовал себя кровно оскорбленным тем, что пришлось ехать шестеро суток в почтовых поездах, без плацкарты. Приезд доставил новые оскорбления, одно за другим. «Это еще что? Через мост тащиться? К черту!» Но путь был прегражден товарным составом. Волей-неволей надо было идти со всеми по гремучим, скользким от воды ступенькам воздушного моста вверх, потом вниз. Люди бодро обгоняли Геннадия, толкая его твердыми мешками, и раза два чуть не сбили с ног; протестовать и браниться было бессмысленно, все слишком спешили... Подняв воротник плаща, низко надвинув шляпу, Геннадий вышел наконец на привокзальную площадь, кишащую народом. Вода стекала со шляпы, как с крыши, и хлюпала в ботинках... У него был план, обдуманный еще в Батуми: по приезде сесть в такси и ехать домой, а там взять денег у Зины или у соседей, если Зины не окажется дома, и расплатиться с шофером: в карманах у Геннадия не было ни гривенника. Как назло, такси на площади не видно, «левых» машин тоже, все успели расхватать; у столба с дощечкой «Стоянка такси» мокла длинная очередь. Оставалось одно: ехать зайцем в трамвае. Геннадий поспешил к трамвайной остановке и втиснулся со своим чемоданом на площадку, битком набитую мокрыми пассажирами.

Больше всех в этих унижениях была виновата мать. Он ей три раза телеграфировал, чтоб выслала денег. Три раза! Тогда только раскошелилась, когда он сообщил, что продал часы, чтобы пообедать... Да и раскошелилась-то: роздал долги — на билет не осталось; попросил еще — пришли две сотни от отца, с бранной телеграммой (безобразие, что телеграф передает такие слова, как «прогульщик» и «бездельник», тоже — культурные порядочки, нечего сказать)... Цыцаркин и тот оказался более человеком, чем отец с матерью. На первую телеграмму, правда, тоже промолчал, но на вторую отозвался и выслал на дорогу. Скупо выслал, пришлось ехать в условиях, к которым он не привык, не мог телеграфировать Зине о приезде, в дороге позорно недоедал,— но все же только с помощью Цыцаркина Геннадий добрался домой после своего увеселительного путешествия.

«А родители-то: посылают в обрез и не сообразят, что пока телеграммы ходят туда-сюда да пока мне билет достают,— я ж проедаюсь, я живой человек, а там курорт... Один раз зашел в ресторан — тридцать рублей, два раза зашел — шестьдесят рублей... Небось матери, когда в Сочи жила, все было подано-принято, и билет принесли в конверте, ей что...»

В трамвае он поверх голов нервно высматривал — не идет ли контролер, но контролер не пришел. Геннадий

благополучно доехал без билета. Дома никого не оказалось, а ему требовалось хорошенько поесть и помыться, изволь сам искать еду и греть воду. Еду нашел и наелся, а мыться не стал: отяжелев от сытости, лег в постель и уснул. В сумерках проснулся, услышал шорох в соседней комнате и громко позвал: «Зина!» Никто не вошел, тогда он крикнул: «Сашка!» Саша открыл дверь и спросил:

— Что вы?

— Мать не приходила?— спросил Геннадий.

— Нет.

Геннадий отвернулся к стене и заснул снова. Вторично проснулся, чувствуя себя отдохнувшим и бодрым,— был уже поздний вечер, из соседней комнаты в открытую дверь падал электрический свет, Саша стоял на пороге и говорил:

— Вас спрашивают.

— Кто?— спросил Геннадий.

— Какой-то мальчик.

— Ну давай, пусть зайдет,— сказал Геннадий, потягиваясь.

Вошел незнакомый мальчик-заморыш в старом пальтеце, в кепочке,— Геннадий было не узнал, потом усмехнулся: Малютка. Хорош мальчик.

— Головной убор, между прочим, рекомендуется в помещении снимать,— заметил Геннадий, свысока поздоровавшись. Малютка безропотно снял кепку, под нею обнаружилась та же грязная тюбетейка, в которой Малютка ходил летом.

— Что это вы зимой и летом в тюбетейке?— насмешливо полюбопытствовал Геннадий.

— Голова зябнет,— пискнул Малютка, с кепкой в руке стоя перед кроватью, на которой возлежал Геннадий.

— Что скажете?— спросил Геннадий, закуривая.

— Я от Цыцаркина,— сказал Малютка.— Очень просит вас зайти.

— Зайду, как же,— сказал Геннадий.— Передайте — завтра зайду.

— Просил, чтобы сегодня,— сказал Малютка.— Чтобы обязательно сегодня. Очень нужно. Он не так здоров. Бюллетенит.

— Что такое?

— Простыл. Ангина. Тридцать семь и восемь.

«Пойти, что ли»,— подумал Геннадий. Тащиться под дождем не хотелось, но вроде бы и неудобно отказать



после того, как Цыцаркин его выручил. И, кстати, неплохо бы прихватить взаймы еще рублей хоть триста, а то получка ведь когда... Зины все нет, может до утра задержится в больнице, некому накормить ужином, а у Цыцаркина наверняка и закуска и выпивка.

— Который там час?

— Двенадцатый.

— Дождь идет?

— Маленький. Совсем маленький.

— Ладно,— сказал Геннадий.— Я оденусь.

Малютка деликатно вышел. Геннадий поднялся, и они отправились к Цыцаркину.

Дождь в самом деле притих, но продолжал идти. У Малютки оказался зонтик; еще иа лестнице он предложил его Геннадию:

— Желаете?

— Давайте,— милостиво согласился Геннадий, хотя иа нем был непромокаемый плащ, а на Малютке вполне промокаемое суконное пальтишко.

Цыцаркин обитал в тихой улочке, в первом этаже кирпичного двухэтажного дома. Ставни его двух окон были закрыты; на улицу доносилось приглушенное пение патефона. Малютка сказал:

— Стукните в окно,— ему самому было не дотянуться.

Геннадий стукнул. В темноте, шлепая по лужам, подошли к низкому каменному крыльцу. Дверь сейчас же открылась. Открывший не сказал ни слова и был едва различим в неосвещенном тамбуре передней, но по густому запаху парикмахерской Геннадий догадался, что это Изумрудов. Все втроем прошли в комнату Цыцаркина. Там страстно заливался патефон: «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина». Цыцаркин в фланелевой пижаме, с повязанным горлом, сидел возле патефона и сосредоточенно слушал, упершись руками в расставленные колени.

— А! С приездом! — рассеянно сказал он, взглянув на Геннадия мельком, и дослушал романс до конца. Геннадий обиделся и решил дать понять, что Цыцаркин никаких особенных не оказал ему благодеяний и что Геннадию не из-за чего изливаться перед ним в благодарности. Цыцаркин остановил пластинку и обратился к нему.

— Темпераментно поет мадам,— заметил он.— Я бы тебе продемонстрировал мои новинки, но уже двенадцать, соседи спать хотят, надо соблюдать законы общежития. И, кроме того, есть разговор. Снимай мантель, садись ближе. Как съездил? Отдохнул? Выглядишь хорошо.

— Где там хорошо, я ведь как ехал...— начал Геннадий.

Цыцаркин перебил:

— Хорошо, отлично выглядишь. Побед, наверно, одержал неисчислимое количество. Молодец, красавец. Люблю этого молодца,— сказал он, обернувшись к Малютке и Изумрудову, и погладил Геннадия по плечу.— Вы еще увидите, какой он молодец.

Изумрудов сидел в кресле, расфранченный, мягкий и благоуханный, как прошлый раз, летом, когда они тут выпивали. Малютка смиренно присел у двери на краешке стула, сжавшись и подхватив себя руками под локти. Выпивки и закуски не было видно.

— Отлично, отлично все,— кротко и ласково говорил Цыцаркин.— Все хорошо, прекрасная маркиза... Съездил, Геня, теперь поработать требуется, не все, мальчик, гулять, надо и потрудиться...

— Послезавтра выйду, я с дороги разбитый весь,— сказал Геннадий, недовольный, что уж и Цыцаркин взялся его поучать. Цыцаркин вновь перебил, не дослушав про дорогу:

— Работа предстоит. Надо выполнить одно общественное дело, три человека требуются, ну, мы так наметили, что один человек — это будешь ты.

— Что за дело?— спросил Геннадий без охоты — общественные дела его не манили.

Цыцаркин встал и принялся ходить по комнате, шаркая войлочными подошвами разношенных туфель.

— Видишь, Геня,— заговорил он тихо и внушительно,— есть на свете великая вещь — законы товарищества! Человек, который исполняет законы товарищества, этот человек не пропадет ни при каких обстоятельствах. И наоборот: если человек манкирует законами товарищества, то пропадет рано или поздно; ничто его не спасет; он может изловчиться отсрочку получить, умеючи, но рано или поздно Немезида его настигнет. Доведись до кого хочешь: я бы, скажу откровенно, давно пропал, если б не товарищество, вот откровенно тебе говорю. Человек крепок товариществом. Ты, Геня, молодой, не все еще постиг своим незрелым опытом, так послушай, что тебе искренний твой друг говорит: пропадешь без товарищества!

Он умолк и, остановившись, пытливо заглянул Геннадию в лицо.

— О каком вы товариществе говорите? — спросил Геннадий, зевая слушавший его туманную речь.

— Еще герои древности,— сказал Цыцаркин,— шли на жертвы во имя товарищества, ты ведь знаком с мифологией несколько?

— Вы ближе к делу,— сказал Геннадий.— Какая там мифология в первом часу ночи. Я измучился за дорогу как черт.

— Ну, ближе к делу, так ближе к делу,— согласился Цыцаркин.— Такая история: требуется принести жертву на алтарь товарищества. Я не буду говорить — малую жертву. Нет: значительную жертву. Поскольку она значительная, постольку и вознаграждена будет надлежащим образом; и поскольку она будет вознаграждена надлежащим образом, постольку ты через несколько лет выйдешь вполне самостоятельным человеком, катай тогда в Батуми и в Сухуми и куда хочешь. Вот, вчерне, суть.

— Ничего не понимаю,— сказал Геннадий.— Вы яснее.

Ясно было только то, что он всерьез зачем-то нужен Цыцаркину. Тем лучше, он возьмет у Цыцаркина не триста, а пятьсот. А может, такой случай, что можно взять и больше?.. «Э, нет! Что-то уж очень эти типы смотрят... серьезно. Как бы тут уголовщиной не пахло. На уголовщину меня не поймаете. Я согласен только без уголовщины, с уголовщиной мне не надо, обойдусь без вашей помощи, Зина что-нибудь придумает...»

— Еще яснее! Давай еще яснее. Ясность — самое главное; это ты прав. С ясностью, так сказать, крепче нервы и ближе цель. Я всегда предпочту ясность. И Изумрудов любит, чтоб коротко и ясно. Не говоря уже о Малютке, Малютка всегда горой стоял за ясность. Ну, что без ясности?— Цыцаркин даже руками развел.— Плохо без ясности. Ясность — альфа и омега деловых взаимоотношений.

Так он разглагольствовал вполголоса, похаживая по комнате, шаркая туфлями, речь его оставалась невнятной, как будто лишенной смысла, но Геннадий настораживался

все больше... Слишком необычны были для Цыцаркина такие длинные, бессмысленные речи; слишком мрачными становились лица Изумрудова и Малютки; слишком неподвижно сидели Изумрудов и Малютка на своих местах — будто застыли... Во всем этом была какая-то зловещая значительность, которую Геннадий ощущал при всем своем легкомыслии. А Цыцаркин ходил и говорил тихим голосом, речь его петляла, петли ложились туже и туже:

— ...Где достаточно пострадать троим, зачем должны страдать тридцать? Закон товарищества против того, чтоб страдали тридцать, где достаточно пострадать троим... Страдают тридцать — нехорошо всем тридцати, а страдают трое — нехорошо только троим, и то нехорошо лишь относительно и на некоторый срок, потому что двадцать-то семь не пострадали! Двадцать-то семь живы-здоровы! Двадцать-то семь окажут троим пострадавшим поддержку! А как же! На то закон товарищества! Я же говорю — не пропадешь с товариществом! Ты сидишь, а тебе жалованье идет ежемесячно, согласно постановлению товарищества! Ты вышел — одет и обут подобающим тебе образом, обеспечен материально, отношение к тебе самое чуткое,— а как же! А как же! На то товарищество!..

— ...Страдание. Ведь это как понимать страдание. Антр-ну — предрассудок. Привыкли люди пугать друг дружку словом «тюрьма». А что такое тюрьма? Учреждение. На современном этапе — вполне культурное. Обращение вежливое, санитарные условия и медобслуживание по требованиям передовой науки, так что при поддержке товарищества, имея средства, можно существовать божественно...

— ...Маман до какой-то степени может быть полезной. Правда, практика показывает, что люди с положением в таких случаях сплошь и рядом отрекаются даже от близких родственников, но мать есть мать, возьми классические примеры... Будет землю рыть, чтобы добиться смягчения... При ее знакомствах...

— ...Ты хочешь ясности. Правильно! Совершенно резонная твоя позиция! Я за ясность, и Малютка за ясность, и Изумрудов за ясность! Скажи, Изумрудов!

Изумрудов колыхнулся в кресле и распространил по комнате волны ароматов.

— Тысяча двести ежемесячно,— прошлепал он мягкими губами.



— Слышишь, Геня? Тысяча двести. Без вычетов и налогов.

— За десять лет — состояние,— вздохнул Изумрудов, томно подняв глаза к потолку.

— Именно! Именно!— тихо воскликнул Цыцаркин.— Ты подсчитай!

Геннадию было так дико, что он не обиделся и не оборвал их. Да что они, идиоты, что ли? Или его принимают за идиота? Сесть ни за что ни про что в тюрьму, чтобы покрыть чужие преступления! Ненормальные!.. Онемев от удивления, он слушал дальше, а Цыцаркин опять говорил, и все отчетливей обрисовывалось его бредовое предложение. «Однако! Здорово, видно, их прижали, если они пытаются купить такого безукоризненно честного человека, как я. Жест отчаяния: в такой, значит, попали переплет, что им уж терять нечего, выдают себя с головой...» Он пренебрежительно усмехнулся и встал.

— Глупости говорите, смешно слушать,— сказал он грубо и взял с вешалки у двери свой плащ. Больше ему нечего было делать в этой компании обезумевших жуликов.

Малютка, не разгибаясь, почти не меняя позы, проворно проехал вместе со стулом шага на два вперед и загородил собою дверь.

— Но-но!— сказал Геннадий, повысив голос.— Давай-ка прочь. Я шутить не люблю.

Ему стало жутко, до него вдруг дошло, что он один, а их трое, припертых к стенке людей,— черт их знает, что они еще вздумают выкинуть... «Да не в лесу же мы. Закричу,— рядом соседи...» Принял храбрый вид:

— Двигайся. Живей.

— Тише, Геня, тише, тише! — сказал Цыцаркин.— Целиком ты, милый, тут,— он похлопал по карману пижамы,— и... не надо кричать. Будем беседовать культурно. Деньги взял?

— Какие деньги?.. Ну.

— За что ты взял деньги?

— Как за что?

— Так. За что?

— Я... в долг взял.

— Хе! В долг. Не в долг, а свою долю ты взял, так и в расписке написано. Поверит тебе Малютка такую сумму в долг. Кто ты ему — брат, сват?..

— При чем тут Малютка?

— То есть как при чем Малютка?
— Я же не у Малютки брал.
— А у кого?
— У вас я брал.
— У меня? Нет, Геня, у меня ты не брал, я тебе только скромную сумму послал в Батуми, когда ты ко мне дважды обратился, и следом отправил авиапочтой заказное письмо, в котором, откровенно говоря, выразил изумление... Изумление такой просьбой с твоей стороны. Не те у нас отношения, чтобы телеграммы мне слать — гони деньги. Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память былого знакомства с твоими родителями, а на иждивение я тебя не брал, и средства не позволяют взять... Сожалею, если ты не успел получить мое письмо,— а может, успел?..
— Не получал я никакого письма. Что вы ерунду наворачиваете!
— Жалко, что не получал. Во всяком случае, письмо сдано под квитанцию и может... фигурировать, при надобности...
— Как это так — не у вас брал, когда вы из рук в руки мне дали?
— Это вздор, из чьих рук; это недоказуемо; важна расписка.
— И расписка на ваше имя.
— Ну-ну-ну-ну́!
— Ну да, на ваше!
— Ну-ну-ну-ну!
— На ваше, я читал!..
— Хорошо читаешь, грамотей. Малюткины были деньги, на Малюткино имя и расписка.
— «Цыцаркину» написано в расписке. Я же читал... Я его фамилии и не знаю, очень мне надо знать...
— «Сударкину» написано в расписке, а не «Цыцаркину». Сударкин Малюткина фамилия. А ты прочел — «Цыцаркину»? Хе-хе-хе-хе-хе!— Цыцаркин затрясся, его щучья морда расплылась от тихого смеха. И Малютка улыбнулся, показав желтые зубы и бледные десны.
— Хе-хе-хе-хе-хе! Ох, не могу! Хо-хо-хо-хо-хо! Сударкина принял за Цыцаркина! Ху-ху-ху-ху-ху! Сударкин, Сударкин, Сударкин, а он прочел — Цыцаркин!..— тихо восклицал Цыцаркин, раскисая от смеха, махая рукой и зажмурив глаза, из которых потекли слезы.— Ох, комедия!..
— Покажите расписку!— свирепо сказал Геннадий.



— Покажите ему,— приказал Изумрудов.
Цыцаркин вытер слезы:
— Покажи ему, Малютка. Пусть убедится Да Сударкин там, Сударкин, хо-хо-хо, все в порядке!
— Станьте дальше, тогда покажу,— пропищал Малютка. Геннадий повиновался — отошел.
— Еще дальше, еще.— Все так же оскалившись, Малютка полез детской цыплячьей рукой во внутренний карман пиджака, достал книжечку — служебное удостоверение, из книжечки бумажку, развернул бумажку и издали показал Геннадию. И тот, напрягши зрение, убедился, что расписка подлинно на имя Сударкина и там написано, что он, Геннадий Куприянов, получил сполна причитающуюся ему сумму... Геннадий рванулся к Малютке, но тот был настороже — обе его руки мигом исчезли в карманах, и в оскаленном мертвецки-желтом лице появилось что-то такое, что Геннадий остановился...
— Порядок!— сказал Цыцаркин.— Сам видишь!
— Я закричу!— сказал Геннадий, беспомощно оглянувшись на него.
— А смысл?— рассудительно, уже без смеха, спросил Цыцаркин.— Ну, придет милиция; ведь все равно сядешь. Не уйдешь от правосудия. Не те у тебя мозги, пардон, чтобы выпутаться; а свидетельствовать против тебя будут люди с мозгами — Спинозы по сравнению с тобой. Так что тут дилемма: или ты садишься как пострадавший во имя товарищества, и тогда тебе хорошо; или ты садишься как предатель товарищества, и тогда тебе плохо. Если даже, паче чаянья, тебя оправдают начисто — тебе плохо, Геня. Выбирай.
— Главным пунктом обвинения будет поджог склада,— зашлепал Изумрудов,— этот пункт вам не придется брать на себя, можете быть спокойны, мы докажем ваше алиби.
— Меня не за что сажать...— пробормотал Геннадий, стоя столбом среди комнаты.
— Геня, ах, Геня,— сказал Цыцаркин.— Я думал, ты молодой Ахиллес, а ты, бог с тобой, совсем плох. Крошка-Малютка наш, сорок третий год человеку, язва двенадцатиперстной кишки, и тот сильней тебя духом...
— Я ничего не сделал!— сказал Геннадий.— Вы мне расписку подсунули... Плевал я на вашу расписку!— взвизгнул он.— Пустите меня!
— Геня, подумай...

— Пустите!— крикнул Геннадий.
— Ну, пусти,— кивнул Малютке Цыцаркин.
— Пустить?— повторил Малютка, не двигаясь с места.
— Да, постой, Геня, еще вопрос: не ты ли, часом, сообщил в милицию об облигации? А? Ответь по совести. Облегчи душу.
— Конечно, он!— с ненавистью сказал Малютка.
— Ничего я не сообщал, ну вас к черту, Сашка Любимов сообщил!
— Пустите его,— слегка повернув голову, распорядился Изумрудов. Малютка встал, держа руки в карманах,— он был Геннадию до подмышки, не выше,— и дал дорогу.

В темном коридоре Геннадий долго возился с незнакомыми запорами — отворил наконец дверь, выскочил на улицу и пустился наутек по лужам, не разбирая пути.

Он мчался домой. Не к Зинке, а *домой*, под кров, который единственный мог его укрыть, вразумить, спасти. К сильным заботливым рукам, которые он оттолкнул. Туда, где немыслимы ни обиды, ни счеты, ни ссоры,— о, как он это понял!..

Он был слишком непрактичен и неосведомлен в житейских делах, а в тех, с которыми пришлось столкнуться,— подавно. Он не знал, действительно ли ему угрожает опасность или его просто пугали. Но угроза слишком ужасна. Невозможно жить в такой петле. «Мать, помоги, сними петлю... Мать, что я наделал со своей жизнью...»

Уже ни трамвай не ходил, ни автобус. Город затихал. Дождь припустил как из ведра, мутно светились в водяной мгле фонари. Изредка, с шумом разбрызгивая лужи, пролетала машина. Изредка попадались пешеходы под зонтиками, похожими на черные грибы.

«Как я оправдаюсь, они покажут расписку, будут лгать на меня — как я оправдаюсь, что я наделал! Мама, послушай, я тебе все расскажу. Я тебе расскажу ужасно неприятную вещь, только ты не волнуйся, что у тебя за привычка заранее волноваться, сядь и выслушай спокойно, мне нужен твой совет, а ты волнуешься... Я познакомился с одним типом — ты его когда-то знала, он говорит... Он, оказывается, преступник,— ну какая ты странная, почем я знал,— он не один, их там целая шайка,— да почем же я знал, что ты кричишь, невозможно с тобой



разговаривать,— они знаешь что хотят со мной сделать,— мамочка, спаси меня от них!..»

Он мысленно вел с нею этот лихорадочный разговор и стремился к ней, задыхаясь,— казалось, вечность он шагает под проливным дождем, по лужам, казалось — нет конца пути, как в тяжелом сне... Но вот Разъезжая, пустая, ночная, с слепыми пятнышками фонариков на воротах, с смутно чернеющей тушей водокачки на углу. «Кажется, это в наших окошках свет... В наших... Не спят!» Он кинулся бегом.

Маленькая, детская фигура под зонтиком вынырнула из-за водокачки и спешила за ним следом, он не заметил, забыл об опасности. Уже подбегая к своему крыльцу, услышал сзади чмоканье и хлюпанье торопливых чужих шагов, на бегу оглянулся, увидел за пеленой дождя человека под зонтиком —«неужели Малютка?»— поскользнулся в грязи и грохнулся с маху, сильно ударившись головой и грудью о ступеньки крыльца. Весь грязный, с облипшими руками, приподнялся, близко засопело, почувствовал удар в спину,— не больно...

Встал во весь рост и медленно стал взбираться на крыльцо — ноги стали как ватные, рубашка наполнялась горячей кровью, нечего было думать преследовать Малютку, удирающего в темень и дождь.

Геннадий успел нажать кнопку звонка — раз, второй и третий, как звонил, бывало, возвещая о своем приходе. Услышал, как три слабых коротких звонка прозвучали в доме. Упав на колени, различил за дверью знакомые летящие шаги матери.

Она распахнула дверь, крикнула и приняла в руки опустившееся тело сына.

*Глава шестнадцатая*

## ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Утром, едва Чуркин проснулся, ему позвонили о несчастье в семье Дорофеи Николавны и о том, что Дорофея Николавна находится в больнице, возле сына. Чуркин позвонил в милицию и выяснил те немногие подробности несчастья, которые там были известны. Позвонил в больницу: сказали — положение опасное. «Ах, грех! Ах, грех!»— приговаривал Чуркин, страдая за Дорофею, и прежде всех дел отправился в больницу.

Он нашел Дорофею в коридоре. С нею были муж и дочь; в белых халатах они понуро сидели на скамье, а Дорофея, сложив руки под грудью, ходила поперек широкого коридора, от окна к противоположной стене, взад-вперед, неустанно и равномерно, не ускоряя и не замедляя хода, как ткацкий челнок. Увидя Чуркина, она не бросилась к нему, не заговорила, а посмотрела и продолжала ходить. Глаза ее блестели, как в жару, и она то и дело с гримасой боли облизывала губы.

— Как?..— деликатно спросил Чуркин у Леонида Никитича.

— Взяли на вливание крови,— ответил Леонид Никитич и опасливо посмотрел на жену.— Дуся! Ну, посиди с нами. С Кирилл Матвеичем вот посиди, а?

— Я не хочу. Здравствуй, Кирнлл Матвеич. Я похожу,— удивившим Чуркина спокойным, звучным голосом отозвалась Дорофея и продолжала свое хождение.

— С ночи ходит,— сокрушенно сказал Леонид Никитич.

«Сын в опасности! Это ж понимать надо»,— думал, вздыхая, Чуркин. Сам он в высшей степени понимал такие вещи с тех пор, как его маленькая Нинка болела коклюшем.

— Кирилл Матвеич,— сказала Юлька,— попросите, чтобы меня пустили ходить за Геней.

— И не к чему!— сказала Дорофея.— Что ты умеешь?

— Я умею,— тихо возразила Юлька.

— Зинаида Ивановна там, и довольно,— отрезала Дорофея. Юлька опустила голову, слезинка блеснула у нее на щеке...

В окне был серый плачущий сад. Пахло лекарствами и болезнью. Санитарки и сестры деловито проходили мимо; скучно застучали костыли, напомнив госпиталь в войну,— больной в синем халате вышел в коридор, прислонил костыли к соседнему окну, закурил...

— Дорофея Николавна,— сказал Чуркин, приблизясь к ней и осторожно взяв ее под локоть,— ты о работе не беспокойся, будь здесь сколько надо времени, и, это самое, ты бы отдохнула немножко...

Она со вниманием подняла на него блестящие глаза, но вдруг рванулась и бросилась прочь по коридору — там, в самом конце, показались носилки... Чуркин с его сочувствием был явно лишний в этой обители скорби, да к тому же его ждали дела. Зайдя к врачу, заведующему хирургией, и узнав от него, что больному Куприянову после



вливания крови стало значительно лучше, Чуркин поехал к себе в горисполком. Накануне стало известно, что Ряженцев интересуется: какую площадь — число комнат, общий метраж — занимают генерал Р., артист Л. и другие граждане, которых Чуркин обещал поселить в новом доме. А уж если вмешался Ряженцев... значит — Р., Л. и прочие знаменитости останутся на старых квартирах и восторжествуют многострадальные горжилотдельские списки... Эх, лучше бы на президиуме это всё решили, своими, так сказать, силами... А теперь, если Куприянова или Ряженцев расскажут об этой истории на сессии,— весь город заговорит... Но по совести — в глубине души Чуркин не мог не чувствовать удовлетворения от того, что его ошибка будет исправлена.

— Боюсь,— сказал он главному архитектору с этим чувством невольного удовлетворения,— боюсь, Василий Васильевич, не заплакала бы ваша квартирка. Новым домом интересуется горком.

Василий Васильевич побледнел. Не то чтобы его старая квартира была плоха или он уж так держался бы за стенные шкафчики в новой квартире,— его ужаснула мысль, что из горкома придут в новый дом и увидят, с какой любовью и тщанием, как никакую другую, коммунист Василий Васильевич отделал за государственный счет квартиру лично для себя.

«Придут непременно,— ужасался Василий Васильевич,— и обнаружат, что у меня кафель подобран в тон, а в других квартирах не в тон, и матовое стекло у меня, и камин, и дубовые панели у меня одного... И поскольку об этом доме так остро стоит вопрос — воображаю, какие в мой адрес... Ужас, ужас! Вплоть до... фельетона в печати! И что меня соблазнило, подумать!..» Он полизал нитроглицерин и решил, что не переедет в новую квартиру, если даже его будут просить...

В утро, о котором идет речь, Чуркина дожидалась комиссия, обследовавшая дом номер шесть в Рылеевском переулке. Дом был старый, дал трещину, комиссия выясняла степень угрозы. Чуркину положили на стол суровый акт, в котором говорнлось, что запланированный ремонт дому ни к чему, нужен капитальный, а перво-наперво надлежит в срочном порядке выселить жильцов.

— Ну, беда!— сказал Чуркин.

Как раз сейчас маневренный жилищный фонд города весь был занят людьми, временно переселенными из ре-

монтируемых домов, и куда девать еще сто сорок человек, тридцать шесть семейств, было до того неясно, что у Чуркина закружилась голова.

Он попробовал смягчить остроту вопроса:

— А вы, товарищи, не паникуете? Может, не так страшно, а? Выдержим до нового года?

Комиссия непреклонно заявила, что не берет на себя ответственности за жизнь людей, которым два месяца придется жить в доме угрозы.

— Беда лихая,— повторил Чуркин.— Куда же их денем?

Комиссия холодно промолчала.

— Василий Васильевич, вы как считаете?— спросил Чуркин, обращаясь к главному архитектору.

— Выводы комиссии бесспорны,— сказал Василий Васильевич.— Если вы вспомните, Кирилл Матвеич, этот дом давно под надзором. Дальнейшая отсрочка была бы преступлением.— Василий Васильевич подумал о дубовых панелях, о необходимости во имя собственной репутации и собственного достоинства отказаться от новой квартиры, посмотрел на ногти и сказал твердо:— Есть выход: ускорить заселение нового дома. Какая-то площадь освободится для маневрирования.

— Я подумаю,— сказал Чуркин.

Но думать было нечего. По-видимому, то, что советовал Василий Васильевич, было наиболее реальным вариантом: форсировать окончание отделочных работ и заселить новый дом в середине ноября... В таком случае необходимо, чтобы горком поторопился со своими соображениями. Чуркин взял трубку и по прямому телефону позвонил Ряженцеву.

Ряженцев не ответил: с той стороны сняли трубку и положили опять, чтобы разъединиться. Это случалось, когда Ряженцев был занят настолько, что даже на секунду не мог оторваться. «С Москвой разговаривает»,— подумал Чуркин. Выждал и позвонил снова, и снова Ряженцев снял трубку и положил, не отозвавшись.

«Ведь вот этот комплексный ремонт,— думал Чуркин,— опять, значит, сокращение полезной жилой площади. Перепланируем помещения, построим светлые кухни, ванные,— глядишь, процентов восемь, а то и десять полезной площади ушло, и кому-то не хватает места... Ну, ладно. Новые трудности, зато будет в Рылеевском переулке хороший дом вместо урода...— Он представил себе



этот облезлый, будто лишаями покрытый дом, с безобразными подпорками, и поморщился.— Не доходили до него руки, теперь дойдут поневоле. Гром грянул — мужик крестится. Не покажись трещина — стоял бы урод и стоял лет еще пяток...»

Позвонил секретарь Ряженцева и сказал, что товарищ Ряженцев просит товарища Чуркина срочно зайти к нему.

— Вы мне его самого дайте,— сказал Чуркин. «По поводу заселения дома не собрался ли разговаривать, так вот я с этим разговором сам ему навстречу иду!» Он подождал у телефона, но после небольшой паузы секретарский голос повторил настоятельно:

— Товарищ Чуркин, товарищ Ряженцев просит вас прийти немедленно.

Небывалый случай, чтобы Ряженцев отказался говорить с ним по телефону и так настойчиво звал к себе, не спрашивая, удобно ли это Чуркину в данный момент. «Экстраординарное что-то случилось»,— тревожно думал Чуркин, проходя коротенькое расстояние, полтора квартала домов, между горисполкомом и горкомом партии. Усиливалось беспокойство и желание скорей узнать, в чем дело, и в горком он вошел запыхавшись.

Его ждали. Хотя в приемной были люди, но секретарь встал, едва Чуркин показался, и открыл перед ним дверь, так что Чуркин пронесся в кабинет без задержки.

Ряженцев стоял у окна, руки его были заложены за спину, пальцы крепко сцеплены.

— Здоро́во,— хлопотливо сказал Чуркин, бросаясь в кресло и доставая папиросы,— что случилось?

Ряженцев шагнул к нему и остановился, держа руки за спиной и глядя в пол. Без предисловий и пауз он сказал:

— Следственными органами разоблачен Борташевич.

Откинув голову, сведя брови, Чуркин продолжал встревоженно смотреть на Ряженцева. В одной руке у него была незажженная папироса, в другой коробок спичек. Ряженцев глянул на него, еще больше нахмурился и отвел взгляд.

— Как?..— спросил Чуркин и вдруг понял и встал.

— В чем разоблачен?— спросил он другим голосом, тоже ясным и жестким, как у Ряженцева.

— В воровстве,— кратко и беспощадно ответил Ряженцев.— Прочтите.

И, перейдя к столу, перебросил Чуркину докладную записку прокурора.

Чуркин взял бумаги, сколотые скрепкой, и стоя стал читать.

Он читал медленно и соображал плохо. Только физически ощущал непоправимую беду. Впоследствии ему казалось удивительным и ужасным, что он, друг Степана Борташевича, не возмутился словами Ряженцева, не швырнул бумаги обратно, не крикнул: «Клевета, не верю, не может быть!» Он поверил в беду сразу, еще не получив доказательств и даже не разобравшись толком, что за беда. Или он так верил Ряженцеву, или в то мгновение, как Ряженцев произнес свои страшные слова, какой-то второй, внутренний голос сказал Чуркину, что это *может* быть, что это правда, которую придется принять и перенести.

Прочел страницу. Написано было сжато, корректными словами информации. Готовился повернуть листок, когда со всей наглядностью до него дошел чудовищно постыдный смысл прочитанного,— ему стало тошно, он снова сел.

Дочитал и тихо положил бумаги на край стола.

Ряженцев сказал:

— Милиция убеждена, что сегодняшнее ночное дело тоже состряпано этой шайкой.

— Какое дело?— спросил Чуркин хрипло.

— Покушение на Куприянова.

— Как!— сказал Чуркин.— Что ты говоришь! Борташевич убил Куприянова?!

— Да нет,— сказал Ряженцев с отвращением.— Борташевич у них играл особую роль... Ты же читал. Покровитель с партбилетом в кармане. Дошло до тебя? Грабили и государство, и потребителей, то есть народ. А он покрывал...

Ряженцев подошел к столу и сел на свое место.

— Я первый,— сказал он, тяжело опустив большую светловолосую голову,— несу ответ за то, что дал негодяю обманывать партию: не всмотрелся в его жизнь, не распознал ложь... Но ты, Кирилл? Ты же там бывал...

— Да разве можно было подумать!..— с отчаянием сказал Чуркин, осекся, покраснел до сизо-свекольного цвета и так же быстро побледнел, стал серым и старым.— Ты и меня подозреваешь?— спросил он прямо.

Рука его с папиросой, лежавшая на столе, задрожала, и, чтобы скрыть дрожь, он скомкал папиросу и зажал в кулаке.

И Ряженцев начал краснеть. Его широкое лицо под светлыми, прямыми, гладко зачесанными волосами медленно наливалось краской. Рот был сжат — казалось, Ряженцев молчит, чтобы не сказать лишнее.

— Если бы я тебя подозревал,— сказал он, не сдержавшись, тихо и страстно,— как ты думаешь — я бы так с тобой сейчас разговаривал?! Я не мог бы с тобой так разговаривать! Не вздумай истерику закатить, председатель горсовета, не к лицу это нам с тобой!.. Но все-таки помни, что ты дал мерзавцу себя провести! Помни, что какие-то голоса обязательно скажут: «Один приятель за решеткой, а другой возглавляет в Энске советскую власть». Не любит народ таких промахов!

Чуркин поднялся, отошел к окну и стал к Ряженцеву спиной. Он не мог бы сейчас выйти из кабинета... Знакомый робкий вскрик паровоза донесся с улицы. Это проходила мимо городского парка «овечка», таща вагоны на ремонтный завод «Красная заря». На мгновение душа Чуркина отозвалась на этот призыв привычной досадой и привычной заботой: «Ах, черти, и когда я их заставлю убрать отсюда это безобразие!» Но сейчас же он вспомнил о главном — о том, что человек, которого он много лет любил и в которого верил, умер для него — хуже чем умер...

...Чуркин вышел из горкома на площадь Коммуны. Потеплело; дождь моросил мелкий. И этот мягкий, прихмуренный денек, и тихий несердитый дождь, и тысячи раз виданные, спокойные линии домов вокруг площади показались Чуркину мрачными и трагическими, как знамение происшедшей с ним катастрофы. Он вспомнил, как несколько месяцев назад они вышли из этого подъезда вместе с Борташевичем, это было, когда исключали проходимца Редьковского, Борташевич хорошо говорил на заседании. «Как он мог так лгать! Как может человек так лгать!— с мукой и омерзением думал Чуркин; душа его кровоточила.— Партии лгал, людям всем лгал... семье... Семья, семья!» Ему представилась Надежда Петровна, он по-новому увидел ее нарисованные брови и закрытый рот, произносящий «гум, гум, гум», увидел маску вместо лица, ужаснулся, откинул прочь,— эта переживет, эта знала, уж если Степан лгал, то такая тем более сумеет налгать, Нина словно чувствовала, терпеть ее не могла,— как

же он-то, Чуркин, не видел, что у нее не лицо, а маска?.. Знала, знала! Но дети, неужели дети?.. Нет, нет! Несчастные, обманутые дети, преданные родным отцом!..

В горисполкоме ничего не знали, кроме того, что Чуркин пошел к Ряженцеву. Но все подняли головы и переглянулись, когда через комнаты, ни на кого не глядя, прямой деревянной походкой прошел Чуркин, несчастный, серый, больной, постаревший за один час на десять лет.

Это происходило в Катин день рождения — дата, всегда торжественно отмечавшаяся в семье Борташевичей. План празднества был таков: званый обед — для Катиных институтских друзей; потом большой вечер с танцами, ужином, мороженым, коктейлями и всем, что полагается. Тетя Поля и Марго не могли управиться с такой программой вдвоем; была приглашена официантка из ресторана.

Утром Борташевич нежно поздравил дочь, вручил подарки, обещал быть дома пораньше, а затем отправился в универмаг. К горторгу, особенно к своему кабинету в горторге, чувствовал после приезда тоскливое отвращение и старался бывать там как можно меньше. Лицезреть сообщников стало нестерпимой пыткой... В универмаге запретил директору Изумрудову — хорошо воспитанному, изящно-почтительному жулику, выписанному сообщниками из Краснодара,— сопровождать его, сам обошел отделы, беседовал с продавцами и покупателями. Только к трем приехал в горторг. На лестнице ему повстречался секретарь партбюро Хмельницкий. Вчера Хмельницкий спрашивал у него, когда можно поставить на партийном собрании доклад руководства о перспективах торговли в Энске. Борташевич обещал подумать. Теперь он остановил Хмельницкого.

— Товарищ Хмельницкий,— кивнув, сказал он с видом человека, вспомнившего между тысячей важных дел о тысяча первом,— ставьте доклад на ближайшем собрании. Я приготовлю.

Хмельницкий, молодой человек в очках, с выдержанными манерами, посмотрел на него и пошел вниз, не ответив,— и это поразило Борташевича ужасом. «И не поздоровался. Такой вежливый, и не поздоровался. Боже мой, боже мой, он не поздоровался! Задумался он, или... или...



*это* уже случилось?» Борташевич ощутил, как больно повернулось сердце и как волосы пошевелились надо лбом, словно на них подули. «Вдруг — случайность: думал, что уже виделись сегодня, и не поздоровался, это бывает... А почему не ответил насчет доклада? Боже мой, боже мой... Да или нет?»

«Попробуем проверить». Стараясь попадать пальцем в те кружки, в какие нужно, он набрал чуркинский номер. Голос Чуркина либо вынесет приговор, либо даст отсрочку...

Ответил мурлыкающий голосок чуркинской секретарши:

— Да, я вас слушаю.

— Чуркин у себя?

— Кто просит?

— Борташевич.

— Пожалуйста, Степан Андреич, соединяю.

Секретарша мурлыкала обыкновенно; Борташевич чуточку успокоился.

Но вот опять ее голос — испуганно:

— Вы слушаете? Кирилла Матвеича нет.

— Как нет? Вы сказали...

— Его нет! — торопливо повторила секретарша, в трубке мелко запищали отбойные сигналы.

Вошел заместитель:

— Цыцаркин арестован.

— Да?— спросил Борташевич.

— Подумайте, Степан Андреич, даже отдел кадров не поставлен в известность.

— Хорошо, идите,— сказал Борташевич.

Вошла Вера Зайцева, секретарша:

— Степан Андреич, звонят из универмага, за Изумрудовым пришли из милиции.

— Хорошо,— сказал Борташевич.

Он все держал трубку; трубка яростно и неутомимо кричала отбой.

Положил трубку и вышел. В коридор, вниз по лестнице, на улицу.

«Победа» с брезентовым верхом стояла у подъезда. Шофер курил, прислонясь спиной к машине, и разговаривал с другими шоферами. Увидев начальника, он сделал движение — отворить дверцу, но начальник свернул направо и пошел пешком. Шофер проводил его глазами и продолжал беседу.

О чем думал Борташевич? А ни о чем. Он уползал в свое логово.

Медленно прошел через переднюю, и разноцветные стекла фрамуги в последний раз окрасили его лицо бледными желтыми, фиолетовыми и красными светами.

Катя вышла на его шаги, веселая, румяная, в новом платье.

— Папа, ну какой молодец, что пришел к обеду!— Она поцеловала его.— Мама, папа пришел!— крикнула она.

Комнаты были празднично убраны, всюду цветы. В столовой Поля с набожным лицом расставляла по снежной скатерти старинные фарфоровые тарелки, которые вынимались из буфета в дни особых торжеств. Поле помогала девушка в шелковом фартучке и гофрированной наколке — официантка из ресторана. Марго перетирала хрусталь... Озираясь, Борташевич прошел мимо них. Он забыл, что будут гости, званый обед... Надежда Петровна вышла из спальни в кружевной блузе и пышнейшей голубой юбке, падающей водопадами до полу.

— Тебе нравится мамин костюм?— спросила Катя.

Борташевич молча стоял перед ними...

— Боже!— вскрикнула Надежда Петровна.— Где ты так вымазался?

Она показала на его ноги. Он нагнулся, взглянул. Брюки забрызганы грязью.

— Скорей переодевайся!— негодующе сказала она.

Он прошел к себе и закрыл дверь.

— И блузка прелестная, но юбка, юбка!— говорила Катя, обходя мать по кругу и любуясь ее туалетом.

— Все равно вы меня не убедите!— сказала Марго, расставляя фужеры.— Половину шелка она украла!

— Перестаньте, я не желаю это слушать!— воскликнула Катя.— Но где же гости?

— Один уже тут,— сказала Надежда Петровна.— Уже час сидит.

Гость, пришедший раньше всех, был Саша Любимов. Катя пригласила его отчасти в пику матери, убеждавшей ее «не смешивать общество», отчасти для Сережи, чтобы тот не скучал. Для такого случая Саша взял выходной день и сходил в парикмахерскую. Пока что он сидел у Сережи, прислушиваясь к долетающим звукам Катиного голоса.

Прозвонил звонок.

— Накрывайте, я отворю!— сказала Катя и, разбежавшись, весело распахнула дверь на площадку. Она была в праздничном настроении, ее обида на Войнаровского прошла, и увлечение тоже, она чувствовала себя красивой, привлекательной; ей шло белое шерстяное платье спортивного стиля, и она с удовольствием шла отворять гостям.

Но это были не гости, а управхоз Иван Семеныч, инвалид, который заходил иногда и спрашивал, хорошо ли греют батареи отопления и нет ли каких претензий, и с ним несколько незнакомых мужчин.

— Хозяин дома?— спросил Иван Семеныч.

— Дома,— ответила Катя, рассматривая одного из мужчин, молодого блондина, худого, с узким розовым лицом и такими светлыми волосами и бровями, что они казались бесцветными. «Какая нежная кожа»,— отметила она...

— Повидать его надо,— сказал Иван Семеныч и вошел в переднюю, слегка отстранив Катю. Незнакомые вошли за ним, а позади шел милиционер, которого Катя раньше не заметила. «Ой, неужели опять Сережка что-нибудь натворил»,— подумала она и пошла за отцом. «Да?» — спросил он, когда она постучалась.

— Папа,— сказала Катя, приоткрыв дверь.— Тебя спрашивают.

— Кто? — спросил он. Он стоял посреди кабинета, заложив руку за борт пиджака.

— Управхоз с милиционером и еще какие-то.

— Сейчас! — сказал отец. Он сказал это почему-то шепотом, присвистнув. Она закрыла дверь и слышала, как за нею быстро и мягко повернулся ключ.

— Он сейчас,— сказала Катя, выйдя в переднюю, и вслед за этими словами из кабинета раздался короткий сильный стук, будто шкаф упал. Катя не поняла, что такое упало и почему люди, пришедшие с управхозом, бросились в коридор. В недоумении она пошла за ними.

— Здесь? — спросил ее блондин, дернув дверь кабинета.

— Кажется,— удивленно ответила Катя, догадываясь, что он имеет в виду стук.

Сережа вышел в коридор, за ним Саша. В столовой женщины замерли с посудой в руках... Из глубины коридора спешила Надежда Петровна. Слишком длинная юбка мешала ей, и она на ходу нетерпеливо отшвыривала юбку ногой.

— Что тут происходит?— громко спросила она.

Ей не ответили. Блондин властно постучал в дверь.

Дверь молчала. Кате стало вдруг страшно, страшно. Она прикусила косточки пальцев, боясь дышать...

— Васильев, ну-ка!— сказал блондин другому человеку. Другой — коренастый, низенький, черный как жук — заглянул в скважину, слегка потряс дверь за ручку и небрежно, как бы лениво привалясь плечом, распахнул обе створки настежь. И Катя увидела отца, лежащего во весь рост на полу, головой к порогу.

Сейчас же его заслонили чужие люди. Блондин стал звонить по телефону... Катя приблизилась к отцу, осторожно обходя его седую голову; наклонилась и отпрянула, увидев большое темное мокрое пятно на ковре. Отец лежал плечом в луже. Застонав, Катя упала рядом, заглянула в лицо с неподвижными, пустыми глазами... Запахло аптекой, замелькали белые халаты. «Попрошу отойти!»— сказал доктор. Катя встала и тупо стояла в стороне, пока его осматривали и что-то делали над ним.

Его стали класть на носилки. Беспомощны, как у куклы, были ноги в брюках, забрызганных грязью. Тетя Поля, строгая, с поджатыми губами, вынесла одеяло и прикрыла эти ноги.

— Он умер?— спросила Катя.

— Ранен,— ответил, посмотрев на нее, блондин.

Санитары понесли носилки. Тетя Поля перекрестилась.

— Ушел,— негромко сказал чей-то голос.

Катя вскрикнула и бросилась за носилками. С лестницы доносились голоса и топот.

У двери на лестницу стоял милиционер. Он не хотел выпустить Катю.

— Я поеду с ним!— сказала Катя и схватила милиционера за рукав.

— Куда поедете, куда!— сказал милиционер.— Все равно не пустят в тюремную больницу.

Позади раздался знакомый крик, которым у Сережи начинались припадки. Катя пошла обратно. И только дворники, стоявшие у ворот, да несколько случайных прохожих видели, как и санитарной карете укатил в свой последний путь преступник Степан Борташевич, бежавший от суда народа и партии.

Сережа бился и рыдал в углу коридора, и Саша, растерянный, стоял над ним.

— Помоги мне!— сказала Катя.— Поднять помоги. На кровать, на кровать...



Вдвоем они подняли Сережу, перенесли в комнату, уложили, укрыли. «Сережка, Сережка!»— привычно-успокоительно приговаривала Катя... Рыдать он перестал, но его знобило так, что худенькое тело прыгало под одеялом.

— Побудь с ним,— сказала Катя Саше и пошла за грелкой.

Тетя Поля повстречалась в коридоре и сурово опустила глаза. Катя ничего ей не сказала, сама согрела в кухне воду и наполнила грелку. В квартире хозяйничали незнакомые люди. Проходя мимо комнат, Катя видела, что делается. Васильев вешал печати на мебель. У отцовского бюро сидел блондин и вынимал бумаги из ящиков, рядом стояли еще двое, и в кресле сидела мать в своем праздничном наряде. Столовая стала похожа на посудный магазин: разнообразные сервизы, вынутые из шкафов, громоздились на столе и буфете; грудой лежало серебро — официантка его считала и записывала. «Евгений Александрович,— спросила она громко,— а хрусталь считать?»—«Считайте, Маша»,— ответил из соседней комнаты блондин... Управхоз Иван Семеныч бродил за официанткой на своем протезе, длинные усы его свисали уныло. «Неужели нельзя отложить эту возню,— с отвращением подумала Катя,— неужели так важно непременно сейчас сосчитать ложки, когда человек хотел убить себя...»

— Зачем они тут?— трясясь, спросил Сережа, когда она ставила грелку к его ногам.— Что они делают?

Катя подумала: лучше сказать ему сразу. Пусть опять припадок, но лучше сразу.

— По-моему,— сказала она,— они описывают имущество.

— Он умер?— спросил Сережа совсем так, как давеча спрашивала она.

— Нет, нет; ранен.

Он пристально смотрел на нее лихорадочно блестящими глазами, дрожь его усилилась; Катя встала.

— Сереженька, я еще пойду узнаю. Мне так сказали. Я пробовала его руку, она была теплая, клянусь тебе чем хочешь... Ну, я еще спрошу.

— Скажите мне, как позвонить в больницу,— тихо сказала она блондину.— Я хочу знать, жив ли он.

Блондин слушал внимательно и холодно.

— Я звонил только что,— сказал он.— Он жив.

— А... состояние... очень опасное?

— Не выяснено. Мальчику лучше?

— Да.

— Доктора не надо?

— Нет.

Очевидно, бесполезно вторично просить, чтобы он объяснил ей, как позвонить в больницу. Сведения об отце придется получать из третьих рук.

Гордая Катя приняла это со смирением, которое поразило бы ее, если бы она отдавала себе отчет в том, что в ней творилось.

— Жив,— шепнула она, вернувшись к Сереже, и села в безотрадном ожидании неведомо чего. В комнате было тихо, ходьба и разговоры доносились еле слышно, можно бы подумать, что ничего не произошло, просто Сережа нездоров, и Катя зашла его проведать.

— Что ты думаешь?— спросил Сережа.

Она думала: «Видимо, папа дал себя обмануть каким-то негодяям. Они его втянули в грязь... Может быть, нарочно втянули, за то, что он был беспощаден к жуликам. И теперь он отвечает за них, невинный». Его лицо вообразилось ей, не то чужое, ничего не выражающее, которое лежало там, на полу у ее ног, а живое, родное, любимое с детства, с доброй усталой смешинкой в глазах... «Он, конечно, уже знал, что его втравили и ему отвечать. Потому и хотел застрелиться...» Все это она кое-как, с мукой и бессвязно, объяснила Сереже.

— Ясно,— закончила она,— что нанесен ущерб государству. Потому и описывают. Если окажется, что мало, я пойду работать.

— Я тоже!

— Вообще теперь надо работать. Не ждать диплома.

— Ты совместишь с учебой!— сказал Сережа.

— Я могу преподавать в школе. Все-таки четвертый курс...

— Можешь быть инструктором физкультуры.

— Да. И выплачивать, понимаешь... Лишь бы он был жив и оправдан.

— Это всё клеветники!— сказал Сережа, и опять его стало трясти так, что одеяло поползло на пол.

— Ох, Сереженька, ну ради бога!..— с тоской сказала Катя и натянула одеяло. Он длинно всхлипнул и закрыл глаза. Она сидела на краю постели, глядя на него; бессознательно ее сердце цеплялось за эту заботу... Что-то мешало Кате, что-то вот здесь, рядом, стесняло ее, тяготило и мучило вдобавок ко всему. Она обернулась, ища — что же это такое; увидела Сашу, который стоял в ногах кровати, и отвернулась.

«Как можно на нас сейчас смотреть...»

Саша понял.

— Я просился уйти!— сказал он.— Так не пускают!

И в отчаянии вышел из комнаты.

Зашуршал шелк, вошла Надежда Петровна, пышная и деловитая.

— Катя!— сказала она быстрым шепотом и открыла книжный шкаф.— Смотри хорошенько, запоминай...— Сунула руку за пазуху, что-то достала, зажала в кулак; потянула с полки книгу...— Лермонтов, не забудь, однотомник...— Она что-то совала в корешок книги.— И «Дядя Том»... Ваши книжки не опишут, детям надо что-то читать... Вата есть?— Катя, не двигаясь, смотрела на мать.— Ну, платки дай, где тут у Сергея платки носовые? Где платки, я спрашиваю!!— повторила она ожесточенным шепотом и потрясла кулаком. Катя деревянно поднялась, достала из тумбочки платки, подала. Надежда Петровна рванула платок пополам — раз, другой,— побагровела, застонала, платок разорвался; обрывками она заткнула корешок книги с обоих концов.— Значит, Лермонтов, однотомник, помни. Ну, так. Молчите, дети. (Они и без того молчали.) На черный день. Теперь будет сплошной черный день.— Она ушла.

«Мы воры»,— думала Катя, стоя у тумбочки.

— Что она прятала?— громко спросил Сережа.

— Лежи,— как автомат сказала Катя.

— Что она прятала?

— Откуда я знаю!

— Мы вообще ничего не знали!— еще громче сказал Сережа. Он вспомнил, как бил Федорчука и как сказал дежурному в милиции: «Я — Борташевич»; захлебнулся стыдом и спрятал лицо в подушку.

— Ты запомнила книги?..— спросил он сдавленным голосом.

— Сыну лучше, слава богу,— сказала Надежда Петровна блондину, которого она уже звала Евгением Александровичем и которому несколько раз предлагала пообедать, но безрезультатно.— Он болен с детства, костный туберкулез, и нервная система не в порядке, а тут такой

кошмарный удар... Если бы я хоть на секунду поверила, что Степан Андреич в чем-нибудь виноват, я бы тоже лежала в припадке; но я до того убеждена, что это недоразумение сразу разъяснится...

Евгений Александрович ледяно молчал.

— Я даже, представьте себе, чувствую аппетит. Пообедали бы вместе, но вы поставили это все на официальную ногу... Ведь я могу пообедать, гум, гум, гум?— спросила она с насмешливой приниженностью.

— Пожалуйста,— уронил Евгений Александрович.

Отворилась дверь, и вошла Катя, неся что-то в сложенных лодочкой ладонях. Красивое лицо ее было бледно, волосы сбились.

Она подошла — Надежда Петровна смотрела на нее с ужасом — и, разняв ладони, неуклюже-бережным детским движением высыпала на стол кольца, кулоны, брошки, которые Надежда Петровна только что прятала в книжном шкафу.

— Что это?— спросил Евгений Александрович.

— Это лежало в шкафу,— ответила Катя.

— Это ваши вещи?

— Нет.

— Хорошо,— небрежно сказал Евгений Александрович.

Катя постояла и пошла из комнаты. Уже за дверью услышала яростный воющий крик матери:

— Ду-у-у-ра!!

Катя побежала... Сережа ждал ее, сидя на постели.

— Отдала? Взяли они? Ну, все. Ну, все. Ну, не дрожи.— А сам дрожал.

— Холодно,— сказала Катя, стукнув зубами.— Подвинься.— Скинула туфли и шмыгнула под одеяло. Они обнялись, как когда-то, когда были маленькие.

— А вдруг он умер?— прошептал Сережа. Катя молчала, закрыв глаза.— Катя! Вдруг он умер...

— Не знаю,— прошептала она.— Не знаю, как лучше...

Из-под век ее хлынули слезы. Сережа закрыл лицо одеялом и тоже заплакал горько. А за дверью стоял Саша, которого так и не выпустили из квартиры, хотя он два раза просился; стоял как на часах — будто караулил то, что осталось от прекрасной семьи Борташевичей.



*Глава семнадцатая*

## КАК БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Сахарный, сладкий лег снежок и прикрыл безобразие осени. Белый и чистенький стоит город Энск. Даже поленницы в задних дворах, убравшись пуховыми покрывалами, приняли приятный вид. В новый дом на Точильной улице въезжают жильцы; по молодому снежку подкатывают грузовики с полосатыми матрацами, шкафами, фикусами и детскими кроватками. Магазин внизу уже торгует хлебом, мясом, картошкой и другими жизненно необходимыми продуктами. Хозяйки одобряют, что магазин тут же в доме, не надо ходить далеко... На человеческую радость заходят порадоваться Ряженцев и Дорофея. Они скромно стоят в сторонке и смотрят, как люди соскакивают с грузовиков и вносят свое имущество в распахнутые настежь двери, как дети бегают по лестницам, звеня голосами, и как тут и там появляются на доселе пустовавших, неживых окнах тюлевые и матерчатые занавески. Вот вынимают из кабины грузовика маленькую фигурку, закутанную словно для полярного путешествия. Это старичок, очень старый и хрупкий (кожа на его личике тонка и бела, как папиросная бумага). Поверх зимнего пальто на старичке меховая женская кофта, тесемки шапки-ушанки завязаны под подбородком, а шея вместо шарфа обмотана пуховым платком. Девочка-подросток в лыжных штанах, размахивая длинными косами, стаскивает с грузовика стул, приставляет к стене дома, усаживает старичка и говорит:

— А вы пока, дедушка, подышите воздухом.

И, оглянувшись на Дорофею и Ряженцева, просит:

— Присмотрите, пожалуйста.

Старичок сидит, свесив ноги в валенках, держась за сиденье стула и живо посматривая кругом вострыми глазами. Ряженцев заговаривает с ним; выясняется, что девочка ему праправнучка, и старичку сто два года, рожден в 1848-м.

— Год выхода Коммунистического Манифеста,— замечает Ряженцев, улыбнувшись.

— Совершенно верно!— отвечает старичок.

Он слышит хорошо и разговаривает бойко. Вид проходящего по двору офицера наводит его на мысль рассказать случайным собеседникам о своем участии в походе под командованием генерала Скобелева, и когда появля-

ется девочка в лыжных штанах и говорит: «Пошли, дедушка»,— старичок прерывает рассказ с явным неудовольствием.

— Современник Маркса и Энгельса,— говорит Ряженцев, провожая его взглядом.— Сколько вмещается в одну человеческую жизнь.

— Порядочно...— откликается Дорофея. Она стоит исхудавшая и решительная, на скулах горят неровные красные пятна, словно страдание опалило ей лицо. В колечке волос, заложенных за ухо под каракулевой шапочкой, явственно заметна проседь... Ряженцев спрашивает:

— Когда вы принимаете дела от Чуркина?

— Завтра,— отвечает она.

Чуркин уходит в отпуск. С завтрашнего дня Дорофея будет главной ответчицей за город, его хозяйство, за «дом угрозы» в Рылеевском переулке, за устройство всех этих людей, которые ходят по улицам... Бесконечный, благословенный день забот, помогающих переносить горе. Она прямо стоит возле Ряженцева под редкими медленными снежинками, падающими с неба, и смотрит на человеческую радость.

Счастливцы, получившие квартиры в новом доме, покидают свои старые жилища, туда перебираются другие жильцы. Так что новоселье празднуется не только на Точильной, но и на разных улицах, в разных домах. И в квартиру Борташевичей является с ордером горжилотдела высокая худая женщина в длинных болтающихся серьгах и с нею маленький нахмуренный муж. Их фамилия Ефимовы. С собой они привозят только ширму, обитую ситцем в цветочках. Но на площадке черной лестницы столяр Ефимов немедленно устраивает мебельную мастерскую. Много дней дотемна стучит молоток, визжит пила и шипит рубанок, и приходящие с черного хода наносят в кухню на подошвах опилки и стружки. И аккуратная тетя Поля ничего против этого не имеет, потому что она уважает товарища Ефимова, делающего из старых ящиков стулья, столы, табуретки и шкафы. У этой некрашеной новенькой мебели светлый, веселый вид и шелковистая поверхность, и из комнаты Ефимовых вкусно пахнет свежим деревом.

И еще приходят люди с ордером, и еще,— ведь в большой квартире Борташевичей из прежних жильцов осталось только трое: Катя, Сережа и тетя Поля.

В ту ночь, когда Евгений Александрович и его спутники ушли из этой квартиры, у Надежды Петровны сделалась истерика. Красная и безобразная, с искривленным накрашенным ртом, она кричала:



— Разве это дети? Это предатели! Пускай она без стипендии живет как хочет!

Сережа, заснувший было, от криков проснулся и вскочил. Катя, караулившая его, подбежала к двери и заперлась на ключ.

— Ничего! Не слушай!— говорила она, крепко обняв его.— Мы с тобой будем!..

А из-за двери неслось:

— Поля, слышите? Не давать им есть!..

«Какой позор!»— с нарастающим отвращением думала Катя... Тетя Поля не отвечала; не слышно было и Марго; забились в щели разрушенного муравейника и сидят тихонько... Надежда Петровна одна металась по квартире. «Тетя Поля уйдет,— думала Катя,— у нее было такое лицо... Сидит сейчас и думает: вот я кому служила...» Вопли Надежды Петровны стали стихать и стихли; тишина наступила в разрушенном муравейнике...

Под утро задремавшую Катю разбудил телефон. Задремав, она забыла о том, что произошло, и, с закрытыми глазами слушая звонки, подумала: «Ах, уже поздно, вон уже кто-то по телефону звонит, я проспала лекцию!» Открыла глаза и увидела ночную комнату, озаренную лампочкой в зеленом колпачке, спящего рядом Сережу — все вспомнила и поняла значение этих настойчивых звонков, которые не прекращались, несмотря на ночное время... «Папа умер». В чулках вышла в коридор, где висел аппарат; не зажигая света, нащупала трубку.

— Я слушаю,— сказала она и не узнала мужского голоса, прозвучавшего в ответ.

— Екатерина Степановна?

— Да.

— Говорит Войнаровский,— сказал он. Она не удивилась — в ту ночь ее ничто не могло удивить.

— Екатерина Степановна, у меня нерадостные вести.

— Умер?— спросила она и, не слыша ответа, замолчала сама.

Войнаровский сказал:

— Семья может его проводить.

— Хорошо,— сказала Катя. Села на стул и сидела впотьмах, охватив руками колени, до самого утра...

Степана Борташевича схоронили в залитой дождем могиле на Старом кладбище. От Сережи скрыли день похорон. Надежда Петровна не пожелала пойти. Одна Катя шла за гробом.

...Она вернулась с головной болью, разбитая и иззябшая, никак не удавалось собрать мысли... Когда она подходила к своему дому, откуда-то взялся Войнаровский и что-то сказал, она не разобрала, что именно...

— Хорошо, хорошо,— сказала она, чтобы избавиться от него... Дома, переодевшись в сухое, она легла в постель, чтобы согреться.

Вошла тетя Поля, села в ногах кровати и сказала:

— Ехать собралась, и Маргошку берет.

Катя промолчала.

— Как дальше будем жить?— спросила тетя Поля.

— Как будем жить,— сказала Катя,— так и будем жить. Поступлю на работу...

— Стипендии нет, плохо,— сказала тетя Поля.— Шутка — триста рублей в месяц. Сергей говорит, если троек не будет, опять станут платить, верно?

— Станут,— виновато подтвердила Катя.

«Я белоручка, разгильдяйка, дрянь»,— подумала она.

— Договор перепишем на тебя,— сказала тетя Поля.

— Какой договор?

— Со мной договор о найме. Сходим в местком и перепишем, что я теперь у тебя служу.

— Тетя Поля,— сказала Катя,— как же я могу...

— А я зарплаты не спрошу, не бойся,— сказала тетя Поля.— Я не пропаду: и постираю, и пошью чего попроще для людей, в комнатку мою при кухне мне оставят, и будет кому хоть за вами присмотреть.

Вечером пришел Саша; Катя слышала, как они с тетей Полей на кухне считали вполголоса:

— На питание... За квартиру... За электричество... Ботинки починить... На трамвай — в институт и обратно — тридцать копеек в день...

Они занимались Катиным бюджетом. Жизнь оборачивалась множеством забот. Беспечные дни миновали. Оказывается, тридцать копеек на трамвай — это расход, тридцать копеек нужно заработать...

Катя заснула тяжелым сном, ей приснилось кладбище. мокрые от дождя кресты, месиво грязи вокруг черной могилы, куда опускают гроб... Во сне Катя стонала и плакала. Утром ей сказали, что звонила Наташа Штейнбух, просила Катю позвонить ей, как проснется; Катя не позвонила. Днем зашел Юра Смолян, сокурсник,— Катя велела тете Поле сказать ему, что нездорова, повидаться не может, выздоровеет — сама придет в институт. Она не знала, как ей держаться со старыми товарищами; той избалованной, гордой, победоносной капризницы, какой она была несколько дней назад, больше не было; а новая Катя еще не родилась.

Надежда Петровна уехала через два дня после похорон. Она не может здесь жить, объяснила она: ее истерзали воспоминания... Предложила ехать и детям...

— Куда?— спросил Сережа.

— Я сама еще не знаю,— сказала Надежда Петровна.— Решим потом, когда мысли придут в порядок. Пока поживем в Ростове, у нас там масса родственников.

Дети слышали впервые об этих родственниках и отказались ехать. Надежда Петровна всплакнула и сказала:

— Но вы меня проводите, конечно.

— Я не смогу,— сказала Катя.

— Не можешь проводить мать?— упрекнула Надежда Петровна.

— Ты не проводила папу,— сказала Катя, черные глаза ее сверкнули, как прежде.

— Бежать, бежать!— сказала, шепелявя, Марго.— Как ты останешься, Катюша, тут же воспоминания на каждом шагу... Он, негодяй, пишет мне из тюрьмы, чтобы я ему что-то там принесла, с какой стати?! Пусть носят те, кого он водил в чернобурках. Нет, бежать, бежать!

И она уехала вместе с Надеждой Петровной, без которой, по-видимому, не могла существовать, как ни страдала от ее деспотизма. Последним Сережиным впечатлением от проводов была Марго, увешанная, как вьючная лошадь, сумками и пакетами, старая Марго с желтыми волосами, убегающая от воспоминаний.

Было одно посещение, мучительное для Кати.

Пришла незнакомая девушка в старом мешковатом пальто и зеленом берете с помпоном на макушке; из-под берета на плечи свисали густые растрепанные волосы. Ненатуральным тоном, медленно и надменно, девушка спросила:

— Вы — дочь Борташевича?

— Да,— ответила Катя — и покраснела.

— Я — Зайцева,— сказала девушка и, манерно вывернув голову вбок, стала снимать с руки вязаную перчатку, каждый палец в отдельности, словно перчатка была лайковая и туго снималась.— Вы меня не знаете?! — спросила она с выражением глубочайшего удивления.

— Простите, нет,— сказала Катя. «Какая странная...»

— Вера Зайцева. Я сыграла Марию Стюарт.

— Ах, да...— сказала Катя, вспоминая.— Я слышала...

— Мне надо с вами поговорить,— сказала Зайцева, и ее надменность вмиг исчезла, перед Катей оказалось самое обыкновенное, не прикрашенное косметикой, простодушное и даже простоватое лицо.

— Садитесь, пожалуйста,— пригласила Катя.

Они сели в передней, по сторонам маленького столика.

— Это верно, что ваша мать уехала?— простецким голосом спросила Зайцева.— Ну вот, приходится советоваться с вами... Понимаете, не хотят меня посылать на смотр в Москву. Прямо не знаю, что делать.

Она всхлипнула и полезла в карман за платком, и ее большие вязаные перчатки с растопыренными пальцами упали с колен на пол. Катя подняла.

— Спасибо!— сказала Зайцева.— Они говорят, что я была его любовницей. Что я, должно быть, знала об его... поступках. Будто жена даже хотела из-за меня с ним разводиться... Я никогда в жизни не была ничьей любовницей! Я — актриса!

Она всхлипывала и сморкалась в маленький серый платок и говорила, а Катя слушала, нахмурив длинные брови, и вспоминала непонятные намеки Марго и с каким выражением, поджимая губы, мать произносила при детях фамилию Зайцевой... Кате раскрывалось грубое сплетенье обмана и клеветы, и, подобно Чуркину, она думала: «Как они лгали! Сколько мерзости оставили за собой!..» Обнаженные слова Зайцевой не оскорбляли Катю: она стала выше грошовой щепетильности... Она верила Зайцевой, потому что не верила матери: что сказала мать, то ложь, не может не быть ложью...

— Бог с ними, пусть бы говорили, я на сцене забываю все неприятности... Но они не хотят везти «Марию Стюарт» в Москву, заменили «Грозой»; вы видели «Грозу» у металлистов?.. Вы бы посмотрели, до чего там плохая Катерина, бог знает что, а не Катерина, я бы совсем иначе



сыграла... Слушайте, вы не можете дать справку, что я не имею отношения... что это клевета?

— Вряд ли вам поможет моя справка,— сказала Катя.

— Вы думаете?— спросила Зайцева.— Но что же мне делать?

— Не знаю,— сказала Катя.

— Слушайте, а если я напишу вашей матери? Вы мне дадите адрес?

— У меня нет адреса.

— Нет адреса?

— Нет.

Это была истинная правда.

— Как же это... нет адреса? У вас?— недоверчиво повторила Зайцева, заплаканными глазами глядя на Катю.

Та молчала, опустив голову. Зайцева спрятала платок и стала медленно, с прежней жеманной манерой надевать перчатки. Надев, встала и произнесла, меряя Катю взглядом:

— Девушка, я в вас жестоко разочаровалась! Вы — дочь своего отца и не более того!

Желая сказать что-то и не находя слов, Катя вышла за нею на площадку. Зеленый берет спускался в сумрачный провал лестницы. Из провала еще раз прозвучали слова, сказанные не то Зайцевой, не то Марией Стюарт:

— Что мне теперь делать!..

Катя вернулась в свою комнату: все по-старому — мебель, книги, трапеция,— дико, что все по-старому, когда жизнь перевернулась... Стало тягостно, невыносимо сидеть одной; но не хотелось видеть ни Наташу Штейнбух, ни своих институтских — никого, кто напоминал бы о прежнем. Представился Войнаровский... «Глупости; все позади, до того ли теперь... Надо работать. Самое честное на свете — работа. Пусть трудная, мне ни легкости не надо, ничего, пусть увидят — дочь отца или сама по себе... А как искать работу? Куда ни приду, скажут: почему бросаете институт, вы лучше доучитесь...» Из Сережиной комнаты донесся голос Саши. Катя вошла к ним и сказала:

— Саша, устрой меня в твою бригаду, я хочу быть строителем.

Мальчики обернулись к ней.

— А институт?— спросил Сережа.

— В бригаду?..— не веря, переспросил Саша.

— Екатерина,— сказал Сережа,— ты ведешь себя по-женски.

— Дайте мне делать, что [illegible] считаю нужным!— крикнула Катя.— Ты мне еще будешь указывать!..

— Там же под открытым небом... на верхотуре,— заикаясь от волнения, нелепо сказал Саша. Мысль, что Катя может быть с ним целыми днями, поразила его, он залился румянцем от нежданного счастья... «А зачем же она три года училась на биолога?..» Но он поспешно возразил себе: «После доучится. Разве [illegible] могу с нею спорить...» И закончил начатую фразу еще нелепей: — Как хотите.

— Устрой меня... пожалуйста!— повелительно *попросила* Катя, сверкая глазами.

— Дело твое,— сдержанно сказал Сережа.— Но это не линия поведения человека. Это линия поведения страуса.

Катя не ответила и вышла... Минула неделя, и вот Катя встала по будильнику в шесть утра; еще не рассвело. Она надела приготовленную заранее рабочую робу: мальчиковые ботинки, стеганые штаны и ватник; на штанах внизу были тесемки; она аккуратно завязала их у щиколоток. В ботинках мужского фасоиа было легко и удобно ногам. «Кто узнает?..»— подумала Катя, надев ушанку и взглянув в зеркало; из зеркала хмуро и вызывающе глянул на нее стройный чернобровый мальчик... Она засунула в карман завтрак, завернутый в газету, и сбежала по лестнице, по-мальчишески стуча широкими низкими каблуками. За эту неделю она дважды побывала на постройке и знала, как это выглядит и что ей придется делать.

Стояла ночь, горели фонари. Весь город — мостовые, тротуары, крыши, карнизы домов — был покрыт чистым, свежим, голубоватым, словно синькой подсиненным снегом. Много было прохожих: мужчины и женщины выходили из ворот и подъездов; снег вкусно похрустывал под ногами. Звеня и сияя, прошел трамвай, крыша его была тоже в снегу и на буферах снег. Вагоны были полны людьми — первая смена ехала на работу. И Кате стало радостно и светло, что и она в этом могучем людском потоке. Она погналась за отходящим автобусом и на ходу вскочила на подножку.

Под фонарем стоял человек в брезентовом макинтоше поверх полушубка, в руках деревянный чемодан и толстый портфель,— типичный сельский командировочный, который только что приехал и направляется [illegible] Дом колхозника... Он во все глаза смотрел на Катю; проезжая мимо — одной ногой стоя на подножке,— она узнала его: колхозный агроном, тот, что давным-давно, летом, был в нее влюблен... Она кивнула ему дружески. Ее возмущение против него было такое ничтожное, глупенькое... Приятно, что в это торжественное для нее утро увидел ее и узнал знакомый рабочий человек.



Чуркин уходил [illegible] отпуск. Нина-жена приехала, Чуркин встретил ее на вокзале. Всегда это было счастьем: поезд медленно подходил, Чуркин с бьющимся сердцем шел по платформе, жадно ища ее лицо в окне вагона. И всегда милое лицо, обветренное и оживленное, показывалось в другом окне, не в том, на которое смотрел Чуркин; Нина стучала в стекло, Чуркин вздрагивал и видел ее — [illegible] потом стоял у вагонной подножки, мешая пассажирам выходить, и не мог дождаться, когда же выйдет она. Она выходила наконец, они целовались быстрым («черновым», говорил Чуркин) поцелуем, он брал у нее чемодан, она знакомила его со своими товарищами, и в толпе товарищей и носильщиков они шли к выходу, [illegible] Нина говорила радостно:

— Ты ни капельки не изменился!

А Чуркин в первые минуты ничего говорить не мог, только смеялся.

И в этот раз он ждал ее у вагона и наклонился — поцеловать, но она отшатнулась и сказала испуганно:

— Что с тобой? Ты болен!

У него был измученный вид, доктора гнали в санаторий,— вот теперь поедем вместе, заездился действительно, отдохнуть необходимо...

— У тебя неприятности!— сказала Нина, заглядывая ему в глаза.— Что случилось?

Но Чуркин не сказал, не хотел отравлять встречу тяжелым разговором. Он завез Нину домой и поехал в горисполком — сдать Дорофее дела на время отпуска.

Словно пуля, которую пустил в себя Борташевич, рикошетом ударила [illegible] Чуркина — такую боль и слабость чувствовал он после того несчастного дня. Невозможно, неслыханно оскорбительным казалось ему, что он, так близко стоявший к Борташевичу, попался на удочку этой лжи и любил и уважал человека, который ежеминутно предавал и топтал все, что ему, Чуркину, дорого... «Я

к нему шел с открытой душой... а он, должно быть, надо мной смеялся со своей Надеждой Петровной!» Все отметили, что Чуркин после этой истории стал сух и замкнут, говорил только о делах и взглядывал на людей острым подозрительным взглядом — и некоторые от этого взгляда смущались...

Передача дел заняла не много времени: Дорофея была в курсе текущей работы и перспектив, сосредоточенна — понимала с полуслова, Чуркин ничего не должен был разжевывать... «Кажется, все»,— закончив, сказал он с угрюмой задумчивостью. Она сказала:

— Еще вопрос: как там дети Борташевича?

— Дети Борташевича?— растерянно переспросил Чуркин, застигнутый врасплох.— Да что ж?.. Живут.— Он покраснел.— Я точно не знаю...

— Как не знаешь?— изумилась Дорофея.

Чуркин опустил глаза:

— Мать, говорят, уехала...

— Да! Я слышала! Мерзавка! Там больной мальчик...

— Ну, он мог бы поехать с матерью,— пробормотал Чуркин.

Дорофея пристально посмотрела на него:

— Ты был у них, Кирилл Матвеич?

— Почему я должен у них быть! — пришел в ярость Чуркин.— Почему?! Мало мне, понимаешь, неприятностей?

— Да дети при чем! — вспыхнула Дорофея.— Дети за отца ответчики, что ли?

— Ну, что ты мне говоришь! — со стоном сказал Чуркин.— Зачем ты мне это говоришь! Ты не понимаешь!

Она не понимала. Он не шел к Сереже и Кате потому, что берег себя от страдания этой встречи. Его рана не зажила. Он не мог, чтобы это повторилось... Дорофея разглядывала его так, словно первый раз видела.

— Ну, Кирилл Матвеич! — сказала она тихим от негодования голосом.— Ну, не ждала! От тебя — не ждала! И как это все вместе в тебе уживается!..

Чуркин закрыл глаза и сидел неподвижно, принимая упрек и не отвечая на него, отказываясь отвечать...

— Подумать!..— вставая, сказала Дорофея.— Они же тебя, тебя ждали все время... и перестали ждать.

Она повернулась уходить.



— Я пойду!— сказал Чуркин.— Я... сегодня схожу.

Не оглянувшись, она вышла. Он остался сидеть как пригвожденный, дымя папиросой. Он не в силах был объяснить ей, что в нем происходит, вот этот страх перед новой болью,— не умел, и стыдно, стыдно...

Дома была Нина, расстроенная, непраздничная — теща ей рассказала,— брезгливо говорящая:

— С такой женой этого следовало ждать.

Чуркин сказал, что оставит ее еще ненадолго — ему нужно зайти к детям Борташевича. Нина посмотрела смягченно, уважительно и виновато:

— Зайди, конечно, надо проститься перед отъездом...

Что бы она сказала, если бы знала, что он не видел их с тех пор? Ей это в голову не пришло. «Ждали и перестали ждать...»

Долго он отстранял от себя это. Но, видно, неизбежно было опять войти в этот дом, подняться по этой лестнице, позвонить у этой двери...

Открыла не Поля, не Катя и не Сережа, а чужая женщина, она сказала:

— Их никого дома нет.

Чуркин почувствовал огорчение и облегчение — сразу; и собирался уйти, как женщина сказала:

— Только мальчик, он больной лежит.

Думая, что он не знает квартиры, она проводила его до Сережиной комнаты. Чуркин постучал, и дверь отворилась — ее отворил какой-то мальчик. Мальчиков в комнате было много, душ до десятка, из-за них Чуркин не сразу увидел Сережу. Тот лежал на кровати, к кровати был придвинут стул, на стуле стояла шахматная доска.

— Здоров!— задохнувшись от волнения, сказал Чуркин. Сережа смотрел на него, подперев голову худенькой смуглой рукой в белом рукаве рубашки. Черные глаза резко блестели на его маленьком лице. Чуркин видел, как изо всех сил это лицо старается сохранить спокойное выражение: тонкая бровь мучительно дергалась, выдавая эти старания... Стало очень тихо, мальчики замолчали и в тумане поплыли перед Чуркиным... «Пошли покурить!»— вполголоса сказал кто-то, и они вышли в коридор, осторожно топая. А Чуркин очутился возле Сережи. Застучав, посыпались шахматы с доски.

— Сережа!— сказал Чуркин, бережно обняв дрожащие детские плечи, острые под рубашкой... Это было страдание, которого он так боялся. Но за ним открылась

радость — беречь и растить эту молодую, больше всех обманутую и оскорбленную жизнь, направлять ее и гордиться ею: именно тогда принял Чуркин решение, что отныне он будет Сереже отцом и защитой.

Во время пребывания Чуркина в санатории Сережа поднялся наконец после пережитых потрясений.

Поднялся прозрачно-желтый, с темными кругами у глаз и с болью в позвоночнике, но полный мужественной готовности все пережить до конца и все сделать, что нужно.

Он методично привел в порядок свой письменный стол. Попался под руку дневник — толстая, красиво переплетенная тетрадь, на которой он когда-то изобразил череп и скрещенные кости и надписал: «Не трогать — смертельно!!!» Он пренебрежительно сбросил тетрадь в нижний ящик стола: «С детством кончено».

Он пришел к выводу, что человек в состоянии вынести очень много; и если человек уже вынес самое страшное, то может вынести и не самое страшное — пойти в школу, где знают, что у него случилось. Катя не отважилась пойти в институт, потому что она женщина.

Также Сережа решил, что будет учиться очень хорошо: он не должен допустить, чтобы ему делали замечания. Прежде это было неважно, теперь исключительно важно.

Он верил в Ивана Евграфыча и в ребят. Ребята рассказывали, что было специальное собрание, совершенно стихийное, в верхнем коридоре, по вопросу: как относиться к Сергею Борташевичу. Кто-то стал говорить о нем дурно, Санников соскочил с подоконника и сказал, что набьет морду всем, кто скажет хоть слово о Сергее Борташевиче. На шум явился Иван Евграфыч и разогнал собрание.

Сережа аккуратно ходил на занятия и отвечал на пятерки. Ему предстояло долго носить свое горе. Оно напоминало о себе на каждом шагу; смотрело из книг и из глаз учителей. Музыка играла о горе, только о горе. Гудки и автомобильные сирены кричали о горе.

Как-то он шел домой со стопкой учебников за бортом пальто. Шел, хромая, думая о своем, и вдруг увидел, что навстречу идет Федорчук.

После той злополучной истории они не встречались. Первым желанием Сережи было — шарахнуться, перебежать на другую сторону улицы, а лучше бы всего провалиться сквозь землю... Федорчук смотрел на него. «Но я же не трус,— подумал Сережа,— я могу и это». Он остановился и сказал:



— Здравствуйте, товарищ Федорчук.

— Здорово,— ответил Федорчук и тоже остановился. Постояли... На добром черном и усатом лице Федорчука было озабоченное выражение. Он спросил:

— Из школы? Как оно с учением, имеются успехи?

— Немножко,— ответил Сережа, догадавшись по этому вопросу, что Федорчук получил о нем сведения от Ивана Евграфыча.— А вы где теперь работаете?

— Засиделся на месте,— вздохнул Федорчук.— Предлагают в Куйбышев. Конечно, интересней бы в экспедицию, но жена не хочет. Готовится экспедиция в Коми республику, а она не хочет, и все.

— А что будут искать в Коми республике?— спросил Сережа. И они пошли рядом, беседуя по-мужски.

Метель метет, декабрь на дворе, скоро выборы в местные Советы.

Горят цепочки лампочек над дверями агитпунктов, освещая алые транспаранты с лозунгами. Вечерами по лестницам домов города Энска ходят агитаторы; Юлька в их числе. У нее четыре квартиры в большом доме — тридцать восемь избирателей. Она ходит к ним чуть не каждый день, это возмущает Андрея... На лестнице Юльке часто встречается тучный пожилой человек в котиковой шапке, с массивной тростью, шагающий медленно и степенно. Он шумно дышит, поднимаясь, и на площадках останавливается отдохнуть. Звонит у дверей и на вопрос: «Кто там?»— отвечает зычно и важно: «Агитатор!» Юлька ему не нравится: негодующе смотрит он на нее, когда она сбегает ему навстречу легким своим бегом. Он явно обижен: «Как! Этой девчонке так же доверили агитировать за блок коммунистов и беспартийных, как и мне, заслуженному человеку с одышкой?! Безобразие!» Юлька вздергивает нос и проходит, хмуря светлые бровки.

Близ дома, на бульваре, ее поджидает Андрей. Ему тяжело так долго без нее. Он неприкаянно бродит по пустынному бульвару, на него идет снег и крупа, и ему кажется, что продавщица в угловом ларьке презирает его за долготерпение.

— На сегодня все, я надеюсь?— спрашивает он, беря Юльку под руку. И блаженно чувствует сквозь шубку, как у его руки бьется ее сердце.

— На сегодня все,— отвечает она.— Но завтра надо еще к ним сходить.

— Ничего подобного!— говорит Андрей.— Никуда ты завтра не пойдешь.

— Какой ты странный, Андрюша,— говорит Юлька.— Им же нужно получить биографии кандидатов.

— Они не умрут, если получат биографии послезавтра.

Роли после свадьбы переменились, теперь командует Андрей, и Юлька слушается, хотя и не без протеста.

— Завтра ты будешь со мной. Я тоже избиратель. Почему открыто горло? Простудишься. Дай я поправлю.

Они идут к автобусной остановке, под большими вязами, под снегопадом. Белеют пустые бульварные скамьи. Юлька рассказывает Андрею, что с нею случилось за день, и он, склонив к ней голову, слушает ее...

И ночью снег идет, и днем. Весь белый стал больничный сад... В палате на койке сидит Геннадий в байковом халате внакидку и, задумавшись, трубочкой сложив губы, смотрит на белое окно, на сплетение белых ветвей за окном.

Почти два месяца прошло с того дня, как он прибежал, загнанный, к порогу родного дома и рухнул у этого порога, успев позвонить — известить о своем приходе.

Теряя сознание, он слышал крик матери, потом голос отца. Потом они оба, отец и мать, подняли его и понесли, и положили,— это было последнее, что он тогда сознавал. Очнулся в больнице...

Сейчас он сидел желтый, нечесаный, плохо побритый, на его длинной шее выросли сзади две некрасивые косички. Стал нелюдим: другие выздоравливающие играли в домино, рассказывали анекдоты, гуляли по палатам,— он держался особняком. Миловидные сестры, нежно посматривающие на интересного больного, потеряли надежду привлечь его внимание; Зинаиде Ивановне нет смысла ревновать. Впервые в жизни ему хотелось быть одному для того, чтобы думать.

Если бы он умер — что мог бы перед смертью рассказать о своей жизни? Нечего рассказывать. Все ерунда какая-то. А в конце — три уродливых, страшных рыла и карлик-убийца под дождем... Бред. И в болезни ему виделись эти рыла и карлик с зонтиком, похожий на черный гриб.



Они арестованы, говорит мать. Матери он сказал все. Она сказала отцу. Отец ничего не говорит; поседел сильно; придет и сидит молча, и часто выходит покурить. И у матери показалась седина, в прошлую встречу Геннадий заметил и сказал ей. Она провела рукой по своим подстриженным волосам, заложила прядку за ухо и сказала: «Наплевать!» А у него сжалось сердце. Он взял ее маленькую крепкую руку, поцеловал и заплакал,— они были вдвоем.

— Ну, поплачь. Ну, поплачь. Слабенький стал...— шептала она, быстрыми движениями гладя и прижимая к груди его голову. И у самой лицо было залито слезами...

Она говорила с прокурором. Суд над Цыцаркиным, Изумрудовым и их сообщниками будет, вероятно, в январе. Прокурор сказал — Геннадия вызовут в качестве свидетеля... Но могут и посадить, если поверят Цыцаркину, Изумрудову и Малютке, что Геннадий участвовал в их преступлениях. К этому Геннадий внутренне готов.

Он думает, думает... Передумывает все, что может быть, и все, что было. Знакомые лица вдруг по-необычному предстают перед ним, и он всматривается в них с удивлением...

Зина, например. С утра она появляется возле его койки вооруженная градусником, шприцем, мензуркой с лекарством, безответно выносящая его капризы и грубости, дрожащая за его жизнь,— похоже, ни дня не отдохнула Зина за эти два месяца,— что же такое Зина, что такое Зинина привязанность, какое он на эту привязанность имеет право?..

Юлька приходит, сестра. Ему по-прежнему не о чем говорить с нею, говорит она — о своих делах, об его здоровье,— и при этом на глазах у нее слезы, а в упрямой складке ее губ он читает: «Геня, мне тебя ужасно жалко, ужасно; но я все равно была права. Все равно тебя надо было выгнать. Если ты опять начнешь то же самое, я опять скажу, что тебя надо выгнать». И Геннадий больше не обижается, с угрюмой усмешкой он опускает голову перед Юлькиной непримиримостью...

Мать бывала у него каждый день; отец — всякий раз, как приезжал из рейса. И Андрей заходил вместе с Юлькой, и тетка Евфалия, и Марья Федоровна Акиндинова заглянула однажды.

Наведывались приятели — он принимал их сухо, их неумные и несмешные остроты сердили его: острят, как нанятые; тут у человека жизнь зашла в тупик!..

Лариса и Саша не проведали его ни разу, не передали привета, ничего.

О Ларисе он не думал: нашла себе новое счастье — ну и слава богу... Но Сашу как-то увидел во сне. Содержание сна забыл, едва проснулся, но осталось впечатление, он взволновался и попросил Зину, чтобы Саша пришел. Саша не спешил откликнуться на приглашение, пришлось, должно быть, Зине поуговаривать и поплакать, и когда он появился, Геннадий испытал только неловкость — впечатление от сна уже сгладилось... В белом больничном халате, туго напяленном на плечи поверх пиджака, высокий, возмужавший, Саша показался Геннадию богатырем; и новое, затаенно-счастливое («с чего бы?..») выражение его лица было неуместно. Впрочем, это выражение исчезло, едва Саша увидел Геннадия.

— А, здорово,— пробормотал Геннадий.

— Здравствуйте,— явно через силу сказал Саша.

— Садись,— Геннадий кивнул на табуретку. Саша неловко сел. Руку не протянул ни один.

— Как ты там?— спросил Геннадий после паузы.

— Да так. По-старому. А вы как?

— Да ничего.

— Поправляетесь?

— Угу.

— Хорошо,— неопределенно произнес Саша.

Еще помолчали. Саша спросил, томясь:

— Курить здесь нельзя?

— По коридору направо курилка.

— Вы не хотите курить?

— Мне нельзя.

— А!

В таком роде тянулся никому не нужный разговор. Саша достал папиросу, долго мял ее в пальцах, потом с силой дунул в мундштук, решительно вскочил, простился и ушел.

Внизу, в раздевалке, его окликнул женский голос:

— Саша!

Он узнал пожилую женщину, которая отворила ему дверь, когда год назад он приходил на Разъезжую; он догадался, что это мать Геннадия.



— Ты был у Гени? — спросила она обрадованно.

— Да,— ответил он и добавил: — Здравствуйте.

— Здравствуй,— сказала она и ласково, горячо сжала ему руку.— Наконец-то мы с тобой познакомились.

Седой, красивый человек в железнодорожной форме подошел и сказала Саше:

— Угости папироской.

Саша протянул ему коробку.

— Это Леонид Никитич, Генин папа,— сказала мать Геннадия.

— Где работаешь?— спросил Леонид Никитич.— Тяжело? Ничего?.. Ну и как материально?— Они поговорили о Сашиных заработках.— Это ты молодчина, что приобрел специальность. Великое дело. Какую шутку судьба с тобой ни пошути, а ты имеешь специальность, и ты себе хозяин. Меня сколько раз хотели выдвинуть по профсоюзной линии — не пошел, не хочу: мне лучше нет, как на паровозе.

— Саша,— сказала мать Геннадия,— ты приходи к нам.

— Да-да-да,— подтвердил Леонид Никитич,— имей в виду, как какая беда или нужда — валяй к нам без всяких.

— И без беды, и без нужды; просто приходи, мы рады будем,— сказала мать Геннадия виноватым голосом и на прощанье еще раз крепко, нервно пожала Саше руку. Он поблагодарил с недоуменьем: зачем он к ним пойдет, что ему у них делать? У него своя жизнь...

В эту трудную зиму, когда чуть не каждый день приходилось из-за метелей прерывать работу, к Саше пришло самое первое, самое чистое, самое лучезарное счастье, какое бывает только в ранней молодости: Катя с ним ежедневно на его «верхотуре», он едет на постройку и знает, что там его встретят Катины глаза.

О, он не ждет, что она его немедленно полюбит: за что ей его любить, за какие-такие заслуги? Вот, если он когда-нибудь станет красивым, с высшим образованием...

Но она к нему чуткая: один раз Саша достал папиросу, и спички, по обыкновению, кончились. Она увидала, крикнула: «Ребята, спички бригадиру!»

Другой раз взяла коробок из Женькиных рук, сама зажгла спичку и подала огоньку, закрывая его ладонями от ветра. И при этом улыбнулась Саше.

Он видел ее сегодня и завтра увидит с утра...

Заботиться о себе ему приходилось самому: мать жила

в больнице... По дороге домой Саша зашел в булочную, купил хлеба, на ходу отламывал куски и ел... «Ребята, спички бригадиру!»— сказала она. «Ребята, спички бригадиру!»— сказала она...

Новость: Акиндинов покидает нас. Он был вызван в Москву и вернулся с новым назначением: далеко-далеко, в краю, где зреют цитрусы, ему поручено некое грандиозное предприятие. Оно еще не вступило в строй; все там нужно создавать с самого начала: и кадры, и культурные жилища, и бани с пальмами.

Задача по плечу Акиндинову: какие масштабы!.. Он торопит Марью Федоровну со сборами. Зачем тащить с собой столько барахла. Брось; раздай; едем.

Ему уже мерещится пуск нового завода, мерещится городок, который он там построит,— в восточном стиле городок, с висячими галереями и крытыми дворами; тысяча и одна ночь — водоемы, цитрусовые рощи... Всей душой он тянется туда, к задуманному, непочатому... В то же время — грустно. Расставаться грустно. Торжественный и растроганный, обходит он цеха. Эта прекрасная сила созидалась при нем, под ревнивым и требовательным его руководством. Из каждого уголка на Акиндинова глядят его счастливые и трудные годы. Свою страсть, свои усилия, восторги, гнев, разочарования — громадный кусок себя он оставляет тут.

Аллея от заводоуправления к первому сборочному — как хороша она в инее, серебряные ветки сплетаются над головой,— а когда-то эти деревца доходили Акиндинову до плеча...

А Дворец культуры он так и не достроил, только правое крыло окончено... Разве достроит Косых с тем размахом?

Косых, бывший заместитель, остается во главе станкостроительного. Серенькая фигура: осторожен, точен, ко всем мнениям прислушивается... Как-то справитесь, товарищ Косых? В январе получите заказы для легкой промышленности, многое придется осваивать заново, уложитесь ли в сроки? Более восьмисот рационализаторских предложений на очереди — не утоните, товарищ Косых... Жили вы за Акиндиновым как за каменной стеной; по сути дела, вся ответственность лежала на плечах Акиндинова. Плохо, плохо будет вам без Акиндинова!

Чтобы подбодрить Косых, Акиндинов говорит ему:



— Вы, главное, смелее, смелее... Знания у вас есть, опыт есть. Главное — не робейте.

— Да я не робею,— говорит Косых.

— Да?..— с недоверием спрашивает Акиндинов.— Это хорошо.

Косых стоит перед ним, спокойно улыбаясь, в старом костюме, который он носит чуть не с военных времен, и неожиданно говорит странные слова:

— Я робел только с вами, Георгий Алексеич. Очень уж тяжко давите вы на людей вашим авторитетом.

Пораженный Акиндинов взглядывает на него сверху вниз. Есть искушение оборвать резко: «А вы наживите собственный авторитет, вот и не почувствуете тяжести чужого». Но было бы недостойно ответить так на откровенность товарища... Что же? Стало быть, Косых радуется его отъезду? Он, стало быть, испытывает облегчение? Он, возможно, думает: «Теперь у меня будет мой авторитет и моя ответственность...»

— Вот как,— бросает Акиндинов и отходит, не требуя объяснений. Безусловно, ему случалось отменять распоряжения Косых, но ведь отменял он в интересах дела и для того, чтобы научить людей работать как следует,— неужели Косых ощущал это как тяжкий гнет?

Ну, а другие?.. Он заговаривает с рабочими, инженерами. Со стариками, которых он представлял к орденам. С мальчишками, которым он дал квалификацию, образование, заработки!.. Все знают об его отъезде. Кое-кто высказывает вежливое сожаление. Старики спрашивают, а как там климат. Заместитель начальника механического цеха подходит с просьбой не забывать его: с Косых у него нелады. Но большинство говорит: «Ничего, новый директор тоже дельный; поддержит, справится!» Как будто совершенно все равно, кто́ будет директором, Акиндинов или другой человек, лишь бы нормально работал завод и выполнялась программа.

— Дворец уж без меня будете достраивать,— с улыбкой на губах и горечью в сердце обронил Акиндинов. Его заверили:

— Достроим, Георгий Алексеич!

Оскорбленный этим оптимизмом, он едет в город. Прощается с Ряженцевым; тот жмет руку, желает доброй работы на новом месте и обещает, что партийная организация Энска всячески поддержит Косых. Зато прощание с Дорофеей настоящее, душевное; они обнимаются со слезами на глазах, и обида отходит от акиндиновского

сердца, когда Дорофея говорит: «Надо же, хоть бы поближе куда вас посылали, а то в этакую даль, и на аэродром приеду проводить». Но тут же она добавляет:

— Это я как друг-товарищ, а как должностное лицо — знаешь, что скажу тебе, Георгий Алексеич? Нам, горсовету, с Косых легче будет; ты нам плохо помогал.

— Я — вам? Помилуй!

— Да, ты — нам. Вдвое и втрое мог больше для города сделать, мог, мог, мог, и не говори!

Она задорно хлопает по большому столу маленькой смуглой рукой.

— Если хочешь знать,— говорит она радостно и лукаво,— мы с Косых уже договорились: очередные дома станкостроительный ставит на Точильной. Приезжай посмотреть, как мы тут без тебя застроим наши окраины.

Она улыбается, и перед Акиндиновым встает прежняя молоденькая Дуся, увлеченная открытой перед нею деятельной жизнью. В темно-русых волосах блестит седина, но тронутая сединой прядь, заложенная за маленькое ухо, по-прежнему завивается колечком на конце. А морщины неприметны, и зубы чисты и блестящи, как в молодости. И непрерывно сменяются переживания, и движется жизнь в этом лице и в блестящих глазах...

Акиндинов возвращается домой. У подъезда его окликает звучный голос: Бучко, бывший редактор областной газеты, взятый Акиндиновым в заводскую многотиражку,— Бучко, лихач-кудрявич с хорошим литературным слогом. Он спешит как на пожар, ноги его разъезжаются на обледенелом тротуаре,— спешит, чтобы пламенно, задыхаясь, пожать Акиндинову руку.

— Георгий Алексеич, какие события!— восклицает он.— Я только что из цеха, вы бы видели, как все расстроены разлукой с вами, тяжело смотреть!.. Такое уныние, такая растерянность...

— Уныние?— повторяет Акиндинов.

— Разумеется, еще бы, такая потеря!.. Говоря между нами, Косых... При всем моем уважении к этому товарищу... Это не та фигура, которая должна возглавлять наш завод! Георгий Алексеич, ведь все понимают: разве будет Косых так заботиться о людях? Разве он будет так печься о блеске и славе завода?! Ведь отражением этого блеска светит, так сказать, весь город,— благодаря кому — благодаря вам! Вы... вы...— Бучко совсем захлебнулся.— Ума не приложу, как же мы будем без вас!



Те самые слова, которых Акиндинов ждал от людей; но почему-то очень противно слышать эти слова от Бучко.

— Вы ошибаетесь,— говорит Акиндинов надменно.— Косых — чрезвычайно сильный работник, крупнейший инженер, организатор... («И завтра ты будешь точно так же юлить перед ним, холуй!») Всего лучшего!— Он с брезгливостью сует руку в подобострастно протянутые руки Бучко и входит в подъезд...

Они обедают с Марьей Федоровной на маленьком столе в пустой столовой — мебель уже упакована и вынесена на лестницу, упаковщики топают по квартире, пахнет рогожами,— все: завтра утром нас здесь не будет... Марья Федоровна заплакана — привязалась к месту, к людям, к своей работе в заводских яслях.

— Ну-ну, Маруся! Там будет неплохо.

— Я знаю. Это и так просто... немножко. Ешь еще. Завтракать будем совсем по-походному.

Акиндинов поднимается и целует жену в голову, на которой по-прежнему, как в юности, двумя венцами уложены косы. Они уже не отливают пшеничным золотом, посветлели от седины, стали тоньше и еще мягче, но для Акиндинова это прежние дорогие, золотые косы, которые Маруся лелеет и расчесывает подолгу, и укладывает в венцы, чтобы он любовался ими.

Он целует ровный пробор между венцами, взяв ее бережно за виски, и она берет и целует его громадную толстую руку. В жизни никто не целовал ему рук, кроме Маруси; но она целует, и он удивился бы, если бы ему сказали, что его руки некрасивы: очевидно, они прекрасны, если их целует Маруся...

А на другой день Акиндинов летит над облаками в край, где зреют цитрусы. Ломит в ушах от высоты. В окне самолета взлетает и падает большое зимнее солнце. И в прорывах туч открывается внизу белая Земля.

На Земле готовятся к встрече Нового года. Да, еще год прожили мы с вами, как время бежит.

По городу расставляют щиты с портретами рабочих, досрочно выполнивших годовой план. Детишки считают дни, оставшиеся до новогодних каникул. Опять выставлены в витринах блестящие шарики и целлофановые хло-

пушки. На площадях продают елки, пахнущие лесом и детством. В яслях станкостроительного завода достают из нафталина художественного деда-мороза, приобретенного Акиндиновым год назад: надо поправить деду помятую бороду и подновить позолоту; на нового деда экономный товарищ Косых денег не даст.

Скоро попируем. Кто и не пьет — в эту ночь обязательно выпьет. Прозвонят кремлевские куранты — как не чокнуться? Чокнемся за счастье Саши и Юльки и их друзей, за свершение их надежд, за процветание города Энска! Пожелаем мужества Дорофее в предстоящих ей новых испытаниях. Пожелаем самых больших успехов товарищу Косых и всему станкостроительному заводу и всем людям, честно работающим для жизни — бесконечной, вечно молодой, вечно обновляемой жизни.

С Новым годом, товарищи!

*1953*

# Сентиментальный роман



О юность легкая моя!

*Пушкин*

1

После долгой разлуки Севастьянов ехал в город своей юности.

Когда-то Илья Городницкий рассказывал:

«Я гимназистом ушел из дому. Черт знает, где только не был. В Тифлисе при меньшевиках работал в подполье, накрыли, сидел в камере смертников, уцелел чудом. Был комиссаром дивизии, членом ревтрибунала, воевал, учился, жил в Москве, в Гамбурге, в Париже, написал книгу. И вот приезжаю домой. На Старопочтовой цветут акации. В тротуаре выбоины на тех же местах. Старые евреи сидят под акациями на стульях, дышат воздухом. Не помню, кто такие. Ну, думаю, меня тем более не узнать. У меня, между прочим, борода и заграничный реглан. Прошел и слышу:

— Володьки Городницкого сын. (Равнодушно.)

— Возмужал.

— Возмужал...»

Узнают ли Севастьянова старожилы родимых мест? Много лет прошло, он совсем от этих мест отбился, считал себя прирожденным москвичом. И кто там остался из старожилов? Пятилетки, переселения, война перетасовали людей. В городе новые улицы, новые парки — город в войну был сильно разрушен, теперь отстроен. Говорят, хорошо отстроен.

Севастьянов ехал туда на день, от поезда до поезда, просто взглянуть... Ехал из санатория, в вагоне были сплошь курортники, возвращающиеся домой: женщины с шоколадными руками, обнаженными до плеч, и с яркими губами на шоколадных лицах; мужчины в светлых рубашках. Их голоса были еще по-курортному оживленными, празднично беззаботными. Мужчины острили; женщины кокетливо вскрикивали... Детишки с выгоревшими на солнце головами томились и капризничали в вагонном бездействии. Багажные полки были забиты новенькими



белыми корзинами с фруктами. Пахло яблоками и виноградом. Резвый ветер дул в окна.

Горы кончились. Поезд шел через степь. Севастьянов до вечера простоял в тамбуре, положив локти на опущенную раму окна. Два месяца назад, с самолета, он ничего не увидел: был болен и, взглянув вниз с высоты облаков, закрывал глаза от слабости... Сейчас были убраны хлеба, и обнаженно и величаво лежала земля, отдыхая от праведных трудов,— желто-серое жнивье, окропленное яично-желтой сурепкой,— серый цвет и желтый цвет до горизонта. На откосе за окном, казалось — на расстоянии вытянутой руки, бесплотно трепыхались сухие бледно-лиловые бессмертники.

Кое-где пахали, черная полоса опоясывала край земли — черное море, маленький трактор бороздил черное море. Потом заполняла все видимое пространство бурая отава, по отаве паслись пестрые коровы. Седой чабан в соломенной шляпе сидел на насыпи, свесив босые старые ноги, и пил молоко из бутылки. В другом месте пасла стадо девушка городского вида, она медленно шла с хворостиной в руке и читала книгу, на ее склоненной шее, в вырезе платья, обрисовывались позвонки, оборка широкой юбки вилась вокруг колен.

Круглыми комочками дыма попыхивала даль, мимоходом в вагонное окно влетело тарахтенье молотилки, три такта: та-та-та.

Станица, беленые хаты, колодец на улице. Женщина, скалясь от солнца из-под белого платка, крутила колодезный ворот и глядела на поезд. И так же знойно скалился, глядя из-под ладони, маленький мальчик, стоящий возле женщины. Тяжелое ведро медленно и прямо подымалось из колодца, над дверями хат прибиты гирлянды лука и связки перца, красного как огонь.

Станции — огнедышащие острова: жгучая земля в мазуте и штыбе, сверкание рельсов и скрежет железа, элеваторы, паровозы, пакгаузы, грузы... И снова поезд бежал через простор, обдуваемый ветром, степная дорога, добела испепеленная зноем, бежала рядом с полотном, серая тучка пыли катилась по дороге, а перед тучкой грузовик, нагруженный мешками. И — то курган замыкал распахнутую в окне картину, то высокая скирда. И скирды были задумчивы и вечны, как курганы.

На остановках Севастьянов выходил, смотрел на новые вокзальчики легкой павильонной конструкции, они были современней и чище прежних станционных зданий. Поку-

пал помидоры, арбузы, вареные кукурузные початки — в детстве все это было вкусней. В общем, он отнесся к родной своей степи с родственным вниманием, но без умиления — ведь какие пространства исколесил за эти годы, в каких краях не побывал. Так же кружили и плыли навстречу иные просторы. Там тоже насыпи и бессмертники на насыпях. И мягкая южная речь с придыханиями и неправильностями, от которых в свое время отучался в Москве,— эта речь звучит и под другими широтами...

Поезд приходил в *** утром. Севастьянов встал раньше всех не из чувствительных побуждений, просто он не любил суеты и сутолоки, которые бывают перед приездом в большой город.

Вагон спал, розовое небо светило в окна справа. На некоторых подушках лежало по две головы, женская и детская, голова ребенка льнула к материнскому плечу. Темные руки выделялись на белых простынях. На верхней полке парень с голой бронзовой спиной безмятежно храпел, лежа на животе и повернув вбок счастливое лицо. Севастьянов не торопясь, без помехи умылся, надел свежую рубашку, убрал в чемодан дорожные вещи.

— Не желаете чаю? — тихим голосом спросил, заглянув к нему, проводник... Со стаканом в руке Севастьянов вышел в тамбур к своему окну, и в этот момент поезд приостановился у разъезда. Разъезд как разъезд, желтый домишко, капуста и тыквы на грядках, белье на веревке. Безыменный разъезд в степи, остановка на полминуты, но Севастьянова будто окликнул кто: «Эй, посмотри, не узнаешь разве?», он вздрогнул и увидел за окном себя, молодого, шагающего, улыбаясь, к поезду, с волосами, раскиданными ветерком:..

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала — каждая спаленная былинка, доживающая лето, держала свой сияющий дрожащий алмаз, а капустные листья в маленьком огороде были усыпаны частыми сизыми каплями. И Севастьянов вспомнил точно такое алмазное утро, солнце так же играло, лежа низко, и степь переливалась — но она была зеленая! Далеко-далеко то утро, там теснятся юные лица сверстников, звучат голоса,— там он всходит по ступенькам железной лестницы, ступеньки громыхают как гром небесный,— там он пишет свои первые строчки и изображает на карнавале какого-то лорда...

Было утро, степь переливалась, он шел по степи, вот этот самый Севастьянов, что стоит сейчас тут в вагонном



тамбуре со стаканом чая в руках. Тогда эти руки были розовые и юношеские, с гибкими пальцами и запястьями как из железа, и он ими беспечно размахивал на ходу. Он шел по степи, трава была густая, холодная,— а при чем тут разъезд, стой! Разве был разъезд? Значит, был, если запомнился навеки. Был разъезд, было утро, Севастьянов шел по алмазам и любил, так любил, что даже воспоминание об этой любви обожгло ему глаза. Он любил неимоверно и небывало, а штаны у него до колен были мокрые от росы.

## 2

Это какого ж лорда он представлял, Керзона, что ли? Или Чемберлена, с Чемберленом у нас тоже были счеты, даже на спичечных коробках, помнится, было напечатано: «Наш ответ Чемберлену».

Во всяком случае, Севастьянов был на карнавале в цилиндре. Стоял на грузовике, рядом кулак с бородой, поп с бородой, раввин с бородой и кто-то еще в цилиндре — Ллойд Джордж?.. На другом грузовике ребята были загримированы под китайцев, индусов, негров: Интернационал.

Они продвигались над теснотой людских голов, среди знамен алых, малиновых и густо-вишневых. (Тяжелый бархат цвета черной вишни. Ведь как бедны были в те годы, а самый слабенький заводик выносил знамя из шелка или бархата, кумач шел только на лозунги да на косынки женщинам...) Знамена, оркестры и хоры обгоняли едущих. Каждый оркестр играл свое, каждый хор пел свое, песня наплывала на песню и марш на марш. Иногда это все останавливалось: когда впереди где-то образовывался затор; и грузовики стояли затертые; а потом опять все медленно текло — красное, золотое, медное, скопление людей и музыки — вдоль Коммунистической. Во время остановок девчата в украинских костюмах, размахивая лентами, плясали на мостовой казачка и шамиля.

А какая-то дивчина стояла на крыше университетского здания — пять этажей — на самом краю. Крыша была покатая, держаться не за что. Но каждую демонстрацию стояла там дивчина, первого мая и седьмого ноября, то в светлом платье, то в пальто, по сезону. Она демонстрировала свое бесстрашие. Показывая на нее, говорили: «Вон она опять». Жутковато было, как она стоит на самом

краешке покатой крыши, ничем не защищенная от смертельной высоты. Ее стриженые волосы трепал ветер.

Севастьянов раскланивался, поднимая цилиндр, и кричал: «гау ду ю ду» и «ол райт»— больше он по-английски не знал ничего. Поп крестил народ. Кулак гримасничал. Каждый с усердием нес свою агитационную службу.

Знакомые ребята, узнавая их, кричали: «Ванька Яковенко, здорово! Ленька Эгерштром, Шурка Севастьянов, здорово!» «Здорово!» — отвечал Севастьянов, забывая, что он лорд. Выкрикивались революционные лозунги — он кричал «ура» со всеми.

### 3

В одну весну были три пасхи: еврейская, русская и комсомольская.

На еврейскую целой оравой нагрянули к Семке Городницкому. Семка рад был подкормить товарищей; и в то же время страдал, что у него, безбожника, в доме пасхальная еда на столе. Все в этом доме вызывало его протест и возмущение, и прежде всего отец. Старик Городницкий в крахмальной манишке сидел на диване и хвастал. Семке хотелось, чтобы ребята побыстрей наелись и ушли, и он, Семка, с ними. Щурясь от стыда, он предлагал басом: «Пошли пройтись». Но старик Городницкий вцепился в них, мальчишек, не хотел их отпускать, пока они не выслушают его рассказов об успехах Ильи, о талантах Ильи, о блестящем будущем Ильи.

— Вы читали его статью в «Известиях»? Чтобы написать такую большую статью, надо разбираться в вопросе, ха-ха? Говорят, такому-то и такому-то понравилась статья. Теперь он пишет книгу. Ему дали отпуск, чтобы он написал книгу. Неограниченный отпуск, вам понятно? На полгода, на год, пожалуйста. А со здоровьем неважно, катар желудка еще с тюрьмы и головные боли, и он же не бережется, ему предлагают Кисловодск и что хотите, а он сидит в Москве и пишет книгу!

Выцветшие, навыкате, глаза старика Городницкого наливались слезами и кровью, когда он хвастал Ильей, своим старшим сыном. При белых он кричал, что знать не знает этого выродка, пусть издохнет в кутузке. Сейчас говорил:



— У нас в роду были коммерсанты, музыканты, сапожники, теперь бог даст, будет большой политический деятель. Выпьем за него! Мы еще о нем услышим!

Он жаждал услышать скорей, его белые руки в коричневых крапинках вздрагивали от нетерпения... Дама с черными усами и громадным бюстом, на котором среди волнующихся оборок вздымался и опадал брильянтовый якорь, хлопотала у стола и подкладывала ребятам то фаршированной рыбы, то мяса в сладкой подливке. Перед каждым стояла салфетка, как маленький снежный сугроб. Никто из ребят не притронулся к этим голубоватым блестящим холмикам. Ножи и вилки были громоздкие, тяжелые, с вензелями... Семка яростно щурился, ничего не ел, и его горбоносое длинное лицо, искаженное отвращением, говорило: «Я не выбирал себе отца. Я не фаршировал рыбу. Эта тетка с усами и брильянтами не имеет ко мне отношения. И вообще я повешусь». Но ребятам интересно было послушать об Илье, их увлекала эта биография, такая молодая и такая бурная, полная дерзости и перемен, они примеряли эту судьбу на себя. Севастьянов думал: Илье повезло в том смысле, что он раньше родился. Родись я пораньше года на три-четыре, я тоже участвовал бы в гражданской войне, во всех этих событиях. Но ведь это начало, думал он. А угнетенный Китай, а немецкий пролетариат... Понадобимся и мы.

Пока же они мастерили богов для публичного сожжения. Наперерез наступающей православной пасхе они подводили, как мину, свою комсомольскую пасху. Семка Городницкий делал в клубе коммунальников доклад: «Существовал ли Христос? Евангельская легенда с точки зрения астральной теории шлиссельбуржца Морозова». Он гордился, что взял такой оригинальный, эффектный материал и что кто-то сорвал афишу и пришлось делать новую. Севастьянов на доклад не пошел, для него вопрос был ясен, а забежал за Зойкой маленькой и Зоей большой, чтобы вместе идти на сожжение.

Он шел за руку с Зойкой маленькой. Ее пальцы угрелись в его руке, лежали, свернувшись уютно. Был расцвет их дружбы, еще ничем не омраченной, доверчивой. Их соединенные руки были спокойны. Так могли бы идти брат и сестра, полные взаимного понимания и доброжелательства. Зоя большая шла впереди, окруженная ребятами Ребята напропалую острили, толкались, Ленька Эгерштром даже прошелся перед Зоей на руках, благо подморозило. Зоин смех взлетал высоко и нервно. Севастьянов

нарочно сдерживал шаг, чтобы с Зойкой маленькой отстать от них немножко: он не одобрял, когда ребята поднимали на улице возню и гам; пускай они влюблены по уши — он находил их поведение дурацким.

В темных улицах, невысоко над землей, плыли пятна разноцветного света; обгоняя друг друга, двигались по направлению к «границе». Это люди шли в церковь и несли фонарики — розовые, желтые, полосатые. Маленьким мальчонкой Севастьянов тоже ходил с покойной матерью к заутрене, неся за проволочную дужку бумажный фонарик. Фонарик складывался и растягивался, как гармонь. На дне у него была вставлена свечка, лепесток ее огня сквозь отверстие картонной крышки дышал на руку слабым теплом. Воспоминание слабенькое, как это зыбкое дыхание! Севастьянов вырос и шел в компании ребят сжигать богов.

— Даешь с дороги, а ну!..— закричали сзади, выругавшись. Севастьяновская компания посторонилась. Ее обогнали парни с дубинами. В центре группы несли на носилках огромный, хитроумно склеенный фонарь — в виде замка с башнями, в нем горело много свечей,— должно быть, сообща сооружали... Стуча сапогами и ругаясь, парни с дубинами прошли. Зойка маленькая сказала:

— Вот это фонарь, я понимаю.

Сказала для того, чтобы Севастьянов не подумал, будто ей отвратительно и горько от мерзких слов, которые прокричали, проходя, парни с дубинами. «Ничуть не горько, подумаешь,— хотела она сказать своим замечанием,— я даже внимания не обратила — рассматривала фонарь». Она шла всюду, где можно видеть людей и события; но все грубое ее ранило, и она стыдилась своих ран, она хотела быть неуязвимой.

Открылся черный простор «границы»— весь в цветных созвездьях, тепло и туманно толпящихся у самой земли, кружащих над нею, перемещающихся и сталкивающихся.

— Красиво все-таки,— сказала Зоя большая, оглянувшись на маленькую.

— Спрашиваешь!— воскликнул Ленька Эгерштром, выслуживаясь.— Конечно, красиво!

Но Зойка маленькая сказала своим холодноватым, ясным голосом:

— Смотря что считать красивым. Если видеть красоту в религиозном дурмане...



И даже самые влюбленные, даже Спирька Савчук, который, по Ленькиному уверению, от любви к большой Зое заболел малярией,— они все присоединились к Зойке маленькой: на черта красота, если от нее вред трудящимся. Каленым железом выжигать такую красоту, которая опиум для народа! Тем более, тут и красоты никакой нет: идут, несут паршивенькие фонарики, нашли чем восхищаться. То ли дело была иллюминация в пятилетие Октября, говорили ребята, когда вдоль чуть ли не всей Коммунистической горели гирляндами лампочки, а на учреждениях горели красные звезды...

Потом они жгли Христа, и Иегову, и еще всяких больших соломенных богов с ярко размалеванными лицами. Костер был разведен на широком перекрестке Коммунистической и Мариупольского, на скрещении трамвайных путей. Движение прекратилось. Длинные цепочки трамвайных вагонов выстроились с четырех сторон. Подходил еще вагон и послушно замирал в конце цепочки. Народ усыпал все четыре угла и ближние кварталы, а вокруг костра были комсомольцы, сотни комсомольцев с Югаем во главе.

Боги пылали под звон пасхальных колоколов. Столбы искр летели в городское небо. Свет костра растекался по проводам вверху и по рельсам на земле, пахло дымом. Югай стоял близко к костру, по его лицу проносились тени и сияние от пляшущего огня. Он стоял в своей кожаной куртке, с кобурой у пояса, и смотрел, как сгорают боги.

Боги сгорели, толпы хлынули прочь от перекрестка, трамваи двинулись, осторожно звеня... Колокола всё били. Севастьянов и Зойка маленькая заглянули еще в молодежный клуб и послушали диспут: «Может ли комсомолец есть куличи». Установили, что не может, а на другой день Севастьянов ел кулич и дома у тети Мани, и у Ваньки Яковенко, и у Зойки маленькой,— во всех домах справляли пасху, если не родители, так бабушки и дедушки... Севастьянов не был двурушником, просто ему всегда хотелось есть, а вкусная еда была редкостью в его жизни.

## 4

Дама с черными усами бросила свой якорь под кровом старика Городницкого. Сразу после пасхи она туда въехала, и старик сходил с ней в загс. У них на доме вокруг

парадной двери были навешаны эмалевые дощечки: «Зубной врач», «Член коллегии защитников», «Сифилис, венерические здесь, 2-й этаж». К этому дама прибавила большую поперечную вывеску: «Мережка и зигзаг». В квартиру стали ходить заказчицы. Это было последней каплей в чаше идейных разногласий, существовавших между Семкой и его отцом. Семка взбунтовался и ушел из дому.

Старик Городницкий был видный, откормленный, благодушный, с холеными руками. Он носил гетры и золотые запонки на манжетах. До революции он был коммивояжером, ездил по России с образчиками парфюмерных товаров. Потом спекулировал иностранной валютой. В двадцатом году у него сделали обыск, забрали доллары и его самого забрали в Чека, но скоро выпустили. Теперь он ходил по магазинам и конторам и предлагал свои услуги, но биржа труда не допускала его на работу, потому что он был чуждый элемент.

А Семка был черный, как галчонок, горбоносый, лохматый, сутулый и такой узкоплечий, что когда он держал руки в карманах, то казалось, что плеч у него нет вовсе. Было известно, что он шляпа, хотя и может сделать доклад со ссылками на Маркса и Энгельса и читает наизусть гибель стихов. Читал он по преимуществу Маяковского и — чтобы исполнение наилучшим образом соответствовало исполняемому — путем особых упражнений выработал себе глубокий гулкий бас.

Держа руки в карманах, он вышел на парадное, увешанное эмалевыми дощечками. В спину ему гремел негодующий монолог старика. Верещала дама. Семка сошел с крыльца и рассеянно пошел по Старопочтовой.

Идти ему было некуда. Со всеми родственниками, кроме Ильи, у него были те же разногласия, что и с отцом. Илья не интересовался младшим братом, жил вдалеке своей завидной жизнью, гордость не позволила бы Семке обратиться к нему.

Семка пошел к Югаю, тот сказал:

— Ну правильно, давно бы так.— И обещал помочь в смысле работы и в смысле жилья.

К тому времени и у Севастьянова в семействе стало твориться черт знает что. Дядька Пимен всем испакостил жизнь, тетя Маня, ища на него управы, обила пороги фабкома и женотдела. Севастьянов маленько оттузил дядьку за то, что тот с пьяных глаз вздумал приставать к Нельке. Севастьянов тузил его в уверенности, что делает



святое дело, наказывает свинство и охраняет благообразие в семье. Но тетя Маня вдруг обиделась и накричала на него, чтоб не лез не в свои дела, что он обязан дяде ноги мыть, и неужели не видят нахальные его глаза, что он тут сбоку припеку... Севастьянову окончательно противно стало приходить домой, он сказал Семке:

— Я тоже от своих буду драпать, возьмешь меня вместе жить?

— Только условие,— ответил Семка торжественным басом,— жить по-комсомольски. Никакого мелкобуржуазного обрастания.

Севастьянов пообещал, что обрастания не будет... И вот они вдвоем в комитете у Югая. Севастьянов сидит на углу стола и жует булку — он с работы. Семка курит, отвернувшись с суровым видом. Севастьянов соображает, что Семка тоже голодный, и делит булку на двоих.

— Вы там каким-то совбарышням выдаете ордера...— говорит Югай в телефонную трубку.

Он сидит, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, на нем кепка, сдернутая назад, и добела вытертая кожаная куртка с оборванными пуговицами. В этой куртке он приехал из Москвы, носил ее зимой и летом, невозможно было представить себе Югая в чем-нибудь другом.

Он легко сердился. Глаза становились недобрыми — узкие глаза, словно подпертые широкими скулами. Но держал себя в руках — не сорвется, не закричит. Только челюсти сожмутся и губы начинают двигаться медленно, одеревенело, как с сильного мороза.

— Совбарышням выдаете,— медленно говорит он, плечом прижав трубку к уху, глаза недобрые.— А наш активист живет в обстановке частной мастерской, хороший комсомолец вынужден жить в нэпманской ко́дле...

Который раз Югай произносит по телефону эти речи, а Семка Городницкий ночует тем временем у ребят, знакомых и незнакомых,— то на полу, то с кем-то на кровати, то в общежитии для ответственных работников, то на стульях в передней коммунальной квартиры, куда он попал впервые в жизни, а как-то Севастьянов крадучись привел его к себе в Балобановку. Все спали в жаркой комнатке, на кровати дядька Пимен с тетей Маней, Нелька на коротком сундучке с приставленным в изножье стулом, в полумраке на Нелькиной голове белели бумажные рожки. Дядька Пимен и тетя Маня храпели, словно состязались, кто громче. Густо, тяжело пахло керосином от стоявшей на столе лампочки с жестяным рефлектором.

Огонек лампочки слабо бродил, припадая, по накалившемуся докрасна фитилю — в лампе кончился керосин, но казалось, что огонь томится и шарахается от храпа, гремящего с кровати. Севастьянов постелил на своем месте, между дверью и комодом, задул лампочку,— осторожно шепчась, они с Семкой легли. Утром был скандал, Севастьянов выдержал его стойко...

Но вот в один прекрасный день они шли из жилотдела с ордером, Югай добился своего через губком партии, где Семку знали как антирелигиозного пропагандиста. Ордер был на Семкино имя; Севастьянов положил его в свой карман, боясь, что Семка потеряет.

Шли веселые, и день был веселый — теплынь, голубизна, сияние, наметившиеся бутоны на акации как огуречные семечки. Звеня, прошкандыбал маленький красный трамвай, Севастьянов и Семка на ходу вскочили в прицепку. Это была платформа, открытая с боков; скамьи для пассажиров стояли поперек, а вдоль платформы по обе стороны тянулась подножка, и по ней, придерживаясь за поручни, ловко двигался бочком кондуктор и продавал билеты. За Севастьяновым и Семкой вскочил беспризорный в лохмотьях, спел модную чувствительную песню, где были слова «моя мама шансонетка», прошелся по подножке, небрежно собирая гонорар, под конец небрежно, не глядя, вынул папиросу изо рта у кондуктора, сунул себе в рот и соскочил...

А Севастьянов и Семка приехали к дому, где им предстояло жить. Дом был трехэтажный, серый, с выступающим облупленным фонарем; большая витрина в нижнем этаже замазана мелом, там шел ремонт, через сколько-то времени там открыли кафе.

Севастьянов и Семка заняли на третьем этаже комнату при кухне. Комната имела такой вид, будто ее обстреляли из пулемета; даже на потолке зияли дыры от гвоздей, вырванных вместе с штукатуркой. Окно выходило во двор, на кирпичную стену, к кирпичной стене черной ломаной линией лепилась железная лестница. Такая же лестница вела к их жилью.

Первую ночь они ночевали на газетах, которые Севастьянов взял в экспедиции. Затем перевезли на новую квартиру свое барахлишко.



5

Нелька помогла Севастьянову собрать вещи и увязать узел. Тетя Маня была довольна и немного обижена.

— Вот теперь будешь говорить,— сказала она,— что мы тебя выжили. А мы разве выживали, да живи, пожалуйста, мешаешь, что ли? Ты не чужой, от ро́дной сестры племянник. Живи и живи.

Дядьки дома не было.

— Хоть покажись нет-нет,— продолжала тетя Маня, обижаясь.— Хоть посмотреть на нас зайди, какие мы. А если надумаю судиться — уж как хочешь, тебя в свидетели позову. Поскольку ты нашу всю антимонию знаешь. Женотдел велит в суд подавать. Обвинять, говорят, делегатку пришлем, поголосистей. Но я еще не решила,— тетя Маня в задумчивости взялась за подбородок, на темной узловатой ее руке было надето серебряное обручальное кольцо.— Не решила, нет. Жалко мне его...

Нелька вышла с Севастьяновым за ворота. Еще не стемнело; в высоком светлом небе стоял месяц-молодик.

— И я уйду тоже,— сказала Нелька, глядя на месяц.— Как позовет кто замуж, так и уйду.

Севастьянов сочувственно встряхнул ее руку. Хотя у них были различные понятия и надежды, сиротство их роднило. Нелька была тети-Маниной крестницей. И так же, как Севастьянова,— сердясь и обижаясь, что все ей садятся на голову,— приютила Нельку тетя Маня. А благодарность к тете Мане, вместе с раскаянием в том, что это чувство пришло так поздно, Севастьянов ощутил через много лет, когда она умерла. Дядька Пимен умер раньше нее, Севастьянов и Нелька были далеко, хоронила тетю Маню табачная фабрика, на которой она проработала всю свою жизнь, с девчоночьих лет.

В тот вечер, прощаясь с Нелькой у ворот, Севастьянов чувствовал только облегчение. Его душа тянулась к другим людям, в другие места. Он не любил Балобановку.

Это был поселок за городом, на голом, без деревца, без кустика, низком месте. Стоило пройти дождю, как вся местность надолго погружалась в грязь: казалось, влаги в почве было достаточно, но почему-то не росло там ничто долговечное, только мальвы, да ноготки, да крученый паныч цвели кое-где по дворам.

В ничем не прикрытых дворах орали петухи, крик их разносился над степью, издали с дороги видны были их развевавшиеся хвосты.

Домишки мазаные, побеленные мелом... Дожди смывали мел, на стенах проступали бурые подтеки глины. Крыши в разноцветных заплатах... Улиц не было: как стали домишки, так и стояли — кто куда лицом, все врозь. Вытяжные трубы нужников торчали, как скворешни.

Вокруг поселка расходились во все стороны широкие дороги, разлинованные колеями. По этим дорогам полгубернии съезжалось в город на базар. Оплетенная дорогами, как петлями, лежала Балобановка. Ничего из нее не было видно, кроме дорог и возов на дорогах.

Впрочем, если оглядеться, то еще кое-что. С одной стороны рыжели карьеры, где брали глину для кирпичного завода. С другой — зеленела на горизонте небольшая роща, пристанище бездомной любви. С третьей — в балочке курился дым из труб, там подобный же существовал поселок, по названию Дикий хутор.

А с четвертой стороны — какая-то вышка, не понять к чему: будто шагал к поселку урод-великан и все не мог дошагать.

Здесь жили заводские рабочие, сапожники, извозчики, люди без занятий. Гнали самогон и, напившись, резались ножами. На свадьбах гуляли по три дня, а то и по неделе. Родившихся детей годами не регистрировали. В праздник Покрова Балобановка выходила на кулачный бой с Диким хутором.

Свои богачи были здесь, свои лекари, гадалки, свои знаменитости, например — силач Егоров, извозчик, первый победитель в кулачных боях; говорили, что он уложил насмерть шестерых человек...

Вскинув на плечо легкий узел, Севастьянов уходил дорогой, разлинованной грубыми бороздами. Темнело, месяц наливался золотом. В бороздах блестела грязь. Идти надо было обочиной, по узкой вихляющей протопке, проложенной ногами пешеходов, Севастьянов знал эту протопку наизусть. Коротенькая сквозная тень шагала с ним рядом... Отойдя, оглянулся. Еще раз увидел кривые домишки, разводы дорог, черными реками текущих за окоем, шагающего урода под острой скобкой месяца — всю нищую Балобановку, страну его детства.



## 6

В то время он уже с полгода работал в отделении «Серпа и молота».

Устроил его туда комсомол, а до этого Севастьянов все как-то не мог нигде утвердиться прочно.

Он ходил на вокзал — от Балобановки черт знает какая даль — и предлагал свои услуги в качестве носильщика. Он был высок и силен; но именно поэтому мешочники нанимали его неохотно, они боялись, что он удерет с их мешками, предпочитали пожилых носильщиков, с одышкой, или пацанов поменьше и послабей... Все-таки свой хлеб он зарабатывал, а иногда и домой приносил хлеба. Потом поступил на картонажную фабрику.

Там работали девчата, работа была легкая — женское рукоделье. Севастьянову тягостно было одному сидеть среди девчат и заниматься женским рукодельем. С первого дня он томился — куда бы деться; удерживало сознание, что надо же иметь регулярный заработок, купить теплую куртку, пройти в профсоюз... Коллектив был маленький, отсталый. Клея коробки, девчата стрекотали о Гарри Пиле и ухажорах, их оскорбляло, что Севастьянов не зажигается их интересами и не отвечает на заигрыванья. Они его невзлюбили, дразнили монахом и интеллигентом, а когда им это надоело, перестали его замечать. Перестав замечать, разговаривали в его присутствии о своих девичьих делах, о которых парню слушать не положено, и преспокойно поднимали юбки, чтобы поправить чулок или показать товаркам кружево на белье,— не из бесстыдства, а потому, что Севастьянов не существовал для них, как бы и не присутствовал вовсе. Едва представилась возможность уйти, он ушел без размышлений, не успев оформиться в профсоюзе.

В политпросвете он был курьером. Тоже малоподходящее дело для здоровенного парня — носить бумажки по городу. Скоро его сократили. Он опять отправился на вокзал. Но профессионалы-носильщики уже сорганизовались и выставили на всех платформах свои пикеты в фартуках и бляхах, урвать заработок стало трудно. Севастьянов разгружал на пристани угольные баржи, помогал Егорову, соседу, ремонтировать конюшню, а главным образом околачивался на бирже труда, оттуда иногда посылали на временную работу.

Газета «Серп и молот» сперва печаталась на толстой грифельно-серой оберточной бумаге и не продавалась,

а расклеивалась на домах, заборах, афишных тумбах. Была она маленькая, вроде декрета или воззвания. Постепенно росла. Стала печататься на белой бумаге. Стала четырехстраничной. Ее стали продавать за деньги. Предложили на нее подписываться. Но подписчиков было мало. Рабочие еще не привыкли выписывать газету. Кто хотел — покупал на улице у газетчика или прочитывал в красном уголке.

Чтобы приблизиться к рабочему читателю, редакция открыла отделения во всех районах города. Севастьянов работал в отделении Пролетарского района. Оно помещалось на Садовой, неподалеку от площади, где стоял памятник Карлу Марксу. Площадь была мощена булыжником, крупным и расшатанным, как старые зубы. На нее выходил небольшой общественный сад с усеянными подсолнечной шелухой дорожками и раковиной для оркестра. У входа в сад жгучий брюнет грузин торговал с лотка маковниками, орехами в сахаре, белой тягучей халвой, нарезанной кусочками.

Слева от отделения «Серпа и молота» находилось молитвенное собрание христиан-баптистов. Баптисты собирались по вечерам и пели хором. В теплое время они пели при открытых окнах...

Отделение «Серпа и молота» занимало длинную узкую комнату, зажатую между баптистской молельней и парикмахерской. Входили прямо с улицы. Единственное окно давало мало света, его заслонял фанерный щит с призывом подписываться на «Серп и молот».

Севастьянов пришел сюда хозяином. Нашел пустую отсыревшую комнату в пыли и паутине, на полу была просыпана земля. Маленькие сени позади комнаты заставлены битыми цветочными горшками. Видимо, тут был цветочный магазин.

Севастьянов хотел выбросить горшки в мусорный ящик во дворе, но из квартир повыходили жильцы и стали кричать, что он весь ящик забьет своей дрянью. Пришлось нанимать подводу и вывозить горшки на свалку.

Редакция прислала уборщицу, та все помыла и побелила, и сразу в отделении посветлело. Привезли стол и два стула — один для Севастьянова, другой для посетителей. Поставили печку-буржуйку с коленчатой трубой, труба выходила в окно над рекламным щитом. Но топить, кроме старых газет, было нечем, и Севастьянов до теплых дней сидел за столом в ватной куртке и шапке.



Особенно-то сидеть не приходилось. С утра он бежал на заводы: вербовал подписчиков, принимал от рабкоров заметки. Вечером забирал из экспедиции газету и вез в отделение раздавать подписчикам. Горсовет сделал возле редакции трамвайную остановку. Вагоновожатый ждал терпеливо, пока Севастьянов погрузится. И как же гордо ехал Севастьянов со своим грузом на передней площадке, словно депутат. Каким он себя чувствовал значительным, нужным человеком. Как приятно было вытащить газету из пачки и подарить вагоновожатому... Контролеры Севастьянова не беспокоили, они его знали в лицо. А на месте выгрузки, у площади с памятником Марксу, уже дожидаются, бывало, подписчики, помогут и выгрузить, и снести газету в отделение. Севастьянов отмыкал висячий замок и входил первым. Приходили индивидуальные подписчики и уполномоченные от предприятий — получать на весь коллектив. Они звали Севастьянова Шуркой. Говорили: «Ты там скажи в редакции — где же наши заметки, почему о нашем заводе давно ничего нет».

Кроме всех этих дел, нужно было убирать в отделении, уборщица полагалась только в экстренных случаях. Севастьянов чистил пол скребком, мел веником, поливал водой из лейки. Лейку ссужал сосед, парикмахер Жан, Иван Яковлевич. И улицу подметал Севастьянов, справа от него работал метлой Иван Яковлевич, слева — сторож из баптистского молитвенного дома. Иван Яковлевич симпатизировал Севастьянову и стриг его бесплатно, только за одеколон брал, когда Севастьянову приходила фантазия подушиться.

Все, что требовалось, Севастьянов делал с азартом. Потому что это была работа для «Серпа и молота».

«Серп и молот!» Мир дивный, могущественный! Держава печати! Вот только сейчас фельетонист Вадим Железный в роскошной новенькой скрипящей кожанке сидел у залитого чернилами стола и писал — писал и зачеркивал, комкал и швырял в корзину... и вот уже несут его листки вниз в типографию; и важный наборщик в черном халате, в очках с серебряной оправой, положив перед собой эти листки, набирает в верстатку свинцовые *букашки,* в свинцовые рядки строит сочинение фельетониста и ловко связывает шпагатом; и печатная машина, жужжа, хлопает плоским крылом, и стопы влажных газет растут на обшарпанном прилавке экспедиции, и газетчики выбегают на вечернюю улицу, крича:

— «Серп и молот» на завтра, речь Чичерина, забастовка докеров в Англии, новый фельетон Вадима Железного!

Люди читают фельетон — Севастьянов наблюдает: почти все, развернув газету, прежде всего ищут подвал с подписью Железного. То разоблачит кого-нибудь Железный, то воспоет свободный труд, а то напишет что-нибудь проникновенное, воспитательное, вроде того, например, что к трудящейся женщине, товарищу по борьбе, надо относиться чутко,— такие вещи особенно охотно читали и много о них говорили... Понятно, что Железный гордится; купил себе наркомовскую кожанку и портфель и весь скрипит на ходу. И в редакцию является с таким видом, словно от него зависит судьба республики.

В редакции до того не обставлено и пустынно, до того ничего нет, кроме голых столов и рваных плакатов, что шаги в высоких комнатах эхом отражаются от стен. Столы не письменные — простые, вроде кухонных, с одним выдвижным ящиком; письменные были только у Дробышева и Акопяна... О голые столы, залитые чернилами! Они уже поджидали Севастьянова, когда он с почтением посматривал на них, проходя по коридору мимо открытых дверей.

Благодарность простым просторным столам, похожим на кухонные, за ними так хорошо сидеть и писать, они куда удобней массивных, самодовольных, самодовлеющих письменных столов, о тумбы которых стукаются колени. Благодарная память стеклянной чернильнице, квадратной и плоской, с крышкой, похожей на кепку. И деревянной ручке, изгрызенной на конце (вечными перьями писали тогда миллионеры в иностранных фильмах со светловолосой, светлоглазой кинозвездой Осси Освальд...

А слово «фильм», между прочим, было женского рода, говорили: «приключенческая фильма»...).

Дробышев мелькал в коридоре и скрывался у себя в кабинете. На «здравствуйте» Севастьянова иногда отвечал, иногда нет; может быть, и не знал, что за парень попадается навстречу, что он тут делает. Дробышев был член бюро губкома, пропадал на заседаниях и конференциях, уезжал в Москву, а в редакции все делал Акопян, черноглазый, румяный и спокойный, с приятным голосом, он приходил раньше всех и сидел до поздней ночи — в правой руке перо, в левой папироса.

Еще Залесский был в редакции, старый журналист, работавший во многих газетах дореволюционной России, столичных и провинциальных, много живший за границей,



все на свете видевший и со всеми знакомый. Его спрашивали: «Эдуард Александрович, вы Аверченку знали?» «Конечно, знал». «Эдуард Александрович, а вы Пуанкаре видели?» «Брал интервью два раза: в Париже и в Петербурге»... У Залесского была седеющая курчавая голова, пышные седеющие усы и пенсне на тесемке; под усами — мясистые, сочные губы. Ходил он в широких, вроде распашонок, толстовках, с расстегнутым на белой шее воротом,— страдал астмой и не выносил тесной одежды. Редакция получила его в наследство от белогвардейской газеты. Когда белые побежали, он остался. В «Серпе и молоте» он был театральным рецензентом, помогал Акопяну править материал и посвящал молодежь в тайны — по большей части уже непригодные — репортерского ремесла.

В комнатке возле цинкографии сидел Коля Игумнов, красавец с белокурой гривой. Насвистывая арии из оперетт, он рисовал карикатуры и ретушировал фотографии. Они с Севастьяновым переглядывались, оба рослые и молодые, Коля был постарше года на два. Но его баловали, он был полноправным участником редакционной жизни, к нему в комнатку заходили поболтать о новостях, над ним любовно подшучивали, как над милым, очаровательным, забавным ребенком,— а к Севастьянову никто никогда не относился как к очаровательному ребенку...

И разные люди были там: сотрудники местной жизни звонили по телефону, собирая хронику, миловидные машинистки стучали на машинках, приходили рабкоры и присаживались написать заметку. И казалось Севастьянову, что в редакции не прекращается блестящий разговор: рассказывали новости, анекдоты, всевозможные интересные случаи; смеялись, спорили. Работа здесь была словно бы не обязанностью, а удовольствием,— прекрасным жизненным процессом была здесь работа, естественным, как дыхание.

В общем, он полюбил газету навеки, роднее всех запахов стал ему запах типографской краски, самым важным зданием на земном шаре стал дом, в котором помещалась редакция.

По вечерам у себя в отделении, покончив с раздачей газет, он запирался на задвижку и писал фельетоны, подражая Вадиму Железному. Он это делал втайне от всех. Чистая бумага была перед ним и плоская квадратная чернильница, и низко на шуре электрическая лампочка, прикрытая вместо абажура газетным листом.

Буржуйка стыла, и стыли руки.

Первой коченела левая рука — бездействующая. Он прятал ее в карман, чтобы согреть.

Но это было неудобно, бумага на столе начинала ерзать. Он придерживал ее грудью.

Очень ярко горела лампочка по ночам. Вечером накал был слабый, красный; ночью она сияла, как белая звезда.

Когда начинали конечеть ноги, он вставал, прохаживался по узкой голой комнате, освещенной одинокой сияющей звездой под пожелтелой газетой.

Часов у него не было. Радио тогда не было. По совершенной тишине он обнаруживал, что уже глубокая ночь и нет смысла идти домой в Балобановку.

Это было досадно, потому что дома тепло и на плите оставлен для него суп, или вареная картошка, или каша.

И это было большой удачей, потому что оставалось одно — продолжать излюбленное занятие, ни о чем не думая.

Случалось — то, что он писал, нравилось ему. Нравилось до восторженной спазмы в горле, которую он поспешно и стыдливо заглатывал. Но показать свое писание он никому не решался.

## 7

Так великолепно он проработал несколько месяцев, и привык считать себя руководителем отделения, и совсем забыл то, что ему сказали, когда он поступал,— что в отделении будут два работника.

Весна подошла, солнышко грело, и появился Кушля.

Он поджидал Севастьянова на улице. Сидел на выступе оконной амбразуры, как на завалинке, грыз семечки и сплевывал шелуху на тротуар. На нем была шинель и буденовка со звездой. Сзади в окне был щит с призывом подписываться на «Серп и молот». Кушлина голова врастала в плакат, как нарисованная.

При виде Севастьянова, отпирающего висячий замок на двери, Кушля поднялся и смахнул с себя подсолнечную шелуху. Правое ухо было у него изуродованное — без мочки. На длинном измятом худом лице ярко голубели глаза. Шинель от старости приняла коричневый цвет, сукно стало как грубый холст, по подолу висела бахрома.

— Вы ко мне?— спросил Севастьянов.

— Ага, к тебе,— ответил Кушля и вошел вслед за Севастьяновым.

На них пахнуло погребом,— в отделении было холоднее, чем на улице.

— Ну, дай закурить,— сказал Кушля.

Севастьянов дал папиросу. Кушля сел и осмотрелся.

— Ты тут спишь, нет?— спросил он.

— Иногда сплю.

— На чем же ты спишь?

— На столе сплю.

— Тебе ж небось коротко.

— Ничего.

— Жестко. Я на столе не могу, у меня грудь, понимаешь, простреленная. Мне, понимаешь, надо мягко. Хоть сена подложить, но чтоб мягко... Не топишь, это плохо.

— Иногда топлю.

— Надо топить. У меня испанка была, и она, понимаешь, окончательно мне грудь испортила. Мне в нетопленном помещении — гроб.

— Да угля нет,— сказал Севастьянов, все еще думая, что Кушля зашел по рабкоровским или подписным делам. Разговор Кушли его не удивлял: среди посетителей нередко попадались разговорчивые люди, склонные рассказывать о своих болезнях и ранах.

— Ну, что значит угля нет. А ты достань..

— Вы что хотите?— спросил Севастьянов.

— Беседовать с тобой, брат, хочу,— внушительно ответил Кушля, сдвинув брови.— Хочу, чтобы ты меня ввел, понимаешь, в курс, вот чего я хочу.

— А вы кто?

— Твое начальство. Работать со мной будешь. Рад?

— Вас редакция назначила?

— А то с улицы пришел... Из политотдела округа послали. Дробышев сперва не разобрался. Они с Акопяном меня думали в экспедицию. Ну, потом разобрались, что мне нужно ответственную должность. По воинским моим трудам. Поскольку я воевал за победу революции. Я за советскую власть воевал, понимаешь, когда ты еще пешком под стол ходил!— воскликнул Кушля с внезапным волнением, и его ярко-голубые глаза вдруг заблестели слезами.

Он вскочил, прошелся в конец комнаты и так же враз успокоился.

— Ишь ты, прямо отдельная квартира,— сказал он, приоткрывая заднюю дверь и выглядывая в сени.— Вот

тут отгородить, и будет у меня квартира с парадным ходом и с черным, верно?

— Вы разве и жить будете здесь?— спросил Севастьянов.

— А что? Топить только придется. Я тебе говорил — мне в нетопленной хате нельзя.

— Может быть,— сказал Севастьянов,— вам дадут комнату как демобилизованному?

Кушля засмеялся тихо.

— Да ну, и уж тут. Уж лучше без комнаты.

— Как лучше без комнаты?!— удивился Севастьянов. Он жил тогда еще в Балобановке, собственная комната была для него волшебной, несбыточной мечтой.

Кушля смеялся от души застенчивым симпатичным смехом.

— Не надо комнаты, дорогой товарищ, верно говорю. Пока нет комнаты — еще туда-сюда, дышать можно. А будет комната — сейчас же мне, понимаешь, каюк.

— Как хотите, конечно,— сказал Севастьянов, ничего не поняв.

В тот же вечер пришла женщина в шинели и красной полинялой косынке. Войдя, она подошла к Кушле, зачерпнула из кармана горсть семечек и пересыпала в Кушлину протянутую руку. Они ничего друг другу не сказали. Женщина села на подоконник и сидела, грызя семечки, пока Севастьянов выдавал газету подписчикам, а Кушля наблюдал за выдачей, с командирским видом сидя за севастьяновским столом. Она была губастая, тяжелый серый взгляд исподлобья; стриженые волосы блеклыми прядями свисали из-под косынки на воротник. Когда подписчики ушли, она сказала:

— Как же тут жить, народ до ночи толкается, все равно что на барахолке жить.

Кушля запел задумчиво: «Эх, шарабан мой», а женщина закрыла лицо рукавом шинели и зарыдала грубыми злыми рыданьями. «А ну их»,— подумал Севастьянов и ушел с тоскливым ощущением утраты, несправедливости, какой-то раздражающей чепухи, вторгшейся в его бытие. Он привязался к своему рабочему месту! А теперь там будет распоряжаться другой человек. Разве он, Севастьянов, плохо работал, что над ним посадили начальника? В редакции и в экспедиции ему говорили, что делать, и он со всем справлялся. И где же он будет теперь писать, и зачем в маленьком отделении начальник?



Утром он пришел на работу рано — Кушля был уже там. И женщина была, но не вчерашняя, а другая, толстая блондинка в платье с цветочками, с толстыми голыми руками. Толщина не мешала ей двигаться проворно, даже резво. Они с Кушлей вдвоем собирали и устанавливали старую железную кровать. Заржавленная и дребезжащая, кровать эта состояла из гнутых железных полос и прутьев и ни за что не хотела стать на все четыре ножки.

— Вот он пришел,— сказал Кушля при виде Севастьянова и выпустил кровать из рук,— он тебе поможет. Помоги ей, дорогой товарищ. Кровать она мне добыла.

— Все тебе добуду,— сказала женщина, хлопоча возле кровати,— только Ксаньку гони, чтобы я тут не видела Ксаньку!

— Чудачка,— сказал Кушля,— как же и ее отсюда прогоню? Тут учреждение, кто хочет, тот и ходит.

— Ну, так любить ее не смей!— сказала женщина и стукнула кроватью об пол.

— Тихо, тихо!— сказал Кушля.— Делай знай свое дело. Тут не базар. Про фанеру не забудь, отгородиться надо первым долгом, а то некультурно.

— Будет тебе фанера!— крикнула женщина, грохоча железом.— Только не люби Ксаньку!

Она приволокла фанеру и с помощью Севастьянова огородила угол Кушле под жилье. Приволокла матрац и подушку. И примус. И оклеила перегородку газетами. Это была кипучая баба, пышущая жаром, как печка. И печку стали топить благодаря ей, она приносила в ведерке уголь и штыб.

Кушля принимал ее дары с спокойным достоинством. Он вообще все принимал от людей как должное. Он отдал им больше. С этим гордым сознанием ходил он по земле в своей куцей шинели — запанибрата с кем хочешь... Севастьянов привез ему из редакции стол. Над столом повесили телефон, громоздкий желтый ящик того времени, с ручкой как у мясорубки. А из типографии Кушля, удовлетворенный, привез и повесил рядом с телефоном печатную табличку: «Заведующий».

Он сидел под табличкой, курил и благосклонно смотрел, как Севастьянов приходит и уходит, составляет ведомости, притаскивает газету, метет пол,— словом, делает все, что делал раньше. Кушля не делал ничего. Он был убежден, что заведующему ничего не подобает делать, кроме как разговаривать по телефону и иногда наведываться к высшему начальству в редакцию.

Севастьянова устраивало, что Кушля ни во что не вмешивается. Это примиряло его с пришельцем, они бы даже могли стать приятелями, но Севастьянова отталкивали от Кушли женщины. Они появлялись, то одна, то другая, и быстрым шепотом спрашивали у Севастьянова: «Ксанька приходила?», «Лизка приходила?»— а если им случалось сталкиваться, они устраивали безобразные сцены. Севастьянов чувствовал брезгливость к их нечистой суете, к этим полным ненависти шепотам, притворным рыданьям, выслеживанью, внезапным взвизгам: «Подлец!» Ужасно не шла голубоглазому, хворому, степенному Кушле такая прыткость в этих делах. Особенно непонятен был, по скоропалительности, роман с толстухой Лизой: Кушля познакомился с ней за день до своего поступления в «Серп и молот».

— Полюбила, понимаешь,— сказал он Севастьянову.— А с Ксаней мы с двадцатого года, она у нас была милосердная сестра. Любят обе прямо сказать тебе не могу до чего! Ты теперь понял, почему мне нельзя комнату: они поставят на повестку дня вопрос о браке...

Он понизил голос.

— А сказать, дорогой товарищ, откровенно,— я б из них ни на одной не хотел жениться! И не знаю почему, ведь бабы, понимаешь, неплохие, хорошие бабы...

Как-то вечером отворилась дверь и в отделение вошли Зойка маленькая и Зоя большая. Они и раньше заходили проведать Севастьянова на работе и не поняли, почему в этот раз он потемнел, увидя их, и отвечал им неласково. Удивившись, они смирно присели рядышком на низком подоконнике, где час назад сидела Ксаня. Севастьянов, нахмуренный и отчужденный, перекладывал с места на место газеты и папки — показывал, что занят по горло. Кушля курил и смотрел ярко-голубыми глазами. Севастьянов вдруг рванулся:

— Ну-ка, девчата, на минутку.

Он вывел их на улицу. Они, привыкшие командовать парнями, вышли как овечки. Он сказал им сурово и непреклонно, чтобы они больше не приходили в отделение.

— Почему?— спросили они.

— Ну, есть причины. Это неудобно.

Зои переглянулись длинным взглядом. По его тревоге и ожесточению они угадали, что в этой выходке нет ничего оскорбительного для них, скорей напротив. Зойка маленькая угадала и взглядом сообщила Зое большой. Умнейший человек была Зойка маленькая



Загадочно улыбаясь, они ушли. Севастьянов вернулся в отделение. Кушля прохаживался между столами, покуривая. Посторонних не было, рабочий день кончался.

— Мировые девчата!— сказал Кушля.

Севастьянов не ответил. Он не хотел разговаривать с Кушлей о Зоях. Он увел их потому, что сюда ходили женщины Кушли. Инстинктивно он пресекал возможность каких бы то ни было сопоставлений между теми женщинами и Зоями; между отношениями Кушли к тем женщинам и своим отношением к Зойке маленькой.

— Бывают же!..— продолжал Кушля в задумчивости.— А вот я ни одной такой, понимаешь, не знал. Они мимо меня всю жизнь отдаля идут, ни к одной я никогда не подошел, и она ко мне не подошла, будто овраг между нами,— отчего это, как ты думаешь?..

## 8

А вскоре новый захватил его жизненный интерес, могучее увлечение, то самое, которое владело Севастьяновым: Кушля зажегся страстью к журналистике.

Он писал дни напролет. Куда девалась его лень? Сидя в папиросном дыму под табличкой «Заведующий», углубленно серьезный, он покрывал крупными, катящимися по диагонали строчками длинные листы, сотни листов. С неохотой отрывался, когда к нему обращались, говорил отрывисто: «Ну что? Я занят»— и норовил как можно скорее покончить с будничной мелочью и вернуться на свой Парнас.

Севастьянов рассказал ему, что Вадим Железный еще недавно звался Мишкой Гордиенко, был имажинистом и биокосмистом и тратил талант на чепуху, и что он станет мировым фельетонистом, никто и вообразить не мог. Кушля слушал не шевелясь, ленточка дыма завивалась вокруг его головы, ярко-голубые глаза смотрели с неистовой серьезностью.

— А почему нет?..— спросил он.— Ничего тут нет особенного. Дорогой товарищ, за то мы и боролись, чтобы это могло быть и со мной и с тобой, а не то что с Железным. Железному-то легко, он гимназию небось кончал...

Кушля родился и вырос в безвестной слободе Маргаритовке. Грамоте обучили его в Красной Армии.

Свои опыты он читал Севастьянову, Акопяну, наборщикам. Отважился показать Вадиму Железному, тот

сказал: «Со временем, возможно, что-нибудь получится», но встреч стал избегать. А наборщики, зубоскалы на подбор, им не попадайся на язык, изощрялись в остроумии насчет Кушлиных писаний и, обидно комбинируя его имя и фамилию — Андрей Кушля, прозвали его: Андрюшля. Он продолжал писать и, не выдерживая горечи непризнания, жаловался Севастьянову:

— Кто они? (Про наборщиков.) Рабочая аристократия. У них жены в каракулевых воротниках ходят... При белых они где были? Там же в типографии. Белогвардейскую прессу набирали. (Кушля любил слово «пресса».) А я — потомственный пролетарий. Ну, деревенский. Что ж, что деревенский. Зато белыми шашками кругом порубанный. Я в моей родной рабоче-крестьянской прессе должен быть первый человек, первей Железного!

— Поучиться бы нам с тобой на рабфаке,— сказал Севастьянов, он начинал не на шутку задумываться о своем невежестве...

Зои больше не заходили в отделение. Но когда наступило лето, они часто поджидали Севастьянова на улице, с кем-нибудь из ребят, прохаживаясь, пока Севастьянов заканчивал свои дела. Он выходил, и они шли гулять и провожать друг друга, разговаривая обо всем на свете. Зои жили в Пролетарском районе, на Первой линии, Севастьянов с Семкой — в Центральном. Между этими районами лежала «граница»— полоса степи, делившая город как бы на два ломтя.

## 9

«Граница»... Шел, бывало, по Коммунистической, мимо каменных домов и чугунных решеток, и прямо с тротуара ступал в бархатную пыль степной дороги, нагретой солнцем. Булыжная мостовая с трамвайными рельсами выбегала в распахнутое поле и пересекала его.

По одну сторону рельсов тянулся пустырь, где в ярмарку ставили карусели, качели, балаганы. За пустырем — мусорные свалки, угольные склады и угольный, прокопченный, рабочий, неприбранный берег реки.

По другую сторону сеяли хлеб. Вдоль хлебного поля, параллельно трамваю, была протоптана дорожка, ее обсадили молодыми акациями. Колосья кивали проходящим горожанам, дикие травы подступали к дорожке, повилика



забрасывала на нее свои длинные побеги с маленькими розово-белыми граммофончиками.

В начале тридцатых годов на «границе» строили театр. Севастьянов приехал тогда из Москвы в командировку и не узнал знакомого места. Поле было изрыто котлованами, завалено строительными материалами, ходили паровозы, выбрасывая кучевые облака, в облаках передвигались краны... Театр построили великолепный, с самой большой и самой усовершенствованной в мире сценой, из самых дорогих материалов, во всех газетах писали о нем...

В войну он был разрушен фашистской бомбой.

Теперь его опять поднимали из праха...

Но все это позже. В юношеские годы Севастьянова на «границе» колосился овес. Тут хорошо было петь хором, никто не мешал. И можно было, устав, посидеть на низенькой травке, пахнувшей пылью и повиликой.

## 10

— Как вы считаете,— спросила Зойка маленькая,— мы целый день спорили: человек работает, чтобы жить, или же он живет, чтобы работать?

Зоя большая сказала, покусывая колосок:

— Я считаю — он работает, чтоб жить.

— И я!— сказал Ленька Эгерштром, который по-прежнему крутился перед большой Зоей и во всем ей поддакивал.

— Так какой же ты после этого комсомолец!— тихо сказала Зойка маленькая и немножко задохнулась от негодования.— Какой ты комсомолец, если ты так считаешь!

Ленька стал оправдываться:

— Ну хорошо. Если бы мои братья не работали в посадочной мастерской, на что бы мы жили? Нам не на что было бы жить. А ты думаешь, это очень приятная работа? Как же! У них вся одежда пахнет кожей, и волосы, и руки, никаким мылом не отшибешь, ни одеколоном, ничем. А они молодые парни. А девчатам это не нравится. Так, по-твоему, кто-то специально должен жить, чтобы работать на посадке?!

— Это частный случай!— возразил Семка Городницкий.

— Ну конечно!— сказала Зойка маленькая.— Частный и ничтожный.

Спирька Савчук сказал, что приятная работа или неприятная — настоящего коммуниста это не должно интересовать. Это интеллигенция (Спирька произносил: интеллихэнция) выдумывает насчет приятности и неприятности. Кто не трудится, тот не ест. И все.

Желтые желваки ходили по Спирькиным скулам, желтый штопор чуба торчал из-под козырька кепки, папироса, свисающая с губы, придавала Спирьке утомленный, разочарованный вид. В свое время, после изгнания белых, он был вожаком группы ребят, потребовавших, чтобы интеллигентов не пускали в комсомол: у них пускай будет своя организация, говорили эти ребята, а комсомол — только для рабочих. К интеллигентам они причисляли всех учащихся, без различия классов. «Молодежная трудовая оппозиция»— так звала себя Спирькина группа — митинговала и шумела по всему городу, распаляя страсти, пока губком партии не положил конец этой заварушке. «Молодежной трудовой оппозиции» предложили прекратить раскольничью деятельность, и Спирька, лишившись трибуны, заскучал и закапризничал. Между приступами малярии — его трепала малярия — он то эпатировал нэпманов на улице, то закатывался с неподходящими ребятами в пивнушку, то вдруг окружал большую Зою тяжелым, настойчивым, каким-то неприязненным вниманием...

— Если ты не паразит,— закончил Спирька,— работай, что тебе советская власть велела, и все. На то существуешь.

— Несколько примитивно,— сказал Семка,— но тем не менее соответствует истине.

Зойка маленькая спросила:

— Если цель жизни не в том, чтобы приносить пользу людям, то в чем же?..

— Смотря каким людям,— сказал Спирька Савчук.

— Рабочим и трудовому крестьянству,— заботливо уточнил Семка.

— ...Неужели в том,— продолжала Зойка,— чтобы жить для собственного удовольствия? Трудиться для продления собственной жизни?..— Она пожала плечами с презрением.

Севастьянов сказал: все-таки приятная работа — не выдумка, есть много разных хороших работ, самая же лучшая — газетная; и не только печататься в газете, но и собирать заметки, и принимать подписку, и что угодно.



Если бы даже за это не платили никакой зарплаты, он все равно бы это делал и ни на что не променял.

— А на жизнь где брал бы?— спросили они.

На жизнь подрабатывал бы. Например, опять бы пристроился разгружать баржи.

Зойка сказала: мало ли что. Вопрос поставлен принципиально. Жить ради наслаждения способен только мещанин. Она нервничала неспроста, они с Зоей большой, видимо, крепко поспорили на эту тему. Зои стали часто спорить, и маленькая, из воспитательных соображений, переносила вопрос на обсуждение коллектива. А ребят, бывало, хлебом не корми, только дай порассуждать о таких вещах.

Они чувствовали потребность определить — как им вести себя в новой жизни. Еще многое в этом смысле было туманно, они же хотели ясности во всем.

Однажды обсуждали: этично ли хорошо одеваться? Леньку Эгерштрома старшие братья устроили к себе и посадочную мастерскую, и он оделся шикарно — завел модные брючки-«бутылочки» из синего шевиота, модные туфли «щучки» и рубашку «апаш». И вот по поводу его роскошного вида зашел разговор: правильно ли, что комсомолец ходит в туфлях из чистого шевро и брюках, за шитье которых заплачена частнику-портному громадная сумма? Допустимо ли это для человека, носящего значок Коминтерна молодежи, когда во всем мире, кроме Советской республики, массы еще угнетены и обездолены и, скажем, в Германии на окраинах городов люди ютятся в жилищах, сделанных из ящиков, потому что нечем платить за квартиру, и дети питаются картофельными очистками?

Зойка маленькая била кулачком по ладони и говорила страстно:

— Недопустимо, недопустимо!

— Ребята, да подождите!— кричал Ленька Эгерштром.— Ребята, да постойте! У нас на посадке все так одеваются, что я, виноват? Если хотите знать, я еще столько не заработал, мне братья дали денег и сказали: «Оденься хорошо, а то ты как белая ворона». У нас на посадке здорово платят — что я, виноват?

Но о Зойке маленькой было известно, что ее отец, железнодорожный проводник, зарабатывает еще лучше, чем братья Леньки Эгерштрома, и Зойка — единственная дочь, и отец с матерью хотели бы одеть ее как куклу, а она

не позволяет. Разумеется, ее слово весило больше, чем Ленькино.

— Значит,— спросила вдруг Зоя большая,— и шелковые чулки нельзя носить?

— Конечно!— сказала Зойка маленькая.

— И лакированные туфли нельзя?

— Ты же слышала!

— И замшевые перчатки? И белье с кружевами?— спрашивала большая Зоя.

Все посмотрели на нее. Она шла в своих парусиновых туфлях, надетых на босу ногу, в стираном-перестираном платье, у нее не было ни шелковых чулок, ни замшевых перчаток, ничего, кроме старого платья и грубых туфель. Неужели, подумал Севастьянов, и она, как Нелька, мечтает о барахле, выставленном в магазинах, но ведь Нелька — отсталая девчонка из Балобановки, а Зоя большая дружит с передовыми ребятами и читала «Джимми Хиггинса».

— Зоенька,— сказал Семка Городницкий,— не надо, чтобы мы думали о тебе хуже, чем ты есть. На черта тебе вся эта дрянь, ты прекрасна и так.

## 11

С обеими Зоями Севастьянов познакомился еще в двадцатом году.

В том году болели тремя тифами: сыпным, брюшным и возвратным. Умирали больше от сыпного. На плакатах была нарисована вошь. Магазины стояли заколоченные. Бандитов развелось гибель, по ночам в разных концах города бахали выстрелы. И было множество студий, где читали стихи, рисовали картины и танцевали босиком по методу Айседоры Дункан.

Югай сказал:

— Возьми какого-нибудь хлопца или дивчину, кто у нас разбирается в стихах?

— Семка Городницкий разбирается.

— Вот. Возьми Городницкого и сходите на Лермонтовскую,— Югай назвал номер,— там какой-то поэтический цех открыли, надо посмотреть, что за цех.

Лермонтовская улица была тихая, с бульваром, с четырьмя рядами сероватых от пыли деревьев. Поэтический цех помещался в бывшем буржуйском особняке, одноэтажном, из ноздреватого серого камня. Особняк стоял



в глубине цветника. Клумбы заросли бурьяном, на дорожках валялись окурки, но высокие прекрасные розы цвели над этим запустеньем — чья-то рука берегла их. В распахнутых окнах мелькали молодые лица.

Севастьянов и Семка вошли. Их не спросили — кто такие и зачем: и внимания на них не обратили. Они прошлись по дому. В первой комнате были некрашеные скамейки без спинок да столик, во второй — рояль и перед ним круглый табурет, и больше ничего нигде, голо. Окна настежь. Сквозняк, запах роз из цветника. Молодежь вольно бродила по прохваченным сквозняками светлым гулким комнатам, сидела на мраморных подоконниках, кто-то подбирал что-то на рояле, встал — сейчас же другой подсел, стал подбирать свое. Каждая нота ясно звучала по всему дому. Вдруг все соскочили с подоконников и заспешили в ту комнату, где скамейки.

Там у столика стояла Тамара Меджидова и читала стихотворение. В нем говорилось, что она, Тамара, великая грешница; она сама в ужасе от своих грехов. Читала она гортанным страстным голосом. На ней было черное платье, черные волосы перехвачены бархаткой. Слушатели похлопали. Их было человек сорок. После Тамары появился Аскольд Свешников, весь в белом, лицо напудрено, ненормально блестели подведенные глаза; губы накрашены были сердечком. Он сказал высокомерно-сонно:

— Пирамиды. Поэма. Рыжий египтянин смотрит на спящего львенка.

Сказал, прошагал к двери длинными ногами в белых штанах и ушел — совсем ушел из комнаты. Севастьянов подумал, что он застеснялся и не хочет читать дальше, но оказалось — это вся поэма и есть. Аудитория зааплодировала. Один голос крикнул: «Хулиганство!» К столику выскочил Мишка Гордиенко — он был тогда легкий и тонкий, в студенческой тужурке, худые рỳки торчали из обтрепанных рукавов,— и закричал:

— В чем дело! Почему хулиганство! Брюсов написал: «О, закрой свои бледные ноги»— и не нашел нужным прибавить ни слова! Аскольд Свешников тоже не считает нужным разжижать свою поэму! Это его право! Не нравится — читайте Северянина!

Аудитория притихла. Гордиенко выждал паузу, упершись тощими кулаками в столик, острые плечи поднялись до ушей.

— Чрезвычайное сообщение,— сказал он деловито.— Два события свершились минувшей ночью. Таинство

смерти сочеталось с таинством рождения. Умер имажинист Михаил Гордиенко. Родился биокосмист Михаил Гордиенко. Родившись, он написал свое кредо, популярное изложение своих чаяний, назовем это декларацией, назовем это хартией! Оглашаю хартию биокосмизма. Кто не умеет слушать, прошу уйти.

Он стал читать по тетрадке.

— Земля,— читал он,— точно коза на привязи у пастуха-солнца, извечно каруселит свою орбиту. Пора иной путь предписать Земле. Да и в пути других планет уже время вмешаться. Мы не можем оставаться безучастными зрителями космической жизни.

Ни один человек не удивлялся. Космос вообще был в моде.

— Мы беременны новыми словами,— читал Гордиенко,— слово пульсирует и дышит, улыбается и хохочет...

Семка Городницкий, гордый поручением Югая, слушал добросовестно. Севастьянов, положившись на Семку, рассматривал собрание. Тут он и увидел Зою большую и Зойку маленькую.

Обнявшись, они сидели на задней скамье, в уголку, в стороне от всех. Их чистые глаза были устремлены на Гордиенку серьезно и доверчиво. Глубокое внимание было на лицах. Видно было, что эти девочки забрели сюда в поисках чего-то очень для них важного. И они так старательно-опрятно были одеты, так мягко светились их волосы, ничего в них не было вызывающего и разухабистого, что всегда отталкивало Севастьянова. Они были тихи и прелестны.

Севастьянов как повернул к ним голову, так и сидел. Они и не замечали, что на них смотрят. Вот Зойка маленькая подняла глаза на Зою большую; а Зоя большая опустила свои темные ресницы к Зойке маленькой; они переглянулись, понимающе улыбнувшись. «Не сестры,— думал Севастьянов,— не похожи... Подруги. Дружны — водой не разольешь. Беленькая советуется с черненькой. Черненькая оберегает беленькую...» С первого взгляда, действительно. Зойка маленькая казалась существом воздушным и робким, находящимся под крылом большой Зои.

Вдруг кусты за окном прошумели бурно, и на подоконник вскочил из цветника молодой моряк. Секунду он стоял на подоконнике во весь рост, словно давая полюбоваться своей ладной фигурой и моряцкой формой, потом спрыгнул на пол, прошел в соседнюю комнату, и оттуда



раздалась прекрасная громкая музыка. Все поднялись, заговорили, застучали скамьями, двинулись за моряком. Только Гордиенко продолжал читать, выкрикивая слова; но даже Семка Городницкий его бросил и ушел с Севастьяновым к роялю. Обступив рояль, молодежь смотрела, как играет моряк, как трудятся над клавишами его загорелые руки, схваченные в запястьях обшлагами блузы. Близко от Севастьянова, прижавшись друг к другу, стояли Зоя большая и Зойка маленькая, все трое они отражались в лакированной поднятой крышке рояля. Маленькая спросила тихонько, не обращаясь ни к кому:

— Интересно — что это он такое играет?

Севастьянов взглянул на Семку. Тот стоял поглощенный музыкой, его горбоносое лицо было закинуто, губы шевелились. Севастьянов толкнул его и спросил:

— Что он играет?

— Вагнер,— очнувшись, ответил Семка.— Тангейзер.

— Вагнер, Тангейзер,— дружески объяснил Севастьянов Зойке маленькой.

— Вагнер, Тангейзер,— прошептала Зойка, глядя перед собой светло-зелеными прозрачными глазами.

Несколько лет спустя они с Севастьяновым признались, что в первый раз услышали тогда и о Тангейзере, и о Вагнере. Но в тот вечер они это скрыли и почувствовали друг к другу уважение.

А потом как-то само получилось, что они ушли из Поэтического цеха вчетвером и до полуночи гуляли, разговаривая, по Первой линии. Люди солидные боялись поздно ходить по улицам, тем более окраинным, но эти четверо были защищены от грабежа своей бедностью. Отчасти потому, что такова была сложившаяся в гражданскую войну привычка, отчасти потому, что тротуар был слишком узок и щербат для их привольной ночной прогулки,— они ходили по середине улицы, по булыжной мостовой: в центре, обнявшись, две Зои, по сторонам — Городницкий и Севастьянов. Ни фонаря, ни огня в окошке; только звезды освещали Первую линию. Пепельно отсвечивала, горбясь во мраке, широкая мостовая. Белесыми ручейками стекал в ее впадинах облетевший с акаций цвет. Кроны акаций вдоль улицы были темнее мрака. За ними — безмолвные, каждый себе на уме, запершись наглухо, спали кирпичные домики. Последний прохожий прошел, торопясь и размахивая руками, звук шагов его замер. А четверо ходили по пустой улице, как по собственной квартире, и разговаривали легкими голосами.

Зоям нравилось ■ Поэтическом цехе. Там интересно. Там все талантливые. Михаил Гордиенко талантливый. Тамара Меджидова очень талантливая. Аскольд Свешников — гениальный.

— Это у которого поэма про львов,— пояснила большая Зоя.

— Разве это про львов?— спросил Севастьянов.

— Это про Египет,— сказала Зойка маленькая.

— Как у него странно глаза блестят,— сказал Севастьянов.

— От кокаина,— сказала Зоя большая.— Он нюхает кокаин.

Она сказала это так же уважительно, как говорила: «Он гениальный».

— А как он сказал,— спросил Севастьянов, перескакивая на Гордиенку,— он был — кто? А стал — кто?..

— Биокосмист,— ответила Зойка маленькая.— Это новое, правда, Зоя? Биокосмистов еще не было, были имажинисты и ничевоки.

— А чего хотят ничевоки?— спросил Севастьянов.

Зоя большая объяснила набожно:

— Они говорят: ничего не пишите; ничего не читайте; ничего не печатайте.

— А вы читали Блока?— спросила Зойка маленькая.—«Балаганчик» читали?

— Она от любви к нему хотела утопиться,— сказала большая Зоя.

— Кто?

— Тамара Меджидова.

— От любви к Блоку?— спросил Семка.

— К Аскольду Свешникову. У нее об этом есть стихи.

Зойка маленькая процитировала мечтательно-застенчиво, чуть слышно:

— «Я к тебе прихожу через бездны греха, я несу мое сердце на простертых ладонях».

— Тамара Меджидова — необыкновенная, правда?— спросила большая Зоя.

Их уважение к людям, пишущим стихи и хартии, было огромно. Оно было так огромно, что им не пришло бы в голову влюбиться ■ Гордиенку или Свешникова. Они не претендовали на внимание титанов и тем более на их чувства. Но любовь между титанами будоражила их. Тамара Меджидова, шествующая через бездны греха к Аскольду Свешникову со своим любвеобильным сердцем на простертых ладонях, была откровением, озарением для этих девочек с Первой линии.



Семка Городницкий немедленно принялся их перевоспитывать. Он спросил, как они относятся к Маяковскому, и стал читать из «Человека». «Хотите, по облаку телом развалюсь и буду всех созерцать!»— гремел он грозным басом перед крепко зажмуренными, затаившимися позади деревьев домиками. И тут вышел горбун ■ разогнал их.

Горбун вышел из калитки — щелкнула щеколда — и стоял в темной сени акаций, белея рубахой и светя огоньком папиросы. Белая рубаха так резко выделяла горб, что видно было издали: горбун стоит. И хотя Зои молчали и продолжали идти рядом, но Севастьянов почувствовал, что обе они, едва только щелкнула щеколда, перестали слышать Семку, их внимание устремилось на фигуру, стоявшую в тени.

Горбун позвал негромко скрипучим голосом: «Зоя!»— ■ Зоя большая молча отделилась от компании ■ пошла к нему. Он пропустил ее в калитку, вошел следом, коротенький и уродливый — за высокой, тонкой, с длинной гибкой шеей... Громыхнул болт. Трое остановились. Зойка маленькая сказала:

— До свиданья!

Подав Севастьянову и Семке теплую крепенькую руку, она взбежала на крыльцо. Оно было рядом с калиткой, куда увел горбун большую Зою. Кирпичный домик, три окошка на улицу. Жалюзи на окошках. На двери звонок — белая пуговка. Дом Зойки маленькой.

## 12

У них там полы светло-желтые и такие вымытые ■ блестящие, словно на них всегда светило солнце. Когда являлись ребята, мать и бабушка Зойки маленькой прямо-таки мучались, уходили подальше, чтобы не видеть, как ребята, оставляя без внимания половики, ступают ножищами по этому сияющему полу. Сделать замечание мать и бабушка не смели, боялись огорчить Зойку.

Они обожали ее. Особенно отец, который постоянно уезжал и, уезжая, приказывал матери ■ бабушке, чтобы они берегли Зойку ■ не расстраивали ее своими пустяками.

Все в домике было для Зойки: чистота, и солнце, ■ вымытые цветущие растения в горшках и кадках, ■ пианино, и аквариум с рыбками, и шкафчик с книгами.

Пианино отец купил (выменял на сало и муку), чтобы Зойка научилась играть, чтоб она была настоящей барышней. Зойка отказалась учиться играть, но пианино стояло, с него стирали пыль, его накрывали вышитыми дорожками, его медные педали и подсвечники начищали мелом — Зойка могла передумать и захотеть учиться музыке, Зойкины дети могли захотеть учиться музыке, наконец — это было ценное имущество, которое Зойка могла продать когда-нибудь впоследствии, в черный день.

Аквариум отец завел потому, что, когда Зойка была совсем крошечной и дом их был только заложен (строился он несколько лет), она у знакомых увидела банку с золотыми рыбками и в восторге закричала: «Папа, рыбки!» — и это занозило отцовскую душу. С тех пор, строя дом, увертываясь от мобилизации (тут началась мировая война), разъезжая проводником в загаженных, битком набитых поездах, выторговывая на сытых степных станциях мед и сало за юбки и пиджаки, купленные в городе на толкучке,— он помнил тот счастливый Зойкин крик. Он купил настоящий богатый аквариум, с гротом, с нежными диковинными водорослями, и населил его диковинными, дорогими рыбками. Он не подумал, что они уже не нужны Зойке, что она выросла. Она удивилась, она к ним и не подходила,— за аквариумом ухаживали не покладая рук бабушка и мать.

Из всех приобретений отца единственной ценностью был для Зойки книжный шкаф. Он стоял в ее комнате (никто ■ семье, кроме Зойки, книг не читал). Полки шкафа были как пласты пород в разрезе земной коры, они рисовали историю Зойкиного развития.

Внизу были свалены небрежно книги детства: «Маленький лорд Фаунтлерой», «Голубая цапля», сочинения Лукашевич и Желиховской и в подавляющем количестве — Чарская, вдребезги зачитанная подружками, распавшаяся на золотообрезные листы и потускневшие корки роскошных когда-то переплетов,— Чарскую ■ золоте и серебре отец дарил на именины.

На средних полках стояли Пушкин ■ Гоголь с картинками, небесно-голубой Тургенев, «Обрыв», Надсон, хрестоматии. Их не трогали, они были погребены под разрозненными номерами альманаха «Шиповник».

На верхней полке находились Зойкины сокровища: Блок, Ахматова, излюбленнейший Бальмонт в мягких белых шелковистых обложках... То были святыни, царства. Но как легко рушились царства! Не прошло и месяца после знакомства Зой с Семкой Городницким, как на заветной полке, раздвинув и притиснув изящные книжечки, стала некрасивая, переплетенная в грязно-розовую бумажку книга «Все сочиненное Владимиром Маяковским», а Бальмонта Зойка маленькая отправила к Чарской. Семка Городницкий был у Зойки в почете, она уважала его за начитанность и не обижалась, когда он, являясь, возглашал:

— Я к тебе прихожу через бездны греха!

В последующие годы шкафчик был забит брошюрами о Парижской коммуне, девятьсот пятом годе, политэкономии, задачах комсомола. Так жила Зойка, бросаясь от стихов к политическим статьям и принципиальным спорам, пока ее отец возил со станции кошелки с яйцами, а мать и бабушка чистили аквариум и пекли пироги.

У нее были зеленоватые, как крыжовник, глаза и детская шея, золотистая от загара. И волосы золотистые, коротко обрезанные, они завивались по-мальчишески вверх, открывая шею сзади и округлый лоб. Через щеки ее и переносицу лежала легкой тенью полоска веснушек, от них еще милее был приподнятый детский нос.

В летние вечера, перед заходом солнца, жители Первой линии выходили посидеть на улице, на крылечках, сложенных из больших серых камней. Сидели, разговаривали, лускали семечки старики и старухи, молодые женщины и девчонки с длинными голыми ногами, расчесанными в кровь от комариных укусов. Неизвестно, чего больше было насыпано на улице — сухого цвета акаций или подсолнечной шелухи. Девочки играли в кремушки, мальчики в айданы. Соседи подходили к соседям — узнать новость, рассказать новость. Севастьянов шел к Зойке маленькой,— на крылечках умолкали, наблюдая его, слышалось только звонкое щелканье разгрызаемых семечек, он шел под щелканье семечек, как в романах идут к любимой под соловьиное щелканье.

Она не сидела на крыльце. Сидела, должно быть, пока не прочла «Балаганчик» и «Незнакомку» и прочее тому подобное; пока была девчонкой в коротком платье, с голыми выше колен ногами, и играла в кремушки. В пятнадцать лет ее не занимали ни кремушки, ни уличные новости. Ее мать и бабушка сидели на крыльце, иногда и отец, когда не был в поездке. Севастьянов здоровался и спрашивал:

— Зойка дома?

И при этом знал, что она там, за занавесками, уже слышала его шаги,— сейчас раздвинет занавески и станет, золотистая, между распахнутыми створками зеленых жалюзи, улыбаясь ему своей серьезной улыбкой.

13

А кто такой был моряк, что играл из «Тангейзера»? Зои ничего о нем не знали, кроме того, что он приходил через окно, играл что-нибудь громкое и сейчас же уходил. Почему ему нравилось входить через окно? Почему он приходил играть в Поэтический цех? Если он был моряк, то что делал в этом городе, куда приплывали по реке только баркасы с арбузами и рыбой да старые баржи, ведомые маленькими пароходиками? И если он был моряк (а он был моряк; он носил свою матросскую одежду как моряк; у него был загар моряка и походка моряка),— если он был моряк, то где и когда научился так играть?.. Все это осталось неизвестным, потому что Поэтический цех вскоре закрыли.

Закрывал его Югай. С ним пришла Женя Смирнова, агитпроп райкома, плотная и румяная, в выгоревшей косоворотке и красной косынке, через плечо портупея. Цвет Поэтического цеха был в сборе — Гордиенко, Свешников, Тамара Меджидова... Стоял душный вечер, все были в рубашках с расстегнутым воротом, в легких платьях, один Югай в кожанке. Он прошел к столику, перед ним расступились, говор затихал, пока он шел. Он сказал:

— Именем губернского комитета комсомола.— Стало совсем тихо.— Мелкобуржуазный клуб, так называемый Поэтический цех, организованный группой интеллигентов без учета революционных интересов трудовой молодежи, объявляю закрытым.— Собрание заговорило...— Тихо!— сказал Югай, Женя Смирнова придвинулась к нему, положила руку на кобуру.— Хватит с нас опиума всевозможных видов! Руководителям бывшего Поэтического цеха предлагаю покинуть здание.

И они все, по одному, пошли к дверям — Гордиенко, Тамара и — последним — Аскольд Свешников с сонным выражением напудренного лица, с пренебрежительно опущенной нижней губой, сквозь пудру на его носу ртутными каплями проступал пот.

— Остальным остаться,— сказал Югай.

Но еще человек десять ушло демонстративно вслед за Свешниковым. А с оставшимися Женя Смирнова звонким голосом повела беседу о ликвидации неграмотности — важнейшей культурной задаче победившего пролетариата.

В двадцатом году вдоль Коммунистической тянулись два ряда пустых грязных витрин — магазины не торговали. Изгнанные из особняка поэты обосновались в витрине. Они там поставили свой столик, за столиком сидел дежурный. Чаще других дежурил Михаил Гордиенко. Подняв острые плечи, он внимательно писал, иногда взглядывая на прохожих; а прохожие смотрели на него — как он за большим стеклом пишет, сморкается и разговаривает с приходящими поэтами. Слева от Гордиенки висела хартия биокосмистов, справа — декларация ничевоков, то и другое было написано от руки, неважным почерком, на длинных кусках обоев. «Окно поэтов»— так это называлось. Гордиенко сидел там до холодов, потом ушел. И все ушли, и за морозными узорами окна, меж двух длинных манускриптов, одиноко коченел поэтический столик... Когда Севастьянов опять встретил Гордиенку, тот был уже Вадимом Железным, не шумел, стал шире в плечах... Тамару Меджидову Севастьянов позже, году в двадцать четвертом, видел в обществе «Друг детей». Она была в каштановой телячьей куртке с белыми подпалинами и в пыжиковой шапке, у которой на ушах болтались ботиночные тесемочки. Грешная Тамара была в этом виде просто добродушной теткой, ошалелой от кучи забот. Портфель ее был набит чужими рукописями: общество «Друг детей» издавало приключенческие романы; выручка шла на борьбу с детской беспризорностью; Тамара состояла при этих издательских делах... Что касается Аскольда Свешникова — этот уехал за границу, у него там оказались родственники.

14

Зоя большая жила по соседству с Зойкой маленькой.

Маленькая стучала условным стуком в деревянный забор, большая приходила.

С того двора кричали: «Зоя!» Иногда это был женский голос, иногда голос горбуна. Зоя большая вставала и уходила, маленькая провожала ее нахмуренным, озабоченным взглядом.

Во дворе у Зойки маленькой росли черешни. Большие блестящие ягоды, красные и черные, казались сделанными

из дерева и покрытыми лаком. Их разрешалось срывать и есть сколько угодно. Самые красивые, по две на одной веточке, Зоя большая любила надевать на уши. Она себя вечно украшала — то наденет ожерелье из мелких ракушек, нанизанных на нитку, то приколет цветок на грудь. И Зойке маленькой она надевала серьги из черешен. Очень они обе были хороши, когда разговаривали и смеялись и яркие блестящие ягоды качались у их щек.

Как жила большая Зоя? Она никогда о себе не рассказывала, и Зойка маленькая на вопросы о ней отвечала неохотно, хмурясь. Зоя большая живет с матерью и братом — кроме этого, собственно, ничего не сообщалось.

Проходя мимо ее ворот, Севастьянов видел в открытую калитку нищее подворье, уставленное лачугами, увешанное тряпьем, еще более неприглядное, чем открытые зною и пыльным ветрам дворы Балобановки. Тут постоянно плакали дети и кричали, переругиваясь, женские голоса. Из этого двора, залитого мыльными помоями, выходила, улыбаясь, большая Зоя; привычным движением наклоняла голову в низенькой калитке; не торопилась закрыть калитку, божественно уверенная, что безобразие, в котором ей приходится существовать, не сливается с нею, не может никому помешать ею любоваться. Севастьянов заметил, что у Зойки маленькой ее прикармливают. Делалось это, конечно, ради Зойки маленькой — той бы кусок не пошел в горло, если бы она не могла разделить его с Зоей большой.

В какую-то осень Севастьянов встретил большую Зою на бирже труда. Там была лестница со сбитыми, заплеванными ступенями из серого мрамора и во всю ширину площадки — окно, его стекла, несколько лет не мытые, почернели и стали непрозрачными. У черного окна, в сумраке, стояла большая Зоя. Севастьянов угадал ее издали, снизу, по очертаниям узких бедер, высокой шеи, непокрытой стриженой кудрявой головы. Она стояла в своем старом пальтишке, из которого выросла, и крутила в пальцах носовой платок. Севастьянов остановился, она подала озябшую руку в коротком рукаве.

— Отмечаться?— спросил он.— Пошли вместе.

— Я жду брата,— ответила она.

Она уронила платок и сказала:

— Если дама что-нибудь уронила, кавалер обязан поднять.

— Вот, действительно,— сказал он,— я похож на кавалера, а ты на даму!



Но все же нагнулся и поднял ее платок, мокрый холодный комочек. Люди шли мимо них, кто вниз, кто вверх. Она сказала, вдруг забеспокоившись:

— Ну, иди. Вот он.

Ее брат спускался по лестнице. Севастьянов сказал: «Всего» и пошел наверх. Непонятную, непобедимую неприязнь испытывал он к ее брату. И горбун при встречах пристально и недобро взглядывал Севастьянову в глаза своими быстрыми темными глазами и здоровался как-то так, что это у него — несмотря на малый рост — получалось свысока.

Он спускался по лестнице самоуверенной походкой, развязно выбрасывая короткие ноги. С ним шел Щипакин, они разговаривали как знакомые. Севастьянов подумал: «Ого, какое у горбуна знакомство»,— для безработного Севастьянова Щипакин был большим человеком.

Сейчас и не вспомнить, как называлась его должность, как-то длинно, и было там слово «уполномоченный»... Щипакин в союзе совторгслужащих занимался трудовым устройством молодежи, он мог устроить на работу, поэтому был одной из популярных фигур на бирже труда. У него были тяжелые круглые глаза навыкате, нос в форме башмака и очень большое расстояние от носа до верхней губы, еще удлиненное глубокой вертикальной ложбинкой. Совсем молодой, он держался важно, с сознанием своей видной роли. Если кто-нибудь из безработных обращался к нему недостаточно, по его мнению, уважительно — он обижался, обрывал, хамил. С горбуном он говорил благосклонно, Севастьянов это отметил, разминувшись с ними на лестнице.

Он отметил это вскользь, их отношения не так уж его интересовали... Шагая через ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. В огромном холодном зале было, как всегда, по-вокзальному людно, хвосты очередей перед фанерными окошечками, гул голосов, странно усиленный и омузыкаленный акустикой зала. На полу вдоль стен, подпирая их спинами, сидели люди, курили. Серый дым висел в воздухе, чтобы проветрить — открыли одно из окон на улицу. И там было дымно-серо, шел сильный дождь. Брызги залетали в зал. Люди кашляли, поднимали воротники. Севастьянов только спросил: «Кто последний?» и стал в очередь к окошку регистратуры, как вдруг раздался женский крик, сидевшие повскакивали, все зашумело.

— Кто? Кто?— спрашивали кругом. У открытого окна вмиг сбилась толпа, лезли на подоконник; другая толпа хлынула на лестницу.

Севастьянов в числе первых очутился возле тела, распростертого на асфальте. Помочь ничем было нельзя. Дождь барабанил по луже крови, размывая ее. Одежда самоубийцы успела промокнуть. Нищета этой одежды — нищета, на живых настолько привычная, что ее уж не замечали ни у себя, ни у других,— на мертвой кинулась всем в глаза. Солдатские «танки» без подметок, заскорузлые, зашнурованные веревкой; жакетик — одно название — заплатка на заплатке; весь в дырах кровавый платок... Неправдоподобно темно-синяя лежала у ног сбежавшихся людей небольшая рука, ладонью вверх, пальцы сложены чашечкой, в чашечку, брызгая, набиралась дождевая вода... Толпа густела. Сквозь серую водяную завесу Севастьянов увидел — среди чужих лиц — лицо большой Зои, темный взгляд ее, остановившийся на самоубийце.

Загудел автомобиль, люди расступились, запахло сквозь дождь аптекой, появились белые халаты, носилки, милиционер, мелькнул щипакинский нос — башмаком... Севастьянов видел, как горбун уводил большую Зою, а она спотыкалась и оглядывалась...

Вечером Севастьянов рассказал о происшествии Зойке маленькой. Зойка выслушала молча, сдвинув брови, потом спросила:

— Где же Зоя?

Зоя большая, оказывается, не забегала со вчерашнего дня, ее с утра не было дома. Так она и не пришла, Севастьянов и Зойка маленькая сидели вдвоем. Тихий тянулся вечер, Зойка была не в духе, мерно шумело по крыше, разговор не клеился. Севастьянов у шкафа листал книжки и думал, что ему еще шагать в Балобановку... Зойка сказала, возвращаясь к разговору о самоубийстве:

— Все-таки это слабодушие.

Севастьянов вспомнил руку на асфальте и сказал:

— Кто его знает. Трудно без работы... Очень ей, значит, стало невмоготу.

Потом он добавил:

— Вот, будет мировая революция — все наладится.

— Да! Да! — сказала Зойка.

Горбун вскоре после того поступил на работу, завхозом в клуб совторгслужащих.



## 15

Дождь переходит в снег, снег валит крупно и густо, как на рождественской открытке, непрерывно падающей сверкающей сеткой заслоняет фонари, ложится толстой гусеницей на резко освещенную цветастую вывеску «Нерыдая».

«Яблочко» ухает из глубин «Нерыдая».

Две женщины под фонарем, пряча лица в воротники, выбивают каблуками дробь.

— Хорошенький, погреться не мешает,— хриплой скороговоркой говорит одна, когда Севастьянов проходит мимо.— Мы уважаем шенпанское, но могем простую водку, если у вас финансы поют романсы.

Другая перебивает:

— Сказилась, какие у него финансы!

— Да на водку много ли надо! — простуженно кричит первая вслед Севастьянову.— Хорошенький, пошли в «Нерыдай»!

Это он шел из редакции с совещания.

Он тогда только что поступил в «Серп и молот».

У него не было на трамвай, а постоянный билет ему еще не выдали, а попросить у кого-нибудь денег в долг он постеснялся.

...На совещании были сотрудники и рабкоры. Из типографии — из красного уголка — в кабинет Дробышева снесли скамейки. Дробышев делал доклад о задачах большевистской печати. Вдруг погас свет. Один из рабкоров поднялся и, светя себе зажигалкой, пошел смотреть пробки. Оказалось — авария на станции. Дробышев говорил в темноте. Молчаливо попыхивали папиросные огоньки. Потом внесли керосиновую лампу. К концу доклада электричество опять зажглось.

...Вадим Железный написал отчет об этом совещании. Он там написал: «Рабкоры вошли и поклали шапки на стол».

Акопян выправил: «положили шапки на стол».

— Не подсовывайте мне ваши вываренные в супе слова,— сказал Железный.

— «Поклали»— неграмотно,— сказал Акопян.

— «Поклали шапки»— это экспрессия, масса, мускул, акт!— сказал Железный.— Вы полагаете — в слове все исчерпывается его грамотностью?

— В трамваях висит объявление,— сказал Акопян со своим мягким акцентом,— напечатанное, кстати, у нас

в типографии: «Детей становить на скамейку ногами воспрещается». Может быть, вам нравится слово «становить»?

— А конечно, потому что в нем образ! — воскликнул Железный.— Ставят клизму, как вы не понимаете, черт вас возьми! Слово «ставить» тут немыслимо даже ритмически. «Детей ставить на скамейку ногами»... Слышите?! Фраза кособочится, у нее заплетается язык! Это объявление набирал лингвист, умница! И разве не восхитительно «становить ногами», как будто можно становить и головой, разве в этом не эпоха?

— Рабочая газета ищет эпоху в других ее проявлениях,— сказал Акопян спокойным голосом, но очень категорически.

Севастьянов ходил по вьюжным улицам, ходил по большим заводам и маленьким мастерским, набирая полные ботинки снега, и думал: что за штука такая — слово, в Поэтическом цехе сражались из-за слов и в редакции сражаются, и как может быть в слове эпоха, и как это фраза кособочится, и кто же прав — заносчивый Железный или добрый спокойный Акопян.

Он уважал Акопяна, но то, что говорил Железный, ему тоже очень нравилось.

Ему казалось, что и он, Севастьянов, ощущает в каких-то словах силу (мускул) и напор (массу?), а какие-то и ему представляются словно бы — действительно — вываренными в супе... Он уже — еле-еле — чувствовал и предчувствовал кое-что, хотя еще много лет и вьюг лежало между ним и его первой книгой.

...Все они выросли, кому исполнилось семнадцать, а кому и восемнадцать. Они считали себя взрослыми, и взрослые не считали их детьми. Спирька Савчук уже брился. У Семки Городницкого окончательно окреп его утробный бас, выработанный посредством многолетних упражнений; он этим басом шикарно спорил с попами на диспутах. Ванька Яковенко поступил на плужной завод и быстро стал выдвигаться — его выбрали в бюро ячейки и сразу в секретари, он стал очень деловым, подружился с Югаем и Женей Смирновой, а от старой компании отдалялся.

Сильнее всех изменилась большая Зоя. Прежде такая тихая, задумчиво-созерцательная, она становилась шумной, полюбила веселье и шутки, полюбила, чтоб парни за нею ходили гурьбой. Парни ходили гурьбой, а ей все было мало, она хотела еще и еще знакомств и побед. Беспричинное раздражение прорывалось у нее, смех стал нервным, глаза вспыхивали неспокойно. И по разным вопросам они все чаще спорили с Зойкой маленькой.



Раз Севастьянов случайно услышал, как они спорили о любви.

— Он меня обожает! — говорила большая грудным, таинственно пониженным голосом.— Разве ты не видишь — он для меня что хочешь сделает!

— Да, вижу,— отвечала маленькая.— Но ты мне скажи — зачем тебе это, ведь ты его не любишь!

— Ну как зачем! — упрямо сказала большая.— А ты разве не хочешь такой любви, чтобы для тебя готовы были в воду кинуться?

— Я хочу такой любви, чтоб я сама ради какого-нибудь человека была готова в воду кинуться! — сказала маленькая.— И ты такой любви хочешь, и для чего ты прикидываешься эгоисткой, я не понимаю. Я ведь знаю, что ты не эгоистка!

Тут вошел Севастьянов, и спор прекратился. Севастьянов понял, что это они говорили о Спирьке Савчуке, ведь за версту была видна Спирькина тяжкая влюбленность в большую Зою.

То был уже двадцать третий год — лето двадцать третьего, уже были мечты о журналистике, был Кушля, уже Севастьянов ушел из Балобановки и обитал с Семкой Городницким на Коммунистической, в комнате возле кухни, где царствовали три ведьмы.

Мечты и прогулки по «границе» были до середины лета. А потом голубоглазый Кушля вмешался в судьбу Севастьянова и переломил ее.

## 16

Но сначала Севастьянов и Семка Городницкий учились на политкурсах.

Занятия происходили в школе. Севастьянов, с его длинными ногами, подолгу вертелся, усаживаясь за парту, и стукался коленями... Для учебы его освободили от вечерней работы. На курсах они познакомились с двумя страшно передовыми девчатами с табачной фабрики, одну звали Электрификация, другую Баррикада. В сущности, их звали Рива и Маруся, но они *октябрились* в клубе, с речами и подарками от фабкома, и приняли новые имена для нового быта. Они то и дело хлопали ребят по спинам

и кричали: «Шурка, сволочь! Семка, гад!» и по самому нестоящему поводу заливались хохотом. При всем том — славные были девчата...

Кроме молодежи на курсах учились и пожилые люди, был там инвалид войны, ходивший на костылях, был старик с бородой, как у Маркса, была неприветливая болезненная женщина в пенсне... Им читали лекции о прибавочной стоимости, диктатуре пролетариата, диамате и истмате, о великих утопистах, предшественниках марксизма.

Семка, эрудит, начетчик, обо всем этом читал раньше, а Севастьянов впервые слышал так подробно и был по-настоящему потрясен — сколько же люди думали, искали, фантазировали, догадывались, открывали, стремясь устроить человеческую жизнь разумно и справедливо. Он даже поднялся в собственных глазах, обнаружив, что его волнует этот мир отважного и жадного мышления, с которым он соприкоснулся; что, значит, он, Севастьянов, тоже из той людской породы, которой доступно высокое. Мысли, зарождавшиеся в его юной голове самостоятельно, имели пока что значение только для него; но на чужую мысль эта голова отзывалась быстрым пониманием, это ведь тоже кое-что.

В тот период своей жизни они с Семкой разговаривали почти исключительно на социально-философские темы, даже сообща сочиняли стихи на эти темы:

Познавательный процесс
Не свалился к нам с небес,
И врожденных у людей
Сроду не было идей...

В моде была кабацкая песня про торговку бубликами:

Бублики! Горя́чи бублики!
Купите бублики, народ честной!..

«Буб-лики! Горячи буб-лики!»— пела улица. «А я несчастная торговка частная!»— пронзительно пел маленький босоногий пацан в коротких штанах и выгоревшей буденовке. «Буб-лики! Горячи буб-лики!»— яростно суфлировала гармошка из пивной. А Севастьянов и Семка, идя домой после лекций, сочиняли песню для себя и своих товарищей:

Гегель странный был чудак,
Не поймешь его никак:



Диалектика — того —
Вверх ногами у него.

Диалектике было́
В этой позе тяжело,
Но явился Фейербах,
И она уж на ногах.

Фейербах, Фейербах,
Браво, Людвиг Фейербах!

И так далее — топорно и, быть может, излишне фамильярно, но зато от всего сердца.

А девчата — Электрификация и Баррикада — смотрели им в рот, когда они сочиняли, и потом пели с ними вместе.

## 17

С тех пор как Кушля возглавил отделение «Серпа и молота» и поселился там, писать Севастьянову стало негде.

В отделении был Кушля, дома — Семка Городницкий.

Кушля непременно подошел бы и заглянул, что там Севастьянов пишет. Он не признавал секретов.

Семка без спроса не сунется, но севастьяновские листки могли попасться ему на глаза случайно, у них ведь ничего не запиралось, да и запирать было некуда,— и неужели же Семка не прочтет? Надо быть возмутительно равнодушным к товарищу, чтобы не прочесть. И Севастьянов огнем сгорит от Семкиных критических, логических, иронических замечаний. Если же Семка воздержится от замечаний, и даже не усмехнется, и будет молчать, словно ничего знать не знает,— это ужасное сострадание еще невыносимее.

Лишенный приюта для своей музы, Севастьянов творил мысленно. У него была пропасть времени, когда он шагал от предприятия к предприятию по редакционным делам.

Шагал, вдруг замечал на себе чей-то взгляд и, спохватясь, сгонял с лица улыбку.

На короткое время отстал было от сочинительства — пока учился на курсах и увлекался общественными науками; потом опять вернулся.

Он составлял в уме фразы, заботясь о том, чтобы они не кособочились. Слагал газетную прозу, как поэты сла-

гают стихи. Кое-что записывал тайком — фразу, абзац — и прятал в карман. Газета светила ему как маяк: его интересовали только те явления, которые могли интересовать газету. Изложить старался помускулистее, в подражание Железному. (Московских журналистов, печатавшихся в «Правде» и «Известиях», они с Кушлей тоже читали внимательно, но находили, что наш Железный пишет лучше.)

И вот однажды получилась у Севастьянова одна вещь, и он почувствовал желание показать ее кому-нибудь. Первый раз почувствовал такое желание.

Не желание: необходимость! Неизбежно было, чтобы еще кто-то, кроме него, эту вещь узнал. Не то чтобы исчез его целомудренный страх перед судом другого человека — страх за свое неумение, несовершенство своей работы; страх остался, но как бы отступил на время и наблюдал со стороны: что-то будет!..

Севастьянов пошел в отделение, сел и ■ присутствии Кушли стал записывать то, что сложилось в его мозгу. Вышло вроде стихотворения в прозе — этого он не знал, не был посвящен в такие тонкости; он все, что сочинял, считал фельетонами... Там рассказывалось, как рабочие судоремонтного, с женами и детьми, пришли на субботник — убирать ■ цехах: судоремонтный, после долгого перерыва, снова вступал ■ строй. Субботник был описан с разными восклицаньями, заимствованными у Вадима Железного. Но кое-что было незаимствованное, свое,— тот рабочий: как он разбирал станок, с каким вниманием, не подымая глаз, долго рассматривал снятую часть и клал бережно,— и следующую, перед тем как снять, осматривал, и что-то обдумывал, и в раздумье поигрывал по станку пальцами, и посвистывал, сложив губы дудочкой,— а потом он сел тут же на подоконник и завтракал, медленно жуя и не спуская глаз со своего станка, в одной руке хлеб, в другой ломоть арбуза,— вот этого рабочего Севастьянов сам отметил среди сотен человек и по-своему описал, и этому описанию обрадовался до такой степени, что не мог не поделиться с кем-нибудь своей радостью.

И, безусловно, легче было делиться с Кушлей, чем с начитанным и ироническим Семкой Городницким.

Как он и предугадывал, Кушля, увидев его пишущим, подошел и стал за его плечом. Попыхивая папиросой, он стоял и читал. Севастьянов дописывал не оборачиваясь, уши у него горячели. Кушля взял первый, уже отложенный лист, стал читать с начала. Тем временем у Севастья-



янова поспел конец; Кушля прочел конец и спросил недоверчиво:

— Это что?

— Да так просто,— нелепо ответил Севастьянов.

— Твое?— спросил Кушля еще более недоверчиво и даже грозно и перешел на другое место, чтобы взглянуть Севастьянову в лицо.

— Мое!— решился Севастьянов.

Ярко-голубые Кушлины глаза смотрели ему в самую совесть.

— Не врешь?

— Иди ты!

Скрестив на груди руки, Кушля прошелся взад-вперед.

— Замечательно!

Он это сказал с глубоким убеждением и серьезностью. И Севастьянов знал, что шутить он не умеет, а все-таки поглядел: не шутит ли?

— Ты считаешь — ничего?

— Что значит ничего!— сказал Кушля с тихим торжеством.— Я же тебе говорю — замечательно!

«Да неужели,— значит, мне не показалось,— да, должно быть, да, конечно, это хорошо!»— подумал Севастьянов.

— Это же надо, понимаешь, сел ■ написал единым духом, ничего даже не чиркая, ну и ну! И кто — рабочий парень с низшим образованием! Это, дорогой товарищ, просто, я тебе скажу, ну просто, я тебе скажу,— да что тут говорить: сказано — замечательно!

— Что ты, каким единым духом!— поспешил возразить Севастьянов.— У меня раньше придумано было.— Он жаждал похвал, которые мог принять как заслуженные; те, которых он не заработал, были ему тягостны, вымышленными заслугами отодвигалось в тень то немногое, но единственно важное для него, что удалось ему на самом деле.

На Кушлю его поправка произвела неожиданное впечатление.

— Как раньше?— спросил он.— Ты же не переписывал, черновиков никаких не было.

— Правильно, я в голове держал.

— Наизусть, что ли, выучил?

— Ну да, наизусть, только я не учил, оно само как-то запоминается, черт его знает.

— Ну, это, ну, просто...— начал Кушля, качая головой, и не договорил.— И давно это ты?

— Давно уже.— Теперь сознаться в этом было приятно.
— Когда начал писать?
— В декабре месяце.
— О! Давно,— сказал Кушля.— Я только с июня пишу. Чего ж не показывал? Никому не показывал?
— Никому.
— Это интеллигентщина, понимаешь! Как можно не показывать? Что ты — кустарь-одиночка? Тем более — пишешь замечательно, можно сказать — великолепно! А вот скажи,— спросил Кушля,— ты когда пишешь, ты всегда до конца пишешь или не всегда?
— Как когда,— ответил Севастьянов.— Иной раз и не до конца. Бывает всяко.
— Я когда пишу,— сказал Кушля,— у меня начало получается, и середина получается, а конец не получается, не дается мне конец. Напишу, понимаешь, середину, а дальше ни с места. ты мне, пожалуйста, помоги, ладно?
Он снова стал похаживать, скрестив руки, и лицо его, по мере того как он вдумывался в случившееся, становилось все торжественней, вдохновенней, праздничней, моложе.
— Что значит талант,— сказал он,— в этого человека вижу, как он сидит на окне и арбуз ест и на станок свой смотрит, с которым в разлуке был,— и это не дело, понимаешь, чтоб талант улицу подметал...
Совершенно искренне он был убежден, что Севастьянов делает в отделении только черную работу.
— Ведь чем дорого,— говорил он дальше,— что вот, скажем, талант у тебя, талант у меня? Сейчас я тебе поясню, чем это дорого. Вот мы вчера были в театре с Ксаней. Сидим назади, а в первых рядах сплошная буржуазия. То боялись, гады, одеться чисто, носили что ни на есть поплоше; а сейчас, понимаешь, золотые часы, серьги это, горжетки, все наружу. А мы с Ксаней, в боевых наших красноармейских гимнастерках,— победители! чувствуешь?!— назади сидим и с пятого на десятое слышим, что там артисты на сцене говорят. А душа — она еще не вполне сознательная, душе скорбно, дорогой товарищ, сидеть назади, уступя первые ряды нэпманам. Спроси Ксаню, она тебе то же самое скажет...
— Но ум,— сказал Кушля, блестя ярко-голубыми глазами,— запрещает моей душе болеть. Ум ей говорит: «Не зуди!»— поскольку это не больше как тактика, чтоб из разрухи выйти. А победители все одно мы с Ксаней, а то кто же?— хоть и сидим черт-ти где! Они там нехай нам налаживают всякую бакалею и галантерею, а мы будем развивать наши таланты, потому что не им быть первыми, дорогой товарищ, а нам с тобой...



18

Великая вещь — слово одобрения! Грудная клетка у человека становится шире от слова одобрения, поступь легче, руки наливаются силой и сердце отвагой.
Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобрения!
Поздно вечером расстался Севастьянов с Кушлей. Горели на улицах реденькие огни. Были спущены железные шторы на магазинах. Из темноты возникали люди, приближались, обрисовывались в неярком свете, проходили вплотную мимо Севастьянова,— чудно́е у него было чувство, чувство новой какой-то своей связи с людьми, чем-то они стали ему несравненно важней и дороже, чем были,— он еще не знал, чем именно, но чувство это было прекрасно и радостно. Лошадиные копыта зацокали в тишине, извозчик приостановился у тротуара и сказал знакомым голосом: «Садись, Шурка, подвезу»,— это был Егоров, балобановский сосед, у которого Севастьянов когда-то ремонтировал конюшню. Севастьянову оставался до дому какой-нибудь квартал, но он сел к Егорову в пролетку и спросил: «Как вы поживаете?» «Живем, хлеб жуем,— ответил Егоров,— а ты как там?» «Я — хорошо!»— от души ответил Севастьянов... Копыта неспешно цокали, удаляясь, он стоял у своих ворот, он поднимался по железной лестнице, думая: «Вот отлично, что Семка дома и не спит. (В их окне был свет.) Я ему тоже покажу мой фельетон. Что, в самом деле!» Но Семка спал, уронив книгу на пол, закинув худое горбоносое лицо. Севастьянов огорчился, потоптался по комнате, подвигал стулом, даже задал вполголоса дурацкий вопрос:
— Ты спишь?
Ничего не помогло, Семка спал. Севастьянов лег нехотя и долго лежал с открытыми глазами, улыбаясь... Утром проснулся — Семка уже ушел. Да при утреннем деловом ясном свете, в сборах на работу, на ходу, и не стал бы Севастьянов ничего показывать и рассказывать...
— Акопян звонил,— встретил его Кушля, когда он пришел в отделение.— Велел тебе к нему ехать. Сразу.

— Не сказал, по какому делу?— спросил Севастьянов а сердце стукнуло: «Вдруг по этому самому?..»

— Не сказал. Нужен, значит. Кидай все и езжай, скоро!

Кушля был взбудоражен и таинствен. «Он звонил Акопяну и говорил обо мне!»— понял Севастьянов. После оказалось, что Кушля звонком поднял Акопяна ночью с постели, расписывая севастьяновские достижения и внушал, что в Советской республике не имеет права талант метлой махать, а обязан талант служить задачам агитации и пропаганды для счастья масс. Акопян, полусонный, терпеливо выслушал и сказал: «Хорошо, я посмотрю»— не очень-то, должно быть, поверил Кушлиной рекомендации. Но в наэлектризованном воображении Кушли все это обернулось таким образом, что Акопян сам позвонил чем свет и потребовал Севастьянова срочно.

Выйдя вслед за Севастьяновым на улицу, Кушля напутствовал его, будто в дальнюю дорогу:

— В добрый час!

В редакции шло своим чередом редакционное утро Акопян, с пером в руке, сидел над гранками и сказал: «Ты ко мне? Посиди минутку»,— пришлось сесть смирно и ждать. Вошел кто-то с хроникой, Акопян стал править хронику. Прибежала машинистка Ляля с перепечатанным материалом, из типографии принесли тиснутую мокрую полосу, Залесский принес рецензию, и они с Акопяном спорили о спектакле, раздался звонок из кабинета Дробышева, Акопян ушел туда и пропал. В окнах стало свинцово — нашла туча, хлынул дождь. Севастьянов слонялся по коридору, видел в открытые двери, как Коля Игумнов, свесив белокурую гриву, трудится над рисунком; как пришел Вадим Железный, его кожанка блестела от дождя, он повесил ее на гвоздик, вынул записную книжку, уселся, придвинул стопку чистой бумаги, обмакнул перо — и его брови поднялись, он оледенел, отрешился от всего, кроме пера и чистого листа... Видел, как под клетчатым серым зонтиком пришла к Залесскому старуха жена, принесла завтрак в корзиночке, как уборщица Ивановна разносила чай на подносе, она и Акопяну поставила среди бумаг стакан жидкого чая. Всегда готов был Севастьянов наблюдать эту восхитительную, высшую жизнь, но в тот день он томился одним ожиданием, ожиданием Акопяна.

Меньше всего было свойственно ему телячье легкомыслие. Он себя урезонивал: «Размечтался!.. Обязательно



окажется что-нибудь обыкновенное, самая мелочь может оказаться, не имеющая отношения... С чего на тебя такое свалится, чего ради вдруг тебя возьмут и напечатают, как будто это так просто. Ты вовсе и не нужен Акопяну, видишь — он о тебе забыл, Кушля напутал спросонок». Но какой-то новый Севастьянов, убежденный в своих силах, не хотел признавать резоны, волновался и заносился, изумляя прежнего солидного Севастьянова.

— Брось, ничего Кушля не напутал, притворяешься перед самим собой, не хочешь разочароваться...

— Какое-нибудь редакционное дело.

— Редакционное он бы по телефону передал... У меня удача. Вот тут, в кармане, у меня лежит удача. Как Кушля про нее сказал? Замечательно, сказал, великолепно!

— Ты, брат, ошалел. Похвалили тебя, ты и ошалел.

— Вот посмотришь!..

Но когда Акопян вышел наконец из редакторского кабинета, и они с Севастьяновым сели друг против друга у стола, и Акопян сказал: «Ты говорят, пишешь; покажи»,— шалый голос умолк, как не было его; сидел перед Акопяном положительный, несуетливый Севастьянов. У этого положительного Севастьянова пальцы были неловкие, деревянные, когда он доставал листки из нагрудного кармана, и он подумал: «Акопяну вряд ли понравится».

Акопян взял листки и, прежде чем читать, отхлебнул холодного чаю из стакана.

«Ему не понравится».

— Сколько ты классов кончил?— спросил Акопян, уже начав читать и отрываясь, что причинило Севастьянову боль; и, узнав, что Севастьянов окончил два класса приходского училища, покачал головой:— Маловато...

«Ясно, не понравится. Чему там нравиться — пишу корову через five».

Акопян читал, подперев лоб рукой. Севастьянов смотрел на его узкую руку, опущенные веки и думал: «Ужас, и как я решился показать. Ему же никогда ничего не нравится, он все черкает и переделывает, а у меня до того плохо, позорно плохо...»

— Очень приличная зарисовка,— сказал Акопян.

Севастьянов перевел дух. У него губы ссохлись, пока Акопян читал.

— Про рабочего со станком хорошо написано,— сказал Акопян, задумчиво рассматривая Севастьянова своими черными глазами.

«Вот и он говорит, что хорошо,— подумал Севастьянов, и его радость и вера мгновенно вернулись к нему,— значит, в самом деле хорошо, уж кто и понимает, как не он, и какой симпатичный у него голос, как говорит он приятно, и, значит, это называется зарисовка, а не фельетон, правильно, очень подходящее название!»

— Редактор считает,— сказал Акопян,— что тебя следует попробовать на работе в редакции, ты как на это смотришь?

«В редакции, ну конечно!— подумал Севастьянов.— Я это предвидел, и так и знал! Еще утром знал, когда Кушля сказал «в добрый час»... Написано очень прилично. А два класса — что ж два класса, как будто и этим ограничусь, учился на курсах, и на рабфак пойду, и в вуз».

— Ну, так как же ты?— окликнул Акопян.

— Я?..— Севастьянов прокашлялся.— Я, да... с удовольствием.

Акопян улыбнулся.

— Но имей в виду, заработок на первых порах будет нерегулярный и, возможно, меньше, чем в отделении. Выдержишь?

— Выдержу.

— Зарисовку твою напечатаем. Придумай заголовок и зайдем с тобой к редактору.— Зарисовка была без названия.

Севастьянов вышел на балкон. Пока они с Акопяном разговаривали, дождь кончился, короткий и бравурный, и опять светило солнце. В выбоинах старого балкона с почерневшей узорной решеткой стояла светлая вода. Внизу играли дети, шли прохожие, двое остановились на углу, разговаривая,— ни у кого из них не было таких ослепительных перспектив, никого так не манило будущее, как манило оно Севастьянова, когда он стоял на балконе, придумывая название для своей зарисовки.

«Я в редакции, вот счастье. Это теперь мое — эти культурнейшие, интереснейшие люди, их занятия и разговоры, вся эта увлекательная жизнь... и этот балкон мой. Внезапный какой поворот... Всегда все главное бывает внезапно?.. Это Кушля устроил, я бы разве сам пошел к Акопяну...» Он был навеки благодарен Кушле! Но не за то, что тот похлопотал о его переводе в редакцию. Такую вещь Севастьянов тоже сделал бы для любого товарища... За восхищение он был благодарен Кушле, за признание, за восторженное сияние глаз.



19

Свою зарисовку в газете он без конца перечитывал, она казалась ему чужой и этим притягивала как магнит: он читал и читал, пытаясь удостовериться, что это сочинено им. Напечатанные слова были непохожи на написанные от руки, каждое слово стало выпуклым, громким, его будто вынесли на яркий свет. Севастьянов заметил это сам, и то же сказал ему Вадим Железный.

— Они отпали от вас и зажили отдельной жизнью, не правда ли?

— Да, вроде,— подтвердил Севастьянов.

— Они теперь сами себе господа. Они самоопределились. Им наплевать на вас. Вы властны над ними, только пока они не напечатаны. Странно?

— Странно, конечно. Потому что я в первый раз ..

— Это ничего не значит, что в первый раз. В тысяча первый будет точно так же. К этому диву нельзя привыкнуть. А как вам показалась ваша собственная подпись?

— Да-да-да!— вздохнул Севастьянов.

Его фамилия на газетной полосе била в глаза, как бы напечатанная красной краской; в буквах и сочетаниях букв было что-то удивлявшее Севастьянова, вообще незнакомая была фамилия и чудна́я. Они с Железным обменялись этими наблюдениями.

— И чем дальше,— торжествующе сказал Железный,— тем она все больше будет абстрагироваться. Она тоже имеет тенденцию к самоопределению. Я смотрю на свое имя в газете и думаю: Вадим Железный, Вадим Железный, кто ж это такой Вадим Железный?.. Не смейтесь!— остановил он повелительно, увидев улыбку Севастьянова.— Это не смешно. Это настоящие открытия. Это больше, чем открыть новую звезду; разве нет?

Он не был похож на тонкого и легкого Мишку Гордиенко в студенческой тужурке с обтрепанными рукавами, того Мишку Гордиенко, что несколько лет назад поставил вопрос о новой орбите для земного шара. Вадим Железный ел бифштексы, занимался боксом, носил кожаную куртку, скрипучий портфель, обожал все кожаное и скрипучее. И он в самом деле был хорошим журналистом и умел писать для простых читателей ясно и горячо,— но от старых бредней не отказался, написал непонятную брошюру под названием «В начале было слово», издал ее за свой счет, и она продавалась в киосках.

— И жить и писать будете,— сказал он, прочитав севастьяновскую зарисовку и поговорив с ним. И попросил наборщика, тот отлил на линотипе, на память Севастьянову, его подпись: «А. Севастьянов». Пластинку серебристого металла с выпуклыми удивительными буковками Севастьянов получил еще теплой, прямо из машины,— и долго она у него была, пока не затерялась.

## 20

Если поначалу от восторга он маленько занесся, то первая же неделя работы в редакции сбила с него спесь начисто. Его посылали за хроникой в губсовнархоз — он упускал самые важные сообщения. Поручили ему отчет о конференции работников потребкооперации — он добросовестно сидел на скучном заседании и записывал, что говорили кооператоры, а потом оказалось, что, отвлеченный своими мыслями, он не записал какие-то цифры, которые приводил какой-то товарищ, а без этих цифр отчет не годился. Севастьянов бросился разыскивать товарища, разыскивал его по складам и пакгаузам, бешеную деятельность развил, чтобы получить цифры. Когда разыскал наконец, товарищ сказал: «Что ж вы беспокоились, посмотрели бы в стенограмме»... На маленькую заметку уходила уйма времени.

По собственной инициативе Севастьянов написал штук двадцать зарисовок, но из них только одна была помещена, причем Акопян выбросил все начало и переделал конец.

Торчать в редакции развеся уши и упиваться умными разговорами — об этом нечего было и думать. В редакцию Севастьянов приходил, чтобы сдать материал и получить задание от Акопяна. Наскоро просматривал газеты, выпивал стакан чаю и уходил.

Так или иначе — пусть с грехом пополам — он выполнял все поручения и никогда ни от чего не увиливал. Почти в каждом номере шло хоть несколько его строк, по большей части без подписи. Уже в первый месяц он заработал вдвое против того, что зарабатывал в отделении. Но гонорар выдавали редко и по крохам, так что денег у Севастьянова было еще меньше, чем когда он работал в отделении и два раза в месяц получал свою скромную получку.



Если бы не это обстоятельство, он считал бы себя материально устроенным. Они с. Семкой наладили свою жизнь. У каждого была кровать, у каждого кружка. Был нож, чтоб резать хлеб и колбасу. Севастьянову хотелось завести примус и кастрюльку: нет-нет сварить картошки и поесть с огурцом — неплохо. Но купить было не на что, да Семка и не допустил бы такого обрастания, примус был в его глазах принадлежностью обывательского быта, который страшнее Врангеля. Зато на столе, на подоконнике, на полу, всюду у них лежали книги. Семка притащил их из дому и всякую получку покупал еще, а глядя на него, и Севастьянов научился покупать; прежде ему казалось, что глупо тратиться на книгу, раз ее можно взять в библиотеке или у знакомых.

Ведьмы громко злословили за дверью по их адресу. Они ненавидели Севастьянова и Семку. Это была ненависть с первого взгляда. С момента, когда Севастьянов и Семка предъявили ордер на комнату возле кухни. Три примуса шипели в кухонном чаду, и три ведьмы шипели у примусов. Кто их знает, этих теток, чего они ярились. Должно быть, революция их прижала, вот они и выходили из себя от одного вида комсомольцев. Каких только гадостей они не придумывали, чтобы отравить Севастьянову и Семке существование; ну, не так-то это было просто. Семка молча щурился в ответ на все выпады. Севастьянова иной раз подмывало сказать пару теплых слов — поставить вредных старух на место; но и он брезговал связываться. Жертвами своих боевых действий падали сами ведьмы, они худели от злости и лечились у невропатологов.

Дома Севастьянов и Семка бывали мало. Обедали в столовой ЕПО. Если денег было не в обрез, Севастьянов заходил поесть на базар, в обжорный ряд. Там было вкусно, хотя нельзя сказать, чтобы опрятно. Из глубоких кошелок, из промасленного тряпья бабы-торговки доставали жарко дымящиеся чугуны с жирным борщом, приправленным чесноком и перцем, большие коричневые котлеты, сочные сальники с начинкой из гречневой каши и рубленой печенки. На куриных ножках стояли крошечные дощатые шашлычные с распахнутыми настежь дверками, в каждой шашлычной был стол, непокрытый, даже без клеенки, на столе тарелки с нарезанным хлебом и луком, горчичница, солонка с оттиснутыми в ней следами пальцев. Шашлык жарился на улице, у входа, на высоких жаровнях, в противнях, полных скворчащего жира, рай-

ский запах разливался далеко. Севастьянов любил забежать в такую шашлычную. Любил купить огромный, весь в пурпуровых подтеках, пирог со сливами и съесть на ходу, выплевывая косточки. Любил, купив арбуз, не резать его дольками, а трахнуть им о край стола, чтобы арбуз так и распался в руках на большие неправильные ломти с серебристым налетом на малиновой мякоти, утыканной черными глазастыми семечками...

Другого рода соблазны исходили из «Реноме инвалида». Кафе «Реноме инвалида» помещалось в доме, где жили Севастьянов и Семка. В витрине красовались торты и синяя ваза с пончиками, напудренными сахарной пудрой. Утром выйдешь натощак за ворота — пахнет свежими пирожными... В этом культурном месте тоже приятно было посидеть в получку, выпить бутылку кефира, чашку чая либо спросить мороженого и есть его ложечкой, запивая газированной водой.

Принадлежало кафе инвалидной артели. Разнообразно прихрамывая, члены артели, в белых курточках, белая салфетка через руку, обслуживали посетителей. В этом же доме, со двора, находились их кладовая и погреб, и при кладовой жил Кучерявый, кладовщик...

— Здравствуйте!— сказал главный инвалид, остановив Севастьянова посреди двора, от инвалида пахло ванилью.— Что вас редко видно, почему к нам не заходите, вы и ваш товарищ?

— Денег нет на пирожные,— ответил Севастьянов шутливым тоном, хотя это была истинная правда — с тех пор, как он жил на гонорар, у него никогда не было денег, и он успел задолжать Семке астрономическую сумму, чуть не два червонца.

— Какое это играет значение!— сказал инвалид.— Ведь вы работаете, если я не ошибаюсь, в редакции? («Ишь, знают»,— подумал Севастьянов не без ребяческого удовольствия.) Вы можете кушать в кредит, пожалуйста, почему нет, сделайте одолжение.

— Как в кредит?

— Очень просто, вы кушаете, мы записываем, а в получку рассчитываетесь, обыкновенно так делается.

Так делалось — и тетя Маня, и покойная мать брали в лавочке в долг, но Севастьянову неловко было согласиться, он сказал:

— Да нет, зачем же.

Другой инвалид сделал такое же предложение Семке. Посетители не валили в кафе валом, место было не бойкое; открывая кредит, инвалиды закрепляли за собой клиентуру. Семка сперва тоже отклонил предложение, но в черный день они с Севастьяновым не выдержали характера, пошли в «Реноме» и наелись пирожных и пончиков, и еще там оказались слоеные пирожки, которых они раньше не пробовали, они и пирожков взяли: если кредит, то какая разница — рублем меньше или больше. Инвалиды были очень радушны. На другой день Севастьянов и Семка уж прямо отправились в «Реноме» завтракать, пили кофе с булочками. Вечером, возвращаясь из редакции, Севастьянов помедлил секунду перед задушевно освещенной розоватым светом витриной, потом подумал: «Ничего страшного нет, рассчитаемся». Вошел и первым делом увидел Семку, тот сидел за угловым столиком и, щурясь от стеснительности, жевал ромовую бабку. Они стали буквально купаться в роскоши, бывали дни, когда они харчевались у инвалидов по три раза, изобретая всевозможные комбинации пирожков, булочек, пончиков и пирожных с чаем, кефиром, какао, простоквашей, кофе со сливками, кофе с лимоном, кофе по-варшавски, кофе по-турецки и просто черным кофе.

— Мы катимся в пропасть!— сказал Семка после получки.

Он получил зарплату за полмесяца, и Севастьянову выдали часть его заработка, и все пошло в уплату долга инвалидам.

— Остается одно,— сказал Семка трагическим басом.— Продолжать пользоваться кредитом. Выхода нет.

Теперь они полностью столовались в «Реноме». Все другое стало им недоступно, потому что у них не было наличных денег. Вначале от неограниченного кредита в них развились жадность и цинизм. Они пожирали громадное количество сдобной пищи, неслыханные и стыдные количества: кажется, за все свое прошлое и на все свое будущее наелся Севастьянов сладкого; и при этом как миллионерам, как каким-нибудь Рокфеллерам, им было наплевать, сколько эта пища стоит. Допив чай, они могли тут же приняться за какао. Приводили в «Реноме» знакомых и щедро угощали. С горя устраивали состязания — кто больше съест пирожных.

Но скоро их стало мутить от кондитерских запахов. Они почувствовали отвращение к сладкому. Огорчая инвалидов, целую неделю пили одно молоко, к молоку приносили в кармане житного хлеба. Им мерещились запахи жареного лука, мяса, селедки. Севастьянов видел во сне

огненный борщ и сальники с гречневой кашей. Баррикада справляла день рождения. Они ей принесли в подарок торт; но когда она стала резать его и угощать, они простились и ушли, это было выше их сил.

— Знаешь, довольно,— сказал Севастьянов.— Ну ее к богу, такую жизнь. Я придумал.

Он взял ссуду в кассе взаимопомощи. Они расплатились с инвалидами, ринулись в столовую и заказали столько мясных блюд, что официант подумал — они его разыгрывают.

Было трудно выплачивать ссуду; но эти трудности не шли ни в какое сравнение с тем рабством, которое они испытали, пользуясь кредитом в «Реноме».

## 21

У Семки обнаружился туберкулез легких.

Семка всегда был слабосильный, а последнее время очень уставал на работе. Работал он инструктором в губбюро ЮП, юных пионеров,— Севастьянов не понимал, с чего ему уставать... Когда пошли осенние дожди, Семка все время ходил в мокрых ботинках — калош у них не водилось,— чихал и кашлял. В конце концов сходил в амбулаторию, оттуда послали его в тубдиспансер, и там сказали:

— Неважно дело, надо в санаторий, жиры надо есть, как можно больше жиров.

— Я,— сказал Семка,— ем сплошные жиры.

Они в это время кормились у инвалидов.

Докторша велела измерять температуру и принимать порошки, а курить запретила под страхом смерти.

Курить Семка не бросил, но градусник купил и ставил его себе по вечерам. Докторша велела чертить кривую. Семка чертил и расстраивался, от расстройства ему делалось хуже.

В разных книгах описано, как болеют чахоткой. Семка знал, что это значит, если температура каждый вечер — тридцать семь и пять. Знал, что у чахоточных бывает кровохарканье; и, кашляя, прижимал платок к губам и потом взглядывал на него с ужасом.

Но как-то зашли Электрификация и Баррикада. Говорили, по обыкновению, обе сразу, хохотали до слез, махали руками, смахнули градусник со стола и разбили. Семка расстроился, но, прожив несколько дней без градусника,



увидел, что так спокойнее, и перестал заниматься своей температурой.

А так как кровохарканья все не было, то он решил, что чахотка — не такая уж страшная болезнь, чтоб из-за нее паниковать. И он стал относиться к ней наплевательски. Порошки, которые ему дали в диспансере, подмокли, лежа на подоконнике, и он их выбросил в мусорное ведро.

Огорчало его только то, что ему запретили посещать пионерские сборы.

В ноябре сыпал мокрый снег, мели мокрые метели, без передышки мело и таяло, на мостовых ледяная кофейная жижа стояла по щиколотку. Семка расхворался, доктора уложили его в постель. Ребята его проведывали, носили ему книги, и Женя Смирнова зашла, сказала, что Югай обещал выхлопотать Семке путевку в Крым. «Я его просила»,— сказала она и покраснела, как девочка. Она была председательница губбюро ЮП, Семкино начальство, на шее у нее был пионерский галстук. Револьвер она уже не носила.

Пришел и старик Городницкий, каким-то образом узнав о Семкиной болезни.

Он пришел с парадного хода и спросил у отворившей ему ведьмы:

— Пардон, мадам, здесь живет молодой человек Городницкий, Семен Городницкий, мой младший сын?

На нем были гетры, пушистое пальто, кепка из той же материи, что и пальто. Пахло от него дорогими папиросами и дорогим мылом.

Ведьма глянула и побежала, указывая дорогу. Он величественно прошел по коридору в кухню и тростью постучал в облупленную дверь.

— Семка,— сказал он входя,— это же анекдот...

Семка лежал и читал, держа книгу на поднятых коленях. Колени остро торчали под одеялом.

— Ей-богу, анекдот,— повторил старик Городницкий, взял стул и сел, отдуваясь.— Что ты хочешь доказать? Я ничего не понимаю. Комсомолу будет хорошо, если ты подохнешь от чахотки? Советской власти будет хорошо? Мировая буржуазия передохнет вместе с тобой? Молодой человек,— повернулся он к Севастьянову,— вы, кажется, Шура, да, Шура... Объясните мне, для чего надо, чтобы он валялся в этой кошмарной комнате,— пардон, ведь кошмарная, согласитесь... Чтобы доказать, что он не принадлежит к классу эксплуататоров? А без этого вы ему не

поверите, что он не принадлежит к классу эксплуататоров?

Он пригнулся к Семке:

— Я не допускаю мысли, чтобы в твоем уходе сыграла роль моя женитьба, ведь нет — нет? Софья Александровна — приличная женщина, преданная женщина, и я же нуждаюсь в заботе, я не в состоянии жить так, как живете вы. Ведь у меня никаких ресурсов! Немножко было валюты, так и ту забрали в двадцатом году! Чтоб вы знали, Шура, я тоже никогда не принадлежал к классу эксплуататоров! Никогда не имел наемной рабочей силы, кроме кухарки и горничной! Я был служащий, вам понятно? Не я нанимал, а меня нанимали, вам понятно? Брокар нанимал меня, чтобы я распространял его парфюмерию! Вы молодые идиоты. Если человек надел приличный костюм, так он уже, по-вашему, буржуй. А я, чтоб вы знали, безработный пролетарий. Да: пролетарий. И да: безработный! А что я должен, я привык, вам понятно — я всосал с молоком матери, я не могу одеваться неприлично,— так я буржуй?!

Он посмотрел на Семку, на узкую его кровать, провисшую наподобие гамака, и сказал:

— О боже. Без пододеяльника.

И прикрыл глаза пухлой белой рукой в коричневых крапинках.

— Семка,— сказал он потом,— ну хорошо, ты ничего не хочешь слушать, ну хорошо — отрекись от меня через газету. Многие отрекаются через газету, что ж, это всех устраивает. Отрекся, а на чьи средства ты там дальше существуешь — кого это может интересовать? Дай объявление, что с такого-то числа не имеешь со мной ничего общего, и делу конец. Хочешь, я завтра отнесу твое объявление?

— Батька,— сказал Семка суровым басом,— ты действительно ничего не понял, сколько я тебе ни втолковывал. На кой черт мне отрекаться через газету? Для моей партийной совести необходимо, чтобы я вошел в новую жизнь свободным от всяких буржуазных пут.

— Партийной совести?— переспросил старик Городницкий, слушавший со вниманием.— Так ты уже, значит, партиец? Можно поздравить?

— Нет, я только комсомолец,— ответил Семка,— но совесть и у комсомольца партийная.

— А!— сказал старик Городницкий.



— Ты зря беспокоишься,— продолжал Семка.— В чем дело, собственно? У меня есть все, что нужно.

— Вижу,— сказал старик Городницкий,— вижу... А в чем выражались буржуазные путы?

— Мне достанут путевку. Поеду в санаторий.

— Санаторий — это тридцать дней. Для этой проклятой болезни надо, чтобы каждый день был как санаторий. Чтоб был режим, чтобы ты дышал кислородом, а не этим кошмаром... Я пришлю тебе подушки. Это ж не подушка — то, что у тебя под головой.

— Я как раз обожаю такое, как у меня под головой Как раз подушки мне совершенно излишни.

Они не договорились ни о чем.

Конец разговору пришел, когда старик Городницкий сказал:

— Я из-за вас отказываюсь от первоклассных предложений, из-за тебя и Ильи. Я имею знаешь какие предложения!.. Организуются частные предприятия. Меня приглашают в пайщики. Но я не хочу вам вредить, не дай бог. Я хочу быть государственным служащим и получать жалованье от советской власти. Зачем я стану портить жизнь моим детям?

— Этот разговор,— сказал Семка,— я считаю беспринципным. Беспринципным и отвратительным.

Он разволновался и раскашлялся. Старик Городницкий очень испугался его кашля и заторопился уходить. Его руки дрожали, когда он застегивал пальто.

— Шура,— сказал он,— проводите меня, там где-то мои калоши... Шура,— спросил он, надевая калоши,— что, он часто так кашляет? А нельзя его пока устроить хотя бы в ночной санаторий, я читал, что открыли ночной санаторий...

— Это при фабрике Розы Люксембург,— сказал Севастьянов,— только для табачниц.

— Вы подумайте,— сказал старик Городницкий, взяв его за грудь косоворотки,— дома он спал на хорошем диване. Кругом стояли фикусы. Боже мой, я бы сию минуту привел извозчика... Слушайте, давайте так: вы ему скажите, что он сумасшедший, а я приведу извозчика.

— Он же все равно не поедет,— сказал Севастьянов.

— Вы считаете — не поедет?

— Ни за что не поедет.

— И вы считаете — он прав?

— Да. Я считаю — прав.

— Ну хорошо,— сказал старик Городницкий,— в вам не приходит в голову, что у него же заразная болезнь, и он на вас кашляет и дышит, и вы, вы лично в опасности каждую минуту, это вам не приходит в вашу голову?!

Но Севастьянов чувствовал в себе здоровья и жизни на сто лет. Он только улыбнулся.

— Носятся с принципом!— горестно сказал старик Городницкий.— Носятся с принципом, когда речь идет о жизни и смерти. Как будто могут быть какие-нибудь принципы, когда речь идет о жизни и смерти.

Пока они разговаривали, в передней то одна открывалась дверь, то другая, и выглядывали благодушно улыбающиеся, полные расположения лица ведьм. Расположение и улыбки относились к старику Городницкому, к его гетрам, трости и превосходному запаху.

Одна из ведьм потом сказала Семке с неожиданной любезностью:

— Какой у вас интересный папа. Вы, оказывается, из хорошей семьи...

## 22

В ту осень и зиму Севастьянов принадлежал еще себе.

Он не берег свою свободу, не замечал ее — жил: работал в редакции и в ячейке, читал, ходил бесплатно в театр по запискам Акопяна. Ухаживал за Семкой, когда тот сваливался. Играл с Колей Игумновым в шахматы.

Любовная буря надвигалась на него — он не подозревал, ходил вольный, краснел, поймав на улице женский взгляд, несколько чопорно сторонился заигрываний толстенькой машинистки Ляли.

Такой независимый был он, чуточку одинокий среди парочек, которые норовили уединиться и целоваться. Он не хотел целоваться просто так — без пламени, без мечты, без преодоления, во время киносеанса или за редакционной дверью; и потом выслушивать шуточки.

Вышло — будто он берег себя для бури, которая надвигалась.

Ну что ж. Он рад, что вошел в этот циклон чистым.

Зойка маленькая тоже выглядела немножко одинокой среди влюбленных пар.

Она поступила на педфак и держалась очень строго — будущая учительница — Севастьянов уж не рисковал брать ее за руку, как прежде. Ей сшили темно-синее платье



с круглым белым воротником и рукавами в виде баллонов, милое платье, Зойка сфотографировалась в нем и подарила карточки приятелям, на этой карточке у нее совсем детская шея и детское, нежно-покатое плечо...

Они виделись не часто, по вечерам Зойка занималась, в редакцию они с Зоей больше не приходили. И как-то он отдалился от Первой линии.

Он ведь был занят не меньше Зойки, сотрудникам редакции случалось работать по двенадцать и четырнадцать часов в сутки, и они не жаловались, наоборот, щеголяли своей занятостью и неутомимостью... Предприятия возвращались к жизни; открывались новые; Севастьянов шел то на одно, то на другое и писал, как они работают. После разрухи — удовольствием и гордостью было опубликовать, что, скажем, на чугунолитейном отлили в ноябре столько-то кухонных плит, в швейпром сшил столько-то пальто. Дробышев требовал, кроме того, описаний трудовых процессов, он хотел поднять у читателей интерес к производству и технике.

...Вспомнить сейчас нетопленные, с выбитыми стеклами цехи, ветхие шлепающие ремни в заплатах и швах, как старая конская сбруя; тесные кочегарки, где двери отворялись прямо во двор, на холод; дворы, потонувшие в грязи и ломе...

А вот двор бывшего дома Хацкера. Он без ворот — нараспашку; каменная ограда разобрана во многих местах. Дом построили перед войной; шестиэтажный, он казался очень высоким, потому что вокруг были небольшие, приземистые дома, они как бы лепились у его подножья. В девятнадцатом году в доме Хацкера помещался белогвардейский штаб. Когда Красная Армия брала город, в дом попал снаряд, и сделался пожар, остались только наружные стены. Высокий узкий коробок без крыши, с пустыми оконными проемами верхних этажей — сквозь них было видно небо — мертвенно маячил в конце длинного Мариупольского проспекта над спуском к реке, над пустыней бездействующего лесопильного завода.

Севастьянов входит в этот двор. Завтра ночью Севастьянову предстоит вместе с милицией прийти сюда на облаву; он хочет при дневном свете увидеть места, которые должен будет описать. В доме Хацкера, под развалинами, под прахом, свила гнездо шпана, отсюда бандиты по ночам ходят на промысел.

Двор завален битым кирпичом, битой штукатуркой, всякой дрянью. Везде торчат — то сгнивший лоскут, то

черепок, то гнутый, рваный кусок кровельного железа, проеденный ржавчиной. За четыре года, оседая под дождями, смерзаясь от морозов, мусор стал твердым, словно утрамбованным, и весь блестит, как уголь, от осколков стекла. На самой большой куче вырос куст репейника — не страшась осеннего холода, растопырил среди дряни свои колючки и цветет красно-лиловыми хищными цветами. «Я напишу и про репейник»,— думает Севастьянов и чувствует мимолетную радость оттого, что он это напишет.

Он стоит у пролома в той части ограды, что обращена на реку. Здешние улицы идут уступами: город скатывается к реке. У себя под ногами Севастьянов видит крыши, трубы, сараи, дворики с развешанным тряпьем. Уступом ниже расстилается двор лесопильного завода, он будто метлой выметен — все до последней щепочки унесли люди, что могло гореть и дать тепло... Еще ниже — тяжелая и серая, как ртуть, течет под широким небом река, дальний берег — песчаный, низкий, ближний — черный от штыба, тут проходит железнодорожная ветка; паровозик тонко закричал, сверху его не видно, но кудрявые круглые облака отмечают его путь вдоль реки. А повыше где-то, между этими облаками и глядящим на них с высоты Севастьяновым, скрипнула на петлях калитка. И этот звук был чуть ли не такой же громкий, как крик паровоза. И все это были мимолетные прекрасные радости, одна за другой. Сквозь радость что-то думалось хорошее, созидательное — что завод будем пускать и дом будем отстраивать, и вообще все самое лучшее впереди,— газетная работа приучила думать созидательно...

Глубокой ночью он опять шел в эти места — с отрядом милиции. Сапоги милиционеров глухо топали по мостовой. Светила луна.

Дом Хацкера окружили с четырех сторон, главная засада находилась на лесопилке, через которую шпана обязательно будет тика́ть, как объяснил Севастьянову маленький разговорчивый милиционер Шечков.

С Шечковым и другими Севастьянов вошел в дом через забаррикадированный, замаскированный вход, днем он этого входа не заметил. Они спустились в подвал по расшатанным каменным плитам. Милиционеры светили себе карманными фонариками и держали пистолеты наготове.

У́зким коридором двигались они в глубь разрушенного здания. По стенам разбегались глазки света от электрических фонариков, пахло аммиаком и сыростью. Коридор сворачивал в неизвестность, в неизвестности осветились косые ступеньки винтовой лестницы.

Сверху ударил выстрел; забухала перестрелка. Милиционеры впереди затоптались, кто-то сказал: «Дорогу, нука», и два милиционера пронесли назад к выходу своего товарища, а другой раненый шел сам, рукой зажимая плечо. Оставшиеся поднялись по лестнице — больше оттуда не стреляли — и пошли по комнатам, обшаривая фонариками потемки и в потемках мокрый след, кровавый след на полу.

В одной из комнат было громадное роскошное зеркало, и все они, проходя, невольно посмотрели в это зеркало, в его пыльной глади их отражения прошли как в мутной воде... В другой комнате сидела на полу, раздвинув ноги, женщина, десяток светлых глазков уперся в нее, она вскинула им навстречу дерзкое молодое лицо с прикушенной губой.

— Дьявол, дура малахольная,— сказал ей Шечков.— Куда ранена?

— В ногу,— ответила она сквозь зубы.

В кружке света, у подола ее юбки, лежал браунинг, его подняли, он был еще теплый.

— Женчину подсунули вместо себя под пули, ну сволочи!— сказал Шечков с удивлением.— Ладно, жди, заберем. Сейчас некогда.

За стеной раздался стук, сильный и короткий, от него дрогнул пол. Потом над головой послышалось медленное шуршанье — теченье, оползанье каменных масс... Женщина засмеялась со стоном. Вдруг распахнулась, выдохнув тучу пыли, дверь в следующую комнату, оттуда посыпались, заскакали куски кирпича.

— Завалили!— крикнул Шечков.— Тикай на двор!

Преследуемые шелестом — казалось, каменный поток течет над потолком,— они поспешили назад, мимо мутного зеркала в поблескивающей искрами раме, по винтовой лестнице в подвал, узким коридором к выходу, серебряно и неподвижно озаренному луной. Выстрелы били внизу, на лесопильном заводе, Шечков исчез куда-то, и Севастьянов наугад побежал через знакомый пролом забора вниз, на звук выстрелов, к событиям. Он бежал по схваченному ночным морозцем переулку между низенькими домиками, рядом бежал догнавший его Шечков и азартно говорил на бегу:

— Вы поняли́ нашу стратегию, у них подземный ход аж до Пильщицкой, они нас тут отрезали, а мы их встрели с того конца!

Пока они бежали, луна ушла за тучу, стало темно. Стрельба удалялась, она была уже на невидимом берегу, у невидимой реки, справа и слева и все дальше и дальше... Час спустя на Мариупольском перед домом Хацкера построилась окруженная конвоем шпана, которую захватили при облаве. Их построили парами, и они стояли в настороженной недоброй покорности. Они закуривали; зажигалка освещала черные, как у угольщиков, лица и чудовищные космы. Только несколько человек было задержано хорошо одетых и чистых, то были главари, аристократия *малины;* их увели отдельно, среди них, кстати сказать, обнаружился знаменитый Королек, рецидивист, которого искали по всей России.

Об этом ночном деле Севастьянов написал очерк, и туда он вставил свое предложение, мысль, которая пришла ему в голову, когда он днем, перед облавой, приходил поглядеть на дом Хацкера. Он предложил устроить субботник и очистить от хлама это темное место, а затем отстроить дом заново, силами профсоюзов, на кооперативных началах. Очень дружно была подхвачена эта мысль, и уже недели через две начались работы, они продолжались много дней, выходили на них предприятиями и целыми профсоюзами. До самых глубин разобрали бандитское гнездо. Заделали подземный ход. Очистили двор. Нашли склады награбленного — одежду, меха, женские сумки, мужские бумажники, золотые вещи, в том числе золотые зубы; револьверы всевозможных систем и огромное количество часов, ручных и карманных.

## 23

Вечером того дня, когда был напечатан очерк о доме Хацкера, вдруг пришли Зои.

— Ты подумай, он цел и невредим!— сказала большая.

— Неужели цел и невредим?— спросила маленькая.

— По-моему, да,— сказала большая.

— Да ие может быть!— сказала маленькая

— Здравствуй!— сказали обе и протянули теплые руки.



Такие свежие они были и оживленные — Севастьянов вдруг обрадовался им, как сестрам.

— Почему вас удивляет, что я цел и невредим?

— Мы думали, тебя бандиты подстрелили,— сказала большая.

— Мы были уверены, что ты весь продырявлен пулями,— сказала маленькая.

— Такими ты расписал красками.

— Да уж, знаешь! У тебя там столько стреляют — просто удивительно, что кто-то оттуда ушел живым.

Глаза у Зойки маленькой сияли и смеялись.

— А где же Сема?— спросила она.— Мы, собственно, зашли его навестить.

Она положила на стол кулек с апельсинами.

— Он в клубе, наверно,— сказал Севастьянов.— Он уже на работу ходит.

Он не понял ничего. Честно поверил, что они пришли проведать больного Семку, а он, Севастьянов, лицо в данном случае второстепенное и неважное, случайно оказался дома и подвернулся под их шуточки.

«И знаешь: я не виню себя, что верил честно; таков я был тогдашний и не могу себя в этом винить. Что ты мне сказала, то я и принимал на все сто процентов; к Семке — значит к Семке, какое могло быть сомнение. Мужской самоуверенности во мне ни капли не было; и хоть жизнь с детства, случалось, била без жалости и тыкала во что угодно, но душой я был доверчив; очень! Откуда было взять мне столько самоуверенности и самодовольства, чтобы подумать, что ко мне ты бежала в женской тревоге, бежала увериться собственными глазами, что я жив-здоров, не ранен, не поцарапан? Подумать, что мною зажжено и ко мне обращено твое сияние?.. Как мне, маленькая, осудить себя за доверчивость? За то, что видел в твоих словах только один смысл, а второго смысла не искал? Таким я был и, значит, иным быть не мог, не с чего было мне быть иным...»

Зоя большая улыбалась, глядя на них, сидела и улыбалась ласково и весело, она стала прямо-таки неправдоподобно красивой. Севастьянов сказал невольно:

— Ты ужасно красивая стала.

— Да,— подтвердила Зойка маленькая и посмотрела на подругу долгим взглядом,— она невозможно красивая. Ей трудно жить, до того она красивая.

— Глупости,— сказала большая Зоя.— Почему трудно, наоборот... Знаешь, Шура, я буду учиться в балетной группе.

— Ее принимают за красоту,— грустно сказала маленькая.

— Да,— беспечно сказала большая,— у меня нет способностей. Не понимаю почему, ведь вальс, например, я танцую неплохо, и походка у меня легкая, правда? А они говорят — нет способностей. Но все равно принимают. А ты говоришь — с красотой трудно жить.

Она вытянула ноги и поиграла кончиками туфель. Длинные ноги в туго натянутых черных чулках...

...Длинные голые ноги в балетных розовых туфлях. Ленты развязались на туфле. Зоя большая сидит на полу и, вытянув длинные голые руки, завязывает ленты. Она аккуратно скрещивает их на щиколотке и продевает в петельку, и по ее сосредоточенному блестящему взгляду и приоткрытым губам видно, до чего ей нравятся эти розовые туфли с лентами, как она ими восхищена и занята.

Ее темные кудри убраны в сетку, вместо платья на ней балетная пачка, накрахмаленная коротенькая пачка из белой марли. На голой нежной спине цепочкой проступают позвонки.

— Я буду танцевать хара́ктерные,— говорит она Зойке маленькой и Севастьянову, стоящим над нею.

Это происходит в клубе совторгслужащих. Пол, на котором сидит Зоя, завязывая ленты на туфельке,— не просто пол, а серый пустынный настил театральной сцены. Горит висячая лампа в колпаке из жести, конус ее света устремлен на них троих. В квадратном окошечке в глубине сцены, под потолком, мутно голубеет дневной свет. Там, под потолком, путаница деревянных перекладин, канатов и блоков, внизу — плоская серая гулкая пустыня, и занавес поднят, и пустой темный зрительный зал смотрит на сцену, отсвечивая в темноте лакированными спинками стульев.

Как Севастьянов там очутился? Кажется, Зойка маленькая его привела. Кажется, большая Зоя зазвала их — покрасоваться перед ними в новых одежках и новой увлекательной обстановке. С этой сцены она собиралась показывать себя, чтобы оттуда, из зала, на нее смотрела тысяча глаз.

Зойка маленькая сказала, поеживаясь,— было знобко даже в пальто:

— Ужасно неуютно!



Даже в пальто было холодно, а Зоя большая сидела у их ног в пачке, полуобнаженная.

— Неужели тебе нравится?— строго и огорченно спросила у нее маленькая.

Большая покончила с завязками и поднялась, легкая, во весь рост. Бесшумным шагом шла она рядом с Севастьяновым и Зойкой маленькой, показывая им сцену, артистические уборные, задние комнаты клуба, закрытые для публики. С ребячьим простодушием она хвастала тем, что она тут свой человек, не посторонняя. Ее брат служил здесь завхозом, он помог ей устроиться в балетную группу, не так-то просто было туда попасть. Это был самый богатый клуб в городе, бывший театр «Буфф».

Они всходили по отвесным лесенкам, заглядывали в люки, приостанавливались перед развешанными полотнищами и реквизитом, на мгновение заинтересованные то макетом бронемашины, то декорацией, изображавшей средневековый замок, то настоящей, вышитой темным серебром церковной хоругвью, попавшей сюда из какой-нибудь закрытой церкви.

Потом большая Зоя приоткрыла перед ними дверь в комнату, где десяток белых пачек и два десятка розовых туфель под звуки рояля делали одинаковые движения и молодцеватый голос считал: «...и раз, и два, и три, и...» Потом Зоя сказала, что ей тоже надо идти заниматься. Она стояла на площадке, пока Севастьянов и Зойка маленькая спускались по белой лестнице в вестибюль. Сумерки надвинулись, окно на площадке было как синькой подсиненное. Севастьянову вспомнилось, как она стояла на другой площадке, у другого окна, черного от грязи, какое у нее было узкое детское пальтишко и кроткие встревоженные глаза и как он поднял ее платочек...

Он вышел с Зойкой маленькой из клуба и наткнулся на Спирьку Савчука, тот стоял у самой двери, читая афишу.

— Здоров!— дружески сказал Севастьянов. Но Спирька сделал вид, будто не видит их, повернулся к ним спиной и пошел прочь.

— Не трогай его,— сказала Зойка маленькая.— Он сходит с ума от ревности.

— К кому?

— Ко всему миру и к нам с тобой в том числе.

— Почему к нам с тобой?

— Ты же знаешь, как он относится к Зое.

— Ну да; но при чем тут мы с тобой?

— Он ведь понимает, что мы идем от Зои.

— Так что ж такого?

— Ровно ничего; но он ненормальный.

Они поговорили о ревности и осудили это собственническое чувство, унижающее человека.

— Чудовище с зелеными глазами,— сказала образованная Зойка.

— Буржуазная отрыжка,— сказал Севастьянов.

Впрочем, они дружно пожалели беднягу Спирьку, прикованного в сумерках к клубной афише. Их изумляло, что этот самолюбивый задиристый парень, левак и драчун, в любви оказался таким слабым и отсталым, таким — до огорчения — мещанином. Вместо того чтобы гордо отойти раз и навсегда, он отрывался от большой Зои и опять возвращался, грыз ее, ссорился с ней, мирился и умолял идти с ним в загс. Он не просто добивался взаимности, ему загс непременно понадобился, ему требовался законный брак.

## 24

Ревность ли была тому причиной или что другое, но ужасно высокомерно стал держаться Савчук с ребятами из прежней своей компании. Они теперь с ним встречались редко; но каждому в эти встречи он норовил сказать что-нибудь неприятное — с удовольствием говорил, со злобой.

Леньке Эгерштрому он сказал, что рабочие посадочной мастерской, собственно говоря, не пролетариат, а кустари, собранные под одной крышей, у них и мироощущение индивидуалистическое, и образ жизни обывательский. Ленька Эгерштром, комсомолец, у которого старший брат был коммунист, обиделся насмерть.

Семка Городницкий старательно делал свое дело, он боролся со скаутизмом. Многие пионервожатые в недавнем прошлом были скаутами, и они протаскивали скаутские методы в работу, а Семка Городницкий, как инструктор губбюро ЮП, с этим боролся. Он не знал, как *надо* работать,— пионерская организация была только что создана; вряд ли сам он сумел бы руководить отрядом, если бы ему это поручили; но как *не надо* работать — это он своей комсомольской головой понимал и, когда был здоров, не щадя себя мотался по пионерским сборам, выискивая, не пахнет ли где вредным скаутским духом. И это его рвение Савчук тоже обхамил, сказав, что Семке из самого себя еще надо вытравить классово-подозрительные



вкусы и привычки, прежде чем учить других революционной линии поведения. Семка побледнел и не нашелся что ответить, а Спирька смотрел на него с жесткой усмешкой на желтом желчном лице малярика.

С гвоздильного завода Спирька ушел и работал на плужном, где секретарем комсомольской ячейки был Ванька Яковенко. Они сблизились: раздражительный непримиримый Савчук и аккуратный, выдержанный, дисциплинированный Яковенко. Что они нашли друг в друге общего?

Раз вечером Севастьянов их обоих повстречал у Югая, в общежитии для ответственных работников. Общежитие помещалось в бывшей гостинице; там были длинные коридоры и нумерованные двери; по коридорам ходили, размахивая швабрами, уборщицы в красных платочках. Здесь жили неженатые, жили и бездетные пары. Подходя к комнате Югая, Севастьянов слышал громкий разговор, выделялся Спирькин голос. Севастьянов вошел — они замолчали, поздоровались рассеянно. Кроме Спирьки, Ваньки Яковенко и самого Югая тут была Женя Смирнова, она сидела на кровати и курила, пол у ее ног был засыпан пеплом. Севастьянов спросил:

— Вы чего, ребята, замолчали?

— Мы о будущем говорили,— сказал Яковенко,— фантазировали. Ты Елькина слушал?— Елькин читал по клубам лекции о бытовом раскрепощении женщины, бытовых коммунах, общественном воспитании детей и свободе любви.

— Нет, не слушал, а что?— спросил Севастьянов. Будущее живо его интересовало. И он устроился как мог на спинке кровати — больше сесть было некуда.

— Так, у нас насчет хрустального дворца голоса разделились,— улыбаясь ответил Яковенко.— Савчук и Женя за хрустальный дворец, а мы с Югаем за что-нибудь попрочнее.

— Иди ты с хрустальным дворцом,— проворчал Спирька.

— А почему не хрустальный?— спросила Женя.— Почему, действительно, не приучать человека к прекрасному с малых лет, Елькин прав.

— Я у батьки с матерью без хрусталя живу,— заметил Яковенко,— и ничего.

У него было ясное красивое лицо и серые холодноватые глаза, весь он был такой основательный.

— В семье ребенок растет собственником,— сказала Женя, стряхивая пепел с папиросы.— *Мой* отец, *моя* мать — с этого он начинает. Дальше — больше: *моя* книга, *моя* коллекция. С хрусталем, без хрусталя, все равно ему прививают эти инстинкты. В большей дозе или меньшей, но прививают. Кроме того, он вынужден приспосабливаться к взрослым и врать им. Можем ли мы — даже в пионерской организации — вырастить его стопроцентным коммунистическим человеком?

Севастьянов прикинул: было ли у него когда-нибудь собственническое чувство по отношению к родственникам? Он, когда был маленький, удирал от них на улицу, там была вся его жизнь, весь интерес, а они хоть и попрекали его этим, но в глубине души были довольны, что он не путается под ногами. Врал он им, конечно, порядочно... Да, возможно, он был бы лучше, если бы его вырастили в хрустальном дворце, без участия тети Мани и дядьки Пимена.

— А сад возле дворца будет?— спросил он.

— Разумеется,— ответила Женя,— сад, площадки, лодки, все условия... Но насчет посещений Елькин перегибает. По воскресеньям надо разрешить родителям проведывать детей.

— Воскресений не будет,— сказал Севастьянов.

— Ну да, то есть по пролетарским праздникам.

— Пролетарских праздников, наверно, тоже не будет, потому что пролетариата не будет. Классов не будет.

— Ну да. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Какие-то дни отдыха ведь останутся... Ах, ну да. Поскольку труд перестанет быть тяжкой необходимостью — может быть, не будет и дней отдыха? Поскольку не от чего будет отдыхать...

Югай и Спирька Савчук сидели хмурые по углам и молчали. Яковенко, сцепив руки на колене, осторожно поглядывал то на одного, то на другого. А между тем, подходя, Севастьянов слышал их спорящие голоса. Тут дело не в воспитании детей, подумал он, в другом чем-то. Не для того ли Женя Смирнова так словоохотливо все это говорила, чтобы разрядить конфликт, нависший в воздухе?

— Но если родители,— сказала она,— станут посещать своих детей в любое время, неорганизованно, когда кто захочет...

— Женя,— прервал Яковенко нетерпеливо и рывком расцепил руки; но тотчас подобрался и заговорил спокойно, твердо глядя Жене в глаза своими серыми глазами.— Ты можешь успокоиться. И ты, и Елькин. Никто не захочет посещать своих детей, из вашей же установки это вытекает. У вас какая установка? Что у родителей совсем не будет представления, что вот это мой ребенок, а это чужой. Значит, не будет и чувства, что ему обязательно нужно видеть своего ребенка. Он же, по вашему тезису, и знать не будет, что такое свой ребенок. Этот инстинкт у него отомрет. Для него все дети будут одинаковы.

— И что же, и очень хорошо,— сказала Женя.— И ты очень ошибаешься, что он не захочет их видеть. Он будет проведывать всех детей вообще, как коллективист. Ты заметь, как взрослые любят смотреть на детей. Как они с тротуара смотрят, когда идет отряд. Или когда детский садик выводят гулять... Разница в том, что чужие дети станут каждому еще ближе, потому что он не должен будет думать, например, что у него где-то дома лежит собственный больной ребенок.

— Но большой вопрос,— возразил Яковенко,— скажет ли он тебе за это спасибо.

— Большой вопрос,— медленно сказал Югай,— что он вообще скажет, трутень, выросший под колпаком в хрустальном дворце. Он такое может сказать, что ого!

— Что вы к хрустальному дворцу привязались!— крикнул Спирька.— Я дворец не в том смысле привел! Я в том смысле, что рабочий класс за свою кровь и страданья обязан получить все самое лучшее, вот!

— Спокойней,— сказал Яковенко,— а то все общежитие сбежится.

— Это что за категории такие христианские,— спросил Югай,— это что за евангельские слова: страданья! Не отучишь вас мыслить рабскими понятиями. Еще скажи: мученический венец.

Он был по-домашнему — в рубашке, заправленной в брюки, в расстегнутом вороте рубашки виднелись жесткие смуглые ключицы.

— А что, крови не было, да?— спросил Спирька.— Девятое января не отмечаешь, да? При чем тут Евангелие?

— При том, что пролетариат России капиталистическую гидру положил на лопатки!— сказал Югай.— И это самый грандиозный факт истории, а наши пропагандисты, как попы, ноют про страданья и кровь! Сколько лет в одну дуду: кровь, кровь... Проливалась рабочая кровь. Боролись, ну и проливалась. И еще прольется.

Как будто может быть борьба без крови,— заметил Яковенко.

— Подумаешь, без хрустального дворца коллективиста не вырастить!— продолжал Югай.— А революцию кто делал, индивидуалисты?! Коллективисты в борьбе растут, а не во дворцах.

— Именно!— сказал Яковенко.

— Люди задыхались в атмосфере царизма и строили в мыслях хрустальные дворцы. Это символ, хрустальный дворец, ясно тебе — символ жизни при коммунизме! А мы решаем практические задачи. Нам вот нэп приходится проводить, чтоб наши завоевания прахом не пошли. Мы от капитализма в богатое наследство миллион болячек приняли. У нас хозяйственники не хотят молодежи квалификацию давать, у нас малограмотными комсомольцами пруд пруди! Прихожу в губком — сидят-ждут ребята из станицы, за помощью приехали, разваливается у них ячейка. Я еду с ними, приезжаем — их секретарь венчается в церкви с кулацкой дочкой...

Югай стоял, говоря, и Женя Смирнова смотрела на него снизу вверх, закинув румяное лицо.

— Ты говоришь — получить.— Губы Югая двигались, как замороженные.— Что значит получить? Тебе принесут, а ты соблаговолишь — получишь? А кто тебе должен принести? От кого ждешь?

— Марксистская постановка,— одобрил Яковенко.

— Ждут иждивенцы,— сказал Югай.

— Вы меня задвинули в иждивенцы,— сказал Спирька,— вы мне надавали по рукам не знаю за что. Кому бы надо надавать, тем вы не надавали.

— Пора подковаться как следует. Все съезжаешь на какие-то, черт тебя знает, мелкобуржуазные позиции.

— Югай, ну хватит тебе!— сказала Женя.— Мы говорили, будет ли семья при коммунизме.

— На мелкобуржуазные, я?— переспросил Спирька.

— Надо читать, Савчук. Полдюжины слов твердишь три года и думаешь — это политика. Ленина читать надо.

— Я стою на революционной позиции!— крикнул Спирька.— Это вы съезжаете, вы за рабочее выдвижение не болеете, вы чужаков напустили полный аппарат!

— Конкретно!— сказал Югай.

— Спокойно,— повторил Яковенко и взял Спирьку за локоть.

— А ты не знаешь!— выдернув локоть, крикнул Спирька Югаю.— Рабочая масса говорит, а ты не знаешь!



Кто в деткомиссии?! Спекулянты туда напхались, дела делают! В совнархозе кто коноводит?! Спецы коноводят!

— Совнархоз и деткомиссия комсомолу не подчинены,— сказал Югай.— Нас знаешь как встречают, если мы залазим в совнархоз.

— Пролетарок в секретарши не берут, а берут инженеровых жен!— кричал Спирька.— В политпросвете барыни заседают под видом педагогов!.. А, да ну вас! Пошли, Яковенко! О чем говорить!

Он вышел, швырнув дверью.

— А Елькина надо посмотреть, что за Елькин,— сказал Югай.— Морочит голову, отвлекает молодежь от текущих задач. Елькина наши руки могут достать.

— Савчук безусловно не прав во многом,— сказал Яковенко, твердо глядя Югаю в глаза,— ему безусловно надо подковаться, бросить комчванство и так далее. Но все-таки трудно объяснять ребятам, почему рабочий Савчук, комсомолец с двадцатого года, организатор и так далее,— почему он только член бюро ячейки, неужели не выше ему цена в глазах комсомола.

— Пусть работу покажет и дисциплину,— ответил Югай.— Демагогию его мы видим с двадцатого года.

— Трудно объяснять,— повторил Яковенко,— и, откровенно говоря, это многих ребят расхолаживает.

Он попрощался тем не менее приветливо. Севастьянов вышел с ним. В конце коридора поджидал Спирька, расхаживая взад и вперед.

— Валерьянку пей,— сказал ему Яковенко.— Очень полезно для бузотеров. Ведь прав Югай: ни черта не растешь, болтаешься хуже беспартийного. Чего тебя понесло отстаивать Елькина? Нашел кого отстаивать. А главное, все можно сказать спокойно.

Спирька будто не слышал, он мрачно смотрел на Севастьянова и сказал:

— А ты теперь, значит, в интеллихэнтах ходишь. Отдыхаешь от рабочей лямки.

И насмешливо покивал чубатой головой. Но Севастьянов отбил нападение, сказав:

— Ладно, ладно. Ты эти штучки брось.— Он так был уверен в своем пути, что Спирькин выпад не задел его нисколько.

25

Железные морозы, небывалая стужа.

В окоченевший январский день в типографии печатают сообщение в черной траурной раме. Оно расклеено на домах и заборах, люди подходят и в молчании прочитывают эти листки с крупными жирными буквами, стоят и читают, окутанные паром своего теплого дыхания. И газета выходит в трауре — черной рамой обведена первая полоса.

Умер Ленин.

26

Они стояли на углу, просвистываемые ледяным ветром, выбивали дробь ногами в жиденьких ботинках, зуб на зуб не попадал,— и говорили: каким он был, Ильич. Они его не видели. Югай видел его на Третьем съезде комсомола. Но так громадно много значил Ленин в их жизни. Не только в минувшие годы, но и в предстоящие, и навсегда значил он для них безмерно много. Всегда он будет с ними, что бы ни случилось. Так они чувствовали, и это сбылось. И, соединенные с ним до конца, видя в нем высший образец, они желали знать подробности: как он выглядел, какой у него был голос, походка, что у него было в комнате, как он относился к товарищам, к семье. И все говорили, кто что знал и думал.

Один говорил: настоящий вождь, настоящий характер вождя. Это надо уметь — так прибрать оппозиционеров к рукам и предотвратить раскол. Другой рассказывал, что кто-то ему рассказывал, что однажды Ильич при таких-то обстоятельствах так-то пошутил. Третья сказала задумчиво:

— Он незадолго до смерти елку устраивал для крестьянских ребятишек там, в Горках.

— Его в семье Володей звали,— заметил кто-то, и всех удивило это обыкновенное имя мальчика — Володя, отнесенное к тому великому, который лежал за тысячу снежных верст от них в Колонном зале.

— Исключительный ум, организационный гений, верно,— сказал еще один,— но самое главное в нем, ребята, это преданность идее; он одной идее отдал жизнь, он шел к цели железно.

— Он иначе не мог,— сказал Севастьянов, подумав,— у него все чувства очень большие. Отсюда и шел железно. Он не может быть преданным немного, не в полной мере. Он уж если предан, то совсем предан.

Они еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени, сбивались на настоящее.

Это они заговорились, идя с траурного собрания, прежде чем разбежаться по домам, воротниками прикрывая уши. На ветру тяжело хлопали флаги. Вечером они были совсем черными.

27

На траурном собрании, как сейчас вспоминается, за столом президиума висел маленький портрет Ленина, обвитый красной лентой и черной.

Собрание еще не началось — ребята входили и рассаживались,— как двое внесли, бережно поддерживая с двух сторон, большой портрет Ленина в широкой полированной раме, вверху на раме был герб СССР. Они сняли маленький портрет с лентами и повесили на его место новый большой портрет. Ленин был на нем государственный, строгий, без прищура, со взором раскрытым и вопрошающим.

В те дни вместе со многими другими рабочими, молодыми и старыми, Яковенко и Савчук вступили в партию

В губкоме решили: Яковенко по своим способностям должен быть использован на работе крупного масштаба.

— Пора, брат, пора!— сказал Югай. И Яковенко уехал в Москву на курсы ЦК комсомола.

28

— Хочу я,— сказал Кушля,— открыть тебе одну вещь, потрясающую вещь, полный, понимаешь, кавардак в моей личной жизни.

— У тебя, по-моему, уже давно полный кавардак,— заметил Севастьянов.

— Нет!— сказал Кушля, торжественно подняв руку.— Не будем, дорогой товарищ, играть словами по такому поводу. Тут не годится играть словами. Тут начинается, понимаешь, такое, куда входить надо скинув шапку.

И, как всегда в порыве возвышенного чувства, глаза его заблестели от слез.

— Мои отношения с Ксаней,— продолжал он,— это святое дело. Мы с ней на пару такой путь прошли, и таких переделках побывали, что ни в сказке сказать. Ты бы знал!.. Которые не воевали, что́ вы знаете! Таких мук Исус Христос не терпел, как мы терпели. Он за три дня отмучился... Сыпняком я, например, болел на тихорецком вокзале. Лежу с громадной температурой прямо на полу, и прямо по голове сапоги день и ночь — бух! бух! Вот этой самой шинелью укрыт был. И под эту самую шинель подлегла ко мне Ксаня — не там на вокзале, а возле Великокняжеской. Лег спать один, а проснулся в компании, она говорит: глаза, говорит, твои голубые! Да... И смотрю — уже свои манатки волокет и с моими складывает. Где ж ты денешься!

Кушля помолчал.

— С тех пор мы с ней. Куда я, туда она. У ней ни родни, никого. Родня-то есть, да сплошная контра, не нравится им, видишь, гадам, ее жизнь, тряпкой не помогут! Мои дядьки маргаритовские тоже, между прочим, на меня зубами скрежещут, они б меня поставили приказчиком в свою кулацкую лавочку, тогда б я им как раз подошел, да!.. Но я на них плевал, и устроился на ответственную должность, а Ксаня мыкается, понимаешь,— из одной больницы уволили, из другой уволили. А считалось — она неплохая сестра, нет, неплохая! Характер, что ли, испортился, кто его знает...

Севастьянову понятно было, почему Ксаня не ужилась ни в одной больнице. «Да ты погляди на нее как следует,— сказал бы он Кушле, если б не было неловко,— какая она сестра!» В немытой гимнастерке, с блеклыми прядями немытых волос вдоль тусклого угрюмого лица, с шелухой от семечек на губах, она вызывала желание держаться подальше; а тяжелый взгляд исподлобья пугал, наводил на мысль, что она ненормальная. Двигалась еле-еле, будто спросонок. Куда такую в больницу? Да вряд ли Ксаня и хотела работать. Кушля давал ей из получки сколько-то — ей хватало. Хватило бы и меньше. Одними бы семечками была сыта, лишь бы не отрываться от Кушли надолго. Ни хлеб ей не был нужен, ни одежда человеческая, ни люди: только Кушля. Впервые за свою небольшую жизнь наблюдал Севастьянов такое поглощение человека человеком; такое растворение, исчезновение одного человека в другом. Смотреть на это было даже страшновато. «Где же тут дружба,— думал Севастьянов,— где равноправие, это на смерть похоже. Он ее не



любит и никогда не мог любить, она же больше ничего не умеет, кроме как всех вгонять в тоску».

— Такие святые отношения,— сказал Кушля,— не могут пострадать от какого-нибудь пустяка. От того, что Лиза меня полюбила,— от этого не пострадали наши с Ксаней отношения. Ведь с Лизой получилось как: она полюбила очень сильно. Но на сегодняшний день и с Лизой отношения — тоже святыня, сам догадайся почему... Вот ты молодой, а имеешь привычку судить людей, ничего не зная. Не говори: имеешь. Ты и Лизу судишь — не говори: я вижу, что судишь. А ведь вот не знаешь, что она с двумя сестрами в одной комнате живет, а аборт делать не стала. Радуется, понимаешь, как самому большому счастью... Это нехорошая у тебя привычка — судить не зная, ты отучайся. Тут тяжелая драма, а ты говоришь «кавардак».

— Ты сказал «кавардак».

— Тяжелая драма. И теперь скажи: как я должен выходить из этого положения?

— Не знаю!— чистосердечно ответил Севастьянов.

— Вот и я не знаю. Я спать перестал, веришь? Что-то надо решать одно, верно? Прежде я смотрел чересчур легко. Я смотрел со своей мужской колокольни. А ну их, думаю, разберутся как-нибудь! Сами ведь заварили кашу... Но когда я почитал, понимаешь, кое-что и сам стал писать кое-что, и познакомился с тобой, и с Семкой Городницким, и с вашими замечательными культурными девушками,— я стал расти, ты, наверно, заметил. Я за этот год вырос исключительно и не могу смотреть с мужской колокольни. Лежу ночью и думаю — как же я Ксаню брошу, это ж я ее убью? А с другой стороны — как сына оттолкнуть, представляешь?! Кручусь, как рыбешка на сковороде, пока трамваи не пойдут, тогда засыпаю немного.

Он прошелся, чтобы унять свое волнение.

— Я на ваших девушек смотрю и думаю: что ж такое значит, что на меня за всю мою молодость не пришлось нисколько чистоты этой и нежности... Ведь чистота — это хорошо, над этим только сволочи смеются, верно?

— Верно.

— Что ж такое, думаю, что, например, Лиза, не спросившись, ко мне подошла, под руку взяла и повела куда хотела, а, например, Зойка маленькая в жизнь не подойдет?.. Да, дорогой товарищ, уже — все, уже никогда не

будет мне этой любви воздушной, про которую читаем в хороших книгах.

— Ну почему,— сказал Севастьянов,— может, будет еще.

— Нет!— сказал Кушля.— Чего не будет, того не будет! Это — судьба мимо меня пронесла. Журналистом стану безусловно, будь уверен, а насчет любви — нет! Тут при распределении не учли меня, что ли. И возражать особенно не приходится, поскольку жизнь далеко еще не достигла своей высоты. Поскольку дерьма еще горы кругом невывезенного. Но мы его вывезем, дорогой товарищ, с помощью нашей прессы! Мы нашу жизнь подымем на должную высоту!

— Слушай,— сказал Кушля,— [redacted] тебе эту картину описал, как [redacted] Тихорецкой на вокзале, на каменном полу. Открою глаза — надо мной сапоги шагают — туда, сюда! Дверь не закрывалась ни на одну минуту. Холодом меня охлестывало на полу, как ледяной водой, январь это был. Скажи: как [redacted] жив остался? Уж не говорю о ранениях. Сколько крови моей утекло [redacted] землю. Я умирал несчетно раз. Я все, понимаешь, про это знаю — как умирает человек, что у него делается с руками, с печенкой, селезенкой, сердцем... И все ж таки жив, ты подумай. И теперь...

В глазах у него ярко заблестели слезы.

— Теперь будет сын. Мой сын, понимаешь? Глаза мои, волосики... А может, на Лизу будет похож, тоже ничего, она ведь ничего, верно? Симпатичная, верно? Не в том дело, на кого будет похож, а в том, понимаешь,— ты подумай, какая жизнь у него будет, что́ я, отец, ему завоевал. Он же родится — где?— [redacted] Советской республике, а не в рабстве, как я был рожден. Уж у него — будь покоен!— все будет, чего у нас с тобой не было. Уж он все получит, чего мы, отцы, [redacted] нашей молодости [redacted] не слыхали, только сейчас и узнаем, как дикари. Ему не придется [redacted] сыпняке на вокзале,— да и болезней, думается мне, не будет, когда он подрастет. Уничтожим и болезни,— ничего, [redacted] считаю, не будет на его светлом пути, ни сучка, ни задоринки...

29

Окно комнаты, [redacted] которой жили Севастьянов [redacted] Городницкий, смотрело во двор. С четырех сторон двор был обставлен домами — заключен в кирпичную коробку.



Опять наступила весна. Севастьянов [redacted] Городницкий отворили свое окошко и больше не затворяли, и жизнь двора перла к ним [redacted] комнату.

Во дворе, лепясь к стенам, дыбились зигзагообразные железные лестницы, одна — прямо напротив окошка. Почти непрерывно раздавался металлический перестук, по железным ступенькам сбегали ноги, потом появлялась фигура, потом голова, или наоборот: вслед за грохотом ступенек показывалась голова, затем плечи, постепенно вырастал человек в полный рост.

Все было преувеличенно громко. Каблуки по булыжнику цокали, как копыта. Собака лаяла внизу — будто здесь, в комнате. Удар детского мяча был как выстрел из револьвера.

Когда въезжал во двор фургон с молоком или выезжала телега с пустыми бутылками — лошади фыркали, бутылки дребезжали [redacted] возчики ругались прямо [redacted] ухо Севастьянову [redacted] Городницкому.

Фургоны, бутылки, возчики — это относилось к кафе «Реноме инвалида».

Хотя Севастьянов [redacted] Городницкий уже не столовались [redacted] кафе, но инвалиды сохранили к ним добрые чувства. Инвалиды были люди и все прекрасно поняли. Встречаясь со своими бывшими клиентами, они здоровались по-родственному. Они то [redacted] дело проходили по двору в своих белых курточках.

Направо внизу была дверь: две створки, выкрашенные в мутно-коричневую краску, исцарапанные; дверь без крыльца — выходила прямо на булыжник. Почти всегда она была открыта, за нею виднелась темнота: как в пещеру вход. Красавица овчарка лежала на пороге, царственно вытянув шелковистую сильную лапу, [redacted] янтарными глазами следила за проходящими по двору.

За этой дверью помещалась кладовая кафе «Реноме инвалида», и там же где-то [redacted] пещерном этом мраке обитал Кучерявый, кладовщик.

Он тоже носил белую куртку. Чаще других инвалидов хромал он через двор — то к черному ходу кафе, то к погребу, [redacted] всякий раз большим ключом отмыкал замок на погребе, [redacted] всякий раз тщательно этот замок навешивал. Даже с третьего этажа было видно, что у него спина (в белой куртке) как подушка, а волосы — как матрацные пружины.

Под торчащими вверх пружинами — пухлое белое лицо, похожее на ком теста, со вздутиями и вмятинами, как

на сыром тесте, с узким бледным ртом и неожиданными глазами — маленькими, темными, живыми, небрежно-рассеянными, словно Кучерявый что-то очень важное соображал и прикидывал в уме, и нимало этот занятой и отвлеченный ум не участвовал в кладовщицких манипуляциях с мукой, маслом и прочими продуктами, а участвовало в этих манипуляциях только пухлое, мятое, нездоровое тело Кучерявого, напрашивающееся на некрасивые сравнения с тестом и подушкой.

У входа в свою пещеру он кормил собаку. С заботливостью старой хлопотуньи хозяйки гнулся, ставя перед ней миску с едой. Собака весело лакала похлебку и грызла кости, всеми движениями и игрой мускулов выражая наслаждение. Он давал ей сахар. Поднимал руку, и она взлетала над ним в ликующем прыжке, длинная спина ее взвивалась серебряным огнем. И на третьем этаже было слышно, как хрустел сахар у нее на зубах. Диана звали эту собаку.

## 30

Семка Городницкий привык к своей болезни. Всю весну его донимал кашель и слабость — он эти явления игнорировал. Он не отвечал на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?», справедливо считая его бесплодным и размагничивающим. Пионерская организация готовилась к лагерям, первым своим лагерям. Семка заседал и суетился вместе с вожатыми — физкультурными ногастыми парнями и полногрудыми стыдливыми девчатами в красных галстуках. Суетился, и ему представлялось, что он такой же здоровенный, ловкий и проворный, как они...

Югай, обещавший выхлопотать ему путевку в Крым, ушел с комсомольской работы, был теперь секретарем Пролетарского райкома партии. Его место в губкоме комсомола занял Яковенко. Сдавая Яковенке дела, Югай не забыл сказать: «Городницкого отправить надо подлечиться, в подходящее какое-нибудь место, в Ялту, Алупку»,— Яковенко сам рассказал об этом Семке; но раз за разом оказывалось, что путевка была, подходящая, в Ялту, в Алупку, но отдана другому товарищу, у которого больше прав на лечение и отдых, а Семке надо еще подождать.

Так у него обстояли дела, когда приехал Илья Городницкий.



Он свалился как снег на голову. Воскресенье, утро. Севастьянов и Семка по случаю выходного дня проснулись поздно и нежатся на своих койках, покуривая. В дверь стучат.

— Кто там? Да-а!— зевая откликается Севастьянов.
В комнату просовывается по-утреннему нечесаная голова ведьмы. Слышен приближающийся смех, говор, шаги.

— Там пришел ваш папа!— говорит ведьма торопливо-испуганно и восхищенно.— И с ним какие-то... товарищи!— Она исчезает, на ее месте Илья Городницкий, он весело спрашивает:

— Можно?

Он стоит на пороге, высокий, тонкий, темнобородый — странна и красива темная борода на молодом лице,— за ним теснятся незнакомые люди, а он смотрит на Семку, поднявшегося с постели, и добродушно улыбается.

— Это Семка?— спрашивает он быстро.— Это в самом деле Семка?— Он приближается к кровати.— Это ты, Семка?

— Здоров, Илья!— отвечает Семка, больше всего озабоченный тем, чтобы его мужественный голос не дрогнул от волнения.

Илья обнимает брата.

— Какими судьбами? Надолго?

— Ты слышишь, Марианна, какой бас?

С Ильей пришло много людей. Они не входят в комнату, остаются в кухне, курят там и громко разговаривают. Только старик Городницкий тут как тут, вьется вокруг Ильи и сияет.

— Борода! Нет, борода!— восклицает он как пьяный.— Нет, Семка, ты посмотри — борода, ха-ха, борода!

— Марианна!— зовет Илья.

Женщина входит на его зов. На ней что-то серое и лиловое, она красива — белая нежная кожа, карие глаза, бледно-золотые волосы, низко на затылке уложенные узлом. Она тоже улыбается и тоже здоровается, сначала с Семкой, потом с Севастьяновым. Здорово-таки неудобно сидеть перед ней в постели, с ногами, вытянутыми под одеялом; черт знает до чего неудобно. А у Семки к тому же на рукаве рубашки дырка, он страдает невыносимо.

— Он будет жить с нами,— говорит Илья своим мягким голосом.

— Конечно,— отвечает Марианна,— он будет жить с нами.

— Ты будешь хорошо с ним обращаться?— спрашивает Илья.

— Я буду хорошо с ним обращаться,— отвечает Марианна, улыбаясь.

— Она будет хорошо с тобой обращаться,— говорит Илья, обнимает Марианну за плечи и притягивает к себе. Она вспыхивает, она стоит как заря в этой комнате, полной разбросанных штанов, табачного тумана и солнца, светящего сквозь табачный туман.

— Борода, ха-ха!— кричит старик Городницкий.— Илья, ты молодец, прямо берешь бычка за рога! Бери его за рога, забирай его отсюда,— посмотри, что я тебе говорил, у него же щек совсем не осталось!.. Но, однако, дорогие, поторопимся. Софья Александровна ждет. Ты бы одевался, Семка. Я приведу извозчика...

— Фима!— зовет Илья.— Фима!— И так как в кухне не слышат, он идет и возвращается, ведя за пуговицу какого-то толстяка.— Фима, вот это мой брат Семен, его надо лечить, надо его в хороший санаторий.

— А что такое?— спрашивает у Семки толстяк Фима (после оказалось — заведующий губздравом).— Что у вас?.. Ничего, отправим, вылечим,— Илья, Илюшка, слышишь, пусть он ко мне зайдет на прием!

Илья не отвечает, рассказывает, добродушно смеясь, как шел, приехав, по Старопочтовой и как соседи его узнали, несмотря на бороду... Он рассказывает весело, товарищи смотрят на него с любовью. Они ходят за ним толпой — куда он, туда и они,— потому что любят его, подумал Севастьянов. Каких-нибудь два часа назад он приехал, и они уже слетелись, уже они вокруг него. А женщина повторяет как эхо каждое его слово.

— Софья Александровна ждет,— втискивается в разговор старик Городницкий,— завтрак остынет, поторопимся, господа.

Он пугается, что сказал «господа». Но те, к кому он обращается, заняты друг другом, он не в счет в их компании, они не слушают, что он там говорит. Но он-то хочет быть в их компании! Он хочет говорить! Он не хочет молча стоять в стороне, как незваный! Ведь Илья приехал к нему! И он с отцовской строгостью обрушивается на Семку:

— Будешь ты одеваться или нет! В конце концов, из-за тебя все остынет! Одевайся сию минуту!

Совершенно спятил старик: как бы Семка одевался при Марианне? Выцветшие глаза старика выкачены стеклянно и беспомощно. Губы дрожат. Илья приехал к нему с вокзала с чемоданом, тем самым признал своего отца, свою кровь, свой кров. Но это было на мгновение — вот Илья уже не с ним, вот он уже принадлежит своим товарищам, товарищам по подполью, по юности, по общей цели, общей склонности к шутке и смеху, а старику уж померещилось было, что его первенец, добившийся в жизни успеха, будет принадлежать ему, что люди увидят — они рядом, отец и сын, в согласии и дружбе, они друг другу радуются, друг друга хлопают по плечам! Терзаясь от ревности, старик хлопочет, чтоб поскорей увести их к себе, в комнаты, где он хозяин, и усадить за стол — может быть, дело еще повернется в желательную сторону, ему дадут слово за его собственным столом, он поднимет рюмку за Илью, Илья предложит тост за отца, который его родил и-и, так сказать, воспитал — ведь как-никак до седьмого класса Илья жил в отчем доме... Скорей, скорей, хлопочет старик; задержка за Семкой. Сжимая в кулаки пухлые руки с коричневыми крапинками, старик наступает на Семку:

— Долго ты еще будешь сидеть!..

— Завтракать! Завтракать!— раздаются голоса.— Ефим, чур, накормить как следует, Рита ничего не умеет!— Товарищи, копчушки и редиска — этим даже Рита сумеет накормить. Пирогов, извините, не будет.— Копчушки, восхитительно, обожаю копчушки (это восклицает Илья), пошли, товарищи,— Семка, одевайся!— Марианна догадывается наконец, что ей следует выйти, и Семка вскакивает как встрепанный.

— Значит, ты тут жил аскетом,— мягко говорит ему Илья,— и наживал чахотку. А что случилось бы с революцией, если бы ты позволил этому старому буржую подкармливать тебя? Для тебя была бы польза, для старого буржуя удовольствие, а революции наплевать, она, мой дорогой, не этим занята.

— Илюша, как же можно,— ужасным шепотом шипит старый буржуй,— как это можно?! Куда вы собираетесь, и слышать не хочу! Дома все готово, Софья Александровна...

— Ну что ты!— говорит Илья.— Товарищи условились, мы собираемся у Фимы. Там еще придут, куда ж к тебе.

— Пусть пятьдесят человек!— шепчет старик Городницкий, задыхаясь.— Пусть сто человек!

— Я, может быть, у тебя переночую. Завтра-послезавтра у меня будет квартира, а эту ночь я, возможно, переночую у тебя. Слушай — тебя надо привести в чело-

веческий вид, что это за гадость, эта вывеска, мережка и зигзаг? Тебе надо работу, надо в профсоюз, надо, надо выводить тебя из этого состояния!

— Я надену твою новую косоворотку,— бормочет тем временем Семка Севастьянову.

— Валяй,— соглашается Севастьянов, сидя с вытянутыми ногами под одеялом.

Так он сидит, пока все не уходят. Старик Городницкий тащится за ними. Севастьянов одевается. Вот, значит, этот Илья Городницкий...

Что-то очень в нем привлекательное: в улыбке, в мягком голосе, в быстрой живой манере.

Зазнайства — ни капли. Как он закричал хорошо: «Копчушки, копчушки!»— невольно улыбнешься.

«Что это за гадость?»— без злобы спросил, с веселым любопытством...

Но, думает Севастьянов, должен же человек соответствовать своей биографии. Должен или не должен? Должен! А про Илью, если не знать, ни за что не скажешь, что у него такое прошлое: подполье, работа в ревтрибунале... Такая серьезная биография, а он так несерьезно себя держит. Все движется, не постоит на месте. Вертится на каблуках, словно танцует; теребит бороду. Зачем-то бороду отрастил, чудак... При всех обнимает свою Марианну. Говорит легковесно...

Революция, разумеется, не пострадала бы, если бы некий старый буржуй прикармливал некоего Семку Городницкого, хорошего комсомольца с туберкулезным процессом в легких. Но что сталось бы с революцией, думает Севастьянов, шнуруя ботинок, если бы все комсомольцы стали прикармливаться из буржуйского кармана, вот ведь в чем дело. Разве один Семка нуждается в прикорме?.. Человек с такой биографией не может ставить интересы личности выше принципа; это обмолвка.

Вечером Семка сообщает известия. Илья назначен к нам губернским прокурором. После своей книги он ожидал большого назначения в Наркомюст; но где-то что-то разладилось, разладилось настолько, что в Москве Илья не получил работы, его послали на периферию. Впрочем, он, по его словам, не собирается здесь засиживаться.

— «Мережки и зигзага» уже нет.

— Уже сняли?



— Сняли. Он велел. Этот его длинный приятель,— ты не видел,— Балясников из исполкома,— он обещал устроить батьку товароведом в ТЭЖЭ.

— Вот как,— говорит Севастьянов, и они умолкают. Обо всем этом надо подумать. Эта молниеносность в устройстве дел их как-то угнетает.

Через несколько дней Семка перебирается к брату. Провожают его Севастьянов, Электрификация, Баррикада и несколько ребят в пионерских галстуках. Они связывают книги, за год книг у Семки стало вдвое больше, и дорожит он ими ужасно. Осторожно и ласково берет он их своими худыми пальцами. Его беспокоит, что ребята обращаются с его сокровищами недостаточно бережно; что веревка врезается в переплеты... Вдруг приходит Марианна.

— Вот хорошо,— говорит она,— я не опоздала, вы как раз собираетесь, Сема... Сема, я пришла сказать, пожалуйста, ни матраца, ни подушки, ничего этого брать не надо, там все есть,— и чем я могу вам помочь?

Помогать не нужно, и так в комнатушке не повернуться от книг и людей. Особенно много места занимают, дурачась и хохоча, Баррикада и Электрификация. Марианну уговаривают посидеть в уголку, она сидит, подобрав под стул ноги, и смотрит с понимающей добродушной улыбкой, которую переняла у Ильи.

Она непременно хочет что-нибудь нести, и ей тоже дают маленькую стопку книг, чтобы она успокоилась.

Ватагой идут они по улице.

— До чего тепло,— говорит Марианна с радостным удивлением,— до чего волшебно тепло! Из Москвы я в теплом пальто уезжала. Там у нас по дворам еще лед не весь растаял. А у вас цветут акации.

Да, опять зацветает акация, перышки листьев на ней опять ярко-зеленые, бутоны как огуречные семечки, и уже раскрылись кое-где зеленовато-белые хрупкие цветы.

Идти недалеко, Илью и Марианну поселили в том самом общежитии ответработников, где живут Югай и Женя Смирнова. На третьем этаже, в конце длинного коридора, Марианна отпирает дверь.

— Вот ваша комната, Сема.

Ну и комната, Севастьянов не видел в этом довольно-таки спартанском общежитии так великолепно обставленных комнат. Мало того, что на полу ковер, а на окнах и двери длинные синие занавески,— здесь еще стоит мягкая мебель светлого дерева, обитая темно-синим сукном: диван и два кресла, и перед диваном круглый стол.

И письменный стол, и на нем лампа в молочно-белом стеклянном абажуре. А за ширмой, нарочно отодвинутой, чтоб можно было увидеть сразу,— кровать и мраморный умывальник.

— Ой!— иронически-почтительно говорит Электрификация.

— Вам тут будет хорошо, правда, Сема! — восклицает Марианна.— К вам будут приходить ваши товарищи, и всем хватит места!

Положим, когда приходили ребята, места хватало и в той их комнатушке, та комнатушка была прямо-таки резиновая.

Семка недоверчиво поворачивает вправо и влево свое горбоносое острое лицо. Он опускает связку книг на ковер, и все они следуют его примеру. Марианна взволнованно ждет, что он скажет. Она приготовила ему сюрприз, брату своего мужа,— пусть же почувствует ее родственную заботу, пусть восхитится, пусть ему будет прекрасно, как прекрасно ей! Все эти желания выражены в ее тревожной улыбке. Семка взглядывает на нее и говорит вежливо:

— Еще бы не хватило места. Спасибо.

По его голосу Севастьянов понимает (девчата, Баррикада и Электрификация, понимают тоже), что Семка ошарашен роскошью нового жилища и колеблется — заявить протест немедленно или дождаться Ильи. Но Марианна видит Семку второй или третий раз в жизни и не разбирается в оттенках его баса; ответ ее удовлетворил. Она с жаром обращается к ребятам:

— Пожалуйста, прошу вас, приходите чаще!

Это уж лишнее: это дело ребят и Семки, а вовсе не ее. Все немножко смущены этим взрывом любезности. У Электрификации и Баррикады вытягиваются лица. Со времен политкурсов толстушки относились к Семке преданно: он был для них вершиной эрудиции и духовности, доступной индивидууму их возраста. Они считали за честь бывать в его обществе и радовались, если их дурачества и хохот заставляли его улыбнуться. Теперь, выходит, над ним будет хозяйкой Марианна: захочет — пригласит их к нему, не захочет — не пригласит... Толстушки отчужденно молчат, сжав румяные губы.

Марианна не замечает прохладного ветерка, пробежавшего между нею и остальными. Она занимает их как гостей, как своих гостей: ведет, показывает две соседние комнаты, где со вчерашнего дня живут они с Ильей. Отлично их устроили, правда? В Москве у них была одна



комната, и теперь Марианна не нарадуется простору. Вся мебель — казенная, они с Ильей ведь цыгане, у них нет ничего...

Она предлагает курить, приносит пепельницу.

Ей хочется дружеских, братских отношений с ними — она не притворяется, ей в самом деле хочется. Но она не знает, как этого достичь. Бедняжка.

В открытых окнах — вид на реку. Половодье почти спало. Два сонных паруса царят над ним, белый и черный. Белый — яхта из яхт-клуба; черный — рыбачья лодчонка. Баркасы шмыгают, шевеля веслами, во всех направлениях. Дальше, за береговыми вербами, еще стоящими в воде,— кремовая полоса песков. За песками, до горизонта — солнечно-зеленая вешняя гладь, усеянная рыжими и черными точками,— бессчетные стада на безбрежном пастбище.

— Почему нет музыки?— спрашивает Марианна, заглядывая ребятам в глаза (а они молчат).— У вас же катаются на лодках с гармонью, катаются и играют на гармони, мне рассказывал Илья.

— Это по большей части в воскресенье,— объясняет Севастьянов.— На гармони играют, а то наймут шарманщика и возят с собой, чтоб играл им целый день.

— Хорошо на том берегу, должно быть,— говорит Марианна, глядя не на тот берег, а на ребят.

— Да,— подтверждает Севастьянов.— На том берегу очень хорошо.

В заключение она их угощает конфетами из большой коробки, которые подарил ей Илья по случаю новоселья. И они уходят, оставляя Семку в новой блистательной жизни, с красивой женщиной, женой его старшего брата. В комнатушку за кухней Севастьянов возвращается один.

## 31

На том берегу, на песках, рос кустарник, непышный, в рост человека, с долгенькими белесоватыми листьями, отливающими на солнце паутинной сединой; с неказистыми серо-сиреневыми мелкими цветочками, похожими на цветы картофеля.

Песок был раскаленный, сыпучий.

Они шли в волнах солнца, не глядя друг на друга. Ему было страшно взглянуть на нее. Может быть, и ей было все-таки страшно.

Иногда на ходу, нечаянно, соприкасались их руки; но сейчас же он отстранялся, чувствуя ожог и холод вдоль позвоночника.

В спину им, уходящим, смотрели ребята.

А может быть, не смотрели, там у воды такой шумный поднялся разговор, когда они ушли вдвоем,— неестественно шумный.

Позади была река, усыпанная блеском, сотни лодок разгуливали по ней, гармошки и шарманки играли на лодках, как полагалось в воскресенье.

Они уходили все дальше, музыка играла тише, кустарник становился гуще.

## 32

Накануне вечером проводили Семку в Ялту.

А утром Севастьянов спал — один в комнате, как царь,— ребята ввалились и потащили кататься на лодке. Среди них была большая Зоя. Севастьянов спросил:

— А Зойка маленькая?

— У нее отец заболел,— ответила большая.

На набережной, у сходней, килем вверх лежали лодки. На них были написаны женские и мужские имена: «Нина», «Шура», «Муся», «Вова». Ребята взяли лодку и поплыли по сверкающей реке. Потом причалили к тому берегу, в нелюдном месте, чтобы привольней было купаться. И там она сказала, смеясь:

— Почему ты никогда не объяснишься мне в любви? Объяснись мне в любви!

Он спросил:

— Разве все обязаны объясняться тебе в любви?

— Все объясняются, кроме тебя. Ну правда! Ты один не объясняешься. А мы уже столько лет знакомы!

Балуясь, она настаивала:

— Ну, пожалуйста! Ну, какой!..

Он лежал на песке, а она приподнялась и стала на колени. Подняв руки, она ловила кудрявые пряди своих волос, разлетавшихся на ветерке, и пыталась упрятать их под косыночку. Прямо перед лицом Севастьянова были взвиты ее тонкие руки, розово-смуглые, длинные, прелестные девичьи руки. Севастьянов увидел маленькую дышащую грудь под белым полотняным платьем и хрупкие выступы ключиц. Он увидел смеющиеся губы, лучики-морщинки на губах, каждый лучик был высвечен солнцем. И вдруг жаром хлынуло в него все это. Он вздрогнул оттого, что она рядом, теплая, с длинными розовыми руками.



Разве прежде он не замечал ее красоты? Замечал сто раз. Но все равно — в первый раз за столько лет он увидел Зою.

И будто круг раздался: будто все отодвинулись, и в кругу они остались вдвоем.

Расхотелось разговаривать. И с ней тоже. О чем они говорят? Чепуха, треп. Кому это нужно.

Она была тут — это было нужно. Что она подняла руки, стоя на коленях, и ловит свои волосы — исключительно нужно и важно. На это, оказывается, можно смотреть, и смотреть, и смотреть.

Все поняли. Словно им подшепнул кто. Все, замолчав, оставили их вдвоем в кругу.

Она сказала, неизвестно к кому обращаясь, рассеянно, перестав смеяться:

— Пошли погулять.

Промолчали все. Вроде не слышали.

— Пошли, Шура?— сказала она и встала.

Все молчали. Гармошки на лодках, надрываясь, играли вперехлест. Севастьянов встал и пошел с ней рядом.

Потом было возвращение в город. В лодке, со всеми. Севастьянов греб, она сидела напротив, опустив руку за борт в журчащую воду, оранжевую на закате.

Оранжевая вода вскипала вокруг ее пальцев.

Севастьянов смотрел на нее и греб неторопливыми сильными ударами. Кругом говорили, они двое по-прежнему пребывали в кольце молчания и отъединения.

Над озаренной рекой темнел синий город, придвигаясь. И лицо ее было зажжено живым светом, раскинутым во всю ширь реки и неба.

## 33

Он сидел в зале клуба совторгслужащих, а на сцене происходило балетное представление. Мелькали красные шарфы и загримированные лица, но только одно лицо он видел, зажженное, озаренное, и следил за каждым его движением. Что танцевали — не разобрал. Хлопал, когда все хлопали. Не понял: почему, когда представление кончилось, одна из танцевавших вышла вперед и ей хлопали отдельно,— почему не Зоя вышла, а какая-то другая, которую нельзя даже сравнить с Зоей. Он похлопал из приличия. Но то явное было недоразумение. Кто-то чего-то недопонял.

Объявили антракт, в зале зажегся свет. Севастьянов встал и двинулся вдоль ряда к проходу. Ему наперерез, в профиль, деревянно держа голову, глядя неподвижно вперед, прошел Спирька Савчук. Желтые борозды лежали на его щеках, он улыбался горькой вымученной улыбкой. «Знает»,— подумал Севастьянов. Он больше не осуждал Спирьку за его неразумную страсть. Спирькино горе заслуживало уважения — кого ж [redacted] любить, если не Зою.

Он не стал навязываться Спирьке с неуместными «здравствуй» и «как поживаешь» и со своей сияющей рожей,— тихо пошел следом, соблюдая деликатную дистанцию.

На улице, у выхода из клуба, у афиши, освещенной лампочками, ждал он Зою после представления. На этом самом месте как-то зимой ждал ее Савчук... Севастьянов подумал: вполне возможно, сейчас он подойдет, Спирька, тронет за локоть, скажет: «Слушай, ну-ка иди сюда, ты что же»,— и надо ответить выдержанно, честно, по-мужски, с сознанием своего права и Зоиного.

Но Спирька не появился. Напрасно Севастьянов, похаживая перед афишей, ждал его [redacted] мысленно репетировал объяснение. Спирька тоже был мужчина и не нуждался [redacted] никчемных вопросах [redacted] ответах.

## 34

— Одного я не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Где я раньше был? Ты же существовала, ты, ты, ты! Существовала!

— Ты дружил с Зойкой.

— При чем тут Зойка? Дружба с Зойкой — это совсем другое... Слушай, помнишь — ты платок уронила, а я поднял. На площадке, неужели не помнишь? Я сам не додумался, ты мне велела поднять. Я поднял [redacted] пошел, и в голове не было, что́ ты для меня такое... А помнишь, как мы познакомились? Я сидел, оглядываюсь, вижу — ты. А потом ты спросила...

— Это Зойка спросила.

— Верно. Это Зойка спросила. Но все-таки что-то у меня к тебе было с самого начала. Сразу тебя увидел. Как будто нарочно оглянулся, чтобы увидеть. Как будто кто меня толкнул оглянуться. Я тебя люблю. Ты никуда не уйдешь. Ты останешься тут.



— Сумасшедший.

— Останешься, и все.

— Сумасшедший.

— Глупости. Зачем [redacted] останусь?

— Любить меня.

— Разве так я тебя не люблю?

— Так не получается. Я ни о чем не могу думать. Ничего не могу делать, когда ты не со мной.

— Наоборот, по-моему: ты ни о чем не можешь думать, когда [redacted] с тобой.

— Ты ничего не понимаешь!

— Ты уйдешь [redacted] редакцию, а я что буду делать?

— Ждать меня. Будешь заниматься своими делами. Но когда [redacted] буду приходить, чтоб ты обязательно была дома. Иначе [redacted] не могу.

— Мне [redacted] так достанется, что поздно вернулась.

— Я войду с тобой!

— Ну какие глупости, [redacted] думать не смей. Такой скандал получится, ты не представляешь. И вообще не вздумай приходить.

— Почему?

— Я не хочу!

— Почему не хочешь?

— Так!

— Нет, ответь: почему?

— Вы все мещане, вот что. Когда любовь красивая, вы не понимаете. Непременно тебе запереть меня от всех. От всего. Вот твое отношение.

— Слушай!..

— Я хочу быть счастливой. А ты требуешь, чтобы я как пришитая сидела целый день. С этими бабками, очень интересно. Сидела, тебя ждала, пока ты придешь, вот твое отношение.

— Ну не плачь. Ну не плачь. Я ничего же не требую, ну не плачь!

## 35

Но когда своей сильной мальчишеской рукой он обнимал ее, теплую, льнущую,— такими пустяками оказывались все несогласия! Ее теплота, ее дыхание, ее закрытые

глаза — тут была сладость и тайна жизни, дары и очарования жизни; она ему эти очарования указала; приобщила, приковала к ним, заставила вращаться вокруг них на привязи. Каруселить, как было сказано в одной смешной хартии. Я каруселю вокруг тебя по орбите. Дивно прекрасное занятие — каруселить. На короткой приструнке. Вечно чувствовать эту приструнку, где бы ни был. Где бы ты ни была. Вечно ждать, даже находясь вместе. Ждать — вот откроются еще неразведанные миры; они открываются, и опять ждешь, и это бесконечно — как вселенная.

Меры времени спутались: секунда приносила потрясения, от которых взрослела душа, а часы то тянулись, как годы, то уходили, как вода в песок.

Сутки стали величиной огромной — по числу впечатлений, которые в них вмещались.

Зоя приходила вечером. Он мчался домой, чтобы не упустить ни минуты свидания и чтобы оградить ее от ведьм,— они ее так и кусали своими взглядами и усмешками, когда она проходила через их Лысую гору, через кухню.

Забежав в магазин, он покупал колбасы или ветчины и немного пикулей — она любила пикули.

Стал франтом: купил новые парусиновые брюки, хотя старые были еще хоть куда, чуть-чуть только сели в стирке.

Заработки его увеличились, он получал фикс, и гонорар стали платить аккуратнее, можно было позволить себе кое-что — например, кожаный портфель, вещь нужнейшую, которая сразу придавала человеку вид ответственного работника.

Ходил с портфелем, прибранный, подстриженный, торжественно-задумчивый, надушенный тройным одеколоном.

Однажды у них отняли вечер. Дробышев отправлялся с губернским начальством на Машстрой и взял Севастьянова. Севастьянов первый раз отроду ехал в автомобиле. Его посадили с шофером. В прежние дни он бы сполна насладился этим удовольствием, теперь одно думал: когда же мы вернемся в город... Степь цвела и дышала. По склонам длинной балки, как ковры, лежали огороды богатой коммуны «Заря». Синий четырехугольник, синий платок, расстеленный среди зелени,— поле медуницы, детская колония посеяла медуницу для своих пчел. За группой деревьев блестел купол с флагом — монастырская церковь, с которой сняли крест,— детская колония помещалась в бывшем монастыре... Подводы, запряженные волами, влачились в ленивой пыли. Бабы ехали, свесив ноги. Мужики спали за бабьими спинами, укрыв голову от солнца. В прежние дни Севастьянов вбирал бы в себя эти картины, не пропуская ничего. Теперь надо всем стояла, все затмевая, Зоя. Майская степь, дорога с людьми и волами, синее поле, ковры огородов, флаг на куполе — это было ее подножье. Груды белых облаков в небе тоже были ее подножьем. Выше всего стояла она, все затмевающая, с лучиками на розовых губах,— и вдруг мы не вернемся до вечера, вдруг не успеем!— думал Севастьянов.

Машстрой был только что заложен. Ему предстояло неторопливо расти от сезона к сезону, с приостановкой работы на осень и зиму, неторопливо расти до первой пятилетки, когда все изменится — темпы и масштабы; когда страна зашумит стройками, потоки людей хлынут по стране во все концы и опустеют биржи труда. К тому времени Машстрой, укрупняясь на ходу, двинется вперед семимильными шагами — один из первенцев, гигантов пятилетки. В двадцать четвертом году это были длинные мазаные бараки, штук десять бараков. Грабари, съехавшиеся из разных мест, лопатами копали котлован для первого цеха. Под навесами на печках, сложенных из кирпича, багроволицые кухарки варили еду в артельных котлах. Распластанные на траве, сушились заслуженные рубахи и штаны — выгоревшие, в заплатах.

В маленькой конторе два человека, один средних лет, в косоворотке, лохматый, в доску свой, другой — старик с острой белой бородкой, молчаливый и надменный,— разворачивали перед губернским начальством трубки синек. Смотрело начальство, смотрел Дробышев, потом синьку передавали Севастьянову. Это длилось без конца. Солнце спускалось. Уехать, уйти, убежать не было никакой возможности.

Началось собрание. Губернское начальство сделало доклад. Дробышев сделал доклад о стенной печати. Выбрали редколлегию. Дробышев объявил, что товарищ Севастьянов, сотрудник «Серпа и молота», поможет редколлегии выпустить первый номер стенгазеты. Объявив, сел в автомобиль с начальством и укатил в пылающий закат.

Севастьянов посмотрел им вслед. Он даже записки не успел ей оставить... Закат пылал. Но это же еще не вечер,

подумал Севастьянов. И ему вдруг показалось, что если проявить оперативность, если очень, очень постараться, не разбрасываясь, не отвлекаясь...

Надо полагать, члены редколлегии навсегда запомнили урок оперативности, который он им преподал. Они хотели сперва поужинать и его покормить; но он тиранически загнал их в красный уголок и засадил за работу. Неискушенные в газетном деле, они подумали, что это так и надо — такая лихорадка, и повиновались ему. Усердие их было велико и чистосердечно; но они ничего не умели. Изнемогая от их медлительности, он бросался помогать каждому и в результате сам написал почти все заметки, передовую и отдел «Кому что снится». И собственноручно переписал газету начисто. И нарисовал две залихватские карикатуры, подражая рисункам Коли Игумнова (до этого никогда не рисовал карикатур). И с отчаянной щедростью раскрасил заголовок красной тушью и золотом. В тот вечер он понял, что значит выражение «работа кипит в руках». Каждое слово ему удавалось и каждый штрих. В жизни потом с ним не было ничего подобного.

Неистовствуя, думал: «Она пришла и ждет. Она ждет». Позже, когда окна стали глухо-черными, ночными: «Она беспокоится. Не знает, что думать. Но она еще ждет». Часов ни у кого не было. Время скакало громадными скачками. «Может быть, она еще ждет». Железная дорога была недалеко, поезда останавливались на разъезде «Машстрой», он рассчитывал уехать, как только кончит свое дело.

Члены редколлегии выбывали из строя по очереди. Один ушел, второй уснул тут же на лавке. Дольше всех держался председатель, чернобровый и черноусый дядька в вышитой рубашке. Он сидел возле Севастьянова и с уважением следил за его действиями. Потом и он заснул, положив голову на измазанный красками стол.

Стенгазета получилась на славу. Севастьянов распрямил спину,— окна были голубые, ясные, электрическая лампочка растаяла как льдинка, ночь прошла, он опоздал на свидание.

Председатель и член редколлегии крепко спали. Севастьянов аккуратно прикрепил свое творение кнопками к стене. Вот. Теперь домой. Вдруг — бывают же случаи — вдруг все-таки, несмотря ни на что, вдруг она еще ждет!

Он вышел из красного уголка. Холодноватое, чистое рождалось утро. За бараком он услышал женские голоса и пошел на них.



Две кухарки перебранивались, растапливая печь. Степь была их кухней, небо — крышей. Они бранились вполголоса из-за плохо вымытого котла. Горечь тлеющего кизяка сочилась в рассветную свежесть. Севастьянов спросил:

— К железной дороге как идти?

Они оглядели его с головы до ног и, прекратив перебранку, показали кратчайший путь — прямиком через степь. Одна, вытирая руки о фартук, проводила его немного; даже зашла вслед за ним в густую траву, перевитую повиликой. Он сказал «пока» и зашагал по высокой траве.

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала, переливаясь, каждая травинка держала свой сияющий алмаз. Севастьянов промок по колено... Довольно скоро он увидел желтую будку разъезда, увидел дымок приближающегося поезда — комочек ваты в голубизне,— пустился бегом, выдирая ноги из травяных пут.

Сердце весело колотилось. Он выскочил на полотно. Рельсы струились в раннем солнце как светлые ручьи. Поезд приближался, он шел в сторону города. Мимо Севастьянова, громыхая, поплыли платформы, цистерны, маленькие красно-коричневые вагончики, исписанные цифрами и словами,— это был товарный поезд, и он не собирался здесь останавливаться. Севастьянов высмотрел подножку с поручнями, нацелился и вскочил.

Сразу его резко обдуло ветром. Он устроился на узкой площадке, подложив портфель под голову. Богатырский сон сразил его мгновенно. Что-то снилось сквозь грохот колес, гремевших в ухо... Проснулся в городе, на товарной станции,— железнодорожник разбудил, спасибо ему.

## 36

«Моя невероятная», «немыслимая»»,— писал он.

Каждый день писал: и невыносимо огромный промежуток от вечера до вечера, от встречи до встречи. Придвигал листок, и слова срывались с пера водопадом, казалось — их сотни тысяч. На самом деле их было, должно быть, штук полтораста. Среди одних и тех же слов он топтался, задыхаясь, захлебываясь этими словами.

«Ничего не делаю, только думаю о тебе. Не хочу о тебе больше думать и думаю. Не хочу писать это письмо, не нужно писать его, совестно...

...Пришел в редакцию спозаранок, еще полы мыли. Разложил свои заметки и сел писать очерк. Писал-писал, а к двенадцати оказалось, что не написал даже заголовка, а писал письмо тебе. Был этим ужасно возмущен. Решил попробовать работать дома. Сейчас пишу дома. И опять то же самое. Сидел над пустым листом, делал вид, что занят делом. Но больше не могу ломать себя и обманывать. Ведь все это время [illegible] только и делал, что вспоминал тебя.

Ругаю себя и уговариваю, что [illegible] тряпка, кисель несчастный. Но не могу тебя прогнать из себя».

Он был сдержан. Чтобы наизнанку себя выворачивать, напоказ — никогда: кому это интересно, ни людям, ни ему самому... Откуда взялась необходимость все, все, все и сию же минуту ей рассказать, без малейшей утайки, без пощады к себе,— такая необходимость, как воду пить, когда жажда:

«Ты пойми меня правильно. Мне надо не только целовать тебя, но и видеть, как ты сидишь, стоишь, ходишь, слышать, как ты говоришь и смеешься, рассматривать, какие у тебя пальцы, локти, зрачки. Я тебя жду, как никого и ничего не ждал...

Ты права, что я сошел с ума. Беру папиросу — это ты, это я тебя беру в руки. Надеваю майку — это ты, это ты ко мне прикасаешься. Черт знает что. Только с тобой мне спокойно более или менее. Но когда [illegible] без тебя, я не могу.

Я хочу, чтобы ты была со мной сейчас и всегда.

Ты согласишься жить вместе. Ведь ты уже не можешь взять свою любовь обратно. Ты должна согласиться.

Как мне сделать, чтобы ты тоже без меня не могла? Ничего не могла, чтобы ты без меня не жила...»

Писал, и вдруг стукнули в дверь. Он крикнул: «Да!»— и откинулся на спинку стула в жгучей уверенности, что это она,— угадала, что он дома в этот дневной неположенный час, через крыши и шумы услышала зов и пришла. Он и не оглянулся, так был уверен. Сидел, закрыв глаза, ожидая ее прикосновения.

— Здравствуйте, Шура,— сказал робкий голос.

Анна Алексеевна, мать Зойки маленькой.

— Что случилось?!— вскрикнул он и поднялся.



Все происходившее в те дни с ним и вокруг него имело отношение к Зое. Пришла Зойкина мать — она скажет, что что-то случилось с Зоей, *его* Зоей.

Худенькая женщина в сером платьице, в чувячках, с кошелкой, вошла, прикрыла рукой лицо, плечи ее затряслись.

— Что?!— повторил Севастьянов в страхе.

Поглощенная своей бедой, она не заметила его наэлектризованности. И нечаянное его восклицание отнесла к собственным горестям, оно оказалось вполне уместным.

— Еще ничего, слава богу, не случилось, еще надеемся,— ответила она, совладав с собой,— еще только во вторник операция будет.

Ах да, у Зойки маленькой болен отец, его положили [illegible] клинику... Вот как — значит, дело серьезное... Пробормотав что-то, Севастьянов придвинул Анне Алексеевне стул. Она поставила на стул свою полную, с раздутыми боками кошелку, прикрытую чистейшим суровым полотенцем и сама уместилась на краешке, держась за кошелку,— то ли чтобы та не упала, то ли чтоб самой не упасть.

— Зоечка говорила с профессором,— сказала она,— профессор сам операцию сделает. Тяжело, конечно. Такая операция, а организм, доктора говорят, неважный, переработанный организм.

Она стала рассказывать подробности, робко и вместе деловито.

— И хоть бы что-нибудь кушал,— тихо и рассудительно говорила она,— а то ничего ведь не кушает, как же болезнь побороть? Чего только не готовим, чего не носим. Все по строгой диете, как велят. Зоечка ему говорит: скушай ты, папа, ради меня, хоть ложечку, говорит, скушай...— Простенькое, увядшее, бесцветное лицо ее опять задрожало; но опять она пересилила себя, кончиком головного платка промокнула слезинку в уголке глаза.— И не спит. Ему всякие средства для спанья — нет, не спит. Не от боли, боли-то нет, когда в лежачем положении. О нас думает, вот и не помогают средства... Шура, я к вам [illegible] редакцию ездила, не застала, адрес мне ваш там дали. Василий Иваныч вас просит, у него дело к вам, чтобы вы зашли до операции.

И так как Севастьянов, туманно задумавшийся о том, как счастье и несчастье соседствуют в мире, ответил не сразу,— она добавила:

— Он вас очень убедительно просит.

— Обязательно! — отозвался он с горячей неловкой готовностью. — Обязательно! Когда можно?

«Но зачем же было в редакции брать адрес, — мелькнуло в голове, — Зойка маленькая ведь отлично знает, где я живу».

— Вообще-то пускают по четвергам и воскресеньям, с четырех до шести, — добросовестно разъяснила Анна Алексеевна, — но мы с Зоечкой бываем ежедневно, по очереди, и в отношении вас я договорилась. Василий Иваныч велел договориться, чтобы вас приблизительно вот в это время пропустили. Почему я вас и разыскивала. Сейчас как раз операции идут и врачей в палатах нет, можно пройти. — Севастьянов не мог понять выражения, с каким она смотрела на него, и боязнь была в ее взгляде, и осуждение, и грусть. — Если, может, у вас занятие несрочное... Может, прошли бы с вами, здесь недалеко?..

Пока он убирал неоконченное письмо, она осматривала его жилище, поджав губы, с тем же осуждающим и скорбным выражением. Зорко, он заметил, осмотрела все — потолок и окошко, постель и старые ботинки, выглядывавшие из-под кровати. И при этом безотрадно и укоризненно покачивала головой.

В саду клинического городка гуляли по дорожкам, сидели на скамейках больные в серых халатах и шлепанцах. Сад был большой, зеленый, но в нем попахивало аптекой. Некоторые гуляли на костылях... В раздевалке хирургической клиники Севастьянову дали халат, а Анна Алексеевна надела свой, белоснежный, принесенный из дому. По этому принесенному с собой халату, по тому, как она его быстро и ловко надела и как спросила: «Дочка моя не была?» — Севастьянов понял, что они с Зойкой маленькой днюют и ночуют в клинике, и все уж их здесь знают. Стараясь ступать потише, он шагал за Анной Алексеевной через голизну широких светлых коридоров и безлюдных лестниц. Она шла впереди проворно и бесшумно в своих мягких чувячках, несла увязанные в салфетку мисочки и кастрюлечки, которые вынула из кошелки. Пришли в большую палату, дошли до угловой койки у окна.

— Вася, — сказала Анна Алексеевна, наклонясь к седой голове, лежавшей, глубоко вдавившись, на подушках, — Шура пришел.



Седая голова медленно повернулась. «Ох, какой!..» — внутренне вздрогнул Севастьянов. Такое он представлял себе, когда читал о мумиях: иссохшее, узкое, темное — только с закрытыми глазами; а на этом лице двигались и светились живые человеческие глаза. Седина волос подчеркивала изжелта-коричневый цвет кожи. Громадные иссохшие коричневые руки были сложены на груди поверх одеяла.

«Что это! Разве можно так измениться! Сколько я его не видел? Полгода? Разве может человек так измениться за полгода!» — думал Севастьянов. Но надо было поздороваться. Он сказал:

— Здравствуйте, Василий Иваныч.

Они, ребята, всегда чувствовали перед старым проводником стеснительность: он был суров, неулыбчив; скажет тебе слово — будто милость оказал. Бывало, они расшумятся в Зойкиной комнате, он пройдет мимо открытой двери, глянет — они начинают говорить тише. А он никому ни разу не сделал замечания.

И в облике мумии он не был жалок, по-прежнему чинный и строгий, опрятно побритый: кругом щетинистые физиономии, а он побрит.

— Здравствуйте, — ответил он и подал руку. — Присядьте.

Анна Алексеевна поспешила пододвинуть табуретку.

«Раньше он говорил мне ты», — вспомнил Севастьянов.

— Видите, какие дела, — сказал Василий Иванович, — скрутило меня как, не ждал и не гадал. Плохие мои дела.

Будь Севастьянов старше и искушенней, он бы ответил принятой в таких случаях ложью: «Ну что вы, Василий Иваныч. Вы превосходно выглядите». Но он еще не умел так лгать, даже не подозревал, что надо солгать. Он молча потупился, склонив голову.

— Я вас пригласил для серьезного разговора, — сказал, подождав немного, Василий Иванович. После этой фразы он стал задыхаться и шептать. Задыхался на протяжении всего разговора — пошепчет свистящим сильным шепотом и остановится набрать воздуха. На шепот перешел, чтобы не услышали лежавшие рядом. И на протяжении всего разговора жена, безмолвно стоя в изножье кровати, смотрела ему в лицо, лишь изредка и на мгновение переводя на Севастьянова полный муки взгляд.

— Придвиньтесь. Еще. Наклонитесь. Ближе,— шептал Василий Иванович.— Вы порядочный человек? Порядочности кругом вижу мало. Но про вас хочу думать, что вы человек порядочный. Сужу по тому, как моя дочь к вам относится. Порядочный вы?

— Не знаю,— ответил Севастьянов, беспомощно покраснев.— Думаю, что порядочный...

— Ну так обещайте, что про наш разговор не узнают ваши дружки-товарищи. Вообще никто не узнает, что бы мы ни решили.

— Хорошо,— сказал Севастьянов, удивляясь.— Я никому не скажу.

— Чтобы дочь не узнала, главное. Зоечка чтоб не узнала. Ясно вам?

— Ясно, Василий Иваныч.

— Никогда не узнала. Ни теперь, ни когда-нибудь... после. На чем бы мы ни кончили.

— Хорошо. Я и ей не скажу.

— Чтоб до нее и не дошло, что я вас звал и разговор имел. Видите: она у нас с Анной Алексеевной одна, и мне первей всего — ее счастье. Ясно вам?!— выдохнул он со свистом и потряс коричневыми руками.— Зоечкино счастье!

Севастьянов смотрел в окно. Зеленые ветки двигались за промытыми стеклами. («Почему не откроют окна? Такая духота».) Он тоже хочет счастья Зойке маленькой. От всего сердца ей желает, чтобы она, такая требовательная и достойная, была очень счастлива, очень. Но это уж от человека зависит — найти свое счастье. Помочь никто не может, и Севастьянов не может. Да Зойка и не нуждается в помощи. Найдет сама.

— Моя дочь,— шептал старый проводник,— не такая, как эти все девицы. Ничего не оставлял без внимания. Что мог — все... Учил... воспитывал... все предоставлял для развития. Не думайте,— если мы малоразвитые, то не понимаем развития: понимаем! Вырастил...

«Положим,— подумал Севастьянов,— Зойку воспитала советская власть и мы, комсомол».

— Умница. Умница-разумница. Золотая душа. Вот сейчас конец года, важные лекции у ней на педфаке. А был хоть один день, чтоб она ко мне не пришла? Дня не было! Как после операции обход пройдет, я уже на дверь смотрю: и вот она. Приходит заранее и внизу дожидается. Знает, что я лежу и на дверь смотрю. И до вечера со мной. Мне уж все тут говорят — какую, говорят, вы дочь вырастили...

Темное лицо просияло гордыней.

— Покамест не заболел, мы с ней мало бывали. Профессия моя такая: разъезжал. Но когда свободен, всегда около ней. Будучи маленькой, гулять ее водил.— Простерши руку, он показал, какая она была маленькая.— В Александровский сад мы ходили. Сяду на лавочке и смотрю, как она с детишками на песочке играется. Или с горки бегает. Или красных жучков на дорожке собирает. Ходили с ней в цирк, в игрушечный магазин. В гимназию поступила — вместе пошли в магазин Иосифа Покорного. Купили учебники, ранец, весь набор ученический для приготовительного класса. Каждое перышко, что она писать училась, через мои руки прошло. Ну, когда подросла, тогда, конечно, какой ей интерес со мной гулять. Молоденькой девочке молодая требуется компания. Как будто я не понимаю... Но заболел я — она со мной. И прогонять бы стал, так не уйдет. Да. Напоследок насмотрюсь. Наговорюсь...

Он шептал исступленно. Видно, за всю жизнь это самая большая была его любовь — может быть, единственная.

— Слушайте, Шура! Мне ее горя не надо, чтоб она на моей могиле неутешенная плакала! Не надо, не надо! Наклонитесь! Слушайте! Я ее утешенную оставить хочу! Не думайте, что я вообще боюсь ее одну оставить. Не, не боюсь! У ней характер самостоятельный! Она моя умница! Ее ни в какое болото не потянет, и никакой прохвост ее разума не лишит!

— Верно! — энергично кивнул Севастьянов.

— Но хочу, покамест я тут... Слушайте, Шура! Если — возможная вещь — так нам с Анной Алексеевной кажется — по душе ей один человек...

— Василий Иваныч!

— Вы ее знаете, вы обязаны понимать, что ей по душе прийтись — это надо в сорочке родиться.

— Василий Иваныч!

— Да.

— Вы... напрасно боитесь, что Зойка будет одинокой. Вы не бойтесь.

— Да?

— Я уверен. Всегда возле нее будут люди. И всегда ее будут уважать.

— Это-то — [illegible] тоже уверен. Слушайте Шура. Уважения сердцу мало. Молодому — тем более. Молодые вы, конечно, совсем молодые. Но теперешняя молодежь рано женится, прежние наши порядки им не указ. Поженились бы сейчас, я б на операцию лег спокойный...

Зеленые ветки, все в солнце, играли листиками за прозрачным стеклом. «Вечно эти старики,— думал Севастьянов,— вечно они, ей-богу... Им с Анной Алексеевной кажется! Бедная Зойка, если б она услышала, вот бы возмутилась, что ее сватают. На Первой линии разве понимают дружбу. Для них все молодые — женихи и невесты».

Он решил не отвечать. «Как я объясню?.. Вам, Василий Иваныч, показалось, она меня не любит, я ее?.. Язык не повернется, не могу я рассуждать с ним об этих вещах. Все без слов понятно».

Склонив голову, он слушал, что шепчет старик. Тот шептал, шептал — шепот стал слабеть. Анна Алексеевна все стояла в ногах кровати, губы ее были сложены горько и неприязненно.

— ...Понимаю,— шептал Василий Иваныч,— что жить вы будете не так, как мы. Что мы нажили своим старанием — вы раскидаете и не пожалеете. Но я понимаю, что по-нашему вам не жить. Я тоже развитый стал. Не только я ее воспитывал: и она меня воспитывала. Я все понимаю. Живите по-своему...

— ...Дурака озолоти,— шептал он,— дураку ни к чему. Дураку хоть царский престол предложь...

— ...Я не могу эту картину видеть, как она на могиле плачет и некому ей слезы утереть — неожиданно громко в лицо Севастьянову, так что тот откинулся, крикнул он. Его стало корчить и швырять на постели в судорогах тошноты. Анна Алексеевна к нему бросилась. Он замахал на Севастьянова рукой — уйди! Севастьянов встал и вышел в коридор. Закурил...

Ему было жалко, жутко. Он закрывал глаза перед видением смерти. Но [illegible] то же время чувствовал протест против посягательства на свое тайное, не подлежащее огласке,— свое, Зойкино, чье бы то ни было. Против старости, которая умирающими руками трогает их, молодых. Давайте так: это наши дела, и мы уж сами в них разберемся.

Санитарка несла по коридору судно. Брел, запахиваясь, больной в сером халате, из-под халата болтались завязки кальсон. Анна Алексеевна вышла и сказала с тихой ненавистью:

— Василий Иваныч вас просит, чтоб вы уходили. Скоро Зоечка может прийти. Чтоб вы не встретились.

Севастьянов спросил: можно ли зайти на минутку к Василию Иванычу — сказать до свидания.

— Лучше не надо, Василий Иваныч себя плохо чувствует.

— Передайте привет ему,— пробормотал Севастьянов.

Он еще кое-что хотел высказать. Пожелания насчет вторника. Чтобы операция прошла благополучно. Но Анна Алексеевна так на него посмотрела — только что не говорила: ох, да уходи ты.

Он вышел в зеленый сад, и воздух показался ему упоительно свежим.

Вышел из сада на улицу и обрадовался, что она полна здоровых людей.

Домой возвращаться не хотелось. Потянуло в редакцию, в привычную атмосферу деловитости, бодрости, разнообразных интересов, новостей, острот. Подошел трамвай, он сел.

И увидел Зойку маленькую. Она шла по направлению к клиникам. Нахмурясь, сосредоточенно обходила лужу — тротуар поливали,— чтобы не замочить чувячки, такие же на ней были коричневые чувячки, как на Анне Алексеевне,— это они чтоб по клинике тихо ходить, подумал Севастьянов. В голубой майке, со стопкой книг в руке, она была совсем подросток, школьница.

Она его не видела. Только мелькнула — трамвай рванул, голубая майка осталась позади.

## 37

Коля Игумнов окликнул Севастьянова, когда тот, приехав [illegible] редакцию, проходил мимо его двери:

— Тебя искала женщина.

— Знаю. Она меня нашла.

— Уже?— спросил Коля.— Это твой роман?

— Давай не трепаться,— остановил Севастьянов.— Это моей знакомой мать.

— Это ты брось трепаться. Грубовата немножко, но знаешь, эти скулы, и разрез глаз, и вот здесь на переносице, у бровей, что-то пикантное,— познакомь, ладно?

Заглянула уборщица Ивановна:

— Ты здесь, Шура? Тебя к телефону.

То была Нелька, Нелькин жеманный, ненатуральный, балобановский голосок, по балобановским понятиям так полагалось говорить приличной барышне.

— Шура? Здравствуй, Шура, я была у тебя в редакции, но не застала. Я тебя приглашаю — догадайся, на что. Да, ты угадал, Шура. За одного молодого человека. Ты его знаешь. Да, балобановский. Догадайся. Такой шатен. Не можешь, ну скажу. За Жору. Разве это обязательно? Что ты говоришь. По-моему, нисколько даже. По-моему, только лишь в книгах. А в жизни бывает только лишь симпатия. Ну конечно, симпатия есть. Свадьба во вторник, а в четверг мы уезжаем, так что ты смотри приходи, Шура. Кто его знает, увидимся еще или же нет. В Горловку; там Жорин крестный, обещает устроить Жору на завод. Что ты говоришь, Шура, какому молодому человеку? Что-то я не обратила внимания. У вас там много молодых людей. Глаза? Да что ты. Переносица? Как переносица? Я не понимаю, Шура, как может нравиться переносица. Художник? Что ты говоришь. Интересный? А звать? Коля? Ну что же, приводи его. Скажи, что мы приглашаем. У нас, между прочим, будет довольно шикарно. Справляем у Жоры, у них собственный дом.

Нельзя было нанести Нельке такую обиду — не прийти на ее свадьбу,— добродушной Нельке, с которой росли вместе, которая латала ему бельишко и поверяла свои секреты. И опять предстоял потерянный вечер — без Зои, но зато почти весь вторник Севастьянов провел с ней вдвоем, возмещая предстоящую потерю. Они взяли лодку и поплыли на *свой* берег, в те заветные, горячо-песчаные, медово залитые солнцем места. В будний день там было как на необитаемом острове. Только их голоса звучали под синим небом, когда кому-нибудь приходило в голову что-нибудь сказать. Прожив в тишине и счастье этот необыкновенный, синий, бездонный день своей жизни, к вечеру Севастьянов с Колей Игумновым, с подарками и букетами, на извозчике — Коля не захотел идти пешком — ехал в Балобановку.

Собственный дом, в котором справлялась свадьба, был таким, как большинство балобановских собственных домов: «зала», спальня, кухня. В этих трех коробочках ухитрилась поместиться сотня человек, и не только пить и закусывать, но и танцевать. Две гармони играли в очередь без передышки. Танцоры на расчищенном посреди «залы» пятачке как заведенные выбивали чечетку, припадочно тряся плечами: цыганочка входила в моду, парень в Балобановке не считался парнем, если не умел плясать цыганочку; на свадьбе лучшие танцоры показывали свою квалификацию. Они были в наутюженных брюках, сужающихся к щиколотке, в желтых франтовских туфлях с широким рантом, волосы у всех зализаны назад, и на всех длинные, до колен, белые кавказские рубашки мягкого шелка, с высоким воротом и застежкой из мелких пуговиц — до самого подбородка; талии перетянуты узкими поясами с серебряным набором. (Здешние ребята вырабатывали свои моды. Когда при белых Васька Егоров, сын извозчика, стал носить черненое кольцо с фальшивым брильянтом, то многие парни кинулись раздобывать себе такие же кольца.) «Приоделась Балобановка,— подумал Севастьянов, видя кругом добротно одетых людей,— дела в гору пошли». Впрочем, те, у кого не было хорошей одежи, на свадьбы не ходили: народ в поселке жил самолюбивый.

За столами, оттиснутыми к стенам, сидели тесно, обливаясь потом от духоты. Самогона, браги, пива, вина было разливанное море. Закуска тоже щедрая. Горячие пироги подавались со двора через окна, открытые в багровую закатную пыль. Дядька Пимен, сидевший в почетном углу с тетей Маней и жениховой родней, пел песню, силясь всех перекричать, а тетя Маня кричала на него, угрожая разводом. Все громче и неразборчивей становился гомон. В говоре и выкриках тонул, пропадал дробно-бедовый перебор гармони. Нелька, гордая, довольная, скуластенькая, причесанная у парикмахера, в белом платье и фате с восковыми цветочками, сидела между Севастьяновым и Колей Игумновым и рассказывала им, что можно купить обстановку в кредит, с рассрочкой, и что если Жора, бог даст, поступит на завод, то у нее будет зеркальный шифоньер. Коля, красивый, ослабевший от выпивки, с взмокшими и перепутанными над лбом белокурыми волосами, брал Нельку за руку и говорил задушевно:

— Не надо, Нелли. Не надо про шифоньер. Вы лучше скажите, когда я вас буду рисовать. Почему мы не встретились раньше?

А перед ними, задумчиво на них глядя, выбивал чечетку и тряс плечами Нелькин муж. С руками, повисшими

как плети, с тощей вытянутой шеей, в кавказской рубашке, застегнутой до самого его маленького круглого смуглого ребячьего личика, плясал он и трясся, неутомимый, прямой, как деревянная кукла. Когда кричали «горько», Нелька вставала, целовала его и возвращалась, цепляясь фатой за стулья.

— Нелли,— говорил Коля,— я тебя не понимаю, как ты можешь его целовать.

— Коля, что вы говорите,— отвечала Нелька.— Вы не должны говорить, Коля.

Севастьянов пил нехотя и думал о Зое. Она отказалась пойти с ним на свадьбу. Отнекивалась шутливо, придумывая всякие отговорки, и вдруг сказала резко, со слезами в голосе: «Да ты что, слепой, не видишь — мне же не в чем идти! Что мне за удовольствие быть хуже всех!» Он поразился он никогда не думал, что она может считать себя хуже всех и страдать от этого, она, беспечная и лучезарная, избалованная любовью и знающая себе цену. У него открылись глаза. Мужской стыд обжег лицо. Сидел писал письма... Нет чтоб подумать о ней по-настоящему, как о близком человеке,— что у нее есть и чего нет и что ей нужно.

— Не сердись на меня!— сказал он.— Я дурак! Мы сошьем платья! Ах я дурак! Ты же так все это любишь. Всякую чепушинку любишь. Бусы из ракушек... Скажи,— спросил он, становясь все более зрячим и с этой новой зрячестью уверенно вступая в мир, где обитала она со своими желаниями, со своей женской, детской, странной и важной сущностью,— ты в балетный кружок не для того ли записалась, чтобы надевать разные наряды и шарфы, правильно я сейчас подумал? Скажи.

— Да-а,— прошептала она.— Только не говори никому.

— Я вспомнил одну вещь. Это прошлым летом. Ты хотела лакированные туфельки. Так у тебя и не было лакированных туфелек.

— Не было...

— Купим туфельки. Я как зверь буду работать. Я сколько хочешь могу работать. Это я сейчас развинтился, пишу не то, что надо, пишу тебе письма.

Она прижалась к нему.

— Пиши мне письма. Я люблю твои письма.

— Хватит. Больше не буду писать письма. Буду дело писать.— Он быстро соображал, как заработать побольше.— Как раз начались отпуска, за всех отпускников буду работать. А сам в отпуск не пойду, возьму компенсацию — сразу мы с тобой разбогатеем.

И — губами трогая шелковистые волосы на ее затылке:

— Только во вторник еще погуляем, хорошо?

Он сильно устал в этот вторник, проведенный на необитаемом острове. Попав с необитаемого острова в гам, звон и мельканье свадебной пирушки, с трудом заставлял себя проделывать что требуется: разговаривать, чокаться, улыбаться. Пить он не привык, а тут все время подливали в рюмку и провозглашали тосты, и как он ни крепился — «зала» пошла ходуном, туман заволок глаза... Туман разошелся: была ночь, горели керосиновые лампы, много жарких слепящих ламп, за столом поредело. Севастьянов поднялся и, раздвинув чечеточников, пошел к выходу В кухне танцевали падеспань; на сундуке спал Коля Игумнов, подтянув к подбородку длинные ноги. Посреди двора, в падающем из окошек свете, одиноко стояла Нелька, белея венчальным нарядом.

— Будь здорова,— сказал Севастьянов.— Желаю тебе всего.

— Если б ты родной был брат,— сказала она,— ты б меня познакомил раньше. Ты бы не допустил, чтоб я за Жорку вышла мимо своей судьбы.

— Ты выпила,— сказал он.— Это же все трепотня. Он утром не вспомнит, что молол. Уезжай, Нелечка, в Горловку.

И, погладив ее по голове, направился знакомой дорогой.

В черноте, набитой звездами, шел и думал бодрые думы. Скоро начнет светать. Наступит день, трезвый, рабочий. Да здравствуют трезвые рабочие дни! Приду к Акопяну, нагрузите меня, скажу, хорошенько, мне очень надо. Ввиду особых обстоятельств. «Особых» или «семейных»? «Особых». И ты увидишь, Зоя! Этого разложения, чтобы в рабочее время уплывать на необитаемые острова и писать малахольные письма... С этим кончено. Увидишь. Они все зарабатывают своим женам на платья и всякое там барахло,— а я, неужели не заработаю? Это же счастье — заработать для тебя... Сколько все мы тратим времени на гулянье, дуракаваляние, разговорчики, пение песен,— ужас сколько времени. Разболтанность. Безответственность. А еще о вузе мечтаю. При таком образе

жизни и рабфака не одолеть. Бесхарактерность: зовут гулять — идешь, наливают тебе самогона — пьешь эту отраву... Чего пил? Ну, чего пил? Ведь от души воротило... В девятнадцать лет — что я сделал? Ни черта. Тот же Илья Городницкий сколько уже успел, ■ на много ли он старше?..

Чернота светлела, звезды меркли. Вошел в город — уже только одна звезда легко и алмазно висела на востоке над крышами окраинных хибарок, все было серого цвета и неподвижно. Акации стояли погруженные ■ сон. Трубы не дымили. Спал сидя сторож на лавочке возле маслобойного завода. Два-три прохожих, должно быть загулявшие, как и он, за весь путь повстречались Севастьянову. Он сделал крюк, свернул на Первую линию. Отсвечивали камни пустых крылец. Мимо подворья, где жила Зоя, прошел он, мимо ворот с низенькой калиткой. «Я тут, я снюсь тебе?..» Хотел войти во двор, но не решился: собаки забрешут по всей Первой линии. Рядом, у Зойки маленькой, жалюзи были опущены наглухо. Севастьянову вспомнилось, что в этот вторник, который только что минул, Зойкиному отцу, Василию Ивановичу, должны были делать операцию. «Ну, если спят, верно все благополучно»,— подумал Севастьянов, проходя,— ему не хотелось думать о печальном.

Чуточку зарозовело небо и по деревьям пробегал шелест пробуждения, когда он добрался домой, предвкушая, как сладко сейчас уснет. Во дворе, как и всюду,— ни души, безмолвье. Грохот его шагов по наружной железной лестнице должен был, казалось, разбудить весь квартал. Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь. Этот кто-то спал, закутавшись в серый платок и прислонясь к перилам,— Зоя! Зоя у его двери! Как мог тише — чтоб не испугать — поднялся он к ней. Лицо ее было закинуто к розовеющему небу; губы приоткрыты. Он осторожно сел рядом. Осторожно обнял. Она открыла непонимающие глаза и закрыла снова.

— Зоя! — прошептал он.

Она устроилась удобней у него на груди и сонно задышала.

— Проснись! Пойдем! — будил он шепотом и покачивал ее в руках.— Проснись! Как же ты?.. Могла сорваться... убиться...



— Это ты!— сказала она, проснувшись.— Я к тебе пришла.

— А я был на Первой линии. Разговаривал с тобой, а ты тут!

— Ты был у нас? У моих?

— Да нет. Я прошел мимо. Знал бы ■ — вот балда! Ты давно тут?

— Не знаю. Наверно, не очень. Не знаю. Я ходила по улице...

— Какая ты умница, какая удивительная, что ты тут!

— Он выгнал меня. Он сказал, чтоб я... чтобы я девалась куда хочу.

Она залилась слезами в его руках.

Он смотрел на нее, покачивая. Все было как сон. Розовое небо и сквозная железная лестница, повисшая над пустым двором. И они двое на вершине лестницы.

— Но он же замечательно сделал, что выгнал тебя. Он просто ничего гениальнее не придумает за всю свою жизнь. Я его обожаю за то, что он тебя выгнал! Я не знаю, как его благодарить! Давно бы ему догадаться это проделать — выгнать тебя, чтоб ты пришла ко мне, где же быть тебе, если не со мной, а? Скажи.

Он говорил ей в ухо и прикладывал губы к этому маленькому уху, распылавшемуся от слез, и старался рассмешить ее и успокоить, и ни о чем не спрашивал, чтобы не растравлять ее обиду,— никогда ни о чем он не спрашивал, она была свободный человек, ее любовь была — прекрасный дар.

— Мы еще долго тут будем сидеть, как ты думаешь?— только это спросил он под конец, и она засмеялась. До чего становилось весело, когда она смеялась и смеялись ее глаза, еще полные дрожащих слез, в мокрых ресницах и уже ликующие, ее глаза — черные зрачки в золотистокарем ободочке, голубой белок и по маленькому Севастьянову в каждом зрачке.

Он открыл своим ключом дверь черного хода. Остерегаясь разбудить ведьм, тихо прошли они через кухню в свою комнату.

Часа два он проспал глубоким сном и проснулся разом, словно его встряхнули. Встряхнула мысль: «Еды ни крошки; когда она ела вчера? Она проснется голодная». С гордостью и нежностью, которых раньше не знал, посматривал на нее, одеваясь. Обшарил карманы, собрал все свои деньги, мятые бумажки, сосчитал... Она спала. Ее старый серый вязаный платок, порванный во многих

местах, висел на спинке кровати. Перед тем как уйти, он взял этот платок и укутал ей ноги поверх одеяла. Не потому, что она могла озябнуть; она не могла озябнуть в это теплое утро; а потому, что ему теперь необходимо стало укрывать ее, кутать, заботиться о ней.

## 38

Брат и мать считают ее своей собственностью. Так понял Севастьянов из ее объяснений. Многое он предпочел бы не знать. Упоминание о Щипакине было как обухом по темени, но Зоя хотела объяснить, какие отношения у нее сложились в семье, почему она вынуждена была уйти. Когда она собой ради них пожертвовала, они решили, что так всегда будет; что они будут распоряжаться ею как своим имуществом.

До революции они жили под Петроградом, в деревне Пудость. Отец держал маленькую, совсем маленькую, крохотную гостиницу; без вывески даже, но ее знали; в нее приезжали парочки на одну ночь — из шикарных мест вроде Царского, Павловска,—«иной раз такие офицеры приезжали и с такими дамами, ты даже не представляешь, как эти дамы были одеты и какими от них пахло духами!» Отец умер. От войны и голода они уехали на юг к бабушке. Зое было тогда двенадцать лет. Бабушка тоже умерла У нее тоже все пропало.

— Мы ужас до чего нуждались. Меня кормили у Зойки, а его и маму никто ведь не кормил. И его не хотели принимать никуда, считали, если горбатый — значит, слабый, вечно будет на бюллетене. Мы бы просто пропали, если бы он не устроился на работу.

Мать жалеет горбуна и слушается, Зою она не любит и ругает. А горбун Зою ненавидит. Он всех здоровых ненавидит за свое уродство.

— Правда, он думал — Толя женится.— Она мерзавца Щипакина называла Толей.

— Перестань!

— А вчера я сказала что не выйду за этого... за которого они хотят, чтоб я вышла. У него фруктовый магазин на Садовой. Он...

— Перестань! Больше ты к ним не пойдешь. Все кончено, не думай, забудь.

— Как же я не пойду, там все мои вещи, надо забрать.



— Какие у тебя вещи.

— Ну все-таки. Я же совсем без ничего. Выбежала — платок схватила...

— Хорошо, я заберу. Тебе туда не для чего ходить.

— Нет, тебя я не пущу. Ты ненормальный.

— Не бойся, я его не прихлопну. Я не хочу сидеть в исправдоме. Слишком много у меня есть, чтоб я от всего отказался и сел в исправдом.

Он пришел к ним, когда горбун был на работе. Зоина мать месила тесто, босая, с волосами, кое-как сколотыми на затылке гребенкой, руки выше локтя в муке.

— Я за Зоиными вещами,— сказал Севастьянов.

— Она где же?— отрывисто спросила женщина.

— У меня,— ответил он.

Она вытерла руки тряпкой и пошла собирать одежки, валявшиеся здесь и там. Убого, грязно! Вокруг плиты просыпан штыб. Возле кровати лежал среди щепок топор. Женщина обходила его так, словно это было его постоянное место, словно так и следовало топору лежать возле кровати. В кривое оконце, расположенное низко над полом, видна была земля, залитая мыльными помоями.

«За этот стол она садилась,— думал Севастьянов,— здесь по утрам открывала, проснувшись, глаза... И хоть бы что-нибудь, кроме помоев, было видно в оконце, я всегда считал, что у них, наверно, еще хуже, чем в Балобановке, там по крайней мере небо кругом, простор, а здесь все стиснуто... Выходила отсюда за стихами, за танцами, за радостью, а возвращалась-то обратно в этот куток, к братцу и к мамаше...» В жилье пахло какой-то гнилью, как из старой бочки. Головой Севастьянов почти касался потолка.

— Пользуешься!— сказала Зоина мать и швырнула ему узелок. У нее были отекшие щеки и мешки под глазами, но глаза красивые карие, брови длинные, и Зоя и проклятый горбун были похожи на нее.— Пользуешься, сволочь, что человек обиженный, что силы у него нет добраться до твоей ряшки!

Севастьянов взял узелок и вышел. С многочисленных крылечек, из окошек с геранями жители подворья смотрели, как он идет по обставленному лачугами дворику, шагая через мыльные лужи.

На улице под акациями мальчишки играли в айданы, они кричали, как воробьи. Жалюзи на доме Зойки маленькой были опущены по-ночному — наглухо. «Надо справиться о Василии Иваныче. Совестно не зайти, рядом

был и не зашел. Зойки и Анны Алексеевны, должно быть, дома нет, ну у бабушки узнаю». Севастьянов поднялся по горячим от солнца камням и нажал белую пуговку звонка. Звонок отчетливо прозвучал за дверью; но никто не вышел, и раз и другой. «Может, они во дворе». Калитка была заперта. Севастьянов постучал.

Мальчишки, игравшие в айданы, обратили на него внимание и, отвлекшись от своего дела, сказали ему:

— Эй, ты! Чего ломишься! Они в больнице все! У них хозяин помирает!

39

Еще раз он побывал на Первой линии — уже после смерти Василия Ивановича.

О смерти узнал не сразу и на похоронах не был.

Шел и боялся, думал: будет плач, рыданья. Увидят его и заплачут в голос. Станут рассказывать, как мучился, что говорил. И какими словами утешать, разве их можно утешить?

В эгоизме своего счастья он не желал печали, не желал боли, причиняемой жалостью, желал нераздельно принадлежать своему счастью. Шел потому, что как же не пойти — не по-людски, не по-товарищески...

Зеленые жалюзи были подняты, сквозь них белели занавески.

Отворила Зойкина бабушка: глянула через цепочку — кто там — и впустила. На робкое «здравствуйте» Севастьянова ответила густым голосом, ободряюще:

— Здравствуй, зайди,— и важно покивала головой, как бы говоря: «Да, такие у нас обстоятельства, что же делать, тут уж ничего не поделаешь».

Она сказала, что Зоечка занимается во дворе. Он прошел через комнаты и кухню,— все было на прежнем месте, аквариум, пианино, цветы, полки с сияющими кастрюлями. Тот же пол, как свежим лаком покрытый, и дорожки от двери к двери — без единой морщинки. Будто никто не ушел из дома навеки. «Как странно»,— думал Севастьянов. Он бы счел более закономерным, если бы нашел в доме упадок и хаос, и среди хаоса они бы лежали замертво.

У Зойки оказалась целая компания — два парня и две дивчины, все незнакомые. Они сидели под черешнями на разостланном рядне, кругом были разложены книги, тетради, листочки. Зойка сразу увидела Севастьянова, выходящего из дома, и смотрела на него пристально, не вставая,— по ее лицу двигалась пестрая сетка теней и солнца, и он не мог разобрать выражения этого маленького похудевшего лица, неподвижно обращенного к нему... Это длилось несколько секунд, не больше. Отложив книгу, она встала ему навстречу. Судорога прошла по ее горлу, точно она что-то проглотила с трудом; но она не заплакала.

— Здравствуй, Шура.

— Здравствуй, Зоечка. Как живешь?

Он готов был убить себя, уничтожить на месте за этот вопрос! Но, честное слово, это сорвалось с языка от растерянности и беспомощности перед ее горем.

И она это поняла, как понимала все с ним происходящее всегда, всегда. Ей, кажется, даже понравилось, принесло ей облегчение, что он приступает к разговору так обыкновенно, буднично,— словно никто не ушел навеки.

— Вот, немецким занимаемся,— ответила она.— У нас у всех с немецким так плохо, что хуже некуда. Знакомься.— Она назвала какие-то имена.— А это Шура, мой товарищ детства.

Ребята недовольно посмотрели снизу на Севастьянова. Он сказал:

— Я помешал вам.

— Немножко,— согласилась Зойка.

Она стояла, сложив на груди руки и держа себя за локотки. Губы у нее были бледненькие, голубоватые от бледности. И вообще выглядела как после тяжелой болезни.

— Пойдем, пусть они занимаются,— сказала она и пошла впереди, все так же крепко ухватив себя за локти.

— Я тебя еще не поздравляла,— сказала она не оборачиваясь.

— Спасибо, Зойка.

Он ждал, что Зойка спросит: «Почему она не пришла?» Но Зойка не спросила.

Зоя не захотела с ним пойти, сказала: «Ну, на Первую линию мне теперь дороги закрыты»,— Севастьянов понял это так, что ей там невозможно показаться после того, как родные ее прогнали. Но по Зойкиному молчанию он догадался, что есть и другая причина. Рассорились, что ли?

Или то, что одна счастлива, когда другую постигло несчастье, стало стеной между ними?

— Поздравьте Шуру!— сказала Зойка, вводя Севастьянова в комнату, где ее мать и бабушка сидели друг против друга: бабушка торжественно держала перед собой поднятые руки с распяленным на них мотком шерсти, а Анна Алексеевна сматывала шерсть в клубок быстрыми ловкими движениями.

— Они с Зоей поженились, поздравьте его.

Анна Алексеевна обернулась и уколола его острым взглядом. Бабушка с воздетыми руками многозначительно покивала головой, как бы говоря: «Да, да, такие обстоятельства, тут уж ничего не поделаешь». Они продолжали свое занятие. Стоя возле них, Зойка сказала:

— А я поступаю на работу.

Он знал, что после смерти отца она станет во главе семьи — работница и заботница, ответственная за себя и за этих двух старых женщин.

— Иду учить детей. Меня принимают в железнодорожную школу, в первую ступень.

— А педфак?

— Думаю — окончу. У нас большинство и учится и работает.

— Нелегко!— посочувствовал Севастьянов и покраснел — до того неуклюже прозвучало слово сочувствия. Что ни скажешь — все не то и не так.

— Что же Зоя не приходит? — тихо спросила Анна Алексеевна.— Ходила, ходила...

— Мама! — сказала Зойка и положила ей руку на плечо. Но Анна Алексеевна продолжала, голос у нее срывался от ненависти:

— Пять лет ходила. Что ж перестала? Когда нам хорошо — она здесь, а когда...

Быстрыми движениями она мотала шерсть и светлым, яростно разгорающимся взором вонзалась в лицо Севастьянова, подавшись вперед,— он даже отступил на шаг перед этой ненавистью, которую так неприкрыто выражала ему тихая женщина, прежде спокойная и приветливая. Ясно — ее ненависть вытекает из заблуждения насчет Зойкиных чувств ко мне, подумал Севастьянов. Ему стало тяжело от этого заблуждения, тяжело за ничего не подозревающую Зойку и за Анну Алексеевну, что она мучается, что она придумала себе еще это горе... Все же он тогда не мог угадать подлинных размеров ее ненависти. До конца своих дней ненавидела его Анна Алексеевна; до гроба не простила ему того разговора в клинике, у постели умирающего; и Зои ему не простила. Беды, постигавшие его впоследствии, она воспринимала как расплату; и все ей было мало, все, казалось ей, он недоплатил. И любовь к дочери никогда не могла заставить ее, исступленную мать, говорить с Севастьяновым по-доброму и смотреть на него иначе, как этим пронзительно светлым колющим взглядом.

— ...а когда плохо нам — ее нет,— выговаривала она с болью.

— Мама! Мамочка! — укоризненно повторила Зойка, а Севастьянову сделала властный знак — молчи, не отвечай.

— Зойка! — заорали во дворе.— Зойка!

Зойка выглянула в открытое окно, крикнула: «Сейчас приду!» — и вернулась.

— А через несколько дней,— сказала она, гладя мать по спине,— мы с мамой уезжаем в Ейск. Договорюсь окончательно насчет работы, и сейчас же мы уедем. На все лето.

Это прозвучало предупреждением: не трудись приходить, меня здесь не будет.

«Такие обстоятельства»,— подтвердила бабушка, покивав головой.

«Я им ни к чему; уходить надо». Трудно было стоять столбом посреди комнаты —«сядь» никто не сказал. Он виноват, конечно, он тоже, как Зоя, не был с ними в их черные дни, Зойка маленькая разочаровалась в его дружбе и хочет, чтоб он ушел. Раньше она этого не хотела. Но мало ли что было раньше, отношения разладились, у каждого теперь своя жизнь, они не находят, что сказать друг другу... Зойка умолкла, у нее усталый вид. Она от него устала, от его немоты, неуклюжести, ненужности. Ей хочется к тем под черешнями, она им крикнула: «Сейчас приду».

— Значит, так.

— Значит, так.

— Помочь чего-нибудь не надо? С поездкой. Упаковать, проводить...

— Спасибо, ничего не надо.

— Ну, до свиданья. Будьте здоровы. Хорошо съездить вам.

— Будь здоров,— покровительственно сказала бабушка.

Через тихие чистые комнатки, полные зеленоватого — от жалюзи — аквариумного света, Зойка проводила его до парадной двери. Он шел, радуясь, что уходит из дома, где не знаешь что говорить, где одни тебя ненавидят, а другие к тебе равнодушны... Но когда прощались [redacted] передней — вдруг ощущение утраты охватило его, такое тревожное, что он не сразу выпустил ее руку, хотя она и глядела на него далекими глазами.

— Зойка! Слушай! Я страшно хочу, чтоб ты скорей успокоилась. Чтоб тебе было хорошо. Ты знаешь, правда же — я по-настоящему хочу, чтоб тебе было очень хорошо! Слушай, пожелай и ты мне... Ты даже не сказала, что ты об этом думаешь.

— Да, я хотела сказать,— торопливо произнесла она,— [redacted] забыла сказать — [redacted] рада, что Зоя ушла наконец из семьи, сколько раз [redacted] говорила — уходи. Мы звали ее жить к нам, но они не позволили... Я рада... Она веселая?

— Да.

— Ты ее любишь.

— Да.

— Она прекрасная.

— Правда?! Правда?!— переспросил Севастьянов в восторге от ее одобрения.

Бледные губы бледно улыбнулись его восторгу.

— Ты так счастлив,— сказала Зойка маленькая,— что тебе прибавят мои пожелания? Будь счастлив всегда, как ты счастлив сейчас.

И он переступил этот порог и захлопнул за собой дверь. И зеленые жалюзи, сощурясь, смотрели искоса, как он уходит по солнечной улице.

## 40

Ведьмы стали очень прилично обращаться с Севастьяновым после того, как Семка Городницкий переселился к брату. «Кто же его брат?»— спросили они; ответ подействовал волнующе. Каким-то образом ведьмы узнали и о квартире с казенной обстановкой, и о Семкиной поездке на курорт (не иначе — подслушивали под севастьяновской дверью); и, кажется, им вообразилось, что Севастьянов тоже этакий заколдованный принц, что ли,— живет-живет в полупустой комнатушке, умывается над кухонной раковиной, [redacted] потом и за ним вдруг явятся короли и королевы и уведут в шикарную квартиру с казенной обстановкой... Они даже стали говорить Севастьянову «здравствуйте», и он им отвечал благодушно, он был парень уживчивый.

Но стала приходить Зоя, и они опять выпустили свои когти. Севастьянов терпел. Когда же Зоя совсем к нему переселилась, он вышел [redacted] их бушующий курятник и произнес небольшую речь:

— Это моя жена. Прошу нам выделить место, чтобы мы могли поставить наш столик и примус. Нападки прошу прекратить, чтоб мы их больше не слышали.

Его ведь не было дома почти целый день, он должен был обеспечить Зое спокойное существование.

И ведьмы присмирели, они поняли, что он уже не мальчик, но муж, на них произвела впечатление его уверенность. Окончательно же приручила их Зоя. Кого угодно умела она очаровать! Не прошло и недели, как ведьмы ей уже улыбались и угощали пирожками.

— Вот черт. Как ты добилась?

— Я не добивалась. Я не понимаю, что вы нашли в них страшного. У нас на Первой линии куда скандальней были тетки. Эти мне рассказывают свою жизнь...

— Может быть, дело [redacted] том, что мы с Семкой их не просили рассказать нам свою жизнь?

— Очень может быть,— ответила она убежденно.— Им же надо кому-то рассказывать. А друг другу они давно рассказали [redacted] спели.

— Спели?

— Да. Эта, которая носит валик на голове, Ольга Кирилловна,— она мне поет романсы, которые пела в молодости.

— А инвалиды тебе тоже поют?— спросил он смеясь.

Она и с инвалидами подружилась, и они с ней раскланивались и заговаривали приятельски, и играла и бегала по двору с Дианой, собакой Кучерявого.

Собака прижималась к ее ногам и заглядывала ей в лицо.

Люди и собаки льнули к ней.

Севастьянов был здорово загружен. Акопян отнесся к его просьбе чутко — завалил его работой выше головы; [redacted] ячейке приходилось замещать секретаря, молодого печатника, ушедшего в отпуск. Но, несмотря ни на что, раз-другой в день Севастьянов забегал домой проведать — как там Зоя; увидеть ее, услышать, увериться, что все обстоит так же, как три часа назад... Все обстояло так

же и даже еще лучше. И полно событий было начало лета.

Он вел ее на базар, чтобы накормить. Вел за руку, как ребенка. Над степью пролетала в это время гроза, краем зацепила город; докатывались ее раскаты, дождь шел, а солнце продолжало сиять. Они не спеша беззаботно шли под теплым дождем. Ее темные кудри намокли и стали почти черными. Платье облепило плечи. И на губах была влага дождя, когда он поцеловал эти губы. Навстречу шли с базара молочницы, гремя пустыми бидонами, и смотрели на них с негодованием, которое их смешило.

Пришли на базар, он ее кормил своими любимыми кушаньями. После всего купили клубники и ели ее на ходу, такое было удовольствие — выбирать для Зои самые крупные ягоды. Почему-то им необходимо было наточить нож. Лакомясь клубникой, промокшие до нитки, они искали точильщика. Тот стоял под навесом рыбного ларька, где гирляндой висели на веревке копченые рыбцы такого цвета, как начищенный самовар. Точильщик точил нож, бенгальскими звездами слетали с точила искры. В соседнем ряду торговали свежей рыбой: длинным валом было навалено животрепещущее мокрое серебро. Серебро дождя поливало эти груды сулы, чебака и сазанов, перламутровые глаза и дышащие жабры на малиновой подкладке...

В другой раз их настигла настоящая гроза, они пережидали ее, вместе с другими прохожими, в чьем-то темном парадном. Когда грохот ливня и грома утих, вышли на добела умытую улицу. По мостовой, в гребнях пены, скакал поток. Пришлось разуться. Севастьянов засучил брюки. Босиком перешли они бурный поток, неся обувь в руках. И смеялись, все им было смешно.

Тем ножом она порезала палец. Как он испугался! — до холода в спине — при виде крови. От испуга накричал на Зою: голова садовая, надо же помнить, что нож наточен! Он видел кулачные бои, сам, пацаном, в кровь бился с пацанами; но здесь была *ее* кровь, бегущая струйкой из *ее* пальца, из продолговатой, как виноградина, подушечки ее пальца...

Покупали материю на платье. Она вошла в магазин с благоговейным выражением. Тихим взволнованным голосом сказала продавцу: «Покажите, пожалуйста, маркизет»,— старик продавец понял, что случай чрезвычайный, огромный, и отнесся к ней так внимательно... Осторожно щупала, перебирала, поглаживала ткань ласковыми руками,— один палец был перевязан белой тряпочкой...



Ходили в кино (тогда оно называлось «биограф»); смотрели «На крыльях ввысь», и «Банду батьки Кныша», и американские картины с ковбоями и погонями, и старые картины с Верой Холодной — неправдоподобная жизнь в особняках и виллах, любовные измены, адская ревность с смертельным исходом. Что бы они ни смотрели, они ежеминутно целовались, словно им больше негде было целоваться, кроме как в биографе, в сумраке сеанса. И руку ее он крепко держал в своей, кто бы там на экране за кем ни гнался и кто бы ни травился.

Бывали в театре и на концертах, она все это любила еще больше, чем он. «А куда мы пойдем сегодня?— спрашивала.— А куда пойдем завтра?» В молодежный летний клуб пошли два раза и перестали ходить: там мелькало желтое больное лицо Спирьки Савчука и на всех аллеях, куда ни сверни, болтал, резвился, вертелся перед девчатами нарядный, пропахший кожевенным запахом, розовый и миловидный, как девочка, Ленька Эгерштром. Савчук отворачивался, а Ленька позволял себе как-то очень странно посматривать на Севастьянова, очень обидно, с сожалением,— этот пижон! И что еще странней и обидней: Севастьянов не отваживался подойти и спросить — «ты почему так смотришь?» Его щеки тяжко горячели от Ленькиных взглядов, он слышал, как Зоя, идя рядом, начинает хохотать без причины нервным хохотом, который ему не нравился и был непохож на ее настоящий смех,— и он говорил: «Уйдем». Зоя, видя его настроение, сказала, что в молодежном клубе скучно и ей надоели мальчишки.

И без молодежного клуба можно было хорошо провести вечер. В гостеприимный теплый город приезжали из Москвы на гастроли театры, певцы, музыканты. Контрамарки всегда удавалось достать через редакцию.

Был один концерт... По глупости и серости Севастьянов не поинтересовался фамилией певицы. Когда объявляли, не слушал, а после не догадался заглянуть в программку — узнать, как звали человека, который, явившись ему однажды и мимолетно, запомнился на всю жизнь. Немолодая, сухая, высокая, острые локти, большие руки. Большой рот становился удивительно красивым, когда она пела. А пела она о любви Севастьянова, только о любви Севастьянова, ни о чем другом; и пристально,

казалось ему, глядела на него близко посаженными темными глазами, и он ей улыбался смущенно-благодарно, тронутый ее сочувствием, ее совершенным пониманием того, что в нем делается. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...— торжествующе пела она, это было молодое, первое торжество Севастьянова,— во тьме твои глаза блистают предо мною»... «Я чего-то так робко, так трепетно жду»,— пела она потом иначе, медленно, пригашенно, как сквозь дымку, это Севастьянов рассказывал о нынешнем своем постоянном ожидании нового и нового потрясения счастьем. Темные, близко посаженные глаза глядели на него умно и задумчиво. «Она знает!— думал он, полный ответного понимания.— У нее это было тоже!» И хотя, например, слова романса «Редеет облаков летучая гряда» не подходили к его состоянию, но дело ведь не обязательно в словах, дело в том, как спеть, в музыке, усиливающей тревогу, порыв ожидания. И словно подытоживая то, что носил в себе Севастьянов, женщина пропела негромко: «Открылася душа, как цветок на заре»,— и началась ария Далилы, ария, которую с тех пор и навсегда не может услышать Севастьянов без того, чтоб не дрогнуло в нем что-то и не увиделся зал, рояль высоко на эстраде, и белое платье певицы, и сам он, напряженно слушающий повесть своей любви. «От счастья замираю! От счастья замираю!»— пел, заполняя зал, распахнутый ликующий голос,— Севастьянов замер и закрыл глаза.

Потом думал: что за контакт с незнакомым человеком, что за нитка вдруг натянулась между ними.

Конечно, она не на него смотрела, у нее глаза такие, немного скошенные, кажется, что смотрят на тебя. А нитка все-таки натянулась.

До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание.

Много добра накопили люди, думал Севастьянов. Зданиями, словами, чувствами обстроили и заселили землю. И как прекрасно — к тому, что накоплено, приложить свою часть, думал он.

Не просто быть и исчезнуть, а оставить после себя что-нибудь достойное быть сбереженным. Достойное быть унесенным в перспективу веков! Какая высокая судьба!..

...А пения такого он больше уже не слыхал, хоть и переслушал за свой век несчетное число певцов и певиц.



## 41

Севастьянов писал в редакции. Вошел Кушля. С порога уважительно оглянув пишущих репортеров, прошел к севастьяновскому столу, сел и развернул газету.

— Я сейчас!— сказал Севастьянов.— Заканчиваю!

Они по телефону уговорились, что Кушля зайдет за ним в редакцию и поведет показать сына.

Кушля сидел, важно хмурясь, и делал вид, что читает. Но он не мог скрыть свое праздничное настроение, оно разглаживало складки между его бровями, расправляло все его мятое лицо и разливалось вокруг него сиянием. Он был побрит и густо присыпан пудрой — парикмахер Иван Яковлевич пудры не жалел.

— Замечательная вещь!— сказал он мечтательно, когда они шли по улице.— Ты не поверишь: ручки, ножки,— дорогой товарищ: копия моих! Ну, не поверишь: ноготки моего фасона!— Он любовно посмотрел на свои ногти и показал их Севастьянову.— Такой ноготок, что его почти и не видно, а отлит по этой самой форме, в точности. Глазки голубые: тоже мои; у Лизы серые. Одним словом: мы с ним как две капли воды. Смотрю на него — и веришь: реву. Я, как ты знаешь, крепкой породы, а тут реву и реву. Самому смешно. Ей-богу. Вообще, скажу я тебе: жизнь — хорошая штука!

— Спрашиваешь.

— Хорошая штука. Она тебе, конечно, иной раз такую пакость преподнесет, что даже удивляешься — откуда столько на твою голову... но и награждать умеет. Умеет! И я заметил — уж когда она возьмется награждать, то награждает щедро, надо ей отдать справедливость,— на тебе одно, на другое, на тебе третье!.. Я сына хотел: родился сын. Десять фунтов с четвертью — не каждый, учти, ребенок имеет при рождении такой вес... Теперь — ты послушай — предстоит мне наконец желательная перемена, ну ты знаешь.

— Да что ты! Поздравляю!

— Да. Мне эта петрушка, понимаешь, надоела, что я пишу, они читают, а дело ни с места. Я пошел к Дробышеву. Говорю ему — товарищ Дробышев, у меня желание работать в прессе. Вот, говорю, я тебе почитаю. Он говорит — оставьте, я сам прочту. Нет, говорю, читай тогда при мне. Немножко с ним поспорили. Но потом я оставил, и вот сейчас был у него за ответом. Я тебе скажу — он партиец настоящий. Акопяну что главное? Ему главное —

как написано. Каждое слово перебирает и придирается. Можно лучше написать, можно хуже. У одного большой талант, он, ясно, лучше напишет, у другого талант немножко меньше — он напишет немножко хуже. А Дробышев смотрит в самую суть, он смотрит: кто писал.

— И что он сказал тебе?

— Он привел мудрую пословицу: терпенье, говорит, и труд все перетрут. В данный, говорит, момент не могу вам ничего предложить, но вот с осени будет у нас сельская газета, по типу центральной «Крестьянской газеты», мы вас туда устроим. Я, говорю, хочу такую должность, чтоб меня печатали. Ну что ж, говорит, будете разъездным корреспондентом, селькоровское движение будете организовывать, это одно с другим связано. Поскольку, говорит, вижу я, вы знаете деревню. А то мне не знать деревню!.. «Советский хлебороб» будет называться газета.

— По-моему, Андрей, это очень тебе подойдет!

— Что значит подойдет — можно сказать, превосходит самые смелые фантазии. Разъездной корреспондент!

— А насчет жилплощади не говорил с ним?

— Говорил. Обещает. Не сразу, но до зимы обещал устроить что-нибудь. Уж это точно, заметь: если начнет получаться, то подряд все получается. Как по щучьему веленью... Обязательно, сказал, что-нибудь вам с семьей устроим. С семьей! Слышишь?— сияя, спросил Кушля и ткнул Севастьянова локтем. И вдруг глубоко помрачнел.— Да, а с Ксаней-то не решена проблема. И покамест я эту проблему не решу, будь уверен, пусть мне Дробышев хоть всю редакцию, понимаешь, под жилье дает, я из своего угла не выйду и с семьей не объединюсь, потому что это будет с моей стороны очень и очень нехорошо!

Он утер глаза.

— Жалко ее — не можешь себе представить, до чего. Как вспомню о ней — сердце кровью обливается. Так вот идешь человеку навстречу в его чувствах и не думаешь, каково обоим это будет расхлебывать! А голова, между прочим, дана, чтоб думать, верно?

— И что же ты теперь думаешь?

— Мы вместе думали,— ответил Кушля, сморкаясь,— ей тоже ясно, что как-то надо же выходить из положения. Поскольку Андрюшка налицо. Прежде не было, понимаешь, определенности. Она вполне имела право на-



деяться, что, возможно, в ее пользу обернется дело. Обе они надеялись и такое, ты знаешь, кругом меня развели... Мы с ней беседовали откровенно. Ты, говорю, пойми, что такое сын. Он меня своими ручками и глазками вот так взял и уже никогда не отпустит. Она говорит — я понимаю. Я ее спрашиваю: можешь перестать страдать? Можешь ты переключиться на какую-либо деятельность? Она говорит: ничего я не могу. Ты, говорит, меня куда-нибудь девай. Обсудили мы вопрос всесторонне, и написал я, знаешь ли, на родину, в Маргаритовку.

— Хочешь отправить ее [illegible] Маргаритовку?

— Да, хочу ее туда отправить.

— Считаешь, что это выход?

— Единственный выход, дорогой товарищ, и неплохой выход!— убежденно ответил Кушля.— Либо нам уезжать с Андрюшкой и Лизой, либо ей. А то она возле отделения как нанятая ходит и отчаивается, и может кончиться тем, что она со своим упадочным настроением под трамвай ляжет: тогда что?.. Не зря, нет, не зря она просит: девай меня куда-нибудь. Ей и самой уж хочется просвет найти и жизнь свою нескладную переменить, да не знает как. Теперь: что мы имеем в Маргаритовке? В Маргаритовке, считай, половина жителей носит фамилию Кушля. И наряду с кулаками Кушлями и сволочами Кушлями есть и пролетарский элемент под той же фамилией. Двоюродный брат мой, например, Кушля Роман — председатель сельсовета, бедняк по социальной сущности. И тетка есть беднячка,— слушай,— незамужняя, хворая, живет одна. Лежит который год, летом на лавке, зимой на печи, напиться подать некому, а хлеб пекут ей обществом, в очередь, чтоб с голоду не померла. А хата у тетки своя, и ничего еще хата, жить можно. Я как вспомнил про эту тетку — да вот же оно, спасение, думаю! Написал брату Роману: мол, болеет у меня супруга — «супруга» написал, нельзя иначе, [illegible] то как на уличную будут смотреть, хотя какое бы их дело, а?.. Болеет, написал, супруга сердечной болезнью — насчет болезни истинная правда,— и прошу, чтоб она у тети Ефросиньи Михайловны пожила на лоне природы. Деньги буду высылать сколько могу, [illegible] она за тетей Ефросиньей Михайловной присмотрит по правилам, имея медицинское образование; и хозяйство будет вести своей женской рукой.

— И Ксаня согласилась?

— Согласилась. Поплакала сильно, ио согласилась.

Куда-то деваться надо же. А куда, кроме Маргаритовки?.. Не говори!— попросил Кушля, видя, что Севастьянов что-то хочет возразить.— Вот посмотришь: если это дело выгорит — замечательно будет! Ксаня успокоится, это одно: места новые, воздух великолепный. Сейчас там жердёл полно, скоро вишня поспеет. Море... Море, правда, такое, что на версту от берега уйдешь и все по щиколотку,— а все ж таки море. Она и здоровье свое поправит, и меня забудет, чего и ей желаю и себе. Второе. И главное. Надеюсь я от всей души, чтоб она воскресла как активная личность. Я Роману описал, какую она имеет квалификацию. Ведь она и перевязки, и банки, и нарыв разрезать, все умела как нельзя лучше. Как нельзя лучше! И вот я думаю. Больница там за шестьдесят верст. Да захоти только Ксаня — к ней валом народ повалит! У нас знаешь как любят лечиться? Спасу нет до чего любят! Валом повалят и всё ей понесут, первым человеком она может стать, если захочет. И мужа найдет, и дети будут, и с меня эта ошибка снимется. Дорогой товарищ, я разобрался и признаю: моя это ошибка, нечего на бабью дурную голову валить. Личная моя ошибка, и чувствую я ее — не поверишь, как больно!

Но он уже опять сиял, так утешила его картина Ксаниной будущности. Лучезарная эта картина позволяла ему с чистой совестью упиваться собственными радостями, нa сегодняшними и предстоящими. Обычно степенный, внимательно выслушивающий собеседника, он был в этот раз возбужден, взмахивал руками, говорил без передышки, не давая Севастьянову вставить слово.

— Еще одну вещь хочу тебе сообщить очень важную. Не знаю, ты помнишь ли нашу беседу насчет твоих знакомых девчат, не помнишь? Я высказывался, как меня обделила судьба, что за всю мою жизнь я не знал, что оно такое — дорогая и чистая женская дружба! Вспомнил? Ну так вот: она ко мне заходила.

— Кто?

— Зойка маленькая. Лично ко мне. Сижу, понимаешь, вечером один, Гришка домой ушел (Гришка был новый помощник, взятый на место Севастьянова). Отворяется дверь — она. Здравствуйте, говорит, мимо шла и зашла, давно вас не видала, как поживаете? И здороваемся за руку. Мне неудобно выкладывать мои мужские новости, что, мол, Лиза в родильном доме, рожает и так далее,— я спрашиваю уклончиво, как вы-то живете-можете? У меня, она отвечает, большое несчастье: умер мой папа. Смотрю — она худенькая, бледненькая, я поначалу так очумел, что не заметил. И всегда она была не шумная, а сейчас вовсе тихая стала, и шагов не слыхать, будто по воздуху ходит. Говорю — боже мой; я и не знал; когда же, спрашиваю, от какой причины? И ты не поверишь: сели мы с ней на подоконнике рядышком! Рассказала, как отец болел, как она у него в больнице бывала каждый день, а последние дни они с матерью от него не отступали, разрешили им,— и как отец с ней разговаривал и беспокоился, чтоб она не горевала и на могилу к нему чтоб поменьше ходила,— нечего тебе, сказал, на кладбище делать, делай свое дело молодое! Видать, любил ее. Сказала, что в железнодорожной школе будет работать с осени. Все, в общем, свои новости изложила мне как другу. Как другу!— повторил Кушля, блестя глазами.

«Это я,— думал Севастьянов,— должен бы сидеть с ней рядом, и мне она должна была все это рассказать. А я пришел бесчувственный, как деревянный чурбан, боясь, как бы не опечалиться ее печалью, она мою боязнь моментально увидела и выставила меня в два счета,— правильно сделала...»

— И понимаешь,— продолжал Кушля,— так мы с ней дружески рядом сидели, так она хорошо на свои колени облокотилась и голову ко мне повернула, что я сам не заметил, с чего начал, но слышу — уже делюсь с ней напропалую: и про Ксаню, понимаешь, и про Лизу, и что Лиза рожает в данный момент, и всей своей автобиографии коснулся слегка, чтобы пояснить ей мою драму. Спросил: что вы мне посоветуете. Она поддержала, что моя мысль правильная: ребенок — главное. Взрослый, говорит, может перенести разочарование и крушение... что-то в этом духе сказала... А ребенку, говорит, нужен отец, чтоб воспитывать и защищать. Именно! Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку, я так же са́мо понимаю! Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!.. Великолепно, дорогой товарищ, побеседовали, культурно и душевно! Говорю тебе: уж если повезет, то везет во всем!

Неиссякаемо юно было это сердце. Неудачи не ложились на него грубыми рубцами, оно оставалось открытым для высоких и нежных впечатлений, и ярко-голубые глаза лучились.

— Ну, музыка недолго играла: пришла Ксаня. Села напротив нас, семечки лускает и смотрит — представляешь, как смотрит!.. Зойка встала и говорит: я попрощаться, собственно, зашла, мы с мамой завтра уезжаем на лето к знакомым в Ейск. Оглядела помещение — и у вас, говорит, ничего не изменилось, те же столы и стулья, даже паутина на потолке, пошутила, та же самая... Попрощалась и ушла, как сон!

Они приближались к цели своего похода. Севастьянов завидел стоящую у ворот толстуху Лизу в розовой блузке, с белым свертком в руках. Притопывая каблучком, проворно двигая пышными плечами, она качала сверток и улыбалась навстречу Кушле.

— А мы папочку встречаем, встречаем!— тонким голосом не то пропела, не то прокричала она, когда Кушля и Севастьянов подошли поближе.— А мы за папочкой соскучились, соскучились!

Кушля сделал строгое лицо и осторожно раздвинул кружевца на свертке. Среди кружевной белизны показалось крохотное темно-красное спящее личико.

— Спит Андрей Андреич,— сказал Кушля, сверху важно глядя на ребенка.— Двенадцать суток исполнилось Андрею Андреичу.

— Двенадцать суток с половиной!— живо уточнила Лиза и, качая, поднесла ребенка Севастьянову.— Похожи мы на папочку?

— Страшно похож!— ответил Севастьянов.— Изумительно!

Кушля не принял шутки.

— То-то, брат!— сказал он с достоинством.

В присутствии Лизы к нему вернулась его степенность. Словно не он, размахивая руками, ребячески восторженно изливал сейчас Севастьянову свои планы и новости. При Лизе и Ксане он всегда держался внушительно, слегка загадочно.

— Дай-ка его сюда,— сказал он и, взяв сына из Лизиных рук, понес в дом. Лиза мелким бегом побежала за ним на каблучках.

Она жила с двумя сестрами и Андрюшкой в маленькой комнате, заставленной вещами. Первым долгом бросался в глаза высокий черный манекен; он стоял против двери, воинственно выкатив грудь. Была тут ножная швейная машина, за нею сидела и шила одна из Лизиных сестер. Была гладильная доска; другая сестра на ней что-то гладила паровым утюгом. Две кровати с множеством подушек в кружевных и вышитых наволочках, комод с множеством флаконов, коробочек и фотографических карточек и стол, на одной половине которого было накрыто к обеду, а на другой лежали куски раскроенной ткани. На стене висело какое-то рукоделье, изображавшее Пьеро в черной бархатной шапочке и тюлевом воротничке, а рядом — детская цинковая ванночка. Пол засыпан был обрезками материи.

Как Севастьянов ни отказывался, его заставили пообедать, пристали: «Уж покушайте с Андреем Никитичем!» Прежде чем усадить их, Лиза сняла со спинок стульев развешанные пеленки и смахнула с сидений лоскутки Обедали Севастьянов и Кушля вдвоем. Одна из сестер не переставая шила, то на машине, то иглой, и иногда, подняв голову, взглядывала на обедающих мужчин, и по лицу ее разливалось удовольствие. Другая сестра подавала и принимала со стола. А Лиза то пеленала ребенка, то нянчила его, крутясь на свободном от мебели и людей местечке между Кушлей и манекеном, пристукивая каблучком и приговаривая:

— А теперь наш папочка селедочки скушает! Скушай селедочки, папочка! А теперь нашему папочке пивка принесут! Выпей, папочка, пивка!

— А вы пиво остудили? — спросила, поднимая голову, та, что шила.— Андрей Никитич не любит, когда теплое.

— Остудили, остудили! — в два голоса ответили Лиза и другая сестра.— Конечно, как можно теплое!

Обед был сытный, обильный. К пиву были поданы раки. Кушля сидел за столом как глава семейства, окруженный почтением и заботой. Видно было, что так его здесь приучили. Он принимал это как должное, но поглядывал на Севастьянова, спрашивая без слов: «Замечаешь, как меня ценят? Замечаешь, какая у меня уважительная и дружная семья?» И, вспомнив его рассказы о Тихорецкой и Великокняжеской, Севастьянов порадовался, что ему хорошо.

После обеда Севастьянова пригласили подойти к кровати и полюбоваться Андрюшкой, которого специально развернули для обозрения. Вид невыносимо беспомощного маленького тельца с дрожащими ручками и ножками скорее ужаснул Севастьянова, чем умилил; но чтобы не расстраивать родителей, он почмокал над дрожащим тельцем губами, пощелкал пальцами и подтвердил, что

ребенок первый сорт, что глазки у него Кушлины, ноготки Кушлины и носик тоже Кушлин. Ему казалось, что он врет без стыда и совести. Но через шесть лет, приехав из Москвы в командировку, он видел маленького Андрюшу — вылитый был Кушля, только шестилетний, беленький и свеженький, в трикотажном костюмчике; со свеженького детского лица два ярко-голубых глаза невинно и лучисто посмотрели на Севастьянова — глаза отца, старшего Андрея Кушли.

## 42

Зоя не захотела ребенка.

— Ну что ты,— сказала она,— куда нам. С ума сойти.

Он смущенно промолчал. «Действительно,— подумал,— как она управлялась бы, такая молодая и ничего не умеет, самой еще хочется побегать и побаловаться на воле, и бабушки у нас нет присмотреть за маленьким, как у людей присматривают». Женщина с злым лицом и мешками под глазами, что швырнула ему Зоин узелок, в счет не шла — бабушки такие не бывают, и у Зои там все кончено.

Он взял аванс — тридцать рублей, заплатить доктору, и проводил Зою, вернее она его проводила, потому что она знала адрес, а он не знал. В темной передней они простились, неловко и наспех, шепотом, как заговорщики. Зою доктор увел в комнаты, а Севастьянову велел прийти за ней вечером. Севастьянов медленно шел прочь от дома, где она осталась, и думал — не оговорился ли доктор: не может быть, чтоб вечером она была уже настолько здорова, чтобы идти домой. Он слышал, что это дело опасное и кровавое; и она была бледна, когда, уходя в докторские комнаты, закрытые для Севастьянова, оглянулась и принудила себя улыбнуться. Ему эта обреченная улыбка причинила прямо-таки физическую боль. Причиняло боль и то, что доктор, видимо, раньше был знаком с Зоей и обращался с ней приятельски и небрежно...

Эту мысль Севастьянов отгонял, как привык отгонять все мысли, оскорбительные для Зои. Но что ей больно, что она лежит с этой болью одна в какой-то неизвестной ему страшной комнате,— этим не мог не мучиться весь бесконечный день... Сбегал домой, прибрал немножко, положил на стол плитку шоколада — она любила. Потом застал себя на той улице, перед тем домом. Докторская квартира была на втором этаже. Задрав голову, Севастьянов разглядывал окна второго этажа. Вышел на середину мостовой, чтобы лучше видеть. Окон было много, на одних висели тюлевые гардины, на других полотняные, невозможно было определить, за которой из гардин ее прячут, что с ней делается...

Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На этот раз его и в переднюю не впустили, велели ждать на площадке. Но при этом сказали: «Сейчас она выйдет»; гора с плеч... Она вышла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. Волосы ее зачесаны были гладко, и это вместе с бледностью делало ее лицо по-новому трогательным, страдальческим. В руках у нее был маленький сверток в газетной бумаге — ее одежки. «Возьми»,— ласково-покровительственно, как взрослая мальчику, сказала она и отдала сверток Севастьянову. Дверь за ней захлопнулась. Молча, тихо, чуть-чуть притронулся он губами к ее прохладному лбу; взял за руку и повел вниз по лестнице...

Дома она легла в постель и ела шоколад, отдыхая от пережитого, и он поил ее чаем. И стерег, сидя возле кровати, пока она не уснула. В бережной тишине кончался вечер. Смуглел прямоугольник окна; света Севастьянов не зажигал. Как там во дворе разговаривали, свистели, ходили — их не касалось и потому не существовало. В их комнатке темнело и стемнело, в темноте царило молчание покоя, глубокого мира после тревоги. Позвякиванье ложечки в стакане, нечаянный скрип стула — и безмолвие снова, и в безмолвии очертания ее головы на отсвечивающей белизне подушки, ее рука, покоящаяся под его рукой...

Дня через два она бегала с Дианой как ни в чем не бывало. Жизнь пошла по-прежнему. Но Зоя стала жаловаться на скуку:

— Я без тебя просто умираю!

Клуб, где она танцевала, на лето закрылся, да она уж и охладела к танцам, к тому же в этом клубе служил ее брат, ей не хотелось встречаться с ним. Она читала книги, которые брала в библиотеке и у ведьм,— читала быстро, глотая книгу за книгой, но без особенного интереса, будто даже свысока, не придавая значения тому, что там написано,— прошло время, когда она благоговела перед пишущими и их творениями... Она играла в мяч с детьми,

болтала с инвалидами, с Кучерявым, но это не могло заполнить ее день.

— Скуча-а-ла! Умира-а-ла! — наивно подняв брови, жаловалась она, когда он спрашивал, что она без него делала.

Он понимал: кому угодно в конце концов осточертеет праздность. Очень приятно заставать ее дома, когда ни забежишь; но это — собственнические, буржуазные инстинкты; человек должен трудиться. Стал советоваться с товарищами в редакции и в типографии, как бы пристроить ее на работу. Но ничего еще не успел придумать и ни от кого получить совета, как она ему сказала с воодушевлением:

— Знаешь, я устроилась!

Ее пригласили к себе инвалиды — буфетчицей. Как буфетчицей, у них и буфета нет? Ну, ради нее, Зои, организуют. Ну, не ради нее, конечно; просто жизнь им подсказывает. Ведь не все посетители хотят непременно пить за столиком кофе или есть мороженое, некоторым желательно просто купить пару пирожков, или даже один пирожок, и унести с собой, для ребенка или чтобы съесть в обеденный перерыв. И таких посетителей гораздо больше даже. Вот для них-то и организуется буфет, и Зоя будет буфетчицей. Она кружилась и веселилась, сообщая все это.

— Ты подумай, какая работа: чистенькая! Прелесть! Я стою в шелковом фартучке! Вся в ароматах! С маникюром!.. Теперь мне обязательно придется сделать маникюр!

— Ты, значит, будешь занята днем и вечером, — сказал Севастьянов, — мы никуда не сможем пойти вместе.

«У инвалидов дела обстоят неважно, — подумал он, — они берут ее за красоту, как та балетная группа».

Зоя не дала ему говорить:

— Ты подумай! Ни на трамвае не нужно! Ни пешком! Перебежать двор, и я на работе! Никакая погода не страшна! И ты представляешь, как мне пойдет маникюр! Ты представляешь: ногти — как розовые миндалины!

Что он мог ей предложить вместо этих радостей? Ровным счетом ничего. Разве — и то предположительно — что-то вроде памятной ему работы на картонажной фабричке... Зоя кружилась перед ним, раздувая свое светлое новое платье. Он перестал возражать.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с очень толстыми бровями, остановил его во дворе.



— Товарищ Севастьянов, ваша супруга любезно согласилась поработать у нас в кафе. Если вы, может быть, имеете насчет этого какие-нибудь мысли, то я вам вот что скажу: я сам отец, имею дочь, и ни я, никто в «Реноме» не допустит даже тени чего-нибудь! Даже тени, товарищ Севастьянов!

— Она согласилась, — сказал Севастьянов, — значит, она тоже так считает. — Он поспешил уйти, этот разговор его смущал.

А после главного инвалида поймал его Кучерявый.

Он вышел из своей пещеры — темных больших сеней, где смутно виднелись куда-то ведущие двери, — и захромал к Севастьянову, окликая невнятно:

— Эгей! Эй! А ну!

В белой куртке нараспашку, карандаш за ухом, блокнот в нагрудном кармане. Волосы — матрацные пружины. Белое лицо — ком сырого теста, и на нем маленькие, темные, подвижные, рассеянные, соображающие глаза. В первый раз (и последний) стоял он так близко от Севастьянова.

— Вы что же, — негромко и как-то пренебрежительно спросил Кучерявый и, склонив голову, устремил свой подвижной взгляд на севастьяновские сандалии, — вы, значит, ничего не имеете против, чтобы Зоя поступила в кафе?

«Это уже безобразие, — подумал Севастьянов, — еще и этот будет вмешиваться? Ему-то что?»

— Почему я должен быть против? — спросил он.

Кучерявый раздумчиво вскинул голову и смотрел ему на лоб с выражением отвлеченного интереса, словно решал в уме задачу, — казалось, сейчас вынет из-за уха карандаш, из кармана блокнот и запишет решение.

— Так ведь с улицы придет кто хочешь, — сказал он все так же пренебрежительно-безразлично.

— Ну придет, — нетерпеливо сказал Севастьянов, соскучась ждать, когда он решит свою задачу, — и что из этого следует?

— Придет и будет ходить, ему не воспретишь.

— Не понимаю.

— Наговорит сорок бочек арестантов, — уронил Кучерявый.

— Не понимаю! — повторил Севастьянов, хотя уже понимал и начинал пылать гневным пламенем.

— И уведет, только ты ее и видел, — вздохнул Кучерявый, от вздоха колыхнулись его бабьи покатые плечи.

— Иди ты знаешь куда!— сказал Севастьянов.

— Постой!— негромко вскрикнул Кучерявый вслед.— Эгей! Да ну! Погоди!..

Севастьянов не оглянулся. Он не сказал об этом разговоре Зое. (Первый и последний его разговор с Кучерявым.) Эти пересуды за ее спиной — черт знает что.

Инвалиды сшили Зое шелковый фартучек и наколку. Зоя побывала в парикмахерской и сделала маникюр. С ногтями как розовые миндалины, с белой наколкой на темных волосах, встала она за прилавком в «Реноме», забавляясь так же беззаботно, как забавлялась полгода назад клубной сценой и пачками из марли.

## 43

Дни и недели, которые за этим следовали, Севастьянов никак не может восстановить подробно и стройно. За далью, за тогдашним смятением, слишком многое сместилось в памяти, одни события распались на куски, на не связанные между собой сцены, лица, голоса, в другие события выросли несоразмерно своему значению...

Когда на страницах «Серпа и молота» стало мелькать имя Марии Петриченко?.. Это была селькорка, писала о работе делегаток женотдела, о рыбацкой артели, еще о чем-то. Заметки были подписаны: хутор Погорелый, Маргаритовского сельсовета.

Севастьянов как-то спросил Кушлю — что за хутор и не знает ли он, Кушля, Марию Петриченко, поскольку сам он тамошний. Никаких Петриченок Кушля не знал.

— Приезжая,— сказал он,— либо какая-нибудь наша дивчина взяла приезжего в приймаки...

Про хутор же Погорелый выразился, что, невзирая на его такое сиротское название, это есть самое вредное контрреволюционное гнездо на всем земном шаре.

О Петриченко упоминал однажды Дробышев на рабкоровском собрании — хвалил за то, что пишет серьезно и принципиально.

Деревне «Серп и молот» уделял не много места, больше занимался городом. Для деревни предназначалась газета «Советский хлебороб», в которой Дробышев обещал Кушле должность разъездного корреспондента; она должна была выходить с нового хозяйственного года [1]. Петриченко писала часто, но большая часть ее заметок оставалась в серых папках отдела «Сельская жизнь».

[1] Хозяйственный год начинался 1 октября.



В одно утро Севастьянов пришел в редакцию — там все говорили о Петриченко, об ее письме. Оно было получено, оказывается, еще вчера, а эти моржи в «Сельской жизни» вскрыли только сегодня... Севастьянову дали прочесть. Начиналось письмо обыкновенно: «Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Петриченко Мария с хутора Погорелого». А дальше на нескольких листах, вырванных из старой бухгалтерской книги, с голубыми и красными линейками и жирно напечатанными словами «Дебет» и «Кредит», Петриченко в прозе и в стихах прощалась «со всеми уважаемыми сотрудниками», желала им дождаться полного коммунистического счастья и жалобилась горько, что в молодых годах, имея малых детей, «ничего не успевши повидать на нашем красном свете», должна она расстаться с жизнью и общественной работой через врагов советской власти. В конце — просьба устроить детей после ее смерти «куда хочете, абы не пришлось им на моих же убийц батрачить». Письмо было литературное и в то же время искреннее. Писал человек тщательно, но в расстройстве, в предвидении беды. Некоторые усомнились, говорили: «Нервы, кто-то ее пугнул, она и запсиховала». Но большинство поняло смысл письма правильно: покуда здесь в редакции заметки Петриченко регистрировали, почитывали, похваливали, кое-что печатали, кое-что мариновали, сдавали в набор, пускали в котел,— на хуторе Погорелом, в степных кукурузных, подсолнечных джунглях, у Марии Петриченко с разоблаченными ею врагами дошло до черты, вопрос стал ребром: кто кого.

Акопян, узнав, что письмо пустили по рукам и таскают из комнаты в комнату, забрал его и запер. По его распоряжению из папок срочно выбирали неопубликованные заметки Петриченко и несли к нему, и он их читал. Всегда выдержанный и вежливый, он при всех сказал заведующему «Сельской жизнью», акцентируя от волнения и сверкая черными глазами:

— Чем бы эта история ни кончилась, тебя в редакции не будет, или я не Акопян!

Почему-то после этих слов даже легкодумам, даже сомневающимся стала до конца ясной трагедийная правда письма. В редакции стихло, каждый уткнулся в свою работу. Совсем замерла, невидимой и неслышимой стала

«Сельская жизнь»— грубый, толстый, губастый парень с маленьким пенсне на большом красном лице; Коля Игумнов про него говорил, что Харлампиев врет, будто он сын сельского учителя, на самом деле он сын лавочника, Коля Игумнов это чувствует как художник.

Пришел Дробышев, они заперлись с Акопяном и Харлампиевым. Потом вдруг вызвали Севастьянова. Едва он переступил порог, Дробышев спросил:

— Вы работали с Кушлей, вы хорошо его знаете?

— Хорошо,— ответил Севастьянов.

— Толковый товарищ? Если послать его на этот самый хутор Погорелый — сумеет выяснить обстановку?

— Безусловно. Тем более что он оттуда родом.

— Вот-вот, из Маргаритовки,— сказал Дробышев, глянув в лежащий перед ним листок.— У нас впечатление — боевой товарищ, вы как считаете?

— Боевой,— подтвердил Севастьянов.

Харлампиева в кабинете уже не было. Сидел Акопян, Дробышев стоял за своим столом, держа руку на вилке телефонного аппарата.

— Осветить не сможет как следует,— сказал Акопян.— Пишет плохо.

— А вы помогите, напишите хорошо,— возразил Дробышев.— Главное, должен быть человек, чтоб быстро разобрался в отношениях и мобилизовал местные силы. С классовым чутьем должен быть человек,— заключил он и снял трубку с вилки...

— ...Уж везет, так везет! — сказал Кушля Севастьянову.— Дорогой товарищ, я, как тебе известно, ни в бога, ни в черта, ни, понимаешь, в святых угодников... Но что ты скажешь в данном конкретном случае? Скажешь — судьба. Не скажешь, нет? И ведь верно: нам, марксистам, не подобает это говорить. Верно: стечение обстоятельств. А я Ксане сказал по-простецки: судьба! Ехать, сказал, тебе в Маргаритовку, и никаких гвоздей, видишь же — помимо нас с тобой так сложилось, что я имею возможность лично отвезть тебя и устроить. От двоюродного брата Романа до сих пор ответа нет. У нас там по два года чешутся, пока соберутся письмо написать. Ладно. Нехай они чешутся, а мы вот они с Ксаней.

Он был совершенно удовлетворен: его признали, позвали, поручили ему важное дело.

— Конечно, такого материала никто не соберет, как я. Во будет материал! Дробышев спрашивает: как вы думаете, она не преувеличивает, Петриченко?.. Будь уверен, говорю, ничего она не преувеличивает. Я письма ее прочитал — так и вижу эту картину кулацкого засилья и в кооперации, и в сельсовете, через слабость характера двоюродного брата Романа, и на всех, понимаешь, ключевых позициях, у всех истоков, понимаешь, откуда только проистекают барыши и власть! Это истинная картина, я все фамилии знаю, что она указывает. И в морды многих сукиных сынов помню. Они так же и мной мечтали пользоваться, как братом Романом. Моей непорочной автобиографией мечтали обгородиться, как проволочным заграждением! Я все там, говорю, уточню и доведу до революционной законности, будь уверен! И он мне протягивает руку и говорит — дадим вам, говорит, если потребуется, вплоть до двух подвалов... Двух подвалов!

— Ты напишешь здорово,— сказал Севастьянов,— я по тому сужу, как ты рассказываешь.

— Я тоже полагаю, что здорово,— сказал Кушля.— А если, возможно, произойдет заминка в литературном отношении,— подлежащие-сказуемые,— пособишь оформить, ладно?.. Удостоверение выдали (он показал) и письмо в укоме. И, в общем, через два часа отбываем. Для Ксани, конечно, гораздо легче, что так получилось: то бы, понимаешь, сборы, да прощанья, да откладыванья — оба мы измучились бы. А тут — раз-два, недолго думая, сели вместе и поехали, я ее с родней знакомлю, местность показываю, где я родился и рос, все по-хорошему и не так ей, бедной, обидно... Черт, хотел забежать, купить Андрею Андреичу какую-нибудь погремушку... Замотался и не поспел, магазины уже закрыты. Ну, бегу с ним проститься! Будь здоров, всего тебе!

— И тебе! — от души пожелал Севастьянов.

— ...Игумнов поедет с тобой,— сказал Севастьянову Акопян,— сделает зарисовки. Место не ограничиваем. Ехать надо вечером, завтра будете в Т., оттуда лошадьми.

Акопян говорил, глядя в стол, ровным голосом, в правой руке перо, в левой папироса... Севастьянов слушал и не понимал, как он может курить и говорить так спокойно.

В горле у Севастьянова перехватило, и он поскорей достал папиросы, чувствуя, что должен закурить немедленно. Акопян поднял суровые глаза и протянул ему зажженную спичку.

...Телеграмма была получена утром. Дробышев со следователем ГПУ сейчас же выехал на дрезине в

Т., приказав Акопяну направить туда Севастьянова и Игумнова ближайшим поездом. Будь Железный в городе, поехал бы он, а не Севастьянов. Но Железный был в отпуску, и печальная эта честь выпала на долю Севастьянова.

День был заполнен звонками, толчеей, разговорами. Приходили из типографии, из районных отделений «Серпа и молота», из редакции «Юного пролетария». Всем сразу стал интересен Кушля, и все расспрашивали Севастьянова, потому что он ближе всех был к Кушле. До отъезда Севастьянов должен был сдать хронику, собранную в последние дни, и дописать очерк о макаронной фабрике. Надо было, кроме того, получить командировочные, а в кассе не было ни копейки, кассир ушел в банк, и неизвестно было, с деньгами он вернется или без денег. Севастьянов дописывал очерк, подсчитывал строчки в хронике, чтоб было ровно восемьдесят и ни строчки больше, в очередь с Колей Игумновым бегал в бухгалтерию узнавать, не пришел ли кассир, отвечал на расспросы о Кушле, объяснял месткомовцам, где живет Лиза, чтобы они могли пойти к ней известить. Одно дело кончалось — начиналось другое, и хотя отвлечься от события было невозможно, оно еще стояло комом в горле,— но к нему привыкал, его резкая острота проходила, и больше не казалось, что этого не может быть.

Коля Игумнов сказал:

— Жаль, конечно, что такой грустный повод... Но, говоря откровенно,— я рад проехаться! Куда-то мы с тобой перенесемся, что-то увидим новое... Что может быть лучше? Вам хорошо, репортерам, вы гоняете по городу, а я сижу взаперти и мажу серые фотографии тушью и белилами...

Уже кончался день, когда Севастьянов прибежал к Зое. В кафе «Реноме инвалида» начиналась вечерняя жизнь, почти все столики были заняты. Зоя стояла за прилавком. Севастьянов сказал ей:

— Кушлю убили.

Она вздрогнула и вскрикнула: «Ой!»

— Как, сегодня едешь?!— переспросила она, пораженная, и взялась за лоб, Севастьянов подумал: «Она боится, что меня тоже убьют».— А вернешься когда же?

— Акопян считает, мы пробудем дня три. И дорога...

Они разговаривали, разделенные прилавком. Посетители оглядывались на красавицу буфетчицу, взволнованно шептавшуюся с парнем. Инвалиды улыбались отечески... Севастьянов сказал:

— Но ты меня проводишь!

— Да,— сказала она,— конечно!

И, отпросившись у инвалидов, сняла свой фартук и наколку и ушла с Севастьяновым в их комнатушку. Они укладывали в дорогу его портфель и нежно прощались. Кирпичная стена напротив была как печь, накаленная докрасна, огненный день уходил по кирпичам, выбираясь со двора на крышу. Бухал мяч. Кричали, играя, дети.

Вышли из дому, держась за руки. Темнело, много было людей на улице. Где-то была смерть, а здесь в саду играла музыка. Под музыку шли навстречу мужчины и женщины, и все они смотрели на Зою. Мужчины приковывались к ней долгими взглядами, женщины взглядывали бегло, а потом и те и другие переводили взор на Севастьянова. По-особенному смотрели подростки. Изумленные глаза мальчиков, напряженно-испытующие глаза девочек спрашивали: «Значит, вот как это бывает?» А Зоя улыбалась в ответ. Ее страх прошел, излился в коротеньком вскрике «ой», снова она упоена была своими чарами и успехом... Смерть существовала, отвратительная, несправедливая и жестокая, но она была далеко-далеко, а здесь шла Зоя, играла музыка и у входа в сад продавали розы.

Она сказала:

— Купи мне розочку.

Они остановились, чтобы купить роз. Казалось, вся улица приняла участие в этом происшествии — столько народа следило за ним и с таким сочувствием. Цветочницы наперебой протягивали Севастьянову лучшие розы, лучшие из лучших. И кому же полагались эти розы, если не Зое, кому бы еще они были так к лицу?

Пришли в редакцию. По забросанной бумажками и окурками лестнице спускался Залесский. Даже этот старик, все перевидавший, даже он споткнулся и остолбенел на секунду, когда из-за лестничного поворота появилась перед ним Зоя с розами... В своем кабинете, под зеленой лампой, Акопян читал полосу. Севастьянов зашел за пакетом для Дробышева, он не мог не показать Зою Акопяну.

— Это Зоя,— сказал он неловко.

Акопян поднял голову, его лицо выразило удивление, сердечность и интерес.

— Очень рад,— ответил он.— Акопян.
И, встав, поздоровался.
— Вы очень хорошо влияете на Шуру,— сказал он добродушно.— Благодаря вам он достиг небывалой работоспособности, последнее время он трудится за четверых...
С Колей Игумновым они встретились, как было условлено, на вокзале под часами. При виде Зои Коля сказал:
— Боже!
Он держал ее руку, наклонялся и спрашивал:
— Что же это? Почему я этого раньше не видел? Когда я буду это рисовать?
Они пошли искать свой поезд. Коля вел Зою под руку, не переставая наклоняться и говорить. Зоя смеялась. Севастьянов сперва — по инерции — гордился, потом почувствовал против Коли возмущение. Коля осмелился поцеловать Зою в локоть, в ее точеный смуглый локоть, над которым узенькая оборка и перехват широкого пышного рукава. Коля не должен был так поступать: она ведь ничем не дала ему права думать, что ей это будет приятно. Особенно же было возмутительно, что, когда Коля наклонялся, его длинные волосы падали Зое чуть ли не на лицо, и он их отмахивал залихватским жестом — дескать, сам черт ему не брат! Но вдруг в темноте, на путях, пронзительно и горестно закричал паровоз, другой отозвался вдали так же тревожно и горько, и Севастьянов вспомнил, что сейчас они с Колей поедут туда, где смерть, что смерть чудовищна и непоправима, что навеки закрылись Кушлины ярко-голубые глаза... «С ней забываешь обо всем!— подумал он.— Нельзя быть с ней и думать о смерти, с ней думаешь только о ней... И что для нее значат пустяковые Колины маневры по сравнению с той нежностью и преданностью, какую она знает!» И он шел за ними, не ревнуя больше, мудро снисходительный, очень взрослый по сравнению с ними.
Полазав под составами, они нашли свой поезд. Он стоял у дальней платформы, перед черными строениями, впотьмах. Его открытые окна еле светились, выдыхая на платформу запах мешковины, кислого теста, поездной уборной. Посадка уже прошла, последние пассажиры впихивали в вагоны свои мешки.
— Как, уже расставаться?— спросил Коля.— Это выше моих сил, поехали с нами, мадонна.
А Севастьянов обнял Зою и поцеловал и потом окунул



лицо в ее букет, в последний раз вдохнув его чистую свежесть перед тем как войти в набитый людьми и мешками вагон. Зоя подняла руки, розы упали. Обеими руками она обняла Севастьянова за шею, ее поцелуй был бесконечен. Это было жаркой черной ночью, вокзальной, железной, угольной, единственный фонарь не мигая светил на это из-под навеса.
— Ах, так? — сказал Коля.— Значит, никакой надежды? Но почему же мне не сказали сразу? Это жестоко.

## 44

Много езжено по родной стране, много хожено. Среди бесчисленных человеческих поселений, больших и малых, память хранит и Маргаритовку. Сотня беленых хат, насыпанных на берегу лимана; низенькие фруктовые садики, красные точки вишен на деревьях — последние вишни, их пора кончалась; на плетнях развешаны рыболовные сети, натыканы горшки и кувшины...
В полуверсте от слободы находилось бывшее помещичье имение: неогороженный разросшийся сад и в нем большой старый дом. В доме разместились сельсовет, школа, изба-читальня, квартира учителя. Вход в дом был через обширную открытую террасу. Ее доски и столбы от старости стали пепельно-серыми. Под знойным солнцем иссохшее дерево, разомлев, источало слабый запах не то смолы, не то краски, хотя и та и другая давно из него выветрились. Такою же серой, обветшалой была входная дверь: когда ее отворяли или затворяли, с нее осыпался какой-то порошок и дребезжали остатки цветных стекол вверху... Убийца сходил по ступеням как бы задумавшись, глядя на свои сапоги и надвинув картуз на брови. Желтая щетина росла на его щеках; в каменных складках сапог лежала пыль. «Что он должен сейчас чувствовать?»— подумал Севастьянов и отвернулся от угрюмого мрака, представившегося ему... За убийцей шел милиционер. Подвода ждала их, они сели и уехали. Мужики и бабы, стоя поодаль, молча глядели вслед.
Лужайка перед террасой вся поросла травой, называемой у нас калачиками. Местами земля под травой вздувалась: там, верно, были когда-то клумбы. Эту запущенную лужайку со всех сторон обступал густой зеленый сад.

В его сплошной стене светло и серебристо обозначалось начало тополевой аллеи. Аллея сужалась как бесконечный коридор, полный света и сверканья; в конце ее бледно голубел лиман. Обильная серебряная листва, не умолкая, не угомоняясь, легко и радостно лепетала под ветерком, вся устремленная ввысь, и каждый лист был как маленькое зеркальце, отражающее солнце. Этой аллеей ходили купаться. У берега — правду говорил покойный Кушля — было по щиколотку, приходилось идти далеко, чтобы окунуться и поплавать.

...Марию Петриченко Севастьянов увидел в первый раз на собрании. Она стояла и говорила, когда Севастьянов с Игумновым, только что приехавшие, в дорожной пыли, вошли в полную людей комнату. Услышав горячий, убежденный, молодой женский голос, Севастьянов подумал: «Это она!»— было что-то общее между этим голосом и письмами Петриченко в редакцию... Две девочки, крошечные, трех-четырехлетние, держались за ее подол; мальчик постарше стоял рядом. «Мария Петриченко и ее дети». Возле председателя сидел человек с странно знакомым лицом, ярко-голубыми глазами посмотрел он на вошедших,— Кушлин двоюродный брат Роман.

— И где ж те люди?— спрашивала Петриченко.— Где они тех людей подевали, что имели дух защищать бедняцкий интерес? Того споили, того купили. Кушля Роман — от он перед вами сидит как стенка белый, еще бы: с злодеями, душегубами дружбу водил... Кушля Игнат в город подался через ихнюю ненависть.

— Игната выдвинули,— небрежно сказал чисто одетый человек, нестарый и красивый, хотя почти совсем лысый, с оборочкой мягких темных волос на голом черепе.— Выдвинули Игната, зачем зря говорить.

— Меня довели, что я детей без своего присмотра и на одну минуточку покинуть боюсь,— продолжала Петриченко (лысый усмехнулся и снисходительно повел плечом...).— А теперь пускай ответят: кто получил ту ссуду, что на безлошадных была отпущена? Покажите ведомость. Покажите расписки. Всем покажите, а не только друг дружке,— у вас рука руку моет... Еще такой вопрос: как у нас подобрано правление кооперации?

— Товарищ председатель,— яростно закричал кто-то,— другие граждане получат слово или одна Петриченко будет говорить до скончания веков?!

Поднялся шум... Мария озиралась, прижав к себе детей. Она была плечистая, чернобровая. На загорелом до каштанового цвета лице уже прорезались морщинки: резко-белые, они расходились жаркими лучами на висках и скулах; казалось, лучи эти исходят из зеленовато-карих, глубоко посаженных глаз...

Когда Коля Игумнов ее рисовал, она сидела деревянно и озабоченно, положив на колени загорелые сильные руки.

...Она вела Севастьянова и Игумнова на хутор и рассказывала про лысого:

— Больше всех нажился, родичи на него батрачат, и ни договоров, ни соцстраха, и не подступиться к нему. А послушать его — самый сознательный, все новые слова знает... Ох,— сказала Мария,— до того ж хитрая порода, проклятые куркули!

Они шли, разговаривая, и детишки проворно семенили рядом, взбивая пыль маленькими босыми ногами.

Солнце спускалось у них за спиной. По обе стороны неширокой дороги были поля подсолнуха. Подсолнечники стояли обернувшись все в одну сторону: сомкнутые ряды, полки, полчища огромных темных ликов, окруженных желтыми нимбами... Первой с краю была на хуторе хата убийцы, они зашли на нее взглянуть.

Калитка была настежь, и дверь настежь, и хозяйка сидела на крыльце, свесив руки меж колен. На цепи рвалась, бесновалась собака, но женщина слегка только повернула к вошедшим голову, не спросила — чего им надо, не пошла за ними. Севастьянов взошел мимо нее на крыльцо вслед за Марией, вдвоем они прошли по комнатам; Коля войти не захотел. Комнаты были обставлены как в городе: зеркальный шкаф, хорошие стулья, кровати с блестящими шарами. «В голодуху за пшено да постное масло у городских повыменяли!»— объяснила Мария. Хата была под железом, во дворе крепкие постройки.

А Марина хата крыта была соломой, и была в ней одна комната — почти пустая — да сени. Во весь двор — огород, наполовину уже оголенный, закиданный увядшей картофельной ботвой. Так и дохнула навстречу жизнь нищая, немилосердная, едва ступили на порог.

Коля Игумнов огляделся и спросил сочувственно:

— Такая молодая, и что же, одна живете, без никого?

— Как без никого? От, дети есть,— строго усмехнулась Мария.— Полная хата народу, как же без никого?

— А муж?..

— Муж? Пришел и ушел, и нет его,— сказала она жестко.— В семнадцатом пришел калекой с фронта, мы поженились. Три пальца у него отрезаны, но работать мог. Хату мы с ним построили.— Подняв голову, она оглядела беленый низкий потолок, и глаза ее налились слезами.— В долг вошли, отрабатывали... а потом надоела ему эта бедность, он и уехал — ничего о нем не знаю. Нюська — последняя — без него уж родилась.

Она вытерла глаза воротничком кофточки и закончила неожиданно нежным, воркующим голосом:

— Очень от бедности мучился. Он сильно грамотный был, ему совсем другая требовалась жизнь. Он, например, таракана видеть не мог.

— Как будто другая жизнь сама собой построится,— заметил Севастьянов.

— От именно!— горячо подхватила Мария, и слез ее как не бывало.— И я ему говорила: если не сами мы, то кто же, правда? Не бог, не царь и не герой, правда?.. Но, конечно, трудно одной.

— У вас еще все впереди!— сказал Коля.

— Так видите,— сказала Мария,— жениться на мне никто не женится, с таким-то приданым?— Она кивнула на детей.— А другое что-нибудь я не могу себе позволить. Я если себе позволю, так будет крик и лай на всю Маргаритовку и с хуторами. Другой — простят, а мне не простят от столько. И про меня будет лай, и про бедняцкий наш класс, и про всю советскую власть,— сказала она гордо. Ясно было, что в ее сознании советская власть, бедняцкий класс и она сама, Мария Петриченко,— неразделимое целое, и этим диктуются все ее поступки.

Она кормила детей, укладывала их и рассказывала, как хитростями, взятками, угрозами зажиточные пытаются все прибрать к рукам, а она против этого борется. Они и ее хотели подкупить, кашемиру на платье набрали, как же; так она и взяла ихний кашемир! Детям сдобные коржики пхали: она запретила детям у них брать!— Некрашеный стол был в хате, лавка, две табуретки; между печью и стеной настланы нары для спанья. Кормила детей Мария деревянной ложкой, из чугунка с отбитым краем. Неровно оструганные, побеленные мелом столбы — дерево просвечивало сквозь мел — подпирали потолок. Сухо пахло глиной от земляного мазаного пола.

— Я знаю одно,— сказала Мария,— или им на свете быть, или мне с моими детьми на свете быть. Я с ними никогда не помирюсь!



Стало темно. Младшие дети спали. Старший мальчик, лет шести, вылез к краю нар, лежал на животе среди тряпья,— подперев кулачками щеки, слушал, как разговаривают взрослые. Мария зажгла лампу и сказала:

— Я вам мои стихи почитаю.

Легко вскочив на нары, достала с лежанки аккуратно сложенные листы (вырванные из бухгалтерской книги, с печатными словами «Дебет» и «Кредит») и развернула под лампой.

— От послушайте,— сказала она доверчиво.

Она читала, сжимая руки, вздыхая глубокими вздохами. Маленькая лампа дымно светила сквозь закопченное стекло. Лицо Марии в этом свете было коричневым, белыми черточками выделялись морщинки на висках, угольной чернотой — брови и ресницы. Другого конца комнаты свет лампы едва достигал. Оттуда блестели внимательные, разумные глаза слушающего мальчика.

Стихи, которые читала Мария, были отчасти знакомы Севастьянову. От сильно грамотного мужа ли, бросившего ее с детьми на эту нужду и борьбу, или из книг и песен, но она нахваталась стихов и, беря чужие строчки, приписывала к ним свои; и от чистого сердца, радуясь и любуясь, признавала то, что получалось, за собственное свое сочинение. Севастьянов и Коля ее не разубеждали... «Тучки небесные, вечные странники»,— читала она с чувством:

Огненной молнией,
Громом грохочете.
Что же вы ищете?
Что же вы хочете?..

Когда Севастьянов с Игумновым уходили, ночь уже совсем накрыла степь и хутор. Лаяли собаки на ближних и на дальних дворах.

— Изо дня в день,— сказал Коля, оглянувшись,— представляешь, изо дня в день она так живет.

Севастьянов тоже оглянулся — за черным переплетом дырявого тына дымно-коричнево краснелось Маринино окошко. Тьма кругом шуршала, беспокоилась... «Вот так шуршало вокруг ее дома,— подумал Севастьянов,— когда она сидела и писала то письмо, прощаясь с нами и поручая нам детей. И так же краснелось ее окно, и уже был заряжен обрез той пулей, которую готовили ей, а всадили в Кушлю...» Они молча шли мягкой пыльной дорогой, и шорох и мрак сопутствовал им до самой Маргаритовки.

## 45

Позже поднимается белая спокойная луна. Она стоит за крышей сельсоветского дома, ее не видно, но от нее светло на небе и на земле, и тень дома ложится на лужайку, заросшую калачиками.

На расшатанных ступеньках террасы сидят люди, курят: хлеборобы и рыбаки, их одежда пахнет рыбой,— и среди них школьный учитель, щуплый человечек с коротко остриженной седой головой, в тени она белеет, как громадный пушистый одуванчик. Тревога, раздражение вечных неудач в голосе и движениях учителя. Тонкий лягушечий рот в разговоре брызжет слюной и сжимается трагически. Учитель спорит с Дробышевым, который ходит перед крыльцом, иногда останавливаясь (Дробышев в редакции редко сидит — ходит, разговаривая, по кабинету или стоит у стола, опершись на стул коленом).

— Вы здесь три дня,— говорит учитель,— а четыре года, кому из нас видней?

— Вы за четыре года ничего не увидели!— отвечает Дробышев своей начальственной скороговоркой.— За четыре года вы ничего не поняли!

Дробышев — деловитый, с быстрым взглядом, с повелительной посадкой головы. И речь у него быстрая и повелительная. В деревне, командировке, он несравненно доступней, чем в редакции, где к нему нельзя войти, не спросив разрешения, где он вечно спешит и где только покойный Кушля обращался с ним запросто, чуть ли не похлопывал его по плечу.

— Вы мне не докажете,— строптиво твердит учитель,— что это политическое убийство. Старая семейная ссора. Еще до революции чего-то не поделили.

«Неужели не понимает,— думает Севастьянов,— не может быть, чтоб не понимал, он же дядька образованный; притворяется из упрямства».

— Выпили,— небрежно замечает чисто одетый человек с темной оборочкой волос вокруг лысины, тот, о котором рассказывала Петриченко, что на него батрачат родичи,— выпили, поспорили, ну — под горячую руку, спьяна...

— Андрей выпивши не был! — сурово поправляет кто-то из тени.— Вскрытие показало — не был он выпивши!



— Спорили-то о чем,— говорит Дробышев,— спор шел, как выяснилось, о советской власти.

— Человек убил человека,— возбужденно говорит учитель.— Со времен Авеля и Каина человек убивает человека и придумывает разные причины убийства.— Он встает, уходит по лунной лужайке, маленький тщедушный упрямец из тех закоренелых упрямцев, что готовы лучше умереть, чем отказаться от своего заблуждения и признать истину; голова его уплывает в ясную ночь, как светящийся шар. А на ступенях террасы продолжается беседа, и текут дымы самосада, то жгуче-едкие, то медовые.

(Это ночь перед похоронами Кушли, Кушля еще не погребен, лежит в сарае, принадлежащем сельпо.)

Зовут ужинать: уборщица наварила картошки, нажарила сала... Потом приезжие (их порядочно) укладываются спать в комнате верхнего этажа. На полу постлано сено, на сене — рядна и подушки. Подушка синей ситцевой наволочке пахнет кислым молоком... Начальственность, повелительность сходит с Дробышева, когда он разувается, сидя на полу. Тогда можно вообразить его на войне, в лагере военнопленных (он побывал в германском плену), в любом состоянии, а не только ответственным работником, поучающим, как строить газету и что думать по тому и по другому поводу.

Разуваясь, он расспрашивает председателя укома об уездных делах, и тот отвечает, тоже сидя на полу и разматывая свои портянки. Разговор все отрывочней: устали. Засыпают. На темных подушках белеют лица.

В недрах бывшего помещичьего дома то тут, то там слышатся глухие постукивания, поскрипыванья, шаги. Это, должно быть, уборщица моет пол, передвигает столы скамьи. А это, должно быть, старый учитель бродит, как домовой. Непостижимо, думает Севастьянов, что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отталкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет,— легче ему, что ли, доживать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, думает Севастьянов, покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые... В распахнутые окна на засыпающих людей заглядывает луна, закатываясь за темную гущу сада.

46

В сарае слева были навалены бочки и ящики, а справа из пустоты тянуло холодом — от ледника, широкой ямы, где под слоем соломы хранили лед.

Снаружи пылал полдень, тут были сумерки.

Пахло сырой землей, рогожами.

Севастьянов постоял у края ямы, простился мысленно с Кушлей... С кем он прощался? В загробную жизнь он не верил. Лежавший в ледяной яме не мог его услышать.

Но [redacted] памяти Севастьянова Кушля жил, вот он выпустил изо рта ленточку дыма, посмотрел весело и задумчиво, сказал: «Замечательная вещь, дорогой товарищ, не поверишь: ноготки моего фасона!»— с этим живым Кушлей простился Севастьянов.

И вдруг почувствовал, что он не один тут: кто-то вздохнул у него за спиной. Оглянулся,— неплотно притворенная дверь была как огненная щель; в сумраке возле бочек стояла, понурившись, серая фигура: Ксаня. Он к ней шагнул — подняла руки, закрыла лицо, застонала сквозь стиснутые пальцы длинными глухими стонами...

47

После похорон Коля пошел бродить по кладбищу, и Севастьянов, от печали и неприкаянности, бродил за ним.

Они плутали между крестами и холмиками, холмиками и крестами. Надписей на крестах не было. Безымянно, безвестно спали здесь поколения.

В сторону лимана все реже становились кресты и бесформенней холмики, местами земля только чуть-чуть вздувалась там, где когда-то были погребены люди.

Трава в этой части кладбища была некошеная, лютая, грубая, как кустарник. Одни растения рассыпа́ли семена, а другие такие же рядом цвели, и множество мелких бабочек, лазоревых и красных, вспархивало с цветов.

Коля обрадованно позвал Севастьянова: он наткнулся на старую каменную плиту. Она лежала криво, уйдя боком [redacted] землю; травы переплелись над нею. Коля стал гнуть и ломать траву, расчистил камень и прочел надпись. Они нашли вторую плиту, и третью, и целую колонию осевших в землю, разбитых на куски старинных надгробий.



Нетрудно было угадать, что это могилы помещиков, которым в прежние времена принадлежала Маргаритовка. Севастьянов не слыхал, чтобы существовало мужское имя Маргарит; и Коля тоже. Но тут лежали: Маргарит Феодорович и Феодор Маргаритович, и Григорий, Венедикт, и Варфоломеи Маргаритовичи, и Маргарит Григорьевич. На одной плите были вырезаны звезды, круглоликое солнце и месяц [redacted] профиль, и стих:

Здѣсь землей покрыта
Лицемъ душею Маргарита.
Такая ей цѣна
Отъ общества дана.

*Маргарита Варфоломѣева дочь Блазова.*
*1758—1775*

Присели покурить. Коля высказал предположение, что, может быть, Маргарит — греческое имя; может быть, эти помещики были греки по происхождению. Он интересно рассказал о греческих поселениях на Черноморье и о том, как князь Владимир ходил на Корсунь. Потом Коля открыл свою папку и стал рисовать, а Севастьянов прилег в траве. Сквозь зонтики соцветий видно было, как мельтешат, танцуют маленькие яркие бабочки... Севастьянов проснулся,— неподалеку между могилами Маргаритов сладко спал Коля, его разгоревшееся лицо было в бусинках пота, крохотный паучок на паутинке осторожно спускался с цветка ему на бровь. Севастьянов разбудил Колю, они отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться. В слободе бесчисленные Кушлины родичи справляли поминки...

(Отдельно от всех гуляли старухи, сидя в холодке под вишнями вокруг вбитого [redacted] землю стола. Они скинули кофты и сидели [redacted] рубашках и юбках, та простоволосая, та в платке, лихо повязанном концами назад; на шее у них, на шнурках и цепочках, болтались крестики. Под сквозной, золотой, лениво шевелящейся тенью сидели старухи, пили и закусывали.)

...Ночью Севастьянов и Коля на рыбацком баркасе плыли [redacted] Т. Подувал ветер, белые гребешки бежали по лиману, луна ныряла в быстрых облаках. Скрылся из виду берег,— тогда не думалось: я был там, буду ли еще? Я ходил там, мой голос раздавался там, мой товарищ похоронен там,— вернусь ли туда?.. Не думалось: сколько еще уголков мира покажется мне и скроется?..

Думалось другое. Ты чувствуешь или нет — [redacted] к тебе приближаюсь, кончается наша разлука; если поспею

к утреннему поезду — столько-то осталось часов до встречи.— Бесшумно проходили босиком рыбаки. Поскрипывала мачта.— Возвращаюсь к тебе и буду возвращаться несчетно раз. Несчетно, как эти бегущие гребни... Опять с волнением и удивлением, будто о чуде и тайне, вспоминал, как долго она для него почти ничего не значила, хоть он и знал ее; словно бы у входа стояла она, и вдруг вошла и все заслонила. Ты счастье без края, думал он; как эти вечные волны, думал он...

48

...Вот и осень, дождь льет и льет. По черным стеклам окон бегут, блестя, кривые струйки и струится отражение зеленой лампы. Севастьянов задержался в редакции. Старик Залесский рассказывает о своих путешествиях, достает из портфеля снимки. Пространная жизнь, прожитая в передвижении, есть что поглядеть и послушать. Залесский с его пенсне и пышными усами является Севастьянову в диких степях, на снежных склонах гор, у пенных водопадов. На одном снимке он двадцатипятилетний, на следующем — пятидесятилетний, еще на следующем — совсем юный, это чередуется много раз; словно свойство такое у Залесского — состарившись, вновь молодеть; словно и теперешняя его седина и шумная одышка — явления временные, и в один прекрасный день, скинув груз годов и немощей, он снова будет стоять у водопада, в фейерверочном ореоле брызг,— молодой, подтянутый, стройный, ухарски отставив руку с альпенштоком...

Говорит Залесский много, но делает передышку через три-четыре слова. Его толстовка, похожая на распашонку, расстегнута. Видно облачко волос на груди. Дымчатое облачко на белой нежной коже, напоминание о былом мужестве. Свисает тесемка пенсне; в пенсне отражается зеленая лампа. Пришла жена Залесского, прозрачно-белолицая, в тонких морщинах, важная; села поодаль. Днем она приносит Залесскому завтрак в корзиночке с круглой крышкой, по вечерам заходит, чтобы отвести Залесского домой,— что-то у него с сердцем, она боится пускать его одного по улице.

— А ее,— говорит Залесский,— я нашел в России. В Обояни. Городишко Обоянь... Дел у меня там не было, случайно забрел, захотелось посмотреть: что за город



с таким привораживающим названием. Забрел и нашел ее... Я всегда вверялся моим желаниям. Желать — хорошо. Желание есть жизнь. У вас много желаний?

— Порядочно.

— Чего вы хотите?

— В отношении чего?

— В отношении себя лично.

— В отношении себя лично,— говорит Севастьянов,— очень нужно получить образование.

Он только что поступил на рабфак и учился старательно.

— Надоело ничего не знать.

— Еще.

— Хочу съездить посмотреть Москву Кавказ хочу посмотреть. Хочу везде побывать, как вы.

— Еще.

— Хочу... Хотел бы написать одну вещь.

— Какую?

— Так, одну вещь.

— Не для газеты?

— Нет. В газету не вмещается.

— Отлично! — уважительно говорит Залесский.— Отлично, что вы уже не вмещаетесь в газету. Большая вещь?

Севастьянов задумывается.

— Не знаю!

Невозможно ответить на этот вопрос, когда первые строчки едва написаны и все только клубится в воображении, как дым.

Залесский говорит о любви.

— Я много любил...— бросает он сквозь одышку,— и меня любили. Я остывал, и ко мне остывали Меня покидали — еще как: рвал и метал, стрелялся, и это было. И все было великолепно. Оглядываюсь — перебираю эти дни, восходы, закаты. Цветут сады; и вообще происходит бог знает что, бог знает что...

«Дни, восходы, закаты»,— повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются чередой — *его* восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором... Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь, верно, в свои, ей одной видимые цветущие сады.

— Ничего, кроме благодарности!— говорит Залесский.— За эти взрывы, за то, что пережил их сполна! За то, что ждал на жаре и на морозе, за то, что плакал, за то, что стрелялся, и за то, что промахнулся! Той, которую проклинал самым театральным образом... которую считал преступницей, предательницей... палачом своим считал,— теперь говорю ей: «Ты в поля отошла без возврата, да святится имя Твое!»

Это слишком. Стариковский идеалистический лепет. Залесский забыл, как это происходит.

...Они разошлись на углу. Одной рукой Залесский опирается на палку — не альпеншток, обыкновенная стариковская палка; в другой руке портфель с фотографиями. Жена держит раскрытый зонтик. «А что он сделал для людей? Что у него в итоге? Собрание собственных фотокарточек? Жена? Кот?» (Дома у них сибирский кот, он им за сына, и за дочку, и за внуков...)

Севастьянов идет под дождем по улице. Еще не очень поздно, свет во многих окнах. Окна подвалов и полуподвалов — у ног Севастьянова. Видно, как люди ужинают, двигают, разговаривая, губами, смеются, сердятся. Дряхлый старик набивает папиросы при помощи машинки, и с усилием движутся, просыпая табак, его трясущиеся худые руки,— женщина плачет, мужчина ее утешает,— мужчина колет кухонным ножом лучину,— женщина примеряет перед зеркалом платье с одним рукавом,— крошечную девочку укладывают спать, а девочка не хочет, прыгает и веселится в кроватке с высокой сеткой. Бесчисленность существований! Сколько всякой всячины на свете!.. Дождь барабанит по кожаному шлему, как по крыше. Холодно, и рядом шагает неприязненный, нахохленный, с прилипшим к виску мокрым чубом Спирька Савчук.

— И ничего не знаешь?

— Нет,— отвечает Севастьянов.

Изменился Савчук; меньше чем за год повзрослел — не узнать. Бросил свое бузотерство; образец дисциплины и выдержанности, не хуже Яковенко, с которым он дружит по-прежнему. С комсомольской работы его перевели на партийную, на заводе о нем говорят: вот как у нас растут молодые коммунисты.

И раньше он не был склонен к зубоскальству, у него всегда был возвышенный настрой мыслей, он и бузил-то, собственно, от исступленной требовательности ко всем и ко всему; теперь же вовсе стал мрачен. Маленький рот



сжат железно. Круглые глаза светло и неумолимо смотрят из-под чуба. Расскажут смешное, ребята покатятся со смеху — у Савчука только мускул дрогнет на желтой щеке да веки отяжелеют от презрения к этому бессмысленному веселью. Он носит Зою в крови как малярию, как хинную горечь во рту.

— Так-таки ничего не слышно: где, что?

— Нет.

Не любит Савчук Севастьянова. Терпеть не может — но даже впотьмах, сквозь дождь, узнал, окликнул, догнал. В его голосе нотка хмуро-торжествующего превосходства. «Ты ее разве так любил, как я,— будто хочет сказать и не говорит Спирька,— ты ее не уберег; я бы уберег!..» В длинный-длинный вечер, косо заштрихованный дождем, слилась в воспоминании та осень. В вереницы луж, покрытых рябью, у подножья фонарей... Пропал в косых струях Савчук — идет с Севастьяновым, насунув кепчонку на нос, Семка Городницкий. Медлительно бубнит глухим басом, чихает, кашляет. Отроду сутулый и узкоплечий до жалости — нет-нет, спохватясь, возьмет и выпрямится, и выпятит грудь, чтобы казаться бравым здоровяком, бедный Семка. И через два слова на третье Севастьянов слышит имя Марианны.

— Она получает марксистскую закалку под моим просвещенным руководством. Прочла «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Начали «Капитал». Она читает вслух, а я даю квалифицированные комментарии.

— Опять кашляешь, Семка, простудился?

— Слегка. Пустяки. После санатория все обстоит блистательно. Беда Марианны в том, что ею никто не занимался как следует. Профессорская дочка, с гувернантками росла, откуда быть широте кругозора? Сплошная мещанская кисейность. Илье некогда ее воспитывать...

И вдруг говорит:

— Такой вопрос, Шурка. Если бы мне вздумалось восстановить статус-кво...

— Что?

— Если бы мои книги и я перекочевали обратно — что бы ты сказал?

— Ничего, конечно.

— Не очень возражал бы?

— Что мне возражать? Мы так и думали, что ты не уживешься. Чересчур там роскошно, не по тебе.

— Дело не в роскоши. Этот вопрос я проанализировал

еще раз — без вульгаризации, абстрагировавшись от личных антипатий, и пришел к выводу, что это, во-первых, не роскошь, а элементарный комфорт, на который имеют право все трудящиеся, а во-вторых, в свете наших колоссальных задач не все ли равно, согласись, на какой кровати спать и на каком стуле сидеть, не в том суть.

Ни вода, ни холод, никакие стихии не заставят Семку говорить порезвей и округлять фразы менее тщательно, когда он впадает в лекторский тон.

— Илья валялся в тюрьме на голых нарах, а теперь у него пружинный матрац, и ни то ни другое для него не предмет эмоций, он живет другими проблемами. Разумеется, если товарищ разложился и за барахло готов, что называется, продать душу дьяволу,— но в данном случае это не имеет места. Если я восстановлю статус-кво, это произойдет по другим принципиальным причинам. Должен тебе сказать — Илья, при всем своем уме, недооценивает пионерское движение.

— Из-за этого уйдешь? Стоит ли? Ты уйдешь, а он вдруг передумает и дооценит.

— Не будем шутить. Я несколько устал от шуток на эту тему. Создается впечатление, что Илья Городницкий в нашем возрасте уже имел выдающиеся заслуги, а я учу детей бить в барабан и петь «Картошку». Невероятно, но факт,— он недооценивает и значение антирелигиозной пропаганды.

— Да что ты говоришь,— сочувственно замечает Севастьянов. Дело ясное — Илья, легкий человек, любящий улыбку, разок-другой неосторожно пошутил над Семкиными занятиями, и Семка полез в бутылку, ему невыносимы эти шуточки в присутствии Марианны, он желает быть в ее глазах деятелем, несущим груз ответственнейших забот.

— Это, наверно, мнительность твоя. С чего бы ему плохо относиться к антирелигиозной пропаганде? Но раз контакт не получился — смывайся, и все.

— Смоюсь, если станет невтерпеж,— глухо отвечает Семка, и они трясут друг другу озябшие руки.

— Пока.

— Пока.

«Скрутило Семку, он и делает из мухи слона,— думает Севастьянов, шагая дальше по лужам,— Илье надо бы отнестись более тактично и не шутить над ним, когда такое дело».



Севастьянов дома. Снимает и развешивает мокрую амуницию. На столе тетрадки. Севастьянов открывает тетрадь в клеточку, садится решать уравнения. Совсем с азов начал, уравнения с одним неизвестным для него открытие.

Решил, а ложиться не хочет. Он вообще мало стал спать.

Сперва потому не спал, что подкатывало к горлу, не продохнуть было от ерунды этой, которую она натворила. Лежал и разговаривал с ней: «Несчастная моя дура. Набитая моя дура. Что это ты сделала, зачем ты так сделала!»

Тогда комнатушка еще полна была ею, ее движением, мельканием ее рук. Сейчас выветрилось. Комната как комната. Ничего никогда в ней не происходило особенного. Жили-были вдвоем с Семкой, теперь Севастьянов живет один, может быть — опять будет жить с Семкой. Не спит он оттого, что пытается записать на бумагу лица и картины, которые привязались и не отвязываются.

Люди — много, разные. Говорят всякий свое.

Звенят трамваи. Кричит паровоз. Хлопают паруса и флаги.

Люди и вещи кружат вокруг солнца и требуют, чтобы о них рассказали.

Он пишет медленно, нащупывая связи, фразы, имена.

Расставляя все по местам и переставляя. Каждый раз оказывается — не так.

Пробует описать женщину, как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол.

Еще недавно сочинялось так лихо, на ходу.

Он не верит Залесскому, что тот стрелялся. Если и стрелялся, то несерьезно: недаром промахнулся. Севастьянов ни разу не хотел умереть; как ни подступало к горлу — умереть он не хотел. Даже когда думал: «Лучше смерть!»— он лгал самому себе, он хотел жить.

## 49

Тогда, на паруснике, они с Колей опоздали к утреннему поезду, только вечером уехали из Т. Севастьянов вернулся домой ранним утром. Первым трамваем ехал с вокзала.

Зои не было. Кровать была застелена по-дневному.

На столе, белея, лежало письмо.

Он разорвал конверт, прочел. Подумал: что за номера.

Подоконник был пуст. Она свои вещички держала на подоконнике: зеркало, гребенку, одеколон, коробочку со всякой дребеденью — все исчезло. В жестянке от какао стояли засохшие розы, свесив некрасивые сморщенные головки; Севастьянов не сразу догадался, что это те самые розы. Платьев не было на стене, одна деревянная распялка для платья.

Уехала. Куда?.. Разъяснится, приказал он себе подумать, шутит. Понадобилось ей куда-то съездить, приказал он себе подумать, вернется.

Не все она взяла: вот же ее серый платок. Старые туфли брошены возле кровати. Ворох чулок на стуле.

Но кроме старых туфель, старого платка и нештопаных чулок он ничего не обнаружил.

Письмо...

Уже он знал эти строчки наизусть, уже правда пронзила его своим холодом и уродством, а он продолжал изучать письмо, цепляясь за слова, которые укрепили бы его в вере и опровергли правду.

«Я тебя очень люблю». И куда же тебя понесло, если ты меня любишь?

«Не ищи меня»,— это из фильма, там *она* уходила от *него* и так же писала: «Не ищи меня».

«Умоляю, не ищи». «Умоляю» подчеркнуто.

В кухне уже возились. Шумела вода, пущенная из крана. Примус шумел.

Солнце вошло в комнату и светило на пустую кровать, прибранную по-дневному. Он вспомнил, что надо идти в редакцию писать полосу, к вечеру полоса должна быть у Акопяна.

Сумрачный сарай с огненной щелью увиделся ему, ледник, укрытый соломой, щетинистая морда убийцы. «У нас сражение, мы хороним товарищей, а она!..» Он больше не желал отворачиваться от правды, дело яснее ясного, недаром эти ничтожные, трусливые слова — «умоляю, не ищи». В кафе с кем-нибудь познакомилась или решила выйти за того фруктовщика — мерзость,— с нее станется, с нее все станется, он ехал хоронить товарища, а она позволяла целовать себя Игумнову, которого видела первый раз! Искать?! Будь покойна. Если ты из-за угла... Если ты ничего, ровным счетом ничего не поняла — что у нас с тобой было и что ты разрушаешь!..

Он взял с гвоздя полотенце и вышел в кухню.

— Здравствуйте!— грозно сказал он ведьмам.



— Здравствуйте,— пискнули они испуганно.

И не проронили слова, пока он умывался, стояли смирно у своих примусов, и спины у них были удрученные...

Два инвалида в белых курточках смотрели со своего порога, как Севастьянов спускается по железной лестнице. Третий выбежал из кладовой, что-то сказал тем двум и убежал обратно, озираясь на Севастьянова.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с грустно-недоуменными складками над поднятыми толстыми бровями, решительно захромал Севастьянову навстречу.

— С приездом, товарищ Севастьянов. Очень спешите?

— Есть дело?

— Да. Есть дело. К сожалению. К очень, очень большому нашему сожалению. Будьте любезны зайти к нам. Пойдемте в кладовую, там никто не помешает.

Он был солидно деловит и в то же время всячески старался выразить сочувствие, даже придерживал Севастьянова под руку, когда тот переступал порог кучерявинской пещеры.

— Сюда попрошу.

Из темной пещеры — сеней — вошли в комнату с беленой печкой, с канцелярским столом и парой стульев. Счеты, бумаги, наколотые на железный прут, на плите кастрюля, на табуретке ведро воды и кружка — не то кухня, не то контора.

— Присядьте, будьте любезны.

Главный инвалид истекал сочувствием, он уже обеими руками держал Севастьянова, пока тот опускался на стул.

— Я слушаю,— сказал Севастьянов.

— Товарищ Севастьянов, мы бы вас не беспокоили, мы понимаем, что посторонние люди меньше всего должны путаться под ногами. Вы поверите без лишних слов, скажу одно: мы вам желаем от души не чересчур расстраиваться. Может быть, вы знаете, и совсем не стоит расстраиваться. Даже, может быть, впоследствии скажете спасибо, что это случилось, я бы сказал, своевременно. Пока у вас не зашло в смысле семьи чересчур далеко. Насколько это лучше во всех отношениях. Во всех отношениях.

Севастьянов ждал, глядя в кофейно-коричневые грустные глаза под толстыми поднятыми бровями. Главный инвалид к нему больше не прикасался, но у Севастьянова точное было ощущение, будто его ведут за руку, ведут, ласково уговаривая, к новой неизвестной беде.

— Да, товарищ Севастьянов. Мы вас очень уважаем, вас и товарища Городницкого. Если бы мы вас не уважали, мы с вами не имели бы этого разговора, а дело сразу перекинулось бы куда надо и шло себе как полагается. Но, уважая вас, мы, члены правления, поговорили — вам же это будет такая громадная неприятность...

Кто-то приоткрыл дверь, главный инвалид махнул — дверь захлопнулась.

— Наше предприятие у вас как на ладони. Вы знаете или нет — с этого маленького «Реноме» кормится рота людей, и при каждом семья. И если бы мы настоящую имели клиентуру, как «Эльбрус» или «Чашка кофе», а то из-за нашего невыигрышного местоположения... Конечно, можно сказать: а! бог с ними, с деньгами, что такое деньги, чтобы из-за них ущемлять молодую судьбу! Но мы люди подотчетные, мы не в состоянии...

Инвалид отвел глаза, пожимал плечами, тон у него был виноватый:

— Сумма не такая большая, хотя и не такая маленькая. Последнее время у нас дела шли получше...

— Сколько?— спросил Севастьянов. И, услышав цифру:— Господи!— сказал невольно от горького недоумения.— Из-за этого?..

— Нет, не из-за этого, конечно,— сказал инвалид,— это прихвачено попутно, между прочим, как карманная мелочь. Это, вы понимаете, не та сумма, из-за которой...

Севастьянов перебил:

— Если я уплачу, вы не станете возбуждать дело, так я понял?

— Против нее — безусловно. Зачем нам тогда против нее возбуждать? И я вам советую, как искренний друг...

— Рассрочку дадите?— спросил Севастьянов, обдумывая. Он был много должен в кассу взаимопомощи.

— Какой может быть разговор! Что, мы вас не знаем?

— На два месяца.

— На полгода!— преданно воскликнул инвалид.— На год!

— На два месяца,— повторил Севастьянов.

Теперь он мог идти в редакцию. Полосу о Маргаритовке необходимо было сдать к вечеру. «Коля Игумнов уже на месте, и Акопян пришел и смотрит на часы, они меня ждут, надо отобрать рисунки, а то не поспеют клише». И надо было убежать поскорей от этого тягостного сочувствия.



Но он не убегал, сидел в странной комнате, которая и кухня и контора, рассматривал ее и задавал себе странные вопросы. То, что он здесь услышал, и то, что кого-то он здесь не видел, кто должен бы тут находиться,— влекло за собой эти вопросы, притягивало воспоминания и сопоставления, и в круг сопоставлений включалась комната с беленой печкой, бухгалтерскими счетами и ведерком из оцинкованного железа. Однажды было: он днем забежал домой; вошел во двор, а Зоя выходила из пещеры Кучерявого. До мельчайших подробностей он вспомнил, как, положив руку на ошейник собаки, она преступила низкий порог, зажмурилась от солнца и улыбнулась ему, идущему по двору. Теперь он воображал, как она входит в эту комнату. Положив руку на ошейник собаки, входит она и улыбается находящемуся в комнате. Севастьянов все видел до того наглядно, что в комнате стало тесно: Зоя, улыбаясь, стояла между столом и дверью, и рядом с Зоей — длинное, сильное, холеное, весело дышащее животное.

— Где ваш кладовщик,— спросил Севастьянов у инвалида,— и где его собака?— Он не думал, в каких выражениях спросить: спросил, как спросилось.

Есть у человека спасительные навыки, множество превосходных механических навыков, они, оказалось, здорово помогают в таких случаях. С тебя кожу сдирают с кровью, а ты достаешь папиросу, постукиваешь мундштуком о коробку, дуешь в мундштук, чиркаешь спичкой,— поступки совершенно механические и пустяковые, а все же поступки, действия, и от них вроде легче... Пока инвалид шептал, подняв добрые брови, Севастьянов предложил ему папиросу и сам закурил. Проделывая это, принимал последние удары, которые ей заблагорассудилось обрушить на него.

— Вы понимаете, что Кучерявого мы ищем через угро.

— Но она не пострадает.

— Нет, нет. Она бы не особенно пострадала, товарищ Севастьянов, и в том случае, если бы мы на нее заявили: за ней небольшая сумма, и очень легко отвести обвинение. Она бы пострадала морально, в глазах своих товарищей. Но зачем это нужно, говорили мы, члены правления. Зачем наказывать молоденькую девочку за первую глупейшую ошибку, говорили мы...

Севастьянов ушел. Он пришел в редакцию. Как он и полагал, Акопян и Игумнов ждали и уже беспокоились, что его нет. Оба они сидели у Акопяна за столом, за-

бросанным Колиными рисунками, и пристально смотрели на приближающегося Севастьянова.

— Что с тобой?— спросил Акопян.— Нездоров?

— Нет, почему, здоров,— ответил Севастьянов.

— На тебе лица нет. Замотался, что ли?

— Замотался, наверно,— сказал Севастьянов.

Под предлогом, что все ему мешает, он затворился в архиве и провел этот горячечный день в одиночестве среди пожелтевших газетных сшивов. Писал, бросал писать, ложился лицом на стол, шепча: «Что ты делаешь!» Принуждал себя снова браться за работу и снова кусал себе руки от душевной боли, омерзенья, бессилия, безобразной бессмыслицы свершившегося... Что ты делаешь, что ты делаешь!

Позднее, в зрелом возрасте, он никогда не проявлял своих чувств таким детским и отчаянным образом. Но тогда ему было всего девятнадцать лет, он еще пел песни собственного сочинения!

## 50

Он не собственник. Разлюби она — тут уж ничего не поделаешь.

Но не разлюбила же! «Я тебя люблю», написано ее рукой,— это правда! Что правда, то правда! Ее любовь была откровенная, ликующая. Так лгать нельзя.

Кто умеет так лгать, тот не человек.

Если такой свет удивительный вспыхнул от того, что двое вверились друг другу и соединили свои существования,— как можно было погасить свет, взять и все уничтожить в минуту!

Как она его поцеловала на вокзале...

Или можно лгать и так?

## 51

Во сне забывал; открывались глаза — наизусть знакомое расположение дыр в штукатурке, скрип кровати, грохот чьих-то шагов по железной лестнице равнодушно напоминали, что произошло. Каждое утро напоминали заново. Каждый раз — как по живому мясу...

Хуже всего были утренние открытия заново.



Он схватывался и мчался, будто на поезд опаздывал. Мчался в редакцию.

«Дорогая и уважаемая редакция», как писали рабселькоры в письмах,— дорогая и уважаемая редакция, твердыня, крепость, самые стены твои помогали.

Гул печатной машины был слышен издали. Важная уверенность была в этих однообразно-плавных раскатах: «Что касается нас, мы заняты своим делом. Оттого, что тебе изменили, здесь не изменилось ровно ничего!»

Осенними мглистыми утрами в окнах типографии горели висячие лампы. Наборщики в черных халатах, с верстатками в руках, стояли у реалов.

В конторе и в редакции лампы были настольные, зеленые.

У запертой конторы дожидались граждане, принесшие объявления — о продаже роялей, о сбежавших собаках и утерянных документах, документы терялись в таком количестве, что ими должны бы быть усеяны все улицы.

Акопян сидел за своим столом, в правой руке перо, в левой папироса.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

На столах был разложен «Серп и молот». Он успевал устареть за ночь — номер, датированный сегодняшним числом, выходил накануне, потому так странно кричали по вечерам газетчики: «Серп и молот на завтра»,— сегодняшний номер был в сущности вчерашним, и вчера же сотрудники редакции его прочитывали. Тем не менее, приходя утром, они разворачивали газету, чтобы еще раз взглянуть, как она выглядит, и еще раз бросить ревнивый взор на собственный опубликованный материал, и комнаты наполняло прохладное шуршанье, успокоительное, как бром.

Являлся Коля Игумнов, томный, с мокрыми после умывания волосами.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

С Колей Игумновым в свободные часы играли в шахматы. Коля насвистывал арии из оперетт. Арии легкомысленные, а глаза у Коли были строго опущены на доску, играл он сосредоточенно и хорошо.

Летом, после возвращения из Маргаритовки, он оглушил Севастьянова вопросом:

— Как поживает твоя мадонна?

Севастьянов ответил:
— У меня нет мадонны.
Больше об этом не говорили.
Славный был парень, способный карикатурист, много читал, знал историю, и не донжуан вовсе, как представлялся, просто нравилось ему делать вид, будто он не может пропустить ни одной юбки, почему нравилось — неизвестно.
...Часть своих комнат «Серп и молот» уступил редакции новой газеты «Советский хлебороб». (Кушля там собирался работать разъездным корреспондентом.) В первых номерах этой газеты был освещен процесс об убийстве Кушли. Общественным обвинителем на суде выступал Дробышев. Он доказал, что убийство классовое, политическое, и потребовал для убийцы высшей меры наказания.
В новой редакции, в проходной комнате, сидела Ксаня, регистрировала письма. Дробышев ее устроил, а его жена (маленькая кругленькая женщина в мужском пиджаке, с круглым гребешком в коротких волосах, Дробышев обращался к ней по фамилии: Иванова) приаккуратила Ксаню по своему образу и подобию. На Ксане было платье свекольного цвета, черный пиджак, волосы коротко подстрижены и заколоты круглым гребешком; только обута была, как помнится, все в те же заплатанные сапоги. Сидела Ксаня, медленно водила пером и провожала проходящих мимо ее стола медленным диковатым взглядом исподлобья.
— Добрый день, Ксаня.
— Добрый день...

## 52

Вадим Железный спросил напрямик:
— Я узнал — от тебя ушла женщина? Жестокий нокаут? Говорят, она была красива?
— Да.
Нелепо: ведь не он ушел — от него ушли; откуда же был у Севастьянова стыд перед людьми, словно это он надругался над чем-то, какой-то погасил драгоценный свет?
— Она была умна?
— Почему «была»,— сказал Севастьянов,— она не умерла, она есть.



— Но писал бы ты о ней в прошедшем времени,— возразил Железный,— значит — «была». Ты бродишь среди развалин?.. Тот, кто взялся за перо, обязан ограждать себя от страстей, пережигающих разум. Мозг пишущего должен быть подобен отрегулированной и смазанной машине, всегда готовой принять сырье и переработать его быстро и без брака. Бодрость, ясность, собранность — наши профессиональные качества. Всему, что на них посягает, мы говорим: сгинь. Разве не так?
Сам себе ответил:
— Да, это так! Собранность! Свойство сильных! Плодотворнейшее самочувствие из всех возможных!.. Никакой разболтанности. Боксеры тренируются, чтобы сохранить и умножить свои профессиональные качества. Обуздание желаний для них закон. Я разработаю режим для пишущих. По жанрам: режим публициста, режим поэта, режим сочинителя текстов для массовых действ.
Несомненно, это пришло ему в голову только что. И, несомненно, он тут же уверовал, что это одна из первоочередных его задач, осуществления которой ждут все публицисты, поэты и сочинители текстов для массовых действ. Весь в скрипучей коже, он был воплощением активности и целеустремленности, это внушало почтение. Все же Севастьянов не мог не запротестовать против такой безапелляционной постановки вопроса.
— Беречься, значит, от беспокойств,— спросил он,— не волноваться? Ходить с блокнотом и протоколировать?
— Сколько нам с тобой отмерено бытия?— спросил Железный. Выражение его раздобревшего лица стало элегическим.— Ты об этом думал? Голубоокая заря детства не в счет. Старость — мы не знаем, какая она будет. Много ли остается для свершения? Не удастся сделать десятой доли того, что задумано.
— Все равно не знаю, кто так может,— сказал Севастьянов,— быть машиной для переработки. Попробуй, желаю успеха, раз тебе этого хочется.
— Претворять жизнь в слово,— сказал Железный,— важней и увлекательней чего бы ни было. Что любовь по сравнению с словом, пускающим побеги в вечность? Признай: разве слово, напечатанное черной краской на белой бумаге, не реальней того, что с тобой было? Оно имеет смысл. К нему можно вернуться, в нем нет эфемерности. Оно — экстракт мироздания. Через слово мы, быстротечные, подаем свой голос в громады пространства и времени.

В ту осень Севастьянов много стал читать, читал за обедом и в трамвае, записался в библиотеку и чуть не каждый день менял книги.

Он усердно заполнял делами свой день, чтоб меньше чувствовать пустоту, меньше думать о том, что так быстротечно пронеслось,— об эфемерности, да, страшной эфемерности того, что с ним было. Скоро пристрастился к чтению, с удивлением и неодобрением вспомииал, что еще недавно мог по нескольку дней не брать книгу в руки.

Районная библиотека помещалась в старом барском особняке. Два каменных льва с источенными, изуродованными старостью мордами скалили зубы по сторонам крыльца. Прохожие совали им в пасти окурки. Особняк отапливался плохо, книги сырели, библиотекарша стояла за стойкой в пальто с поднятым меховым воротником. Если она уходила в читальню затопить буржуйку, у стойки скапливалась очередь. Но по большей части топили буржуйку члены кружка друзей книги.

Библиотекарша была грустная женщина с сильной проседью в волосах, небрежно причесанных на прямой пробор. На ее худых руках остро выделялись суставы. В ногти въелась угольная пыль.

Любимым своим читателям — любила она тех, кто часто менял книги,— она позволяла рыться на полках.

Ломаными линиями уходили в глубь зала шеренги книг, одни книги стояли прямо и тесно, как солдаты, другие — привалясь друг к другу. Была сладость в том, чтобы, выбрав наугад, вынуть томик, полистать, пробежать начало, страничку из середины... Покажется интересно — сказать библиотекарше: «Запишите мне это»; не покажется — поставить на место и открыть другой томик.

Было из чего выбирать, не то что в детском шкафчике Зойки маленькой. Глаза разбегались, хотелось взять то и это, целые вороха забрать с собой и прочесть не откладывая.

Тонкие книжки он, увлекшись, прочитывал тут же у полок.

К чистым, щеголеватым томам приближался недоверчиво, с предубеждением: не манило то, что годами и десятилетиями никому не оказалось нужным. Хватался за истрепанные книжки, читаные-перечитаные, распадающиеся на листки, с оборванными корешками. Нередко наружность обманывала.



Вообще, читатель он был неквалифицированный, детишки из кружка друзей книги сто очков ему давали вперед. Эти мальчики и девочки, похоже, так и жили в библиотеке. Они были серьезны, полны достоинства, разговаривали вполголоса. В читальне, в уголку, они переплетали книги, пришедшие в негодность; там стояли их переплетные станки и пахло столярным клеем, который варили на буржуйке. Когда нечем было топить, они приносили топливо из дому — кто полено, кто горсть угля в газетном кульке.

Однажды Севастьянов взял с полки толстую книгу, заглянул в середину — описание церковной службы; заглянул в конец — тоже божественное, религиозные поучения. Не интересуясь, кто автор, он пренебрежительно задвинул книгу обратно. Рядом спускалась по стремянке девочка-подросток из числа друзей книги, Севастьянов постоянно видел ее тут — некрасивая, очень бедно одетая, косицы закручены на ушах, и скручивались жгутиками концы пионерского галстука. Бесшумно спускалась она, и вдруг ее ноги в детских заштопанных чулках и худых ботинках остановились у севастьяновского плеча, и, рассеянно глянув вверх, он заметил, что она смотрит на него, вернее на книгу, которую он ставит на место. Она робко сказала:

— Это, знаете,— это интересная книга.

«Рассказывай»,— подумал он. Но так как она была такая некрасивенькая, с испуганными глазами, он благодарно кивнул ей и сказал приветливо:

— Я уже читал.

В дальнейшем библиотекарша руководила его чтением. Грустно-небрежно, будто между прочим, подсказывала названия, а то просто доставала книгу и записывала в его карточку, говоря: «Это надо прочесть».

Скольким людям обязан он, сколько рук потрудилось, чтобы сделать его человеком.

Книга, которой он тогда пренебрег, была «Воскресение».

Но хоть и неквалифицированно, а читал он запоем, прозу и стихи,— любить стихи научился уже давно от Семки и Зойки маленькой. Библиотекарша приохочивала его и к пьесам, он читал Мольера, Островского, Ибсена.

Чем больше читал, тем больше тянуло к чтению. Радовался, что книг так много,— на всю жизнь хватит, и еще с избытком!

Смешно сказать: ему нравились и оглавления еще не читанных книг, и рекламные списки, которые печатались на последней странице, там, где повествование окончено и за ним как бы закрывались ворота. Перечни книг зажигали фантазию, он пытался этими ключами открыть запертые ларцы.

«Того же автора,— читал он с удовольствием.— „Вольтерьянец“. „Сергей Горбатов“. „Старый дом“».

Наименования, сочетаясь, дополняя друг друга, рисовали узоры различных историй. Представлялись лица и события — потом оказывалось: не те; но было заманчиво — повоображать самому, прежде чем тебе все расскажут. Что происходило в старом доме (он, конечно, был точно такой, как этот, со львами), и что происходило в доме с мезонином, и что в доме Телье? Что за люди, именами которых названы книги?.. Воображение строило и заселяло дома; заселяло и наполняло действием тома, к которым еще и не прикасался. Вскользь думалось — когда-нибудь таким же столбиком будут печататься названия моих книг, интересно, какие это будут названия...

Он знал, что это ребяческое развлечение; но любил поиграть мимоходом в свою игру, становясь лицом к лицу с библиотечными полками.

Любил забраться на самый верх стремянки, под закопченный потолок, и побыть там, перебирая старые, в пылище, книги. Под потолком было тепло. Старые книги пахли особенным, крепким запахом. Некоторые были в бурых пятнах, как от йода. Было спокойно — то, что угнетало и мучило, не поднималось сюда наверх; оставалось у подножья стремянки...

53

Иногда он заходил в детдом, находившийся неподалеку от редакции.

Запах борща и карболки. Двор как плац, мощенный булыжником, в глубине двора — два столба с качелями. Стекла в окнах разбитые и склеенные бумажными полосками.

Летом Севастьянов туда наведывался и написал в «Серп и молот», как там грязно и скверно, воспитатели неопытные, дети разбегаются. Дети (все мальчишки) были маленькие: семи, восьми лет, но уже прожили бурную



жизнь, полную бедствий всякого рода. В бега пускались отважно, готовые к любым приключениям. Одни, нагулявшись, возвращались сами, других водворяла обратно милиция, третьи исчезали совсем. Те, кто не бегал, все лето с утра до вечера качали друг друга на качелях. С их маленьких лиц нездоровых, нечистых, в болячках, смотрели взрослые настороженные глаза. Стригли в детдоме редко, на головах у ребят было что-то вроде соломенной крыши.

Севастьянов написал о них и забыл — тут как раз свалились на него собственные беды. Осенью вспомнил, пошел посмотреть: какое же действие оказала его заметка. Никакого особенного действия она не оказала. Сменили заведующую и одного из воспитателей, а прочее осталось по-прежнему — темные спальни без лампочек, ломаные койки, рваное белье, дурной запах, болячки. Чтобы заставить детей сидеть дома, у них отбирали верхнюю одежду и обувь; и они бегали под дождем босые, в рубашонках, в том числе больные, удравшие из изолятора. За стол садились — как крепость брали: бросались на лавки с разбойным криком, лезли друг через дружку. Во время еды затевали драки. Даже по балобановским, не очень-то строгим правилам такого не допускалось — живо тетя Маня надавала бы ложкой по лбу, подерись они с Нелькой за столом. Тетя Маня уважала трапезу, уважала трудовой кусок и их с Нелькой учила уважать.

Кормили в детдоме дрянно, грязно. И не то чтобы по чьей-то злой воле так делалось. Бедность, а к бедности — неумение, нерадивость, непривычка к хорошей жизни как у детдомовцев, так и у воспитателей. Трудно ли как следует вымыть посуду? Трудно ли положить заплату на простыню? Труда большого нет; да ведь и так съест; и без заплаты переспит; и воспитатели спали не лучше и ели ту же кашу из таких же плохо помытых мисок. А сам Севастьянов — давно ли стал обращать внимание на эти вещи? Его-то когда-нибудь нежили, что ли?

Не нежили, и он от этого не страдал — рос себе и рос, не помышляя, что мог бы расти в более благоприятных условиях, и извлекая из выпавшей на его долю обстановки множество мальчишеских радостей. Правда, у него всегда было тяготение к пристойности: не любил хулиганов, пьяниц, бессмысленного гама, циничной ругани; но прихотей не знал никаких. Почему, став взрослым, он так близко принял к сердцу неустроенность этих малопривлекатель-

ных мальчишек? Прямо-таки совестно было глядеть на детдомовские беспорядки, словно сам был в них виноват: «Куда это годится. Не должно быть такого детства. Не должен человек созревать среди безобразия... в запахе карболки». Ревниво думал об обеспеченном, богатом светлыми впечатлениями детстве людей из чуждых классов,— сколько книг написано об этом обласканном детстве: «Они на все готовое приходили». (Еще не знал, что у каждого поколения, как бы заботливо ни были приготовлены ему пути,— у каждого поколения свои трудности; каждое поколение берет новую высоту, прежде чем выйти на поле большой деятельности.)

Он стал хлопотать, чтобы какая-нибудь солидная организация взяла шефство над захудалым детдомом. Пока ничего не получалось из его хлопот, он шефствовал единолично. Пытался воспитывать воспитателей — удивительно, что они его не выгнали и не пожаловались на него; но они относились к нему добродушно, хотя и не слушались. Узнал случайно, что после ликвидации Последгола остались кровати и другое госпитальное барахло, лежит на складе; заручился запиской Дробышева и добыл ордер на шестьдесят кроватей и шестьдесят тумбочек... Шефство над детдомом взял «Серп и молот». Типография отработала воскресник и приодела мальчишек, и на седьмое ноября устроили им хорошее угощение. Бутерброды с колбасой и сыром лежали грудами, и все брали сколько хотели.

Эти мальчишки первый раз в жизни ели сколько хотели, а не по порциям. Только конфеты были розданы поровну, чтобы не вышло несправедливости.

Они, мальчишки, тоже использовали для своего увеселения все, что им перепадало в их скудном житье-бытье; и вот какую забаву они придумали. Когда заходил Севастьянов, они налетали на него со всех сторон и турманами кидались ему в ноги. На оба его ботинка усаживалось по мальчишке. Они обхватывали его колени, и он шагал по коридору, высоко поднимая ноги, а мальчишки визжали от восторга; а остальные бесновались кругом, крича: «И я! И я!» Неизвестно, откуда они взяли, что с ним можно так обходиться; разговаривал он с ними довольно сурово... Он шагал и чувствовал себя очень большим, очень сильным, могущим кого-нибудь ушибить и потому обязанным быть внимательным и осторожным с этими маленькими, толпящимися у его ног.

Впоследствии в таком детдоме росли герои одной его книги. К ним приходил молодой великан и играл с ними. Великан был светловолосый, неудачливый в любви, ботинки носил сорок четвертого размера; зная, что сейчас на них усядутся, он у входа старательно вытирал их о тряпку.

Случалась с ним одна вещь. Вдруг, среди людей и шума, накатывала тишина, глубокая, до звона в ушах; и в тишине он оставался один со своим недоумением, своим вопросом: «Послушай! Зачем?..»— и такая тоска иной раз, будто умер кто-то дорогой, без кого жизнь не в жизнь... Решительно пресекая эти штуки, вырывался из тишины: хватит, сколько можно думать о том, чего не переделать.

54

В редакцию входит горбун. Идет к севастьяновскому столу бойко, проворно выбрасывая короткие ноги, но при этом пристально и испытующе смотрит Севастьянову в глаза — трусит и из амбиции не хочет показать, что трусит.

«Что ей может быть еще нужно?» — думает Севастьянов.

С первого взгляда он знает, что горбун пришел не сам по себе — она послала, ее существование опять становится непреложным и грозным фактом, снова она, от которой себя отбивал, отучал, которую запрещал себе все эти месяцы,— снова она приближается, она приближается с каждым шагом горбуна,— что она на этот раз замыслила?

Что бы ни замыслила, Севастьянов испытывает протест при виде приплюснутой к полу фигуры, шагающей к нему. Он предпочитает, чтобы его оставили жить как он живет. Кончена история, и ладно, и не надо его больше трогать.

— Но-но!— развязно говорит горбун скрипучим голосом, выдвинув, как щит, длинную ладонь,— выяснять, кто перед кем виноват, после будем, сейчас некогда. (Севастьянов ничего не собирается выяснять.) Сейчас нужно в срочном порядке выручать сестренку, попала сестренка в неважный переплет.

Он торопится со своими сенсациями, желая обеспечить себе неприкосновенность. Но, уязвленный молчанием Севастьянова, не может удержаться, чтобы не лягнуть мимоходом:

— Не нравится, что я зашел? Мильон напоминаний, мильон терзаний? Потерпи, ничего; я по делу. Не будь дела, не стал бы беспокоить; я не вспомнил бы, между нами говоря, что ты на свете есть. Так у вас скоропалительно все началось и кончилось, что я с тобой даже не успел более-менее познакомиться.

Придвигает стул и усаживается по ту сторону стола.

— Даже, как известно, не успели чокнуться за ваше семейное счастье... Ладно, это ерунда, давай по существу Я говорил, чтоб она тебе записку написала, но она велела передать на словах.

Странно в чужом, недобром лице узнавать черты Зои. Карие глаза под темными тонкими бровями, это у них общее. Профиль схожий. Маленькая, с гречишное семечко, родинка на скуле. Брат и сестра. «Я жду брата»,— сказала она, стоя на площадке, девочка в пальтишке с короткими рукавами, а по заплеванной лестнице шел к ней горбун и вел Щипакина.

— Она в предварилке.

Вот что. А почему бы и нет? Почему не быть в предварилке, и чему угодно? С ней все может быть.

— Прыгала-прыгала и допрыгалась до предварилки.

И непонятно: досадует горбун или злорадствует.

— Ах, теперь в молчанку играть?! Из семьи сманил, а придержать за хвост, чтоб не путалась с кем не надо,— не хватило силенки? Обязан был держать! А не умеешь — какого черта сманивал?! Семья бы ее определила — ты зачем ввязался?.. Светлую жизнь обещал? Ты знаешь, как устроить, что светлей не надо! Сманил, так изволь присмотреть, а то вон какая петрушка... Тип-то этот, оказывается, на заметке, в особых каких-то списках. По белогвардейской лавочке: в осваге, что ли, служил. Идиот, ему в кладовщиках сидеть и сидеть с липовыми документами тише мыши, не рыпаться, а он такой дым пустил; любви понадобилось! Как пить дать, к стенке станет, болван, а она...

— Она знала?

— О чем? Что белогвардеец? Откуда? Полный он, что ли, псих — довериться девчонке? Он ее подговаривал уехать вместе; какой ему расчет был ее пугать?

«Это так. Она легкая, веселая, она бы шарахнулась и от прошлого его, и от будущего».

— Ничего не знала, ясно. И ничего бы ее и краем не зацепило, если б от большого ума не побежала расписываться. В Новороссийск приехали, он первым долгом



в загс. Рассчитывал в Одессе венчаться в церкви. Черт его душу знает, что думал: закрепить мечтал?.. Уже фату купил на барахолке.

Он ее затаптывает в грязь каждым своим словом!

— ...Она его не любила, так только... Он-то врезался до потери сознания.

— ...Вместо венца в кутузку. В арестантском вагоне две недели ехала со всякой шпаной. Рассчитывала, привезут — выпустят, а его здесь как раз опознали и засадили накрепко, и ее держат. Получаю письмо, зовет на свидание,— слезай, приехали...

— ...Он ее чем поманил — котиковым манто.

— ...Влипла. Надо выручать. Ты если постараешься — тебе пустяк, она говорит,— завтра же она может быть свободна. Ей предъявить ничего нельзя, в чем дело? Юрист ручается, ее раньше, позже — обязательно выпустят; так чего ради ей волыниться за решеткой...

Горбун навалился на стол локтями и плечами, стол ему до подмышек, голова горбуна лежит на плечах, как на тарелке.

— Через Городницкого!— говорит горбун и, совсем осмелев, заговорщицки и повелительно поталкивает Севастьянова в грудь белым костлявым пальцем.— Городницкий, прокурор, если вмешается — ее в два счета... Она говорит — вы корешки с его братом...

Оставшись один, Севастьянов сидит оцепенелый, вялый, водит пером, машинально что-то рисуя. Мысли кружат по периферии события, только что произошедшего. Он не мешает им кружить по периферии; предается им без лихорадочности, с прохладцей; прямо сказать — цепляется за эти периферийные мысли.

О горбуне. Такая вот мелкота, нуль, а сколько может пакости натворить в мире. Продать, растлить, погубить. Неуловимо, безнаказанно. И что ты с ним сделаешь, как обезвредишь? Лишился папы — содержателя притона, лишился доходов от притона, все возненавидел и пошел, огрызаясь, что-то себе налаживать, крутиться по-своему. Как ее обезвредишь, неисчислимую мелкую дрянь? Топчет землю короткими ногами, обмозговывает, хлопочет...

Учил Севастьянова, что сказать Илье Городницкому; все слова — одно другого противней: холуйство и злобное лязганье зубами, бесстыдное хныканье и тут же какая-то юридическая юркость, бедовость, тьфу! Доведись на самом деле до разговора —«товарищ Городницкий,— сказал бы Севастьянов,— она не виновата. Ее покалечили, но

перед советской властью она не виновата, она не знала, кто он такой, верь мне. Он пообещал ей дорогие игрушки, она побежала за игрушками».

Кучерявый, обреченная, темная судьба. Как он в белой куртке — вылитый кладовщик — снимал и навешивал замки... Севастьянов вспоминает его логово; и как он кормил и ласкал свою Диану. Все стало мрачно-значительным после того, что рассказал горбун.

Вот тебе и кладовщик, сырое тесто, матрацные пружины. Враг ходил, прихрамывая, по людному двору. Отвешивал инвалидам повидло для пончиков... Должно быть, и прическу нарочно себе соорудил дурацкую, и косноязычную речь.

Здорово было сыграно. Сиди он в своей щели, может, до него и не добрались бы.

Могучее страха и расчета оказалось тяготение к Зое. Придачей к тряпкам, которые он дарил ей, была его жизнь...

«...А ты о ней все знал, скажи, что нет,— обращается Севастьянов к себе.— Никаких для тебя секретов не было в ее прошлом. Какие, собственно, у тебя к ней могут быть претензии, раз ты с самого начала все знал?» Надо же так о себе возомнить, ведь он, честное слово, был убежден в свое время, что прошлое прошлым, а отныне только и будет ей свету в очах, что он, Севастьянов.

А если бы она захотела вернуться. Если бы она захотела по-прежнему... Нельзя! Чтобы после всего она опять вошла в комнатушку за кухней? Как же он будет говорить с ней? Отводя глаза? Никогда больше не возьмет он ее за руку с той радостной верой!

И вдруг стукнуло: ты что? о чем? Она со шпаной за решеткой. Сидишь? Оттягиваешь? Сопротивляешься? Очень сейчас важно, будешь ты отводить глаза или не будешь, проблема, действительно... Она помощи твоей ждет! Вот что произошло, громадное, великое — она вернулась, *уже* вернулась, сообразил наконец?! Она рядом! Прислала к тебе за помощью! Считает — ты тут горы для нее своротил, придешь, скажешь «сезам, отворись», и она на воле. А ты сидишь домики рисуешь, сволочь.

Ужаснулся: как грубо — без миндальничанья!— наказывает ее жизнь. Как ей плохо. Две недели в арестантском вагоне... Да отнесли ли ей еду какую-нибудь? Есть у нее рубашка, платье — сменить? Даже не спросил, эгоист, животное.



Да, и в комнату вернется, безусловно. Куда ей деваться, не к горбуну же. Она ведь такая же беспризорная, как те детдомовские пацаны, а то нет? Войдет похудевшая, измученная, тихая и положит узелок на стул. И опять просияет паршивая комнатушка. А ты разожжешь примус и поставишь чайник. И будешь кормить ее молча, потому что если заговоришь, то можешь заплакать, и она заплачет, получится чувствительная сцена, зачем.

А когда она ляжет отдохнуть, ты укроешь ей ноги и выйдешь на цыпочках, тогда можешь пореветь незаметно где-нибудь в коридоре, раз уж у тебя глаза на мокром месте!

Поздно вечером — нет, это ночь уже, до ночи проканителился,— он стоит посредине мостовой (как стоял когда-то перед другим домом, при других событиях) и смотрит, закинув голову. За высоким забором крыша. Над крышей два фонаря. Резко в их свете белеют трубы на чугунном фоне неба. Она спит под этой крышей. Севастьянов отходит дальше, становятся видны фрамуги верхних окон, ряд светящихся фрамуг,— там спит она. Ее спящее лицо увидел он, ресницы ее, шелковые губы в морщинках-лучиках. Обижают ее, наверно, все эти бандитки и проститутки, это народ известный.

На улице ни души (что за улица? Какая-нибудь третья Георгиевская, вторая Софиевская, там и люди-то почти не жили, то было царство сенных складов, свалок, дворов, где стояли бочки золотарей). Ни души, кроме Севастьянова. От его шагов звенит земля. (Зима? Снега нет. Но и дождя нет, и земля звенит.)

Щелкает задвижка, в воротах открывается фортка. Невидимый кто-то спрашивает:

— Чего ходишь, эй! Что надо?

— Из «Серпа и молота»!— громко отвечает Севастьянов, спеша к воротам; по всей улице разносится его голос... Он протягивает удостоверение, но фортка захлопывается. Человек в буденовке выходит на улицу, зевая и натягивая тулуп. Буденовкой, манерой говорить, нетороպливостью, беспечностью он напоминает Кушлю.

— Из «Серпа и молота»? А чего ночью здесь шатаешься? Ваши документы.

Стоя под фонарем, вертит и рассматривает красивую книжечку красной кожи.

— Севастьянов? Я тебя читал, товарищ. Читал твои статейки. Ничего пишешь. Учили тебя или сам?

— И учили и сам.

— Можно даже сказать — здорово пишешь. Правильно берешь под ноготь все что следует. Молодец.

Не видно, какого цвета у него глаза. Но так и кажется, что они должны быть ярко-голубыми.

— А чего ты тут?

— Тут человек у меня один.

— Ну-у? Кто ж? Из родни кто?

— Сестра.

— Скажи ты!— ужасно почему-то удивляется человек в буденовке.— Ай-ай-ай. Родная сестра?

— Я думал — может, можно повидаться.

— А как же. Возьмешь разрешение и придешь повидаться, и передачку забросишь, строгости особенной нет. Даже на побывку домой отпускают, кто посмирней и не чуждый социально. Ведь это в основном простой народ. Через свою темноту и бедность совершают разные нарушения, и на ихнее пролетарское происхождение делается справедливая скидка. Справедливая-то она справедливая, но я тебе скажу, знаешь ли, пора бы им возыметь совесть и перестать нарушать. Такое мое мнение. Восьмой уж год идет революции, можно бы осознать, кажется. Можно бы проникнуться, в какую ты существуешь эпоху и куда идут массы, а свой шкурный интерес отложить в сторону. Грабят, понимаешь, убивают, ну что такое... Закури, товарищ.

Он протягивает Севастьянову папиросы. Подносит в больших ладонях зажженную спичку.

Глупость какая — вообразить хоть на минуту, что тебя впустят ночью в такое место по редакционному удостоверению...

— Спасибо. Пока.

— Будь здоров, товарищ.

Трамвай уже не ходит. На Сенной площади Севастьянову удается вскочить в проносящийся что есть духу грузовой вагончик. Стоя на подножке, без остановок мчится он по ночным улицам к Илье Городницкому.

## 55

Семка сидит под молочно-белой лампой и пишет.

— Илья, должно быть, спит,— говорит он, глядя рассеянно и расчесывая тонкими пальцами встрепанный чуб.— Что тебе так срочно? Я ему пишу письмо.



Он не удивлен поздним вторжением Севастьянова; у него у самого бушуют бури.

И Севастьянов не удивляется, что Семка пишет письмо брату, спящему в соседней комнате,— не до того Севастьянову.

Ковер уставлен кипами книг, связанных веревками, как в тот день, когда Семка сюда переехал.

Семка спохватывается:

— Что случилось?

И, выслушав краткую информацию, мучительно щурится:

— Он спит, по всей вероятности... Не знаю, захочет ли он... А впрочем...

Он выходит. Севастьянову слышно, как он осторожно стучится в дверь рядом; слышно, как он в коридоре с кем-то переговаривается сдержанным басом... Возвращается он с Марианной. Она говорит, входя:

— Нет, ну как можно, он только что заснул,— здравствуйте (это Севастьянову), он только что заснул, неужели нельзя подождать до утра?

Она кутается во что-то голубое и длинное, с длинными висячими рукавами, золотые волосы заплетены в косу, она сонная и сердитая, и, когда Семка пытается замолвить слово за Севастьянова, она перебивает:

— Ну да, ну да. Все это очень грустно, но будить я не разрешу. Он устал. Ему нужен покой. Никаких ужасов не происходит, как я поняла? Вашу знакомую просто задержали, не правда ли?

Севастьянов помнил ее нежной, ко всем расположенной, предлагающей им, ребятам, конфеты и дружбу.

— Не вижу повода заставлять его вскакивать среди ночи.

Семка щурится и говорит:

— Повод есть, Марианна.

— Ах, конечно, это ужасно неприятно!— восклицает Марианна.— Кто же спорит! Бедняжка! Конечно, Илья сделает все... но что можно сделать сейчас?

Должно быть, устыдилась своего раздражения; тон смягчается.

— Извините меня,— она берет Севастьянова за руку,— вы расстроены, вы не подумали: ведь он должен разобраться в этом деле, так же сразу он не может, не правда ли?

Лицо светлеет, становится таким, как помнит Севастьянов,— милым, немного беспомощным.

— Ошибка, вы говорите? Увы, это иногда случается, к сожалению... Ошибку исправят! Не горюйте! Ошибки всегда исправляются!

Белыми руками в голубых рукавах она ласково держит Севастьянова за руку.

— Я понимаю: вам хотелось поскорей излить ему свое горе! Да, да, я понимаю! Но вы знаете: он хрупкий, у него слабое здоровье!— Умоляющая улыбка.— Его надо беречь! Пусть он поспит! Вы ему все расскажете завтра!

Севастьянов глядит на нее сверху. Что он делает? Глупость за глупостью... Какого черта вломился? Что могло получиться из этого набега? Неудивительно, что Марианна рассердилась... А зачем она держит его за руку? Он не знает, как высвободить свою руку. Не умеет он отвечать на эти улыбки! Зачем ему ее сочувствие? Ей же дела нет до Зои и до него, как бы она ни улыбалась и какие бы ни говорила слова, профессорская дочка в голубом шелку! Он не к ней пришел, а к Илье Городницкому, коммунисту; при чем она?..

Но так или иначе, он перед ней виноват. И он что-то бормочет — признает свою вину.

Марианна заверяет, что он ее нисколько не обеспокоил, да нет, нисколько, что вы! Его уговаривают остаться ночевать...

Семка провожает его по коридору. Говорит глухо:

— Ляжет ради него под поезд и взойдет на эшафот.

Севастьянов догадывается, что это о Марианне и ее любви к Илье.

Догадывается и о том, что означают стопы книг у Семки на полу и письмо, которое писал Семка. И откровенно просит:

— Обожди переезжать, ладно?

— Я могу устроиться иначе как-нибудь,— отвечает Семка.— Ты об этом не заботься.

А женщина в голубом одеянии с висячими рукавами — представлял себе впоследствии Севастьянов.— вернулась к своему мужу. Довольная, что уберегла его покой, что она такая хорошая ему охранительница,— взглянула на него, спящего, и, может быть, перекрестила его, вполне возможно, что она это сделала: не потому, что была религиозной, а от избытка любви. Потом легла осторожно, счастливая, уверенная в своем счастье, в своей силе; и золотая ее коса свесилась с подушки.





К Илье Городницкому Севастьянов на следующий день ходил в прокуратуру, говорил с ним и заручился его обещанием срочно ознакомиться с обстоятельствами Зоиного ареста.

Совсем молодой прокурор был Илья Городницкий.

Уж одно то, как он вошел... Его пришлось подождать. «Прокурор в суде»,— сказала секретарша. Севастьянов довольно долго просидел в приемной. Кажется, при старом режиме в этом здании тоже помещалось что-то относившееся к юстиции. Старая юстиция построила эти толстые стены и полукруглые, торжественные, как в соборе, глубокие окна. И деревянные диваны каменной прочности, с полированными покатыми спинками.

Через торжественную приемную Илья прошел — пролетел — широким быстрым шагом, взмахивая портфелем,— оживленный, стройный... Севастьянов не узнал его в первую секунду: Илья был без бороды; Севастьянову показалось, что мелькнувшее красивое лицо он видит впервые... Секретарша, проворно поднявшись, английским ключом открыла дверь кабинета. Прием начался. Первой, крестясь, прошла к прокурору старуха в черном платке.

И в кабинете были окна церковного типа, в полукруглых глубоких нишах, и чрезмерно высокий потолок, под ним сгущались сумерки,— внизу еще было светло. Озеро натертого паркета, стол — остров среди озера.

Илья сидел у стола боком, небрежно, узкоплечий, странно тонкий, не заботясь о том, чтобы приосаниться, принять более солидный вид, больше соответствовать этой комнате, построенной строгой старой юстицией. У него улыбались глаза.

И до чего же молодо выглядел, много моложе даже своих молодых лет.

Впечатление было такое: залетел мимолетно в комнату с церковными окнами — занесенный ветром — некто юный, полный бесстрашных надежд, не собирающийся здесь засиживаться; сейчас снимется с места и понесется дальше куда-то, как перекати-поле.

Правильное впечатление; вскоре оправдалось — меньше года он проработал в нашем городе.

С чего бы он стал приводить себя в соответствие с зданием, куда занес его ветер? Не в его характере было

приспосабливать себя к чему бы ни было; неволить себя без нужды. Ему поручали трудные дела, и все у него выходило, это наполняло его безграничной самоуверенностью.

Марианна выдумала, будто он слаб здоровьем; может — для себя выдумала, чтобы еще больше получать отрады, окружая его попечением и лаской. Ни слабости, ни усталости не было в его лице, бледноватом, без румянца, но словно бы изнутри освещенном, словно только что ему рассказали что-то обрадовавшее его и окрылившее,— хотя что радостного могли рассказать старухи, входившие сюда крестясь...

Ни капли усталости! Он жил активно и упоенно и собирался жить так без конца.

А встреча их была короткая. Кратчайшая. Встреча, которой Севастьянов добивался и которая была так важна,— сколько минут она длилась? Восемь? Пять?

Илья произнес несколько считанных слов; ровно столько, чтобы начать разговор и завершить его и чтобы разговор этот, несмотря на краткость, получился все же человеческим и бодрящим, а не бюрократическим.

— Мне о вас говорили мои домашние. Мы, говорят, встречались,— сказал он мягко и дружелюбно, когда Севастьянов назвал себя. Дружелюбие и мягкость проистекали из довольства собой; из сознания своего значения; из масштабов надежд и планов. Что стоило Илье Городницкому излить на человека частицу своего превосходного настроения?

— Я не очень понял, что у вас стряслось. Рассказывайте.— И стал слушать, делая по временам заметки в блокноте. Слушал терпеливо, с оттенком снисходительного пренебрежения к ничтожности тревог, приведших к нему Севастьянова. Как ни был вежлив, скрыть пренебрежение не удавалось. В приемной ждало еще душ двадцать, вполне возможно, что севастьяновская беда невелика была по сравнению с их бедами,— но не испытывал ли Илья Городницкий такого же пренебрежения и к тем двадцати, превратности их судеб не были ли в его глазах так же мизерны и убоги...

Но он был терпелив, только раз взглянул на часы. Даже вставил великодушно пару реплик, давая понять, что рассказ Севастьянова для него небезынтересен:

— Ах, это тот осваговец... Он порядочно погулял на воле, а? Вот видите, как мы еще скверно работаем.



— Однако! Ради нее пустился на такой риск? она так его пленила? Занятно.

И сразу прервал, вставая:

— Хорошо. Я займусь ее делом в ближайшие дни.

— Да у нее и дела никакого нет,— возразил Севастьянов, считавший, что не все договорил,— она...

— В ближайшие два-три дня, вот так,— сказал Илья с той же мягкостью.— И если она хоть вполовину так невиновна, как в вашем изложении...

Он располагающе улыбнулся. Прокурор улыбнулся добродушно и шаловливо.

Севастьянов собирался добавить что-то; но Илья нажал кнопку на столе — сейчас же в двери царапнул ключ, вошла секретарша. Илья бросил, уже не глядя на Севастьянова:

— Следующий.

И все. И, в сущности, этого было вполне достаточно. К чему бы этой встрече быть продолжительной, а тем более взволнованной?.. Илья сдержал обещание, через три дня Зоя вышла на свободу.

Говорят, он вообще был в работе точен и исполнителен.

Он был талантлив, считал Семка; память исключительная. Ухитрился одолеть несколько языков, свободно говорил на них и читал. Ходил по комнате и наизусть шпарил «Фауста» по-немецки. У Марианны от благоговения закатывались глаза.

Ее благоговение благодаря Семке приняло гиперболические размеры. Прежде Илья был просто мужчина, для которого она покинула любимого папу-профессора, и любимую старую гувернантку, и весь круг своих друзей и своих уютных привычек; но ознакомившись по Семкиному настоянию с творениями, формирующими нашу идеологию, она себе составила болезненно преувеличенное понятие об Илье, об его роли и подвигах; окружила его неслыханным ореолом,— таковы были результаты ее чтений с Семкой, долженствовавших сделать из нее передовую женщину и борца. Так уж преломились эти чтения в ее неподготовленном мозгу. Семка иронизировал над результатами своих стараний, щуря глаза, полные слез.

Бороду Илья отрастил, оказывается, в знак траура, когда не вышло с большим назначением в наркомат,— он же мог дурачиться по любому поводу. Потом борода надоела, возни много; сбрил... Он рвался в Москву. Горел нетерпением, ожидая, чтобы его отозвали обратно. Только в центре по-настоящему чувствуешь пульс жизни, говорил

он. Не то чтобы он скучал в родном городе; вряд ли он и умел скучать; просто, вот именно, тянулся к пульсу — где громче, где горячей.

## 57

Из письма Семки Городницкого к Илье Городницкому:

«...возишься с растратчиками, взяточниками и тому подобным исчадьем старорежимного ада. И, говоря объективно, весьма похвальная черта, что вечером запираешь все эту дьявольщину в сейф и приходишь домой с шуткой...

Ближайшая мишень — младший брат. Застрявший в детстве, как ты многократно и недвусмысленно давал ему чувствовать.

Приветствую шутку как орудие критики, как проявление высокой умственной организации homo sapiens'а, как отдохновение, наконец... Ты шутишь — мы все трое бодро смеемся. Но нельзя жить, когда на каждом шагу подчеркивают, что ты нуль.

Шуточка, повторенная десять раз, прилипает как мушиная липучка. Человек ложится и встает с ощущением своей неполноценности. Его социальное самосознание отравлено этим ощущением. Работа валится у него из рук.

То, что тебе посчастливилось в гимназической шинели, желторотым птенцом, влететь прямо в пекло боя — это, согласись, случайная удача. Дар эпохи.

Югай тоже мальчишкой пошел воевать, и тоже комиссарил, и тяжело ранен под Ростовом, и награжден именным оружием, однако Югай не смотрит сверху вниз на нас грешных — тех, на чью долю достались не столь громкие деяния.

Илья, но разве то, что делают мои сверстники, я в их числе,— не есть борьба?

У тебя повернулся язык спросить — как я ухитрился на этой ерунде нажить чахотку.

Предлагаешь меня «устроить». Тебе нравится «устраивать», удостоверяться в своем влиянии — что достаточно твоего пожелания, и брата твоего «устроят», как «устроили» отца. Спасибо, я не хочу ходить на помочах. У меня свои ноги. Я люблю мою работу. Я вижу, как из многих усилий, таких же малозаметных твоему взгляду, как мои усилия, складывается результат, нужный советской власти и партии,— в этом смысл и счастье моего существования. Инструктор чего-то, что Илье Городницкому кажется игрой в куклы,— я отдам этой работе всю мою кровь до капли.

Если это смешно — смейся!

Мы с тобой ни разу не поговорили на равных основаниях, как товарищи по борьбе. Ни разу ты не спросил, что я думаю по основным вопросам политической жизни. О серьезных вещах беседуешь только со своими друзьями. Стоит мне вставить слово, у тебя веселое удивление в глазах: как, Семка что-то произнес? Выразил свое мнение? Что же значит его мнение, если сам он ничего не значит? Вслух ты этого не говоришь, ну еще бы. Но однажды, в ответ на некое мое замечание (оно касалось, ты безусловно не помнишь, специфических особенностей классовой борьбы в Англии), ты погладил меня по голове как маленького и спросил: «Что, детка?»

Илья, разница в возрасте у нас не такова, чтобы ты меня мог гладить по голове! Вообще не знаю, кому бы я разрешил подобную вещь. Позволь тебе сказать, что по ряду вопросов я мыслю более зрело и глубоко, чем ты. (Сужу по отдельным твоим высказываниям.) Начиная с 1921 года меня постоянно включают в комиссии по проверке политических знаний членов комсомола. Но тебя это не интересует, как все, что составляет собственно мою жизнь как комсомольца. Ты комнату, в которой я живу, называешь детской...

...Зачем нам жить вместе, скажи на милость?

Родство? Пережиток...

Я ухожу, Илья, из моей детской».

Так, или в этом роде, писал Семка брату.

Письмо не было отправлено. Во-первых, Семка, перечитав, обнаружил в нем ужасающий индивидуализм. Невозможно, сказал он, сплошь личные местоимения.

Во-вторых, он задумался: на все ли сто процентов он принципиален? Не продиктовано ли письмо его, Семкиным, отношением к Марианне, это было бы недостойно. И, задумавшись, он решал этот вопрос много лет. Но из детской ушел, не дожидаясь решения.

## 58

Зоя не вернулась в комнатушку за кухней.

Севастьянов приходил и рывком отворял дверь: пуста была комнатушка и никаких перемен в ней, все так, как он, уходя, оставил.

Ночью не ложился: может быть, думал, она стыдится людей после всей этой истории; придет, когда ни одной души нельзя встретить.

Бодрствовал, прислушиваясь к стукам и шорохам, и засыпал у стола, опустив голову на руки. Света не выключал — до утра светилось окно, призывая ее.

Сколько-то ночей прошло и дней. Он перестал ждать.

Уже перестав ждать, услышал это сочетание имен: Зоя и Илья Городницкий...

Пусть так. Он ведь все равно перестал ждать.

### 59

Когда-то Семкина койка стала лишней в комнате, и Севастьянов отволок ее на чердак.

Теперь он притащил ее обратно и поставил на прежнем месте.

Семка вошел и окинул взглядом дырявые стенки. Его горбоносое, без щек, лицо выразило, что он тронут. Но он сказал юмористически-напыщенно, подняв руку с тонкими, как карандаши, пальцами:

— Привет тебе, приют священный!

За Семкой пионеры, войдя гуськом, внесли книги, увязанные аккуратными стопками. (Сколько еще предстояло этим книгам странствовать! Сколько раз их увязывали и развязывали, втаскивали на верхние этажи, расставляли на полках, заколачивали в ящики, возили по железной дороге большой и малой скоростью! И от странствия к странствию их становилось все больше...)

Электрификация и Баррикада в этот раз не сопровождали Семку. Они повыходили замуж. Из них вышли жены добрые и домовитые — насколько домовитость была достижима в их неустроенном бытии.

Севастьянов и Семка сосуществовали в комнатушке за кухней так же мирно, по-товарищески, как и прежде. Принося домой хлеб и пакетик с колбасой, один лаконично предлагал другому:

— Питайся. Краковская.

Они не мешали друг другу читать, писать, размышлять, уходить, приходить... Так было до отъезда Севастьянова. Близилось время новых больших событий в его жизни, время, когда ЦК комсомола заберет его в новую, молодую, боевую газету —«Комсомольскую правду», и станет Севастьянов разъездным корреспондентом «Комсомолки» и пойдет колесить по стране...



Илья Городницкий уехал раньше.

Влиятельные доброжелатели отозвали его; он вторично покидал родной город.

Севастьянов видел, как уезжала Зоя.

(Последнее проявление слабости. В Москве он ее не искал. Ни у кого никогда не спросил — не знаете ли, где такая-то...)

Он стоял в зале для ожидающих, возле бака с кипяченой водой, и смотрел через большое зеркало. По стеклу мороз набросал пунктиром листья и звезды; сквозь эту узорчатую кисею Севастьянов смотрел как на сцену. А его снаружи увидеть было нельзя.

Зеленый вагон был прямо перед окном, и между окном и вагоном — большая группа людей и в центре Зоя.

Она уезжала с Ильей Городницким и Марианной. Много народу пришло провожать — приятели Ильи, в том числе толстяк Фима, заведующий губздравом,— но никого не было из Зоиных друзей, ни Зойки маленькой, ни Спирьки Савчука, ни одного человека: всех она расшвыряла, не дорожила никем; верно, видела перед собой бесконечный путь и несчетно встреч... Рядом с ней стояла рослая женщина в пуховом платке, с отекшим напудренным лицом и длинными бровями: ее мать. Горбуна не было...

Поодаль сутуло стоял Семка, уставив на Марианну сурово-безнадежный взор. Был и старик Городницкий — примирившийся со своими разочарованиями, по-прежнему франтом, с тростью, в котиковой шапочке. Близости с многообещающим сыном так и не получилось. Илья только устроил отца на должность товароведа, чтобы старик не портил ему настроение и анкету своим социальным неблагообразием.

— ...И роман с этой девочкой! — говорил впоследствии старик Городницкий, вздергивая плечи.— Как может человек такого положения, как Илья, заводить подобные романы! Девочка из домзака! Что за вздорная бравада! Я ему сразу сказал: ты с ума сошел!.. Считаю,— не без яда заключал старик свои восклицания,— что Илье при отъезде следовало отпустить бороду вдвое длинней, чем та, с которой он приехал.

Илья отрастил на этот раз не бороду — крохотные усики, с темными усиками вид у него был донжуанский, усики выдавали его томление, поглощенность собой, разброд его мыслей... Он говорил и вертелся, перебрасываясь

от собеседника к собеседнику и нервно смеясь. Вдруг выключался, взгляд застывал, рука беспокойно пощипывала ниточку усов...

Среди мужских фигур Зоя была как Царь-девица из сказки в своей меховой шубке, в островерхой шапочке вроде тюбетейки, расшитой пушистой шерстью ярких цветов, румяная от мороза. По-новому причесана: пробор впереди и волосы туго затянуты от висков назад и немного вверх, от этого глаза казались еще более удлиненными, японскими, необыкновенно прекрасными. Ни страданья, ни раздумья не наложили пережитые треволнения на это лицо. Беспечная, стояла она, пританцовывая на каблуках высоких фетровых бот... Марианна в ее блеске меркла, исчезала. Но она не сдавалась, Марианна, держалась храбро и всем товарищам Ильи по очереди давала свое объяснение текущих событий, как рассказывал потом Семка.

— Да,— говорила профессорская дочка,— мы привязались к Зое. Зоя привязалась к нам. Мы берем ее с собой, чтобы она посмотрела Москву и московскую жизнь, она, бедняжка, ничего не видела... У Зои блестящие способности, но ей, к сожалению, почти не пришлось учиться, это нешлифованный алмаз, мы хотим дать ей образование.

Так пыталась она удержаться на гребне вала, который вдруг поднял и понес ее, Илью, ее немудреное комнатное счастье. Она осунулась, линии губ и подбородка стали жесткими; поблекли даже ее золотые волосы. Зоя смотрела на нее и улыбалась ласково и беспощадно.

Иногда эти ласковые лукавые глаза встречались с глазами Ильи... Как они мерялись взглядом, эти двое! Какой жар, какая бесшабашность! Кому из них предстояло сгореть в этом жару? «Ты сгоришь,— обещали нежно улыбающиеся глаза и губы Зои,— ты сгоришь, я уйду целехонькая...»

Раздался второй звонок. На перроне засуетились, прощаясь. Зоя поцеловалась с матерью, потом всем подала руку. Детская, чуточку неуклюжая и радостная была у нее манера — как-то издалека протягивать руку и при этом делать движение, словно вся она устремлялась к тому, с кем собиралась обменяться рукопожатием... Прощаясь с Семкой, что-то проговорила, Семка рассказал потом — велела передать привет всем ребятам; а Шуре, сказала, отдельно и очень большой...

Марианна вошла в вагон. За ней, весело оглядываясь через плечо, поднялась Зоя, потом Илья... Третий ударил звонок, тронулся поезд; рядом с ним пошли — замахали, закричали — провожающие. На площадке среди голов Севастьянов видел пеструю шапочку. Вагон проплыл мимо окна, площадка с пестрой шапочкой — как оборвалась... Севастьянов пошел с вокзала.



## 60

На этом вокзале он вышел из вагона спустя тридцать с лишком лет — взглянуть на места, где родился и рос.

Вокзал был новый. И площадь за вокзалом новая, чистая и нарядная, окаймленная пышными деревьями (те самые деревца, что сажали когда-то на субботнике?..), с целым полем астр и фонтаном посредине. На площади было просторно: пока Севастьянов сдавал на хранение чемодан и брал плацкарту на вечерний поезд, большая часть приехавших с ним уже схлынула. Можно было без труда сесть в автобус или взять такси, подождав несколько минут на стоянке. Но он пошел пешком — по неузнаваемой площади пошел в знакомом направлении на Коммунистическую.

На всем печать новизны; как во всех городах — новизна начиналась с неба и крыш. Крыши дыбились антеннами, а небо перечеркнуто было длинным, жемчужно-светящимся, неправдоподобно ровным и узким, как лента узким облаком, его сотворил человек, который в этой утренней высоте пролетел на самолете.

Машина поливала улицу, и, огибая медлительную машину, по мокрому асфальту прошелестел троллейбус. Прежде на Коммунистической была трамвайная линия, трамвай поднимался в гору от вокзала так медленно, что его можно было нагнать шагом, а к вокзалу, с горы, мчался что было духу, звоня и подвывая.

И вся Коммунистическая была новая, послевоенной постройки. Новые дома были красивы. Очень много стало зелени: деревьев, газонов. Полосы цветов вдоль тротуаров. За тополями, акациями, кленами белели балконы и колоннады.

Где находился «Серп и молот», теперь был скверик. Дети играли на песке.

Так же новы и светлы были улицы, вливающиеся в Коммунистическую. Они носили всё те же названия; с невольной нежностью Севастьянов читал: Лермонтов-

ская улица, Мариупольский проспект, переулок Семашко...

И как толчок в грудь: переулок имени Югая. Синяя с белым дощечка на стене. Югай погиб в Отечественную войну. За два дома от этого угла в двадцатые годы было общежитие ответработников...

...Этот чистый, красивый город не был похож на город севастьяновской юности. Но чертеж города — сплетение его улиц, пусть асфальтированных, не булыжных,— был тот же наизусть известный чертеж, по-прежнему Севастьянов мог бы с закрытыми глазами прийти с вокзала в дальний Пролетарский район, туда, где между парикмахерской и баптистской молельней была темноватая узкая комната, где они работали с Кушлей. Это был родной город, и сердце у Севастьянова билось.

Он подумал: в скольких книгах описано, как человек возвращается на старые места, и все ему кажется маленьким. А я вернулся и все нашел таким большим, несмотря на разрушения и утраты, какие были.

...Увидел вывеску: «Серп и молот»— на богатом доме, ничем не напоминающем тот ветхий трехэтажный дом... Почти машинально вошел в просторный, как в гостинице, вестибюль. Бархатные дорожки, лифт, дубовые вешалки... На стеклянной доске прочитал, что тут помещаются редакции четырех газет и журнала: в том числе указана была вечерняя газета. Множество отделов, редакторов, замов, завов.

Севастьянов поднялся на второй этаж, заглянул в тричетыре комнаты. Незнакомые люди оборачивались к нему; он тихо прикрывал дверь. В одной из комнат молодой человек с живостью сказал, увидя его:

— Вы не Протопопова ищете? Он просил подождать.

— Нет,— ответил Севастьянов.— Я не ищу Протопопова.

...Он не обнаружил квартала, где они жили с Семкой, где было «Реноме»: там несколько кварталов слили и всё застроили однотипными жилыми корпусами, корпус к корпусу...

...Прошелся по новой щеголеватой набережной. Ни рельсов, ни штыба на ней не было, а была автотрасса и аллея для пешеходов. К его услугам имелся речной трамвай, но Севастьянов только издали, с набережной, бросил взгляд на тот берег: бледной полосой, плохо различимой среди сверканья воды и небес, выглядел тот



берег... Затем на автобусной остановке долго пришлось расспрашивать — никто из ожидавших там людей не мог сказать, какой номер автобуса идет в бывшую Балобановку. Наконец одна пожилая женщина сказала:

— Это вам надо в Дзержинский район.

Севастьянов послушался и поехал в Дзержинский район.

Автобус вез его сперва по улицам, узнавание которых волновало — узнавание сквозь черты, наложенные новизной. Некоторые улицы, подальше от центра, изменились мало... Потом произошла такая вещь: напоминание о прошлом исчезло, а узнавание осталось; даже усилилось, стало ярче. Этих улиц здесь не было. Этих заводов здесь не было. Этих парков здесь не было. И в то же время он все это видел много раз, в разных концах страны — это был до мельчайших деталей привычный глазу пейзаж новой нашей окраины. Привычный каждым фасадом, краном, ларьком, каждой вывеской и рисунком каждой буквы на вывесках.

«Да ведь я давно проехал и Балобановку, и Дикий хутор,— догадался Севастьянов,— если это действительно те места!» Автобус остановился: дальше была степь. Сразу за свежеоштукатуренным светло-розовым домом начиналась степь. Севастьянов вышел. Постоял, поискал глазами: нет ли признака, что тут где-то были на лице земли селения Балобановка и Дикий хутор? Ни одного признака. Степь, запах полыни. Безмятежное покачиванье бессмертников. За спиной — наступающая громада, поглотившая кусок степи с рощами, балками и селениями.

Обратно он опять шел пешком, чтобы хорошенько осмотреть все, чего не было раньше. Шел и смотрел, и не заметил в своем подробном и требовательном осмотре, как отгорел день.

Спускалось солнце, когда он добрался наконец до Первой линии.

Он заранее задумал, что Первая линия будет завершением этого дня.

Издали, от угла, увидел дом Зойки маленькой и улыбнулся ему.

Дом был цел, и жалюзи выкрашены ярко-зеленой краской.

Того подворья рядом — с залитым помоями двором — не существовало. Его не существовало уже в тридцатом году, когда Севастьянов приезжал из Москвы в команди-

ровку. А дом Зойки маленькой стоял тогда и стоит теперь между новыми домами.

Белые занавески на окнах. Звонок — белая пуговка. Те же камни крыльца, не знающие износу. Правда, стал этот дом совсем маленьким, таким маленьким, что кажется — можно его поставить на ладонь...

И, подходя к нему, Севастьянов вспоминал, как в тридцатом году, приехав в командировку, он поздно ночью пришел на Первую линию и сидел один на этом крыльце.

Он сначала навел справки в управлении дороги и ездил на станцию Н-скую, в железнодорожную школу. Нагрянул туда в разгар уроков и был уверен, что застанет ее, а ему сказали, что она в отъезде, на селе, под Воронежем, работает по коллективизации. И хотя этого можно было ожидать — в тридцатом году много народу было мобилизовано на село,— но Севастьянов был обескуражен, даже поражен, он готовился к встрече и приготовился, и ждал этой встречи — хотя что, казалось бы, значила забытая детская дружба... Он шагнул от нее прочь и стал мужчиной, когда она была девочкой и жила в тишайшем, аквариумном мире. Они стали разными; гораздо более разными, вероятно, чем были. И наверно же, у нее муж, ребенок. Зачем вообще встречаться, что они друг другу скажут после того расставанья. После шестилетней разлуки. Дома с зелеными жалюзи все равно что нет на свете...

Но он пришел к дому с зелеными жалюзи и присел на крыльцо выкурить папиросу. В тридцатом году было дело, в конце лета, поздней ночью. В ночь на третье сентября; утром он должен был уехать. Первая линия спала. Севастьянов курил и думал, как хорошо ему было в этом доме; и это кончилось. Никогда никого не было роднее и теплее, чем она; и это кончилось.

Как они ходили вчетвером по этой мостовой и рассуждали о поэзии... и это кончилось, все разлетелись, и он здесь случайно, вот рассветет — его тоже не будет...

«И тут случилось чудо, маленькая. Много в моей жизни было чудес, и даже чудеса тускнеют от времени, а этому потускнеть не суждено... Я сидел на крыльце, и бог знает как далеко ты была, и я услышал шаги. Шесть лет не виделись и стали другими, а я издалека услышал твои шаги, ясный перестук твоих каблуков в тишине, поступь легких ног Зойки маленькой. Я слушал, как приближаешься ты, и видел, как ты появилась, с чемоданчиком в руке, из черной тени акаций, и споткнулась, и все медленней, медленней подходила, и остановилась, и прижала руку к груди...»

...— Нет, не жил,— сказал Севастьянов,— просто мне хотелось бы пройти по комнатам, если вы позволите.

Старуха в платочке, отворившая ему, все еще глядела на него с сомнением.

— Так, может, ваши близкие здесь жили?

— Да. Здесь жили мои близкие.

Она впустила его.

Было тесно от кроватей. Исчез прежний уют и прежние вещи. Исчезла дверь из столовой в Зойкину комнату, вместо двери стена с обоями,— но и тут сквозь все проступал знакомый чертеж, и было приятно, что эти стены стоят на месте. Пусть они стоят на месте.

— У вас большая семья,— заметил Севастьянов, идя между кроватями.

— Семья небольшая,— сказала хозяйка.— Мы пускаем абитуриентов.— Она произнесла ученое слово гордо и отчетливо.— Абитуриентов, знаете, которые приезжают держать в институт.

О доме заботились: со двора была пристроена терраса, обвитая диким виноградом. На террасе сидели, трапезничали девушки со стрижеными и завитыми головами разных мастей.

— Это абитуриенты,— сказала хозяйка.

Два парня лежали во дворе под черешнями, обложившись книгами.

— Благодарю вас,— сказал Севастьянов хозяйке.— Простите, что побеспокоил.

— Пожалуйста, пожалуйста,— радушно сказала она.— Конечно, интересно бывает повспоминать свои молодые годы.

Он простился и пошел на вокзал.

Вечерняя жизнь закипала на улицах. Шла молодежь, одетая легко и светло, по-южному. В кино «Гигант» окончился сеанс, разгоряченные толпы выливались из распахнутых дверей. Мужчины стояли в очереди у газетного ларька — ждали вечерку. В городском саду играла музыка, и у входа в сад продавали розы.

— Купите розочку!— сказала продавщица и протянула букет. Севастьянов приостановился, он явственно

услышал голос, сказавший когда-то: «Купи мне розочку!» Представилось — в этой молодой толпе идет и Зоя с розами в руках. Остыла его страсть к ней и зажила обида; может быть, Зои уже нет в живых; но он еще раз увидел ее в цветении и ликовании, с розами в руках...

На вокзале зашел на телеграф и в толчее, у почтовой конторки, написал телеграмму жене.

«Был на Первой линии,— написал он,— видел твой дом».

Послезавтра утром он будет обо всем ей рассказывать, и глаза у нее будут влажные, ее зеленые милые глаза.

Он написал номер поезда и вагона, чтобы она его встретила. Отправив телеграмму, взял из камеры хранения свой чемодан, сел в поезд и поехал в Москву.

*1958*

# Который час?
## Сон в зимнюю ночь

---

**РОМАН-СКАЗКА**



## Я ЖИВУ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ, МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ, И ПО НОЧАМ СНЯТСЯ СНЫ

Скоро месяц, как я живу в этом зимнем лесу, в двухэтажном бревенчатом доме.

Очень славно здесь. В комнате тепло. За окошком путаница белых пушистых веток. На закате солнце их румянит. Но солнца в декабре мало. Большую часть короткого дня небо серенькое. На сереньком небе перепутанные белые ветки светятся серебряным светом.

Стол придвинут к окну. Серебряная путаница теснится у стекла, будто смотрит: что это там пишут на листке бумаги, чем там дышат?

Ставлю точку, иду погулять. С деревянного крыльца спускаюсь на дорожку. Она такая узкая, что двоим на ней не разойтись: кто-нибудь должен ступить в сугроб. И потому у всех здесь валенки в снегу до колен.

И плечи и шапки у всех посыпаны снегом.

Снег завалил все. Это нашествие белых зверей. Белые кролики, белые ласки, белые бобры, белые мыши полчищами нагрянули и обсели деревья. Белые медведи развалились на ветвях елей. Только эти могучие ветви в силах выдержать такую тяжесть: по десять — пятнадцать медведей на каждую елку!

А вдоль голых веток дуба, осины и клена сидят, уцепясь присосками, исполинские белые гусеницы.

И лес замер отягощенный. Стоит неподвижно, держа эту белую кладь. Так тихо — даже ворона каркает вполголоса. Подойдет товарищ, расскажет, о чем пишет. Другой подойдет, прочтет новые стихи. На стихи, как на огонек, потянутся люди. Идем гуськом по дорожке, стихи слушаем. Мечта, а не жизнь.

Наработаюсь за день, напридумываю, надышусь воздухом и прекрасными словами, а по ночам сплю крепко и вижу разнообразные сны. Скажем, сон про луну. Было полнолунье, и она, должно быть, светила мне спящей в лицо, прежде чем присниться.



Я увидела, будто стою на дорожке, а луна висит над крышей нашего лесного дома. (Не та Луна, куда мы посылаем ракеты и которую ухитрились сфотографировать с изнанки. Не космическое тело, не Луна с большой буквы — нет, без изнанки, знакомая-знакомая, как соседка, которой каждый день говоришь «здравствуйте».) Висит низко, рядом с трубой. Так что если влезть на крышу, то можно ее — луну — просто взять руками.

«Эх, влезть бы,— думаю.— Вот по этому столбу, на котором держится навес крыльца, как я это делала когда-то, ах, как я влезала по столбам на крыши, когда была маленькая!» И мне жалко, что я уже не маленькая.

«Кто бы мне помог?»— думаю. В доме спят, темны и верхние окна, и нижние. Оглянувшись, вижу сторожа в длинном тулупе, с белой бородой.

— Будьте добры,— говорю,— не найдется ли у вас лестница, и если найдется, то не затруднит ли вас ее подержать, пока я буду лезть на крышу?

— Пожалуйста,— отвечает сторож, приносит лестницу, приставляет к дому и держит обеими руками.— Луну достать хотите?— спрашивает снизу.— Может, дать вам сковородник, которым берут сковородку с плиты, чтобы вы не обожглись?

— А посмотрим, может, она и не горячая,— говорю я и ступаю на покатую крышу, обвешанную сосульками. Снег на ней переливается голубыми искрами. Луна справа от трубы, тень трубы ложится влево, будто наведенная черной тушью.

И верно: луна не горячая, напротив — от нее несет холодом, так она остыла на моро́зном воздухе. Она плоская, величиной с большую тарелку. Я ее снимаю, как зеркало со стены. Спускаюсь с нею осторожно, чтоб не разбить. Мы со сторожем ее вертим, рассматриваем всем известные трещинки и пятнышки. Лунный прожектор летает по лесу, и тени летают, и вспыхивают то тут, то там груды голубых алмазов.

— Разбуди́те всех!— говорю я сторожу.— Во все окна стучите, это надо показать всем!

И такая досада, надо же: у меня над ухом звенит будильник. Вообще-то я отношусь к будильнику с глубоким уважением. Даже думаю сочинить оду в его честь. Но на этот раз — что бы ему быть не таким аккуратным! Хоть бы минутку подождал трезвонить. Из-за него сторож не успел разбудить моих товарищей, спавших в доме. Так они ничего и не увидели.

А в ночь на пятницу мне приснился длинный сон, который я хочу рассказать поподробней.

Началось с тревоги. Я спала, подложив под щеку подушку-думку, и ничего не было, кроме теплой мирной темноты, как вдруг послышались крики ужаса.

Вдоль узкой улицы распахнулись окна, желтый свет их осветил бегущих людей. Они держали в поднятых руках длинные черные пистолеты. Бежали и, оглядываясь, грозили окнам пистолетами. Пробежали, грозясь, и скрылись во мраке.

### УТРОМ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ РАЗГОВАРИВАЮТ О НОЧНОМ ПРОИСШЕСТВИИ. ИХ ЗОВУТ ГОСПОЖА АБЕ И ГОСПОЖА ЦЕДЕ

— Что это такое было ночью?! — спросила госпожа Цеде, выйдя на свой балкон.— Что говорят в городе?

За домами всходило солнце, небо над узкой прохладной улицей было как розовая щель. Чирикали воробьи. Госпожа Абе с клеенчатой сумкой возвращалась с рынка. Закинув голову, она остановилась перед домом госпожи Цеде.

— Гун сбежал из больницы.

— Да что вы!

— И с ним склочник Эно и авантюрист Элем.

— Как же за ними не углядели!

— Говорят, Гун прямо из постели убежал, босиком.

— А в газетах писали, будто леченье помогло,— сказала госпожа Цеде,— будто он почти что даже перестал кусаться.

— Кусаться-то перестал, но получилось, говорят, еще хуже: заболел манией величия.

— Ну, это вряд ли,— сказала госпожа Цеде.— Вряд ли человек, страдающий манией величия, побежит по городу босиком. Сомневаюсь.

— Торопился.

— Нашел бы время обуться, если бы заботился о своем величии. И вы подумайте, пистолетами размахивают, вот уж подлинно душевнобольные! А вдруг бы какой-нибудь выстрелил!.. Я до сих пор вся дрожу. Выпила целый пузырек валерьянки и все равно дрожу, как кролик. Их уже поймали, конечно?

— Еще нет. Они где-то спрятались.



— Как?! Значит, каждую минуту могут опять появиться?!

— Не волнуйтесь, их вот-вот найдут. По всему городу ходят санитары, ищут. Только что мне повстречался санитарный отряд с носилками.

— Уж извините, я из дому ни шагу, пока их не схватят,— сказала госпожа Цеде.— Продуктов у меня, слава богу, достаточно, могу отсиживаться хоть целый год.

— Ну, долго вам отсиживаться не придется. Не может быть, чтобы столько здоровых людей не сумели быстро обезвредить этих бедняг.

— Хороши бедняги: грозятся пистолетами!

— Я знаете, что думаю? Что пистолеты игрушечные. Откуда им взять настоящие? Нынче оружие такая редкость.

— Сумасшедшие хитрые, что хотите раздобудут,— сказала госпожа Цеде.— Кошмар, представить себе, что они бегают по улицам с этими штуками! Ворвутся в дома и всех нас перестреляют, перекусают, пере...

— Ни в коем случае! Это исключено, это вам не времена безумств и преступлений. Анс сказал мне — этого больше не будет никогда! Ох, заболталась с вами, до свиданья, бегу готовить завтрак, пока Анс спит!

И госпожа Абе заспешила домой. Но еще раз остановилась, потому что из своих ворот вышла на улицу девочка Ненни. Ее платьице и передник были по-утреннему свежие. В руках у нее был мяч. А на тротуаре она увидела камешек. И запрыгала на одной ноге, гоня камешек по чистому политому асфальту и прижимая к груди красно-синий мяч.

— Иди сюда, Ненни,— сказала госпожа Абе.

И, достав из сумки яблоко, дала его Ненни.

Городские часы медленно и важно пробили три четверти.

### ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ УТРА, И ПО УЛИЦАМ ИДУТ РАЗНЫЕ ПРОХОЖИЕ

Городские часы пробили семь.

Городские часы пробили четверть восьмого.

— А кто такой этот Гун? — спросил приезжий иностранец у мальчика Илля.

— Да просто дурачок,— ответил Илль.— Идет, бывало, весь в грязи и сам с собой считается: эники-беники ели вареники, эники-беники клец.

— Что это значит?

— Ничего не значит. Просто такая считалка. Его все кормили, чтоб не пропал с голоду. Так много кормили, что он разжирел. Но когда он повадился кусаться, пришлось, конечно, его лечить. Вы приехали с другого конца света?

— Да.

— А как ваша фамилия?

— У меня фамилия трудная, зови меня по специальности: астроном.

— Ладно,— сказал Илль.— Пошли дальше. Вон дворец. Когда-то в нем жил король, потом разные правители. Это было во времена безумств и преступлений.

Астроном смотрел на дворец в бинокль.

— А теперь кто живет?

— Теперь живу я,— ответил Илль,— и другие мальчишки, у которых нет ни отца, ни матери. Это устроил Дубль Ве.

— А где живет сам Дубль Ве?

— У него комнатка в ратуше. Он не захотел во дворец. Он сказал — одному там заблудиться можно, как в лесу.

— А это что за явление?— Астроном покрутил колесико на бинокле.— Боже мой!

— Какое явление? Что вы видите?

— Новую звезду. Спустилась с небес и движется нам навстречу.

— А-а,— сказал Илль,— вы это про Белую Розу?

— Ее так зовут? Неужели?

— Привет, Белая Роза,— сказал Илль, и она ему кивнула, проходя.— На работу пошла Белая Роза.

— На работу! Она работает!

— Конечно, а как же? Что делать ей, если не работать?

— Как что делать? Сиять, потрясать!

— А она и потрясает и работает, это же совмещать можно. А вон старик идет, вон, видите? Это поинтересней, чем Белая Роза.

— Мальчик, ты не понимаешь, что говоришь. Как может быть такая рухлядь интересней Белой Розы?

— А знаете, сколько ему лет?

— Думаю — сто.

— Думаю — больше. А знаете, кто он? Ученик Себастиана.

— Себастиана? Того самого?

— Того самого. Великого Себастиана. Здравствуйте, мастер Григсгаген, доброе утро!



Старик шагал, тяжело переставляя свою трость с роговым набалдашником. У него было длинное лицо, от древности темное и неподвижное, как у мумии; но он был старательно выбрит и одет молодо и модно, в светлом плаще и галстуке с абстрактным узором. Большой серый пес шел рядом, позвякивая ошейником.

— Что ж,— сказал астроном, глядя вслед старику,— по возрасту он вполне мог быть учеником великого Себастиана.

Городские часы пробили половину восьмого.

— Эти часы сделал Себастиан,— сказал Илль,— а мастер Григсгаген за ними присматривает. Говорят, Себастиан был волшебник — я не верю, конечно. Но, во всяком случае, таких часов больше нет нигде.

— Чем же они замечательны?

— Видите, все часы на свете обязательно врут, ну хоть на четверть секунды. По большей части отстают или же мечутся туда-сюда — то забегут вперед, то ползут по-черепашьи. Сегодня четверть секунды, завтра четверть секунды — и смотришь, человек из-за них на поезд опоздал. В часовой мастерской, например, вот обратите внимание, все часы показывают разное, даже смешно. А эти никогда не отстают и не спешат: всегда показывают правильно.

Они дошли до угла, им открылась площадь с голубями и в глубине ее здание ратуши, и на ратуше башня, и на башне — часы.

— Весь город проверяет свои часы по этим,— сказал Илль.— Вы не хотите проверить?

— Я свои проверяю по Марсу,— ответил астроном.

## ЧАСЫ НА РАТУШЕ

Циферблат у них был квадратный, темно-синий, и на нем золотые стрелки с сердцами и лилиями.

Кроме обычных римских цифр, на циферблате были обозначены знаки зодиака и фазы Луны.

В отдельном небольшом круге совершала бег секундная стрелка. Она бежала, легко касаясь своим острием золотых черточек, отделяющих секунду от секунды.

Все это золото знаков и стрелок было покрыто светящимся составом. Так что жители могли узнать верное время когда угодно, днем и ночью.

Волшебно правильно шли часы. Илль ничего не приврал астроному.

Они напоминали человеку о его делах.

Напоминали, что пора обедать.

Напоминали девушке, что любимый ждет, заждался — и как бы у него не лопнуло терпение.

Они всем руководили и всюду присутствовали. Ни в одном деле без них нельзя было обойтись. Ни в лаборатории, ни в школе, ни на железной дороге, ни на спортивных состязаниях — нигде.

Они устраивали порядок и благообразие. Как бы город держался без них?

Они шли вперед, и время шло вперед — они его подталкивали в нужном направлении.

И когда они торжественно вызванивали, возвещая Время, Идущее вперед, было бодро и хорошо на душе.

## МАСТЕР ГРИГСГАГЕН И БЕЛАЯ РОЗА

Белая Роза приостановилась у витрины и рассматривала выставленные там украшения — браслеты из пластмассы и стеклянные бусы.

— Приветствую вас!— сказал, подойдя, мастер Григсгаген.— Что тут привлекло столь пристальное ваше внимание?

— Я думаю,— сказала она,— вон то ожерелье из бисера пойдет к свадебному платью или не пойдет?

Любые слова сходили с ее губ как музыка. С ее уст. Ее благоуханных уст. Вот как надо бы об этом говорить, не иначе.

Мастер надел очки, чтобы оценить ожерелье из бисера.

— Нет. Эти убогие побрякушки оскорбительны для Белой Розы. Украшения, достойные вас, ушли в прошлое. Настоящий жемчуг, за которым отважные искатели ныряли в морские глубины. Каждая жемчужина была оплачена ценой риска, потому и стоила дорого... Настоящие брильянты. Они разбрызгивают такой живой, грозный огонь.

— Этот бисер тоже ничего,— сказала Белая Роза.

— В минувшие времена красоту ценили высоко. Сколько во имя ее совершалось безумств и преступлений!

— Ну, преступления — уж это лишнее,— сказала Белая Роза.

— Я счастлив, что встретил вас. Мне надо с вами поговорить. Вы не спешите?



— Немножко. У меня авария с гладиолусами. Я ведь теперь заведую всем городским цветоводством.

— Вот как! Значит, подлинно вы царица цветов. Каждый гладиолус вам подчинен, от вас зависит бархатистость газона и расцветка анютиных глазок.

— Какой вы комплиментщик, оказывается,— сказала Белая Роза.

Они шли по улице.

— Белая Роза, разрешите задать вам нескромный вопрос.

— Мужчины, как правило, задают нескромные вопросы, но чтоб и вы, мастер,— не ожидала.

— Вы мысленно примеряете подвенечное платье — собираетесь замуж?

— Само собой, как всякая девушка.

— Не за Анса ли Абе?

— Он, конечно, самый порядочный и самый красивый.

— Он ждет, чтобы вы ему сказали — да или нет. Сколько раз вам приходилось отвечать на этот вопрос? Десятки раз?

— Может быть, и сотни.

— Выслушайте меня, прошу покорно. Анс Абе вас не стоит.

— Я думала, наоборот, вы будете за него, поскольку он ваш помощник.

— Я буду счастлив выслушать все, что вы думали, но сначала позвольте мне договорить.

Что такое Анс, чтоб быть вашим супругом? Что такое был ваш беспокойный поклонник Элем? Что такое все те, кому вы на своем коротком веку успели сказать «нет»? Вы и я — вам не приходит в голову, как это многозначительно, ослепительно, поистине великолепно?

Не спешите ставить мне на вид, что я стар! Допустим, стар. Допустим. Хочу сказать несколько слов в похвалу старости.

Вот выходит молодой на дорогу жизни. С чем он выходит? Что у него есть? Голые руки, грудь нараспашку, ни гроша опыта за душой. Безоружный, бредет, как слепой щенок, спотыкаясь о каждый камень.

И вот идет тот, кого вы называете старым, а я называю — долго живущим. Смотрите, как он вооружен, с головы до пят в стальной броне! Что ему камни, он их знает наперечет, и крупные и мелочь. Возьмет вас за руку и отведет от опасности, когда вы о ней еще и догадаться не успели.

Молодой глазеет направо и налево. У него нет времени на поклонение красоте, он ей поклонится наскоро — и дальше, дальше, ему и то надо испробовать, и другое, пока не напробуется и не обрастет стальной броней. Он настоящей красоты и не различает, ему любая годится, лишь бы целовалась крепко да смеялась его телячьим остротам.

А красоте без поклонения жизнь не в жизнь, ей жрецы требуются, она тоскует и чахнет, если ей не курят фимиам без передышки, не признают ее заново и заново,— красота должна ликовать ежеминутно! Вы часто смотритесь в зеркало?

— Ну, мастер, ну какая же девушка не смотрится в зеркало?

— Смотритесь! Ликуйте! Думайте: я одна такая, второй нет. Думайте: кто как не я создана распоряжаться — чему цвести, чему благоухать под небом?

Зачем вам молодой? Ну зачем? Что он знает, молодой? Только то, что прочел в учебниках. Вы у него спросите о чем-нибудь: это хорошо или плохо? Он ответит: а кто его знает, я еще сам, понимаешь, не разобрался.

А любящая старость вам скажет: это брось, от этого отвернись, а вот это возьми, это хорошо. Потому что старость горы всего видела, и добра и зла. И сама эти горы творила.

Придет печаль, вы заплачете — любящая старость шепнет: пожалей свои глаза, других таких нет, знаешь ли, на свете еще не то бывает, и то-то бывает, и то-то,— столько нарасскажет, что ваше горе покажется вам малостью, каплей в океане.

И постепенно ваша душа закалится и подымется выше горестей.

Беспечально вознесетесь вы над людской суетой взлелеянная, славимая любящей старостью.

До вас, полагаю, дошло, что я ученик Себастиана. Я был младшим в семье его учеников. Вот почему я здесь, когда остальные уже разошлись, отдав прощальный поклон.

Я последний из тех, кому он завещал свои открытия. Последний сосуд его учености. Никто, кроме меня, не владеет его тайнами. Тайнами, перед которыми отступает ординарный разум.

Белая Роза, если я сложу к вашим ногам эти сокровища знания и вы их не отвергнете, это будет закономерно, единственная закономерность, какую я принимаю для вас и для себя. Ибо здесь не низменный, но высший брак, брак красоты и мудрости: красота проникается мудростью, а мудрость вбирает в себя красоту, красота вознаграждает, венчает собою мудрость.

Итак, Белая Роза, я не требую немедленного решения. Вы сами назначите день, когда вам будет угодно ответить.

Позвольте надеяться, что вы обдумаете мое предложение с должным вниманием, оставив мысли о всех других.

Итак, Белая Роза...

Она остановилась, и он тоже. Ветерок играл его галстуком.

На бульваре девушки сажали рассаду в нежную просеянную землю.

— Приятная сегодня погода,— сказала Белая Роза.— Я с удовольствием с вами прошлась. Спасибо, мастер, будьте здоровы, нам в разные стороны.

— Погоди, Красота!— вскрикнул мастер.— Ты не назначила день, когда скажешь — да или нет!

Но она не оглядываясь удалялась плавной походкой.

— Туда же!— говорила.— Еще «да» или «нет» ему, видели? Он не требует немедленно! Изволь не думать ни о ком — ну, знаете! Любви, конечно, все возрасты покорны, но в эти годы, как хотите, это чересчур!— И она направилась к девушкам, сажавшим рассаду.

## ГДЕ СУМАСШЕДШИЕ? (ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА)

По бульвару шли санитары с носилками. Плечистые парни в белых халатах.

— Привет, девушки,— сказали санитары.

— Привет,— ответили девушки и поправили косыночки на головах.

— Цветочки сажаете?

— А вы сумасшедших ищите? Долго ищете.

— Да нет у нас привычки их ловить. Какая, оказывается, противная канитель. Если б они сейчас выскочили, мы б их моментально поймали, а они ведь притаились.

— Как же вы их выпустили?

— Спали, не слышали. Дайте нам, девушки, по цветочку посадить.

— А умеете?

— Что умеем, то умеем.

— Ну по одному, так и быть. Вот из этого берите ящика. Осторожно.

— А что это?

— Левкои.

— Бывает же счастье некоторым. Левкои сажают. А мы сумасшедших ищи.

Санитары закурили и еще потрепались немножко.

— Ладно, ребята,— сказал один.— Пошли. Надо ж найти все-таки.

— По-моему,— сказал другой,— раз ты чувствуешь, что ты сумасшедший, то и сиди себе в больнице, зачем же людям такую мороку создавать.

— Они не чувствуют,— сказал третий.— Им самим не видно, только со стороны видно.

— Вот что,— сказал четвертый,— пройдемте по той улице, если и там их нет — айда завтракать. Топаем, топаем — хватит. Успеха вам, девушки.

— И вам,— сказали девушки.

Санитары бодро подняли носилки и потопали дальше.

### ЗАТАИЛИСЬ И ПОДСМАТРИВАЮТ, А ИХ НИКТО НЕ ВИДИТ

Сквозь жалюзи из ближнего дома на них смотрели две пары глаз.

Два человека стояли у окна с полуспущенными жалюзи, один толстый человек, другой тонкий.

Из соседней комнаты доносился храп, там спал кто-то.

Санитары прошли.

— Так вы считаете,— спросил толстый,— у вас больше заслуг, чем у меня?

— А кто пистолеты добыл, вы, что ли?

— Я бы и бомбу добыл, если бы меня не держали в смирительной рубашке. Нет, подумайте, я только-только начал — мастерски, Элем, художественно!— возводить фундамент для грандиозной склоки — задача была сместить старшую няню,— как они меня схватили! Я кричу: идиоты, это ж невинное артистическое занятие, я ж нормален, как бык, оставьте меня в покое! А они говорят: нет, у вас рецидив, вас лечить нужно,— и пеленают меня, как младенца.

Ужасно, Элем, когда темпераментный человек, полный замыслов, лежит в смирительной рубашке и пьет лекарство с ложечки, ужасно, ужасно! Что за адская затея поместить в больницу горьких склочников, интриганов-политиканов, аферистов-авантюристов — как будто нас вылечишь!

— А на что,— спросил Элем,— вам понадобился этот юродивый Гун? С какой стати мы его с собой поволокли?

— Тш-ш-ш!— зашипел Эно.

И прижал к губам толстый палец:

— Вдруг он услышит!

— Он спит. А если и услышит?

— Элем, Элем! Авантюрист обязан разбираться в людях. Это же единственный настоящий сумасшедший на всю больницу. Сумасшедший чистый, как слеза.

— Ну и что? Не понимаю.

— Не понимаете, потому что не лежали в смирительной рубашке. Когда лежишь в смирительной рубашке, мысль начинает кипеть ключом. Моя мысль закипела ключом, и я догадался, догадался, догадался...

— О чем?— спросил Элем.

— В чем преимущества настоящего сумасшедшего и какие в нем заложены возможности.

Послышался кашель,

— Проснулся,— сказал Эно.

Вошел человек в пижаме, зевая и потягиваясь.

— Эники-беники!— сказал он.

— Ели вареники!— бодро ответил Эно.— Как отдыхали, Гун, как себя чувствуете?

Гун сел на диван.

— Садитесь,— сказал он.— Я разрешаю. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно.

— Он приказал,— сказал Эно,— надо садиться.

— Где я?— спросил Гун.— Это не больница?

— Нет-нет. Будьте спокойны.

— Они меня лечили электричеством,— сказал Гун.

— Забудьте об этом,— сказал Эно.— Больше никто вас не будет лечить электричеством... Мы с вами спрячемся в тайник и оттуда будем строить склоки до лучших времен, славненькие разные склочки строить будем.

— Меня вообще незачем лечить. Я здоров.

— Какой разговор, разумеется здоровы, дай бог каждому!

— Там один санитар, его звали Мартин, он всегда скалил зубы, когда я не хотел садиться в лечебное кресло.

— Негодяй!

— Вы мне оказали услугу, господа, вырвав меня из их лап. Я вас награжу так, как вы и не ждете. Как может

награждать только тот, на небе, и я на земле: я вам оставлю жизнь. Слыхали?

— Мы безгранично вам признательны,— сказал Эно, кланяясь.

— Вы, Эно, оказали мне сверх того сугубые, важнейшие услуги. Вы первый поняли и преклонились. Я только смутно, только по временам догадывался, что я такое — бог мой, эти неожиданные прозрения, озарения, от которых глаза слепнут,— да, но это случалось, только когда они мне давали отдохнуть от электричества, а вы пришли и сказали: вот ты кто среди смертных!— и стало светло раз навсегда, и я уже не дам им сбивать меня с толку. Вы — пророк, вы — вдохновитель, вот вы кто, Эно!

— Не смущайте меня!— сказал Эно.— К чему такие похвалы? Я просто следую влечению сердца. Сердце мое подсказало: видишь ли ты этого человека — он выше всех!

— Я, я, я выше всех!

— Вы, вы, вы выше всех!

— Чем бы еще таким вас наградить, Эно? Ведь больше той награды, что я уже дал вам обоим, ничего и не придумать, а?

— Совершенно верно!— сказал Эно.— Я премного благодарен, рад стараться, и какие же нужны награды, когда действуешь по влечению сердца?

— А санитар Мартин умрет!— сказал Гун.— Его череп будет скалить зубы в сточной канаве! Я посажу санитара Мартина на электрический стул, настоящий электрический стул — тот, который не лечит, а убивает! А пока что, пока что — не сыграть ли нам в картишки? Я ж веселый парень, сыграем, а? В дурака, а?

— Подкидного или обыкновенного?— спросил Эно, доставая из кармана старые карты и поплевывая на пальцы.

— Сегодня в обыкновенного. Посчитаемся давайте. Эники-беники ели вареники, эники-беники клец. Вам сдавать. Чур, все козыри мне!

— Не беспокойтесь,— сказал Эно.— Я свое дело знаю.

И они втроем принялись за игру.

— Только я не хочу обратно в больницу,— сказал Гун, вдруг задрожав.

— Не думайте о ней!— сказал Эно.— Вы больше не переступите ее порога!

— Я ее разрушу!

— Да, Гун, да-да-да! Мы ее разрушим.



— Не мы, а я, я, я разрушу!

— Вы, вы, Гун!

— Наденьте на меня мантию!— сказал Гун, дрожа.

Эно окинул комнату быстрым взглядом, сорвал занавеску с окна и набросил Гуну на плечи.

— Вот так-то!— сказал он Элему.— Верьте мне — это не то явление, от которого можно отмахнуться. Возьмите козырного валета, дорогой Гун, он случайно очутился у меня.

## ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

На одной из главных улиц в большом сером доме помещалась часовая мастерская.

В мастерской между стеклянными шкафами висели портреты седовласых мудрецов — Галилея, Гюйгенса и Себастиана. А в шкафах и в ящиках, стоявших на длинном прилавке, за чистейшими, почти невидимыми стеклами было расставлено и разложено множество часов.

Тут были новые часы, их мог купить каждый, какие кому понадобятся — стальные, серебряные, наручные, карманные, настольные, напольные, электрические, кварцевые, шахматные, автомобильные и и уж не знаю какие.

Были поломанные часы, принесенные владельцами для починки.

И часы-диковинки, выставленные для украшения мастерской и для поднятия культурного уровня посетителей, часы — музейные экспонаты, на которые можно глядеть, а руками трогать разрешается только мастерам, да и тем лишь в самых чрезвычайных случаях.

Среди этих уникумов были часы XVIII века, и XVII, и XVI, и древние песочные часы, и водяные — клепсидры.

Часы в корпусах из горного хрусталя, яшмы, агата, черепахи, в тонкой золотой резьбе, изображающей зверей и листву.

Часы в форме креста или черепа — их когда-то носили на груди на тяжелой цепи. В форме тюльпанов, флаконов, арф, мандолин — их когда-то носили в кармане.

Каминные и стенные часы — на циферблатах нарисованы пейзажи, гирлянды, ангелы, охотничьи сцены, пастушки, играющие на свирелях.

Часы-лилипуты — одни были вделаны в кольцо, но это не самые маленькие. Самые маленькие так малы, что свободно могли бы уместиться под женским наперстком.

Прикрытые стеклянным колпаком, они покоились на бархатной подстилке, бывшей фиолетовой, теперь она стала серой, и рядом лежал ключик, которым их заводили; самый ключик еле видим, и только на конце кольцо — затейливое, витое, покрупнее, чтоб было за что взяться.

И одни часы — в зависимости от их устройства, величины и нрава — гордо и плавно размахивали блестящими маятниками, другие тикали прелесть как бойко, а третьи шептали укоризненно и безнадежно, словно скорбели о невозвратно канувшем времени, которое люди могли бы использовать более толково.

Так как рабочий день еще не начался и мастерская была закрыта, часы делали свое дело без всякого надзора: тикали, шептали, махали маятниками, отсчитывали, отсчитывали...

Над городом поплыл медленный, глубокий, многозначительный, повсюду слышный звук — начали бить часы на ратуше. И сейчас же, торопясь друг за дружкой, нестройно пошли откликаться часы в мастерской. С удовольствием прислушиваясь к своему медному голосу, ударили высокие стенные часы. На шварцвальдских выскочила из домика кукушка и закуковала. Часы-арфы и часы-мандолины отозвались из-под стеклянных колпаков слабенькими голосишками, звучащими из далеких-далеких лет и зим.

Долго продолжалась эта разноголосица. Давно уж кончили бить башенные часы, а в мастерской переполох не смолкал. Наконец все часы, какие только могли, возвестили миру, что наступило восемь часов утра. И, покончив с этим провозвестием, снова ринулись вперед, поспешая за часами на ратуше.

## ПРИШЛА ДУРНУШКА, НАГОВОРИЛА С ТРИ КОРОБА

Рабочий день начался.

У большого окна мастерской сидят друг против друга два часовщика: мастер Григсгаген, похожий на мумию, и его молодой помощник Анс. Внимательно склонившись, они ковыряются в часовых механизмах нежными инструментиками.

Входит девушка-почтальон с толстой сумкой на ремне. Девушка невзрачная, рябоватенькая, прямо сказать — дурнушка, но сияющая, довольная жизнью.



— Здравствуйте, мастер Григсгаген! Здравствуйте, мастер Анс! Хорошее утро, правда?

Анс соглашается — да, очень хорошее.

И псу, лежащему у ног мастера Григсгагена, говорит дурнушка:

— Здорово, Дук!

И Дук делает хвостом милостивое движение.

Дурнушка положила газету на прилавок.

— Вам сейчас некогда читать, я расскажу новости. Погода весь день предвидится ясная, без осадков. Сумасшедших еще не нашли, но найдут. Приехал ученый-астроном, иностранец.

— Не в связи ли с предстоящим солнечным затмением?

— Да, наблюдать затмение. Молодой, ну как вы, мастер Анс, я видела, только худющий и в коротких штанах. В девять часов его примут в ратуше. Думаю — хоть иностранец, но сообразит надеть длинные брюки.

— Сообразит!— говорит Анс.— Они тоже не лыком шиты, иностранцы.

Не уходит дурнушка. Достает из сумки журнал.

— Почему,— говорит она,— вы не выписываете журнал «Зеленеющие почки»? Великолепный журнал, я вам очень советую.

Тут гражданин приносит часы в починку. Пока Анс беседует с ним и выписывает квитанцию, дурнушка стоит и ждет.

— Хотите,— говорит она, едва гражданин за порог,— я вам подарю последний номер «Почек», только что вышел, я вас прошу, возьмите, тут напечатаны мои стихи.

— О-о!— говорит Анс.

И мастер Григсгаген приподнимает коричневые веки и взглядывает на дурнушку.

Она раскрывает журнал.

— Вот мои стихи.

Анс уважительно:

— Не знал, что вы поэтесса.

— Ох, мастер Анс, миленький, я сама не знала, когда жила у мачехи в трактире! Это было во времена безумств и преступлений — вот послушайте, что было. Ночь поздняя, все уж угомонятся, и свои и постояльцы, а я чищу чугуны, руки в копоти до плеч, и глаза слипаются, и вдруг слышу — голоса говорят.

Голоса говорят напевно, необыкновенно — и я думаю: это я засыпаю, мне снится.

А спать нельзя! И гоню голоса: замолчите вы!

А они отовсюду — из чугунов, из поддувала. А я на них тряпкой: кыш!

Это когда я жила у мачехи в трактире.

А потом добрые наступили времена, и мне сказали — ты не будешь жить у мачехи, и никто тебя не будет бить. И меня посадили за стол, и велели есть, и ушли, чтоб я не стеснялась.

И дали мне постель, я легла и спала. пока не выспалась за всю жизнь. И никто меня не расталкивал, и когда я проснулась, они ходили на цыпочках и шептали — тише, тише, не мешайте ей спать.

Когда я уходила от мачехи, мне дали новое платье, а старое я там оставила, потому что оно чугунами пропахло. А голоса со мной ушли. Еще даже громче говорить стали. Я писать выучилась. Взяла перо и записала, что они говорят, и показала образованным людям, и те сказали: вы талант.

Талант, сказали, талант!..

А вы, мастер Анс, не пишете стихи?

— Нет. Один раз как-то в школе написал стишок на учителя, который мне двойку поставил, а больше не пробовал. И что же говорят вам голоса?

— Только хорошее. Только самое лучшее.

— Например?

— Например. Приедет, бывало, в трактир какой-нибудь дядька, распряжет лошадей, велит подавать вино, пиво, колбасу там. А голоса вдруг начнут на него наговаривать, будто это не дядька, а царевич из тридесятого царства и что сейчас он загадает три загадки, а я отгадаю, а он мне за это — полцарства... И от радости, бывало, смеюсь-смеюсь, не могу перестать...

И про меня выдумывают разное. Я кто, почтальон. А они наговаривают, голоса мои,— без тебя, говорят, солнцу ни взойти, ни сесть, ни одно событие без тебя обойтись не может. Вот прочтите, здесь, в журнале, мой стих как раз об этом, называется —«Мое присутствие обязательно».

— А еще они что говорят?

— Еще про любовь. Тоже напечатано в «Почках», прочтите. Ну, до завтра, мастер Анс, до завтра, мастер Григсгаген! Завтра приду — скажете, как вам мои стихи.

Общительная дурнушка ушла, излив душу. В мастерской стало тихо, только тиканье со всех сторон.



Мастер Григсгаген сказал, глядя в механизм сквозь увеличительное стекло:

— Как легко произносят люди слово «завтра». Что такое завтра?

— То, что наступит после сегодня.

— А кому известно, какое оно будет — то, что наступит после сегодня? Кто может сказать с уверенностью, что он это знает?

«Бедный старик,— сказал Анс.— Годы большие, боится не увидеть завтрашнего дня, отсюда уныние».

— И разве так уж обязательно,— спросил мастер Григсгаген,— чтобы после сегодня было завтра?

«До чего грустно,— сказал Анс,— наблюдать у такого замечательного работника угасание умственной деятельности...»

— Мне лично,— сказал мастер Григсгаген,— ясно только сегодня, и то не до конца. Сегодня осмотр часов.

### АСТРОНОМ НА ПРИЕМЕ У ДУБЛЬ ВЕ

— Вам сюда,— сказал Илль.— Я вас здесь подожду.

— Ну пока,— сказал астроном и вошел в ратушу по одной из двух каменных лестниц, расположенных на фасаде как красиво закрученные усы.

Над входом была статуя богини правосудия с весами в руке.

Брюки на астрономе были длинные.

Пробило девять.

Дубль Ве ждал иностранного гостя в своем кабинете. У Дубль Ве была седая голова и глаза в морщинках. Он сказал как полагается:

— Рад приветствовать вас в нашем городе.

На что астроном ответил:

— Рад случаю пожить в вашем городе.

Дубль Ве:

— Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо.

Астроном:

— Надеюсь, что и вы со своей стороны.

Они покончили с дипломатией и сели поговорить.

— Значит, в ваших сферах назревает событие,— сказал Дубль Ве,— полное солнечное затмение.

— Наиболее полное будет наблюдаться у вас в городе.

— Нас это устраивает. Мы любим, когда наш город бывает отмечен чем-нибудь возвышенным. Как он вам нравится?

— Я еще не все видел.
— Скажите о том, что видели.
— Буду откровенен. Есть много городов красивей вашего.
— Неужели? А нам кажется, что наш самый красивый.
— Кое-что мне у вас показалось наивным, кое-что — чрезмерным, неестественным. Говорят, что вы, правитель города, занимаете здесь, в ратуше, одну комнату, как сторож, а во дворце живут мальчуганы-школьники. В этом есть какая-то неделовая, немужская восторженность.
— Сироты,— сказал Дубль Ве.— Мальчишки, подобранные на улицах. Видите ли, мы всем дали кров. Но такая бездомность осталась нам от прошлого, никак не добьемся, чтоб людям было достаточно просторно. Вот почему мальчишкам отдан дворец. Ничего не поделаешь: нехватки.
— Сентиментальность,— сказал астроном.— Дворец пусть будет для музея, выставок, торжеств. С одной стороны, сентиментальность, с другой — фанатическая черствость, пуританская сухость сердца. Девушка, созданная для воспевания, идет спозаранок на работу, как мы, грешные, и никто не видит в этом унижения Прекрасного.
— Не о Белой ли Розе речь?— спросил Дубль Ве.— Ну, знаете, хватает с нее воспеваний, пусть приложит руки к чему-нибудь дельному. Должность ей подобрали изящную, самой Афродите впору. Да, у нас работают все, исключения нет ни для красавиц, ни для умников, только для дряхлых и больных. Вы поймите, мы взяли каравай и разрезали на много частей, чтоб хватило каждому. Но и каждый что-то должен внести, иначе что ж получится? Съедим каравай, это недолго, и останемся без всего — вот что получится.
— Не знаю,— сказал астроном.— Не подумайте, прошу вас, что я ретроград, напротив, я за прогресс, за реформы, за улучшение жизни масс! Но не слишком ли вы заботитесь о том, чтобы части каравая были такими уж равными? Не получаются ли они уж очень малыми, несущественными?
— Это на первых порах.
— Не насаждаете ли вы таким образом малую требовательность к жизни вместо Прометеевых дерзаний, ханжеское добронравие — вместо нравственности, исполнительность — вместо вдохновения?



— Нас упрекаете в восторженности,— сказал Дубль Ве,— а сами-то как выражаетесь... Ну ничего, не смущайтесь. Человек думающий любит иной раз поговорить выспренно. Только уж и нас не корите, если поймаете на высоком слове, мы тоже думающие.

Мы жизненное наше назначение, цель нашу видим в том, чтоб каждый получал свою порцию счастья. Зря вы беспокоитесь, что порции такие уж равные. Мы, может, и поровну дадим, хотя и это сомнительно, на практике редко выходит поровну; да человек-то разный, человек с человеком не схож, человек не только со стороны получает — в нем самом богатство заложено... либо не заложено. Одному и малая порция впрок — он внутри себя много имеет. А в другого сколько ломтей ни пихай — ни от него добрым людям взять нечего, ни ему самому радости нет.

Вы упомянули Прометея. Он в каждом, только спит, задавленный всякой всячиной. Разбудить его, растолкать, чтоб поднялся, заговорил,— вот что нужно!
— По-вашему, это просто?— спросил астроном.
— Нет. Подъем крутой. Каждый шаг с бою. Но я, как практик, скажу вам — Прометей пробуждается в преодолении. Я это сплошь и рядом наблюдаю, и чем выше мы взбираемся, тем чаще.

Глаза Дубль Ве были чистые-чистые.
— Вы говорите — нравственность? Это, конечно, самый тяжелый участок, самый засоренный. Когда за спиной тысячелетия злодейств... Если на пути к всеобщей нравственности мы сперва достигнем всеобщего добронравия — уже неплохо. Уже жить можно. И тоже нелегко достигается. Много, поверьте, забот требует. Думаешь-думаешь, ищешь-ищешь — чем их пронять?..
— И каковы успехи?
— Отличные!— сказал Дубль Ве.— Но я не любитель отвлеченных рассуждений. Для меня превыше всех теорий — человеческая судьба.

Он встал и подошел к окну.
— Ну вот хотя бы, прошу взглянуть. Вон бежит девчушка — ах, негодница, так и бросается под машины, знает, что не задавят... Это Ненни.
— Та, что машет веревочкой?
— Она всегда с веревочкой, или с мячиком, или с обручем, нет минутки, чтоб посидела спокойно. Глядите на нее, это наша гордость, наше знамя — девчушка Ненни! Ух ты, прямо тебе балерина!

Знайте же, что эта самая Ненни первые годы своей жизни не ступила ни шагу. Ноги у нее болтались, как две кривульки без костей. Она, видите ли, родилась в эпоху безумств и преступлений и росла в подвале.

Ну, когда эта эпоха осталась позади, мы переселили девочку с матерью в хорошее жилье. Видим — этого мало: болезнь запущена. Тогда вывезли Ненни в Целебную Местность, прежде туда пускали только за большие деньги... И стала Ненни такая, как видите.

Интересно отметить — все ее после этого крепко стали любить. Весь город на нее не нарадуется. Это опять же к вопросу о нравственности: значит, хорошее людям нравится, значит, приятно людям иметь чистую совесть и плоды своих хороших дел перед глазами.

Вы ученый человек с надменными мыслями, ходок по части всего небесного, а я человек земной, обрабатывал землю вот этими руками и разбираюсь, что на ней делается. И сколько бы вы ко мне ни приступали с вашей критикой и сомнениями, на меня не подействует — почему? Потому что я как взгляну на такую Ненни, так всех ваших возражений как не бывало.

— Ненни! Ненни!— кричит Илль, покуривающий у ратуши возле ниши с львиной головой.— Ты куда?

С середины площади, приостановясь между машинами, Ненни машет ему обеими руками. В одной веревочка для прыганья, в другой голубой конверт.

— Я несу записку!

— Кому?

— Ансу Абе!

— От кого?

— Секрет!

— Ну Ненни!

— Она не велела говорить! Не приставай, я спешу! Она сказала — беги, очень важно!

— Да что нам глядеть на жизнь из окошка,— сказал Дубль Ве,— пройдемтесь, я покажу вам город. Пошли?

— Охотно,— сказал астроном.

Они взяли шляпы и вышли на улицу.

— А, да это Илль,— сказал Дубль Ве.— Иди-ка сюда. Что ты прячешь за спиной?



— Это же заграничная,— сказал Илль обиженно.— Не каждый день попадается. Можно же иногда тряхнуть стариной. И совсем легкая. И вот я ее уже потушил.

— Что, сегодня нет уроков? Или у тебя каникулы?

— Не каждый день к вам приходят иностранцы и говорят — мальчик, будь моим гидом...

— Я сам буду его гидом,— сказал Дубль Ве.— Марш во дворец!

## НЕННИ

Размахивая голубым конвертом, Ненни вбежала в часовую мастерскую.

— Доброе утро! Анс, вот тебе! Очень важное!

Анс побледнел.

Анс прочитал: «Жду вас в Главном цветоводстве на Дальней дорожке».

— Мастер,— сказал он,— разрешите отлучиться?

— А ну разберись-ка, в чем тут дело,— сказал мастер и придвинул к нему старые, ржавые часы.

— Мастер! Мне необходимо отлучиться!

— У нас срочные заказы.

— Да на часок!

— На свидание?

— Зовет — наверно, чтоб дать ответ.

— Получите ответ после работы.

Анс не стал больше просить и убито занялся ржавыми часами. Мастер разгневанно бурчал себе под нос:

— Считают — им все позволено. Даже убегать с работы на свидания. Часок! Рабочий час! Шестьдесят рабочих минут! Считают — все им можно, потому что они молодые!

— Это вы с Дуком разговариваете?— спросила Ненни, подойдя ближе.

Он взглянул в ее лицо и смягчился.

— Да, приходится.

— Вам с ним лучше разговаривать, чем с нами?

— Гораздо лучше.

— Почему?

— Он больше понимает.

— Почему?

— Потому что давно живет на свете.

— Как вы?

— Почти.

Ненни подумала.

— А если он умрет раньше,— спросила она,— вы себе заведете другую собаку?

— Не знаю. Вряд ли.

— А с кем же вы будете разговаривать?

— Может быть, с тенями,— ответил мастер,— если не утвержусь среди живых.

— С тенями? Чьими?

— Тех, кто ушел.

— Куда?

— В том-то и ужас, что никуда. Если бы они ушли куда-нибудь, можно бы еще примириться с положением вещей.

— Знаете что,— сказала Ненни,— я тогда буду к вам приходить. Чтобы вы со мной разговаривали. Когда Дук умрет. А то вам будет не с кем.

— Дук молчит. Только слушает.

— Я тоже буду молчать и слушать.

— Соскучишься.

— Ничего. Мне вас жалко.

— Вот тебе на,— сказал мастер.— Что это тебе вздумалось? Какие у тебя основания?

— Вы разве счастливый?

— Еще какой!

— А мне показалось...— сказала Ненни.

Но ей уже надоело разговаривать. Она смотрела в окно на улицу, где дети играли в классы.

— Ну до свидания,— сказала она и прыгнула, и вот уже на улице кружилось ее платьице.

Мастер проводил ее взглядом, бормоча:

— Сговорились все, что ли, заставить меня решиться, взрослые и дети?

— Сознайтесь,— сказал Анс,— это каприз ваш, и не очень-то красивый, честно говоря. Мастер! Ну что случится, если я свою работу доделаю вечером, речь-то о чем идет, поймите — о счастье навек!

## МАСТЕР ГРИГСГАГЕН ОТПРАВЛЯЕТСЯ ОСМАТРИВАТЬ ЧАСЫ

Но мастеру не пришлось на это ответить, потому что вошел Дубль Ве с высоким худым молодым человеком.

— Знакомьтесь,— сказал Дубль Ве.— Господин астроном, иностранец. Мастер Григсгаген, одна из достопримечательностей города. Смотрит за нашими знаменитыми часами — сколько лет, мастер? Я был маленьким ребенком, когда вы уже давненько смотрели за ними, верно? Удивительные часы! Помню, лет тридцать пять назад был ураган. Сорвал большой соборный колокол, как полевой цветок. Как он норовил снести с башенных часов большую минутную стрелку! Как он ее отдирал — помните, мастер? Она буквально становилась на дыбы. И не сдалась! Ничего он с ней не мог поделать. Прошу прощения, Анс, я тебя не представил. Это Анс Абе, которого мастер Григсгаген готовит себе в заместители.

— И как же,— спросил астроном у мастера, обменявшись рукопожатиями,— как добиваетесь вы столь точной работы этих часов и столь высокой их исправности?

— Они сделаны Себастианом,— ответил мастер,— мое дело поддерживать их в том состоянии, в каком Себастиан их оставил. Он был великий часовщик.

Они посмотрели на портрет, висевший между портретами Галилея и Гюйгенса. Там был изображен человек с толстыми щеками и длинным тонким носом. Его двойной подбородок был подперт высоким старинным галстуком. В извилине пухлых губ змеилось лукавство. Левый глаз был прикрыт, словно Себастиан подмигивал.

— Расскажите о нем, пожалуйста,— попросил астроном.

— Что именно?— спросил мастер.— О нем можно рассказывать и хорошее и дурное.

— И то и это.

— Ну что ж,— сказал мастер.— Его слава выше наших восхвалений и нашей хулы. Он принадлежал к тем, кто, умирая, оставляет в наследство не столько накопленное добро, сколько каверзные загадки, терзающие людей. Видите, как усмехается. Живи он в средние века, его бы сожгли на костре за общение с дьяволом.

Впрочем, он бы не дался. Не той был породы. Ушел бы в шапке-невидимке, притаился, а в удобный момент выскочил бы и пошвырял своих гонителей в огонь.

Его считали добродетельным — он жил в скромном домике, носил скромную одежду, водился не только с учеными и знатными, но и с простонародьем, и если спускался вечером в какой-нибудь погребок посидеть с приятелями, то его кружка пива оставалась почти нетронутой. Ему нравилось казаться лучше других.

Но он любил вино и женщин, любил настолько, что это свело его в могилу довременно, в расцвете сил. Но преда-

вался своим страстям скрытно от всех. Это обнаружилось впоследствии по дневникам и письмам, найденным в секретном ящике его стола.

Он надевал маску и бархатный плащ, так что его принимали за титулованную особу, желающую сохранить инкогнито, и в таком виде являлся в игорные дома и выигрывал и проигрывал чудовищные суммы. Азарт был у него в крови, азарт, увы, доводил его до предельного падения — известен случай, когда он был бит подсвечником за шулерство, и мы, ученики, целый месяц лечили его мазями и примочками.

И в нашем ремесле он был не только мыслителем и умельцем, его занимало везенье — невезенье, выигрыши — проигрыши, единоборство с роком, сатанинские парадоксы, издевательство над земным здравым смыслом, эксперимент без границ, разрушение без оглядки. Им открыты вещи, которые даже он, подумать!— даже он устрашился обнародовать, он считал, что это чревато слишком тяжкими потрясениями. О многом он нас надоумил и предупредил, безумие гениальности глядело из его зрачков, разбегающихся от азарта, и мы боготворили его в эти минуты, гордились, что из его рук принимаем учение... Но многие тайны он, посмеиваясь, унес с собой, я в этом не сомневаюсь.

И опять они внимательно посмотрели на толстое лицо с тонким носом, которое подмигивало им со стены.

— Я последний из его учеников,— сказал мастер.— При мне он испустил свой последний вздох. Когда я всхожу по башенной лестнице, мне кажется, что он рядом, у меня за плечами. Четыре раза в год я их осматриваю. Четыре раза в год.

Улица за окном наливалась медом весеннего дня. Радуясь дню, шли люди по своим делам. Женщины катили коляски с младенцами. Проехала машина с надписью «Хлеб». И даже в мастерской повеяло запахом теплого пшеничного хлеба.

— Сегодня я их навещу,— сказал мастер.

— Не пора ли передать это Ансу?— заметил Дубль Ве.— В ваши годы карабкаться.

Мастер вдруг взорвался:

— В мои годы! Кто считал мои годы! Кто знает, на что я еще способен в мои годы!

— Мастер, да я же не в обиду. Я чтоб вас оберечь.

— Оберегайте тех, кто в этом нуждается!



— Ладно, мастер, ладно,— покладисто сказал Дубль Ве.— Буду оберегать тех, кто нуждается, не сердитесь, извините, спасибо за содержательную лекцию, всего вам доброго!

Они с астрономом откланялись.

Мастер встал и принялся укладывать в чемоданчик инструменты.

— Хватит!— сказал он.— Хватит все это слушать и хлопать глазами!

Взял чемоданчик и пошел, ворча:

— С утра до вечера, как вороны: стар! стар! Будто нарочно толкают под руку.

— Не забыл ли я его наставление?— сказал он, дойдя до угла.— Много лет прошло, мог что-нибудь и забыть, какую-нибудь деталь.

— А не ошибся ли он? — спросил мастер, дойдя до следующего угла.— Мыслимо ли это вообще? Не заблуждался ли он в своей гордыне? Не был ли это предсмертный бред?

— Если бред, я пропал,— сказал он на третьем углу.

Анс остался один в мастерской. Он воскликнул:

— Она меня ждет! Иду!

И ринулся на свидание.

## ИЛЛЬ

Эти мальчишки! Их во дворце поселили, для них сам правитель города расшибись в лепешку — думаете, они от этого станут паиньками? Бросят курить и сачковать? Как же!

Дубль Ве видел, что Илль потушил сигарету, и успокоился. Он не знает, что у Илля в кармане целая пачка, подаренная астрономом.

Астроному что за забота, что в чужом городе мальчишка курит. А для Дубль Ве город свой и мальчишка свой.

Дубль Ве, золотая душа, воображает, что Илль по его приказанию отмаршировал во дворец и сидит на уроке. А Илль сидит на травке и любуется морем. Оно отсюда хорошо видно — стелется под нежным небом, спокойное, бледно-голубое.

— Конечно,— говорит Илль,— ты для меня молода. Придется ждать, пока ты вырастешь и закончишь обра-

зование. Слушай, прыгай немножко подальше, пожалуйста, ты очень пылишь.

Ненни, прыгающая через веревочку, отходит подальше.

— Это неплохо, что придется подождать,— говорит Илль, следя за дымком на горизонте.— По крайней мере успею до женитьбы сделать что нужно.

— А что тебе нужно?— спрашивает Ненни.

— Ну, во-первых, кругосветное путешествие, ты же знаешь, я говорил.

— А во-вторых?

— До во-вторых еще далеко, не оберешься хлопот с во-первых. Еще за время путешествия сколько всякой всячины предстоит. Открыть какой-нибудь остров, и еще бы лучше — материк. Освободить от угнетения какой-нибудь черный народ. Изучить морское дело. Стать капитаном. Да мало ли...

А ты тем временем вырастешь. А когда я вернусь, ты на этом месте будешь стоять, ладно? И махать платком, чтоб я тебя издали увидел. Я вернусь загорелый, как бронза, с черной бородой.

— У тебя волосы белые,— говорит Ненни.

— А борода будет черная. Я весь почернею там, в тропиках. Привезу тебе разные раковины, и коллекцию бабочек, больших, как птицы, и живых птиц — попугаев, колибри. Музыка будет играть: трам-трам-трам-бум! И со мной приедут в гости красивые бородатые люди в белых тюрбанах.

— И тогда мы поженимся?— спрашивает Ненни.

— Может быть, еще не тогда. Может быть, позже. Ведь еще будет во-вторых да, наверное, и в-третьих. Только ты подожди, пока я все переделаю, ладно?

— Ладно,— говорит Ненни.

## БЕЛАЯ РОЗА В СВОЕМ ЦАРСТВЕ

Анс Абе громадными шагами шел на свидание.

В жару мечтаний он обгонял автобусы и натыкался на киоски.

— Безусловно,— рассуждал он,— будет сказано «да». Разве приглашают записочкой, да еще голубой, чтобы сказать «нет»?

Он улыбнулся до ушей своим добрым красивым ртом.



— По такому случаю букет бы надо купить. Очень бы кстати явиться с букетом.

Голова! Какой букет ей подаришь, когда она все время среди цветов? Какой цветок и ни куплю в магазине, он под ее управлением взращен, она его знает в лицо, любой цветок.

Так что давай-ка не траться, поскольку эта трата не доставит ей удовольствия. А сбереженная монета ей же пригодится в хозяйстве, моей ненаглядной.

А она не подумает, что я жадина? Любимая, я не жадина, а просто я еще небольшим парнишкой стал жить с матерью на свой заработок, и мне приятно, что мать ни в чем не нуждается, и также мне хочется, чтобы ни в чем не нуждалась моя будущая жена и наши дети, насчет которых я не сомневаюсь, что они будут. Я отношусь к нашему союзу как к делу самому серьезному, могуче перспективному и пожизненному и заработанные деньги собираюсь честно тратить на семью, а не на выпивку или что-нибудь в этом духе.

Замечательно мы с тобой заживем! Я буду постигать дальше искусство Себастиана и мастера Григсгагена, а ты — царствовать над цветами, и наши дети вырастут среди цветов и будут похожи на цветы. Никогда им не придется чистить чугуны в копоти до плеч, и не то что бить — пальцем никто их не тронет. И все будет ясно в нашей жизни.

Так говорил Анс, идя за получением ответа. А Белая Роза ждала его в Главном цветоводстве на Дальней дорожке и тоже рассуждала, прохаживаясь:

— Довольно перебирать! Конечно, неплохо каждый день выслушивать признания в любви, но ведь приедается. Сегодня признание, завтра признание, послезавтра... скука! Девушка должна вить гнездо. Особенно такая девушка, как я. Бедняжечка-сиротка, ни накормить некому, ни обогреть. Один отец, и от того ни совета, ни привета. Только о склоках своих паршивых думает, а о единственной дочери — ничуть.

Замужем быть хорошо. Придешь домой с работы: все прибрано, стол накрыт, обед разогрет. Покушали, он посуду помыл — и кино пошли. Или же в гости. Или дома посидим в уюте, он мне книжку вслух почитает, полезно для развития.

И никого не найти лучше Анса, сколько ни перебирай.

Такой положительный, и специальность интеллигентная. Какое сравнение хоть с тем же Элемом!

Надо будет ситчика симпатичного поискать на занавески.

Стиральную машину купим: к чему тратить силы, когда техника идет нам на помощь. С машиной он в два счета стирку провернет.

А какое событие для города: Белая Роза решила, за кого ей выходить замуж. Думала-думала и решила наконец-таки. То-то разговоров! В газетах напечатают наши портреты... То-то народу на свадьбе! Старушки в перчатках и брошках. Девочки с капроновыми бантами. Все мои поклонники в начищенных ботинках...

Так она мечтала, прохаживаясь.

В чудном месте это происходило.

По обе стороны длинной дорожки — разливанное море цветов. Около каждого воткнута палочка, и на ней дощечка с названием.

Здесь были растения с зелеными листьями, и с зелеными в белую полоску, и с коричневыми, и с красными, и со светло-серыми, и с розовыми в серебряную крапинку.

Цветы всех цветов и оттенков, яркие, бледные, огромные, крохотные, возносящие свое пышное великолепие выше человеческого роста и скромно цветущие у самой земли.

Какие у них были имена —«Золотое платье» и «Золотой дождь», «Розовая невеста» и «Лунная соната», «Страусовое перо» и «Миниатюрная канарейка», «Сон поэта» и «Вернись», а некоторых звали по имени или фамилии: «Кармен», «Отелло», «Беранже», «Ниночка», «Мадам Саллерай», а на одной дощечке было написано ни больше ни меньше как «Альтернантера Паранихондес Нана Розеа»— не сразу и прочтешь, не то что выговоришь.

От этой пестроты глаза отдыхали на одноцветных лужайках, разлитых здесь и там: на снежно-белой лужайке, сплошь покрытой белыми флоксами, на голубой — из сплошной лобелии и так далее. А в отделении играли своими стеклами невысокие крыши оранжерей.

Со стороны оранжерей послышалось пение. И на Дальнюю дорожку вышел Элем, восклицая:

— Роза, Белая Роза, я снова у ваших ног!

— Новости,— сказала она.— Вас выписали из больницы?

— Я сам себя выписал!

— Ай-ай-ай! Когда вы возьметесь за ум?

— А зачем за него браться?



— Как зачем? Быть умным хорошо.

— Вы не в курсе дела. Умного гонят. Умного боятся Женщины смотрят на него с подозрением: им не верится, что умный может любить их всерьез. Вот вы — мне не верите, а дуракам верите.

— Выбирайте ваши слова,— сказала Белая Роза.— Я не женщина, а девушка. Чего ради я не верила бы, что вы меня любите? Просто, согласитесь, уж очень вы ненадежный спутник жизни. Почему вы авантюрист? Охота вам.

— Охота!

— Чего вы добиваетесь?

— Хочу быть главным.

— Где?

— Где-нибудь. Еще когда детьми во дворе играли — прошусь, бывало: пустите, ребята, ну пожалуйста, пусть я буду главным, первым, мне больше всех хочется. А они говорят — катись, мы с тобой не играем. Вырос — ну и пробую так, сяк.

— И не получается.

— Не получается, не получается — потом получится. Важно поймать момент и использовать ситуацию.

— А что будет, если поймаете момент и используете ситуацию?

— Там посмотрим, это уже не так важно. Что касается вас, вы будете окружены сказочной роскошью.

— Что такое сказочная роскошь?

— Ну, прежде всего это платья. Одно красивей другого, и каждый день три новых — к завтраку, обеду и ужину.

— Не интересно,— сказала Белая Роза.— Если платье красивое, хочется надеть его еще раз и еще, чтобы всем показаться. Чтоб рассмотрели и потом говорили — а помнишь, какое у тебя было платье?.. А по три в день я и сама не успею рассмотреть.

— Ваше дело будет не рассматривать, а упиваться роскошью. Ну, затем — образ жизни. Ничего не работать, рано не вставать и все прочее — машины, обед из двадцати четырех блюд и так далее.

— А талия?— спросила Белая Роза.— Что будет с талией, если не работать, ездить на машине и обед из стольких блюд?

— Но такова ваша цена в моих глазах,— сказал Элем,— нравится вам это или не нравится.

— Нет,— сказала она, качая головой.— Зачем роскошь? Что мне, больше всех надо? Если б даже у вас что-нибудь вдруг получилось. В наше время это так непрочно. Сегодня сказочная роскошь, а завтра пожалуйте лечиться. Хочу теплое гнездо, хочу быть за мужем как за каменной стеной. И вот он,— сказала она, глядя на суживающуюся вдали, залитую солнцем дорожку,— вот тот, за кем я буду как за каменной стеной.

— Часовщик? Белая Роза, вы же чудо природы! Ну хорошо, пусть не я, пусть другой — но разве такая вам цена? Одумайтесь!

Анс увидел их и стал приближаться медленней, потом совсем медленно.

— Иди смелей!— сказала Белая Роза.— Здесь ничего такого не происходит, чтоб падать духом. Наоборот! Я жду тебя! Наконец-то ты пришел!— И с такими бодрящими словами она протянула ему свою дивно стройную руку с синей жилкой в сгибе локтя.

Град, что ли? С чистого неба град? Картошку кто-то с грохотом сыплет на город из мешка?.. Какая картошка — людские ноги топочут по улице, толпа несется, крича, за решеткой Главного цветоводства — куда?

— Смотрите! Видно вам?

— Да ну, никогда не поверю!— Это на бегу, задыхаясь.

— Что случилось?

— Да вон же! Что у вас, глаз нет?

— Я вижу, но все равно не может быть!

— Зрительный обман!

— Что такое? Куда вы? Куда мы?

— Ура-а-а!

— Кто кричит ура?

— Всегда кто-нибудь кричит ура!

— Вот! Вот оно!

— Да в чем дело?!

Женщина тонко прокричала:

— Часы пошли назад!

— *Часы пошли назад!*— проревел бас.

— *Часы пошли назад!*— эхом отозвалось в бегущей толпе там, и там, и там.

Анс сжал руку Белой Розы и побежал к выходу.

Элем бежал за ним.

Они выбежали через калитку и побежали со всеми.



## НЕЧТО НЕНОРМАЛЬНОЕ — ПРИ СВЕТЕ ДНЯ, НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО ЧЕСТНОГО НАРОДА

Народ устремлялся к ратуше.

На старинную площадь трудно было пробраться. Голуби, перепуганно воркуя, толклись на карнизах.

Сверху на взволнованную площадь, на задранные головы и карнизы с голубями глядели башенные часы — темно-синий циферблат и на нем золотые фигурные стрелки, знаки зодиака и фазы Луны.

Задрав головы, следили люди, как двигались стрелки среди золотых зверей и лун.

Стрелки двигались назад.

Недавно было три четверти двенадцатого и должно было пробить двенадцать.

Солнце стояло в зените.

Должно было пробить двенадцать, но стрелки двигались назад и вместо двенадцати еще раз пробило три четверти.

Люди глядели, разинув рты.

Большая минутная стрелка продолжала двигаться обратно по уже пройденному пути. От цифры IX она передвинулась на VIII и дальше. Будь не так обычно степенен ее ход, показалось бы — стрелка падает вниз.

Она прошла, вздрогнув, цифру VII и приближалась к VI. Все замерли, потом охнули невольно — ох-ты-ы!— когда часы опять забили и пробили две четверти, половину двенадцатого.

На глазах у всех они отстали, обезумев, на целый час!

Но такая могучая вещь привычка, что, охнув, все тут же как один человек подняли рукав на левой руке и поставили свои часы по башенным — на половину двенадцатого.

И то же сделала Белая Роза со своими маленькими часами, надетыми на ту руку, которую держал Анс в своей большой руке.

— Не нужно!— вскрикнул он, но уже было поздно.

Она подняла брови:

— А как иначе?

— Что за легкомыслие!— сказал он горячо.— Прямо как дети, честное слово. Надо объяснить.— Он обращался и к ней, и к тем, что стояли рядом, но его не слушали.— Сейчас все будет нормально. Там мастер Григсгаген. По ходу ремонта водит стрелки взад-вперед. Не поддавайтесь панике.

— Вперед — нет,— сказал кто-то.— Только назад.

— Омерзительное зрелище!— сказал другой. То был астроном, иностранец. Скрестив руки на груди, он смотрел на синий циферблат, как смотрят на опасную гадину.

Большая минутная стрелка взбиралась вверх. Она карабкалась по той стороне, где ей положено только спускаться,— по небывалой, запрещенной стороне, против солнца, против законов часовой механики, против человеческого естества. От цифры VI к цифре V пятилась она, содрогаясь и приостанавливаясь будто для того, чтоб отдышаться,— видно, не так-то это легко и первый раз. Но — лиха беда начало — дальше она пошла бойчей, бойчей — поосвоилась. Благополучно преодолела и пятерку, похожую на старинную букву ижицу, и четверку, которая на циферблатах изображается в виде четырех сдвинутых палочек, вот так: IIII, а вообще-то пишется иначе... Теперь минутная стрелка, пульсируя, как живая, подбиралась к цифре III, и люди притаили дыхание.

— Сейчас...

— Сейчас ударит...

— Ударит четверть двенадцатого...

— Подумайте! Когда полагалось бы ударить уже без четверти час!

Кто-то сказал скорбно и торжественно:

— Почем вы знаете, что полагается? Может быть, именно полагается, чтобы сейчас было четверть двенадцатого, а не без четверти час? Почем вы знаете?

— Но по солнцу...

— Что мы знаем о солнце? Сегодня нам говорят о нем одно, завтра другое. Нам кто-нибудь сказал окончательно и бесповоротно, что такое Вселенная, как она произошла, каковы ее свойства? Одними гипотезами пичкают. Так как же вы беретесь судить о солнце, о времени и тому подобном? Может, время именно должно идти против солнца?

— Не говорите глупости!— крикнул астроном.— Невежда!

На астронома набросилась гражданка Цеде. Она была тут как тут, забыв, как видно, об опасности, угрожавшей ей от беглых сумасшедших,— забывчивость, понятная при данных обстоятельствах.

— Это кто на нас кричит? Вы кто такой? Иностранец, судя по акценту? Иностранец обвиняет нас в глупости, хорошенькое дело! Иностранец будет судить, невежды мы или ученые! Сам дурак!



Толпа становилась все плотней. Из улиц лились и лились людские потоки.

Белая Роза потянула свою руку из руки Анса.

— Куда ты?— спросил он.

— Я ведь еще ничего не решила,— с запрокинутой головой ответила она, не отрывая глаз от синего циферблата.

— Но разве ты не сказала «да»?— спросил он в изумлении.— Я понял так, что ты говоришь «да».

— Вам показалось.— Она освободила руку.— Это дело серьезное. Не мешает в самом деле подумать, кому какая цена, прежде чем вить гнездо.

Часы пробили четверть двенадцатого.

Безудержное веселье овладело зрителями. Из молчания поднялся хохот. Гомерический, роковой! Хохотала площадь, хохотали окрестные улицы. Хохотали те, кто высовывался из окон под карнизами с голубями, и, вздувая нежное горло, до слез смеялась Белая Роза.

И многие, хохоча, со стонами утирали слезы.

А кто не поддался зловещей вспышке, те озирались на весельчаков со страхом и заботой.

Протирая очки, на балкон ратуши вышел Дубль Ве. Его седая голова в сиянии дня вспыхнула серебром.

— Друзья мои!— разнесся над городом полный дружелюбия голос, каждому известный, как голос родного отца,— не следует волноваться. Произошло, очевидно, повреждение, оно будет исправлено. Исправлено безотлагательно, поскольку в часовой башне находится наш глубокоуважаемый мастер Григсгаген, уж он-то не допустит, чтобы наши часы безобразничали, живо их приберет к рукам.

И мастер Григсгаген тоже вышел на балкон и стал возле Дубль Ве.

Народ притих и ждал его слова с почтением и интересом.

Кто-то звонко сказал:

— Ой, какой старый!

— Мама,— заплакал мальчик,— я боюсь!

— Они не пойдут вперед,— сказал мастер.

— То есть?— спросил Дубль Ве.

— Будут идти назад.

— Это как же?

— Вот так, назад. Всегда.

— Нет,— сказал Дубль Ве.— Нас это не устраивает.

— Всегда!— громогласно повторил мастер.

— Один вопрос, мастер!— закричал снизу Элем.— Как вы считаете, из этого что-нибудь может получиться?

Мастер обвел землю и небо торжествующим взглядом.

— Еще бы!— сказал он.— Отныне цветы будут цвести дважды, и старые молодеть, и жизнь одерживать победы в схватках со смертью. Не бойтесь, люди, не плачьте, не смейтесь — вот увидите, что будет! И это сделал я, ученик Себастиана!

День совершал свой путь. На лучах-крыльях плыл он от полудня к закату. Ему не было дела, кто и что тут натворил в человеческом муравейнике.

## МАСТЕР ГРИГСГАГЕН ПРОЩАЕТСЯ С ТЕНЯМИ

И все отстранились от него как от колдуна, чернокнижника, когда он шел через площадь иссохший и темноликий, постукивая тростью, и с ним его пес.

Никто, кроме пса, за ним не двинулся, он шел без всякой докуки, и громко стучала трость в пустых улицах — пустых потому, что все были на площади.

Ветерок подувал в лицо. Сирень перевешивала через заборы литые лиловые гроздья.

— Благословенный день!— сказал мастер.

Он стоял перед высокими решетчатыми воротами. Сквозь решетку белели кресты и обелиски.

— Ха-ха!— развязно произнес мастер и пошел по чисто подметенной аллее.

Кресты и обелиски мерцали золотыми и черными надписями. Крашеные железные венки висели на крестах, они нагрелись на солнце, и от них пахло краской.

— То-то!— сказал мастер.— Не выйдет! Вот хотел было привыкать, а теперь пришел проститься надолго, вот вам!

Он задержался возле громоздкой плиты, на которой было написано по-латыни: «Себастианус».

— Хорош!— сказал он.— Почему ты этого не сделал для себя? Дрогнула рука перед опытом? Владея таким знанием, дал кондрашке тебя хватить, эх ты! А вот я твоим знанием воспользовался, ага!

Он постоял, будто ожидая отклика. Но недосягаемо равнодушие мертвых. Укоры и смешки им трын-трава.

— А те-то! Старшенькие ученички! Любимчики твои! У которых я был на побегушках! Тоже ведь не дерзнул ни один. Перемерли, сложили лапки. Только я дерзнул, состоявший у них на побегушках. И ничего из твоего последнего урока не забыл — какова память!



Молчала плита с мерцающими латинскими буквами.

Мастер устыдился своего бахвальства.

— Ну, спасибо тебе за науку!— сказал он и, поклонясь, отправился дальше.

И вот перед ним был памятник — печальный ангел стоял, приподняв босую ногу, на белом саркофаге. Трещина змеилась по саркофагу. Старый памятник, старая могила.

— Предполагалось, что вскоре придется свидеться,— сказал мастер ангелу,— к этому шло. Но обстоятельства складываются иначе. Ты, конечно, поймешь и не рассердишься. Ты всегда все понимала и никогда не сердилась. Я вижу тебя как живую. Твою нежность вижу и твое терпение. Моя дорогая.

Он закрыл глаза.

— Нет. Я не лгу. Я все забыл. Так бесконечно давно это было. Ты стала мраморным ангелом, я не твое лицо вижу — чужое лицо ангела. И в душе нет печали, душа моя дрожит от предвкушений, хочет жить. Прости еще раз. До нескорого свиданья.

И зашагал, вскидывая трость. И ходил до вечера, останавливаясь и говоря с поклоном: «До нескорого свиданья»,— у него на этом кладбище много было могил.

## ВРЕМЯ НАЗАД

Часы привыкли идти назад.

Бодро движется вспять минутная стрелка.

Легонько, будто танцуя, перебирает секундная частые золотые черточки в обратном порядке.

С полной готовностью лезет часовая от шести к пяти, от четырех к трем.

Странный вид на улицах: никто никуда не спешит, плетутся, словно и дел ни у кого нет.

Афиши на тумбах извещают о прошлогодних спектаклях.

На школе висит объявление, что отныне ученики будут учиться по прошлогодним учебникам, не только второгодники, но и вообще все.

Недавно, помнится, кто-то волновался насчет какой-то аварии с гладиолусами. А сейчас цветы вовсе исчезли.

Чьи-то руки все оборвали, чьи-то ноги все вытоптали. А что осталось — засохло без поливки.

Ворота Главного цветоводства распахнуты, скрипят на петлях, там внутри голая земля, битые стекла оранжерей, мерзость запустения.

В пивной напротив ратуши сидят мужчины, пьют и поют, притоптывая в такт:

Эники-беники ели вареники!
Эники-беники клец!

— Эй, хозяйка!— кричит один.— Еще по кружке!

Хозяйка приносит еще по кружке.

— Вчера,— говорит другой,— они меня заставили обедать глубокой ночью.

— Это что,— говорит третий,— меня они так запутали, что я все в ретортах передержал и перепортил.

— Это что,— говорит четвертый,— вот диспетчер запутался — да два поезда под откос, это похлестче.

— Это что,— говорит первый,— штука в том, что ни у тебя, ни у тебя, ни у тебя, ни у меня нет завтра, куда-то оно девалось.

— Хозяйка!— кричит второй.— Еще по кружке!

— Друзья!— говорит Дубль Ве, входя.— Как вам не стыдно! Совесть у вас есть? Почему вы не работаете? Почему пьянствуете?

— А зачем нам идти на работу,— спрашивают у него,— и почему нам не пьянствовать, когда у нас нет завтра? Когда у нас одно бесконечное вчера — и впереди и сзади!

— Это не оправдание!— говорит Дубль Ве.— Это временно, мы это отрегулируем. Вы не имеете права оставлять вашу работу, нужную для общества.

— Брось, Дубль Ве,— говорят ему.

— Хозяйка!— кричит третий.— Еще по кружке! Выпей с нами, Дубль Ве.

— Сейчас пришлю за вами автобус,— говорит Дубль Ве,— и вы поедете на работу.— Он уходит.

— Какие странные пошли болезни,— говорит второй из мужчин, прихлебывая пиво.— У моего соседа вскочили на теле черные пузыри, и он умер.

— А, это в старину была такая болезнь,— говорит третий.— Называется черная оспа.

— А у меня,— говорит четвертый,— опухоль под мышкой, и что-то я себя плоховато чувствую.



— Да, и такое было когда-то,— говорит третий.— Называется бубонная чума.

С улицы доносится сирена.

— Автобус пришел.

— Зовет.

— Зовет...

— Хозяйка!— кричит тот, у кого бубонная чума.— Еще по кружке!

Шофер входит.

— Ну что же вы? Дубль Ве велел, чтоб сразу ехали.

— Эх, парень!— говорят ему.— Куда ехать-то? Во вчерашний день? Садись лучше, выпьем. Садись, не ломайся! Новую песню знаешь? Давайте дружно:

Эники-беники ели вареники!
Эники-беники клец!

## РЕШИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ: ВЫЯСНЯЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОРТФЕЛИ

— Сейчас у нас все получится,— сказал Элем.— Вот я вам объясню. Дубль Ве может быть главным, только когда время идет вперед. В теперешних условиях он не популярен. Теперь править буду я, труля-ля. А вы мне будете помогать.

— Эники-беники, что он говорит?— спросил Гун у Эно.

— Глупости он говорит,— ответил Эно.— Говорит не обдумав, не продумав, не учтя, не взвесив.

— Как он смеет так говорить, когда главный — я, я, я?

— Ну разумеется, Элем! Если будете говорить глупости, мы с вами не играем!

— Но послушайте,— шепнул Элем.

— Нет, вы послушайте!— шепнул Эно.— Кто может править, когда время сошло с ума? Только сумасшедший! Кто самый сумасшедший? Он! Я все учел и взвесил и заявляю это с полной ответственностью.

Громко он сказал:

— Вы не знаете степени популярности нашего Гуна. Народ уже слагает песни на его любимые слова.

— Но у него нет качеств правителя!

— Доверьтесь моему опыту: когда человек становится правителем, у него откуда ни возьмись являются и качества. Одно без другого не бывает.

Гун закапризничал:

— Вот видите, Эно, а вы говорите — все передо мной преклонятся. Вот видите, какой он. Может, вы тоже в глубине души хотите быть главным, кто вас знает.

— Нет,— сказал Эно.— Я взвесил. Мне в главных будет скучно. Против кого я тогда буду интриговать, против себя? Смешно. Главным будете вы, а мы с Элемом министрами. Я — министр склок, а он — авантюр.

— Как!— сказал Элем.— В такой богатой ситуации — и только министерский портфель?

— Берите,— сказал Эно,— а то и портфеля не будет! Между нами говоря, какой вы такой уж особенный авантюрист? Я, старый склочник, сто очков вперед вам дам. Кто Гуна нашел и воспитал? Берите портфель, а то оба возьму. Берете?

— Черт с вами, беру. Может, что-нибудь из этого получится.

— И больше никаких министерств не надо,— сказал Эно.— Втроем управимся.

### ВСЕГДА, ВСЕГДА ПЕРВЫЙ ПРЕДМЕТ ЗАБОТ — МАЛЬЧИШКИ

Рассылая воздушные поцелуи, Гун вышел из ратуши. За ним шагали дюжие мужики в рыжих пиджаках.

Эно крикнул с балкона:

— Что ж вы пешком? Вы бы на машине!

— Ничего!— крикнул Гун в ответ.— Я на своих на двоих! Я демократ!

В сопровождении рыжих пиджаков он направился ко дворцу, где жили мальчишки, подобранные на улице.

В мраморных сенях дворца висит план: на каком этаже помещаются классы, на каком спальни, где столовая, гимнастический зал, шахматная комната.

По лестничным перилам скатываются двое мальчишек и притихают, увидев Гуна.

— Чего вы испугались?— спрашивает он приятельски.— Валяйте! Превосходное мужское занятие, сам его обожаю, я ж веселый парень! Ну-ка наперегонки, кто лучше!

И с веселым визгом скатывается вместе с мальчишками. Потом идет наверх, в класс.

— Эники-беники!

— Здравствуйте,— отвечают мальчишки.



— Отставить!— говорит Гун.— Надо отвечать — ели вареники. Вы что, не знаете этой считалки? Хорошая считалка. Вместо «здравствуйте», «до свиданья», «с добрым утром», «с Новым годом» и прочей муры достаточно сказать «эники-беники»— и все. Годится также для выражения восторга, неудовольствия, угрозы врагам и так далее. Усвоили?

— Усвоили!

— Нравится?

— Нравится!

— Мне тоже. А давайте-ка мы эти парты того, вон отсюда?

— Как вон?

— Да так, чтоб не было их тут.

— А заниматься?

— А ну его, еще заниматься! Радость, что ли? Кто за то, чтоб заниматься, поднимите руки! Меньшинство. Кто за то, чтоб не заниматься? Большинство. Так вон отсюда парты, а?

— А куда?— спрашивает большинство.

— А в окно!

— Прямо в окно?

— Ничего нет удобней. Сейчас увидите. Раз, два, взяли! Ты, долговязый, отцепись, слышишь, брысь, не мешай! Дайте ему, ребята, туза, чтоб не мешал! Ну, раз, два...

Три! Полетели парты и окна. Пыль столбом.

— Кто там пищит на улице?

— В кошку попали.

— Правильно. Кошек надо давить. Теперь в спальни ведите. Беритесь — койки, тумбочки. Раз, два...

— Как, и койки тоже?

— А на что они вам?

— А спать?

— А вы тут не будете спать. Тут я, я, я буду спать. Вы в палатках будете спать. Мы с вами будем играть в бравых, храбрых, непобедимых солдат, идет?

— Мы не умеем.

— Я научу. Игра — закачаться, до чего интересно. Давайте посчитаемся, кому быть фельдмаршалом. Эники-беники ели вареники, эники-беники клец. Ура, я фельдмаршал!

— Мы на картинке видели пушки!

— И у нас такие будут! Еще лучше. Будем из них стрелять: ба-бах! Вернемся из похода, покрытые славой, и тогда... тогда...

Гун хихикает и пожимается, застыдившись.

— И тогда нас... тогда нас... нас полюбят... полюбят.. женщины! Ну, пошли!

— В поход?

— В поход, поход. Ать-два левой! Шагом марш!

Идут мальчишки за Гуном. Позади рыжие пиджаки — выгоняют тех, кто норовил остаться, притаясь за колоннами.

## МАСТЕР ГРИГСГАГЕН ПРИЗЫВАЕТ ИСКУССТВО НА ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ

На доме была фарфоровая доска с грубой надписью: «Зубы».

Мастер Григсгаген позвонил и вошел в зубоврачебный кабинет.

— Я пришел,— сказал он равнодушному человеку, разжиревшему на муках своих сограждан,— я пришел призвать на помощь природе ваше искусство.

— Покажите рот,— сказал равнодушный, копаясь и лязгающих железках.— Сядьте в кресло.

— Мне незачем садиться в кресло,— возразил мастер,— и нечего показывать. Разрешите, я сяду просто на стул. Они, конечно, вырастут, если не все, то хотя бы дюжины две, я твердо на это уповаю, но, как вы знаете лучше меня, растут они довольно медленно даже у детей, и я бы желал временно иметь во рту хотя бы, так сказать, художественную модель для пережевывания пищи и поднятия общего тонуса.

— Можно и модель,— сказал равнодушный.

И стал выкладывать из ящиков стола футляры и открывать их. На бархатных ложах засверкали, как ожерелья, зубы всяких размеров и оттенков. Те с голубизной, а те желтоватые. А некоторые цвета янтаря. Они скалились на мастера, подступая к нему и множась.

— В каждом футляре полный комплект,— сказал равнодушный.— Большой джентльменский набор.

— Я бы хотел побелее,— сказал мастер.— Знаете, о которых говорят — как сахар, как кипень, как снег.

— Вот вам как кипень,— сказал равнодушный,— вот вам как сахар, вот как снег.— И так как мастер перебирал футляры, не зная, которому отдать предпочтение, равнодушный сказал еще равнодушней:— Если вам дорого, могу предложить малый джентльменский. Или десятками. Возьмите десятка два. Если вас устраивают двадцать четыре штуки, то, наверное, устроят и двадцать, разница не ахти какая.

— Нет уж, покупать, так полноценную вещь. Мне нравятся вот эти, как сахар. Только не будут ли они для меня мелковаты?

— Пожалуй, при вашем росте нужны зубы попредставительней. Вот более крупного калибра, тоже как сахар. Даже еще сахарней. Завернуть, или сразу наденете?

— Сразу. Дайте мне зеркало. Все же лучше, чем запавший рот.— Мастер улыбнулся.— Одно уж то, что улыбка имеет какой-то вид. Без зубов она не имела никакого вида. По мере того как будут отрастать настоящие, я к вам обращусь за неполными комплектами, а там и вовсе отпадет надобность в искусственном вмешательстве.

— Желаю успеха,— сказал равнодушный.

Следующий визит мастера был в парикмахерскую. Из ее окон улыбались розовые манекены в прическах позапрошлого века, опять ставших модными.

— Скажите,— спросил мастер у гардеробщика,— где тут возвращают волосам натуральный цвет?

— Окраска волос направо,— ответил гардеробщик, и мастер пошел мимо высоких зеркал направо.

Там в особой комнате в ряд сидели женщины, до подбородка укутанные простынями. Парикмахер шибко мазал по их головам кистью, подряд по всем, как красят забор.

— Какой цвет?— спросил он, увидев мастера.

— Черный. Самый черный.

— А, это вы,— сказал парикмахер.— Я вас не сразу узнал. Я был на площади, когда вы проделали этот фокус-покус с часами, вы изменились. Что, у вас зубы? Неужели выросли?

— Выросли,— буркнул мастер.

— А волосы не чернеют?

— Пока нет. Но нигде не сказано, что искусство в таких случаях не должно прийти на помощь природе. Возможно, оно подтолкнет природу. Акклиматизируются и сами начнут расти потемней.

— Искусство — великая вещь,— сказал парикмахер.— Что вы думаете, возьмет и подтолкнет, почему нет? А если вам стать блондином? Я б на вашем месте рискнул скорей блондином. Не так будет бросаться в глаза.

— Нет. Брюнетом, и жгучим.

— Дело хозяйское. Жгучим так жгучим, садитесь.

Парикмахер взмахнул кистью и выкрасил голову мастера Григсгагена в самый черный цвет, какой только бывает.

— Начало положено,— говорил мастер, идя обратно мимо высоких зеркал.— Терпение!

Зеркала отражали старика иа расшатанных ногах, с оскаленными сахарными зубами и черной как смоль головой.

От самой черной краски, какая только бывает, лицо его стало еще старей, каким-то оно стало даже страшным.

Мастер зажмурился.

— Терпение!— повторил он.— Природа, слышишь? Путь тебе указан. Толчок дан. А дальше, верую, ты сама сказать свое слово не замедлишь.

## КАРЬЕРА ДУРНУШКИ

В ратуше за столами сидели конторщики и писали — кто вечными перьями, кто обмакивая перо в чернильницу.

Вошла дурнушка с толстой сумкой на ремне.

— К кому мне обратиться,— спросила она управляющего конторой,— по делам поэзии?

— Делам чего?— спросил управляющий.

— Поэзии. Поэзии.

— Вот уж не знаю,— сказал управляющий.— К нам никогда не обращались по делам этого самого. Справьтесь у моего помощника.

— Первый раз слышу,— сказал помощник.— Поэзия? Это что такое? С чем ее едят? Спросите вон того молодого конторщика, может, он знает.

— А, да-да,— сказал молодой конторщик.— Поэзия, как же. Вам нужно обратиться в министерство авантюр.

— Почему авантюр?— спросила дурнушка.

— Думаете, это относится и министерству склок?

— Нет,— сказала дурнушка.— К какому-нибудь третьему министерству.

— Третьего у нас нет.

Дурнушка призадумалась.

— Слушайте меня!— сказал конторщик.— Я вам правильный совет даю. Идите в министерство авантюр, не ошибетесь. Вот только застанете ли министра, он очень занят.

Но дурнушке посчастливилось, министр Элем как раз находился, отдыхая, в своем кабинете.



— Что вас привело,— спросил он,— и может ли из этого что-нибудь получиться?

— Уже! — сказала дурнушка.— Уже получилось! Всего четыре строфы, но ударят по сердцам с неведомою силой.

— Что-то новенькое,— сказал Элем.— Объясните, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду,— пояснила дурнушка,— то, что мне наговорили мои голоса. Они наговаривают всякое, получаются стихи — вы, как министр, должно быть, знаете, что это такое. Ну вот, вчера они мне стали наговаривать про Гуна.

— Очень интересно,— сказал Элем.

— Правда интересно? Я разносила вечернюю почту и подумала о нем, а они как начнут наговаривать!

— И что они сказали?

— Что он великий.

— Так и сказали?

— Более великий, чем все короли и цари не только из тридевятых государств, но даже из тридесятых. В общем, четыре строфы, шестнадцать строк, восемь мужских рифм и восемь женских.

Дурнушка положила перед Элемом листок, вырванный из тетрадки.

— Хвалебная песнь про Гуна.

— Что же вы стоите!— воскликнул Элем.— Садитесь, прошу вас! Как поживаете, как ваше здоровье? Хвалебная песнь про Гуна с мужскими и женскими рифмами, ха-ха! Эх и утру я нос министерству склок! Хвалебная песнь про Гуна — вот чего нам не хватало в хозяйстве!

Поздравляю, мадемуазель, вы сделали блистательную карьеру. Ваша заслуга будет награждена. От имени правительства выражаю вам благодарность. И вот вам лента. Вы ее будете носить через плечо. Напишем на ней вот так: «Наша лучшая поэтесса. Сочинила хвалебную песнь про Гуна». Чтоб все знали, кто вы такая. Что это на вас?

— Почта. Я почтальон.

— Снимите. Бросьте.

— Надо же разнести письма.

— Бросьте. Какие письма? Кому они нужны? Вы наша лучшая поэтесса. Будете купаться в лучах славы. Сюда, в угол.

Дурнушка кинула сумку в угол.

— Курьер! Выкиньте это. В мусорное ведро.

Курьер унес сумку.

— Лучшие композиторы,— сказал Элем, надевая на дурнушку ленту с надписью,— положат ваше творение на музыку. Ваше прекрасное стихотворение. До свиданья, до свиданья. Мерси, мерси. Желаю новых творческих успехов вашим голосам. Если им вздумается на досуге обмолвиться парой слов о вашем покорном слуге, буду польщен.

Расшаркиваясь, Элем проводил дурнушку до дверей кабинета.

Дальше она пошла одна с лентой через плечо.

В конторе на своих местах сидели конторщики. При виде дурнушки они перестали писать и обмакивать перья, и послышался шепот:

— Она сочинила хвалебную песнь про Гуна.

— Что сочинила?

— Хвалебную песнь про Гуна.

— Вон та дурнушка.

— Смотрите на дурнушку, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна!

— Да!— отвечала она, кивая им.— И лучшие композиторы положат ее на музыку.

Она вышла из ратуши. На улице прохожие. Отовсюду слышалось:

— Смотрите на дурнушку, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна!

— Я лучшая поэтесса в городе,— дружески сообщала дурнушка тем, кто не сразу ее приметил.— Видите, на мне написано. Я сделала блистательную карьеру.

На улицах окна и ворота. И отовсюду:

— Вон дурнушка, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна!

— Это слава!— воскликнула дурнушка.— Я купаюсь в ее лучах!

И вдруг крикнул кто-то:

— Бей дурнушку, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна!

Камень полетел из подворотни слева и ударил дурнушку в левую щеку.

И из подворотни справа полетел камень и ударил дурнушку в правую щеку.

Схватилась дурнушка за лицо, остановилась посреди улицы, закричала:

— Как вы смеете! Я лучшая поэтесса в городе!

И сверху посыпались камни, из окон, с крыш. По голове, по плечам. Рванулась дурнушка, побежала что было



сил. Бежит, спотыкается о булыжники мостовой. А камни справа, слева, вдогонку!

— Бей дурнушку, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна!

— Да вы это что?— гаркнул Анс, шедший навстречу.— Совсем свихнулись?!

Ему стали объяснять из окон, из ворот, кое-кто — свесив головы с крыш:

— Она сочинила хвалебную песнь про Гуна!

— Что?— спросил Анс.— Про Гуна? Значит, застращали, заставили. Я ее знаю, она не такая.

— Бей и его!— закричали.— Он за нее заступается! Бей обоих!

Гуще грянул град камней. Дурнушка упала.

— Идиоты!— ругался Анс, расставив покрепче ноги, чтобы самому не рухнуть под ударами.— Нашли на ком беду вымещать, на девчонке! Ну, доберусь до вас — намну бока!

— Свои береги!— грозились сверху.— А дурнушке, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна, житья не будет, так и знай!

— Эх!— сказал Анс. Наклонился, поднял дурнушку и понес.

— Голоса мои, бессовестные!— плакала дурнушка.— Как же вы меня подвели!

— Нечего на голоса все валить,— сказал Анс.— Сама-то хороша. Заставили? Сдрейфила?

— Ах,— плакала дурнушка,— лучше бы я не делала блистательной карьеры! Лучше бы осталась почтальоном, как была!

— А кто тебе мешает оставаться почтальоном?

— Курьер все письма выбросил в мусорное ведро. Ах, лучше б меня отдали обратно к мачехе в трактир, чем такой позор!

— Молчи уж,— сказал Анс.

Он вышел со своей ношей за город. Высокая горка была перед ним, он стал подниматься по витой тропинке. Тем временем наступил серый-серый вечер: трава серая, море серое, открывшееся с горки; небо, как пепел, серое, в нем одна переливалась крупная звезда.

Там, на горке, была обсерватория с телескопом. Астроном, иностранец, смотрел в телескоп на звезду, когда вошел Анс с дурнушкой на руках.

— Господин астроном,— сказал он, опуская дурнушку на койку в углу,— эту девушку надо спрятать на время,

[redacted] я должен покинуть город; на вас, думается мне, можно положиться [redacted] смысле порядочности. Потому что если не полагаться на человека вашей специальности, то на кого же тогда?

Астроном оторвался от телескопа.

— Почему вы должны покинуть город?

— Потому что [redacted] не хочу служить времени, идущему назад.

— Что с девушкой?

— Ее побили камнями.

— Черт знает что,— сказал астроном.— Когда я приехал, у вас было не без страинностей, но пристойно, многое даже трогательно. Дождусь затмения — и ну вас, на другой же день меня здесь не будет. Хорошо, я ее спрячу. От кого надо прятать?

— От всех.

— Хорошо. Если кто-нибудь придет, я спрячу ее в телескоп.

— Надо перевязать ей раны,— сказал Анс.

И они принялись перевязывать раны дурнушке, и лучистая звезда смотрела на них в окно.

## СТРАНСТВИЕ

На скрещении дорог мать прощалась с Ансом.

— Может, останешься? Может, не уйдешь?

— Нельзя, мать. Людям [redacted] глаза совестно будет смотреть.

— Тебе-то почему совестно? Ты не виноват!

— Что ты, не виноват! Часовщик обязан думать о времени. А я только о любви своей думал.

— Пускаешься в странствие — с чем пускаешься? Голые руки, грудь нараспашку.

— Не бойся. Я поумнел зато. Что-то [redacted] мозгах щелкнуло, и я поумнел. Собственными ушами слышал, как оно щелкнуло.

На четыре стороны света простерлись дороги. Длинные, за горизонт. Густел серый вечер.

Анс простился, поправил рюкзак на спине и пошел скорым шагом.

Несколько раз оглядывался, чтобы помахать матери рукой, и видел ее, стоящую неподвижно, и за нею город с первыми вечерними огоньками.

— Прощай, мой город!— сказал Анс.



Пошел дальше и увидел пешехода, идущего в том же направлении с рюкзаком на спине.

— Вот хорошо,— сказал Анс,— с попутчиком веселей.

— Это вы, Дубль Ве?— вскричал он, нагнав пешехода.— Каким образом я вас здесь встречаю?

— Они изгнали меня из города,— сказал Дубль Ве.— Гун и его пиджаки. Безумцы, изгнали старательного работника, желавшего добра и порядка! Хотели отрубить мне голову, но министры уговорили их этого не делать, опасаясь волнения в массах. Несомненно, многие обо мне пожалели бы — не о моей персоне, разумеется, [redacted] о добре [redacted] порядке. Хотя массы очень опустились с тех пор, как время пошло назад.

— Боюсь,— сказал Анс,— что большинство способно только бросаться камнями из подворотен, когда поблизости нет рыжих пиджаков.

— Увы, скорей всего это так. Эпидемия безумия охватывает квартал за кварталом. Формы болезни многоразличны, она свирепей чумы и черной оспы.

— Безумие ли это? Или малодушие? Или злоба? Или стяжательство?

— А разве стяжательство не безумие?— возразил Дубль Ве.— Разве злоба не безумие? Нормален тот, чья душа не взбаламучена этими пороками. Злосчастный Гун делает зло, подхлестываемый безумием.

Они оглянулись, но уже не было видно города.

— Не отдохнем ли мы?— спросил Дубль Ве.— Я иду с утра и порядком устал.

И они улеглись в стороне от дороги, подложив рюкзаки под головы. Божьи коровки ползали по ним, и трава дышала [redacted] лицо.

— Вы спите?— спросил Дубль Ве среди ночи.

— Нет.

— О чем вы думаете?

— О нашем городе.

— Я тоже,— сказал Дубль Ве.— Однако постараемся заснуть, нам предстоит нелегкое странствие.

Но сон не шел к ним, они пролежали до утра, ворочаясь и вздыхая.

И так же прошла вторая их ночь, которую они тоже проводили под открытым небом, уйдя далеко за горизонт. То и дело один другого спрашивал:

— Спите?

— Нет.

— О чем думаете?

— О нашем городе.

А на третью ночь, когда они находились еще дальше, Дубль Ве сказал:

— Поражаюсь, как я мог его оставить на произвол безумцев.

— Я не могу себе этого простить,— сказал Анс.

— Это вирус безумия проник в меня,— сказал Дубль Ве.

— С моей стороны двойное безумие,— сказал Анс.— Я часовщик.

— Мало ли что выслали. А мы вернемся потихоньку и посмотрим, что можно сделать.

— Я еще немножко поумнел,— сказал Анс.— Моя дорога — туда, теперь я вижу.

Они отряхнули с одежды налипшие былинки и божьих коровок и пустились в обратный путь.

## МАСТЕР ГРИГСГАГЕН УХОДИТ НА ПЕНСИЮ

Он работал на своем месте. На месте Анса сидел новый помощник.

По-прежнему в мастерской на разные лады тикали часы, но теперь они шли назад. Они с таким же рвением улепетывали назад, как когда-то стремились вперед.

Вставив в глаз увеличительное стекло, орудуя шильцем, мастер наставлял нового помощника:

— Раз уж вам выпало счастье работать со мной, используйте это преимущество, глядите, учитесь. Кто такие даже первоклассные часовщики, все эти гангмахеры, штейнфассеры, демонтеры, репассеры и прочие? Хорошие, да, отличные, да, вполне уважаемые специалисты. Я же сделаю из вас художника. Вы сможете выполнять техническую работу и создавать новые конструкции, вне всяких канонов и эталонов. Для часовщика-художника эталоны не существуют, он работает по наитию свыше. Вы спросите: а каждый ли доступен наитию свыше? (Помощник не спрашивал.) Если будете прислушиваться к моим указаниям...

Помощник не прислушивался. Он глядел в окно, где через улицу к мастерской в сопровождении рыжих пиджаков шел Гун.

Мастер сквозь увеличительное стекло посмотрел туда же.



Увеличенный в двадцать раз, Гун был великаном. О пуговицы жилета, увеличенные в двадцать раз! О брови — черные тучи! Ботинки номер восемьсот надвигались как танки.

Танки прошагали в мастерскую.

Помощник вскочил и прокричал:

— Эники-беники!

— Ели вареники!— возгласили, вваливаясь за Гуном, рыжие пиджаки.

— У вас уютно, мастер,— сказал Гун.— Ловко вы тут окопались. Ну, как прыгаете?

— Прыгаете, га-га-га! — загоготали пиджаки.— Прыгаете, го-го-го, ну и остроумен же, эники-беники!

Мастер вынул увеличительное стекло из глаза. Сразу Гун стал маленьким. Ботинки сорокового размера. Пуговицы на жилете черные, с четырьмя дырочками, в любой галантерейной лавке продаются за копейки.

— Выглядит отвратно,— сказал Гун пиджакам.— Годишки дают себя знать.

— Годишки, годишки!— залотошили пиджаки.— В самый корень смотрит Гун! Годишки дают себя знать.

— На пенсию пора,— сказал Гун.

— На пенсию, на пенсию!— заголосили пиджаки.

— Позвольте!— сказал мастер.— Почему на пенсию? Разве я хуже стал работать?.. Что это?— спросил он вслед за тем.— Это мой голос так беспомощно дребезжит? У меня трясенье под коленками? Но ведь без увеличительного стекла он ничтожество, и пуговицы его ничтожные, и эти парни в пиджаках ничтожные. Я покажу им их место. Уймись, трясенье под коленками!

И он сказал с достоинством:

— Те, кому надлежало бы помнить, уже забыли, повидимому, что время назад пустил я и никто другой.

— Да!— воскликнул Гун.— Да, хи-хи-хи! Вот вы какой часовщик, свет таких не видал! И так же спокойненько можете пустить его вперед, если вам вздумается, а, хи-хи-хи?

Он погрозил пальцем у мастера перед носом.

— Знаю я вас!

— Он меня боится,— сказал мастер, отпрянув.— Я его, он меня. Я боюсь пиджаков, он боится моего умения.

— Почтеннейший мастер!— сказал Гун.— Довольно вам сидеть в этой дурацкой мастерской и копаться в этих дурацких часах. Пора пожить в покое и холе. Будет вам

покой, будет и холя. Я, я, я назначаю вам неслыханную пенсию!

Пиджаки:

— Ух ты! Ну, рванул старик! Пофартило! Мне бы! Эники! Беники!

— Ели вареники!— грянуло с улицы.

Там шеренгами стояли часовщики — гангмахеры, штейнфассеры, демонтеры, репассеры и прочие. Они были в парадных костюмах и держали свои шляпы в руках. Впереди стояла разряженная госпожа Цеде с серебряным кофейником, украшенным монограммой.

— Проводить вас пришли дружки ваши,— сказал Гун.

— Но я не хочу на пенсию!

— Ну-ну. Слыхали — неслыханная.

— И неслыханную не хочу!

— Давай-давай по-хорошему!— сказал Гун.— Собирай манатки, и пошли.

— Но кто же,— возопил мастер,— будет осматривать городские часы четыре раза в год?

— Я буду осматривать!— крикнул Гун.— Я, я, я!

Рыжие пиджаки придвинулись и стали кружком, выпячивая ватные груди.

Дрожащими руками мастер уложил инструменты в чемоданчик.

— Я не могу так оставить мастерскую!— сказал он.— Тут ценности! Нужно сделать инвентаризацию и составить акт.

— Какая там инвентаризация,— сказал Гун,— все очень просто: раз, два, три — и нет никаких ценностей.

Пиджаки расступились, и мастер увидел.

Все часы лежали кучей на полу. В том числе драгоценные, неповторимые.

Один пиджак сдирал со стенки часы с начищенным медным маятником, чтобы бросить в общую кучу. Другой пиджак снял с гвоздя плащ мастера Григсгагена и держал наготове.

— Ну что ж,— сказал мастер,— коли так, я уйду. Коли так, буду жить в покое и холе. В конце концов, холя и покой — это должно быть полезно для молодения.

Кто-то наступил каблуком на часы, они захрустели, как яичная скорлупка.

— Валяйте,— сказал мастер.— Топчите, бейте. Почему я их обязан жалеть, почему? Они из меня выпили по капле мою жизнь.



Он отвернулся от их запрокинутых циферблатов, обращенных к потолку.

— Правильно,— сказал Гун,— чего там жалеть.

Мастер протянул руки, и его облачили в плащ.

Новый помощник снял свой рабочий халат. Под халатом оказался рыжий пиджак.

— Вон оно что,— сказал, удивясь, мастер.

Он вышел из мастерской. Депутация гангмахеров, штейнфассеров, демонтеров и репассеров терпеливо дожидалась, имея в авангарде госпожу Цеде с кофейником.

— Господа!— сказал Гун.— Дорогой старец уходит на отдых. Эх, где наша не пропадала — помимо неслыханной пенсии дарую ему дом с полной обстановкой на улице Пломбированных Лип! Эники-беники!

— Ели вареники!— нестройно закричали гангмахеры, штейнфассеры, демонтеры, репассеры и госпожа Цеде.

— Господин Григсгаген!— восторженно завизжала госпожа Цеде.— Мы вам признательны от всего сердца, так прекрасно и благородно было с вашей стороны пустить время назад, на мой вкус назад неизмеримо, несравненно лучше, чем вперед, разрешите мне вас расцеловать! Господин Григсгаген, этот кофейник мы купили в складчину. Желаем вам пить из него кофе двести лет!

Мастер ждал еще речей. Но его товарищи по профессии уставились в землю.

— Давайте ваш кофейник,— обиженно сказал мастер.

Помощник в рыжем пиджаке спустил над витриной гофрированную железную штору. Она упала с громом. На дверь он повесил замок с пудовую гирю величиной и ключ отдал Гуну.

Другой рыжий пиджак вынул молоток из кармана и прибил к дому доску с надписью:

Здесь с такого-то года прежней эры
по такой-то новейшей эры
работал знаменитый часовщик Григсгаген,
ученик Себастиана

## САНИТАР МАРТИН

В тюремной камере санитар Мартин, закованный в цепи, ждал казни.

Тюрьма была устроена на скорую руку в бывшей больнице. Стены камеры были белые, гладкие; свет голой лампочки отражался в них.

— Ну поди ж ты,— горько терзался Мартин,— ну кому б это в думку взбрело, что за улыбку с тебя взыщется? Добро бы что-нибудь. Добро б я ему в зубы дал. Или хотя б там грубое слово. А то — ну смешливый я. С детства. Палец мне покажи — я смеюсь. Смешно мне было, что он леченья боялся. Ему как лучше сделать норовят, а он вопит, бывало, так, что с улицы стучаться начинают — мол, вы больного не обижаете ли. А кто обижал — лечили, берегли, купали сукина сына, его бы в ванне потопить, а мы его греческой губкой мыли. Теперь он нас перетопит, все улыбки нам вспомянет.

Как-то они меня порешат — посадят на электрический стул или запросто, без передовой техники, голову топором оттяпают? Никак не придут к соглашению. Гун было выдвинул электрический стул, а теперь передумал — это ему, говорит, по его преступлению чересчур малая мука. Дорого улыбку мою ценит, подходящей муки ей не подберет.

Возьмем худший случай... А зачем начинать с худшего, пессимистом стать никогда не поздно. Будем оптимистами, возьмем лучший случай: электрический стул. А что за невидаль электрический стул? У нас был в больнице. Стул как стул. Лечебная аппаратура. Как к лечебной аппаратуре и надо подходить. Кто его знает, может, жизнь — это психическое заболевание. Вполне, если уж за улыбки казнить стали... Вполне! А смерть в таком случае — исцеление. Вот этой мысли и постараемся держаться, какая-то она успокоительная, мысль эта. Вливает в душу умиротворение. Договорились, значит, подходить как к лечебной аппаратуре. Подхожу вольной походкой и сажусь, нога на ногу, глазом не моргну. И говорю этому, ну который будет присутствовать, ну электротехнику: минуточку, разреши мне хорошенько напоследок улыбнуться, на даровщинку, бесплатно, в свое удовольствие! И, разулыбавшись вовсю, сделаю ему знак включать и с веселой улыбочкой получу исцеление от жестокой болезни, которая называется жизнь, а он потом другим электротехникам будет рассказывать, а состарится — внукам рассказывать будет: эх и здорово же умер санитар Мартин, ну и здорово, молодец!

А что? Не сумею, что ли, здорово умереть? Пожалуйста, не хуже какой-нибудь Марии Антуанетты.

Возьмем худший случай: топор и плаху. Бери-бери, не зажмуривайся, будь мужчиной!



Давай — беру, черт с тобой! Я читал в книгах. Громадное стечение народа! Палач в красной рубахе — палач, никакой тебе не электротехник! Будь мужчиной до конца!— одной рукой подбоченился, другая играет топором. Санитар Мартин взошел на эшафот. Бледный, но с поднятой головой. Кланяется народу. Верьте слову, говорит, ни против кого не совершал ничего, только улыбался! Прощайте, вспоминайте! Курит последнюю папиросу. Не лезет в горло последняя папироса, но все ж таки курит, даже пускает колечки. Потом... время бросать папиросу. Ударили барабаны! Палач поднял отрубленную голову и показал народу... Народ рыдает...

Смерть как смерть, ничуть не гаже, чем от заворота кишок. Если, конечно, вести себя благообразно и сказать хорошие исторические слова.

Загрохотали где-то засовы. Мартин побледнел.

— Никогда, никогда,— сказал он,— не воображал, что я историческая личность, не было во мне такого самомнения. А сейчас с каждой минутой проникаюсь сознанием своей историчности. Чем меньше остается минут, тем тверже осознаю, что про санитара Мартина напишут во всех учебниках.

В коридоре гремели шаги, кто-то приближался, железно обутый. Мартин сказал:

— Сроду бы не улыбнулся, кабы предупредили. И не плакал бы, и не кашлял бы, не подал бы голоса, только дышал. Дышать хорошо. Дышишь это, вдыхаешь кислород, выдыхаешь углерод, чудное, милое занятие.

Еще он сказал:

— Возьми себя в руки, санитар Мартин, будь мужчиной до конца.

И вдруг погас свет. Стало черным-черно.

Вошел железно обутый.

— Эй ты, железно обутый,— сказал Мартин,— если ты электротехник, замени, будь любезен, пробку, я хочу умереть на свету.

— Хорош будешь и без света,— ответил в темноте железно обутый.— Идем-ка.

— Куда?

— За мной.

— Ладно, все едино, пусть без света,— сказал Мартин.— Скорей уж отволноваться, а там — полный покой.

Он слез в своих оковах с табурета, на котором сидел, и пошел.

Гром железных сапог вел его, а рассмотреть куда — невозможно, только красные круги плавали перед глазами.

— Далеко еще?— спросил Мартин.

— Успеешь.

— А теперь далеко?— спросил Мартин, когда они еще прошли.

— Иди, иди,— сказал железно обутый.

— А может,— сказал Мартин,— меня помилуют, чем черт не шутит. Я читал в книгах, так бывало.

— Как же,— сказал железно обутый.— Вот сейчас помилуют. В книгах он читал. А не читал, чего на тюремных воротах написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий»?

Пошли дальше уже молча. Долго шли.

— Стоп,— сказал железно обутый.

Мартин остановился.

— Полезай.

— Куда?

— Вниз.

Мартин нащупал ногой — яма под ногами.

Наклонился — холод оттуда и смрад.

— Лезь, лезь.

— Я не хочу живым.

— Лезь.

— Сначала казните меня.

— Это и есть твоя казнь.

— Лучше отрубите голову.

— Ишь какой хитрый,— сказал железно обутый.— Голову ему руби при стечении народа. Покрасоваться дай. Колечки он будет пускать. Покоя захотел, ишь какой барин. Гун тебе придумал покой.

Железная рука пригнула Мартина к яме.

— Подохнешь, санитар Мартин, без барабанов, в медленном задыханье, в смраде.

С этим напутствием железно обутый столкнул Мартина.

Глухо донеслось снизу, как из колодца:

— Будь мужчиной до конца!

И скрыла яма в своей бездонности голос Мартина, и имя его, и конец его.





Мастер Григсгаген жил теперь в собственном доме на улице Пломбированных Лип.

У дома был высокий фундамент, отклоненный внутрь, словно дом расставил ноги, чтобы упереться хорошенько. На окнах решетки с железными розами. На фронтоне два лепных купидона держали широкую ленту с надписью: «Бойся Бога, уважай Короля».

Улица Пломбированных Лип была горбатая, мощенная булыжником. Оберегая покой мастера Григсгагена, по ней запретили ездить и поставили на обоих ее концах деревянные рогатки. И трава выросла между булыжниками.

Вдоль тротуаров стояли старые-престарые липы. Чтобы они выглядели помоложе, мастер велел остричь их в виде шаров. Это им не шло ужасно. Какая уж там стрижка, когда стволы у них все были в наростах и запломбированных дуплах. Грустное это зрелище — престарелые деревья, заполненные внутри кто его знает чем вместо свежей, здоровой древесины и остриженные под мальчишек и девчонок. Впрочем, они еще цвели, и на улице хорошо пахло, и этим они оправдывали свое существование перед богом и людьми.

Поселившись тут, мастер пригласил докторов на консилиум — самых известных, какие только имелись в городе.

Доктора оставили свои автомобили на углу, у рогатки, и дошли до дома пешком.

Они долго вытирали ноги о половик, прежде чем войти. Этим они выражали почтение к хозяину и его болезни. А входя, вытирали руки важно и зловеще, как бы говоря: «Плохо ваше дело. Сейчас увидим, смертельно вы больны или есть искра надежды». Они были в черных костюмах и белых рубашках.

Последним пришел молодой доктор, у которого не было автомобиля.

И хотя у него не было автомобиля и вместо крахмальной рубашки на нем была клетчатая ковбойка с расстегнутой верхней пуговкой, он вытер ноги кое-как и вошел кое-как, чуть не насвистывая. С мальчишеским любопытством взглянул он на роскошную мебель. Его грубые ботинки на роскошном ковре выглядели прямо-таки нахально.

— Деревенщина!— сказал про него один доктор другому.— Туда же, вылез в знаменитости!

— Уж галстук-то он мог надеть,— сказал третий доктор четвертому.

— Нигилист виден с первого взгляда,— сказал пятый доктор шестому.

— Итак,— сказал седьмой доктор, обращаясь к мастеру, когда все они уселись в кружок в роскошных креслах,— на что вы жалуетесь? Что чувствуете? Расскажите подробно.

И все, кроме молодого, потерли руки, предвкушая подробности.

Но мастер ответил:

— Прежде всего я прошу, господа, отнестись к предстоящему исследованию с особой серьезностью. С экстраординарной, я на этом настаиваю, вдумчивостью и ответственностью. Ибо данный случай сверхэкстраординарен. Он не может рассматриваться как рядовой случай врачебной практики. Дело не в жалобах и не в чувствах, господин профессор. Такая постановка вопроса неподобающе поверхностна. Речь идет о непостижимой неувязке, о недопустимых неправильностях в механизме естества. Эти неправильности могут иметь роковые последствия, если десница науки их не обуздает. Короче! Если время идет назад, разве человек моего возраста не должен ощущать это как благо, как облегчение, как отсрочку хотя бы? Не должно ли это сбросить с его плеч хоть часть прожитых лет? Не должно ли время, идущее назад, не скажу — на многие годы увести такого человека от могилы, но хотя бы, хотя бы замедлить его продвижение к ней?! Все идет назад, все глубже и глубже возвращается в прошлое — вам, конечно, известно, что сделал это я моим знанием, моим мастерством,— почему же этому величайшему преобразованию противится моя плоть? Разве не помогаю я ей всеми силами разума и воли? Разве не внушаю ей с утра до вечера и с вечера до утра (потому что помимо всего прочего меня терзает бессонница), не внушаю ей разве, что она обязана подчиниться ходу времени, сделать для себя логический вывод из реального положения вещей? Почему же, несмотря на все внушения, несмотря на победоносный ход времени вспять, моя спина, господа, все больше горбится и эти приступы обморочной слабости — ужасное, смертное ощущение, не говоря уж о сотне других недомоганий, описывать их — значит лишиться человеческого достоинства...

Тут мастер захлебнулся своей речью, которая, начавшись плавно и продуманно, становилась все более возбужденной, лихорадочной, а под конец почти невнятной, и закашлялся стариковским хриплым кашлем, с корчами и стонами.



Он хрипел, стонал и корчился, а доктора в черных костюмах встали и выстроились в очередь. И один за другим брал его руку и слушал пульс.

— Так как же, господа,— еле слышно спросил он, откашлявшись,— в состоянии ли медицина оказать помощь в моем сложном случае?

На что семеро ответили интеллигентными голосами:

— Мы, семеро, не знаем случаев, против которых медицина бессильна.

— Вас надо лечить от кашля.

— И от сердечной слабости.

— И от бессонницы.

— И от печени.

— И от почек.

— И от ревматизма.

— И от склероза.

— Мы вам пропишем микстурку.

— Порошочки.

— Таблеточки.

— Капельки.

— Инъекции.

— Ванны.

— А что касается некоторой вашей сутулости,— сказал седьмой доктор,— то вам сделают первоклассный корсет, он вашу сутулость как рукой снимет.

И доктор ободряюще похлопал мастера по согбенной спине.

— Это возвратит мне силы? — спросил мастер.— Это вернет мне молодое, благодатное восприятие жизни?

— А как же!— хором воскликнули семеро в черных костюмах.— Само собой! Что за вопрос!

— Особенно,— сказал седьмой,— если к этому присовокупить освежающую поездочку в Целебную Местность, где вам будут обеспечены положительные эмоции.

— Пальмы!— подхватили другие, от первого до шестого.— Водопады! Рестораны! Пароход, похожий на роскошную гостиницу! Гостиница, похожая на дворец! Дамы в купальных костюмах!

— И мало ли еще какие положительные эмоции,— сказал седьмой, и они опять потерли руки, но теперь игриво.

Молодой молчал.

— А что скажете вы, молодой человек?— спросил мастер, обращаясь к нему с надеждой во взоре.— Ведь околесицу несут, бесстыжую околесицу! Какие дамы? Зачем пальмы?.. Взываю к вашей молодости, к ее серьезности и отваге.

— Подумайте!— сказали черные доктора.— Эта развалина нам не верит! После наших ученых указаний она обращается к этому малому в клетчатой ковбойке!

Малый подошел к мастеру и взял его руку, и черным докторам пришлось отступить.

— Говорят, вы одаренный врач,— сказал мастер, отчаянно глядя в неумолимые глаза молодости.— Говорят, вы спасли уже многих, которые считались неизлечимыми.

Молодой доктор молча слушал пульс.

— Ведь должны же найтись какие-то средства! Если их нет — изобретите! Придумайте! На то вы и молодой, на то вы и одаренный! Вы будете первым человеком в мире, если придумаете!

Молодой молчал.

— Спасите меня!— прошептал мастер.

Молодой выпустил его руку, и она упала, коричневая, с черно-фиолетовыми жилами.

— Принимайте их порошки,— сказал молодой.— Принимайте их микстуру. Поезжайте в Целебную Местность.

— Но это же не поможет!— закричал мастер.— Я думал, помогут покой и холя, а от них еще хуже! И Целебная Местность не поможет!

— Пальма, она свой смысл имеет,— сказал молодой задумчиво.— Погружаясь в Лету, приятней, должно быть, смотреть на пальму, чем на веник. А больше что ж тут придумаешь?

— Советуете погружаться безропотно? Не барахтаться?

— Выгнать эти мысли из головы и делать что можно. Останется то, что успеем сделать. Причем останется только хорошее. Лихое наследство люди стремятся уничтожить. Здоровый инстинкт человечества. Но вот что. Пока еще есть у вас время — сделайте, чтобы часы пошли вперед. Что, на самом деле, поваляли дурака — и хватит.

Так сурово и непреложно сказал это молодой доктор, мастер даже отшатнулся.

— Как!— сказал он голосом, дрожащим от горя и бешенства.— Вас позвали помочь, а вы предъявляете требования? Будьте осторожней, молодой человек, вы можете при всех ваших дарованиях угодить за решетку.



— Она давно плачет по этому наглецу!— воскликнули черные доктора.— По этому, этому, этому... За решетку его!

Молодой доктор свистнул — уже действительно свистнул открытым, разбойным свистом — и сказал:

— Испугали. Боялся я. За решетку! Да мы все живем за решеткой с тех пор, как время идет назад. Нет? А что это?

Он протянул руку и показал на окно, забранное решеткой с железными розами. И вышел, не спросив гонорара.

## ОТНЫНЕ В ГОРОДЕ НЕТ ЧАСОВЩИКОВ

Город оклеен плакатами, красными и желтыми.

В желтых напечатано, что такого-то ...ля Гун устраивает вечер в городском парке. В программе парад, танцы и фейерверк. Будут груды мороженого и фонтаны воды с сиропом. Мороженое за деньги, вода с сиропом бесплатно. Явка обязательна для всех, кроме умирающих. Детям до четырнадцати лет вход воспрещен.

Красные плакаты возвещают, что надзор за временем в связи с уходом мастера Григсгагена на пенсию берет на себя Гун.

Сопровождаемый рыжими пиджаками, Гун подошел к ратуше. С заднего ее фасада, из тихого каменного переулочка, была малозаметная дверца: вход в башню.

Прямо за порожком начинались ступеньки узкой витой лестницы.

— Вперед!— скомандовал Гун.

Компания гуськом двинулась наверх, он — впереди.

Лестница петляла, сдавленная стенами. Подошвы оскользались на стертых ступенях.

Сумеречно было, только сверху брезжил свет.

От торжественности все громко сопели. Сопенье и шарканье заполнили обитель времени.

Без конца петляла лестница. Уже от головокружения шатало идущих. Гун сказал, хватаясь за стенку:

— В экую высь забрались лукавые часовщики.

Но вот хлынул дневной свет.

Гун стоял на вершине башни. Перед ним был заповедный механизм, сработанный Себастианом. Над головой — стеклянная крыша, запачканная голубями.

Было пыльно: давно сюда никто не заходил. Пауки развесили свои кисейные полотнища — непонятно, кого они рассчитывали в них поймать, не было в обители времени ни комара, ни мухи. Изредка голубь проходил по стеклянной крыше, постукивая ножками.

Колес зубчатых была сила, разных размеров: самое маленькое — с полтинник, самое большое — с круглый обеденный стол, поставленный на ребро. Тихо-тихо, еле заметно для глаза вращались они на своих осях, нежно соприкасаясь зубцами. А оси были, как положено, на рубинах, красных рубинах, у маленьких колес рубины мелкие, у крупных крупные, и обеденный стол вращался на дивно граненных громадных камнях, не иначе как найденных в пещере Аладдина,— и скопища этих камней тлели сквозь пыль кровавыми огнями. А зубья больших колес были как кинжалы.

— Итак, это здесь происходит!— сказал Гун.— Здесь совершается то священное, что сделало вас тем, что вы есть. Преклонитесь!

Пиджаки преклонились.

— Теперь оставьте меня одного, я буду за ними смотреть.

Пиджаки попятились обратно на лестницу.

— Вот я смотрю!— сказал Гун.

Он вытаращил глаза и подождал, что будет.

Ничего не произошло. Колеса так же продолжали вращаться, рубины тлеть, только пауки спрятались на всякий случай.

— Я смахиваю пыль!— сказал Гун и махнул платком.— Что я еще сделаю? Смазываю. А что смазывать? Тут их, наверно, до тысячи, колесищ и колесиков, и все перепутаны между собой. Что-нибудь не то смажешь — и пойдет куда не надо. Лучше не трогать.

Предательский, злокозненный народ — часовщики. Видеть их не могу. Нарочно все сцепили и запутали. Это надо додуматься — так сцепить. Большую забрали волю. Мы, говорят, гангмахеры, мы штейнфассеры, мы знаем то, и другое, и пятое, и десятое.

Нельзя иметь за спиной людей, которые знают пятое и десятое. Которые могут сюда прокрасться и того... переиграть игру.

Такую игру переиграть, шутите,— вселенская катастрофа.

Я, я, я не допущу катастрофы.



Отныне в городе нет часовщиков. Ни гангмахеров, ни штейнфассеров, ни этих, как их,— никого, кто что-нибудь в этих колесах понимает.

Оставлю старика, он все равно вот-вот окочурится.

Эй, ведерко мне с маслом! И кисть!

Пиджаки подскочили с ведерком и кистью.

— Я тут кое-что должен смазать,— сказал Гун.

Окунул кисть и дотронулся до какой-то стальной коробки в глубине механизма. Отступил, как художник, и полюбовался своей работой.

— А теперь зовите каменщиков. Пусть принесут кирпичи и цемент. Приказываю замуровать дверь, чтоб никто сюда не проник. Я, я, я все сделал на веки веков, больше тут делать нечего, эники-беники.

— Ели вареники!— рявкнули пиджаки.— Гун все сделал на веки веков, кто вознамерится что-нибудь делать после него, и подать сюда того, кто вознамерится!

— А вдруг они остановятся?— спросил один пиджак, как видно плохо еще обученный.— Будут-будут идти — и остановятся?

— Ну и пусть,— сказал Гун.

— И будут стоять.

— Ну и пусть стоят, еще лучше.

— И мы очутимся без времени.

— Дурак,— сказал Гун.

По переулку уже спешили каменщики, таща кирпичи на носилках.

## ВЕЧЕРА МАСТЕРА ГРИГСГАГЕНА. ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

В дождливый вечер мастер Григсгаген сидел у камина, укутав ноги пледом. Дук лежал на коврике. Комнату освещал огонь, горевший в камине. Потрескивали дрова.

— И никто не придет,— говорил мастер.— Зашел бы кто-нибудь, рассказал что-нибудь. Хоть бы и безделицу — все-таки живой голос послушать.

Дук дремал, поводя ушами.

— А то бы мы с тобой сходили в гости, если б позвали нас. Так не зовут. Не зовут и сами не идут. Никому до нас дела нет. Зачислили нас в тираж.

Как вдруг стук в дверь. Дук открыл глаза.

— Стучат?— спросил мастер.

— Гав?— спросил и Дук.

Застучали громче.

— Кто там?

— Я.

— Кто вы?

— Я — астроном, иностранец.

— А-а,— сказал мастер.— Войдите!

От радостной неожиданности у него задрожала голова. Держась за ручки кресла, он встал навстречу вошедшему, плед соскользнул с его колен.

И Дук привстал, двигаясь тяжело.

— Очень рад вас видеть!— сказал мастер.— Здравствуйте!

— Не хочу!— сказал астроном.

— Чего не хотите?

— Здороваться.

Астроном взял стул и сел без приглашения. Дождевая вода стекала с его плаща и с волос.

Мастер обескураженно пожевал губами.

— Не очень-то вы вежливы.

— Не хочу быть вежливым!— отрезал астроном и через плечо обернул лицо к хозяину.— Мастер, вы обязаны пустить часы вперед!

Мастер со вздохом опустился в кресло.

— Какое разочарование,— сказал он.— В кои веки зашел гость. Я думал — поговорим на интересную тему, о предстоящем затмении например. В увлекательной беседе попили бы чайку, позвякивая ложечками в стаканах...

И спросил сухо:

— Вам-то что до того, куда идет наше время, господин иностранец?

— Так что же, что иностранец!— воскликнул астроном.— Что вы этим хотите сказать? Почему подчеркиваете, что я иностранец? Считаете — иностранцу все равно? Что вы натворили! И в таком прекрасном городе!

Он вскочил и зашагал вне себя.

Тряся головой, мастер выслушал эти восклицания. Дук подполз, принюхался к мокрым следам астрономовых ботинок, улегся снова и, простонав, смежил глаза.

— Я вас не приглашал,— сказал мастер.— Этот разговор мне не нравится. Всего хорошего!

Подумал и прикрикнул построже:

— Мальчишка! С кем говоришь! Кого осуждаешь!

Подумал еще и топнул ногой.

— Пошел вон, щенок!



Астроном хоть бы что, продолжал шагать взад-вперед. Потому что мастеру только казалось, будто он кричит и топает. Как там могла топнуть эта немощная нога в войлочной туфле.

— Послушайте,— сказал он примирительно,— зачем нам ссориться? Вы мне приятны с первого знакомства. Между прочим, я полагал, что вы с головой ушли в звезды и вам не до земной юдоли.

— Пока на земле творится такое, я не могу смотреть на звезды.

— Ну почему же вам не смотреть на звезды,— возразил мастер таким тоном, как уговаривают детей,— когда у вас, я читал в газете, такая хорошая обсерватория и такой хороший телескоп — и это так возвышает душу? Большие умы смотрят ввысь и вдаль, а не под ноги...

— Ладно,— перебил астроном,— я не разглагольствовать пришел. Прекратите свинство, которое вы устроили.

— Для поверхностных людей,— пробормотал мастер,— главное — найти виноватого. Они не докапываются до корня вещей. Они ищут виноватого, чтобы наказать. Наказав, успокаиваются.

— Не будем вас наказывать, провалитесь к дьяволу, отцу вашему! Исправьте часы.

— Докажите мне, что они должны идти вперед,— я исполню ваше желание.

— Нужны доказательства?

— Зачем вперед? Почему не назад? Докажите!..

— Глупости,— сказал астроном.— Чего ради я буду доказывать, что стена белая, а огонь красный? Глупости.

— А я говорю,— подхватил мастер,— а я говорю: стена черная, а огонь желтый,— докажите, что это не так!

И стена перед ним на самом деле была черная, и в камине приплясывал желтый огонь.

Они замолчали, не в силах убедить друг друга. Потом астроном сказал:

— Если бы у меня было состояние!

— Что тогда?

— Я бы отдал вам — и вы бы исправили часы.

Мастер брезгливо сморщился.

— Убого мыслите для человека, призванного жить среди звезд.

— Нет, скажите: если дать вам деньги — большие, очень большие, неимоверные,— вы это сделаете?

— У вас нет денег. О чем же толковать?

— Я достану.

— Вот как.

— Я скажу всем: дай сколько у тебя есть. Нет денег — отдай обручальный перстень, отдай лачугу, где живет твоя семья, отдай котелок, в котором варишь пищу. Охотник, отдай свое ружье, девушка, продай свое тело,— сложим что имеем, будет гора золота... Они дадут.

— И я возьму?

— Не посмеете не взять!

— Нет,— сказал мастер.— Пускай у охотника останется его ружье и у девицы ее невинность. Вы на мне, кажется, поставили крест. Напрасно! У меня уже чешутся десны — несомненно, зубы вот-вот пойдут. Искусство, наука — мобилизовано все. Лекарства производят свое отрадное действие, а как только немножко отпустит ревматизм, думаю съездить в Целебную Местность, семь врачей ручаются за исключительный эффект. Но главное, что меня обнадеживает, это зуд в деснах, почти непрерывный. И что у вас за нездоровый интерес — куда идет время, туда ли, сюда ли? Кому же знать, как не астроному: что это под нами? стоит ли обращать внимание? Ничтожество, угасшее тело, и на нем ничтожные, смертные козявки...

— Люди!— крикнул астроном.— Люди, а не козявки! Для них светит Солнце, для них сияет Млечный Путь! Кометы бегут триллионы световых лет — приблизиться к Земле, взглянуть на Человека!.. Тьфу, черт, до каких вы меня довели антинаучных формулировок, будьте вы прокляты!

И, махнув рукой, он бросился к двери.

— Эй, куда?— окликнул мастер.— Господин астроном! Вернитесь!

— Ну?— спросил астроном, остановившись.

— Вопрос.

— Ну?

— Насчет солнечного затмения. Состоится?

— Что состоится?

— Полное солнечное затмение, ради которого вы к нам прибыли.

— Конечно, состоится.

— В положенный срок? Вы убеждены?

— Разумеется.

— Да ведь время-то идет назад!— крикнул мастер и залился шипящим, хлюпающим смехом.— Может, и затмения не будет? Или будет не то, какого вы ждете, а какое-нибудь... давно прошедшее? Раз все идет назад!

— О бездны невежества!— сказал астроном.

Он дернул дверь и шагнул в открывшийся за нею черный четырехугольник под дождевые капли.

— Сильно мы его рассердили, Дук,— сказал мастер, вытирая слезы, выступившие от смеха.— А жаль, что он так скоро ушел. Интеллигентный человек. Очаровательный идеалист, уверенный, что все на свете можно купить. Но нас с тобой не проведешь на мякине. Мы знаем лютую истину, что далеко не все можно купить, далеко не все, далеко...

## ПРАЗДНИК

Такого-то ...ля — вечером — в городском парке.

Высятся горы мороженого. Бьют фонтаны воды с красным сиропом. Развеваются флаги. Горожане сошлись как один человек.

Больше всего было женщин в трауре. Старых, молодых, ужас до чего молоденьких.

Сцепившись под ручки, они гуляли и разговаривали.

— Смотрите-ка, все без обмана. Воду с сиропом пей даром сколько влезет.

— Мороженого целые горы.

— Бр-р! Куда мороженое в такой холод!

— Кто сказал — холод? Кому здесь холодно?

— Что вы, что вы, господин рыжий пиджак, никому не холодно. Это она обмолвилась. Это вам послышалось. Всем, наоборот, очень тепло.

— Даже жарко.

— Как в июле.

— Фу, я едва дышу.

— Я обмахиваюсь веером, видите?

— Даже дождя нет. Все дни лил, а сегодня нет. Господь бог пошел навстречу желающим повеселиться.

— Господь бог ни при чем. Это Гун позаботился.

— Спасибо за разъяснение, господа рыжие пиджаки. Прекрасный вечер!

— Прекрасный праздник!

— Все-таки, скажу вам по секрету, здесь страшно сыро. Я прямо продрогла.

— Ах, отстаньте с вашими секретами! Продрогли и продрогли, ваше частное дело. Это влажность от воды с сиропом.

— Я принесла графинчик набрать воды с сиропом для мужа. Я думаю, это ничего, если я возьму домой графинчик воды с сиропом.

— Что за лай? Что за визг?

— Бродячих собак вылавливают. Развелось их тут, [redacted] парке.

— Сюда нельзя. На эту аллею вход воспрещен. Господа, господа, кругом обойдите. Здесь похороны.

— Чьи?

— Висельника нашли, зарывают.

— А почему темно?

— Да, почему нет иллюминации?

— Странно — праздник, а иллюминации нет.

— Замолчите вы. С вами попадешь в беду. То им не так, другое странно...

— Гун приехал!

— Гун приехал!

— Гун. Гун. Гун.

Бум! Бум! Бум!— грянул марш.

Рассыпались искры фейерверка. Они были синие.

Вспыхнули цепочки лампочек. И они были синие.

— Почему синие?

— Почему синие?

— Кто волнуется? Впредь все будет синее. Как в праздники, так и [redacted] будни. Иначе налетит Последняя Гибель — и наших нет. И ваших тоже.

— Последняя? Разве есть и такая? Не просто гибель, а еще и последняя?

— А вы не знали? Есть Последняя, после которой уже ничего нет.

— Меня лихорадка колотит от этой влажности!

Бум! Бум! Бум!

Под бумканье Гун влезает на возвышение.

— Жители моего города!— говорит он.— Я собрал вас, чтобы обнародовать чрезвычайное сообщение: *что такое я.*

Пора внести полную ясность [redacted] этот вопрос.

Я знаю, что́ вы обо мне думаете. Сказать? Вы думаете, [redacted] — правитель города, ага? Был один правитель, теперь другой, ага? Управляет себе? Нет, жители, нет, не так просто.

Вот сейчас узнаете, что такое я.

Половинчато в мире, жители. Расплывчато. Ни то, ни се, ни два, ни полтора. То ли луковичка, то ли репка. Дроби с разными знаменателями. А вот [redacted] их приведу



[redacted] общему знаменателю! Они у меня попрыгают! По всей неразберихе пройдусь — и будет разбериха. Как смерч пройду — я, я, я! Смету всех, кто не хочет, чтоб время шло назад!

Эх, хорошо вышвыривать парты из окон! Весело! А домá [redacted] порошок — еще веселей. В порошок их! А кровь стечет в моря. Розовая пена будет разбиваться о скалы. Рухнут все троны, двое останется владык: он на небе и я на земле.

Я посмотрю на каждого и каждому укажу его срок. Каждая голова принадлежит мне. И ты — и ты — и ты не осмелишься жить, если я скажу: умри!

Бум! Бум! Бум! Бум!

Туп! Туп! Туп! Туп!

— Правой, правой, ать-два!

Показалось войско. Его было сто тысяч или сто миллионов, не сосчитать. Оно маршировало. Туп, туп. Оно состояло из мальчиков. Маленькие бледные личики под железными касками. Сто тысяч или сто миллионов маленьких подбородков, подхваченных ремешками.

— Вы идете умирать, мальчуганы,— сказал Гун.— Эники-беники!

— Ели вареники!— прогремело сто миллионов.

Туп. Туп. Туп. Туп.

— Стой!— сказал Гун крайнему мальчику.— Отвечай — жаждешь умереть?

— Нет,— ответил крайний мальчик, это был Илль.— Не жажду.

— Я поставлю над тобой железный крест. Ступай.

— Я хочу путешествовать,— сказал Илль.

Но его пихнули в спину, и он побежал на свое место в строю.

— Я готов умереть,— сказал, маршируя, другой.— Сначала [redacted] наубиваю будь здоров!— а потом меня укокошат. Не забудь про железный крест.

— Не забуду,— пообещал Гун.— Можешь быть уверен.

— Так что же [redacted] такое?— спросил он.— Я — великое воплощение, угадали чего?

Загляни [redacted] себя поглубже. Поройся там как следует, не ленись. И давай без дураков. Без подкидных, без обыкновенных, без всяких.

Ты хочешь убить? Хочешь, а не смеешь,— убивай! Кроши в свое удовольствие, как этот славный мальчуган!

Хочешь отнять барахло у соседа — отнимай, а станет драться — перерви ему глотку! Я позволяю! Улюлю!

Вынь со дна души запретный уголек, тлеющий под золой. Раздуй его в пламя! Пусть сплошной пожар! Пусть останется — он на небе и я на земле!

Я — уголь, тлеющий под золой. Я — твое желание убить, отнять, сжечь. Чувствуешь? Я в тебе! Я с тобой! Эники-беники!

— Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники!— взревели рупоры и за ними люди.— Е-е-е-е-е!

— Варе-е-е-е-е-е-е-е-е!..— кричала в истерике госпожа Цеде.

Бум! Бум! Бум! Бум!

## ПРАЗДНИК ДЛИТСЯ

— Танцы! Танцы!— пошли вдалбливать рупоры.— Объявляются танцы! Общее ликование! Полька-бабочка!

Под музыку все кружилось в синем свете.

Кружился стар и млад.

И та, что с веером, и та, у которой лицо в слезах.

И калеки кружились, насколько позволяла им калечность. Ни про кого нельзя было сказать: вот этот отлынивает от ликования.

Женщины в трауре танцевали друг с дружкой.

— Может быть, вторая часть праздника протянется не очень долго.

— Да нет, программа обширная. Еще будут выбирать королеву бала.

— Хоть покрутимся перед Последней Гибелью.

— Будут выбирать королеву бала. У вас при себе губной помады нет?

— Нате, помажьтесь. И я помажусь. Вдруг поможет?

Еще черная пара.

— От мужа письмо. Пишет — как же мне теперь?

— Вам придется возить его в тележке, как я вожу своего. Вожу, и иной раз такое настроение — прямо бросилась бы в пропасть вместе с ним и с тележкой. Надо набрать для него в графинчик воды с сиропом.

— Успеете. С полным графинчиком неудобно танцевать.

— Боюсь, чтоб всю не выпили.

— Возит супруга в тележке — и еще недовольна. А нашим дочерям не за кого выходить замуж.



— Зато кой у кого от женихов отбоя нет.

Белая Роза кружилась с Элемом. Юбки Белой Розы вихрились, как метель.

— Не все могут быть такими красивыми.

— Если б все были такими красивыми, тогда и на самых красивых не хватило бы женихов.

— А смотрите, кто идет.

— Кто это?

— Госпожа Абе. Как изменилась.

— Какая госпожа — нищенка. Нищенка Абе.

— Обратите внимание: она в цветном платье.

— Наверно, денег на траур нет.

— Скажите, вы почему в цветном платье?

— Потому что я жду, я надеюсь.

— Что она сказала?

— Надеется.

— Как интересно — на что?

— А моему мужу разрешили не присутствовать на празднике.

— Сказался умирающим?

— Написал заявление, что ему снизу все представляется в искаженном виде.

— Ну когда же, ну когда,— отплясывая, спрашивал Элем у Белой Розы,— вы ответите мне «да»?

— А ну вас,— отвечала она.— Сколько можно приставать?

— К вам — всю жизнь!

— Мне и без замужества живется дай боже. Совсем неплохо быть единственной дочкой министра склок.

— Но быть женой министра авантюр!

— Лучше, скажете?

— Ну попробуйте!

— Не разберусь я в этих ваших мужских делах. Какая, объясните мне, разница между склокой и авантюрой?

— Очень большая. Склока копается в навозе. По причине дурного запаха она угрюмая и избегает свидетелей. Авантюра идет по канату у всех на виду, в туфлях, натертых мелом. Кругом ярусами — до купола — лица: дойдет? сорвется?.. Ах! Эти замирания сердца! Эта молниеносность решений! Бежишь темной ночью с двумя сумасшедшими, не зная куда и что из этого получится. И — о забавы фортуны!— получается нечто!

— Но первым вам опять-таки быть не пришлось,— сказала Белая Роза.— И даже вторым. Отец преуспел больше вас. Видимо, в навозе и без свидетелей — прино-

сит лучшие результаты. И что за картину вы нарисовали. по канату, в туфлях, натертых мелом! Вам известны мои идеалы, я останусь им верна в любых обстоятельствах. Покой, уют, каждая вещь на своем месте. Канат — это не для меня. Я хочу быть уверенной в завтрашнем дне.

— А что с сыном этой нищенки Абе?— спросили у госпожи Цеде.— Его звали, помнится, Анс.

— Кого интересуют часовщики!— ответила госпожа Цеде.— Их вывели, как тараканов, и никто о них не заплачет!

— Нет, его, должно быть, не вывели, раз она в цветном.

— Эх, горе не беда!— сказал пьяненький.— Еще можно жить, коли не помрешь. Вот, братцы, как налетит Последняя Гибель...

И все посмотрели на небо.

Черные тучи бежали, болтая своими лохмотьями.

— Чего захотели,— говорил Элем Белой Розе.— Уверенности в завтрашнем дне. Когда его вообще нету. Чтоб каждая вещь на своем месте. Когда все слетело с катушек... Ваши идеалы — дым, мираж. Реальность — канат и туфли, натертые ме...

Музыка оборвалась на середине такта. Рупоры прокаркали, что Гун срочно требует к себе министра авантюр.

## ЕЩЕ ШУТКУ ЗАТЕЯЛИ. УЖ ТАКИЕ ЗАТЕЙНИКИ!

Они были вдвоем [illegible] аллее.

— Элем, дайте совет,— сказал Гун разнеженным голосом.— Интимный совет. Самый интимный. Ну что вы на меня смотрите! Не смотрите!

— Есть не смотреть. Что за совет?

— Ах, ну [illegible] не могу! Я стыдлив, а вы... Отвернитесь совсем!

— Есть отвернуться совсем. Ну?

— Как вы думаете, она... она... откликнется на... на... на чувство, которое я к ней питаю? Ну вот, сказал. Ах, как это трудно. Почему вы молчите?

— Кто она?

— Неужели непонятно?— спросил Гун.— Кто же это может быть, кроме Белой... Я лучше скажу по буквам. Белая — Роман, Ольга, Зинаида, Антон: Р-о-з-а. Что с вами?

Элем бил себя по голове кулаками.



— Чего это вы?

— Как [illegible] не сообразил!— закричал Элем.— Балда! Приди [illegible] сватом на полчаса раньше — то-то была бы авантюра!

— Вот видите, Элем, вы не сообразили, а я сообразил. Я, я, [illegible] все соображаю.

— На черта ей ходить со мной по канату! Что ей синица в небе, когда журавль под рукой!

— Вы, значит, советуете?

— Сватайтесь, Гун! Ай да пара! Это будет штука! Ну и клец!

— Клец!— восхищенно подхватил Гун и хлопнул Элема по плечу.

— Клец!— заорал Элем и хлопнул Гуна.

И они друг друга хлопали, пока кто-то не показался в туннеле аллеи.

— Ваш будущий тесть идет,— сказал Элем.

— Вы, значит, не сомневаетесь,— спросил Гун,— что она ответит на мое чувство?

— Ответит, клец! Ведь и ее голова принадлежит вам.

— Все же не поговорить ли сначала с отцом? Просить ее руки и сердца... Будет мило, правда?

— Мило, клец!

— В духе времени, идущего назад! Но скажите лучше вы ему. Я никогда не делал предложения.

— Да что вы!

— Я всегда был чрезвычайно, чрезвычайно скромен. И застенчив с женщинами. Надеюсь, она оценит это качество.

— Оно произведет на нее сильное впечатление.

Эно приблизился.

— А мы как раз беседуем о вас и вашем семействе,— сказал Элем.— Гун делает предложение Белой Розе.

— О!— простонал Гун.— До чего торопливо, грубо, нецеломудренно! Без торжественности, без благоговения, без всякой преамбулы!

И ушел в растрепанных чувствах, прижимая руки к сердцу.

— Как целомудрен!— сказал Эно.

Он сел на скамью и утомленно прикрыл глаза рукой.

— Наконец-то,— сказал он,— пристроил девочку. Не поверите, сколько нервов мне это стоило. Нелегко было его надоумить. Ну, конец венчает дело. Поженю их — возьму отпуск: изынтриговался, иссклочничался, надо отдохнуть.

— Эники-беники! — взвыли рупоры.— Королевой праздника единодушно признана Белая Роза, дочь министра склок! Эники-беники! Гун посылает королеве праздника ожерелье из настоящего жемчуга! Каждая жемчужина добыта ценой человеческой жизни!

Над деревьями, прямо на тучах высветился экран, и на нем замерло изображение — девушки в бальных платьях подносят Белой Розе ожерелье от Гуна. Экран был голубой и все на нем голубое — платья, лица, руки: безгласная, бесшумно толкущаяся в высоте толпа призраков,— и бегущие тучи просвечивали сквозь оборки и прически.

— Слушайте салют в честь королевы праздника! Салют дается по особому приказанию Гуна!

Все смолкло, и ударили пушки. И голубые призраки исчезли, словно сдунул их пушечный гром. И некоторые в парке попадали в обморок, потому что вообразили, будто это летит Последняя Гибель.

## А ПРАЗДНИК ВСЕ ДЛИТСЯ

Королева праздника устала. Рупоры призвали присутствующих танцевать на цыпочках и чтоб музыка играла шепотом, пока она отдохнет.

Как отдыхают королевы? Садятся на скамью, и сразу в аллее ни души; закрывают глаза, и кто-то невидимый укутывает их королевские плечи в мягкое, теплое — вот с какими удобствами отдыхают королевы.

Шепотом играет музыка. Последние листья шуршат на ветке.

— Не шуршите,— говорит им Белая Роза.— Я дремлю.

— Ты дремлешь, а тебе бы подумать, подумать бы тебе своей головой, Белая Роза.

— Потом подумаю. Мне начал сниться сон.

— Вот поснятся тебе сны, когда выйдешь за Гуна.

— Не говорите гадости.

— Зачем надела на шею его кровавое ожерелье?

— Почему кровавое, он такой чистый, этот жемчуг.

— Жёнихов подарок надела.

— Это же просто бальный приз.

— Выйдешь за безумного Гуна и будешь рожать безумят.

Белая Роза открыла глаза.

— Это вы, госпожа Абе, как я давно вас не видела.



— Будешь кормить-поить безумят, колыбельные песни над ними петь, а они вырастут — станут злыми безумцами.

— А мне снилось,— сказала Белая Роза,— я с листьями разговариваю. Да с чего вы взяли, госпожа Абе, кто же согласится за Гуна, разве уж какая-нибудь пропащая.

— На площадке, где качели,— сказала госпожа Абе,— выставляют твой портрет такой величины, что правый глаз надо рассматривать отдельно, а левый отдельно...

И точно, на площадке, где качели, рыжие пиджаки устанавливали портрет Белой Розы... правый глаз надо было рассматривать отдельно и левый отдельно и так же отдельно нос и рот... пиджаки поднимали портрет на канатах, и он хлопал, как парус...

— И там написано,— продолжала госпожа Абе,— что через неделю ваша свадьба, и на этот раз у тебя не спросят, да или нет.

— Господи ты боже мой,— сказала Белая Роза,— что они вокруг меня выкамаривают? Верите ли, я от них устала. Кажется, дала мать природа красоту девушке — и слава богу, и дайте ей поцвести, потешиться довольством и почетом, понежиться в отцовском доме, благо отец объявился и в гору пошел, а потом выберу себе какого-нибудь симпатичного, может быть Анса, если он устроится более прилично,— согласитесь, в наше время часовщик чересчур уж незначительная партия, даже опасная, и не та мне цена теперь...

— Анса нет.

— А где он?

— Ушел. По длинным дорогам.

— Потому что я не сказала «да»?

— Потому что он не может работать на время, идущее назад.

— Какой его адрес?

— Длинные дороги.

— Бывает такой адрес?

— Да, только голубые записки туда не доходят. И писать их уже поздно. И выбора у тебя никакого нет. И цена твоя теперь — копейка. Эх ты. Разогнала всех симпатичных. Расшвыряла добрые, преданные сердца, и остался тебе Гун.

— Я за Гуна не пойду!

— С лица земли исчезнуть согласна, лишь бы не идти за него?
— Нет. С лица земли тоже не согласна.
— А я вот старая — и то б лучше умерла, чем за Гуна
— Так вы, вот именно, старая. А мне еще на свете побыть хочется. Меня никто еще даже не целовал. Вот эту жилку синюю,— она жалостно посмотрела на жилку в сгибе локтя,— не поцеловал никто. Сладкую мою жилку.
И она сама эту жилку поцеловала и всплакнула над ней.
— Где же выход?— спросила, утирая мокрые щеки.
— Не была б ты такая красивая,— сказала госпожа Абе.— Хоть веснушек бы, что ли, отпустила тебе мать природа. Не была б тогда и такая переборчивая себе на горе. Шла бы с Ансом за руку по длинным дорогам, песни пела.
— Выход!— вскричала Белая Роза.
— Только один. Для тебя, для меня, для всех — один выход. Чтобы время пошло вперед.
— А как это сделать?
— Не знаю.
— Они не позволят.
— Не позволят.
— Как же сделать?
— Думать надо.
Белая Роза наморщила лоб, она думала.
— Думайте и вы, мне одной трудно очень.
Она стиснула руками голову, так ей трудно было с непривычки.
— Подождите. Сейчас. Подождите! Сейчас, сейчас! Да! Ну да! Конечно! Как же я забыла!
— Чего-нибудь надумала?
— Сейчас!
— Куда ты, Белая Роза?
Но она была уже в конце аллеи.
Бежала, как бегают в детстве, не боясь упасть и расшибиться.
— Как полезно думать!— говорила на бегу.— Едва призадумалась — и вот оно, спасение! Для меня и для всех. Очень приятно, что и для всех. Прямо к Жанна д'Арк. Кто знал, что моя переборчивость приведет в конечном счете к такому кошмарному результату. Но если выбор так плачевно сузился, то Мудрость лучше, чем Безумие, всякий рассудительный человек скажет. И уж лучше не рожать никого, чем рожать безумят.



Так говоря, бежала она по городу, по бесконечным улицам.
По мосту.
Ветер метался над темной рекой.
Крутил и взвевал платье бегущей. Каменными глыбами приваливался к ее коленям.
Она бежала по улицам с лачугами и улицам с богатыми особняками.
Под арками.
Мимо собора с толстыми колокольнями.
Вдоль рельсов, струящихся, поблескивая, во мраке.
Через перекрестки, где рельсы лежат крестами.
Через площадь, гладкую, как черное озеро, с высокой колонной посредине.
Все яростней дул ветер. Это уже не ветер был, а злая буря. Белая Роза бежала, придерживая юбки, чтоб не накрыли ее с головой.
И ветер разносил цоканье ее каблуков: цок-цок-цок-цок.

## ВЕЧЕРА МАСТЕРА ГРИГСГАГЕНА. ВЕЧЕР ВТОРОЙ

Опять мастер Григсгаген сидел у камина. Сидел, слушал, как ветер воет в трубе и норовит сорвать железо с кровли.
— Ай-ай-ай, Дук, что делается!— бормочет мастер.— На громовые раскаты похоже, верно? «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Когда-то я знал это наизусть до конца. Нам было задано. Я носил курточку и короткие штанишки. Платок полагалось держать в заднем кармане штанишек, а писали мы не в тетрадках, на грифельных досках. Грифель скрежещет, а по спине мурашки. Вот и сейчас — вспомнил, и мурашки по спине...
А теперь будто рота солдат бегает по крыше, верно? Я был солдатом. Сражался, как же. Мы были рослые как на подбор, в плечах косая сажень, не то что нынешняя мелкота. Мундир с галунами, не эти сиротские куртки. Даже слов таких не было: танк! дот! дзот! протон! нейтрон! нейлон! — и так далее, целый словарь. Это уж впоследствии насочиняли. Трамвай, автомобиль — все впоследствии, об авиации и говорить нечего, в мое время пробовали подниматься на воздушных шарах. Помню, Се-

бастиан запер мастерскую и повел нас, учеников, смотреть полет на воздушном шаре. Зеленое поле, народ. Пришли с детьми, с провизией, богатые приехали в колясках, все закусывали, сидя на траве. Воздухоплаватель был бравый господин со стройными ногами в белых рейтузах, усики в стрелку. Он был бледный и все крутил усики, лететь ему было, должно быть, страшно, но он не отступился от своего намерения, влез в корзину и велел отпустить канат, и мы испытали счастье увидеть, как огромный шар с болтающимися канатами и с отчаянным человечком в корзине взвился ввысь и понесся наискось, гонимый ветром, навстречу своей судьбе, становясь все меньше и меньше, и мы ему махали платками и шляпами, пока он не скрылся с глаз. Поле было зеленое, небо синее, и мне было так мало лет, что сейчас никто и не поверит...

А потом были другие зеленые поля, те поля, где забываешь бога и родную мать, и слышишь только звон золота, и видишь только лопатку, сгребающую золото, и готов убить кого угодно и готов убить себя.

И были женщины, не считал сколько, светлокудрые, черноволосые, каштановые, огненно-рыжие, и она знала и терпела... Много чего было. Многому ты нас научил, Себастиан. Где кончаются твои прегрешения, где начинаются мои?..

Но был же и подвиг преодоления! Пришло раскаянье, засеребрились первые седые волосы, и я нашел в себе силу сказать: все! Отныне — только труд, размеренность, постоянство! Какими светлыми слезами залилась она, как целовала мои руки, когда я сообщил ей об этом. Она лежала тогда на своем смертном одре, но я сдержал слово и гордился...

Зачем я его сдержал, чем гордился, ты не знаешь. Дук, а Дук?

Сколько из-за этого недопережито, сколько вспышек угасло втуне... Кусай локти, простофиля, утешайся мыслью, что сам оттолкнул от своих губ чашу, из которой было едва отпито... Дук, а Дук, возьми-ка. Ну возьми, бедняга. Кусочек шоколадки, ну-ну. Все-таки кусочек чего-то от жизни.

А Дук совсем был плох. Лежал растянувшись, облезлый бок его изредка вздымался и опадал. Кусочек шоколадки остался на коврике возле его носа.

— Чуда не произошло!— сказал мастер.— Так, надо в этом признаться наконец. Болван я. Не воссияло и не воссияет. Тот, кто ведает чудесами, поступает бесхозяйственно. Когда человек ждет чуда, как я ждал, надо ожидание вознаграждать. Этак уйдет из мира последняя вера в чудеса.

Ладно. Сколько-то мы еще поживем с тобой, хоть без веры. Сколько-то времени у нас есть. Молодой доктор сказал. Не морочил голову, не прописал никакой бодяги, не обещал ничего. Но сказал — время у вас еще есть. Серьезный врач. Поживем с тобой, поживем возле огонька.

А кто его знает, как бы оно обернулось, если бы и воссияло? Может, оболочка бы обновилась, а механизм нет? Зубы выросли бы, а душа продолжала сползать в могилу?..

А это что? Это не на крыше. В дверь стучат? Когда у меня бывала потребность с ними пообщаться, они не являлись. Некогда им было. А когда они мне нужны, как тебе шоколадка, они тут как тут. Астроном, что ли, опять раскатился? Ишь, ломится. Что за назойливость, не могут оставить человека в покое.

Но чья-то рука стучалась, как стучатся, когда решили достучаться во что бы то ни стало, и он сказал, не оглядываясь:

— Да ну входите уж.

Женское платье зашелестело, чем-то запахло забытым, свежим, как весенний сад, и словно музыка прозвучало:

— Это я!

— Дама!— сказал мастер.— Дук, дама! Чем могу служить, сударыня, не ошиблись ли вы адресом, пардон? Дук, мы будем вести себя благовоспитанно, призовем воспоминания о том, как это делается, и будем любезны с дамой.

Не ошиблись, вы уверены, в таком случае садитесь.

— Надо же,— сказала музыка,— вы меня не узнали. Сколько живу на свете, всегда меня узнают.

Мастер надел очки.

— О, простите великодушно! Здесь темновато, и я... Не ждал, не ждал. И за что мне такое, что Белая Роза пришла ко мне?.. В закромах моей памяти есть и такая цитата, уместная, я нахожу, для данного высокоторжественного случая.

Он сделал попытку галантно раскланяться сидя, с укутанными ногами.

— Ничего себе получается, Дук. Что значит старинная закваска — любезные слова сами подворачиваются на

язык, и беседа течет как по маслу. Вам, должно быть, нужно починить ваши часы?

— Нужно починить часы на ратуше.

— Разве они испортились?

— Я хочу, чтобы они шли вперед.

— Неужели?— спросил мастер.— Вы хотите? Я никогда вас не видел такой великолепной, когда они шли вперед. Похоже, что вы теперь зажили богато, или это не так?

Белая Роза ответила:

— Это так, мастер, нетрудно об этом догадаться, достаточно представить себе, почем заплачено за метр этой материи и сколько метров пошло на платье. Но выяснилось, что счастье не в богатстве. Меня этому учили, да [illegible] забыла. Во всяком случае, не настолько [illegible] держусь за тряпки и прочее, чтобы принести себя в жертву сумасшедшему Гуну. Я хочу душевного покоя и мирных радостей, все равно — в отцовском доме или [illegible] доме мужа, с которым мы будем друг друга взаимно уважать.

Она остановилась и посмотрела на мастера. Но он сидел, уронив голову на грудь, и вдруг всхрапнул.

— Подумайте! — сказала Белая Роза.— Уснул.

И покашляла, чтобы его разбудить.

— Волшебно!— сказал он, очнувшись.— Продолжайте, богиня.

— Когда-то,— сказала она,— вы мне сделали предложение...

— Да?.. Совершенно верно, как сейчас помню: в театре, во время антракта...

— Нет, не в театре, на улице, вы забыли...

Сквозь завывание и грохот ветра было слышно, как пробили башенные часы. Было за полночь, а они пробили шесть — чего шесть? Что они возвещали — восход ли солнца, закат ли?..

— Мастер Григсгаген,— сказала Белая Роза,— если время пойдет вперед, [illegible] выйду за вас замуж.

— Как? — спросил он.— Что вы сказали? — И прислонил ладонь к уху.

Она повторила раздельно:

— Если время пойдет вперед, я за вас выйду замуж.

— Как мне смешно,— сказал мастер.— Как мне хочется смеяться, едва удерживаюсь. Лет пятьдесят мне не было так смешно.

На этот раз переспросила она:

— Что вы говорите?



— Однако,— сказал он не без злорадства,— как меняются времена. Как много значили когда-то ваши «да» и ваши «нет». И вот — они потеряли всякую силу и все зависит от моих «нет» и моих «да». Гонор-то, гонор!— сказал он Дуку.— Воображает о себе невесть что. А почему воображает — потому только, что молодая и здоровённая. Гляди, как я ее сейчас осажу.

Так вот, сударыня, я буду прям, как вы, и отвечу «нет»— нижайше, разумеется, благодаря за честь.

Она вскочила как ужаленная.

— Старик! Надень вторую пару очков! Возьми свою лупу! Посмотри на меня как следует — я, Белая Роза, останусь тут с тобой, в твоей дыре!

Мастер прикрыл зевок.

— Спать хочется. Уходила бы уж. Что за неделикатность, сидит и сидит. Не хватало, чтобы она здесь осталась действительно.

Белая Роза стала на колени.

— Вы уж не боитесь ли, что я вам изменять буду,— вы не бойтесь. Я порядочная, честное слово. Буду ходить за вами как нянька. Только спасите меня от Гуна. Меня и всех.

— Все умрут,— сказал мастер.— Это я теперь знаю точно.— Он поманил ее пальцем, она приблизилась на коленях.— Понимаете,— зашептал он,— [illegible] скоро умру. Так почему я один? Пусть и они! Пусть как можно больше! Все пусть! И вы пусть! Вы тоже!

Белая Роза встала.

— Видела злодеев, но такого!.. Желать смерти — кому — мне!!! Но кто же меня спасет от Гуна? Кто спасет Красоту? Кто? Кто? Ах, кто же?..

Мастер слышал, как прошелестело платье, благоухая весенним садом. И как закрылась дверь. И как пробили три четверти часы на ратуше.

— Баиньки пора,— сказал мастер.— Пошли баиньки, Дук.

Затряс головой и руками, наклонился, тронул палкой... Дук не дышал больше.

## И ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

А теперь умирал и он. Лежал на кровати и дожидался смерти.

Кровать была большая, под балдахином.

Раскрытой книгой, как ширмой, загорожен ночник, чтоб свет не мешал мастеру Григсгагену умирать.

Он лежал на спине, вытянувшись и положив руки вдоль тела.

— Пожалуйте, всемогущая,— шептал он,— я больше не ерепенюсь, уже принял, как видите, надлежащую позу, к чему тянуть? Дверь не заперта, прошу.

Никого не было в спальне. Где доктор, где сиделка? Наверняка были слуги в доме, куда же они девались? Впрочем, рассуждая здраво, чем бы они помогли, если бы присутствовали здесь и даже суетились изо всех сил?

— Открыто, толкните только. Рассчитываю на ваше проворство. Вы же умеете, когда захотите, быть такой расторопной. Толкните дверь!

И дверь отворилась.

Кто-то вошел, постукивая чем-то при каждом шаге.

Медленно шел и чем-то глухо постукивал при каждом шаге.

— Свершилось! — сказал мастер. Волосы зашевелились у него надо лбом, и пот осыпал лицо.— Минуточку!— прошептал он.— Одну минуточку, будьте добры!

— Здравствуйте,— сказал тихий голос.

— Ну здравствуйте, здравствуйте,— ответил мастер,— пусть будет здравствуйте, но дело вот в чем: хоть я и призывал небытие, я к нему, оказывается, не вполне подготовлен, разрешите еще минуточку; чтоб уж приготовиться как следует быть.

— Погромче, пожалуйста,— сказал голос,— а то я не пойму, что вы говорите.

— Что тут понимать, просто миг слабости, последний приступ животной тоски пред тем, как очиститься от всего животного, погрузиться в холод, никто из смертных, полагаю, не избежал желания перед этим приостановиться, задержаться хоть на секунду здесь, в тепле,— вы-то наблюдали это триллионы триллионов раз.

— Нет, только два раза. Почему вы думаете, что триллион триллионов?

— Позвольте: вы ведь Смерть?

Тихий голос засмеялся:

— Какая Смерть, что вы. Я вас испугала? Не бойтесь, мы же старые знакомые.

— Я знаю этот смех,— сказал мастер.— Я слышал этот смех. Это не смех Смерти. Кто вы?



— Помните, я вам обещала приходить, когда Дук умрет, помните? Чтоб вам было с кем разговаривать. Мне сказали, что он умер.

— Умер, да.

— Ну я и пришла. Трудно мне: целый день шла. Но обещания нужно выполнять. Не люблю, когда не выполняют.

— Да вы кто?

Маленькая фигурка приблизилась к кровати, маленькая фигурка на костылях, с высоко поднятыми плечами.

— Не узнать? Ну вспомните: вы еще говорили, что Дук понимает больше меня. Это было в часовой мастерской. Я принесла Ансу записку от Белой Розы.

— Что за лики,— сказал мастер,— всплывают передо мной из черных пропастей? Анс... Белая Роза... кажется, были такие, кажется, я за что-то на них сердился. А ты ему от нее принесла голубую записку — ты уж не Ненни ли?

— Пожалуйста,— сказала фигурка,— пригласите меня сесть: устала. Как это люди ходят по целым дням? По ровному еще так-сяк, а по лестницам!

— Ненни?— переспросил мастер, глядя во все глаза.

Она осторожно села.

— Ох, кресло мягкое, прелесть! Вы не сердитесь, что я пришла?

— Нет,— сказал мастер.— Не сержусь.

— А вы что в постели, простудились?

— Неужели Ненни?

— Ну ничего, поправитесь... У вас все условия: тепло, сухо. Профессора, наверно, лечат... У нас сыро в подвале. По углам растут грибы. И окна у вас большие, и много — у нас одно, и маленькое.

— Грибы?

— Сырые такие. На ноги мои смóтрите. Другим смотрят на лицо, а мне на ноги. Ничего в них нет интересного.— Она натянула юбку на колени.

— Еще был мальчик,— сказал мастер,— он где?

— Какой мальчик?

— Илль как будто — был?

— Илль был. Если бы вы спросили про других мальчиков, я бы не могла сказать, были или не были, сейчас уже трудно установить, все расплылось. А Илль был. Он хотел путешествовать и открыть материк и чтоб я его встречала и махала платком. И он бы мне привез подарки: бабочек и птиц. Да, он был. Его закопали в большую мо-

гилу вместе с другими мальчиками. И поставили железный крест. Один общий, конечно: на каждого отдельно — не напасешься.

— Но почему костыли?— сказал мастер.— Ты же бегала.

— Да, вы помните,— сказала Ненни с восторгом.— Как я бегала. А это, должно быть, вернулось из-за сырости в подвале. И что окно маленькое... Соседки говорят — надо почаще выходить дышать воздухом, но лестница у нас такая высокая, одиннадцать крутых ступенек...

— Ведь я мог успеть умереть — и не увидеть тебя. Зачем это мне перед концом, где она там запропастилась?..

— А сегодня вышла, потому что соседка услышала от кого-то и мне рассказала, что умер Дук.

— Что вы все про соседок?— спросил мастер.— Кто есть у тебя кроме соседок?

— Никого. Была мама. Но с тех пор как время пошло назад, очень, знаете, много людей умирает. Я думала о Дуке: мир его праху, вот уж кто был счастливец, так это он.

— У него были громадные преимущества перед людьми,— сказал мастер.— Скромность и определенность требований к жизни.

— Все ему давали, что требовалось. И овсянку, и кости, и подстилку...

— Он не знал наших вечных метаний, вечных взрывов неразумных чувств...

— И тепло ему было, и гулять выводили...

— И умирая, он не знал, что умирает...

— Это все вас очень должно утешать,— сказала Ненни,— в вашей потере. Желала бы я прожить, как он.

— Ты хочешь есть, Ненни?

— Спасибо. Если можно, пожалуйста.

— Я накормлю тебя, накормлю.

И он позвал, силясь оторвать голову от подушки:

— Эй, кто там, сюда!

Но никто не отозвался. А ему это усилие не прошло даром. Пришлось долго хватать ртом воздух, пока дыхание вернулось.

— Ненни,— прошептал он тогда,— а ты знаешь, что это я сделал — чтобы часы пошли назад?

Она пожала плечами.



— Это знают даже крохотные дети. Ребенка учат говорить «мама» и учат, что часы пустил назад мастер Григсгаген.

— Как же ты пришла, ведь ты меня проклинаешь?

— Я — нет. Я понимаю.

— Понимаешь — что?

— Все. Когда сидишь в подвале, научаешься понимать. Хотели опять быть сильным, ловким, бегать, а кому-то, само собой, пришлось за это заплатить — ну и правильно.

— Считаешь — правильно?

— Люди за все платят, так уж устроено. Кто-то чихнул, а кто-то за его чих головой расплачивается. Я пришла к выводу, что в этом мире платят даже за пустяки — и каково-то расхлебать кашу, которую вы заварили...

Одни платят, другие собирают плату, и те, кто собирает, тоже иногда становятся плательщиками — и тогда говорят, что восторжествовала справедливость. При таких порядках больше ли крови, меньше ли — умных людей смущать не должно.

Вы надеялись вернуть вашу молодость — какое вам дело, кто какую цену за это заплатит? Да если б я надеялась вернуть мои ноги!

— Ты бы о цене не думала?

— Ого!— сказала Ненни, глаза ее сверкнули, как у тигренка.

— Нехорошо.

— Что нехорошо?

— Жестоко.

— Что жестоко?

— Не думать о цене.

— А вы думали?

— Я думал. Я с этим не посчитался, правда. Но я думал.

— А я бы не стала. Вот еще, очень нужно.

— Ненни, это безнравственно.

— Пусть бы леса и горы потонули в крови,— сказала она и ударила о пол своим маленьким костылем,— только б я могла бегать, как раньше. Гонять ногой камушек. Играть в мячик.

— Ненни, что ты говоришь!

— Прыгать через веревочку! Танцевать! Разве существует слишком большая плата за это? Никакая плата не велика!

— Леса и горы! Кто тебя научил?

— Как кто? Сами пример подают, а когда лежат при смерти, говорят — безнравственно. А плевала я на нравственность вашу.

— Мне остались минуты,— сказал мастер.— Не говори, пожалей меня.

— Я жалею. Мне вас жалко, что у вас все рухнуло. Я знаю, что это значит.

— Прости меня!— сказал он, зажмурившись.

И долго лежал с закрытыми глазами.

— Прости!— повторил.— Прости, что я искалечил и душу твою, и тело, и всю твою жизнь! И даже не в силах тебя накормить, и ты сидишь передо мной голодная.

Она не ответила.

Он открыл глаза, ее не было.

— Ушла. Подумала, что я умер. И страшно стало с мертвецом. Ушла на своих костылях в свой подвал.

Держась за сердце, он сел. Как он смог сесть — непонятно, но сел, и сидел, и не валился обратно на подушки.

— Ну-ка!— сказал он и спустил ноги с постели.

— Ну-ка!— и встал на пол этими расслабленными ногами, на которые было напялено две пары шерстяных чулок, чтобы согреть их хоть капельку.

— Детей нельзя!— сказал он.— Уж очень они мало погостили. И всего-то гостеванья — видеть нечего, а они только-только пришли по приглашению, разодетые во все новенькое. Нельзя никак.

— Нет уж, всемогущая,— сказал он в пространство,— вы не соблаговолили явиться, когда [illegible] [illegible] вам взывал, а теперь придется повременить.

— Черт их знает, куда они все позапихали,— бранился он, разыскивая свою одежду.— Распустились, дьяволы, спят либо удрали гулять, ужо дам им взбучку!

И чтоб светлей стало искать, смахнул со стола книгу, загораживающую ночник.

Долго ли, коротко ли — нашел что надо и оделся. Из бюро достал инструменты и лупу и уложил в чемоданчик.

Никто ему не повстречался, пока он шел по темным комнатам, где светила одна синяя лампочка с улицы.

В передней впотьмах что-то блестело, он, проходя, всмотрелся, потрогал — гроб. Большой серебряный гроб.

— Спят или гуляют,— сказал мастер,— а обо мне позаботились, ничего не скажешь. Все уже готово, смотрите-ка, чтоб предать меня земле и забвению.





— Как темно, почему так темно?— бормотал он, тащась по улице.

Он забыл про войну.

Синяя лампочка — много ли от нее толку? Пятнышко еле светящегося голубого тумана и к нему вплотную — мрак.

Во мраке шумели пломбированные липы.

— Почему нет людей? — вопрошал, спотыкаясь, мастер.— Разве уж так поздно?

Свернул за угол, на проспект. Магазинные витрины лунно голубели вдоль проспекта, и тут были люди. Крадучись выходили они из домов, горбясь под мешками и узлами. Это грабители возвращались со своего промысла.

Какой-то вор лез в форточку, влез до половины, на улицу торчали его босые ноги.

В лунном свете витрины лежал кто-то, кровь натекла вокруг головы черной лужей.

— Помогите!— позвал мастер, тряся коленками.— Убийство!

— Ты что тут чирикаешь, воробушек?— сказал, выходя из тени, вурдалак в юбке и остроносых туфлях. Мертвыми ямами смотрели его глаза с мелового лица.

— Убили!— сказал мастер.

Носком туфли вурдалак потрогал лежащего.

— Убили, а тебе что?

В пальцах у него дымилась папироса. На конце каждого пальца красный коготь, и рот кровавый.

— Пошли лучше ко мне, воробушек, я тебе сварю манную кашку.

Вурдалак приблизил к мастеру глаза-ямы и дунул дымом ему в лицо.

— Пошли, не жеманься, чего там!

И второй тут как тут вурдалак — такой же кровавый рот, и волосы начесаны на брови, и папироса в кровавых когтях, только этот вурдалак был не женщина, а юноша. И мастер, смутно глянув, потащился от них прочь, а второй вурдалак попросил у первого прикурить, и убитый лежал у их ног, а потом вурдалаки разошлись в разные стороны, выпуская длинный дым из ноздрей.

На перекрестке круглое здание было обведено целой гирляндой лампочек. Около двери «Для мужчин» много

вурдалаков чем-то торговали, ударяли по рукам и отсчитывали деньги. Один сказал:

— Мастер Григсгаген куда-то ползет.

— Это он? Он же обещал помолодеть.

— Осечка, стало быть, ха-ха!

— Ха-ха! Фью-фью!

— Фьюу-у-у-у-у-у-у-у!

— Дойти! — сказал мастер. — Дойти, и подняться по винтовой лестнице, и сделать дело. Зря я глазею, и останавливаюсь, и еще разговариваю, я должен сделать дело.

Проспект кончился. Опять стало темно и безлюдно.

— Так ли я иду? Ничего не помню. В какую сторону — [redacted] эту, что ли?

И услышал позади постукиванье.

Постукивали костыли по камням.

Так медлительно, с длинными промежутками постукивали они, как тогда в спальне.

— Она идет за мной. Она меня доведет.

Он спросил:

— Правильно я иду?

— Да, — ответил тихий голос.

— Позвольте и мне идти с вами, — сказал кто-то рядом, — не особенная честь со мной знаться, как говорят, я могу, к сожалению, выходить только ночью, потому что днем меня побивают камнями, но не гоните меня, прошу вас. Во-первых, хотите верьте, хотите нет, но в это мгновенье я всей душой с вами, [redacted] во-вторых, без меня не может обойтись ни одно событие.

— Кто такой? — спросил мастер.

— Я дурнушка, которая сочинила хвалебную песнь про Гуна.

— А. Ну все равно, идите.

— Если через парк, — сказала дурнушка смиренно, — то вдвое короче.

— А. Вспоминаю. Пошли через парк.

И они вступили под своды парка, где недавно происходил тот веселый праздник.

Как в глубокую воду, погрузились они в черноту аллеи.

— Это что? — спросил мастер.

Оттуда и отсюда поднимались вздохи, хрипы, всхлипы, стоны.

— Это те, — отвечала дурнушка, — которым некуда деваться во времени, идущем назад. Вы не видите, вон они спят на скамейках и вон на земле.

Раздался громкий, властный крик.



— А это, — сказала дурнушка, — бездомный грудной ребенок. Он не знает, что он бездомный, и он требует у своей бездомной матери молока и тепла. Надо поспешить, [redacted] то скоро рассвет, вас увидят и не пустят.

— Я иду! — сказал мастер и заторопился из последних сил. — Иду, иду!

## БЕГ НА МЕСТЕ

Спеши, спеши, мастер!

Спеши, пока можешь передвигаться!

Пока не иссякло дыхание до последней капли.

Пока сокращаются мышцы кой-как.

Пока чувствуешь в себе жизнь, неведомо как задержавшуюся.

Пока спят рыжие пиджаки. Спеши, мастер!

Ну же!

— Побежали! — сказала дурнушка и взяла его за руку.

И, о чудо, он побежал. Быстро-быстро.

Скорей!

Смотри, вычертилось вверху сплетение черных веток. Светает.

Еще скорей! Еще!

Да что это — бежит, [redacted] аллее конца нет.

Бежит — и все будто на месте.

Он на месте, [redacted] небо все светлей.

— Нажми давай! — кричат сзади.

Оглянулся — за ним целый людской поток!

— А это кто же? — кричит он на бегу.

— Те, кто переболел безумием! И выздоровел! Они больше не будут! У них выработался иммунитет!

И все бегут, как он. Вскидывают коленки, кулаки у груди, рычагами ходят локти. И все, как он, почти не двигаются с места.

— Где же выход? — кричит мастер. — Далеко еще?

— Близко! Близко! — кричат в ответ. — Работай!

Задыхается мастер, пот градом. А выхода не видать.

И все на месте! Все на месте!

— Жми! Жми!

Фу-ты господи, вон он, выход, наконец.

Вон он, вон он.

Еще немножко. Немножко. Совсем немножко.

Чуть еще — и мы до него домчимся, до выхода.

— Жми-жми-жми-жми!— не переставая кричали мастеру в спину, и он достиг-таки ворот и вырвался из парка.

Солнце всходило. Веера его лучей возносились из-за крыш. И вот чистым пламенем брызнул и вознесся его слепящий лик.

— Поздно!— сказал мастер и остановился.

— Поздно!— выдохнули те за ним.

— Сейчас встанут рыжие пиджаки.

— Сейчас нас разгонят.

— Извиняюсь, я пошла,— сказала дурнушка,— а то меня побьют камнями.— Она исчезла.

— Поздно,— при последнем издыхании повторил мастер.

Отчаянно глянул он на сияющий диск.

— И уже нет времени! Сейчас умру, и все останется как есть!

Он вытер плачущие глаза.

— Уже умираю. Уже меркнет свет в моих очах.

— Меркнет свет в наших очах,— заговорили те, за его спиной.

— Что такое, меркнет свет в наших очах?

— Почему меркнет свет в наших очах? Разве мы все умираем?

— Разве был приказ — умереть сразу всем?

— Еще не было такого приказа.

— Не было.

— Отчего же меркнет свет в наших очах?

— Прощай!— сказал мастер.— Прощай, прекрасное, сияющее выше всего! Кончился мой завод, прощай навек!

И еще раз взглянул на солнце.

— Позвольте,— сказал он.— Позвольте, позвольте.

От слепящего диска откололся краешек.

— Мне мерещится?

Неполный был диск. Как луна, когда пойдет на убыль. И слепил уже поменьше.

— Ну а дальше?

Еще уменьшился диск. Будто подтаивал с правого бока.

— Ну! Ну!— понукал мастер, вздев кулаки.— Выручай!

Уже можно было глядеть на ущербное светило, хоть и прижмурясь. И стал виден другой диск — рядом, маленький, черный. Он прикрыл часть солнечного лика и двигался влево.

— Вперед!— закричал мастер.— Началось затмение! К ратуше!



ЗАТМЕНИЕ

Такой маленький черный мячик, а ловчит закрыть солнце целиком. И ведь закроет. Почти что закрыл. Вместо большого круглого солнца в темном небе — серп с острыми концами. Густо вокруг него высыпали звезды. Млечный Путь забелел.

Будто и не светало еще.

Птицы прекратили свои прыжки и чириканье, улеглись спать обратно.

В ночи светятся часы на башне ратуши. Покрытые специальным составом, светятся римские цифры и стрелки, ползущие назад.

— Где же она?— спрашивает мастер, ощупывая шершавую стену.— Здесь должна быть дверь! К винтовой лестнице! Где дверь?

— Ее нет.

— Замуровали. Чтоб никто не проник к часам.

— Как же я проникну?

— Мы поможем.

— Мы вас подымем.

— Опирайтесь на наши руки.

— Становитесь на наши плечи.

— Шагайте по нашим головам. Шагайте, не бойтесь: выдержим!

— Все выдержим. Лишь бы время пошло вперед.

— Шагайте!

Что произошло? Черное тело накрыло солнце без остатка, от края до края,— казалось бы, должна наступить полная тьма? Но нет — свет небывалый вспыхнул вокруг черного диска! Разливаясь, сжимаясь, полыхая, всплескивая, выбрасывая длинные языки, дивным кольцом затрепетал он посреди Вселенной, и все цвета радуги были в нем, но такие яркие, ясные, каких не бывает в земных наших радугах. Про этот фиолетовый цвет, например, невозможно было сказать просто «фиолетовый» — он был ультрафиолетовый, идеально фиолетовый, божественно фиолетовый! — и также остальные цвета.

— Солнечная корона!— крикнул мастер, стоя на чьих-то плечах.— Это солнечная корона!

— Корона!— завопила опять откуда-то вынырнувшая дурнушка.— Солнце надело корону, чтобы чествовать Время, Идущее Вперед!

— Поднимите меня!— сказал мастер.

И множество рук вознесло его на высоту башни.

Площадь очутилась далеко внизу, созвездья придвинулись.

Вплотную перед мастером было гигантское поле циферблата. Фигуры зодиака паслись на нем, как тяжкие чудища. Копьями великанов стояли цифры: то грозно в ряд — II, III, IIII, то соприкасаясь — в V, то скрещиваясь — в X. Снизу казалось, что стрелки движутся плавно,— вблизи они прыгали судорожными прыжками. Сполохи солнечной короны проносились волнами по этому скопищу позолоты, по толстым, как свернувшиеся удавы, завиткам украшений, по рыбам с разинутыми ртами.

— Лезьте!— кричали снизу.

Мастер ухватился за какую-то загогулину, подошвой заскользил по другой.

— Не могу!— крикнул, скрючившись над бездной.— Падаю!

Глядь — и сверху тянутся руки. С башенной крыши.

— Держитесь, мастер!

Знакомые лица.

— Анс? Ты?

— Я, мастер.

— Ты же ушел по длинным дорогам.

— Куда же я мог отсюда уйти?

— А вы как тут очутились, молодой доктор? Ваше дело лечить.

— Леченье всех болезней начинается здесь.

— Как, это вы, господин астроном, иностранец? Вы приехали наблюдать затмение! Посмотрите, какая корона!

— Я очень рад видеть вас среди нас!— с чувством ответил астроном, помогая втащить мастера на крышу.

— А это чье закрыли звезды маленькое лицо под железной каской, подхваченное ремешком? Илль, ты убит. Ты лежишь в братской могиле. Тебя нет, Илль.

— Почему нет? Раз я был — я есть. Мы, убитые, тоже помогаем пустить время вперед.

— Разговорчики!— строго сказал, приближаясь, Дубль Ве.— За работу! Мы пытались сделать без вас, мастер, да что-то не выходит.



В пролом стеклянной крыши они спустились туда, где находился механизм.

Мастер огляделся удовлетворенно.

Ни пылинки нигде, ни паутинки. Чистота и блеск.

Тихо вращались зубчатые колеса.

— Приступим!— сказал мастер, засучивая рукава.

## ЭНИКИ-БЕНИКИ

— Эй! Эгей!— донеслось снизу.— Го-го-го!

— Рыжие пиджаки,— сказал доктор.

Астроном растянулся на крыше и в бинокль посмотрел вниз.

— Да,— подтвердил он.— Оттеснили народ и окружили башню. С ними оба министра и Гун.

— Не обращайте внимания,— сказал Дубль Ве.

— Прежде всего,— сказал мастер Ансу,— придется его остановить.

Они налегли на самое большое колесо и остановили. И другие колеса остановились.

Стрелки на циферблате заметались и замерли.

— Эй, кто там балуется с часами?— донесся крик Гуна.— Я тебе побалуюсь! Слезай!

— Ничего не можешь сделать!— крикнул доктор.— Опоздал!

— Почему опоздал?

— Потому что с нами мастер Григсгаген!

— Вы что, вперед их пустить вздумали? Вот я вас! Эй, там, на башне, слышите? Куда же я, я, и тогда денусь?

— Куд-куда, куд-куда все мы денемся?— подхватили пиджаки.

— В сумасшедший дом!— крикнул доктор.— Почем я знаю и кому это интересно, кроме вас?

Внизу притихли.

— Что они делают?— спросил доктор.

— Совещаются,— ответил астроном.

— Подай отвертку,— сказал мастер Ансу.

— Теперь охватили башню руками и расшатывают,— сказал астроном.

Башня качнулась.

— Не эту,— сказал мастер,— самую маленькую.

И Анс подал маленькую отвертку.

— Эники-беники!— хором с площади.

Площадь запыхтела, затопала. Башня закачалась сильней.

— Ели вареники!

Еще сильней.

— Эники-беники клец!— Это уж начался какой-то чертов аттракцион.

Они ее расшатывали, облапив и толкая животами.

Верхушка башни вычерчивала дугу по Млечному Пути.

Из стен выскакивали кирпичи, как зерна из кукурузного початка.

Часы то запрокидывались к небесам, то кланялись чуть не до земли.

И солнечная корона озаряла все это, играя ультрафиолетовыми и инфракрасными языками.

— Невозможно работать,— сказал Анс, взлетая и опускаясь.— Скажите им там.

— Эй вы, эники-беники!— крикнул доктор.— Катитесь отсюда! Мешаете!

— Сам дурак!— крикнул Гун.— Сейчас вам будет клец!

Дуга вправо. Дуга влево.

Кирпичи из стен ручейками.

Дуга влево. Дуга вправо.

Какое работать. Кувыркается сердце, взболтаны мозги.

Теменем о потолок. Зубьями механизма изорваны бока.

Влево-вправо-влево-вправо — ух, вниз полетели!

— Старайтесь, старайтесь! Вам неизвестно, что такое мастер! Он может и так! Надорвитесь, лопните, я — ученик Себастиана, все равно пущу время вперед!

Нет. Не успеть. Мастерство — не тяп-ляп. Мастерству нужны замедленность, паузы, раздумье. А башня сейчас рухнет.

Кирпичи из стен потоками.

Успеть. Успеть. К черту паузы. Она рухнет, а время уже вперед, уже вперед.

Во имя твое, Ненни.

Она рухнет, а тебе жить, Ненни.

Бежать вприпрыжку и гнать ногой камушек.

Тебе заселять землю, Ненни.

Пойдет, пойдет вперед. Настоящий мастер может все.

Что за звон? Что за звон?

Такого не было от сотворения мира.

Залил все другие звуки.



Рвется в уши, колотит по барабанным перепонкам, как град.

— Что за звон?

— Не слышу!

— Что за звон?

— Громче!

— Звон, говорю! Звон! Звон!

— Это летит Последняя Гибель.

— Что?

— Сейчас все исчезнем, молодые и старые, умные и эники-беники.

— И Ненни?

— Все до единого. По второму разу погибнут те, кто уже умер раньше. Да, Илль, и ты, окончательно. И твой шлем и ремешок от шлема. И некому будет поставить крест над нами. Положите отвертку, теперь уж ни к чему...

Звон... Звон... Звон... Перестаньте подождите... Лавина обвал не остановить ничем нет... Солнечную корону погасил как свечку... Я протестую позвольте я тоже имею голос что еще за Последняя к чему такая роскошь неужели мало той старинной уютной с которой свыклись... Конец ничего в мире кроме звона кроме звона...

Стоп.

Надо же, как я крепко спала. Ты, должно быть, весь дом всполошил.

Хватит тебе. Спасибо.

Это вы поняли — я будильнику говорю спасибо.

## ПОХВАЛА БУДИЛЬНИКУ

Хочу сказать ему похвальное слово.

Сколько разных часов на свете, а полезней будильника нет.

Дай ему бог здоровья.

Как он бдителен, как своевременно приходит на помощь.

В высшей степени приятно все это отметить.

А если какой-нибудь иногда, случается, ворвется в ваш хороший сон и не даст вам его досмотреть — ну что ж, скажу на это: а в вашей работе ошибок не бывает?

Слава будильнику, слава!

Туш в его честь!

Славьтесь, будильники всех марок, в корпусах квадратных и круглых, на четырех камнях и на одиннадцати.

Я просыпаюсь все глубже. Если засыпаешь глубоко, надо глубоко и просыпаться, иначе что же это будет с нами?

День разгорается. Вдох, выдох. Вставай-ка, умойся чистой водой — и за дело.

Просыпаюсь все глубже, расплываются лики моего ночного видения. Время идет вперед.

Да здравствует Время, Идущее Вперед.

*Это я рассказала сон, который мне приснился в ночь на пятницу.*

*1941—1963*

# ПРИМЕЧАНИЯ

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЗЛ — Панова В. Заметки литератора. Л.: Сов. писатель, 1972.

ЛГ — Литературная газета.

«О моей жизни...» — Панова В. О моей жизни, книгах и читателях. Л.: Сов. писатель, 1980.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

## «ВРЕМЕНА ГОДА»

### ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ ГОРОДА ЭНСКА. РОМАН

Впервые: Ленинградский альманах. Лениздат; 1953, кн. 5; одновременно: Новый мир. 1953, № 11, 12; отрывки: «Совершеннолетие»// Известия. 1951, 11 февр.; «Юлька»//Ленингр. правда. 1952, 3 авг.; «Весна»//ЛГ. 1952, 4 окт.; «Знакомство»//Смена. 1953, 1 мая; «Любовь»//Веч. Ленинград. 1953, 3 окт.; «Юлькин май»//Веч. Москва. 1953, 31 окт.; отдельное издание: Времена года. Из летописей города Энска. М.: Гослитиздат, 1954 (с биогр. справкой).

Началом работы над романом Панова считала свою статью «Тост» (ЛГ. 1949, 31 дек.). Когда статья была напечатана, сообщает писательиица, «она мне показалась вовсе не статьей, а законченным вступлением в какой-то большой роман. В маленьком доме на окраине большого периферийного города я увидела праздничный стол и елку в зажженных свечках, за столом сидела героиня романа, уже немолодая женщина, ее звали — ну, конечно, ее звали, как одну мою знакомую, Дорофея Николаевна.⟨...⟩Вот отсюда пошла разматываться нитка романа «Времена года», из летописей города Энска» («О моей жизни...», гл. «Очень трудная работа»).

Есть, однако, свидетельства, что еще раньше, до публикации повести «Ясный берег», Панова обдумывала тему нового «городского» романа, героиня которого, депутат горсовета, переживает семейную драму, развернутую затем в истории Дорофеи Куприяновой. «Будем надеяться,— писала Панова А. К. Тарасенкову 3 августа 1949 г.,— что с горсоветовской темой получится лучше. ⟨...⟩ Все уже придумала для новой книги, теперь ищу ракурс, который мне даст возможиость интересно и ярко это

сделать. Затем поеду смотреть город — объект — [redacted] знакомиться с работой и с людьми. Затевается «громадный» для меня роман — листов на 20. Посмотрим, что выйдет» (ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597).

Поиски необходимого ракурса оказались гораздо более трудными, чем думалось автору в начале работы. Первые наметки концепции «Времен года», как они были изложены Пановой на рубеже 1950-х гг., лишь отдаленно напоминают то, что было написано через три года. Первоначальный замысел был еще в достаточной степени прикладным, иллюстрационным. «Подумалось так: сколько тем еще не затронуто литературой — вот, например, почти ничего не было написано о работниках советского аппарата, о депутатах Советов, об их громадной созидательной работе, плоды которой мы видим на каждом шагу. Мне захотелось написать об этих людях, рассказать об их деятельности. Таков был первоначальный замысел, почти газетно-публицистический, годный более для брошюры, чем для романа» (ЗЛ. С. 46).

Накануне 1951 г. Панова впервые поделилась в печати планами своего очередного крупного произведения: «Весь прошедший год я писала новый роман. Буду писать еще год-полтора. Роман охватывает три года жизни одного небольшого советского города. ⟨...⟩

Жизнь города, жизнь этих людей, расцвет города, расцвет людей — душевный, умственный, волевой, вот о чем я хочу рассказать [redacted] своем новом романе.

Я радостно прожила минувший год. Находилась безотлучно в кругу людей, которые войдут в книгу, вникала в их интересы, изучала, чем они занимаются. Теперь думаю за них, говорю за них на белых листах бумаги. Мне довелось увидеть очень хороший, светлый мир. Я жила с удовольствием весь прошедший год и радуюсь, что с этими хорошими людьми буду еще долго жить» (ЛГ. 1950, 31 дек.).

Первые главы романа Панова писала, сохраняя приподнятую тональность, воображению писательницы открывался «очень хороший, светлый мир», и его освещение мало чем отличалось от жанровых картин «Ясного берега». Разве что были взяты другая среда и другие герои.

Весной 1951 г. А. К. Тарасенков, перешедший работать в журнал «Новый мир», уже запрашивал Панову о ее новом романе: «Давно что-то мы с Вами не видались. Как Ваш роман? Я помню, что он был уже давно [redacted] твердо обещан мне для «Нового мира», [redacted] с нетерпением жду того дня, когда можно будет начать читать, а затем подписывать —«В набор!!!» Напишите хоть коротенько» (Письмо от 11 апр. 1951 г.//ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 3, ед. хр. 378). К этому письму, посланному из редакции «Нового мира», была присоединена выразительная приписка главного редактора журнала А. Т. Твардовского: «Дорогая Вера Федоровна, [redacted] подоспел [redacted] письму А. К. и также прошу: вонмите, не забудьте о «Новом мире», когда рукопись Ваша придет с машинки. Большой привет и низкий поклон» (там же).



Обещанный для «Нового мира» роман далеко еще не был автором завершен. Чем глубже входила писательница в содержание жизни своих героев, тем дальше отходила она от праздничной новогодней тональности первых сцен и тем острее ощущала потребность радикально переработать все написанное чуть не с самого начала. О первых серьезных затруднениях с новым романом Панова откровенно написала в одной из своих статей 1952 г., когда конца работы еще не было видно.

«Вот сейчас пишу роман («Времена года»), и все повторяется снова. Я давно задумала и облюбовала этот роман, и мне казалось, что здание уже построено целиком, остается занести его на бумагу. Но людям, которых я поселила [redacted] этом здании, оно не понравилось. Они немедленно взялись перестраивать его: пристроили четвертую часть, безжалостно сбили затейливые лепные украшения, над которыми я столько трудилась, и перетасовывали все главы, как колоду карт. Герои, предназначенные автором для второго и третьего плана, потребовали, чтобы их переселили в самые лучшие квартиры и уделили им преимущественное внимание; и, напротив, те, кто в замысле моем ходил в первых героях, добровольно удалились на более скромные места. И мой ритм разрушен, [redacted] вместо заботливо выписанных мною диалогов вольно звучат их речи. Ничего не поделаешь, приходится смиренно переписывать страницу за страницей, если не чувствуешь в себе силы прикрикнуть хорошенько на героев [redacted] подчинить их своей авторской власти» (ЗЛ. С. 45—46).

Крупная перестройка романа была связана прежде всего с расширением линии Степана Борташевича и судьбою его семьи. История морального перерождения ответственного городского работника-коммуниста, выдвиженца из рабочей среды, вставшего на путь хищений и обмана государства, заканчивалась по сюжету романа закономерным крахом, самоубийством главы семейства и запоздалым прозрением его детей. Панова перевела эту историю из второстепенной в одну из главных линий романа, сопоставив по закону художественного контраста судьбы Куприяновых [redacted] Борташевичей в старшем и младшем поколениях.

В светлый и радостный мир жизни города Энска, который рисовался автору на первом этапе работы, писательница ввела важный новый мотив — разоблачение потаенных и маскирующихся сил социального зла, разраставшегося на протяжении нескольких десятилетий и способного к затяжной и упорной борьбе за свои корыстные интересы. «И я с тяжкими усилиями описывала события, происходившие [redacted] прошлом,— подтверждает Панова,— а особенной крови стоил мне Степан Борташевич, отец Кати и Сережи, так как этот тип человека мне бесконечно чужд всю жизнь. Впрочем, думаю, мне удалось сложить его опять-таки из мелкомозаичных частиц, таких, как его «забуренье» по мере достижения высоких должностей, из его служебной «Победы» с брезентовым верхом (такая машина была тогда у Ленинградского отделения Союза писателей), из отбойного писка телефонной трубки и, наконец, трагического

выстрела за дверью его кабинета и кровавой лужи на ковре» («О моей жизни...», «Очень трудная работа»).

Описывая судьбу Борташевича, систему его маскировки и подробности его уголовного дела, Панова опиралась на вполне конкретные факты и материалы. Один из работников ленинградской милиции послужил в романе прототипом майора Войнаровского.

В процессе работы над «Временами года» Панова ощущала возраставшее сопротивление материала, который с трудом давался ей в руки. 29 марта 1952 г. она признавалась в письме к А. К. Тарасенкову: «Задачу взвалила на себя явно непосильную, не знаю — справлюсь ли, сама не понимаю — что же из этого всего получается. ⟨...⟩ Какие-то вещи, о которых ■ пишу, ни разу не были в нашей литературе. Сто человек мне бесспорно скажут, что они и не должны быть в литературе. (Это не ко всему роману относится, только ■ части материала.) А я всей моей писательской и гражданской совестью убеждена в том, что они должны быть в литературе, в той литературе, которая ставит перед собой такие цели, которая ведет сейчас литературу стольких стран и ей служит образцом.

В частности, полным голосом и совершенно вольно я говорю там о любви (разной), о материнстве, о прочем в таком духе. Говорю так, как мне хочется сказать.

Поднимаю какие-то забытые (хотя очень не новые) вопросы, которые, на мой взгляд, давно пора поднять — а именно, что человек сам тоже ответчик за свою судьбу, что нельзя всю ответственность валить на общество, что каждому много дается и с каждого должно много взыскиваться. Скажете — неинтересно? Ужасно интересно, когда, как говорится, дается через художественные образы. Ух! Какая нудная и мертвая эта номенклатура — образы, сюжет и т. п.

И о том, что так же, как растут наши представления о техническом прогрессе по мере приближения ■ коммунизму ⟨...⟩, так растут и наши требования моральные и этические, и то, что было для нас вполне удовлетворительно 20 лет назад, то уже никак не годится сегодня.

⟨...⟩ Дописываю роман буквально обрывками нервов, выжата как лимон, нога разболелась, сна нет, живу на люминале, ничего не ем и никого не хочу видеть, кроме тех людей (очень разных), из которых ■ выкачиваю потребный мне материал. Эти разные люди — депутаты, рабочие, горисполкомовцы, ремеслята, работники уголовного сыска, судьи и прочие — бывают у меня, я езжу к ним на работу, поток людей проходит, жизнь вибрирует, и так хочется схватить ■ написать ее именно в этой вибрации ■ непрерывном движении!» (ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597.)

В течение 1952—1953 гг. Панова не только дописала роман до конца, но и провела еще одну основательную переработку всей рукописи. Сохраняя избранный материал ■ сложившееся сюжетное построение «Времен года», писательница ввела существенные изменения в общее освещение написанной ею жизненной картины. Она сознательно усилила те линии романа, которые несли в себе социальный драматизм, отказалась от некоторых чрезмерно восторженных и сусальных сцен. Так, например, Панова исключила из романа вполне законченную главу «Совершеннолетие», опубликованную в 1951 г., как и несколько других сцен такого же плана. Настоящее время романа было сжато автором с трех лет до одного года (по некоторым точным приметам — это 1950 г.). Панова стремилась написать и написала не просто современный, ■ злободневный роман, задевавший насущные вопросы жизни поколения «отцов» и «детей», немаловажные для всего советского общества и его развития в будущем.

После публикации в журнале «Новый мир» роман «Времена года» вызвал острую полемику в печати и оказался в центре дискуссии о современной прозе перед II Всесоюзным съездом писателей СССР.

В статье В. Кочетова «Какие это времена?» роман «Времена года» рассматривался как явление «мещанской литературы», доказывающее «всю порочность объективистского и натуралистического подхода писателя ■ изображению жизни» (Правда. 1954, 27 мая).

В дискуссии перед писательским съездом и с его трибуны эта точка зрения была оспорена ■ в плане методологического подхода ■ литературе, ■ ■ конкретной трактовке основных мотивов произведения Пановой.

«Вопрос об объективизме — вопрос не простой,— говорил в содокладе ■ современной прозе К. Симонов.— Обсуждая его на съезде, мы должны точно определить, в чем его корни и в чем его опасность. В то же время мы должны не допускать схематической, расширительной трактовки этого вопроса, когда в некоторых статьях критики бывают готовы записать по ведомству объективизма все произведения, где писатель не счел художественно целесообразным ткнуть пальцем в картину и без того очевидную и сказать собственными устами: это черное, ■ это белое» (II Всесоюзный съезд советских писателей. 15—26 дек. 1954 г. Стенографический отчет. М., 1956. С. 92).

Выступая на съезде, М. Шагинян также вернулась ■ оценке «Времен года», обратив внимание на то, что первые романы Пановой, «сразу завоевавшие любовь читателей, никакой критике, никакому серьезному разбору подвергнуты не были. Но сама Панова, художник тонкий и вдумчивый, несомненно, знала о слабых сторонах своего большого дарования и стремилась преодолеть их. Она работала над новой вещью около четырех лет, вложила в нее куда больше знания жизни, глубины, страсти, нежели ■ первые вещи,— и «Времена года» отразили эту большую работу писательницы» (там же. С. 456).

Панова считала, что основные общественные и моральные проблемы, поднятые ■ ее романе, нуждаются не ■ смягчении или сглаживании по известным рецептам идеализации жизни, а, наоборот, в более острой авторской постановке ■ более точном художественном воплощении увиденного.

Не вполне удовлетворенная редакцией 1953 г. Панова продолжила работу над текстом романа, особенно последней, третьей его частью, уточнив некоторые сюжетные решения и психологические мотивировки.

Изменения касались деталей биографии Дорофеи Куприяновой и ее отношений с сыном Геннадием. Заново, более жизненно и точно была разрешена судьба Кати Борташевич, которая в первой редакции романа выходила замуж за майора милиции Войнаровского, разоблачившего преступления ее отца. Во второй, доработанной редакции романа «Времена года» (Л.: Сов. писатель, 1956) драма прозрения и жизнеустройства детей Борташевича после его крушения и самоубийства имеет другой, не столь искусственный и облегченный конец.

За несколько лет до публикации «Времен года» Панова утверждала в статье «Несколько мыслей о технологии нашего ремесла» (1950) свою приверженность к реалистической жизненности сюжета. В письме к одному из зарубежных исследователей ее творчества, который интересовался построением «Времен года», Панова подтвердила, что существо ее взглядов и вкусов не изменилось и в этом романе. «Я до сих пор стою за эти принципы,— писала она в 1962 г ,— и не вижу, чем им так уж противоречат «Времена года». Там нет ни интриг, ни секретов, развитие судеб там, на мой взгляд, жизненно. Мне хотелось бы, чтобы в Вашей работе Вы пользовались исправленными изданиями романа (начиная с 1956 г.), где я исправила замеченные мною и некоторыми критиками несообразности и неточности» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 65).

В редакции 1956 г. роман «Времена года» многократно переиздавался и вошел в прижизненное пятитомное Собрание сочинений Пановой. Он переведен также на основные европейские языки и выпущен во многих странах мира.

По роману «Времена года» в 1962 г. был поставлен художественный кинофильм «Високосный год» (режиссер — А. Эфрос, в роли Геннадия Куприянова — И. Смоктуновский).

## «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»

Впервые: Новый мир. 1958, № 10, 11; отрывок: «Зойка маленькая»//Советская женщина. 1957, № 11; Сентиментальный роман. Л.: Лениздат, 1958.

В год 40-летия Октябрьской революции, отвечая на анкету «Правды», Панова впервые упомянула о замысле своего нового крупного произведения, над которым она тогда увлеченно работала: «Я пишу роман о молодежи начала 20-х годов, о моих сверстниках, которые в момент революции были детьми и трудовую свою жизнь начали лишь к концу гражданской войны — как раз тогда, когда была безработица, заводы не работали и нам приходилось очень трудно. Теперешняя молодежь не представляет себе этих трудностей...



Я пишу и вспоминаю не голодное наше бытие,— наши тогдашние песни вспоминаю я, наши страстные споры, нашу гордость открытой перед нами необъятной перспективой, наше увлечение заботами и мыслями времени. Я пишу обо всем этом, и работа доставляет мне счастье, и даже величие сегодняшнего дня нашей страны не закрывает для меня сияния тех суровых и чистых, навеки врезавшихся в душу дней» (Правда. 1957, 19 мая).

В мае 1958 г. Панова сообщила о своей готовности передать роман для публикации в «Новый мир», и А. Т. Твардовский, главный редактор журнала, со своей стороны ответил: «...Жду Вашего нового сочинения с горячим интересом и надеюсь читать его в числе первых поклонников Вашего таланта» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 343).

Работа над рукописью романа практически была завершена летом 1958 г.

Более чем какое-нибудь другое произведение Пановой «Сентиментальный роман» построен на автобиографическом материале и содержит в себе многочисленные реалии ростовского окружения писательницы 1920-х гг. Говоря о жизненной основе этого произведения, Панова подтвердила в беседе 1959 г.: «В нем (в «Сентиментальном романе».— *А. Н.*) много автобиографического, непосредственно пережитого, хотя, конечно, есть и вымысел. Но это тот редкий для меня случай, когда я могу точно указать реальные прототипы почти всех основных героев. «Сентиментальный роман» вовсе не был задуман как историческая вещь, хотя там идет речь о двадцатых годах. И — если вы заметили — не только о двадцатых, так как действие перебрасывается и к тридцатым годам, и в наши дни. Мне хотелось, чтобы в каждом герое были отчетливо видны его задатки, его будущее, его возможная судьба — все то, что приближает ровесников моей юности к нам» (ЛГ. 1959, 3 окт.).

Начало журналистского пути главного героя «Сентиментального романа» Севастьянова в газете «Серп и молот» почти во всех подробностях совпадает с обстоятельствами появления семнадцатилетней Пановой в редакции ростовской газеты «Трудовой Дон», где она начала работать в 1922 г.

В лице редактора «Серпа и молота» Дробышева описан вполне реальный человек — Виктор Григорьевич Филов, большевик-подпольщик с дореволюционным стажем, возглавлявший в начале 20-х гг. газету «Трудовой Дон». Его младший брат, Владимир Филов, был известен в кругу ростовской пишущей молодежи как подающий надежды поэт. В письме М. Г. Козловой в 1970 г. Панова писала о нем: «Это мой старый товарищ по газетной работе и дальний мой родич Владимир Григорьевич Филов. Его псевдоним — Михаил Вострогин. В «Сентиментальном романе» он довольно точно описан под именем Вадима Железного и Мишки Гордиенко» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65). Еще до революции гимназистом Владимир Филов издавал вместе с друзьями рукописный журнал «Юная мысль». От него Панова впервые услышала странные слова

«ничевок», «имажинист», узнала имя Велимира Хлебникова, ■ позже Сергея Есенина. ■ 1922 г. Владимир Филов выпустил в Ростове вызывающую книжку «Кукиш ничевока», в которой объявил несуществующими все стихотворные размеры и какие-либо системы стихосложения. Как и футуристы до них, «ничевоки» отрицали всю «старую» поэзию и рекламировали себя в качестве единственных создателей нового поэтического слова.

Весь путь героя «Сентиментального романа» Мишки Гордиенко от «ничевока» ■ биокосмиста до популярного в городе фельетониста Вадима Железного соответствовал реальной биографии Владимира Филова, который действительно за короткий срок стал ведущим фельетонистом газеты «Трудовой Дон», где печатался под псевдонимом Михаил Вострогин.

Прообразом описанного ■ «Сентиментальном романе» Поэтического цеха на Лермонтовской улице было ростовское отделение СОПО — Союза поэтов, основанное в августе 1920 г. приехавшими из Москвы Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом.

Участниками вечеров ростовского отделения Союза поэтов в начале 20-х гг. были Рюрик Ивнев, Георгий Шторм, Сусанна Чалхушьян, Нина Грацианская, Владимир Филов, Илья Березарк ■ др. «Мы выставляли невероятные афиши,— свидетельствует М. Ю. Блейман, известный впоследствии кинокритик, успевший в свои восемнадцать лет побывать председателем ростовского СОПО,— в которых были перековерканы буквы и которые иногда следовало читать снизу вверх или справа налево. Мы стремились этими афишами «завлечь» публику. В одной из них мы обещали положить на обе лопатки Христа, Магомета, Будду, Перуна — других богов мы не могли припомнить. Наши поэтические вечера обычно заканчивались скандалами, причем мы бы считали их несостоявшимися и неудачными, если бы скандалов не было» (Блейман М. Ю. В двадцатые годы.— В кн.: В. М. Киршон. М.: Искусство, 1962. С. 236).

Деятельность ростовского Союза поэтов не раз оказывалась предметом острой критики в местной печати, равно как и деятельность Пролеткульта, претендовавшего на исключительное представительство от рабочего класса, на полную автономию своих организаций от советского государства, ■ также независимость нового искусства от культуры прошлого (см.: Борисоглебский Н. Пролеткульт в Ростове//Сов. Юг. 1921, 16 июня).

Изображенные в «Сентиментальном романе» эпизоды собрания Поэтического цеха и его закрытия представителем губернского комитета комсомола Югаем имели под собой вполне реальные основания. Под именем Югая, вожака ростовской молодежи начала 20-х гг., выведен Яков Фалькнер, участник гражданской войны, делегат III съезда комсомола, видевший и слышавший на съезде В. И. Ленина, впоследствии известный партийный работник Ростова.



Многие черты ближайшего товарища Севастьянова ростовского комсомольца Семки Городницкого — его конфликт с отцом, его любовь ■ поэзии Маяковского, которого он умело читал, его принципиальный спор с братом Ильей Городницким и пр.— Панова взяла от своего первого мужа Арсения Владимировича Старосельского, работавшего в газетах Ростова, ■ затем Ленинграда и окончившего в конце 20-х гг. КИЖ — Коммунистический институт журналистики. «А. В. Старосельский — это Семка Городницкий «Сентиментального романа»,— подтвердила в одном из писем Панова.— И вся Семкина семья — отец ■ брат — писаны с натуры, что вообще-то со мной бывало очень редко» (Письмо М. Г. Козловой от 20 окт. 1970 г.//ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65).

Знакомыми с юности социальными биографиями ■ конкретными характерами Панова воспользовалась и при создании образа Кушли, одного из самых колоритных героев романа. Характер Кушли собирательный, но в некоторых важных подробностях он сопрягается с фигурой молодого Владимира Ставского, будущего писателя, начинавшего в той же ростовской газете «Трудовой Дон». Ставский появился ■ редакции год спустя после Пановой, в 1923 г., и начало его газетной службы очень напоминает явление Кушли в «Серпе и молоте». Командир Рузаевского красногвардейского отряда, чекист, воевавший против Колчака и Врангеля, Ставский не имел образования и после демобилизации работал в Ростове возчиком гужевого двора. Затем он включился в рабкоровское движение, писал статьи и заметки в газете. На первых порах ему помогал Н. Погодин, будущий драматург и один из ведущих тогда сотрудников газеты «Трудовой Дон», ■ потом Ставский сам руководил рабкорами (см.: Симкин Я. Ставский в Ростове//Дон. 1959, № 1. С. 153—158).

Гибель Кушли ■ «Сентиментальном романе» сюжетно связана с историей Марии Петриченко, селькора из села Маргаритовка, откуда приходили в газету ее заметки и письма, обличавшие кулацкое засилье в деревне ■ живописавшие тяжелое положение бедноты. В деталях этой истории Панова использовала свои впечатления, вынесенные ею из судебного процесса 1928 г. в городе Армавире по делу о покушении на селькора Акулину Брилеву. Процесс в Армавире взбудоражил всю Кубань. Его страстно обсуждали в самых отдаленных селах ■ хуторах: обстоятельства дела были характерны для первых лет коллективизации на Северном Кавказе. Как Севастьянов в романе, Панова выезжала ■ Армавир по поручению редакции. Она написала газетный отчет о процессе, ■ некоторое время спустя опубликовала по собранным материалам отдельную брошюру (см.: Вера Вельтман. Дело селькорки Брилевой. Кулацкий мандат в хуторе Веселом//Большевистская смена (Ростов-на-Дону). 1928, 6 нояб.).

В «Сентиментальном романе» Панова не только воспользовалась своими давними впечатлениями, но и более тщательно проанализировала существенные индивидуально-психологические подробности и причины описанного ею события.

Построенный по законам лирической прозы, «Сентиментальный роман» Пановой сочетает свойства мемуарного и чисто художественного, повествовательного жанра, позволяющего свободно соединять реально бывшее с вымыслом и широко использовать запасы личного, биографического и субъективного опыта. «С бору да с сосенки собирался «Сентиментальный роман»,— свидетельствует Панова,— мне он мил тем, что, перечитывая его, я погружаюсь в мир своей юности. 〈...〉 И все это писалось просто, без усилий и без натяжки, хотя в этом романе мне больше всего пришлось дописывать, вставлять скрепы, перелистывать листки моей памяти» («О моей жизни...», гл. «Мое первое замужество. Рождение дочери». «Что недописано в „Сентиментальном романе“»).

В 1976 г. по мотивам книги Пановой поставлен кинофильм «Сентиментальный роман» (режиссер — И. Масленников).

## «КОТОРЫЙ ЧАС?»

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ. *РОМАН-СКАЗКА*

Впервые: Новый мир. 1981, № 9; Спутники. Кружилиха. Который час? Кишинев, 1984.

Роман-сказка «Который час?» относится к числу наиболее ранних по замыслу и поздних по воплощению произведений Пановой. В архиве писательницы сохранилась рукопись законченной пьесы «Который час?» в 3-х действиях и шести картинах, над которой она работала в 1939—1943 гг. Пьеса эта не ставилась и не публиковалась. В июле 1960 г. в письме А. Я. Бруштейн Панова сообщила о своем намерении вернуться к теме этого произведения: «...В Коктебеле хочу заняться одной своей старой-престарой темочкой. Была у меня когда-то неудавшаяся пьеса «Который час?». Хочу к ней вернуться (к теме)...» (ЦГАЛИ. Ф. 2546, оп. 1, ед. хр. 470).

Между ранней пьесой и романом-сказкой, завершенным через двадцать лет, существуют теснейшие связи на всех уровнях литературного произведения — его замысла, жанра, сюжета и конкретных образов, использованных в новой форме для достижения более сложного и многостороннего художественного единства. Вернувшись к своей давней теме, Панова не просто модифицировала старый сюжет, обратив его из драматической формы в эпическую, и создала новое произведение, отмеченное более зрелым художественным мастерством и вобравшее в себя более поздний социально-исторический, философский и нравственный опыт писательницы.

Главный сюжетный мотив, который перешел в роман-сказку из пьесы, был развит автором с большой выдумкой, опиравшейся тем не менее на историческую реальность.

Место действия обоих произведений — условный европейский город, на ратушной площади которого возвышается башня с большими квадратными часами. На их циферблате, кроме обычных римских цифр, изображены знаки зодиака и лунные фазы.



В городе ждут солнечное затмение, и Астроном-иностранец приезжает сюда с научными целями для наблюдений над солнечной короной. Точка зрения стороннего наблюдателя, Астронома, позволяет более отчетливо охарактеризовать общественную ситуацию в городе, где недавно произошли революционные перемены — сделаны первые шаги к общественному равенству и справедливости. Угнетенные получили человеческие права, а бывшие хозяева затаились в ожидании своего часа. Фигура Астронома целиком перенесена из пьесы в роман, его функция при этом развита и расширена. В одной из сцен пьесы Астроном откровенно признается главе города Янису Янсену (в романе он выступает под именем справедливого правителя Дубль Ве), что ему, чужестранцу, многое нравится в новых порядках, но кое-что раздражает. Что именно? «Мне не нравится,— говорит Астроном,— что вы слишком забегаете вперед» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 13). В романе-сказке «Который час?» эта небольшая сценка из пьесы развернута в специальную главу: «Астроном на приеме у Дубль Ве».

Центральными событиями романа-сказки являются два невероятных происшествия. Героем первого оказывается старый часовой мастер Григсгаген, который задался безумной мыслью пустить назад время на главных башенных часах города, надеясь таким образом возвратить себе утраченную молодость. Вопреки общим интересам своих сограждан, он осуществляет это губительное намерение. Прообразом Григсгагена в пьесе был старый часовщик Дениэл Херборн, употребивший свой талант и свои знания во зло людям и не остановившийся перед опасностью всеобщей катастрофы. Он догадывается, что часы на башне «не просто показывают время, они погоняют его. Секунда за секундой — и набегают минуты, слагаются сутки, копятся годы... Часы вперед — и время вперед. Если бы часы пошли назад — пошло бы назад и время...» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 13).

Поворот стрелок городских башенных часов назад нарушает не только естественный порядок вещей в природе, но и ведет к роковым социальным последствиям. Одна безумная затея открывает простор для следующей. Второе невероятное происшествие, последствия которого подробно описаны в романе,— захват власти в городе сумасшедшим, буйно помешанным маньяком, страдающим манией величия. В пьесе этот беглец из сумасшедшего дома, схваченный санитарами, звался Андерс Гальве, в романе он выступает под именем Гун, причем путь его восхождения к власти лежит через трусость одних, глупость других и предательство третьих.

Времена Гуна в романе — это торжество Верховного гробовщика, получившего в городе безмерную власть над живыми. Это одновременно и реставрация прошлого в самых грубых, бесчеловечных и отталкивающих его формах. Бывший правитель города Дубль Ве брошен в тюрьму,

основы равенства людей и социальной справедливости разрушены, бедные загнаны обратно в подвалы, беспризорные дети опять на улицах, над процветавшим недавно городом царят террор, беззаконие и ужас смерти. У людей исчезло завтра, у них осталось только вчера.

Судьбу отдельного человека под властью Гуна наиболее полно представляет санитар Мартин — лицо, отсутствовавшее в пьесе. Мартин имел несчастье засмеяться однажды, когда связанного Гуна возвращали на леченье в больницу. Это случилось, когда время еще шло вперед. Теперь он расплачивается за это. На казнь его ведет «железно обутый», и казнят Мартина без света, без свидетелей, без суда — просто сталкивают в бездонную яму.

В главе «Праздник», на параде своих войск, Гун держит речь перед горожанами, исчерпывающе формулируя свое человеконенавистическое кредо. Важнейшие тезисы этой речи Панова перенесла в роман из монолога Андерса Гальве, написанного в начале 40-х годов для пьесы. Речь диктатора в романе приобрела в то же время совершенно новые черты, каких не было раньше,— логического абсурда, усугубляющего одержимость и бредовую реальность каждого слова.

Возвышение Гуна при новом порядке, когда время пошло назад, было бы невозможно без пособничества политиканов Элема и Эно, попадающих, в свою очередь, в полную зависимость от диктатора. Иррациональная власть Гуна основывается также на автоматической исполнительности безымянных стражей режима —«рыжих пиджаков», «железно обутых» и просто «мальчиков в касках», приветствующих любого правителя.

Политическая программа Гуна, программа войны и насилия, имеет вполне определенные исторические аналогии с идеологией и практикой фашизма, а сам он вызывает прямые ассоциации с бесноватым фюрером, ввергшим народы Европы в пучину второй мировой войны.

Общее название пьесы и романа-сказки — «Который час?» — лишний раз подчеркивает главенствующую тему обоих произведений, стремление понять свое время в его основных противоборствующих тенденциях. Какие силы убыстряют движение времени, способствуют социальному и общественному прогрессу, служат человеку и человечеству в их неуклонном стремлении к лучшему? И что препятствует этому движению, ведет к регрессу, к политической и социальной реакции, угрожая обратить ход истории вспять?

Советская литература 30-х — начала 40-х гг., в контексте которой возник замысел «Которого часа?», по-своему и весьма убедительно отвечала на поставленные эпохой вопросы. Стремление обогнать время, столь характерное для темпа жизни первых пятилеток, отмечено и воспето многими писателями той поры. В своем романе-хронике «Время, вперед!» В. Катаев точно выразил эту преобладающую тенденцию развития молодого социалистического общества: не только наверстать упущенное, но и любой ценой вырваться вперед, преодолеть культурную



и техническую отсталость, унаследованную от дореволюционной России, поднять своды новой коммунистической цивилизации и, таким образом, осуществить на практике мечты лучших умов человечества.

Примечательно, что роман Катаева начинается и заканчивается звонком будильника, который вводится как первая художественная деталь, а затем и немаловажная метафора всего повествования.

«Часы шли верно. Но Маргулиес не спал. Он встал в шесть и опередил время. Еще не было случая, чтобы будильник действительно поднял его.

Маргулиес не мог доверять такому, в сущности, простому механизму, как часы, такую драгоценную вещь, как время».

В романе-сказке Пановой, в зачине его и в конце, тоже звенит обыкновенный будильник. Последняя короткая главка произведения так и называется — «Похвала будильнику». Но функция его в системе художественных подробностей «Которого часа?» совершенно другая, чем у Катаева. Будильник переключает авторское повествование из яви в сон и из сна в явь, подчеркивая, что развертывается оно не по обычным законам хроники, а по законам фантастической сказки.

Содержание этой сказки, логику взглядов и характер поступков своих героев Панова также черпала из действительности, из современной ей истории, а не только из литературных источников и традиционных иносказательных форм.

Историческая реальность конца 30-х гг. не оставляла места для иллюзий и представлений о том, что все естественным образом и само собой идет к лучшему. Расползавшийся по Европе фашизм брал одно препятствие за другим. Трагический финал гражданской войны в Испании привел к личной диктатуре генерала Франко. Мюнхенский сговор правителей Англии и Франции с Гитлером отдал на растерзание Чехословакию и положил конец надеждам европейских народов на коллективную безопасность. Германский агрессор, которого после Мюнхена подталкивали на Восток, неожиданно изменил направление удара и сначала обрушил его на Запад. Наиболее злободневной предвоенной книгой советской литературы стал роман-хроника И. Эренбурга «Падение Парижа». Могло показаться, что историческое время на старых часах Европы, будь то Варшава или Париж, Прага или Берлин, Мадрид или Рим,— действительно пошло назад.

Противоборство двух главных политических тенденций современной истории стало центральной сюжетной коллизией и ранней пьесы, и последующего романа-сказки Пановой «Который час?». Но в отличие от таких романистов, как В. Катаев или И. Эренбург, писавших хронику современности в прямой, конкретно-исторической форме, Панову больше привлекали тогда возможности реализма условной формы.

«Который час?» Пановой был задуман и начат под несомненным влиянием драматургии Евг. Шварца, органично соединявшей традиционные сказочные сюжеты с злободневными социально-политическими,

философскими и моральными проблемами современности. Характерно, что первая драматическая редакция «Которого часа?» была завершена к концу 1943 г.— в том же году Евг. Шварц создал свою известную философско-сатирическую пьесу-сказку «Дракон».

8 мая 1962 г. Панова подтвердила в одном из писем: «Сейчас работаю над романом-сказкой, который был мною задуман еще до войны. Это будет очень небольшая книжка, и мне еще не ясно, получится ли она интересной для читателя или это интересно только мне» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 65).

По сравнению с пьесой текст романа существенно обновлен, расширен, дополнен новыми лицами и сценами, более отчетливо выявляющими не только движение сюжета и общую мысль произведения, но и собственный лирический голос автора. Роман «Который час?» по своему жанру — не просто сказка, в которой совершаются невероятные и занимательные происшествия с главными и второстепенными действующими лицами, а своего рода социальная антиутопия, подсказанная исторической реальностью и так или иначе соотнесенная с ней. Если в 40-е годы, в пьесе, Панова была ближе к реальным источникам своей сказки и историческое иносказание порой слишком прямолинейно проступало и в характере событий, и в обрисовке действующих лиц, то в романе писательница стремилась к большей свободе от конкретных исторических соответствий, к большей широте обобщений, потенциально заложенных в ее фантастическом, сказочном сюжете. Показательно, например, как меняются имена многих ее персонажей. Вместо «среднеевропейских» имен, навеянных скорее всего сказками Андерсена, в роман широко введены абстрактные имена, более характерные для современных фантастических повестей и романов.

Заново, более остро и обобщенно обрисован в романе Гун. Он сохранил все повадки маньяка, дорвавшегося до власти, но конкретная художественная плоть этого характера строится теперь на многих чертах и свойствах, подчеркивающих опасность «обыкновенного фашизма» в его международном, а не только национальном варианте.

В том же направлении изменены и углублены характеристики сообщников Андерса Гальве, которые открыли ему путь к власти. По пьесе это сторонники свергнутого в городе общественного строя, угодного богачам,— бывший предприниматель Лане, нажившийся во время войны на производстве пушек, и адвокат Эллерт, политический авантюрист, тайно вернувшийся из-за границы и сам претендующий на захват власти.

Место Лане и Эллерта в романе занимают соответственно толстый человек Эно и тонкий — Элем, сотоварищи Гуна по сумасшедшему дому, сбежавшие вместе с ним и преследующие при этом свои собственные корыстные цели. В их руки попадают два министерства, только и сохранившиеся при новом режиме — министерство склок и министерство авантюр. Для ведения государственных дел при Гуне этих двух ведомств



вполне достаточно. Социальные характеристики новых фигур, Эно и Элема, в отдельных деталях стали менее конкретными, чем в пьесе, но сатирическая острота и обобщенность каждой из них, несомненно, возросли.

Особое место в сюжете «Которого часа?» занимает мотив сватовства к самой красивой девушке города Белой Розе (по пьесе она является дочерью бывшего фабриканта Лане, хотя совершенно на него не похожа, а любит только влюбленного в нее Адама, молодого помощника часовщика). В романе ее имя оставлено без изменений, зато социальная биография и характер существенно переосмыслены, развернуты и во многом написаны заново. Образ Белой Розы стал богаче в психологическом отношении, глубже и яснее раскрыты душевные колебания Белой Розы и ее трудный выбор — выбор наиболее верного решения в обстоятельствах, препятствующих человеческому счастью.

Руки Белой Розы последовательно добиваются помощник часовщика Анс, старый мастер Григсгаген, приближенный нового правителя Элем и, наконец, сам Гун, приказавший вывесить на площади перед ратушей еще до согласия невесты ее огромный портрет рядом со своим собственным изображением.

Домогательства Гуна в отношении Белой Розы рушатся так же, как и его претензии господства над целым миром. Эти две линии романа, общая и частная, связаны, как и в пьесе, в одно целое и ведут к одной общей развязке.

Крушение диктатора в пьесе трактовалось как следствие внутреннего сопротивления его режиму. Противники сумасшедшего правителя, объединяясь, находят путь к часовой башне, и вернувшийся в город Адам после сложной борьбы пускает часы вперед. Вселенная продолжает жить по своим законам вопреки стремлениям повернуть ее развитие вспять. Солнечное затмение совершается и проходит в назначенный ему срок. Астроном в финале пьесы снова сверяет свои ручные часы по ходу стрелки на циферблате главной башни города: «Двенадцать часов по Марсу, по Солнцу, по Земле, по человечности и по правде! Все в порядке, друзья мои,— Время идет вперед!» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 13).

В романе-сказке «Который час?» Панова отказалась от несколько облегченной концовки пьесы, по которой Андерс Гальве поспешно бежал из города вместе с сообщниками, не оказав своим противникам последнего отчаянного сопротивления. Роман трактует логику схватки за жизнь на земле более глубоко. И хотя часы на башне усилиями старого мастера Григсгагена, раскаявшегося перед смертью, и его помощника Анса вновь пущены вперед, Гун и его компания предпринимают безумные усилия, чтобы раскачать и свалить с фундамента всю башню вместе с ее часами. Тут возникает угроза Последней гибели, видение общей смерти, парадокс особой ситуации, когда «...и наших нет. И ваших тоже...». Новый мотив, появившийся в ядерную эпоху и требующий всеобщего и всестороннего осознания...

Заключая роман, Панова сознательно преподносит читателям мрачные времена Гуна не как реальность, а как дурной сон, который приснился автору «в ночь на пятницу»; этот сон потому и рассказан так подробно, чтобы он никогда не повторился и не перешел из сказки в действительность. Выстраданный оптимизм автора основан на глубокой вере в силу человеческого разума, способного обуздать безумие.

Условная, фантастическая форма романа-сказки, использованная Пановой, вобрала в себя и политические реальности нашего века, и характерные жизненные наблюдения, и некоторые вполне узнаваемые бытовые детали, и очень живой разговорный язык, свободный от литературной сглаженности или книжной архаики. Как повествователь Панова и в этом жанре осталась верной себе. Она сохранила главное, что отличает ее авторский стиль и художественную манеру.

# СОДЕРЖАНИЕ

**Панова В.**

П 16 Собрание сочинений: В 5 т./Редкол.: С. Баруздин, А. Нинов, Л. Рахманов. Т. 2: Времена года; Сентиментальный роман; Который час?: Романы/Сост. и подготовка текста А. Нинова и Н. Озерновой-Пановой; Примеч. А. Нинова.— Л.: Худож. лит., 1987.— 608 с.

П $\frac{4702010200\text{-}073}{028(01)\text{-}87}$ подписное **ББК 84.Р7**

*Вера Федоровна Панова*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ 2

Составители
Александр Алексеевич Нинов,
Наталья Арсеньевна Озернова-Панова

Редактор *Т. Степашова*
Художественный редактор *М. Шафрова*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректоры *А. Борисенкова, Л. Никульшина*

ИБ № 4760

Сдано в набор 11.11.86. Подписано к печати 24.06.87. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 34,53. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛIII-160. Заказ № 632. Цена 2 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.